
САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ





САША ЧЕРНЫЙ

Собрание сочинений
в пяти томах

Т о м 3

СУМБУР-ТРАВА
1904 - 1932

Сатира в прозе
Бумеранг
Солдатские сказки
Статьи и памфлеты
О литературе

Москва
Издательство
«Эллис Лак»
1996

Составление, подготовка текста и комментарий
А. С. Иванова

Собрание сочинений подготовлено составителем при поддержке
Международного фонда «Культурная инициатива»

На фронтисписе: Саша Черный (фото 1900-х гг.)

Редакционно-издательский совет

А. М. Смирнова

(председатель, директор издательства)

Т. А. Горькова

(главный редактор)

А. С. Иванов

И. Л. Тимашева

С. В. Федотов

© А. С. Иванов. Составление, подготовка текста, комментарий, 1996

© Е. Г. Клодт. Художественное оформление, 1996

© Эллис Лак, 1996

ТЕАТР МАСОК САШИ ЧЕРНОГО

Среди юмористической россыпи «Сатирикона» затеряна крохотная сценка «Принципиальный «товарищ», автором которой значится некий Иван Чижик. Анекдот, в сущности. Пустячок:

«За полтора часа до Москвы студент будит коллегу-армянина, который храпит на верхней полке:

— Товарищ, вставайте! Москва близко.

Армянин просыпается, оглядывает вагон и категорически отвечает:

— Принципиально не могу!

— Почему?

— Балшинство спыт! — сердито возражает армянин и засыпает».

Прочтешь, усмехнешься и забудешь. А вот Саша Черный не забыл. По прошествии чуть ли не двух десятков лет этот эпизод появился в рассказе «Московский случай». Оно и понятно, ибо «Иван Чижик» — один из псевдонимов Саши Черного, а вернее сказать — Александра Гликберга, потому как «Саша Черный», напомним, тоже ведь псевдоним.

Из этой непритязательной истории можно сделать один далеко идущий вывод, имеющий касательство к дальнейшему разговору. Подобные самоповторения (В. Ходасевич называл их «автореминисценциями») позволяют обнаружить некое смысловое единство текстов, сообщить что-то важное о самом писателе. Каждое вскрытое пристрастие (к теме, приему, сюжету, образу, к отдельному слову) способно пролить свет на вопросы большой значимости. Частный случай, малейшая, едва заметная деталь могут оказаться тем ключиком, которым отмыкаются многие тайны, в том числе и самое сокровенное, «тайное тайных»: генетическая связь мира художника, творчества с судьбой и личностью творца.

Ну, а позволительно спросить, какие такие глубины и откровения можно извлечь из приведенной выше миниатюры? Случай с «принципиальным товарищем» (быть может, вовсе не придуманный) потому и врезался в память Саше Черному, что в нем на обычном уровне нашел олицетворение предмет его постоянных и мучительных раздумий — несвобода личности. Личности, привыкшей действовать скопом, заодно, повинуюсь стадному чувству, диктату или гипнозу среды. Парадоксальная ситуация сложилась в начале века. Общество, рванувшееся в 1905 году после вековой спячки к

свободе, обрело, казалось бы, гласность, возможность политическо-го выбора. Во множестве расплодились партии и движения — социал-демократов, эсеров, кадетов, трудовиков, октябристов, монархистов... Однако на фоне этого разномыслия сходу возникло новое иго — зависимость от партийной дисциплины, от групповых интересов, избирательность права на правду. Инакомыслие и вольнолюбие поощрялось в пределах, очерченных программой. Индивидуум, посмеявшийся, не дай Бог, проявить объективность по отношению к политическому противнику, тотчас попадал под страшное подозрение, рисковал быть навеки заклеянным Каиновой печатью отступника. Именно посягательство на внутреннюю свободу более всего было ненавистно Саше Черному — и как человеку, и как поэту, стремящемуся к свободному изъяснению с миром. Не потому ли он в жизни и в литературе всегда держался особняком, сам по себе...

«Сам-по-себе»... Именно под таким, не совсем серьезным именем будущий автор «Сатир» и «Солдатских сказок» вступил в литературу. Дебют состоялся в газете «Волинский вестник». Собственно, «газета» — чересчур громко сказано. В сущности, это был провинциальный листок, родившийся в Житомире в середине 1904 года. Непризнанные юные дарования вздумали составить конкуренцию местному официозу — газете «Волинь». Новобранцам «шестой державы» приходилось, помимо служения перу, еще и вертеть колесо типографской машины, и самим мыть шрифт после работы. При этом, как позднее вспоминал Саша Черный, вместо гонорара получали контрамарку на галерку оперного театра. Но эта экономия и всевозможные ухищрения все равно не спасли новоявленный печатный орган от финансового краха: на 40-м номере он приказал долго жить.

«Волинский вестник» тщился во всем походить на своего старшего собрата. Непременной принадлежностью любой уважающей себя газеты стал фельетон — развязно-ироничный комментарий на злобу дня. И в каждой газете эта рубрика имела свое «фирменное» название: «Соринки дня», «Арабески», «Эфемеры» и т. п. Жанр этот был отдан на откуп борзописцам и шелкоперам, ведущим свой род от гоголевского Тряпичкина. Впрочем, среди них попадались и маститые знаменитости — такие, скажем, как Влас Дорошевич или Александр Амфитеатров. Именно такая роль — роль «злобиста» отводилась молодому стихотворцу Александру Гликбергу, дотоле доверявшему плоды своих лирических вдохновений лишь заветной тетрадке да еще, пожалуй, «альбому единственной гимназистки». Здесь же, в газете, — сугубо прозаическое занятие: обличение пороков и исправление нравов, в соответствии с нормами и традициями либерально-демократической печати. Обращение к сатире не явилось, судя по всему, чем-то противоестественным для «истомного и хлипкого лирика». Автор «Дневника резонера» (такое название имела его рубрика) в меру язвителен, в меру задирист, в меру ироничен и нравоучителен, даже — медитативен. Свои раздраженно-публицистические опысы он не боится разбавить лирическими отступлениями, зариф-

мованными впечатлениями («Сонный Тетерев катится...») или прозаическими эзерсисами, которые будут облечены в стихотворную форму гораздо позднее.

Кто выйдет из зелени темной:
Олень с золотыми рогами?
Сатир? Колесница с богами?
Русалка с улыбкою томной?..

Эти мифологические видения и фантазии, отнюдь не современные, видимо, уже брезжили в его душе при лицезрении житомирской «Зеленой рощи», коль скоро в фельетонной рубрике уже намечен и зафиксирован их прообраз: «Невольно ждешь, что из кущи зеленых деревьев выбежит к реке с резвым хохотом толпа дриад, спасаясь от бесстыжих фавнов...»

Тем и интересны, наверное, нам эти прозаические однодневки, что в них проступают очертания непретворенного и неясного еще самому поэту. Вообще, весь «Дневник резонера» можно рассматривать как черновик будущего цикла сатир «Провинция». А стихотворный шарж «На галерке» — просто-напросто калька с ранней театральной рецензии «Аида» в Житомире».

Можно поставить вопрос и шире. За обкатанными фельетонными пассажами и бичеваниями, за юношескими разочарованиями в жизни и несколько наивными обвинениями в пошлости и скуке можно, при желании, разглядеть следующее. Поэт — существо не от мира сего, самой природой выделенное из среды нормальных человеческих особей. Существовая в своем неземном, гармоничном и совершенном мире, слугитель муз то и дело расшибается о земной порядок вещей, о повседневную обыденность. У Пастернака эта мысль сформулирована поэтически емко: «Ты вечности заложник у времени в плену». В сущности, то же самое можно найти и у Саши Черного:

А ты, поэт, нелепый человек,
От детских лет заложник пресных будней,
Как за ногу привязанный, торчишь
В каком-нибудь столичном захолустье...
Берешь займы у жажды и мечты...

Написано это будет много позже. Но, безусловно, уже в первых прозаических опытах, созданных на потребу дня, присутствует его раздвоенная поэтическая натура. Причем гораздо в большей степени, нежели в пиитических ювеналиях, сочиненных в сладком бреду ночных бдений. Начинаящий журналист, конечно же, считал себя прежде всего поэтом, однако — не странно ли? — его лирических стихов в «Волынском вестнике» обнаружить не удалось. По-видимому, не однотонный «чистый» лирик, а именно «фельетонист взъерошенный», маявшийся на «славном посту» в поисках тем, явился предтечей «Саши Черного».

Псевдоним «Сам-по-себе», выбранный им, — несомненно, дань традициям «мелкой» прессы. Не более того. И все же он не совсем случаен. В этом первом литературном имени уже ощутима одна из важнейших особенностей образа поэта — Саши Черного. Отъединенность и настороженность, замкнутость и ершистость, готовность защищать принципы. Что еще? Гордость. Гордость и одиночество. Недаром одна из статей, посвященных Саше Черному, так и называется «Поэт-одиночка». И неслучайно, наверное, в памяти К. Чуковского Саша Черный запечатлелся как бы на отшибе, в стороне от дружной и шумливой ватаги сатириковцев. Невольно приходят на ум строки самого Саши Черного:

Присяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

Все это впереди: и фортели, и выкрутасы, которые будет «вытанцовывать» Саша Черный в упряжке «Сатирикона». Еще предстояло заменить псевдоним, годившийся для фельетонной рубрики, более значимым именем. Ибо при всем его изгойстве и отверженности Саша Черный был все же истинным сыном своего века и не избежал его соблазнов. Под дудку своей эпохи он с блеском исполнил отведенную ему роль в общем маскарадном действе.

* * *

Людам свойственно наделять календарное исчисление некоей магией. Кому не знакомо такое: вот-де перевернем последний листок календаря, а за ним ждет нас что-то новое, неизвестное... Ну, а коль предстоит смена столетий?! На излете века все живут ожиданием, что грядущее сулит «неслыханные перемены, невиданные мятежи»... Пугают апокалипсические пророчества. И все же с прошлым расстанутся без сожаления, будто со старым надоевшим платьем — ведь так хочется примерить обновку! Эти смутночаемые предчувствия слиты в выражении «fin de siecle» — «конец века».

Что касается XX века, то подобные предчувствия и ожидания он оправдал сполна. На грани веков произошел воистину глобальный слом мира, затронувший буквально все сферы жизни. Нас здесь будет интересовать в первую очередь изменение культурной парадигмы. Однако следует помнить, что проблемы сознания и творчества теснейшим образом связаны с экономической и социальной базой. На рубеже веков Россия стремительно менялась. Впервые основательно потрянуло в 1905. Однако угроза социального катаклизма никого не испугала. Напротив — раззадорила. Вакханалия становилась все разгульней.

Происходит тотальный отказ от классических заветов. Вернее, от изжившего себя гражданского пафоса, от однообразной народнической декларативности, которой была отмечена вторая половина XIX столетия. Новый душевный опыт потребовал иной системы нравственных и эстетических ценностей, иных изобразительных решений. В общественном мнении этот сдвиг воспринимался как

кризис, упадок, и потому искания, поветрия, новации начала века стали называть упадничеством, декадансом. А саму эпоху окрестили эпохой модерна. Много позже этот пышный и лихорадочный расцвет искусства поименуют изысканно «серебряным веком». Тогда же над декадентами потешались, их ниспровергали, им подражали... Но никто, даже самые закоснелые реликты не могли не принимать в расчет этого масштабного, противоречивого, разномастного и разноликого явления. Именно оно было гласом времени, оно диктовало правила игры и заказывало музыку.

На рубеже двух революций культурная жизнь и впрямь представляется какой-то театральной мистерией, балом-маскарадом, драмой или шутовским балаганом — это как взглянуть. Двадцатый век принес новые формы общественного поведения писателей. Ранее труженики пера пребывали как бы в тени, чурались публичных выступлений. Теперь вето было снято. Литераторы хлынули на сцену. Они организуют литературные вечера, диспуты, лекции, турне. Охотно дают интервью, посвящая публику в подробности не только своего творчества, но и своей частной жизни. Те же, кому любопытно было лицезреть кумиров и небожителей вблизи, в непринужденной и угарной атмосфере ресторана, направлялись в «Вену» или «Капернаум» — места постоянных сборищ литературной богемы. Впрочем, рафинированные и эзотерические служители муз предпочитали «театр для себя». Появились литературные салоны: знаменитая «Башня» Вяч. Иванова, где устраивались дионисийские радения; религиозно-философские посиделки у Мережковских; литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака» и т. д. За головокружительной и упоительной игрой в богему, за всеми этими внелитературными проявлениями, вынесенными на авансцену жизни, утвердилось определение, пущенное Н. Н. Евреиновым, — «театрализация жизни».

Впрочем, назвать это явление внелитературным было бы не совсем правильным. И на печатных страницах разыгрывалось не менее захватывающее театрализованное представление. Литературные прятки и переодевания приобрели в начале века поистине повальный характер. Каких только искусственно рожденных имен не встретишь на этом пестром и крикливом писательском торжище! Здесь и совсем простые, неотличимые от обычных фамилий: О. Дымов, М. Осоргин, Л. Никулин, Г. Галина, А. Вербицкая... Есть и с претензией на аристократичность — Ф. Сологуб, И. Одоевцева, Л. Чарская... Когда вкус отказывал, появлялись снобистские вычурности — Константин Олимпов или Грааль Арельский. Иногда трансформировалось только имя, и тогда рождались псевдонимы-кентавры: Велемир Хлебников, Василиск Гнедов... Можно было встретить и отечественных «иностранцев»: Грин, Пяст, Эллис, Тэффи... Некоторые наряжались дамами: Нелли, Анжелика Сафьянова... Тут же толклись какие-то постные личности: Скиталец, Усталый, Одинокий... Несть им числа. Не сразу заметишь в этом сонмище теней держащегося в гордом одиночестве Ник. Т-о (он же — И. Анненский).

Иные псевдонимы совсем заменили фамилии, полученные при рождении (Северянин, Чуковский, Ахматова...). Зато другие, доподлинные (Бальмонт, Аполлон Коринфский), своей экзотичностью больше смахивали на псевдонимы.

Такое неслыханное по масштабам пристрастие к лицедейству, мистификации, обманности, юродству не могло быть случайным. Объяснение всему этому следует искать, видимо, в рубежности явления. Исчерпанность былой гармонии породила духовный вакуум, полную свободу от всего, идейное своеволие. Пустота, однако, требует заполнения. Отсюда уход в экзотику, разрыв с традиционной моралью, культ безобразия и греха, тоска по мировой культуре, обращение к вечным темам, «игра с дьяволом»... «Ищем Бога, ищем черта, потеряв самих себя...» — скажет Саша Черный об этих исканиях духа. Именно отречение от себя и порождало фантомы, химеры, маски. Ибо свобода маски, личины, не своего лица позволяла преодолеть мирскую заданность земного жребия, вырваться в какое-то иное измерение. Кто бы, допустим, мог предположить, что провинциальный педагог Тетерников, сын портного и кухарки, превратится в Сологуба, столпа символизма, хозяина салона, эстета и ирониста.

Необходимо сказать еще об одной тенденции. Несовпадения «творимой легенды» и мира повседневности, здравого смысла породили атмосферу иронии, фарса, пародии... Тот же Сологуб недаром как-то обмолвился, что ирония «открывает неизбежную двойственность всякого познания и всякого деяния». Вот почему новое смеховое сознание можно рассматривать как средство самоанализа, как рефлексию на дисгармонию эпохи. Этот «смех среди руин» или «Красный Смех» в корне отличается от смеха созидательного, наивно-открытого, беззаботного, звонкого. Неспроста А. Блок видел вместо улыбок лица, «судорожно дергающиеся от внутреннего смеха», видел людей, «одержимых *разлагающим* смехом». По его определению, ирония — недуг, которым поражены «самые живые, самые чуткие дети нашего века».

Воистину все смешалось в «Салоне Ее Светлости русской литературы». Высокое повенчалось с низким. «Чистые» и «нечистые» то и дело наступали друг другу на пятки. Так, И. Анненский, даром что парнасец и эллинист, вдруг ни с того ни с сего начинал голосить раешником ярмарочного зазывалы:

Шарики детские!
Деньги отецкие!
Покупайте, сударики, шарики!

Очарованный мир певца «Прекрасной дамы» начал вдруг карикатурно искажаться — хоть публикуй его стихи в «Сатириконе»:

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

В том же ряду блоковский «Балаганчик» — язвительный шарж на высокую мистику символизма. И тонкий яд и скептицизм сказочек Сологуба. И трансцендентальный сарказм А. Белого с его жутковатыми «картинами» деревенской и чиновничьей Руси. Перечень подобных забреданий в «смеховой огород» можно длить и длить. Однако многозначное остроумие модернистов, их шутки, перегруженные семантикой кружкового «междусобойчика», требуют отдельного исследования.

Н. В. Гоголь в «Театральном разезде» писал о природе смеха: «Нет, смех значительней и глубже, чем думают. <...> тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник, который углубляет предмет... — и Гоголь продолжает: — Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: «Что смешно — то низко», — говорит свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают название высокого».

Но вот — о чудо! — высоколобые мужи, горделивые олимпийцы, жрецы и жрицы искусства сделали в начале XX века поразительное открытие: «В тайне смеха позорного нет». Каким-то художническим чутьем они осознали, что из одного высокого и апробированного ничего нового родиться не может. Ибо чистое искусство — бесплодно. Потомство возможно при наличии лишь двух полов, двух полюсов. Эта мысль, высказанная Ю. М. Лотманом, как бы перекликается с хрестоматийными строками Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда...» Да что там из сора — из грязи, зловония, пошловатого «кича» произрастают порой не тлетворные «цветы зла», а дивные и диковинные соцветия «Новой Красоты». «Заключение смехом», обращение к так называемой «презренной», площадной языковой субстанции становится отныне одним из основных стилиобразующих приемов изящной словесности.

Но есть примеры и обратного порядка. «Испытанные остряки», те, кого числили в литературных маргиналах, тоже, оказывается, могли созерцать звезды или заглядывать в бездны, в которых «хаос шевелится». Достоинством сатирической поэзии становится антиэмфатическая многозначность, размытая семантическая аура, прикосновенность к «вселенскому ужасу». За примерами недалеко ходить — вот что можно обнаружить на страницах «Сатирикона»:

И все холодной необъятное
Смеется в пустых небесах.

Или:

Это дьявольская треба:
Стынут волны, хмурясь ввысь, —
Стенам мало плена неба,
Стены вниз, к воде сползлись.

Не мудрено заподозрить в этом урбанистическом отчаянии Блока, Брюсова... Но нет — это... Саша Черный. Вот уж, действительно, все спуталось. Не отличишь, покуда не прочтешь имя. А если и прочтешь — то тоже нет никакой гарантии, что узнаешь, кто под ним скрывается.

Подчас, право, закрадывается сомнение: эта игра в двойничество, суэта со сменой имен и обличей — не сродни ли она провокаторству, ставшему поистине знамением эпохи? Оно, это явление, персонифицировалось в лице Е. Ф. Азефа — лидера партии эсеров, организатора самых громких и кровавых террористических актов и одновременно осведомителя царской охранки. Разоблачение его было подобно разорвавшейся бомбе. Саша Черный пишет об Азефе стихи под названием «Герой нашего времени». Оно и понятно: азефовщина стала «дежурным блюдом» эпохи. Убийца Столыпина тоже оказался эсером и тоже агентом охранки. Царский министр — немецким шпионом. А если вернуться в литературный пантеон, то нельзя не сказать о такой феноменальной личности, как Михаил Кузмин. Уму непостижимо, как он, воспитанный в строгих традициях русского старообрядческого скита, мог стать певцом противостественных порочных наклонностей или, как тогда писали, «половой провокации». За этим утонченным эстетом тянется шлейф чудовищных слухов о причастности его к гибели друживших с ним молодых людей. Или вот, не угодно ли: презанятный экземпляр — А. Тиняков. Взаимоисключающие по своим воззрениям статьи он ухитрялся публиковать как в ультралиберальной, так и в черносотенной печати (разумеется, под разными именами). Кому после этого можно верить?! Чуть ли не на каждом шагу начинают мерещиться оборотни, перевертыши, двойники, личины, маски... Чуткий барометр своего дня — К. Чуковский недаром озглавил свою главную книгу о писателях-современниках «Лица и маски».

Было бы, однако, заблуждением думать, что мимикрия в литературе надобна лишь для сокрытия и обмана. Раздвоенность, лицедейство не есть синоним двоедушия и лицемерия. Для читающей публики псевдоним — это прежде всего вывеска, должествующая заявить о художественной особливости писателя и его общественной позиции. Удачно и точно найденное имя обеспечивало более краткий путь к читательским сердцам. Не из этих ли соображений А. М. Пешков стал называться «Максимом Горьким»? Да и трудно представить, чтобы «буревестник революции» выступал под фельетонной кличкой Иегудиил Хламида.

Литературная маска — это своего рода alter ego автора, освобожденное от бытовых наслоений, призванное явить миру сокровенные тайники души художника. Иными словами, это квинтэссенция писательского мироощущения. Отсюда псевдоним можно рассматривать в качестве владельческого, геральдического, опознавательного знака этой маски, то есть того обличья, в каком пишущий щитится предстать перед читателями. Связь эта — имени и образа —

не всегда явна и подчас весьма зыбка. Даже сам автор и носитель придуманного имени порой не может внятно обосновать свой выбор. Впрочем, не выбор, скорее — наитие, прозрение, ибо только будущее способно подтвердить неразрывную слиянность его с судьбой писателя.

* * *

Но вернемся к Саше Черному. В «дни свободы» 1905 года поэт, как бы ненароком, воспользовался своим ребячьим прозвищем — так звали его в детстве, чтобы отличать от другого Саши — блондина. Не думал — не гадал, что это имя так впору придется ему. По прошествии лет он попытался освободиться от него, избрав взамен более лаконичную и строгую подпись «А. Черный». Но безуспешно: по-прежнему его называли и упорно продолжают называть Сашей Черным. Почему? Может, потому, что в этом двуедином имени ощущается, на каком-то подсознательном уровне, слияние двух начал мироощущения поэта — светлого и темного.

Однако А. Гликберг, выступивший в роли «Саши Черного», едва ли догадывался, что своим перевоплощением он обязан некоему незримому режиссеру. Отказ от собственного имени может быть понят лишь в игровом пространстве эпохи, о котором сказано выше. Прислушаемся еще к одному истолкованию данного явления, принадлежащему М. И. Цветаевой: «Каждый псевдоним, подсознательно, — отказ от преемственности, потомственности, сыновности. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую крещен, и от собственного младенчества, и от матери...» Ясно, что речь идет об отречении в расширительном смысле — от устоев и заветов прошлого века. Отказ во имя новых неведомых духовных, нравственных и эстетических мутаций. И Саша Черный не составил исключения из общего правила, приняв участие в маскарадном карнавале эпохи.

Но применительно к Саше Черному цветаевское утверждение может быть прочитано и в сугубо конкретном, личном плане. Судите сами, одно к одному: и вынужденный отказ от религии предков, и детский бунт против семейного ига, бегство из дома, проклятие родителей и отречение их от блудного сына, обретение нового отца, введшего своего воспитанника в лоно русской культуры... Перипетии этой многострадальной участи делают понятным стремление поэта забыть, утаить кошмар ранних лет, отгородившись от прошлого новым именем. Но даже если не углубляться в эти фрейдистские дебри, понятно, что появление литературного имени «Саша Черный» не было случайной причудой.

Какой же образ явлен был этой литературной маской? Повторю вкратце сказанное в первом томе. В своих стихотворных сатирах поэт выступил от имени среднестатистического интеллигента. В своем лирическом герое он с убийственной и горестной иронией

воплотил недуг бытия, жизненное банкротство «всех нищих духом» — все то, что всеми фибрами души ненавидел. Это: безверие, неврастения, рефлексия, никчемность и неумелость, отчуждение в отношениях с себе подобными, непонимание и боязнь народа, отторженность от природы и многое другое.

В какой-то мере эти качества были присущи ему самому, и саморазоблачение — это попытка освобождения, что называется, игра «ва-банк». перевоплощение было столь артистично-талантливым и убедительным, что читатели и критики рисковали отождествить жалко-смешного героя сатир с их автором. Порой и самого поэта начинали одолевать опасения:

Как бы мне не обменяться личностью:
Он войдет в меня, а я в него...

Право, так легко обмануться, принять за чистую монету наигранно-театральные и чуть шаржированные жесты и стенания. Тем более что за ними вразправдашняя и нешуточная боль. Везде, куда ни глянь: стандарт, шаблон, стадность... Безликие лица прохожих, «бездарно и безрадостно похожих, как несгораемые тусклые шкафы», «штемпеля готовых фраз», «граммофон в голове и груди» — бесконечно варьируется, неотвязно, как наваждение, преследует Сашу Черного эта тема. Тема утраты индивидуальности, тема стертости, омертвелости личности. Тема «не-свободы».

Круг замкнулся. Помните «принципиального «товарища», думающего и поступающего, «как все», — из анекдота Ивана Чижика? И это имя возвращает нас в смехотворческую вотчину. Коли Юпитеру было позволено смеяться, то присяжным сатирикам и юмористам на роду написаны всевозможные ряженья, розыгрыши, фанатерии, передразнивания... Там, в нижних этажах литературы издавна шла потеха. Каждый скоморох имел десятки уморительных псевдонимов, не несущих никакой смысловой нагрузки... Аполлон Рифмачев, Мандарин Плюнь-на-все, Граф Алексис Жасминов, Майор Бурбонов, Человек без селезенки... Цель одна — рассмешить, заставить улыбнуться. Буквально по пальцам можно перечсть случаи, когда за именем угадывалась маска, тип, характер, судьба — как было это, скажем, с Козьмой Прутковым или генералом Дитятиным.

Но вот возник «Сатирикон». Многое он унаследовал от родителей — сатирических и юмористических еженедельников минувшего века. Но привнес и свое, в соответствии с требованиями эпохи. Прежде всего это появление устойчивых масок-псевдонимов. Примечательно, что некоторые ведущие сатириконские авторы не укладывались в один какой-нибудь образ. Стихия импровизации подталкивала их к созданию все новых литературных фантомов, несущих какую-либо функцию (тематическую, жанровую, пародийную и т. п.). Заметим, что и в господских покоях прослеживалась (хотя и в меньшей степени) та же тенденция. Так, Зинаида Гиппиус удовлет-

воряла свою склонность к злоречию в язвительно-желчных критических пассажах, написанных от имени Антона Крайнего. Из мемуарной прозы Цветаевой известно, что М. Волошин, словно змей-искуситель, провоцировал поэтессу на литературную мистификацию. Стихи о России он предлагал печатать за подписью некоего Петухова, а романтические стихи отдать вымышленным гениальным близнецам Крюковым. Понятно, что фамилии предложены наобум, первые попавшиеся. Коль нужно — будьте спокойны! — Волошин, великий мастер на выдумки, сочинил бы что-нибудь экстраординарное, вроде Черубины де Габриак — возвращенного им на русской почве экзотического цветка. Возможно, именно с этого начинается мистификация, ибо, по мнению Волошина, «создать — это назвать по имени».

Иван Чижик... Имя это встречается на страницах «Зрителя» и «Сатирикона» не раз и не два. Еще не прочитав ни единой его строки, можно попытаться составить представление о нем. Кто он? Русский? Наверняка. Что еще? Ага: «чижик» — детская подвижная игра; либо птичка такая неунывающая:

Над самой головой насвистывает чижик
(хоть птичка Божия не кушала с утра)...

Возникает образ расторопного малого, этакого ваньки-встаньки. Про таких говорят: «мал да удал», «не ладно скроен да крепко сшит», «себе на уме»...

Однако от наших умозрительных домыслов пора перейти к собственно писаниям Ивана Чижика. В большинстве своем они по прозаической части. Первая вещь, в какой-то И. Чижик явлен собственной персоной, был «Вечер юмора». Написана она от имени мелкого чиновника (позднее автор несколько конкретизирует его сословную принадлежность: «Не имеющий чина сын коллежского асессора»). Короче: это «человек в бумажном воротничке», занимающийся письмоводительством. «Несложен и ясен, как дрозд», не подвержен интеллигентской мерихлюндии. Однако же культурные запросы ему не чужды. Вот почему и отправился он на вечер юмористов, а попал... в собрание Союза русского народа, то есть на съезд черносотенцев. Дабы проникнуть на это диковинное шизо-зоологическое представление, смелливый Чижик прикидывается «своим», пытается заручиться рекомендацией: «Послушайте, у меня один родственник есть. Мерзавец отчаянный». Право, он не так прост, этот Иван Чижик. Наивным лукавством, хитроватым простодушием он сродни Иванушке-дурачку из русских сказок. Придуриваясь («А что? Я ничего...»), он, как бы ненароком, контрабандно, «под шумок» выводит на чистую воду, выставляет напоказ дикость, пошлость, глупость и прочие скверны рода людского.

Его излюбленный прием — отстранение, когда обличает не автор, а вопиют сами атрибуты бытового и духовного обихода. Это

необычное решение нашло блестящее воплощение в так называемых «Бюджетах». Еще Цветаева как-то заметила, что «личность то, чего не скроешь даже в приходно-расходной книжке». И подлинно: в «Бюджете холостого чиновника» явлен во всей красе мирок этого зощенковского героя, еще не усвоившего коммунально-нэпмановский жаргон и изысняющегося с претензией на «галантерейный шик» невысокого пошиба: «Хозяйке сделал удовольствие ко дню именин» (нет чтобы сказать: сделал подарок). Не запишет: истратился на публичный дом или проститутку. Как можно-с! «Разрешение половой проблемы» — куда возвышенной и научней. Усмешка автора кроется в самом расположении, во взаимном соседстве статей реестра. Конечно же неслучайно приобретение сборника Бальмонта «Литургия красоты» перемежается с тратами на ваксу и средство от прыщей.

Еще одна особенность. В беспристрастных и якобы хаотичных финансовых фиксациях проглядывает «сюжет для небольшого рассказа» в чеховском духе. Так, следом за «Бюджетом холостого чиновника» появляется «Бюджет женатого чиновника». Соответственно, изменяется и подпись под ним: «Вступивший в брак, не имеющий чина и денег сын коллежского асессора Иван Чижик». Любопытно сравнивать оба «Бюджета» — ощутимо, как пункт за пунктом перечня затрат нарастает раздражение и ненависть к «ней». Раз за разом появляется выразительное слово «выпил» и естественно цифра против этого слова возрастает. Сюжет явно движется к «уксусной кислоте» и «прощальному письму к родителям». Но строчка реестра, предшествующая трагическому финалу: «Билет лотерейный», как бы дезавуирует глубину переживаний, обнаруживая их смехотворность. Счастливым выигрыш — и никаких проблем! Как просто! Фабульные коллизии и психологические мотивы можно найти в «Бюджете интеллигентного дачника» и в «Бюджете студента». Каждый из них как бы зародыш беллетристического или драматургического произведения: все «ружья» развешены по стенам, еще чуть-чуть и...

Ныне, на исходе двадцатого столетия, тексты эти воспринимаются в стиле «ретро». Будто ожившие рекламные объявления, где респектабельный господин усиленно предлагает пользоваться «Спермином» от полового бессилия или помадой «Гонгруаз» для ухода за усами. Либо как комически ускоренные кадры кинематографа, где под бравурное музыкальное сопровождение дама в отчаянии заламывает руки, не забывая демонстрировать туалеты.

Смею, однако, думать, что эти художественные документы представляют интерес прежде всего как срезы духовного состояния общества — документы, обладающие исключительной обобщающей и разоблачительной силой. Сегодня, за давностью лет, все чаще мы являемся свидетелями вздохов и крокодиловых слез о «России, которую мы потеряли». Ни к чему идеализировать. Да, были поразительные взлеты духа, были потрясающие художественные достижения. Но в подавляющей массе так называемое «образованное общество» состояло из обывателей, чей мещанский мирок очерчен «бюдже-

тами» Ивана Чижика. Его гротески тем убийственной, что он ничего не придумывает, не гиперболизирует. Просто-напросто, подобно андерсеновскому мальчику, освобождает взгляд от шор предвзятости и привычности, делая явной истину: король-то гол!

Вспоминается еще одна сценка из «Деликатных мыслей» Саши Черного. О том, как трое спорили, сколько будет дважды два: пять, семь или восемь... «А не четыре?» — спросил робкий голос. И тогда все трое с негодованием закричали: «Это старо!»

Почему-то представляется, что этот «робкий голос» принадлежит Ивану Чижика, обладавшему здоровым, ясным и свободным умом. Вот только насчет робости весьма сомневаюсь. В самом названии афоризмов «Деликатные мысли», равно как и в другом его цикле остроумных изречений и раздумий, озаглавленном «Наивные слова», явно скрыт подвох, лукавая усмешка простака, прекрасно сознающего свою правоту и превосходство над иными умниками.

Позвольте: но как соотносится этот образ с героем «Сатир»? Здесь важно уяснить, что литературные маски не есть нечто, взятое извне. Как нетрудно догадаться, и тот и другой фантомы сотворены из единой субстанции, именуемой душой художника. Процесс этот можно уподобить созданию Евы из ребра Адама. И это, живущее на печатных страницах создание зачастую ничуть не похоже на реального человека, их сотворившего, на того, с кем свыклись его родные и знакомые. Автор, извлекая его из каких-то потаенных закоулков души, и сам как бы постигает себя, свою неведомую сущность.

Итак, попробуем выстроить цепочку. Нам известен Саша Черный как человек «нищий духом», подверженный приступам тоски, пессимизма, опутанный паутиной бесплодных споров, ненужных визитов, мечтающий вырваться из четырех стен, из городского плена. Куда? Все равно — хоть к выдуманному К. Гамсуном лесному отшельнику Глану. Лучше «жить на вершине голой», чем среди «пошлых, подлых и ненужных». Увы, от себя не убежишь. Спасение в одном: в о с в о б о ж д е н и и «пленного духа». Недаром поэт задается вопросом:

Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?

«Веселый дух», ищущий освобождения, — вот ключ к пониманию природы дарования Саши Черного. Именно юмор как редкое и своеобразное мироощущение был залогом преображения поэта. Ибо, как справедливо сказано у К. И. Чуковского: «...юмор есть жизнеутверждающая, победоносная сила, несовместимая с душевной депрессией». В этом смысле «Саша Черный» — антипод «Ивана Чижика». От первого он старался избавиться. Второго... Со вторым сложнее. Была мечта о гармоничной личности, о встрече с человеком, «до конца во всем свободным, умным, смелым и живым». Была греза и надежда: «Есть мир иной на этой злой земле».

К этому миру, где царит лад, добро, любовь, причастны — кто же? — «конечно, дети, звери и народ» — те, кто впоследствии займет основное место в творчестве Саши Черного. И появление юморесок Ивана Чижика было первым шагом в этом направлении. Правда, путь к простоте и открытости отнюдь не походил на движение по прямой от пункта «А» к пункту «Б». Он лежал через пародийные, парадоксальные выверты, когда лицо и изнанка нарочно перепутаны. Словно какой-то веселый сатир-насмешник поселился в душе и подталкивал его к озорству и дураковалению. Показательны в этом отношении шутейные трактаты директивного свойства, как-то: «Руководство для флирта в квартире», «Совет человеку, который хочет остаться жить», «Новейший самоучитель рекламы» и т. п. Весь фокус состоял в том, что предписаниями этими следовало пользоваться с точностью «до наоборот» (в математике это называется доказательством «от противного»).

Попробуем разобраться, что кроется за одной из таких сатирических директив — «Поправки истинно-русских октябристов к министерскому законопроекту о печати». Нынешние читатели, вероятно, не заметили явную несурязицу в самой заглавии, которая была зрима современникам автора. «Истинно-русские» (то есть приверженцы «Черной сотни») соединены здесь с октябристами (партией крупного и земельного капитала), образовав некий гибрид. И понятно почему: и те и другие являлись убежденными монархистами, полагавшими — не без основания, — что смута и крамола, подрывающие основы власти, идут от печатного слова. Отсюда предлагаемые ими карательные меры и запреты. И как конечная цель — введение поголовного единомыслия.

Ах, так! В таком случае Саша Черный, надев на себя личину одного из «них», берется перещеголять самых рьяных ортодоксов верноподданнического идиотизма. Перехватывая инициативу («У реакции выдумки нет: «Бей жидов!», «Бег на месте!» и только»), он совершенно серьезно развертывает грандиозную программу по искоренению брожения умов, по превращению сограждан в законопослушное стадо. Пункт за пунктом программы он доводит эту идею до полного абсурда, тем самым являя ее на всеобщее посмешище.

А сама по себе идея не столь уж бредовая, как это может показаться. Ибо каждый режим (не суть важно, как он себя именуется — советский, фашистский или демократический) рассматривает средства массовой информации как мощнейшее оружие по зомбированию населения. Всегда найдутся добровольные ревнителы, облаканные властью, которые во имя высших гуманных целей и всеобщего блага будут призывать к запретам и репрессиям. Саша Черный метил в конкретную цель, но подлинная сатира потому и жива, и актуальна в веках, что затрагивает явление в целом. Может меняться знак, окрас (неважно, как они себя именуют — «левые» или «правые»), но суть одна — мракобесие, то есть монопольное право на правду, стремление отучить людей самостоятельно думать. И по-

тому, сдается мне, сатира Саши Черного представляет интерес не только как познавательная историческая ретроспекция.

Говоря о сатирической «кухне» Саши Черного, нельзя не сказать еще об одной ее особенности — двухголосии или диалогичности. Заметим, это свойство напрямую связано с амбивалентной природой его дарования, проявившейся уже в первом сатирическом произведении — «Чепухе». Эти злободневные куплеты будто специально были предназначены для комической пары в цирке или кабаре, составленной по принципу контраста. Один — этаким легковверный стоеросовый тугодум, выдающий что-то бодрое, официозное. Его напарник — человек практического и ехидного склада — тут же делает дополнение или разъяснение, выявляющее смешную либо гнусно-отвратительную изнанку вещей. Особенность эта проявляется даже в подзаголовках, которыми снабжены многие стихи Саши Черного. Автор как бы громогласно объявляет название: «Стилизованный осел» — и тут же а part сообщает: «Ария для безголовых». Или, провозгласив: «Гимн весне», не без иронии уточняет: «В современном стиле» и т. д.

По этой схеме: диалога, полемики — построены многие прозаические миниатюры Саши Черного. Вопрос — ответ. Форма, известная еще по анекдотам. Однако здесь примечательно то, что вопрошающий и отвечающий как бы слиты воедино. Из-за маски доверчивого простака выглядывает насмешливая, лукавая физиономия — кого бы вы думали? Конечно, Ивана Чижика. Это его инициатива заготовить заранее, на случай приезда в Россию западных парламентариев, «фразы» в таком роде: «Любите ли вы Францию?» — «Да, с каждым займом люблю ее все больше». Такие «вопросники» чем-то напоминали игру «в поддавки».

Пройдут годы. Саша Черный окажется в этой самой Франции — как эмигрант. Но пристрастия к всевозможным «руководствам» и «вопросникам» не утратит. Так, он напишет инструкцию для интуристов, которым в СССР морочат голову. Вопрос: «Почему этот подозрительный тип в кожаной фуражке ходит за мной по пятам?» Ответ: «У него вчера умерла тетья, и он совершает прогулку, чтобы немного развлечься». В этом же ряду: «Наблюдения интуриста», «Новейший комсправочник», «Эмигрантские разговоры», «Разговоры с дедушкой», «Детские вопросы». Последнее название, пожалуй, наиболее органично определяет нравственные истоки творчества Саши Черного. Ведь на «детские вопросы» труднее всего дать простые и ясные ответы. Своим простодушием и наивностью они возвращают нас к изначальным истинам, на фоне которых особенно разительны условности и фальшивые ценности «взрослого» мироустройства.

Здесь мы соприкасаемся еще с одним излюбленным приемом из сатирического арсенала Саши Черного. На первый взгляд он кажется прямой противоположностью «абсурдизации». Это возврат словам, метафорам и прочим условностям их буквального смысла. При этом создается уничтожающе-комический эффект. Обычно

Саха Черный прибежал к этому приему, встречаясь с профанацией искусства эпигонами символизма и авангардистскими ниспровергателями. Алогичностью тут не возьмешь. И тогда поэт начинает как бы подыгрывать им. Словно в детской игре: «представим по-нарошку», что будет, если этих «творцов» поселить в мире их извращенных видений и метафор. Таковы в поэзии Саши Черного «Песнь песней», «Недоразумение», в прозе — «Наглядное обучение».

Сюда же, вероятно, можно отнести необычный рассказ Саши Черного о студенте, который съел ключ. Рассказ, чем-то напоминающий иррационально-саркастические «Случай» Д. Хармса. Не сразу можно понять, откуда могла родиться такая полуреальная и жутковатая история. Напомню: действие разворачивается в Гейдельберге — там поэт слушал лекции в университете. Он оказался в насквозь прагматичном, до мелочей регламентированном, кичливом и корыстолюбивом мире немецкого филистерства. Можно понять, что в иные минуты русского студента, с трудом составляющего фразу на чужом языке, охватывала оторопь. Ибо достаточно нечаянной оговорки, одного неверно произнесенного слова, и этот чудовищный Голем, как ни в чем не бывало, методично изничтожит, поглотит всякого, кто не вписывается в его жутковатый порядок. Все это, конечно, фантазии поэта, сквозь которые просвечивает, однако, и морок кафкианского «Процесса» и «Замка», и образцовые фабрики смерти с газовыми камерами и складами волос и кожи, и медицинские эксперименты над детьми...

* * *

Довольно! Нельзя ли что-нибудь повеселее?! Ведь как будто начали с фиглярской и клоунской эксцентриады сатириконцев, являвшейся мизансценой общей театрально-маскарадной пьесы переломного времени. Изначально карнавальные и ярмарочные увеселения — это бегство от скуки повседневности. В какой-то мере это протест, на который не мог не откликнуться вольнолюбивый, «веселый дух» Саши Черного. Такое бывало в том же Гейдельберге, старинном студенческом центре в дни традиционных празднеств и гуляний:

Город спятил. Людям надоели
Платья серых будней — пиджаки,
Люди тряпки пестрые надели,
Люди все сегодня — дураки.

И вот начинается самое что ни на есть балаганное, разгульное и безоглядное веселье. Всякие хохмы и ряженья, токмо дурачества и озорства ради. Опостылела «одинаковость сереньких масок от гения до лошадей». Маски меняются то и дело. Возникают разовые псевдонимы — так называемые «оказиальные» (на случай).

Вот, к примеру, один из таких эфемеров. Переводя басню

французского поэта и актера В. Буше «Волк и баран», Саша Черный подписался: «Перевел Chat Noir» (т. е. «черный кот»). Здесь видится двойная шутовская аллюзия: «Chat Noir» — название знаменитого кабаре парижской богемы. А эпитет «черный» напоминает о псевдониме «Саша Черный».

Из того же ряда псевдоним «Кинто». Впервые эта подпись появилась под бесшабашно окинжаленной стилизацией «Тифлисская песня». Кинто — так в Грузии называли беспечного гуляку, неперменного участника и певца на праздничных застольях. Озорное имя пришлось, как видно, по вкусу поэту, и он еще пару раз возвращался к нему. Попутно заметим: не аукнулся ли «Кинто» в другом псевдониме поэта — «Sandro», стоящем под многими произведениями, обращенными к детям? Ведь Сандро — кавказская модификация русского имени Александр.

Однако вернемся к мнимым именам сатириконского маскарада. Атрибутировать их довелось лишь недавно. Почему так поздно? По сравнению с современниками автора потомки имеют некоторое преимущество: они обладают возможностью рассмотреть творческое наследие писателя вкуче. При этом в текстах, разделенных временем и пространством, нередко обнаруживаются улики, обмолвки, своего рода литературные «биллингвы» (т. е. совпадения), оставленные автором (разумеется, не специально). Существенным подспорьем могут служить при этом мемуарные свидетельства и факты, извлеченные из эпистолярного наследия, ставшего всеобщим достоянием уже после кончины писателя.

Именно таким образом был «рассекречен» «Буль-буль». Этот чересчур легковесный, согласитесь, псевдоним появился на страницах «Сатирикона» впервые в 1908 году. Эта подпись стояла под юмореской «Окрошка из профессоров» — шаржированном досье на преподавателей Женского медицинского института в Петербурге. Мельчайшие подробности аттестаций, цитаты излюбленных профессорских изречений и шуточек — все это выказывало в писавшем человека, коротко знакомого изнутри с институтской средой. В пользу этого предположения говорит и то, что через какое-то время Буль-буль выдал очередную порцию «медицинского» острословия. На сей раз это были комические перефразировки русских поговорок, якобы безбожно перековерканные профессором анатомии Р. Л. Вейнбергом, который был не в ладах с русским языком. Всего любопытнее то, что некоторые фразы из этих материалов Буль-буля перекочевали в произведения Саши Черного, появившиеся за границей, — рассказ «Письмо из Берлина» (1925) и сказка «Лебединая прохлада» (1932). Не будем делать поспешных выводов, но лексически эти фразы столь неординарны, что едва ли можно заподозрить случайное совпадение. Либо Саша Черный их запомнил (в памяти его мы уже имели возможность убедиться не раз). Либо — логично предположить, — что у всех этих текстов один автор.

В поддержку этой версии говорят сведения, содержащиеся в

мемуарных записях вдовы Саши Черного. В своих воспоминаниях она рассказывает о близкой подруге — В. В. Соболевой, преподававшей в Женском медицинском институте. Соболева, по ее свидетельству, ввела поэта в среду студенческой молодежи института. Именно отсюда медицинская тема в сатирах Саши Черного («Городская сказка», «Лаборант и медички») и в «профессорских» островах Буль-буля. Факт этот, думается, ставит окончательную точку в системе доказательств, не оставляя сомнений, что автором юморесок Буль-буля является Саша Черный.

Вот только еще некоторые соображения относительно возникновения этого странного «булькающего» имени. Видимо, в основе его лежит так называемая «домашняя этимология». В дружеском кругу нередко шуточные прозвища, выражения и словечки, понятные узкому кругу лиц. Возможно, что звуко сочетание «буль-буль» — это какая-то шуточная абракадабра, сопровождавшая импровизационные игрища, пародийные перевоплощения и затеи, в которых участвовал Саша Черный. Согласен: это из области гаданий. Но не совсем беспочвенных. Угодно убедиться? В мистерии «Слава, деньги и женщины» именно этот звуковой аккомпанемент сопровождает производимую дьяволом трансформацию — превращение «Человека» в... поэта Дмитрия Цензора.

Перевоплощение... Склонность к лицедейству, как уже не раз говорилось, неотъемлемая часть художнической натуры Саши Черного. Литературные маски, повторяю, необходимы были поэту для самовыражения. В гротескных и оксюморонных образах «Саши Черного» и «Ивана Чижика» находило воплощение его мироощущение. Все это так. Но в поэте всегда было и другое стремление — жадное желание прожить тысячи жизней, прочувствовать и увидеть мир глазами других людей и даже животных. Забегая вперед, скажу, что именно подобная способность проникнуть в инородную сущность позволила Саше Черному с такой убедительностью написать «Дневник фокса Микки».

Охота к лицедейству во многом шла от жизнерадостного «духа веселого», от актерского и пародийного таланта, который подталкивал, как бес под руку, подзуживал к «юморизации», копированию и передразниванию. Видимо, прав был Гоголь, заметивший: «Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого».

Подтверждением тому еще один потаенный псевдоним поэта, имеющий свою историю. Впервые он появился в последнем, рождественском номере «Сатирикона» за 1909 год, где печатался цикл эпиграмм на ведущих авторов «Сатирикона», составлявших его редакционное ядро, — на издателя Корнфельда, Аверченко, Сашу Черного, художников-карикатуристов Радакова, Ре-Ми, Юнгера, Яковлева. Цикл опубликован анонимно, но со сноской следующего содержания: «Настоящее произведение прислано в редакцию неизвестным автором под странным девизом «*Turdus sibi malum casat*»... Подозревая в авторстве одного из своих сотрудников, желая пробую-

дить в нем раскаяние и вывести его на чистую воду, — помещаем этот гнусный пасквиль целиком».

Латинское наукообразие девиза может сбить с толку только сегодняшних читателей. Современникам же, окончившим гимназию, не составляло никакого труда уяснить смысл этой по-школярски допотопно составленной фразы: «Дрозд, гадающий самому себе». Из всех адресатов эпиграмм поэт лишь один — Саша Черный; конечно же подозрение падает прежде всего на него.

Понадобилось более полувека, чтобы догадке нашлось подтверждение. Разоблачителями явились коллеги Саши Черного по эмигрантским изданиям, знавшие его лично, — Андрей Седых и Евгений Хохлов (согрудничал еще в «Сатириконе»). В мемуарах они цитируют по памяти некоторые строфы из этого анонимного сатириконского цикла эпиграмм, называя автором без всяких обиняков Сашу Черного. Можно полагать, что именно он посвятил их в редакционную тайну.

Впоследствии латинское имя «Turdus» (что значит «дрозд») опять всплыло на печатных страницах. По странному совпадению, как раз на тех, что находились под кураторским оком Саши Черного. Вначале это произошло в берлинском журнале «Жар-Птица», в котором Саша Черный заведовал литературной частью. Никому не известная подпись «Turdus» стояла под стихотворной стилизацией «Романс». Минуло еще несколько лет, и уже целая вереница сатирических миниатюр в прозе за подписью «Turdus» была напечатана в журнале «Иллюстрированная Россия» (1925), точнее, в отделе сатиры и юмора «Бумеранг», который затеял и вел Саша Черный.

Постоянство, с которым поэт возвращался через годы к этому псевдониму, заставляет задуматься: в самом деле, почему он выбрал себе имя «Дрозд», да еще в латинской транскрипции? Попробуем обратиться к Брему. Вот некоторые сообщенные им особенности поведения и характера дроздов: «Все дрозды богато одарены от природы, очень способны к передвижению, ловки, понятливы, смыслены, искусны в пении, оживленны и беспокойны, общительны, но не миролюбивы... Они не только робки, но и расчетливо-осторожны, смелы и в то же время недоверчивы... Все бросающееся в глаза, новое привлекает их внимание». Позволительно думать, что описания эти были читаны Сашей Черным еще на школьной скамье и что он невольно примеривал их к собственной персоне. (Из автобиографической прозы Саши Черного создается во многом схожий образ.) Кто знает, может, и однокашники прозвали его на латинский лад «турдусом»? Впрочем, все это относится к той самой «домашней этимологии», которую оставим за неимением конкретных фактов.

Но вот что определенно в данном случае заслуживает внимания в естествоиспытательских наблюдениях Брема, это то, что дрозды легко перенимают пение других птиц и делаются иногда настоящими пересмешниками. Есть даже дрозд-пересмешник.

Впору задуматься: так ли уж мимолетен этот самый «Turdus»? Право, не сродни ли он И. Чижика, тоже, к слову, носящему «птичью» фамилию? Веселость нрава, неистощимая страсть к перемешничеству и актерской имитации присущи были обоим.

* * *

Наш разговор постоянно касается театра. И потому пора, наконец, сказать собственно о зрелищных штудиях — театре масок как таковом в «малой прозе» поэта. В сущности, «Природа и люди», «Слава, деньги и женщины», «Смена», «Русский язык», «Чехарда» — не пьесы, а, как определил их сам автор, «сцены не для сцены». Затруднительно сказать, из какого вида зрелищного искусства они выросли. Это какая-то смесь ярмарочно-балаганных представлений в духе народного театра, фарсово-остроумных пьесок криво-зеркальцев с налетом отвлеченно-символистской драматургии М. Метерлинка и Л. Андреева (разумеется, в трагестийно-шаржированном преломлении).

В интермедиях Саши Черного участвуют, как правило, два действующих лица. Они лишены индивидуальных черт, это скорее маски, некие символы, аллегорические типажи, литературные персонажи, как-то: Мефистофель, кадет в чесуче, октябрист в альпака, дама с лорнетом, «обыкновенный человек» и т. д. Если в писаниях Ивана Чижика было ощутимо скрытое двухголосие автора, измыслившегося над «прописными истинами» современности, то эти диалогические пары не антиподы. Споря, горячась, они (действующие лица пьесок) утверждают по сути одно: авторскую позицию, его взгляд на ту или иную житейскую проблему либо явление искусства, увиденные сквозь призму негодования и отрицания. Именно такой разоблачительный заряд несет небольшая пьеса «Русский язык». Саша Черный «с незлобливостью черта» или «добродушием ведьмы» представляет нам арго трех герметических социумов: научно-интеллигентского, сугубо «дамского» и литературно-декадентского. Конечно, утрируя, «ломая комедь», он, тем не менее, затрагивал весьма серьезную проблему — вырождение родного языка в какой-то безликий, вненациональный «бранделяс» (словечко В. В. Розанова).

Пора, однако, определиться. Так кто же он, Саша Черный? Паяц и забавник? Весьма сомневаюсь. Может быть, тогда — зоил и пасквильянт? Что-то не верится. Ответ, скорее всего, содержится в высказывании Н. И. Страхова, утверждавшего, что «из-за настоящей пародии должен выглядывать тот взгляд на предмет, то лучшее и высшее его понимание, против которого фальшивит пародируемый автор». Именно так: сквозь карикатуры и гротески Саши Черного проступает его понимание мира. При этом приятие и отрицание слиты воедино. Сам поэт нашел точную и емкую формулировку этой парадоксальной нераздельности и двойственности собственного творчества: «Чтоб соловьи любви и гнева слетали вновь с безумных губ».

Думается, мы вправе отнести эти слова не только к поэзии Саши Черного, но и к прозе, в том числе и к тем сатирическим экспериментам, которым трудно подыскать какие-либо жанровые соответствия. Они много теряют при прочтении их безотносительно к автору. Вспоминаются слова В. Маяковского: «Я — поэт. Этим и интересен». И впрямь: интересно обнаруживать в юморесках и прочих сатирических мелочах пересечения, подобия, вариации уже знакомых нам по стихам тем, метафор, словечек... Попробуйте прочтите параллельно стихотворение «1909» и драматургический этюд «Смена», где речь идет о дремотной встрече старого года — одряхлевшего папаши с новорожденным отпрыском — годом 1909-м, о котором сказано:

Родился карлик Новый год,
Горбатый, сморщенный урод,
Тоскливый шут и скептик,
Мудрец и эпилептик.

Впрочем, теперь, в собрании сочинений поэта, читатель и сам найдет немало примеров подобных «ауканий» в стихах и прозе Саши Черного.

* * *

До сих пор речь шла о дореволюционном периоде творчества Саши Черного. В эмиграции смех его претерпел ряд существенных изменений. И чтобы понять их, придется прежде углубиться в область далекую от сатиры и юмора.

Социальный и общественный слом 1917 года не был случайностью. Произошел колоссальный выброс давно копившейся энергии, обернувшийся для страны и народа хаосом, бессмыслицей и разрухой... Лишь единая идея, скрепившая множество воль, амбиций, чаяний, могла спасти от общенациональной катастрофы. Как известно, такой идеей, своего рода новой религией, стала вера в царство общего благоденствия и справедливости, мечта о коммунистическом рае на земле. Пафос рождения нового мира, которым жили участники Октябрьской революции, по своей сути возвышен и прекрасен. Поверившие в этот идеал готовы были идти до конца, не считаясь с насилием и жестокостью, жертвуя и собственной жизнью во имя счастья, как им казалось, будущих поколений.

Так почему же Саша Черный, известный своими демократическими убеждениями, приверженностью к любви и добру, стал ярким противником благого, в сущности, деяния и чистых помыслов? Смеем думать, что решающую роль в выборе поэта, избравшего когда-то псевдоним «Сам-по-себе», сыграл индивидуализм. Деятели Октября мыслили космическими, общегуманными, отвлеченными категориями. На фоне борьбы за великое дело страдания и гибель отдельной личности были для них несущественны. Любовь к человечеству нередко оборачивалась бесчеловечностью в частных случаях. Для

Саши Черного путь к добру начинался не с отвлеченного, а с конкретного человека. Ничем он не мог оправдать несправедливость и проявления зла. Этот нравственный максимализм восходит к Достоевскому, не пожелавшему простить даже пролитой «слезинки ребенка».

Речь не о том, на чьей стороне правота, — это отдельный, сложнейший и едва ли разрешимый вопрос. Важно уяснить, что неприятие соборного, коллективного счастья явилось одним из решающих факторов, приведших Сашу Черного, как и многих субъективно честных представителей российской интеллигенции, в Белогвардейский стан, в число непримиримых врагов советской власти.

Изменился не Саша Черный — он-то остался верен старым идеалам — кардинально изменились обстоятельства жизни и, соответственно, адресаты его сатир. За рубежом они как бы раздвоились.

С одними все вроде бы просто и ясно. Это — «красные скифы», принесшие лихо на родную землю, пытающиеся утвердить там красноказарменный режим. В первую очередь, сатирик обрушивал свой гнев на вождей пролетарского государства. Затем — на их сообщников на фронте культурного обновления, полностью разделяющих коммунистическую идею, таких, как Луначарский, Горький, Маяковский, Демьян Бедный... Уничжительных реплик удостаиваются и те собратья по перу, кто после некоторых колебаний примкнул по тем или иным соображениям к победителям. Пуще всего разделяется он с теми «переметными сумами», с которыми еще недавно был связан приятельскими узами, — с А. Толстым, Василевским (Не-Буквой)... По его убеждению, «сменившие вехи» были прямыми наследниками Игнатия Лойолы — предводителя иезуитского ордена. Достается также главам европейских держав, пытающимся наладить дипломатический и торговый флирт с СССР. Даже просто сотрудничество с «людоедским режимом» Лиги наций или Ф. Нансена вызывало желчную отповедь Саши Черного. Недоумением, горечью, болью дышат его слова, обращенные к европейским знаменитостям, таким, как Г. Уэллс или Б. Шоу, которые с заинтересованной симпатией следили за революционными преобразованиями в Советской России. И подлинно: что может, собственно, понять «семидневный Одиссей», увидев красную новь сквозь «розовый монокль»?!

Впрочем, и взгляд Саши Черного на советскую действительность грешит односторонностью. Разве что с противоположным знаком. Приходится признать, что его антибольшевистские пассажи своей плакатной лубочностью чем-то сродни агиткам РОСТА, изображавшим буржуя в виде толстопузого мешка в цилиндре. Подлинную сатиру должны питать живые и непосредственные впечатления. Ему же приходилось довольствоваться вторичным материалом — рассказами очевидцев, которым удалось вырваться «оттуда», и газетно-журнальными публикациями, посвященными «угрю-

мому и ущемленному советскому быту, столь далекому и непонятному для нас (эмигрантов. — А. И.) сейчас, как Китай иностранцам». Отсюда — схематичность. Вместо полнокровной конкретики — умозрительная библейская символика (отождествление совдеповского функционера с братоубийцей Каином). Более удачными представляются пародийные переложения на «совнархозовский» или «рабкоровский» язык классических сюжетов («Краснодемон») или образчики «советского письмовника». Видимо, ему как писателю обращение к словесной стихии ближе и естественней. Тем более что Саша Черный, усердный читатель новинок советской литературы (Зощенко и др.), в достаточной мере был осведомлен в речевых метаморфозах послереволюционной поры и эпохи нэпа.

Вобщем же, сатире в изгнании суждена участь незавидная. Если «красномосковский кавардак» не возбранялось чеховстить почем зря, то смех над соотечественниками, лишившимися отчего крова, из последних сил налаживающими быт на чужбине и пытающимися при этом сохранить свое национальное самосознание, казался по меньшей мере неэтичным и кощунственным. «Лежачего бей осторожно, особенно если он брат твой — эмигрант», — предостерегал Саша Черный своих коллег по шутейному цеху. То есть смех, формально полностью свободный, сам воздвигал табу, которые нельзя нарушать, и формулировал «гигиенические правила», которым должен был неукоснительно следовать.

«Вегетарианская сатира» — это, сказать по правде, нонсенс. Надо ли удивляться тому, что острые насмешки Саши Черного малопомалу притупляется. Смех становится все более «незлобивым», «проказливым», что привело в конечном счете писателя к «Несерьезным рассказам». Впрочем, эта жанровая ипостась Саши Черного прозаика располагается за пределами данного тома.

Отсюда не следует, что мутный и разномастный уклад эмигрантского царства-государства достоин был лишь улыбки сострадания и умиления. Ведь зарубежная Россия представляла скол прежнего общества. Среди беженцев немало было таких, кто и на чужой стороне ухитрялся устроиться более или менее комфортно. Прежде всего это политики. Те, кто «прокурорствовал с партийной высоты» дома, продолжали с новым рвением предаваться этому занятию и за границей. Только здесь, на фоне общей беды, их политические разглагольствования, размежевания на левые и правые уклоны, фракции и течения, бесконечные выяснения: «куда мы идем? куда мы заворачиваем?» — представлялись Саше Черному еще более нелепыми, мелкими и чуждыми житейской сущности: «Одни совещаются, съезжаются и разъезжаются, другие в поте лица добывают свой хлеб насущный, — увы, без масла». Раскол этот, нравственный по своей сути, поэт ощущал чутко и четко. Здесь именно пролегал рубеж — рубеж лирики и сатиры Саши Черного в эмиграции. По одну сторону те, кто «из своей большой любви к России не делает профессии лихой». По другую — расцветшая на поверхности болезнетворного процесса плесень:

Валюта, декламация и ложь,
Развязная, заносчивая наглость,
Удобный символ безразличных — «наплевать»,
Помойка сплетен, купля и продажа,
Построчная истерика тоски.
И два десятка эмигрантских анекдотов...

Имя всему этому — эмигрантизм, то есть выставаемый напоказ надрыв, прибыльная эксплуатация подлинной трагедии и отчаяния. Следует заметить, что могущее вызвать душевную изжогу «ресторанное обслуживание тоски по родине» отнюдь не выдумка большевистской пропаганды. Это было. Равно как и «танцевально-кинжальные вечера». Последние сами по себе, вероятно, не заслуживают упрека, если бы... Саша Черный всякий раз предъявлял одну и ту же претензию к соотечественникам, тратящим изрядные суммы на развлечения, но не желающим приобретать русскую книгу и тем более — книгу для подрастающего поколения.

Было еще одно развлечение, вернее, зрелище, попадавшее частенько на зуб сатиры Саши Черного. Это — кинематограф, «волшебный новый яд» — такое определение дал поэт ему еще в до-революционную пору. Чем же это порождение цивилизации, так настырно втершееся в благородное семейство античных муз и граций, не потрафило Саше Черному? Может, почувал он в этих наивных, невысокого пошиба «оживших картинах» пугающий призрак грядущей масскультуры:

Серьезная толпа застыла пред экраном:
«Карнавал в Венеции», «Любовник под диваном».

В который раз неприятие, отрицание замыкается у Саши Черного на стадности и пошлости. Обе эти категории оставались таковыми и на Западе, давшем приют беженцам из России. «Великий немой» ориентировался по преимуществу на «сентиментальных прачек и смешливых консьержей». По своему уровню продукция эмигрантско-российских кинофирм («Усть-Сысольск-Парижфильм») не являлась исключением. Около кинематографа всегда крутились «фильмовые детоубийцы», как называл их Саша Черный, готовые переделать «Войну и мир» в сценарий из жизни ковбоев, либо состряпать нечто захватывающе-пикантное: «Чужой муж и жена под кроватью!»

Словом, с переселением за границу пороки, присущие роду человеческому, равно как и их носители, никуда не исчезли. Было где разгуляться веселому духу Саши Черного, который и в изгнании, в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях требовал выхода. Но обличение («ювеналов бич») постепенно уступает место смеху жизнеутверждающему. Ибо, как справедливо сказано у Спинозы: «Смех есть радость и потому сам по себе благо».

Все так, но худо то, что в эмиграции смеху «некуда было

приткнуться». Правда, изредка возникали сатирические издания — например, парижский «Сатирикон» или «Ухват», но век их был до обидного краток. Не потому ли Саша Черный рискнул однажды, дав угол «бездомной сатире и ее младшей сестре, беспечной утешительнице всех, юмористике» в еженедельнике «Иллюстрированная Россия». Так появился в 1925 году постоянный отдел сатиры и юмора «Бумеранг», своего рода журнал в журнале, возглавляемый профессором филологии Фаддеем Симеоновичем Смяткиным. Это был очередной розыгрыш Саши Черного, который, подобно Пигмалиону, вдохнул жизнь в героя своего давнего стихотворения «Городская сказка» — молодого филолога, влюбленного «по пятки» в медичку. Постаревший на четверть века, он перекочевал вместе с автором за границу и вот, оторвавшись от стихотворного образа, занялся редакторской деятельностью. Для пушей убедительности в журнале был помещен даже портрет профессора, который давал о себе знать в объявлениях такого рода: «Редактор «Бумеранга» принимает по понедельникам и четвергам от 4 до 5 часов утра в Люксембургском саду (пятая скамья от голубя, гуляющего обычно на дорожках вблизи статуи Весны)». В периоды летних отпусков, когда Саша Черный отдыхал на берегу Атлантического океана, соответственно передислоцировался и Ф. С. Смяткин, спешивший известить всех, что «по делам редакции он будет принимать на пляже в «La Boul—suz—Mer», в часы между приливом и отливом, кабинка № 13». Шутливая интонация как бы вовлекала читателей в атмосферу игры. Для них истинное лицо чудаковатого редактора было, по всей видимости, секретом полишинеля. За несколько «юморизованным» образом филолога Смяткина (как выяснилось, он был еще и острословом, сочинителем «домашних афоризмов») без особого труда угадывался Саша Черный.

Присущая Саше Черному склонность к игре, лицедейству, пародии нашла наконец наиболее полное и яркое разрешение. Недаром, видимо, именно в «Бумеранге» вновь всплывает *Turdus* — памятный нам «дрозд-пересмешник», сменивший здесь, правда, свое бывшее поэтическое амплуа на перо прозаика.

Из знакомцев в отделе, возглавляемом Ф. С. Смяткиным, встречаем А. Черного и Сандро. Однако гораздо больше имен новых, доселе неслыханных, большинство из которых, едва возникнув, исчезают.

Впрочем, не всем суждена участь однодневок. Из тех, кто примелькался, можно отметить некоего *Scriba* (т. е. «пишущий»). Невольно задумаешься: *Turdus* да *Scriba* — два сапога — пара, не в родстве ли они, часом? Можно присовокупить к ним еще одного «пишущего» — И. Канаус. Что-то латинское слышится в этом имени и одновременно смахивает на русское «каналья». Нет, не думайте — он не какой-нибудь там шаромыжник: тут же и аттестация прилагается: «Юрисконсульт «Бумеранга», бывший архитектор бывшей Житомирской городской управы».

Упоминание Житомира должно остановить наше внимание, равно как и упоминание таких названий, как Вильна или Рим, являющихся этапами в биографии поэта. Конечно, появление их в «Бумеранге» можно посчитать случайным совпадением. Но когда в этом эмигрантском журнале набредаешь еще и на Белебеевский уезд Уфимской губернии, то, право, трудно усомниться, что здесь не обошлось без участия Саши Черного. (К слову: когда-то именно в этот уезд выезжал гимназист 6-го класса А. Гликберг на борьбу с голодом.)

Вернемся, однако, к костюмированному балу «Бумеранга», организованному Сашей Черным. Не раз и не два возникает желание воскликнуть: «Ба! Знакомые все лица!» Вернее сказать, где-то мельком виденные. Ну как же! В стихах и прозе Саши Черного — и Капцан, и Некто в сером, и Рундуков, и Хрущ, и Степан Лось... Иные слегка загримированы, но при некоторой фантазии несложно распознать. Так, к примеру, Флит, по всей видимости, отпочковался от Ван-дер-Флита (из «Хрюшки»), либо от Фан-дер-Флита (из «Бала в женской гимназии»). Или вот еще одна запоминающаяся фамилия — Опопонаксов, отсылающая опять-таки к Саше Черному — к его «Кумысным виршам»:

В окно влетающий навоз
Милей струи опопонакса...

Неважно, что эта духовито-парикмахерская фамилия стоит не под произведением, а включена в текстовую ткань. Ибо все эти имена, названия и словечки, несущие на себе как бы «фирменное клеймо» Саши Черного и по отдельности немногого стоящие, будучи собраны в так называемый «литературный конвой», свидетельствуют в пользу данного автора-исполнителя — единого во всех лицах. Этому театру одного актера, этакому «человеку-оркестру» долженствовало явить миру не столько индивидуальные черты солистов, сколько некую обобщенную физиономию современной прессы.

Нечто похожее, помнится, уже имело место в судьбе Саши Черного — в пору его литературного дебюта. Тогда поэт-лирик, репортер-фельетонист вынужден был, ввиду малости штатов редакции, стать тем, что называется «и швец, и жнец», по собственному признанию, порой полемизируя сам с собой, выступать под разными псевдонимами. Но то была цель чисто утилитарная.

На сей раз стояло качественно иное задание. Отделу сатиры и юмора должно было скопировать в миниатюре журнал (или газету) — трафаретное, устоявшееся сочетание из передовицы, хроники, фельетона, рекламных объявлений, писем в газету... То был пародийный образ газеты, причем газеты сугубо эмигрантской.

Правда, эмигрантская печать по своим традициям и формам мало чем отличалась от дореволюционной российской периодики. Изменилось другое: подход сатирика к своим задачам. Ранее Саша Черный стремился исправить мир, пребывавший во зле. Теперь, в изгнании, его «улыбки и гримасы» преследовали иные цели — в

основном игровые, рекреативные. Ибо для поднятия и укрепления духа соотечественников, как воздух, был нужен беззлобный юмор. Не сарказм, не злое отрицание, а здоровый, непринужденный смех, выявляющий комическую суть предметов и явлений.

Обильную пищу для потехи, шутки, озорства предоставлял как раз газетный мир, известный Саше Черному не понаслышке. Такой пестрый, вечно спешащий и в то же время косный, упорно держащийся за стертые штампы, он давал возможность «дрозду-пересмешнику» проявить в полной мере свои способности к имитации, розыгрышу и другим шутейным выкрутасам. Похоже, бумеранговским маскарадом Саша Черный утолил жажду веселого лицедейства, сыграв одновременно десятки ролей.

Когда идея себя изжила (это случилось на 12-м номере «Бумеранга»), он отправляет редактора — Ф. С. Смяткина в кругосветное плавание, а потом сообщает о его скоропостижной кончине. Все было исполнено в традициях «Сатирикона». Точно так же разделились когда-то А. Аверченко и В. Князев со своими надоевшими или исчерпавшими себя масками-двойниками — Фомой Опискиным и В. Теткиным. Отдел сатиры и юмора в «Иллюстрированной России» продолжал существование, возглавляемый новым редактором — Псоем Сысоевичем Куроцаповым де Ляперуз (под этим псевдонимом скрывался, по-видимому, В. Клопотовский, известный под сатирическим именем «Лери»). Но это был уже другой «Бумеранг», без Саши Черного.

* * *

Мы приблизились к книге, занимающей особое место в творчестве Саши Черного да, пожалуй, и во всей русской словесности. Это «Солдатские сказки». Отдельные произведения печатались в эмигрантской периодике порознь, но собранные воедино уже после смерти автора, они составили именно к н и г у, отличающуюся редким стилевым единством.

Прежде, однако, о другом объединительном моменте — главном герое: простом русском солдате, шествующем из одной небывальщины в другую под разными именами и обличьями — рядового, денщика, вестового, раненого на излечении... По виду и не скажешь, что он герой. Чаще — невидный, сложения мизерного, словом — «михрютка». Диву даешься, как умудряется он вывернуться из любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Причем не только самого себя спасти, но выручить из беды и однополчан, и командира, а то и самого царя-батюшку.

...Как-то, беседуя с писателем и фельетонистом А. Яблоновским, Саша Черный поделился с ним своими наблюдениями и умозаключениями касательно излюбленного героя русских сказок: «Это, конечно, вор, ловкач, плут, человек удачи и счастья, который всех околпачил, всех надул и сух из воды вышел. Народ, который сказки создает, относится к вопросам морали с полным равнодушием. Нравственный облик героя для него безразличен. Но некоторая

жуликоватость и во всяком случае «ловкость рук» обязательна. Тот и хорош, кто надул барина, околпачил купца, обманул попа. Почитайте сказки Афанасьева и вы сами увидите, что здесь нет никакого преувеличения. Жулика народ действительно любит и любит его умом, его веселостью, его ловкостью и его удачей. Жулик всегда умнее всех. А что он плюет на мораль, тут греха большого нету. Так даже смешнее выходит».

Странное утверждение, не правда ли? Особенно в устах Саши Черного. Но несомненно одно: Саша Черный, которого нельзя упрекнуть в заемности и неоригинальности сюжетов, тем не менее воспользовался уже сложившимся в народных сказках образом, который можно считать одним из архетипов русского характера. В его сказках служивый отличается сметкой, удалой хваткой и хитроумной изворотливостью. Однако плутоватость тонет в целом море добродушного лукавства, наивного ребячества, светлого, радостного юмора и выдумки. Автор любит своего героя и заставляет любоваться им читателя. Нет ни малейшего сомнения в его порядочности, внутренней чистоплотности и опрятности, понятии о должном и недолжном, что искони составляло нравственную основу «кодекса чести» русского простолюдина. С каким самоуважением и достоинством держится он с сильными мира сего! Уважительность (не забудем, что он — рядовой, подчиненный) никогда не переходит в угодливость и подобострастие.

«А дрянненькое мещанство, — говорится в рецензии М. А. Осоргина, — выпадает на долю барскую (в сказках чаще — королевскую)». С придурью и самодурством коронованных особ либо всяких начальников и злыдней обоего пола да еще со всевозможной нечистью служивый справляется отнюдь не с помощью волшебства, а исключительно благодаря находчивости и прочих достоинств, поименованных выше.

При этом невольно вспоминается — кто же? — ну конечно Иван Чижик. Тот самый, что с простодушным лукавством выставил в смешном свете дурь и дичь окружавшей его действительности, одерживая верх над силами зла. Именно эта литературная маска позволяет перекинуть мостик от домашнего маскарада, интеллигентных междусобойчиков, двойничества и писательских переодеваний сатириконской прозы поэта к праздничному, карнавальному разгулу «Солдатских сказок», к амбивалентности народного смеха — смеха снижающего и поднимающего, убивающего и возрождающего (по Бахтину). Проступавший в Иване Чижике дух, звонкий и неунывающий, искал своего воплощения и слияния с неким идеалом, «до конца во всем свободным, умным, смелым и живым». И вот в конце концов, похоже, нашел то, что искал. «Иван Чижик» — имя это, право, было бы как нельзя кстати на обложке «Солдатских сказок», ибо повествование ведется от лица солдата-балакиря, неистощимого на шутку и бойкое, меткое слово.

При всем при том «Солдатские сказки» ни в коей мере не стилизация. Скорее всего, их следует отнести к сказу — редкост-

ной и сложнейшей разновидности повествования, ориентированной на устные, внелитературные речевые формы. С помощью средств художественного воплощения сказ можно рассматривать как лингвистическую маску, дающую возможность автору говорить от другого лица. Рассказчика, отделенного лексической дистанцией от автора, легко представить одним из персонажей, развлекающим своими байками и побрехушками солдатню где-нибудь на привале, в казарме или госпитале: «За синими, братцы, морями, за зелеными горами...»

Вслед за своим предшественником — автором «Левши» Саша Черный любит до чрезвычайности вставить затейливое словечко, относящееся к так называемой «народной этимологии»: Антигной, к примеру, или денатуральный спирт, живорезная палата, портманетка, чиркуль, вертисмент... Впрочем, такого рода словотворчество — лишь частность, одно из украшений самобытного письма «Солдатских сказок». Главнейшее достоинство — это исключительный такт и редкое чувство меры, с каким используется в сказках простонародная молвь. Ведь ничего не стоит скатиться в такую прянично-сусальную завитушечность. Но нет: словесный ряд «Солдатских сказок» ровен, как частокол. Ни одно фальшивое слово (типа «анадысь» или «инда») «не выпрет из общего лада».

Язык солдатских сказок бесконечно прихотлив, сочен, захватски-шаловлив. То зачистит раешником, то рассыплется дробью поговорок, да таких, что ни в одном словаре не сыщешь. Здесь не хватит места, дабы продемонстрировать все потешные и фасонистые речения, коими уснащена речь рассказчика и персонажей. Не лишне заметить, что говор их отнюдь не калька с традиционного языка русских сказок. В нем явственно ошутим привкус современности. Солдат в изображении Саши Черного «не вахлак» какой-нибудь. Коли надо, может «умственное разъяснение по всей форме сделать». Почему, положим, музыканты ремешками не затягиваются? Есть для этого свои резоны: «...и форс не допускает, и для легкости воздуха в подтяжках способнее: ежели брюхо поперек круто перетянешь, долгого дыхания тебе, особливо на ходу, не хватает. Обязательно себя в штанах, как в футляре, содержать надо, чтобы правильная перегонка нот из грудей в повздошную скважину шла». Вишь, как витиевато все разобрал! Видать, не только всю армейскую премудрость превзошел, но и у господ кой-чего перенял. «Грубый казарменный дух вентилируется писарской словесностью». А купеческий сын Петр Еремеев, «напаявшая вместо портянок штатские носки», изъясняется следующим образом: «Хочь и не видно, а все же деликатность и внутри оказывает». Или вот как аттестует денщик барыниного мопса Кушку: «Голландской работы собачка простого молока не трескает». За всем этим смешением стилей, высокого и низкого, таится добродушная усмешка автора. И еще: при желании можно уловить присутствующую в латентной форме тонкую издевку и чувство превосходства простого люда над господами и властителями.

Не будет преувеличением сказать, что другим главным героем «Солдатских сказок» является язык. В сущности, родная речь была тем богатством, которое вывез с собой каждый беженец, и единственное, что продолжало связывать с лежащей за тридевять земель отчизной. Недаром писатели эмиграции так упорно держались за русское слово — ему посвящены лингвистические эссе А. Куприна, М. Осоргина, Н. Тэффи... Последняя заканчивает один из своих филологических этюдов о языке ностальгическим вздохом: «Но не услышим уж мы на чужбине тонкого его плетения. А вот вспомнилось, и то отратно».

Таким образом, в своем обращении к национальным истокам Саша Черный был не одинок. Он публикует русские исторические народные песни о Петре Великом. Из хроники известно, что он читал в Париже доклады об апокрифах Лескова и о русских народных песнях по записям Гоголя. Вот как ответил писатель на новгородную анкету: «Если Деду Морозу не тяжело, — пусть принесет мне «Толковый словарь Даля» (старое издание)».

Любопытно другое. Ни один из собратьев Саши Черного по перу не отказался от своего индивидуального, уже сложившегося стиля. Никто из них не достиг, пожалуй, такого слияния с народным духом, такого растворения в стихии родной речи, как автор «Солдатских сказок». Феномен поистине загадочный. Ведь Саша Черный в общем-то городской человек. Да и по происхождению разве можно сравнивать его родословную хотя бы с С. Клычковым — автором «Чертухинского балакиря», вышедшим из российской глухомани, не чувствовавшим себя пришлым на деревенских посиделках. Право, откуда это у уроженца Одессы, выходца из еврейской семьи? Ответ следует искать, по-видимому, опять же в парадоксальности натуры и судьбы Саши Черного.

У О. Мандельштама есть пронзительное и поэтически емкое выражение: «Тянуться с жалостью бессмысленно к чужому...» Не это ли странное чувство было свойственно Саше Гликбергу с рождения? Даже не столько крещение и поступление в гимназию (что было все-таки в большей степени родительской инициативой), сколько побег из дома, отказ от «сыновности» (М. Цветаева), от потомственной фамилии стало, быть может, полуосознанным, но тем не менее непреложным выбором будущего поэта в пользу русского сознания и русской культуры. И все же, как далеко от этого шага до «Солдатских сказок», появившихся на склоне жизненного пути. Можно попытаться выявить хотя бы некоторые промежуточные вехи.

Впервые вплотную с простыми людьми Саша Черный соприкоснулся, когда был призван на срочную службу в армию. Был он вольноопределяющимся, то есть фактически тянул лямку нижнего чина. Много лет спустя он кое-что поведал об этом Б. Лазаревскому: «Мне было поручено обучать грамоте солдат в учебной команде, что я и делал с большим удовольствием — целых два года. А в свободное время слушал их рассказы, часто своеобразные, а иногда

будто наивные, многие из них запомнились так, что я их использовал почти через 25 лет...» Сохранилось еще одно свидетельство поэта о той поре — документальный рассказ «Случай в лагере», повествующий о чудодейственном происшествии, случившемся с ним. Сейчас такого рода необъяснимые явления получили название «полтергейст». Но на заре века... Первое, что приходило в голову, — проделки нечистой силы. Видимо, неспроста слова «солдат», «армия», «воинская служба» ассоциативно связались в сознании Саши Черного со всякого рода чертовщиной.

В дальнейшем, однако, контакты поэта с «низовыми» слоями и прежде всего с крестьянами носили эпизодический, случайный характер. Обычно попытки его, «тайного соглядатая», разгадать «загадочную русскую душу» наталкивались на стену недоумения, недоверия, даже враждебности. Редко-редко удавалось растопить лед отчужденности. И тогда (о чудо!) приоткрывались поистине бесценные и чудесные свойства русской души — будь то удивительные народные песни, исполняемые деревенскими девушками, или вышитое орловское полотенце, которое он спешит послать в подарок Горькому на Капри. Хотя — повторяю еще раз — подобные сближения, радостные прикосновения к истокам «этой крепкой и выразительной, родной и самобытной красоты» были редки и быстротечны и потому не способны были утолить жажду до конца.

Общая беда — первая мировая война вновь свела его с многоликой массой простого люда, с Россией, облаченной в серое солдатское сукно. Почти три года санитар А. Гликберг бок о бок, с глазу на глаз общался со своими подопечными — со смертельно раненым ли, жаждущим излить душу на смертном одре, либо с выздоравливающим, которому охота отвести душу, покалякать, загнуть забавную байку, приправив ее для пушего форса щегольским словечком. Казалось бы, только успевай записывать эти импровизации, бывальщины и небывальщины. Ан нет! Попытался было, и получилась опять сатира в прозе — «Техники», хотя в подзаголовке и означено — «Сказка».

Понадобилось много лет — скитаний по чужим градам и весям, ностальгии, осознания огромности потери и непоправимости свершившегося, прежде чем уклад былой жизни предстал очищенным от обыденщины и скверны. Как будто спала внешняя шелуха, и стало зримо крепкое, здоровое ядро, сущность бытия, духовная подоснова. Издалече оно виднее. И как-то сами собой отошли на второй план литературные ряженья. А тот единственный образ, который так долго чаяла душа Саши Черного, нашел свое наиболее точное и полное воплощение в... «мужицком пустобрехе».

Если угодно, то происшедшую с Сашей Черным художественную метаморфозу можно сформулировать чисто филологически. По складу своего характера Саша Черный тяготел к кинической культурно-языковой системе (отсюда его склонность к бунтарству, новаторству, сокрушению, иронии и абсурдизму). По воспитанию же он принадлежал к логосической герметике, для которой характерна

консервативно-охранительная, проповедническая тенденция. Эти две мировоззренческие установки непрестанно боролись в нем, попеременно беря верх и сказываясь в творческих и житейских метаниях и исканиях. Как выяснилось, едва ли не единственным разрешением мучительных противоречий и обретения гармонии явился выход из закрытой и полузакрытой систем на площадь, в толпу, растворение в гуще сниженной, разговорной речи, участие в «пире на весь мир».

Это так. Но все равно остается нечто загадочное и необъяснимое в том дивном преображении, что произошло с художником, в качественном скачке — от «улыбки сквозь слезы» к книге, заставляющей смеяться до слез, поистине вершинном достижении поэта в прозе. Если чтение прозаических «улыбок и гримас» Саши Черного требует определенных усилий, погруженности в проблемы и реалии давно минувшей эпохи, то «Солдатские сказки» — это книга на все времена. Ибо менталитет народа (наиболее полно воплощенный в языке) — то, что почти не подвержено изменению во времени. Здесь века и исторические катаклизмы оказываются бессильны. Не потому ли сегодня, в наше смутное и лихое время, когда мы нередко становимся свидетелями театра абсурда и театра Гиньоль (ужасов), вновь современно и публицистически злободневно звучат строки «Солдатских сказок»: «Аль у нас в России золота под землей не хватит, аль реки наши осокой заросли, али земля наша каменная, али народ русский в поле обсевок? Почему в эдакую прорву лет из решета в сито переливаем, а так до правильной жизни и не достигли?»

* * *

Приведенная выше цитата приблизила нас к области, как бы вынесенной за скобки темы, означенной в заголовке данной статьи, а именно к публицистике и литературной критике — к тем жанрам, где автор предстает обычно в незамаскированном виде. Впрочем, и эти выступления могут быть вписаны в «театр масок» Саши Черного. Их можно уподобить авторским ремаркам к пьесе, либо внедействующему лицу, комментирующему перипетии спектакля.

Талант публициста в творчестве Саши Черного проявился достаточно поздно — уже в послесатириконский период, а вернее сказать — в изгнании. В эмиграции ему довелось печататься преимущественно на газетных полосах или в журнальном еженедельнике; одно время он даже заведовал литературной частью журнала («Жар-Птица») — все это, само собой, не могло не привести в творчество Саши Черного черты журнализма. Пиком его продуктивности на публицистической ниве следует, очевидно, считать время сотрудничества в «Русской газете». Не обошлось оно, надо думать, без участия А. Куприна. Ибо именно в ту пору, сразу после переезда Саши Черного в Париж, произошло их дружеское сближение, продлившееся до конца жизни, а сам Куприн тогда помещал чуть ли не ежедневно на страницах «Русской газеты» полемически

заостренные статьи. Автор «Поединка», захваченный вихрем революции и гражданской войны, вот уже несколько лет как почти совсем забросил беллетристику, сменив «кисть художника на шпагу публициста». В Саше Черном он обрел верного соратника и единомышленника по борьбе с большевизмом.

Не они одни из писателей земли русской вынуждены были в эмиграции обратиться к животрепещущим вопросам общественности. Ибо, как сказано у Ю. Айхенвальда, «когда-то пишущему можно и не быть публицистом; теперь этого нельзя. Во все, что ни пишешь <...> неизбежно вторгается горячий ветер времени, самым событий, эхо своих и чужих страданий». Неудивительно, что публицистические выступления Саши Черного по большей части могут быть отнесены к памфлету — жанру экспрессивному, дышащему гневом и сарказмом, заряженному энергией негодования.

Конечно, сегодня, по прошествии десятилетий, зрима явная тенденциозность и несправедливость многих язвительных инвектив Саши Черного в адрес Советов. Так, эмигранты всячески поносили Советский павильон на декоративной выставке в Париже (1925). Обливали грязью (в переносном и буквальном смысле) выставленные экспонаты. Между тем молодое изобразительное искусство и архитектура Советской России, искавшие новые формы и средства выражения, занимали тогда авангардные рубежи в мире (Лисицкий, Родченко, Малевич, Мельников, братья Веснины...).

Ненависть всегда «слепа и непродуктивна». Однако не стоит судить Сашу Черного и его зарубежных соотечественников за отсутствие объективности и аналитичности. В их пафосе отрицания, в едкости злоречия и презрения была своя правда. В одночасье был потерян родной дом, привычный образ жизни, все, к чему предрасположена душа, отнята надежда на будущее. В чем, в чем, а в неискренности их не упрекнешь.

Следует заметить, что публицистический дар Саши Черного обнаружился много раньше, и обратил на него внимание не кто иной, как Леонид Андреев, чьи политические статьи о войне и революции составили золотой фонд отечественной журналистики. Из письма С. П. Мельгунова известно, что еще в 1911 году Леонид Андреев готовил к печати сборник публицистических статей, куда в числе прочих авторов собирался включить и статьи Саши Черного. Не оставляет он свою затею и в 1914 году. И вновь среди литераторов, которых он намеревался привлечь к сотрудничеству, — Саша Черный, о чем идет речь в письме А. Н. Тихонова к Горькому: «...он (Л. Андреев. — А. И.) очень за Черного и против Блока, говорит гнилое полено, которое ничем поджечь нельзя».

Были ли написаны уже в ту пору Сашей Черным статьи? Неизвестно. Возможно, Л. Андреев просто предугадал в Саше Черном публицистический талант, исходя из хлесткости его сатир в прозе и стихах, а может, на основании тех огневых филиппик, которыми раздражался поэт во время их совместных ночных бесед. Заметим, что блески этого дара памфлетиста разбросаны в эпистолярном

наследии Саши Черного. Иные его убийственно беспощадные оценки могут рассматриваться как фрагменты какой-то ненаписанной статьи или рецензии на литературные темы: «Вообще, в одной части русской словесности наступил лупанарно-лакейский период и все растет: издают во вкусе выигравшей 200 000 кухарки, крадут псевдонимы, переделывают «Войну и мир» для сцены, комментируют предсмертную икоту Толстого, выискивая то, что он написал на клякс-папире, хотя бы это была «тарарабумбия»... А рядом В. Тихонов угрожает толстым ежемесячником «Круговорот», где он будет с Баранцевичем и другими равноапостольными «хранить святые заветы русской литературы», как гласит объявление. В. Тихонов — провесной балык русской литературы, один из создавших «коллективный роман» в «Синем журнале» — и рядом «святые заветы!» (Из письма Саши Черного к А. М. Горькому. 1913.)

До поры до времени подобные отклики и оценки современного литературного процесса не выходили за рамки частной переписки Саши Черного, либо, облеченные в стихотворную форму, пополняли цикл «Авгиевы конюшни». Как литературный критик Саша Черный проявился в основном в эмиграции. Хотя основополагающие принципы и требования, предъявляемые им к собратьям по перу, определились много раньше, еще до революции. Ничего общего они не имеют с обывательским улюлюканьем толпы, которым извечно встречается все новое, необычное. Претензии Саши Черного лежат скорее в нравственной сфере, нежели эстетической, они основаны на традициях классики и заповедях гуманистической морали человечества. Их, в конечном счете, можно свести к пастернаковскому высказыванию: «Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». Каждой своей рецензии Саша Черный придавал значение некоей общественной функции, долженствующей воздать добру и злу по справедливости. Он и здесь оставался прежде всего поэтом. Среди литавров дружеских рецензий его отзывы звучали явным диссонансом, отличаясь категоричностью и максималистской неуступчивостью:

У поэта только два веленья:

· Ненависть — любовь.

Отрицание либо утверждение. Без полутонов. С безоглядной решимостью «рыцаря без страха и упрека», бросавшегося в бой на мельницы, Саша Черный оружием сарказма пытался бороться со снобизмом и «скверной игрой в литературу для посвященных». На его рыцарском щите впору начертать в качестве девиза слова Фауста: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».

В своей ригористически проповеднической позиции Саша Черный смыкается с Буниным, публично высказавшим свои антимодернистские взгляды в знаменитой речи 1913 года: «Исчезли драго-

ценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота, и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый».

Из этого вовсе не следует, что критические мнения Саши Черного во всем справедливы. Конечно нет. Они излишне категоричны, субъективны, пристрастны. Понятно, что таких писателей, как А. Ремизов, В. Нарбут, В. Брюсов, надо рассматривать всесторонне, как сложные неоднозначные явления. Но и Сашу Черного не следует винить в субъективности. Для него нынешние столпы «Серебряного века» были отнюдь не светочами и корифеями, оставившими свои портреты для украшения стен и поклонения, а живыми людьми, враждующими между собой, способными на эпатажные выходки и саморекламу, и т. п.

Были у Саши Черного высказывания и совершенно иного склада — когда писал он о тех, кто люб, кто по душе ему, — о Бунине, Куприне, Ахматовой, Тэффи... Безвременная кончина (Аверченко, Потемкин) заставляла забыть былые разногласия с коллегами по «Сатирикону» и воссоздать в слове привлекательные, самобытные, подкупающие душевной щедростью и юмором образы певцов «русской герани». Как-то Саша Черный обмолвился: «Про дурное-то слов много найдешь, а поди-ка опиши хрусталь...» Поразительно, но, вопреки собственному утверждению, Саша Черный находит какие-то незатертые, на диво простые и чудесные слова и речения, исполненные лада и ясности, будто и не принадлежащие желчному сатирику и иронисту. На этих легких и светлых страницах слышен наконец-то подлинный голос Саши Черного, почти свободный от пересмешичества, боли и обиды.

* * *

...Финал. Занавес закрывается. Как и подобает по окончании представления, главный герой выводит из-за кулис целую вереницу действующих лиц — актеров, еще не разоблачившихся, не снявших грима. Помимо Саши Черного, это и Иван Чижик, и Сам-по-себе, и Буль-буль, и Turdus, и т. д. и т. п. — пестрый театр масок, театр одного актера. Вызывают автора, но безуспешно. «Он, — как сказано в одной из мемуарных статей, посвященных Саше Черному, — был скромн и стоял с потупленными глазами в зале, на сцену не вышел».

Тем временем вернемся к блистательному началу, к самому подножью века, когда так упоителен, так заманчиво и обманчиво весел был маскарад, затеянный на литературном Олимпе. Сейчас возрос интерес к этому феноменальному явлению. Правда, внимание исследователей сосредоточено преимущественно на верхних этажах Парнаса — на эзотерических сообществах, на посетителях элитарно-богемных «башен» и подвальчиков. Однако и в самом низу иерархической лестницы карнавальные игрища шли вовсю. Быть может, даже более самозабвенно, разгульно и дразняще-дерзко, тем

самым как бы подтверждая древнюю евангельскую истину: «Дух дышит, где хочет».

«Пленный дух» Саши Черного, наделенный в высшей степени рефлексией, способностью к импровизации и перевоплощению, жаждал освобождения. Так вышло, что его личные мировоззренческие и художественные искания совпали с велениями и соблазнами века. К тому же мир смеховой культуры предоставлял бóльшие возможности для самораскрытия, поисков себя, своего «я», что в конечном счете, можно утверждать, завершилось освобождением духа в пленительной и самобытной органичности «Солдатских сказок».

Сатира в прозе, возможно, занимает не главное место в творчестве поэта, выполняя функцию своего рода экспериментальной лаборатории. Но именно в этих «улыбках и гримасах», в пестрой смене масок и личин нагляднее видна закономерность пути Саши Черного, удивительная цельность всего им написанного. Театр масок можно обнаружить и в его стихах, и в беллетристических произведениях, а в сочинениях, обращенных к маленькому читателю, тем более. Впрочем, это отдельная тема.

Анатолий Иванов

САТИРА В ПРОЗЕ

(1904—1917)

ДНЕВНИК РЕЗОНЕРА

I

«Скучно жить на свете, господа!» — говорил Николай Васильевич Гоголь.

Думаю, если бы великому юмористу пришлось жить в Житомире — ему бы к этим словам нечего было бы прибавить.

Может быть, Житомир здесь и ни при чем — ибо все наши провинциальные города, как почтовые марки, схожи между собой...

Но когда долго проживешь на одном месте и приглядишься к однообразной и несложной обывательской жизни, то свой «родной город» поневоле покажется особенно неприглядным и... «замурзанным»...

Со стороны, конечно, — «все обстоит благополучно»...

Чего у нас только нет! — два театра служат искусствам (а один из них и чему хотите рад служить), библиотеки поддерживают в юности память о Григоровиче и Данилевском, электрические фонари остерегают прохожих от опасности разбить голову о свои столбы, «наш городской трамвай», не торопясь, курсирует по улицам... Картина!..

Но, увы! Театры не делают сборов (даже «дивы» оперетки жалуются: «В Житомире не разживешься!»), трамваи возят по два, по три пассажира — не больше, боясь, вероятно, надорваться; у библиотекарей, при виде нового абонента, на лице немой вопрос: «Какая его нелегкая сюда занесла?» — а наши всевозможные общества влечат самое убогое существование, и все страдают «бледной немочью» от плохого питания.

Житомирец на карман туг — и дальше платонического сочувствия редко идет.

Пошленькая, прикладная мудрость всегда выручит: всем, мол, не поможешь, а паллиативы (любят у нас это слово) не должны иметь место в здравомыслящем обществе.

Что, мол, за помощь?

Как в народной песне: «Хвост вытащит — нос увязнет».

Ах, господа, «благоразумники»!

Вам бы широкой инициативы, больших средств — то-то бы вы себя показали... И красивых бы слов наговорили всласть, и другим бы дали поговорить...

Только чтобы на готовенькое, — чтобы и дело было налажено, — и деньги наши при нас остались...

Видали вы когда-нибудь, как два житомирца встречаются на улице? — Презабавно!

Неизменно, по доброму обычаю, один справляется у другого: «Что нового?»

Вопрошаемый обыкновенно в полном недоумении... даже испарина показывается... «Что нового?» — то есть, в каком смысле?

И ответ большей частью самый утешительный: «Ничего...»

Маленькое и такое простое это слово — «ничего», а сколько в нем обидного!

«Ничего нового» — это незаметная, но неотразимая, как смерть, судьба человека, который еще, по-видимому, живет, рассуждает, ходит в гости, сплетничает, но человек этот мертв и заражает все, к чему ни прикоснется его бессильная, дряблая рука.

Может быть, это слишком сильно... но когда день за днем только одно безотрадное, голое «ничего», — жутко как-то становится!..

Читатель, если он терпеливо до конца пробежит эти строки, конечно, будет озадачен...

Где же «злоба дня»? Как же можно без «злости дня»?

Пока у нас одна «злоба дня», приглядевшаяся и незаметная, — имя ей «спячка»...

А время принесет с собой какой-нибудь «пикантный эпизод»...

Иван Иванович поссорится с Иваном Никифоровичем (без этого они не могут!) — и доставят немалое развлечение окружающим, выкладывая всю подноготную своих делишек...

А пока лето вступило в свои права — будем же им с «чистым сердцем пользоваться».

И хотелось бы, чтобы этой пресловутой «злости дня» было поменьше...

Больно уж она у нас неприглядна! — дальше «скандальной хроники» и киваний друг на друга — все ничего не вытанцовывается.

Поживем — увидим...

II

Человек любит сомневаться.

Чем объяснить это обычное явление — не знаю.

Любознательным рекомендую порыться в «Популярных психологиях» Сытина *et tuti quanti*¹, там, говорят, все можно найти...

Мне же кажется, что есть особый «микроб сомнения».

Он носится в скученной и душной земной атмосфере наших

¹ И им подобных (лат.).

весей и городов и, не разбирая ни пола, ни возраста, ни звания, заползает незаметно в душу и начинает свою разлагающую, подтачивающую работу.

Сомневаются все — и во всем — старые и молодые, развитые... и просто глупые.

Каждый, конечно, по-своему...

Всегда, с незапамятных времен люди верили в свое «подрастающее поколение»...

Люди любили и берегли свою молодость... называли ее «молодыми побегими», «солью земли»...

Не то в наши дни...

«Наше поколение юности не знает...»

Спросите вы какого-нибудь «сомневающегося индивидуума» 18 лет, любит ли он Гончарова, Тургенева, Достоевского.

Назовите всех, кем гордится наша литература.

Ответ будет скор и лаконичен: «Устарели!», при этом молодой человек «делает умное лицо» и иронически на вас поглядывает...

«Старая школа, батенька!»

И вот после такого «пассажа» вы сами начинаете сомневаться в том, читал ли милый мальчик «устарелых»?..

И если читал, то не так ли, как гоголевский Петрушка?

Наконец, сомневаетесь и в том, читал ли он вообще что-нибудь, кроме «заданного»?

Сомнение, продолжая свою разрушительную работу, доводит вас до того, что вам начинает казаться — уж не представители ли переходной формации от обезьяны к человеку перед вами!..

И, смущенный и огорченный, вы торопитесь уйти...

Вам даже досадно: «Дернуло же спрашивать!»

Сомнение сделало свое дело...

Еще одна «иллюстрация» — подошли вы к вашей доброй знакомой «поболтать».

«Я вам не помешаю, добрейшая (имярек)?» — в тоне вашего вопроса уже звучит сомнение...

Вместо спокойной уверенности в себе — вы с глубоким огорчением замечаете, что голос у вас дрожит, «срывается с тона» — и вообще вы начинаете чувствовать себя прескверно.

Угрюмый и недовольный, вы добросовестно шагаете рядом, а в голове родится мучительный вопрос сомнения: «Зачем я подошел?»

«Особа», смущенная вашим «сугубым» молчанием, — сама приветливо обращается к вам.

Вас спрашивают о том, «как поживаете», «что поделываете» и «не думаете ли вы уехать»...

Но вы скучны, неинтересны... и не красноречивы.

Так или иначе — вы откланиваетесь.

В результате два сомнения — вы злитесь на себя, а попутно и на «добрую знакомую» — тоном глубокого сомнения задаете себе вопрос (в нормальном состоянии вы этого не сделаете): «Не дурак

ли я после этого?», а она начинает сомневаться в своей способности судить о людях вообще и о вас в особенности: «Я считала его интереснее».

Иногда до курьеза доходит!..

Сел человек «книжку почитать».

Увлёкся — книжка интересная и написана живым и убедительным языком.

Еще вчера он не был согласен ни с одной мыслью автора книги, но ему говорили, что книжка интересна, и он решил ее прочесть.

Страница за страницей — прочел.

И вот вчерашние «твердые убеждения» побеждены — ибо автор талантлив и подкупает искренностью и простотой — к тому же: «Где белое... и где черное?»

Где границы?

Сомнения стирают их, превращают мир то в «грязное пятно», то в «рай Магомета».

Настроения и сомнения...

Вот двигатели нашей жизни.

Мы слишком ленивы для труда, слишком неподвижны для поддержания связи между «словом и делом», слишком трусливы для собственных убеждений.

Отсюда вечный разлад между «внутренним» и той благообразной куклой, которую мы выводим в свет под своей фирмой.

Есть здоровое сомнение — разрушающее... и созидющее.

А полная неуверенность в себе, в наших силах, даже в том, «нужны ли мы на что-нибудь», — отсюда шаг до полного бессилия!

Сомневаться и жить настроениями в наше время, конечно, модно — но, Бог с ней, с такой модой!

И внесет ли эта мода здоровую и свежую струю в нашу жизнь?.. Сомневаюсь.

III

Каждое новое повременное издание, выходящее в свет, в статье «От редакции» высказывает свои взгляды на задачи печати, уповает на сочувствие читателей и обещает на своих страницах самое широкое гостеприимство для всех, «чающих движения воды», свое «*profession de foi*»¹...

Так ведется если не от сотворения мира, то со дня основания первой газеты, увидевшей свет.

Думаю, что составители письмовников допустили в своих руководствах важное упущение. Что бы стоило ввести особый отдел статей от редакции под общим заголовком «благими намерениями ад вымощен»?

¹ Символ веры, кодекс чести (лат.).

И поразнообразней — для изданий консервативных, либеральных, псевдо-либеральных, «хамелеонных»... и безличных.

Сбыт был бы, наверное, хороший.

Наше новоявленное издание также начало свою деятельность статьей «От редакции», как и полагается по установленному ритуалу.

Между прочим, газета поставила себе одной из главных своих задач — полное и всестороннее общение с читателем и посильную защиту интересов всех, кому эта защита понадобится может.

Общение это началось — но не знаю... радоваться ли ему или скорбеть? Начну с первого «общения».

Приходит крестьянин и рассказывает следующее: служил он банщиком в одной из местных бань.

В «заведении» дело было поставлено на рациональных началах, и от каждого своего служащего отбирали залог...

Прослужил человек четыре года и потребовал расчет... Выдали ему расчет, выдали и паспорт.

«А залог?» — «Какой залог?» — «Да как же! Восемь рублей моих, что я внес».

Господин «бановладелец» на это не без сарказма ответил: «Дал бы ты еще два рубля — было бы ровно десять... а теперь проваливай!»

Римляне называли это: *sic volo—sic iubeo*¹, а по-русски будет: «чего моя нога хочет». Пошел бедняк не солоно хлебавши — и направился в редакцию... Кто ему посоветовал — не знаю.

Есть, говорят, такое место, газетой называется... помочь не могут, а «общение» охотно поддержат.

«Есть у тебя расписка от хозяина о внесении залога?» — спрашивают его. «Была книжка, да артельный староста отобрал — хозяин, мол, переменить хочет» — весь ответ. Чем же тебе помочь, милый человек?

Будь у тебя хоть какой-нибудь «документ» — дело другое. Ну, хоть самая пустяшная расписка: «Выдан, мол, мною залог хозяину в сумме восемь рублей, а за меня неграмотного он же и расписался».

И чудесно было бы!

А так — что же?

Иной подумает: нагородил человек «с три короба»!

И залога ему не выдали, и надругались над ним, и «со всеми прочими так поступают» (по его же словам).

«Личные счета» были у него с хозяином, что ли?

Или темный хозяин вздумал «беллетристической» заниматься?

Помилуйте, какую канитель развел — канва для социального романа — и только!

И неужели все это «так» — «из пальца» человек высосал?..

На нехорошие мысли наводит даже...

¹ Так я хочу, так я повелеваю (лат.).

В самом деле — если между баншиками такие злонамеренные люди попадают, боязно и в баню сходить.

Возьмет какой-нибудь «шутник» да все пуговицы на одежде обрежет...

Иди тогда домой!

Или вместо мыла французским скипидаром вымажет...

Но отчего у бедного баншика было такое грустное лицо, когда он рассказывал о своих кровных восьми рублях?..

А ведь для него это немалые деньги...

Но, увы! — доказательств нет.

* * *

Было и еще одно «общение».

Оборванный, избитый и больной нищий пришел жаловаться.

Страдает он «черной болезнью», и потому работы ему нигде не дают.

Жить как-нибудь надо, — и он «просит милостыню».

Вчера ему посчастливилось — он собрал около двух рублей.

Городовые взяли его «в часть» за прошение милостыни.

«В части» у него городовые отобрали деньги и избили его.

«Видел ли кто-нибудь, как тебя били?» — «Никто не видел — Бог видел»... Вот в общих словах короткий и бесхитростный рассказ нищего... Следовало бы проверить тем, кого это касается, имеют ли действительно место такие явления в наших «участках»?

* * *

На прошлой неделе «южные» газеты сообщили о «печальном инциденте», имевшем место в г. Баку. Фабула несложная. Некий попечитель общества защиты детей совершил грязное и отвратительное преступление над девочкой-подростком.

Почтенный попечитель не был пьян... и был в своем рассудке.

Он был просто «голоден», судя по его словам...

Не под впечатлением минуты, не под наплывом животной страсти, а по строго обдуманному плану «защитник детей» обманул бедного ребенка и добился своей грязной цели.

В его родном городе эта «история» наделала, вероятно, много шума — в провинции пошуметь любят — был бы предлог!

Нашлись, вероятно, и такие, которые в этом проступке увидели только «фривольную шутку».

Интересно — чем эта «история» окончится?

Пошумят и перестанут?

И девочка из-под опеки общества защиты детей попадет со временем под защиту «общества помощи падшим женщинам»?.. И это все?

Такого рода «истории» не на четвертой странице печатать надо и не бисерным шрифтом, а крупными буквами, в черной кайме... и сверху написать: «Стыд и срам!»

Если даже мелких воришек преследуют и «удаляют из общества», то от такого рода господ нужно раз навсегда избавиться всякое сколько-нибудь культурное общество.

Хоть в клетку их сажать! Не учреждать же в самом деле при обществе защиты детей особый отдел для защиты этих детей от озверевших саврасов, потерявших всякое обличье человека...

Нехорошая «история»!

IV

Есть критика... и критика. Один из распространенных видов критики известен под видом «газетной полемики».

Главным орудием в ней служит обыкновенно не убедительность и не последовательное опровержение доводов противника, а... острословие.

Но острословие бывает различных сортов — да и не всякому оно дается...

Для иного газетного «деятеля» предлог «сцепиться» — находка, дающая неисчерпаемую тему для изощрения остроумия и злобы...

Быть злым нетрудно, но нужно уметь извлекать из злобы все нужное в данном случае.

И вот выработался особый вид чисто профессиональной злобы, которую выращивают и разжигают в себе писатели, именуемые «злобистами». Эта разновидность газетных работников специализировалась в так называемой «злобе дня».

Но на каждый день «злобы дня» не хватит.

О чем писать в глухой провинции? Скандалы бывают не каждый день, Дума и городская канализация — тоже не Бог весть какая тема, а варьировать на разные лады об одном и том же и прискучит... и повторяться будет. К счастью, выручает полемика...

«Бия себя в перси» — какой-нибудь беззубый Цицерон старается уверить уважаемых читателей, что все его доводы правильны и достойны внимания...

Но беда, если в каком-нибудь очерке «злобист» узнает себя или своего хозяина.

«Благородное негодование» не имеет тогда пределов — и наивный читатель действительно поверил бы иному борзописцу на слово, если бы не знал, что за это «негодование» деньги платят.

«Доброе имя» (которого и не было никогда в помине) оскорбленного вопиет об отмщении — и оскорбленному нет пощады!

Припомнится все: и родословная «с комментариями», и прошлое, настоящее... даже будущее... Припомнят, что у вас был дед (если не было, то выдумают), который краденными брюками торговал...

Озлобление растет, переходит в разнузданность, и сама полемика — в грязную ругань.

Не стесняясь ни правой, ни своей, многим известной репутации, строчит какой-нибудь озлобленный из «Проплеванного лист-

ка», строчит и «ядом дышит». Сгоряча он рад приписать другому все, что сам когда-либо наблудил. Делается это с непостижимым нахальством: если «злобист» всю свою жизнь занимался сплетнями в отделе «из выдуманных разговоров», если он клеветал на ближних и вторгался в их личную жизнь в «Письмах из Ганта», то все это за здорово живешь приписывается другому...

Все это называется «разделить под орех»... И только за то, что кто-нибудь осмеливается осветить «деятельность» зазнавшегося «писаки» сколько-нибудь правдиво...

Оригинальнее всего остроумие иных господ.

Точно волею судьбы они обречены не подниматься никогда выше «ретирадного слога». Имея в обращении иностранное слово «ассенизация», они вкладывают его в первую попавшуюся фразу — и думают, что критика от этого делается злой и остроумной...

Острыят, например, о «клочках бумаги, подобно той, что покупают в английских магазинах», забывая совершенно, что дело не в «клочках».

Есть, например, газеты большого формата (клочком никак не назовешь), а все их преимущество сводится к тому, что «клочок» используется один, а иной «большой газеты» на все семейство хватит (если уж говорить ретирадным стилем). Да и не в размере ведь дело...

Я знаю газету, которая начинала свою «деятельность» с размера носового платка, но платок этот не был чище той простыни, в размере которой эта газета выходит теперь.

Обвинение же некоторых «злобистов» в запускании рук в грязное белье — прямо-таки комично.

Кто же виноват, господа, что вся ваша «деятельность» ничто, кроме «грязного белья», не дает. Не спорю — можно быть хамом и наглецом по природе...

Бог с тобой — удобряй землю, но когда такие люди лезут в судьи и обличают других, тогда их нужно остановить, ибо они зазнались. А за хозяина заступиться, конечно, надо, — только «ретирадный стиль» иным «писателям» не мешало бы оставить — больно уж «душист».

V

Сегодня, кажется, пожаловаться нельзя — жарко, солнце светит «во все лопатки» — у прохожих от жары совсем разваренный вид — даже лошади (на что уж выносливый скот!) — и те понурили головы...

Иду по улице с опаской — выбежит чего доброго из-за угла какой-нибудь сбесившийся обыватель и икусает...

Положим, кусают не только бешеные, иной «писатель» только тем и занят, что ищет кого бы укусить — но этот народ все больше беззубый — не страшно...

Жарой доволен разве только трамвай...

Возить себе целый день потные туши житомирцев к Тетереву — глядишь, пятак да пятак — целый рубль набежит...

Но Тетерев от жары не спасает — вода мутная, теплая, да и воды-то самой «как кот заплакал»...

Жаль Тетерева! С каждым годом он все больше мелеет... и плешивеет.

Обнажаются камни, разоряют красивые берега — и от «картинности» (этих берегов) скоро одно звание останется. Приезжие дачники, наслышавшись о живописных тетеревских берегах, удивляться будут. Какой же это Тетерев — это «мокрая курица», а не Тетерев...

На днях как-то соблазнился хорошей погодой, взял лодку (верней, корыто) и поехал обозреть наши красоты.

Но что я увидел!

Десятки каменотесов, как дятлы, долбили своими молотками гранитные скалы, обнажая желтый песок, который с глухим шумом осыпался в воду.

А у самого берега стояло первое печатное произведение каменотесов — надгробный памятник...

Памятник по былой красе Тетерева!

Но в наш век промышленности не годится скорбеть «о красотах».

Польза прежде всего!

Зато другой берег в полной неприкосновенности. К чести просвещенного владельца «Зеленой рощи» — он не обращает своей рощи в дрова, а гранитные берега в булыжники для мостовых (невыгодно, должно быть!)...

И «Зеленая роща» все так же обаятельно красива, как в былые годы... Невольно ждешь, что из кущи зеленых деревьев выбежит к реке с резвым хохотом толпа дриад, спасаясь от бесстыжих фавнов...

Но очарование прошло: на тропинку вышел какой-то «грек из Одессы» — дачник, самым прозаическим образом уселся на скамейку и закурил папиросу.

Говорят, впрочем, что, когда «румяная Аврора» золотит верхушки елей «Зеленой рощи», в гроте у реки слышны иногда «шепот... робкое дыханье...». Говорят даже, что один чиновник, отправившись на заре купаться... увидел...

Впрочем, — чего в Житомире не говорят?..

Но вечером, попозднее, когда поменьше «купающихся» и катающихся, — словом, когда нет назойливой публики, — на реке хорошо... Тихо... берега молчаливые, точно задумались о чем-то; вдали поют «реве тай стогне...», сквозь деревья мигают дачные огни...

Остановишь лодку и смотришь, как звезды отражаются в воде, и забываешь, что ты, бедный человек, живешь в Житомире, что твое прошлое, настоящее и будущее одиноко неприглядны и тоскливы...

Однако я забрался не в свою область и в поэзию ударился...
Готов даже стихами заговорить:

Сонный Тетерев катится
В живописных берегах,
Луч луны в волнах дробится
И играет на камнях.

И на лунную дорогу,
Точно резвый рой наяд,
Выплывает понемногу
Легких лодок длинный ряд.

С весел вниз вода сбегает,
Вновь сливается с водой
И журчаньем нарушает
Ночи царственный покой.

Конечно, все это только — кажется.

Какой-нибудь франт, сев с лодкой на камни... ругаясь, нарушает... ночи царственный покой... и вы снова попадаете на землю.

Все-таки хорошо на Тетереве вечером, попозднее... когда никого нет...

<1904>

«АИДА» В ЖИТОМИРЕ

(В ПУБЛИКЕ)

Мне грустно потому,
Что весело тебе...

Лермонтов

Какой-то злой человек пустил в свет мнение, будто Житомир — музыкальный город. Мнение это усердно поддерживается местными рецензентами (ибо чем музыкальнее город, тем неизбежнее в нем рецензенты) и в особенности артистами-гастролерами, сохраняющими о нашем городе самые приятные воспоминания — «как нас там встречали!»

Нет ничего пошлее «ходячих мнений». Мнения эти не считают ни с логикой, ни с действительностью — они «установились» — и только. Вчера, когда я случайно попал в оперу, «музыкальность» нашей публики положительно отравила мне несколько часов...

И поделом! Сиди дома — и глупостями не занимайся. Мне все время казалось, что я сижу в южноафриканской деревне среди зулусов, к которым приехала на гастролы оперная труппа. Страшная

жара дополняла впечатление... При каждой пронзительной теноровой ноте у моих соседей справа и слева глаза вылезали из орбит, руки судорожно впивались в дерево скамеек — и казалось, что какой-нибудь увлеченный меломан того и гляди вскочит в рот распевшемуся артисту.

В наиболее патетических местах, когда артист «старался на отличку», восторженные слушатели начинали вопить «браво» до тех пор, пока певец не умолкал и не начинал раскланиваться с ценителями «чистого искусства». Таким образом, дело оканчивалось к взаимному удовольствию.

Да и как не покричать! Где же и разойтись бедному, угнетенному житомирцу как не в театре?

На улице вой подымеешь — возьмут в «часть» и, чего доброго, намордник оденут, а в театре даже считается приличным покричать немного. Даже распоряжение вывешивалось одно время: «Вызывать полагается до трех раз», но увлекающемуся человеку не до счета — ори, пока в глазах не потемнеет!

В партере публика посOLIDнее. Там царит сдержанность «хорошего тона», должен же человек, заплативший рубль с лишним, показать, что он не «на галерке» сидит. Но я был, к несчастью, «на галерке» и должен был претерпеть до конца.

Здесь все было «по-семейному».

Делились впечатлениями, не стесняясь ни соседями, ни ходом самой оперы. На сцене среди египетских жрецов и египтянок были добрые знакомые. Наблюдательные зрители их узнавали и выражали им свое сочувствие. «Видишь этого, второго от трона?» — «Ну?» — «Это Абрам Ш.» — «Неужели?»... Неузнавший Абрама блаженно улыбается и пялит на него глаза, пытаясь разглядеть его, и я начинаю бояться, что он того и гляди крикнет: «Абрам, это ты?» А позади меня какая-то чуйка все время брюзжит: «Ну и солдаты! Повернуться толком не умеет... Тоже представлять лезет». В страже фараона он узнал «земляков» — и он недоволен их «игрой». Недоволен и я — недоволен оперой, исполнителями, публикой, а больше всего самим собой... Душно, жарко... и скучно-прескучно. Раздражает решительно все — зачем шушукуются, зачем орут, зачем толкаются — и главное, при чем тут «Аида»? Какое-то чудовище облокотилось на меня, сопит и вздыхает, и поминутно отрывает меня от моих тоскливых мыслей: «А что дальше будет? А кто поет Амнериса?» — жду продолжения: «Откуда вы приехали?» и «Нет ли у вас папироски?».

Думаю, что самый хладнокровный англосакс, попав на нашу «галерку», потерял бы всякое терпение и сбросил бы неотвязного «надоеду» вниз в партер или, проклиная тот час, в который он решил пойти в «житомирскую оперу», сам бросился бы туда. Последние завывания на сцене, падает (или, вернее, сползает) занавес, и начинается сцена из Дантова «Ада». Галерка надрывается, топчет ногами — и добивается своего: выходят «залетные соловьи»,

кланяются, поднимают две брошенные в них из ложи розы и удаляются. Умилительно!

Публика, осипшая и довольная, валит в «курилку» и коридоры. Здесь идут оживленные прения и «обмен мыслей». «Как вам понравилось?» — «Ничего себе — только у Амнерис голос немного колыхается»... «А зато какое piano!» — «Эт! Разве это опера? Это не опера, а... (следует энергическое слово) — вот в прошлом году». Тоскливо прислушиваюсь к этим разговорам, а одна неотвязная мысль не дает мне покоя: при чем здесь «Аида»? Потом... что было потом?.. Подымался занавес, опускался занавес, на сцене пели «об упоенье, о страданье, о мести» — я им не верил, «публика» наслаждалась, бесновалась и выказывала «знаки одобрения» — я ей тоже не верил.

Не верил потому, что, если бы на сцене «семь коров тощих» пожрали «семь коров тучных», — эта самая публика пришла бы в еще больший восторг, вызывая дикими голосами прожорливых коров.

Житомирская публика криклива и наивна, как ребенок... Покажут ей откормленного господина с неприятными ужимками и скажут — это египетский вождь Радамес — она верит и радуется. Выйдут ли семь семитов и, воздев руки к потолку, завопят «гимн без слов» Озирису — публика верит, что это и есть египетские жрецы — верит и опять радуется... а если радуется, то обязательно кричит и оглушительно хлопает в ладоши. Чем не ребенок?.. Впрочем — каждый радуется по-своему — и каждый глуп... тоже по-своему, но когда в продолжение нескольких часов подряд видишь все это в массе — угнетающее впечатление производит!

<1904>

ДЕЛИКАТНЫЕ МЫСЛИ

<I>

Если бы Марфа Посадница была жива, она бы, пожалуй, не записалась в конституционно-демократическую партию...

* * *

«Правительственный вестник» завел свое собственное «Русское государство» — и дело! Ибо подлинное русское государство давно уже в «Правительственный вестник» колбасу заворачивает.

* * *

В древности человеческая злоба и темнота заключила Апостолов Петра и Павла в тюрьму. Ныне она воздвигла Петропавловские крепости.

Плюй, дурак, в колодец — придет час, когда тебя утопят в нем.

* * *

Что такое министерская добродетель? — Сие необъяснимо, ибо никто никогда таковой не видал.

* * *

Когда увидишь штаны с лампасами, не пугайся красного цвета — в данном случае он вполне благонадежен.

* * *

Не верь городовому: городской врет по долгу службы.

* * *

Запретить людям дышать — нелепо, но привлекать их потом к ответственности по статье 9999 за то, что они все-таки дышат, еще более нелепо.

* * *

«И возвратятся псы на блевотину свою». Увы, это оправдалось после 17-го октября...

* * *

Нынче все наыворот — раньше Ломоносов из Архангельска шел в университет, а теперь Ломоносовых из университета отправляют в Архангельск.

* * *

Балансируй, безногая министерская мудрость, — все равно упадешь!

* * *

Официальные сообщения — это те лохмотья, которыми тщетно пытаются прикрыть прокаженное тело.

* * *

«Человек происходит от обезьяны» — так учил Дарвин... Он не предвидел Победоносцева, иначе ему пришлось бы доказывать, что бывают случаи, когда и обезьяна от человека происходит.

* * *

Иногда достаточно убить человека, чтобы не быть им убитым.

* * *

Полевой суд, пулевой суд — а суда все не видно!

* * *

Реакция отрывке подобна.

<III>

Трое спорили:

— Дважды два — пять.

— Нет, семь!

— По-моему, восемь...

«А не четыре?» — спросил робкий голос.

Тогда все трое с негодованием закричали: «Это старо!»

* * *

«Не делай ничего, что глупо и ненужно», — пишет Рукавишников в конце своей четвертой книги!!!

* * *

Как можно добиться свободы печати в несвободной стране с наименьшей затратой энергии? Издавая газету, печатай в заголовке жирным шрифтом: «Свободные мысли».

* * *

«Союз русского народа»... Бедный русский народ! Это так же звучит, как «Союз детоубийц и растлителей имени Всеволода Гаршина».

* * *

«Дадим свободу инстинктам!» — вскричала девица, прочитав «Санина». «Осмелюсь по этому случаю взять вас за подбородок?» — спросил наивный собеседник. «Но вы с ума сошли!»

* * *

«Выше лба уши не растут» — ослы каждый день доказывают противное.

<1906—1908>

КАРТИНА

На горизонте багровые облака в форме тощих коров, пожирающих тучных.

В центре столб, смазанный декадентским салом. Наверху сидит

Слава, с лицом проститутки в венке из бумажных маков. Щелкает семечки.

Брюсов почти у перекладки, на которой давно отдыхающий Бальмонт говорит богине на ухо глупости.

Та краснеет и отворачивается: «Отстань, постылый!»

Под Брюсовым — Белый. Весь в мыле, глаза выкатились, пиджак треснул. Скользит, но лезет.

Еще ниже Блок. Беспомощно ерзает и старается схватить Бело-го за ноги. Тот дает свечку, и Блок съезжает по столбу вниз, где опять начинает свою Сизифову работу.

Все они начинаются на «Б». «Будущее» тоже начинается на «Б» — несомненно оно принадлежит им...

Вокруг столба сидят Кузмины, Рукавишниковы и пр. Высунули языки, смотрят вверх и завидуют.

В стороне Городецкий кушает траву, ловит мух и рассматривает, какого они пола. Остальное его не касается.

Вячеслав Иванов с трепетом следит за Брюсовым и шепчет: «Ну, ну, Валерий! Немного осталось».

На что Сологуб меланхолически замечает: «Слава дым... А в котором у меня ухе звенит?»

На заднем плане два начинающих играют в рифму:

— Ноздря.

— Зря. Фря.

— Сам ты фря! Ты настоящее скажи.

— Внедря... Хаос в себя внедря.

Первый удивлен и долго не может прийти в себя.

В это мгновение столб не выдерживает, раскачивается и наконец рушится. Общий крик. Подымается облако пыли, в котором все исчезает. На горизонте Слава уносит на Олимп маленький кусочек Бальмонта.

Облака расплываются.

<1908>

«ВЕЧЕР ЮМОРА»

(НА СЪЕЗДЕ У ИСТИННО-РУССКИХ)

Зашел к знакомому на огонек. Знакомый не весел: ходит — голову повесил.

— Пойдем куда-нибудь? — спрашиваю.

— На кладбище?

— Зачем на кладбище... Сегодня какое число?

— Одиннадцатое, понедельник.

— Вот и отлично — сегодня как раз вечер юмора. — Называю участников. — Поедем, а?

Сели в сани. Ветер, мороз. Чертовски далеко... Внутренности застыли, усы набрякли, в голове пессимизм.

Подъезжаем. Какая-то личность у подъезда любезно предупреждает: «Сейчас только началось». Благодарим. Тут же желтая фуражка тычет почему-то в нос «Русское знамя».

— Номер со списками, пожалуйста.

Разделись и подходим к столу. Женская фигура у билетов напоминает варшавскую детоубийцу из музея восковых фигур. Но ведь мы не для нее приехали...

С билетами, однако, выходит заминка. Знакомый начинает тревожно нюхать воздух. Подходит студент-распорядитель, на груди пестрый бантик, и...

В это мгновение кто-то вышел из зала и широко распахнул дверь. Жадно вонзаю глаза и вижу... не хрупкую фигуру Куприна, не ажурную Тэффи, а... огромного, упитанного мо-на-ха, перегнувшегося через кафедру и помахивающего руками. А над ним флаги, флаги, флаги...

Я успел только сказать: «Ах!» Знакомый мой ничего не сказал и сразу стал серьезный-серьезный.

Студент склоняет кислое личико набок (бородка — редькой, глаза-гляделки табачного цвета): «Нужен членский билет. В крайнем случае рекомендация...»

— Вы какого отдела?

— Мы, собственно, провинциалы. Знатные иностранцы.

— Нельзя-с.

— Помилуйте, вам же лучше — все больше народу.

— И деньги заплатим, — убеждает знакомый так участливо и тепло, точно он от рождения служил в Союзе. Но какой лицемер! А я еще считал его искренним человеком. Студент достойно отвечает: «Не нуждаемся!»

Смешно до истерики — глаза разбегаются, лицо дергает, вот-вот прысну — и пропал. Помилуйте, первый раз в жизни увидел живых черносотенников! Однако удержался.

Подходит еще студент с крещено-еврейской физиономией и штатский. Штатский неважный — такие в Народном доме зубами столы подымают.

Штатский строг: «Черт вас знает, какие вы люди. Репортеры тоже шляют, потом пишут — краски сгущают».

Знакомый уверяет, что мы ничего сгущать не будем. Помогаю и я...: «Послушайте, у меня один родственник есть. Мерзавец отчаянный».

— Так что же?

— Я думал, вместо рекомендации...

— А может, вы врете...

Крещеный еврей под моим наивным взглядом отводит глаза. Конфузится, верно. Посмотрел на брошюрки: «Правда о кадетах», «Ешь жидов», «Кишиневский погром». Н-да...

Так и уходим.

На лестнице знакомый задумчиво говорит: «Жаль. А вы заметили, они ничего».

— Как «ничего»?

— Да так — такие же, как все. Ничего особенного.

— Что же вы думали, что у них хвосты сзади?

Он разочарованно вздыхает. Вышли. Ветер истинно-русский, до голого тела добирается. Вечер юмора... «Простите, — говорю, — голубчик! Своими глазами читал в «Современной почте» — в понедельник, одиннадцатого».

— Прощаю, — а сам отворачивается...

С тоски пошли в кинематограф. Смотрели австралийцев, избивание кроликов. Австралийцы тоже «ничего» — люди как люди. «Как вы думаете, — спрашиваю, — их бы туда пустили без рекомендации?»

— Пустили бы — они черные...

Потом полисмены ловили жулика. Поймали и стали зверски бить по лицу. Околоточный перед нами издает одобрительные звуки. Видимо, заинтересовался. Залезаю к нему под череп и читаю: «Тоже... Франция — республиканская страна. А порядки русские — ишь как накладывают!»

Для одного вечера слишком... Вышли, помолчали, простились и разошлись. Полчаса ехал домой, полчаса ругался. Вечер юмора!..

Для моего знакомого это окончилось еще грустнее: увидел в темном переулке фигуру, поравнялся и: «Сударыня, какая у вас прекрасная ротонда! Нам не по пути?» Сударыня оказалась попом, поп оказался щепетильным и понял сказанное довольно превратно. В результате крупный разговор, оскорбление духовного лица и ночь в участке.

Пишу и плачу, понимаете ли, плачу от злости... до того обидно.

<1908>

КАК СТУДЕНТ СЪЕЛ СВОЙ КЛЮЧ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

(РАССКАЗ БЕЗОБИДНЫЙ В ЦЕНЗУРНОМ ОТНОШЕНИИ)

Русский студент попал в германский университетский город. Он был филолог, но записался на лекции химии и бактериологии, потому что он был русский студент.

Граматику помнил и даже знал, что *das Mädchen* среднего рода. Но не говорил. При этом ничего не понимал. Товарищи уверяли, что это от непривычки и что акцент у него очень хороший.

В одну ясную, летнюю ночь он возвращался домой из «Золотого солнца», где очень невредно провел время с земляками. Было двенадцать часов. Перед своей наружной дверью студент полез в карман...

Ключа не оказалось... Он похолодел: «Забыл, откажут от квартиры!» Луна показала ему язык, а дверная ручка надулась.

Студент пошатнулся, икнул и потянулся к звонку. Но звонок моментально расплылся в толстую физиономию фрау Бендер, которая подняла брови и отчеканила: «Будешь ночевать на улице! Пьяница...»

— Не ббуду! — возразил он и снова икнул.

Затем стал составлять фразу. Сначала по-русски: «Извините, госпожа Бендер, я забыл свой ключ...»

Потом перевел: «Verzeihen Sie Frau Bender... Забывать? Как забывать?» — «Gessen», — сказала дверная ручка.

«Врешь! Гессен — русский профессор... Vergessen, а не Гессен! Надо поставить в Imperfektum...» «Дурак», — сказала луна. — «Ну, в Perfektum... Глагол сильного спряжения. Ик! Ключ в середине. Рода среднего, потому что предмет неодушевленный. Ich habe mein Schlüssel ver-ges-sen!» — Он радостно нажал кнопку.

Звонок закричал тоненько-тоненько: «Шаро-мыжж-ник!» Через пять минут щелкнул замок. Фрау Бендер, со свечой и в халате, стояла в дверях молчаливая и грозная.

— Ich habe mein Schlüssel gegessen! — сказал студент и потом прибавил: «Gut Morgen, Frau Bender...»

— Вы пьяны? — спросила хозяйка.

Он подумал и сказал: «Нет».

— Ну, так вы сошли с ума!

Подумал и сказал: «Да».

— И съели ключ?

Он печально вздохнул: «Да».

Дверь с шумом захлопнулась. Фрау Бендер, как бомба, влетела к мужу: «Фриц! Наш жилец сошел с ума».

— Мы найдем другого...

— Да, но он съел свой ключ!

— Ключ стоит одну марку, — сказал Фриц. — Если продать его брюки, мы не потерпим убытка. Спокойной ночи.

Они уснули.

Студент стоял на улице. Бесился. Ругался по-русски, звонил, стучал... Все было напрасно.

Какой-то прохожий остановился: «В чем дело?»

— Я съел свой ключ... — жалобно сказал студент.

— Вы русский?

— Да.

Прохожий имел доброе сердце, взял его за рукав и привел к городовому на углу:

— Этот человек съел свой ключ... Сделайте что-нибудь с ним.

Городовой его не арестовал (это было в Германии) и вызвал карету скорой помощи. Студента увезли.

Дежурный врач осмотрел беднягу и спросил: «Большой ключ?»

Студент понял: «Десять сантиметров».

— О-о! — покачал головой врач. Случай был серьезный.

Когда несчастного захлороформировали и вскрыли ему живот, в нем ничего, кроме пива, не нашли.

— Вы меня нагло обманули, — вспылал оскорбленный немец. Но студент ничего не ответил, потому что он был мертв.

<1908>

СОВЕТ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ ЖИТЬ

Прикажи газетчику каждые три дня приносить другую газету.

* * *

Отчеты о заседаниях Думы пропускай вовсе.

* * *

Выпиливай рамки.

* * *

Не думай о прошлом, потому что оно прошло.

* * *

Не думай о будущем, потому что оно еще не наступило.

* * *

Люби женщин, если ты мужчина, и мужчин, если ты женщина.

* * *

Молодых поэтов не читай. Если совсем не можешь обойтись без чтения — читай сказки Андерсена и «Записки Пиквикского клуба».

* * *

Старайся поглупеть, если это для тебя еще возможно.

* * *

Найди семь знакомых и ходи к каждому раз в неделю обедать.

* * *

Спи, сколько влезет. Проснувшись, напейся. Напившись, усни.

* * *

Никогда не спорь, ибо все одинаково верят в свои заблуждения.

* * *

Упраздни совесть и вину родителей: зачем родили тебя в такую эпоху.

* * *

Не забывай, что в крайнем случае ты всегда можешь повеситься (если это не случится помимо твоей воли).

<1908>

БЮДЖЕТ ХОЛОСТОГО ЧИНОВНИКА

ПРИХОД:

Жалованье до конца моих дней	35.00
За сверхурочные вечерние работы	3.41
Занял у товарища (и не отдам)	1.50
Нашел на М. Подьяческой	0.10
<hr/>	
Стало быть:	40.01

РАСХОДЫ:

Комната (вернее, собачья пещера)	12.00
Стол (т. е. «обед») каждый день	9.00
Стирание белья и мелкая постирушка	0.77
Платок сам выстирал в умывальнике	0.00
Чай, сахар и плюшки с варьяциями	2.36
1 ф. табаку отборного «Сан-Тре-Макитра»	1.40
К нему спички и гильзы	0.35
4 бумажных воротничка «Монополь», фасон «Ренегат»	0.20
Такие же манжетки, 1 пара (красные в полосочку)	0.08
Омыл грешное тело дважды	0.40
Хозяйке сделал удовольствие ко дню именин	1.30
Разрешение половой проблемы	0.75
Последствия	0.48
Перелицевал брюки в третий раз	1.00
Кухарке за хорошее поведение и чистку сапог	0.50
На удовлетворение духовных запросов:	
1. Синематограф трижды по 30 коп.	0.90
2. Словарь иностранных слов подержанный	0.35
3. Выпил, т. е. это сюда не относится	—
Мыло яичное, шампунь, помада и пр. эстетика	0.65
На самообразование (30 №№ «Вечерн. биржев.»)	0.60
Выпил на свои деньги	0.24
И разбил хозяйское стекло	0.25

Бутерброды на службе (каждый день)	1.46
Керосин, стрижка и шнурки для сапог	1.10
Мелочи	0.02

Стало быть 36.16

Оставшиеся 3 р. 85 к. снес в сберегательную кассу на книжку.
Жить можно!

*Не имеющий чина сын коллежского асессора
Иван ЧИЖИК*

<1908>

БЮДЖЕТ ЖЕНАТОГО ЧИНОВНИКА

ПРИХОД:

Жалов., за вычет. 1/4 по исполнит. листу	30.00
Заложил все, что мог	12.70
Выиграл на бильярде	2.30
Украл из жениной копилки	0.90
Подали у церкви (по ошибке)	0.05
За переписку бумаг	2.40
Всего	48.35

РАСХОДЫ:

Берлога	14.00
Мешок картошки	2.00
Крупа, мука и прочий продукт	2.70
В мелочную лавку (чтоб она подохла!)	7.64
Жене бобковую мазь	0.20
Крем «Ренессанс», ей же	2.00
Соли три фунта	0.09
Ленты на шляпку, ей же	0.65
Табак, гильзы и спички	увы
Потерял в конке	0.07
Жене волосяной валик	0.75
Удовлетворение духовных запросов	увы
Веревку для подтяжек	0.04
3 воротничка «Монополь», фасон обыкнов.	0.15
Манжетки	увы
Выпил	0.24
Повивальная бабка, ей же	2.00
Разрешение половой проблемы	0.50

Выпил	0.36
Крестины (духовенство, водка и пр.)	4.43
Чай, сахар, ситный и керосин	3.96
Дюжина пива	1.20
3 фунта мыла Жукова	0.39
6 №№ «Вечерн. Биржев.»	0.12
Выпил	0.68
Детская присыпка	0.20
Выпил!	0.75
1 кокарда, не чернеющая	0.18
Выпил!!	0.93
Ботинки прюнелевые, ей же	1.25
Билет лотерейный	0.50
Уксусной кислоты для трех персон	0.30
Прощальное письмо к родителям	0.07
<hr/>	
Всего	48.35

*Вступивший в брак, не имеющий чина и денег
сын коллежского асессора
Иван ЧИЖИК*

<1908>

СЛАВА, ДЕНЬГИ И ЖЕНЩИНЫ

(МИСТЕРИЯ)

Участвуют:

Человек.

Канарейка.

Мефистофель.

Тумба в капоте.

Вечер. Темно. Четыре стены. На одной — канарейка в клетке. Человек собирает на полу окурки.

Канарейка. Ти-ти-ти-ти... Пить-пить-пить!

Человек. Дура желтая! Я, может, два дня не ел, а ты пить. Запьешь на дырявую копейку... Как же. (*Садится.*) Вот выводят господу Гёте разных чертей на свет Божий. Душевный черт — человеку помогает, цацкается, как с родным племянником, развлекает. У господина Лермонтова тоже демон имеется, только тот больше по женской части... Врут все, думаю...

Голос из-под кровати. Зачем же врут? Самолично можете убедиться.

Человек. Фантазия!

Голос. Какой несуразный человек! Вылезать, что ли?

Человек. Нет, ты постой, а может, ты мазурик?

Голос. Балда! Станет мазурик голос подавать.

Человек. Правильно. Ну, показывайся — никогда черта не видел.

Вылезает фигура в смокинге. Красный галстук, рыжая борода.
(*Гусиным басом.*)

— Имею честь! Мефистофель. Лучшие рекомендации...

Человек. Не надо. Хвост покажите на всякий случай.

Мефистофель. Помилуйте! Теперь не модно-с. Метрику, если желаете?

Человек. Эфиоп! Дворник я тебе, что ли? Так верю. Ну, садись и слушай.

Мефистофель. Есть.

Человек. Жить скучно...

Мефистофель. Скажите!

Человек. Обалдел, ничего не понимаю.

Мефистофель. Какую газету читаете?

Человек. Хозяйскую — «Голос из бочки».

Мефистофель. Серьезная газета. Книжками занимаетесь?

Человек. Читал Каменского. Обстоятельный писатель: кто, когда, с кем и где — все до тонкости. Однако раздражительно. В чувство придешь, а денег ни копейки.

Мефистофель. Пьете?

Человек. Какой вы черт, если вы все спрашиваете? Как сыщик! Говорю — скучно. В Думе был — скучно. В зверинце — тоже. При всем том никакого мирозерцания...

Мефистофель (*подумав*). Гм... Ну, так вот что: вы славы желаете?

Человек. Могу.

Мефистофель. И денег?

Человек. Ах, черт! Институтка... А еще с тебя господин Гёте писал.

Мефистофель. Ну вас! Женщин тоже?

Человек. Которые полные — обожаю.

Мефистофель. Vien¹. Так вы будете (*вращает белками*): Рукавишниковым! Раз.

Человек. Ах!

Мефистофель. Министром финансов. Два. И Дмитрием Цензором!!! Три!

Человек не выдерживает и падает в обморок.

Канарейка. Пи-пи-пи-пи! Цыц. Цыц-пыц. Цыц-пыц. Пик-пик-пик. Ти-вить.

Человек (*приходит в себя, слабо*). Запикала. Погоди радоваться-то. (*К Мефистофелю, истомно.*) Повторите.

Мефистофель (*властно*). Стоп. Становись в позу.

¹ Хорошо (*фр.*).

Репетиция мертвая. Глаза зажмурь. Побледней. Еще. Еще. Так. Под мертвеца играешь, чучело? Не дыши. Голос мокро-простуженный. Жестов — ни Боже мой. Готово. (*Грозно.*) Втирай очки!

Человек. Буль-буль-буль-буль...

Мефистофель (*рычит*). Втирай очки, отцу твоему вилка в глаз!

Человек (*жалобно*). Я втираю...
(*чревоуещает*)

Люблю
Виноградную гроздь
Очень. Вобью
Деревянный гвоздь...
Вобью? Ну да. Вобью.

Сбился. (*к Мефистофелю*) Куда вбивать-то?

Мефистофель. Цапля! По интуиции вбивай. Что ты меня спрашиваешь?

Человек (*обрадовался*). В читателя.

Брык. Все можно.
Что здраво. Что ложно.
Брык. Бя. Чик. Тля.
Я? Я! Я. Я.

Канарейка (*подхватывает*). Си-си-си-си. Пиль-пиль-пиль. *Comme ça?*¹

Мефистофель. Не мешай, дура. Видишь — человек делом занимается. (*Плюет на человека.*) Очнись. Здорово! У тебя, брат, талант. Ну, теперь под министра. Действуй. Тут учить нечему.

Человек (*скоропалительно*). Господин Мендельсон, одолжите деньжонок.

Мефистофель. Брысь.

Человек. Ах, господин Мендельсон, уверяю вас, вы не будете в убытке.

Мефистофель. Обеспечение?

Человек (*барабанит*). Железные дороги, леса, конские заводы, небо, вода и воздух, Государственный совет, добрые намерения и колонии малолетних преступников... (*Увлекается.*) Господин, пожалуйста, у нас покупали... Господин...

Мефистофель. Стоп. Теперь под Цензора. Я дама. Делай умные глаза. Самые умные. Еще. Еще. Так. Голову назад. Возьмись за стул. Пошел.

Человек (*центростремительно*). Пупочка! Смарагд! Позвольте вам понравиться!

Мефистофель. «Нельзя ли от вас избавиться?»

Человек. Никак невозможно, потому я — Дмитрий Цензор.

¹ Вот так? (*фр.*)

(Смертельным голосом.) Цензор! Тот самый, который страдал за народ. В «Старом гетто». Я надушу тебя опопонаксом, я задушу тебя рифмами, лирическими, патетическими, вулканическими, меланхолическими... (Лезет целоваться.)

М е ф и с т о ф е л ь. Ради Бога!

Ч е л о в е к (вынимает из кармана). Вот:

Я наполню воздух раскатами
Беспардонно-трескучих созвучий!
Синий вечер алеет заплатами,
И сгущается холод колючий.
Мы уйдем в дешевые дали,
Я тебя безжалостно брошу!
Разобью пустые скрижали,
Проклянута безумную ношу,
И...

М е ф и с т о ф е л ь. Много осталось?

Ч е л о в е к. Строк двадцать.

М е ф и с т о ф е л ь. Не надо. Вперед знаю. Приди в себя!.. Теперь прощай и слушай: я черт добросовестный. Попробуй. Если понравится — заключим условия у нотариуса. Нет — твое дело.

Ч е л о в е к. А куда ты подлинники денешь?

М е ф и с т о ф е л ь. Пересыплю нафталином и в сундук. Мир не заметит. Засим — честь имею! (Лезет под кровать и исчезает.)

П а у з а

Т у м б а в к а п о т е (заглядывая в дверь). Иван Петрович! В последний раз спрашиваю, когда вы за комнату заплатите?

Ч е л о в е к (в трансе). Брык! Буль, буль, буль... Брык.

Т у м б а. Божественно! Изумительно! Bravo, бис! Бис, bravo. (Кричит.) Собинов, bravo! (Пауза.) А как же деньги-то?

Ч е л о в е к (другим голосом). Госпожа хозяйка, одолжите деньжонок... Железные дороги, ветряные мельницы, поля, леса и конские заводы...

Т у м б а. Ах, ах! Что же ты до сих пор молчал? Сейчас, Ваше пр-во, не извольте волноваться...

Ч е л о в е к (скрежещет). Благодарю! Волшебница... Позвольте объять необъятное... (Обнимает ее.) Ах, и что я с тобой только разделаю! Не пощажу!!! Выпью. (Устало.) Позвольте прочесть одно лирическое. (Лезет в карман.)

Т у м б а. Ах, ах, ах, ах! Цензор! (Вонзается в него.)

К а н а р е й к а. Цыц. Чик-пик, чик-пик, чик-пик. C'est ça...¹

К р ы ш к а.

<1908>

¹ Это так (фр.).

АУТОДАФЕ

Claude Monet уничтожил целую группу картин, над которыми он работал три года.

Собираясь выставить их на суд публики, Моне подверг их собственному строгому суду и нашел их ниже своего искусства.

(Хроника)

Пример подействовал. Первым решился Бальмонт. Поэт-бабочка глубоко заглянул в себя, ужаснулся и выбрал из 24 томов 16 стихотворений. Остальное сжег. Горели и корчились «Кипящие здания», «Литургия уродства», «Ко-фейные сказки», «Жар-Птица», переводы из Шелли и пр.

Плакал так, что чуть не залил огня — потом успокоился и через Ремизова поступил в Крестьянский банк на тридцать рублей.

Брюсов долго не решался. Перечитывал еще и еще свои «Chefs d'oeuvre'ы», но с каждым разом становился мрачнее. Наконец, сжег. 10 стихотворений все-таки оставил. А. Белый, как человек практичный, продал бумагу на вес.

Вырученные деньги пожертвовал на основание «сумасшедшего дома имени Андрея Белого».

Блок оставил стихотворений тридцать.

Кузмин сжег все и поступил в мужской монастырь.

Особенно ревел Рукавишников. Он был прилежен, как немец, плодовит, как кролик, самоуверен, как бык...

Но совесть вопияла громко и настойчиво. Стихи горели хорошо — потому что были деревянные. Когда остался один пепел, поэт сжег самого себя. Он знал, что *не* писать он уже не может.

Сологуб сжег «Навыи чары» и сказал: «Пока довольно!»

Куприн бросил в огонь «Морскую болезнь» и два ненапечатанных рассказа. Хотел жечь дальше, но его охватила такая лень, что он махнул рукой и поехал в «Капернаум».

Городецкий соригинальничал — утопил свои стихи в Фонтанке, а сам открыл табачный магазин.

Арцыбашев сжег «Санина» (все издания) и, чтобы быть последовательным, отрубил себе правую руку. Причем оказалось, что кровь у него холодная и черного цвета.

Жгли все — большие и малые, старые и молодые, в радостном просветлении и любви к человечеству.

Как ни странно — эпидемия не захватила только художников. Они собрали экстренный совет и большинством голосов решили, что Claude Monet несомненно сошел с ума и потому его пример ни для кого не обязателен.

Через год Россию нельзя было узнать.

Число грамотных увеличилось на 50%.

Самоубийства почти прекратились.
Любовь к книге и уважение к печатному слову возросли бесконечно.

Благодаря уменьшению мужеложства, скотоложства и птицеложства прирост народонаселения повысился на 45%.

Открылось множество переплетных, так как книги стали переплетать.

Климат в Петербурге значительно изменился к лучшему. Число сумасшедших, растлителей и кретинов упало до нуля.

Ожидали введения конституции, так как не было больше причин ее откладывать — граждане созрели.

Claud'у Monet поставили в Александровском саду великолепный памятник: великий художник был изображен в тот трагический момент, когда он сжигал осужденные им самим картины.

<1908>

БЮДЖЕТ ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ДАЧНИКА

(с 20 мая по 20 июня)

ПРИХОД:

Занял у прислуги	2.50
Три лирическ. стихотворения в «Трущобе»	25.50
Ужением рыбы выручено	1.20
Пилил дрова у соседей	1.03
Продано татарину:	
1) портрет Толстого в плюшевой раме	1.00
2) костюм купальный ненадеванный,	
3) история культуры — Дрэпера	0.35
Занято неизвестно у кого в пьяном виде	11.52
За побитое лицо по приговору миров. судьи	9.00
От тестя	125.00
	<hr/>
Итого	177.10

РАСХОД:

Villa (за одну треть)	30.00
2 сажени осиновых дров (кругляки)	9.00
Алкоголь, бумага и чернила	5.60
Гамак жене	3.00
Купальный костюм жене	3.20
Стрижка под нулевой номер	0.20
Пострижение пуделя	1.00
Шляпу с маками (жене)	12.00

Укушенный бешеной собакой, привился	3.00
Шляпу с виноградом жене (корова!)	15.00
1 фуфайку теплую по случаю лета	2.60
2 печки керосинов.	16.00
Войлок на обивку себя, жены, пуделя и дачи	1.85
Набрюшник заячий жене	2.30
Неуплачено за 3 лирич. стихотв. в «Трущобе»	25.50
Зеленщик, мясник и булочник	неуплачено
Детская лопата для физическ. труда	0.25
Белые туфли супруге	4.75
Неизвестно на что супруге	10.00
Старая шляпа у татарина (себе)	0.38
Прислуге	неуплачено
Штраф за порванное пуделем чужое пальто	9.50
Ошейник пуделю	2.25
Намордник пуделю	1.75
Библиотека	0.50
Порошок от блох	0.35
Букет соседке	0.80
Корсет соседке	2.40
«Спермин» (себе)	3.00
На лечение побитого лица	2.90
Прачке	неуплачено
Привитие оспы (себе, жене и пуделю)	1.50
Купальный костюм пуделю	1.20
Моментальная фотография (супруги и пуделя)	0.30
Яду пуделю	0.42
Прописка паспортов	1.10
Похороны пуделя	3.50
	<hr/>
Итого	177.10

<1908>

МЕРЫ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПРОТИВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОЛЕРОЙ

1. Стихов Рукавишника не читай.
2. Если случится по ошибке пожать руку Меньшикову, обмой оную сулемой.
3. Водку пей только кипяченую. Закусывай лимоном.
4. Рекомендуются носить набрюшники из думских речей Гучкова. Очень помогает.
5. Повесь над кроватью карточку г. Оппенгейма. Отличное дезинфекционное средство.
6. «Новое время» читай в перчатках.
7. Сырых женщин не целуй.

8. Если имеешь деньги, уезжай в Европу. Там холеры не бывает.

9. Увидев союзника на улице, перейди на другую сторону.

10. Трамваев не избегай. Зарезанные трамваем холеры не боятся.

11. Хорошо питайся и помни, что холера — болезнь тех, кому нечего есть.

12. Пой патриотические песни после каждой еды.

13. Заболев, не забудь заявить дворнику о выписке и послать благодарственную телеграмму городской Думе.

<1908>

ПРИРОДА И ЛЮДИ

(КОНЕЦ СЕЗОНА)

Финский залив. Туман, тучи, скука и холод. Дамы, мужчины и собачки гуляют парами. Море волнуется, ветер с севера.

1-й д у р а к. Я иду. Она назначила в 1/2 шестого.

2-й д у р а к. Но, mon cher¹, будет дождь, и ты испортишь серый костюм.

1-й д у р а к. Слово, данное женщине, дороже серого костюма...

2-й д у р а к. Уверяю тебя, она тоже не придет. Женщины не рискуют своим туалетом.

1-й д у р а к. (Делает вид, что думает.) Ты прав, мой милый. Идем в кафе. Эта па-года расстраивает все наши планы. (Уходят.)

К а д е т в ч е с у ч е. Взгляните на это небо, море и песок... Отсутствие солнца, тепла и красок разве может что-нибудь породить кроме индифферентизма и отупения? Изо дня в день, из года в год...

О к т я б р и с т в а л ь п а к а. (Зевает.) Совершенно верно.

К а д е т в ч е с у ч е. Как могут проникнуть в общество и в народ конституционные идеи, когда у нас сама природа разлагается... Конец июля — и такая мерзость. Взгляните на Францию, взгляните на Италию...

О к т я б р и с т в а л ь п а к а. Совершенно верно... (Ядовито.) Но взгляните и на Англию... А? (Уходит.)

1-й б р и т ы й. Как ты думаешь, придется отменить?

2-й б р и т ы й. Погоду? Хе-хе. Ну-ка, отмени...

1-й б р и т ы й. Черт! «Роковой дебют», а не погоду... Посмотри, декорации-то какие зловещие...

2-й б р и т ы й. Вот тебе и сбор! Хоть в кулак свисти... Подумать только, от какой мелочи зависит иногда искусство...

1-й б р и т ы й. Ты без зонтика?

2-й б р и т ы й. Фи, мой милый! Артист и с зонтиком!

¹ Мой дорогой (фр.).

1-й б р и т ы й. А вдруг дождь?

2-й б р и т ы й. Против стихии не пойду... У тебя есть мелочь?

(Уходят.)

К у п ч и х а с м о п с о м. Вы поверьте, голубушка. Первое средство, и время приятно проведете.

К у п ч и х а б е з м о п с а. Да где же я, Марта Павловна, сорок лысых наберу? У меня и знакомств таких нету.

К у п ч и х а с м о п с о м. Пospрошайте у хозяйки, в лавке, да у дачников. Авось наберете...

К у п ч и х а б е з м о п с а. А дальше что?

К у п ч и х а с м о п с о м. Потом списочек составьте и на перекрестке в мелкие клочочки и изорвите. Только уж полностью: имя, отчество и фамилию. Чина не пишите. И которые с плешкой, тех не надо. Самых форменных лысых выбирайте. Удивительно помогает. На другой день не только дождя, малейшей тучки на небе не найдете.

К у п ч и х а б е з м о п с а. Да что вы? Вот не знала...

М о п с. (Про себя.) Р-р-р... Как пошло! Разве и мне сорок куцых собак найти для нее. Суеверие!

(Уплывают.)

Д р а м а т у р г. Какие мысли могут расцвести под этим небом?

П о э т в г а л о ш а х. Тоска безнадежности.

Д р а м а т у р г. Это погода? Это жизнь? Когда я был в последний раз в Испании...

П о э т в г а л о ш а х. Посмотрите, какая хорошенькая...

Д р а м а т у р г. Где, где? (Спохватываясь.) Я сломал перо, понимаете, сломал. Пять раз начинал — переделывал, отделявал — все не то. Как я могу писать, когда на дворе 13 градусов, ветер как из бочки, небо слезится, песок хрустит...

П о э т в г а л о ш а х. (Порывисто.) Пойдите...

Д р а м а т у р г. Море изнемогает, чайки стонут...

П о э т в г а л о ш а х. Пойдите, пойте... (Гнусава.) Дождь и шуршание гравия, та-та — та-та — камыши, стихи без заглавия слагаю в вечерней тиши... Прощайте! Бегу домой...

Д р а м а т у р г. Зачем?

П о э т в г а л о ш а х. Надо уметь всякую погоду эксплуатировать. (Исчезает.)

1-й г е н е р а л. Я вас уверяю, Ваше пр-во, в такой туман в двух шагах в человека не попадешь... Самая подлая погода!

2-й г е н е р а л. Однако, Ваше пр-во, для секретов лучшей погоды не надо. Подползут так, что и ахнуть не дадут...

1-й г е н е р а л. (Остонавливаясь.) А если с их стороны подползут?

2-й г е н е р а л. (Глубокомысленно.) Что же, и это бывает. Бывает-с. (Шагают дальше.)

1-я собака. Куда ты, Фифочка?

2-я собака. Домой. Холодно... Ты приходи сегодня. У нас куриный плав на ужин.

1-я собака. Ну? Непременно приду. Что ты скажешь на погоду?

2-я собака. Pfu! Меня еще сегодня купать хотели. Десять градусов по Реомюру. Разве можно?! Я насилу убежала. Однако я прозябла. До свидания.

1-я собака. До свидания. Так я приду, смотри же. *(Убегают в разные стороны.)*

Начинается дождь, и мужчины, и дамы, и собаки поспешно расходятся по домам.

<1908>

БЮДЖЕТ СТУДЕНТА

ПРИХОД:

Готовлю одного болвана по математике.....	10.00
— « — другого по всем предметам.....	13.00
Играл толпу у Комиссаржевской (4 раза).....	6.00
Из кассы землячества долгосрочн. ссуда.....	1.00
За «Логик» Минто.....	0.58
Заложил шпагу и бинокль.....	2.00
Починил хозяйке керосинку.....	0.30
Итого	32.63

РАСХОД:

1/2 комнаты.....	6.00
Прачка (2 рубахи и пр.).....	0.28
Плата за первое полугодие.....	подождут
Обед в студench. столовой (12x30).....	3.60
Сода от изжоги.....	0.40
Ситный 60 ф.....	3.60
Чайной колбасы 1/2 пуда (ей-Богу!).....	4.80
Галоши на прокат у сторожа.....	0.25
1 лот духов «Поцелуй весны».....	0.20
В партийную кассу.....	0.05
1/2 ф. чаю и 1 ф. сахару.....	0.95
Каблуки и одна заплатка.....	0.60
«Принцесса Греза» — галерка.....	0.40
Прачка (2 рубахи и пр.).....	0.28
Подписка на лекции.....	успеется
Слабохарактерность (одолил сожителю).....	0.36

1 воротничок шведской композиции	1.00
Портрет Л. Андреева	0.20
Дюжина пикантных открыток	0.20
В кассу землячества	0.25
Послал родителям	1.00
Прачка (2 рубахи и пр.)	0.28
Штраус. «О Вольтере» (на улице)	0.20
Венгерская помада Гонгруаз	0.35
Каломель	0.15
«Сон в летнюю ночь» — галерка	0.40
Баня	0.30
М. Гюйо. «Мораль Эпикура»	2.00
300 папирос по особому заказу	1.00
Средство от прыщей	0.45
«Литургия красоты» Бальмонта	2.00
Вакса	0.05
Прачка (2 рубахи и пр.)	0.28
Итого	32.63

*По двойной итальянской бухгалтерии проверил
Иван ЧИЖИК*

<1908>

ОКРОШКА ИЗ ПРОФЕССОРОВ

С. С. Салазкин (физиол. химия). Лицо и фигура сатира. Когда в хорошем настроении, волоса лежат гладко, но когда чуб свисает на лоб — лучше не подходить.

Как молитву любви, с благоговейным пафосом произносит: «Моча есть водный раствор обратного метаморфоза». Считает себя большим дипломатом и потому никогда не выслушивает возражений противника.

Медичка все еще колеблется: стоит ли его обожать или нет?

Р. Вейнберг (анатомия). Лоб à la Ремизов, Алексей. Скелет. Пунктуален, как немецкий желудок. По воскресеньям не позволяет беспокоить трупов: «Надо им тоже передохнуть». Трупы всегда в образцовом порядке: накрахмалены и выбриты. Требуется, чтобы приносили две смены подрубленных тряпок (2 арш. длины, 1 арш. ширины), чем вызывает справедливое негодование медичек. Объясняется с медичками на великолепном русском языке: «Я не могу вам отжаться здесь, в коридоре», «Я должен вас приласкать (похвалить) за вашу работу», «У меня имелись чудные мозги, но я их забыл в Дерпте», «Сидите, пожалуйста».

А. К. Бороздин (ист. рус. литер.). Из десяти лекций пропускает двенадцать. В свободное от лекций время готовится к лекциям.

А. И. Введенский (философия). Не обладает эстетическим вкусом, поэтому считает, что «эстетические воззрения вообще даже не обязательно иметь». Очень высокого мнения о кухарках немецких профессоров, которые вопрос о примеси маргарина в масле решают метафизически.

Любимые изречения: 1) «На первом курсе студент не должен тратить свой досуг попусту», 2) «Человек не может знать, что думает собака, виляя хвостом, т. к. у него никогда не было хвоста».

И. Лапшин (психол. и филос.). Губы сердечком. Талия в рюмочку. Влюблен в Римского-Корсакова и трансцендентальную апперцепцию. Рассеян до ужаса и однажды повесил часы на муху, приняв ее за гвоздик. На лекцию часто приходит, одев носки поверх ботинок.

Ф. Зелинский (ист. греч. литер.). Открывает Гомера и с первых же строк начинает плакать. А студенты смеются... Бессовестные!

<1908>

ВЕСЕЛЫЕ СИЛЛОГИЗМЫ

— Собаки бешутся летом. Буренин бесится и зимой, и летом, следовательно, он вдвойне собака.

— Все евреи наглы (по Меньшикову), Меньшиков — наглец, следовательно, он еврей.

— Все избранные в Думу суть народные избранники. Марков 2-й избран в 3-ю Думу, следовательно, он народный избранник.

— Шах сажал персов на кол до конституции, но он сажал их на кол и во время конституции, следовательно, он будет сажать их на кол и после отмены конституции.

— Г. Гучков знает, где зимуют черные раки, черные раки знают, где зимует г. Гучков, следовательно, г. Гучков обязан пятиться раком.

— Кретины — редки, истинно-русские люди в высшей степени редки, следовательно, истинно-русские люди в высокой степени кретины.

— Если потянуть осла за хвост сзади, он кричит спереди; Пуришкевича никто не тянет за хвост, следовательно, пора ему перестать кричать.

— Плоское остроумие не стоит медного гроша, некоторые государственные бездельники получают за плоское остроумие большие деньги, следовательно, к г. Хомякову это никоим образом относиться не может.

— Дворянин А. имеет 60 000 десятин земли, дворянин Б. имеет 30 000 десятин земли, следовательно, первый дворянин вдвое больше любит отечество, чем второй.

<1908>

ПОПРАВКИ ИСТИННО-РУССКИХ ОКТЯРИСТОВ К МИНИСТЕРСКОМУ ЗАКОНОПРОЕКТУ О ПЕЧАТИ

1. Самой радикальной мерой было бы, по примеру указа Франциска I (7 июня 1532 г.), — воспретить в России книгопечатание совсем.

2. Но, принимая во внимание, что правые газеты придется писать тогда на заборах, коих в Петербурге и Москве немного, а отсутствие левых листков создаст отсутствие штрафов, — книгопечатание сохранить пока, как необходимое зло.

3. По числу периодических левых изданий избрать из светских и духовных членов «Союза русского народа 17 октября» цензоров, оплачиваемых самими же изданиями, для надзора за преступной их деятельностью.

4. Карательных мер две: заключение в тюрьму и денежный штраф. В каждом отдельном случае применяются обе меры одновременно.

5. Оправдательных приговоров нет, ибо одно привлечение к суду служит уже несомненной уликой в преступности.

6. За особенно тяжкие преступления (напр<имер>, оскорбление в печати «с.р.н. 17 октября») виновные привлекаются по 129 ст. и судятся военно-полевым судом.

7. Привлекаются: автор, издатель, редактор, бумажный фабрикант, типография, ротационная машина, корректор, наборщики (или наборная машина), метранпаж, переплетчик, книгопродавцы, газетчики, читатели, жены и дети их. Если все сии лица умерли, привлекаются их родственники до седьмого колена включительно.

8. 60% штрафа поступает в пользу «с.р.н.» и 30% в пользу «Союза 17 октября».

9. Все печатные произведения должны доставляться всем членам «с.р.н. 17 октября» в количестве двух экземпляров.

10. Издатели и редакторы уже существующих левых периодических изданий вносят в кассу союза залог от 10 000 р. и свыше (глядя по левости), причем никакого отчета в израсходовании сих сумм требовать не могут.

11. Всякого желающего издавать новый левый листок или книгу, по отобрании залога, отдать на год на церковное покаяние, по истечении же сего срока, если не исправится, залог конфисковать, издателя же заключить под стражу.

12. Авторы статей, корреспонденций, заметок и книг должны подписываться полностью: имя, отчество, фамилия, звание, сведения об отбывании воинской повинности и пр. Псевдонимы для левых листков упраздняются.

13. Взять со всех издателей, редакторов и авторов подписку о невыезде.

14. Руководствуясь австрийской конституцией, ввести штемпельный сбор в размере 3 коп. с каждого номера газеты (даже не проданного). Доход употребить на издание правых газет, причем все правые газеты от штемпельного сбора освобождаются.

15. Все периодические издания, от «Нового времени» начиная вправо, ни в каких случаях привлечению к суду и к следствию не подлежат.

16. Бранные слова (как печатные, так и непечатные) предоставлять в исключительное пользование правой прессы.

17. Обсуждение вопросов религиозных, литературных, общественных, политических и всяких вопросов вообще левым листкам воспретить.

18. Так как в силу воспрещения сих вопросов поводов к штрафованию не будет, а деньги нужны, — то штрафовать без всякого повода.

19. Порнографию сдавать на откуп отдельным предпринимателям. Особое преимущество будет отдаваться потерявшим работоспособность сыщикам и членам «с.р.н.» из евреев.

20. Книги научные печатаются только с разрешения ученого комитета при «с.р.н.». Комитет сей учредить по указанию Шенкена и Бориса Никольского.

21. Предоставить «с.р.н.» исключительное право печатать кредитные билеты в размере, не превышающем потребности союза.

22. Обязать университеты, домовладельцев, квартирохозяев, купцов, прислугу, нянек, и мамок, и пр., и пр. выписывать от 1—3 (в зависимости от состояния) правых газет, причем, чтобы сие не было нестерпимым, разрешить им не читать их, а только вносить подписную плату.

23. Театральные пьесы разрешаются к печатанию и к постановке только в том случае, если автор член «с.р.н.».

24. Евреи, армяне, поляки и прочие инородцы никаких печатных произведений ни издавать, ни писать, ни читать не имеют права.

25. Иностранные книги, газеты и журналы к ввозу в Россию не допускаются.

26. Членов «Союза русского народа 17 октября», нашедших сии прибавки либеральными, просят внести свои замечания дополнительно.

<1908>

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ КРИТИКАМ

Если у автора написано «солнце садилось», не кричи, что это украдено у Пушкина или у Шекспира, — автор мог сам до этого додуматься.

Двух категорий (или гений, или кретин) мало — это свидетельствует только о бедности воображения критика.

Когда сечешь плохого автора, помни, что бывают и плохие критики... только их некому сечь.

Поменьше лирики! Критический лиризм так же подозрителен, как министерский, когда министерству приходится на запросы отвечать «по существу».

Две и даже двадцать две фразы, вырванные из разных мест книги, так же не могут дать понятия о ценности ее автора, как два и даже двадцать два волоса, вырванные из головы критика, не дадут нам понятия о богатстве его шевелюры.

Будь авторитетен, как Гюго, — в этом весь секрет, но помни, что чем больше баранов ты убедишь, тем подозрительнее будут на тебя коситься не-бараны.

Не нужно через каждую строку делать вид, что ты образован. Чем больше имен, тем меньше образования.

Не ругайся сплошь: темперамент — все для любви, и — ничего для истины.

Один парадокс недурно, два плохо, а за третий нужно ломать ноги.

Первые полгода оставь Андреева в покое. Если сможешь удержаться, не трогай его и вторые полгода.

При всем том всегда помни, что всякий читатель — критик и всякий критик — читатель. Это тебя охладит во всякое время.

<1908>

СМЕНА

ЭТЮД

Засиженный мухами и покрытый паутиной 1908-й год сидит под часами и спит. Часовые стрелки сходятся на 12-ти. Циферблат морщится, как от великой боли, часы шипят, хрипят и наконец раздается глухой и с большими паузами, сиплый, скучный бой. НОВЫЙ ГОД, лысый и желтый младенец с большой головой и серьезным лицом, вылезает из часов, садится на маятник и медленно качается на нем взад и вперед.

1 9 0 9. Тишь-шиш. Тишь-шиш. Эй ты, старый дармоед! Вставай. Смена пришла!

1 9 0 8. (*Хрипит.*) Хр-р-р. Ссс-сь...

1 9 0 9. Ишь, как рассвистался... Ну, да я тебя разбужу... (*Орет.*) «Вставай, подымайся...»

1 9 0 8. (*Протирая глаза.*) Ш-ш! Кто там поет? Забыл, какой год?

1 9 0 9. Тысяча девятьсот девятый!

1 9 0 8. А, это ты. Уже родился?

1 9 0 9. Родился, родился... Некогда мне — давай ответ и проваливай!

1 9 0 8. (*Зевает.*) Куда торопишься? Что я, что ты — одна, брат, канитель.

1 9 0 9. (*Озадаченный.*) То есть, как это вы можете сравнивать? Вы, можно сказать, уже разлагаться начали, а я полон сил и рвусь в бой...

1908. (*Насмешливо.*) С кем?
1909. Вообще рвусь, дело не ваше. (*Пауза.*) Умирай, что ли. Что ты на сундуке место занимаешь!..
1908. Что мне умирать? Я целый год уже мертвый.
1909. Как мертвый? Да ведь ты мой родитель.
1908. Что ж, каковы родители...?
1909. (*Осторожно спрыгивая на пол.*) Я-то? Извините, пожалуйста, — мы еще повоюем! (*Вытягивается и падает.*)
1908. Что, ноги не держат? Ну, слушай — вот тебе мой отчет: жил я четыре времени года... Зимой — шиш, весной — шиш, летом — шиш и осенью — шиш.
1909. Я вашего мистицизма не понимаю.
1908. Понимать нечего. Великих людей за весь год ни одного. Григорий Новицкий не в счет — черт его знает, может быть, он только притворяется великим. Назад отошли лет на семьдесят... Вперед — ни с места...?
1909. А что у тебя в сундуке?
1908. Твое наследство: холера, Пинкертон и Дума.
1909. (*Хнычет.*) Не хочу...?
1908. Мало ли... Я, брат, тоже не хотел. Стихия — ничего не поделаешь. Впрочем, Пинкертон уже умирает...?
1909. А что еще в сундуке?
1908. Ничего... Не хочется, брат, уходить — больно уж сладко здесь спится, да делать нечего — судьба. Да надо и тебе отдых дать. Ты так тут на сундук и укладывайся. Придет 1910-й и разбудит.
1909. (*Хнычет.*) Я не хочу спать...?
1908. Врешь! Хочешь — ишь глаза слипаются.
1909. (*Уныло.*) Ты, дедушка, хоть присоветуй что-нибудь.
1908. Что тебе, дураку, советовать? Слышал ты о законе наследственности?
1909. (*Качается и почти спит.*) Нет...?
1908. Раз я мертвый, дед полумертвый, а предки были алкоголики и рохли, то значит...?
1909. (*Просыпаясь.*) Вовсе не значит. Не все были рохли.
1908. (*Передразнивая.*) Не все... А ты будешь!
1909. (*Хнычет.*) Не хочу! Хочу назад...?
1908. Некуда, брат, назад. Ишь, чего захотел! Ты, может быть, и в Европу хочешь?
1909. А там лучше?
1908. Лучше.
1909. (*Хнычет.*) Хочу в Европу.
1908. Туда такого сопляка не пустят. Там Новый год — на тринадцать дней раньше тебя родился. На автомобиле уже ездит и на шести языках разговаривает.
1909. (*Завистливо.*) Ишь ты! (*Опять засыпает.*)
1908. Однако поздно. Половина первого. Новый год, а Новый год! Смена пришла! Ложись на мое место. (*Укладывает сонный Новый год, нежно и задумчиво смотрит на него и горестно машет*

рукой.) Эх, ты — «еще повоюем!» (Открывает форточку и кричит.) Ха-рон, Ха-рон!

Г о л о с с у л и ц ы. Здесь.

1 9 0 8. Подавай! (Вылезает в форточку.)

Ч а с ы. Тишь-шиш, тишь-шиш, тишь-шиш.

1 9 0 9. Х-р-р-р. Сссс-с.

Г о л о с з а с т е н о й. С Новым годом! С Новым счастьем!
С Новым счастьем! Урра!

Ч а с ы. Тишь-шиш. Тишь-шиш. Тишь-шиш.

<1909>

ЛЮБИМЫЕ ПОГОВОРКИ ПРОФ. В-ГА (ЖЕН. МЕДИЦ. ИНСТИТ.)

Назвался гвоздем — полезай в пузо.

За бритого двух небритых дают.

С шерстяной мордой в булочную не суйся.

Лучше девица в руки, чем жираф в небе.

По дорожке протягивай рожки.

Бедность не пирог.

Ешь творог с гробами, лижи язык губами.

На чужой кровать, рот не раздевать!

Не плюй в клозет, пригодится воды напиться.

Глухому попу два обеда на ужин.

На воре цилиндр пылает.

Русскому борову с немцем смерть.

Зипун тебе на язык.

<1909>

ПРИСУЖДЕНИЕ ПУШКИНСКИХ ПРЕМИЙ В 1911 г.

Состоялось публичное заседание Академии наук под председательством Петра Зудотешина, на каковом заседании академик Поприщин прочитал отчет о 19-м присуждении премий имени Пушкина.

Одобрение комиссии, избранной Академией наук, получили произведения следующих авторов:

1) *Дядя Михей*. «Папиросные ямбы». 500 рублей и большая золотая медаль.

В отзыве почетный академик К.*** пишет: «Стихотворения дяди Михея отличаются высокой скромностью, безыскусственностью и самостоятельностью. Кроме того, автор чужд всякой меркантильности, столь присущей современным поэтам»...

2) *Вера Рудич*. Сборник стихотворений «Птичечки и цветочечки». 100 р. и малая золотая медаль.

3) *Владимир Ленский*. Сборник плагиатов под названием «Руками и ногами». Первый почетный отзыв имени А. С. Пушкина.

4) *Оскар Норвежский*. «Из носа в рот», сборник критических статей. Избран в потомственные почетные академики с изъявлением почетной благодарности от имени А. С. Пушкина.

5) *Брешко-Брешковский*. «Бумага все стерпит», «Не любо, не слушай», «Мухи-слоны» и пр., и пр., и пр. 3 рубля и большая бронзовая медаль, с правом ношения поверх пальто и в бане.

Неодобрения удостоились следующие авторы:

1) *М. Горький*. Новый роман «Старые крысы». Объявлен почетный выговор, с занесением в формуляр.

2) *В. Брюсов*. Сборник стихов «Эолова арфа» вернуть автору неразрезанным, с изъявлением почетного негодования.

3) *Мережковский, Ф. Сологуб, Сергеев-Ценский*. Тоже.

Так как в конце заседания выяснилось, что ни один из неодобренных авторов книг своих в Академию наук не посылал, — считать отзыв не общеобязательным.

Пушкинскую золотую медаль за критический разбор представленных на конкурс сочинений постановлено от лица всех академиков, участвовавших в разборе, выдать всем академикам, участвовавшим в разборе.

<1909>

РУКОВОДСТВО ДЛЯ гг. ПРИЕЗЖАЮЩИХ В МОСКВУ

1. В опросном полицейском листке, в графе «Для какой надобности приехал?» — пиши: «Для пьянства». Самый благонамеренный повод.

2. Остановись у родственников или у знакомых, сославшись на московское гостеприимство. Если это на них не подействует — поезжай в гостиницу.

3. Выгоднее приезжать вдвоем — тогда можно взять один номер и уехать на полчаса раньше компаньона, не заплатив.

4. Жидкостью от клопов полезно смазаться еще на станции отправления. Ее же можно принять и внутрь, так как московские клопы залезают даже в горло.

5. Так как перед многими московскими воротами нужно обнажать голову, то, чтобы не ошибиться, носи все время шляпу в руках.

6. Первым долгом поезжай в Сандуновские бани и, встретив там Петра Боборыкина, попроси у него автограф.

7. Завтрак в Славянском базаре (селянка, кулебяка и расстегаи), обед у Тестова (кулебяка, расстегаи и селянка), ужин у Омона (расстегаи, селянка и кулебяка), похороны на Ваганьковском кладбище.

8. Памятник Минину и Пожарскому — против пассажа. Одна из фигур Минин, другая Пожарский. Против памятника — пассаж.

9. Сев на извозчика, вообрази себя на взбесившейся двуспальной пружинной кровати. Собразно тому и поступай.

10. Флиртовать можешь в Оружейной палате. Ухаживать там же. Расплачиваться в гостинице.

11. У Иверской — береги свои карманы и не залезай в чужие.

12. В Художественный театр можешь попасть сразу без недельного дежурства. Попав — вызови Станиславского и поцелуй у него руку. Это лучшее, что ты можешь сделать в Москве.

13. В Третьяковскую галерею иди утром, пока ты трезв и не сыт. Увидев учителя, объясняющего ученикам картины, — пережди в уборной, пока он уйдет, — тогда наслаждайся.

14. Паспорт носи с собой — и пей без страха.

15. Если ты еврей — заложи в паспорт 10 рублей, и да хранит тебя Бог!

<1909>

ВЗГЛЯД И НЕЧТО

Есть пошлые насекомые: Клопы; есть пошлые растения: Герань и Фикусы; есть пошлые животные: Свины; есть пошлые люди: Октябристы.

* * *

Пошлость не страдает неврастением, но дурною болезнью очень часто.

<1910>

РУССКИЙ ЯЗЫК

(СЦЕНЫ НЕ ДЛЯ СЦЕНЫ)

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!

Тургенев

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

М а л я р.

П р о ф е с с о р.

П р и в а т-д о ц е н т.

П е р в а я д а м а.

В т о р а я д а м а.

П о э т.

П о э т е с с а.

Лето. Сквер. Маляр красит забор. На скамье старый профессор и приват-доцент, увлеченные спором.

Профессор. Критическая философия, collega, абсолютно игнорирует индивидуальную терминологию, дабы не модифицировать ее в систематическую символику...

Прив-доцент. Ео ipse, вы игнорируете «трансцендентальную апперцепцию» и «антиномии» Канта?

Проф. Категорически протестую! У Канта генезис терминов параллелен генезису концептов — а у вас абсентизм параллелизма...

Пр-доцент. Если я детальнее формулирую мои ситуации и дефинирую концепты, то...

Проф. (насмешливо). Definito прагматизма per genus proximum et differentiam specificam?

Пр-доцент. Прагматизм, теория Шиллера и Джемса, идентифицирует критерий истины с утилитарностью...

Проф. Абсурд, collega!

Пр-доцент. (горячась). Ergo — в принципе, всякая не спекулятивная философия абсурд? Ein bischen конгениальности, Иван Иванович, при анализе философских дисциплин...

Проф. (вытирает лысину). Я пасс! Принципиально игнорирую фразы... На реферате вашем пооппонирую... Хронометр при вас?

Пр-доцент. Увы! Констатирую с феноменальным пессимизмом: утилизирован в ломбарде.

Проф. Фуй, collega!

Пр-доцент. Фуй, не фуй, а мотив самый шаблонный: к юбилею Федора Федоровича реставрировал фрак, в результате — ни сентама. Да! В «Neue Freie Press» был анонс: в Лондоне по инициативе бюро федерации лиги антицелибата организуются периодические экскурсии профессоров на континент для реставрации матримониального принципа...

Проф. (сквозь сон). Фикция, фракция, функция...

Пр-доцент. Collega! (Тот спит.) Типичный маразм! Collega, stehen Sie auf! Вон наш трамвай...

Проф. (просыпается). А? Трамвай? Абсурд! Тенденция философии — абсолютно игнорировать вашу индивидуальную терминологию прагматического и утилитарного утилитаризма! У Канта генезис терминов параллелен генезису концептов, а у вас тенденция...

(Споря и жестикулируя, уходят.)

Малыар. Хранцузцы! Специальная публика... С кандибобером! До чего люди доходят! (Запеваает.) Да-и-эх-ты, да-и-ух-ты, да-и-ах-ты, да-и-ох-ты са-мо-ро-ди-на моя брилля-нто-ва-я...

Сцена 2-я

1-я д а м а. На фоне из метеора фрез экразе, тюник из тюля! Лиф из же, суташ крем, декольте а ля грек тоуен âге...

2-я д а м а (*завистливо*). Пикантно, но не бонтонно. У меня вернисажу шедевр: стильный костюм из кашемира суа...

1-я д а м а. Бле жандарм? (*Садятся на скамью.*)

2-я д а м а. Фи, та chérie! Кашемир, гелиотроп, тона фиалки с томатом, корсаж с баской и бизэ, и к ним грациозный перламутровый аграф фантази... (*Увлекаясь.*) Декольте с бертой, манжетки с тюлевым воланом релижез и плиссе драмодер артистик...

1-я д-а. Ах! Кузен экспортировал из Парижа для belle-soeur матине... Шик! Шу из либерти, декольте бисквитного пана, воланы из шантильи...

2-я д-а. А rgoros, ваша belle-soeur еще музицирует?

1-я д-а. Музицирует? Профессор ди-Риззото в экстазе: колоссальный диапазон, лирические паузы, кристальный тембр, фразировка. Шикарнее всего, та chérie, что у нее феноменальный раритет: ко-ло-ра-тур-ное контральто!

2-я д-а. Вы меня провоцируете, Аглая Ивановна?!

1-я д-а. Факт. В марте дебют в Лючии.

2-я д-а. В Лючии? Mais non... Ромео и Джульетта сценичнее. На фоне стильных венецианских фресок фра-Беато колоннада и бальный зал, аромат магнолий и лавров. (*Напевает.*) O, barcarolla moso, piccicato mio si-si là! Меланхоличный Ромео, в флерд'оранжевом трико, в плиссированных буфах и кокеткой супль с инкрустациями «vieil og»...

1-я д-а. (*увлекаясь, продолжает*). На муаре «иланг-иланг» и в абрикосовом берете с плюмажем. О! Но и в Лючии есть эффектные сцены.

2-я д-а. А rgoros? Вернисаж в Пассаже?

1-я д-а. В «Салоне» на Итальянской.

2-я д-а. Mercî. Барон Курцбах дебютирует серией неаполитанских эскизов и иллюстрациями к «Эху Венеры». Он демонстрировал мне пастель «Лунная соната сквозь призму гомосексуализма». По колориту — шедевр!

1-я д-а. Фи, он манерен, ваш Курцбах. В корсете, банальные позы... Pardon, я вас шокирую? Флирт?

2-я д-а. Jamais! Он очень ком-иль-фо: смокинг из дра амазон на муаре, английский жилет с инкрустациями Louis XI...

1-я д-а (*поддразнивая ее, встает*). «Пьедесталы» а ля грек тоуен âге, с кокеткой релижез и на тюле фрез экразе?..

(Обе хохочут.)

1-я д-а. Ну, au revoir. (*Смотрит на часы.*) У меня рандеву в Пассаже с мадам Жорж. (*Ехидно.*) Mes compliment a Monsieur le baron с инкрустациями Louis XI...

2-я д-а. Merci. (*Кокетливо.*) O, barcarolla moso, piccicato mio si-si lá!..

(*Расходятся в разные стороны.*)

М а л я р. Мериканки, по костюму видно, да и разговор немецкий. Аппититные кинарейки... С ворсом! Да-и-эх-ты, да-и-ах-ты, да-и-ух-ты, са-мо-ро-ди-на моя брилля-нто-ва-я...

Сцена 3-я

П о э т (*влечется к скамье*). Зрак солнца вечеровый облак чарым хмелем напоил...

П о э т е с с а. Брекекекекс.

П о э т. Древета листьями помавают... Цэ-кута лирная трикрата алчбой пышет.

П-с а. Мани-текел-фарес.

П о э т. Шараду глубинную решила ли? Рифмы к сонету маестро?

П-с а. Эвое, музоликий! С тугой надрывной рожала: систр-регистр, тимпан-марципан.

П о э т. Лире национальной быть лепо. Чти! (*Садится.*)

П-с а.

Узывных сфер глубинные тимпаны —
Алчбу и Эрос, нимбы, сфинксы, систр,
Юдоль словес, волшбу и марципаны
Мы занесли в напевный наш регистр.
И се купель трикратного юродства,
O, Grand-Hôtel, grand rond u pas-des-quatres!
Струит фонтаны лирного банкротства
На альманахи, нервы и театр...

П о э т. Ш-ш... Антиномичен пафос поэзии! К весталческой планетарности мифотворчества национального грядет через Марсову солнечность утверждающего мистическую личность почина!

П-с а (*задумчиво*). Аки, баки, зраки, маки, фракы... Змий, кий, Пий, Вий... (*Вдруг неожиданно и быстро.*) Какара цакара макара-пунчала ракса!..

П о э т. Вертоград, вертограда, вертограду...

П-с а. Блуд-руд, блуда-руда, блуду-руду...

П о э т. О, плектрон воздыханий... Встань мистагог! Ярем на вые, елей на устах, гной в сердце... Как телка Ио, влеком я роком!

П-с а. Влеком ты роком, влеком он роком, влекомы мы роком.

П о э т. Кыш! Ормуз и Ариман дифирамы Дионису на цимбалах и сирингах слагали. Брысь, Пушкин! Конфузно тебе — вуль-

гарными рыками поэзию утучнил... Скриба ты гиперборейский, а не Орфей! Профанам ясен зело. И ты, Байрон, и ты, Гёте, и тьма тем прочих — брысь! Экстаз — кристаллен, лирика — популярна, страдальность — без личин, неотвратна... Брысь!

П-с а. Maestro! Пенсне на прахе. (*Поднимает.*) (*Зевая.*) Я иду по ковру, ты идешь пока врешь... Maestro! Позволь по-русски поговорить? А? Чуточку!

П о э т. Кыш! Ошую — хаос, одесную — хаос, по бокам рифмы, в середине — гурт фазаний, Эрос вои зовет, зык рык источает...

П-с а. Я-лды хочу-лды домой-лды. Мне-лды скучно-лды.

П о э т. Кыш! (*Вдохновенно.*) Твердь-жердь, сев-зев, понт-фронт, древо-чрево, Тидей из Меланиппа, Меланипп из Тидея. Фалалей из Капанеи... А я где?

П-с а (*Хнычет.*) Хочу-лды домой-лды.

П о э т. Подожди-лды. О, Асфодель! Мара зык прошла, рифмы в чехарду прядают — астральный Овен по шкелету чертит. У-у-у. (*Плачет.*)

П-с а (*Тащит его.*) Идем-лды... Боюсь-лды!

П о э т (*Уходит.*) Феникс без рифмы... Увы! И сфинкс без рифмы... О, о, о!

М а л я р (*Таинственно.*) Т-с... Вот тэк история! Фа-ра-он! Бежи сюды... Жива! Тут — ёпонские шпионы пошли! Один за бабу, другой за мужчину — замашкараденный! Последи, а мне красить на-до!.. (*Красит, злобно мотает головой и поет.*) Да-и-эх-ты! Да-и-ух-ты! Да-и-ах-ты! Да-и-ох-ты са-мо-ро-ди-на моя бри-лян-то-ва-я...

<1910>

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ФЛИРТА В КВАРТИРЕ

Придя в общество, осторожно вскинь глаза и реши, какая из девиц или дам создана для тебя. Если ни одна, не насилуй себя и не руководись пословицей о безрыбье.

Избрав, отведи в сторону хорошо знакомого, узнай деликатно биографию и топографию ее, сядь напротив, сделай возможно умные и понимающие глаза и смотри на лампу.

Пересядь поближе и, пряча грязные ногти, спроси желудочным шепотом: «Вы любите Пана?» Услышав неизбежное: «Еще бы!», помолчи пять минут и закрой глаза ладонью.

Отмахнув головой поток внезапных мыслей (для вида), настойчиво, просто и изумленно оброни: «Какое у вас лицо?!» Она поймет это всегда в желательном для себя смысле.

И если ее зрачки слегка потеплеют, протяни под столом носок ботинка (со скоростью 2 миллиметров в минуту) и, как дыхание ветра, коснись ее ногой.

Когда, в ответ на пожатие, ее нога вздрогнет и уползет под черную пасть дивана, заговори сразу бурно, негромко и песнопенно:

О — бескрылости жизни, стенах, девятой симфонии, атласе ее дыхания, стенах, уходе Хомякова, холодных вершинах одиночества, стенах, грубой квартирной хозяйке, «Вехах», стенах...

И вдруг... остановись. Обведи глазами курящих и некурящих, пьющих чай и непьющих, сделай тонко-презрительно-сострадающе-саркастически-негодующее лицо, внезапно, словно чудо, найди фиалки (или маслины — если она брюнетка) ее глаз: вспыхни и зарозовеяй. Ты и она. Она и ты. Только в этом смысле должна она понять тебя.

Иди дальше: «Здесь трудно говорить... невыносимо молчать... невозможно думать». И полным аккордом виолончели, шумящим призывом спроси: «Когда?..»

В ответ на возможное молчание (75—90%) опрокинься: «И вы любите Пана?! О! Вы такая же, как все?! О! Пять минут знакомства и вопрос «когда?». Это «неприлично»? Дерзко?! О!.. Но я думал, что вы...» И гордо умолкни.

Придя к ней через день на квартиру, начни с Никиша и садись непременно против входных дверей.

От Никиша перейди к жизни, от жизни к себе. Среди вдумчивой и затаенно-детско-искренней фразы о своей последней поездке в Териоки коснись ее мизинца и спроси:

— Вы бегаєте на лыжах?

И, не давая ей опомниться, возьмись за мизинец и разлейся: «Лыжи! Вы не бегаєте на лыжах! Такая хрупкая (или мощная) фигурка на искристом снегу (возьми два пальца), холод обжигает лицо, птицы изнемогают и отстают (возьми три пальца)... ветер смеется в глаза и целует руки... вот так... вот так» (попробуй показать — как).

Если она встанет, скажет: «Негодяй!» и нажмет кнопку, подыми на нее холодно-рассеянные глаза, скажи: «Дура!» — и уходи.

Если она этого не скажет.....

<1910>

ЧЕХАРДА

(НА ВЫСТАВКЕ «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА»)

Комната первая — пейзажи

З р и т е л ь в ш т а т с к о м (оглядываясь). Веселенький сарайчик. Вот только почему на одной стене фиолетовые обои с розовыми капочками, а на другой розовые обои с фиолетовыми капочками? Не симметрично...

Б р о д я ч и й х у д о ж н и к. Профан!

З р и т е л ь в ш т. Вот именно — профан. Я, извините за

выражение, из провинции приехал, и у нас, знаете, принято все четыре стенки одинаково оклеивать. Для глаза приятнее...

Б р о д я ч и й х у д о ж н и к. Да какие же это, к дьяволу, обои? Взгляните в каталог, что там написано: № 27. «Вечер в деревне». Александр Груздь. Кажется, ясно! Вон перед вами висит.

З р и т е л ь в ш т. Прейскуранта я, простите, не купил из экономии, а только насчет «Вечера в деревне» вы шутить изволите. Вечером солнце в деревне, равно как и в городе, — садится, а здесь вместо солнца радуга и какое-то вообще конфетти. Кроме того, где здесь, спрашивается, деревня?

Б р о д. х у д. Реалист!

З р и т е л ь в ш т. Вот и ошибаетесь. Я, собственно, из пятого класса гимназии, но, думаю, что образование мое здесь ни при чем. Напрасно намекать изволите. Вечер от кулебяки, слава Богу, отличить можем... *(обиженно отходит).*

Д а м а с л о р н е т о м. Как нежно! Павел Иванович, запомните рисуночек, я себе такой материей канаве обобью.

С у п р у г с о д ы ш к о й. Щечки у тебя малиновые, голубчик. Не подойдет — больно драконистый узор!

Д е в у ш к а в п е н с н е. Наглое издевательство! Полное отсутствие рисунка! Никакого содержания! Ни малейшей логики!

Б р о д. х у д. *(в сторону).* Кобыла.

С к р о м н ы й ю н о ш а. Как это они рисуют такие вещи?

Ж е л ч н ы й г о с п о д и н. Берется, видите ли, кошка или кот — безразлично-с. Окунается в краску — в желтую, изумрудную, в фиолетовую, по преимуществу. Потом заворачивается в полотно и кладется под пресс. Получается картинка, а дураки ходят и деньги платят. *(Злобно фыркает и идет к выходу.)*

Б а г р о в ы й в о е н н ы й. За это бьют морду! Послушайте, лысый, вы, кажется, здесь распорядитель? Потрудитесь вернуть мне деньги. Живо!

У с т р о и т е л ь. Не волнуйтесь, полковник! В чем дело? Что вызвало ваше недоумение?

Б а г р о в. в о е н. Что?! Недоумение? Бешенство, а не недоумение, презрение, милостивый государь, — я жажду немедленного уголовного преследования. Деньги!

У с т р о и т. Но, полковник, неужели вот это полотно не вызывает ваших детских воспоминаний, когда вы...

Б а г р о в. в о е н. Когда я лежал в пеленках? Да! Вызывает! Последний раз вас спрашиваю — вернете мне деньги?! Раз, два, три...

У с т р о и т. *(испуганно).* Извольте, извольте...

Комната вторая — портреты

Н а и в н ы й о б о з р е в а т е л ь. Скажите, этот портрет нарисован в профиль?

Б р о д. х у д. *(осторожно).* Да, в профиль. А что?

Н а и в. о б. Отчего же у него два глаза на одной щеке?

Б р о д. х у д. Художник хотел выявить...

Н а и в. о б о з р. (*торопливо*). Что он хотел выявить?

Б р о д. х у д. (*тоскливо*). Посмотрите в каталоге.

Н а и в. о б о з р. В каталоге сказано «Портрет сестры». № 25.

Б р о д. х у д. Ну вот. Чего же вам еще надо?

Н а и в. о б о з р. Гм.

1-й с у м а с ш е д ш и й (*тихо*). Дон Педро! Как вы думаете, за нами не будет погони?

2-й с у м а с ш. (*тихо*). Нет, ваше святейшество, я устроил на койках два чучела. Совсем как живые!

1-й с у м а с ш. Мне здесь нравится... Посмотрите, дон Педро, какая красавица: верхняя губа зеленая, нижняя голубая. Ой, у нее живот с глазами!

2-й с у м а с ш е д. Перекреститесь, ваше святейшество, это наваждение.

1-й с у м а с ш е д. А отчего у нее четыре ноги?

2-й с у м а с ш е д. Для скорости ходьбы, ваше святейшество.

1-й с у м а с ш е д. Я ее куплю. Она мне нравится!

У с т р о и т е л ь (*взволнованно и недоверчиво*). Вы хотите купить эту картину?

1-й с у м а с ш е д. Да, я даю за нее 300 000 дукатов! Только велите сделать к ней бриллиантовую раму.

У с т р о и т е л ь (*осторожно*). Вы не принадлежите к нашему кружку «четырёхугольных» художников?

2-й с у м а с ш е д. Нет, он — атлантический посол. Будьте спокойны, я вам могу за него поручиться.

У с т р о и т е л ь (*поспешно ретируется*). Фу, черт!..

И н т е л л и г е н т. Вы, наверно, знаете, что это дыня?

Б р о д. х у д. Безусловно «Nature morte».

И н т е л. Отчего же в каталоге сказано: «Голова мудреца»?

Б р о д. х у д. Опечатка.

И н т е л. В таком случае, извините.

Б л и з о р у к а я с т а р у х а. А это что, Манечка?

В н у ч к а (*сердито*). Это парикмахерская вывеска, бабушка.

Б л и з. с т а р. Господь с тобой, Манечка, как же она сюда попала?

В н у ч к а (*сердито*). Отстаньте, бабушка! Заплатили — смотрите, нечего спрашивать!

О б ы к. ч е л. Послушайте, г. устроитель! А ведь король-то голый.

У с т р о и т е л ь (*опешив*). Какой король?

О б ы к. ч е л. Андерсеновский. (*Возбужденно*.) Да что вы дурака валяете? Ведь это же не картина! А? (*Кричит*.) Ведь это же не искусство, а собачья ножка!..

У с т р о и т е л ь (*шепчет*). Пойдемте в кассу, господин... Деньги можно обратно, вы не кричите только.

О б ы к. ч е л. Деньги? Деньги оставьте для гг. художников.

Купите им фунт стрихнина, я доплачу, если будет недоставать.
И пусть они перелопаются.

1-й с у м а с ш. Ей-богу, здесь интересно, дон Педро!

2-й с у м а с ш. Да, ваше святейшество! Давайте здесь жить...

1-й с у м а с ш е д. (оглядываясь). Нет... боюсь. (Таинственно.)

Здесь можно с ума сойти...

Г о л о с и з с о с е д н е й к о м н а т ы. Ка-ра-ул!!!

1-й с у м а с ш. (задумчиво). Слушай, вернемся назад.

2-й с у м а с ш. (задумчиво). Вернемся.

(Уходят.)

<1910>

«ОБРАТНО»

В «Русском слове» Д. Философов оскорбился за русский язык:

1) Из русского Гейне, ультрасовременного поэта Саши Черного

Она целовала меня,

И я ее тоже о б р а т н о.

(Альм. «Шип<овник>» стр. 126)

До сих пор брали билеты «туда и обратно», теперь можно «туда и обратно» целоваться.

Объясняю для маленьких детей и Д. Философова: «целоваться туда и обратно» нельзя ни в каком случае (хотя это и остроумно до чрезвычайности), а «целовать обратно» — в смысле «вернуть поцелуй» — иногда можно. Например, в данном случае, когда это выражение несерьезно, нарочито и вполне оправдано той внутренней гримасой (далеко не смешной!), которая скрывается за этими словами.

То, что в литературе Д. Философов «встречает такие выражения впервые», ровно ничего не доказывает. Язык не труп, иначе мы со времен Державина так бы и сидели на «покрытых мздой очесах», а всякое новое выражение отличается тем, что оно встречается впервые. Это тоже для маленьких детей и Д. Философова.

Д. Философов рекомендует издавать летопись искажений русского языка.

«Может быть, боязнь быть занесенным на такую «черную доску» хоть несколько испугает современных литераторов и редакторов. Ведь есть предел небрежности, переступив который, писатели совершают оскорбление величества русской литературы».

А вот предела небрежности иных критиков по отношению к литераторам действительно нет. Есть «ультрасовременный поэт», «русский Гейне» (как остроумно!). И вот вдумчивый, искренний и глубокий критик удостаивает его своим вниманием только потому, что там-то и на такой-то странице он написал:

«Она целовала меня,
И я ее тоже обратно».

И пишет: «может быть, в Одессе и целуют «туда и обратно».

Эту прелестную небрежность перепечатывают — и в «Петерб<ургских> вед<омостях>» и других родственных изданиях, уже заливаются этим милым лошадиным смехом:

«Гы-гы! И я ее тоже обратно. Из Одессы».

Что еще сказать? Человек написал картину. Много работал, много думал, наконец выставил: смотрите. Пришел другой человек. Ткнул пальцем в угол полотна и говорит: «Муха скверно нарисована. Большие лапы». — «Какая муха?» — «Вон там в углу». Но когда он подошел ближе — муха улетела. О н а б ы л а ж и в а я.

А человек этот был критик.

Теперь — заключение... В литературе установился обычай, что-бы литераторы молчали даже в тех случаях, когда их критики бьют по голове. Я нахожу, что это очень вредный и скверный обычай.

<1910>

ГЛУПОСТЬ

Прозаик может быть глупым. Поэт почти обязан. Но глупый критик такой же парадокс, как хрюкающий тигр. Однако же...

* * *

Если в концерте во время паузы, выдерживаемой оркестром, вдруг раздадутся оглушительно-наглые хлопки — знай, это дурак.

* * *

Никто не платит столько налогов, сколько дураки: книги Вербицкой, средства для рашения волос в 24 часа, коллекции марок, чубуков, брелков и таможенных пломб, поездки на «Всемирные выставки», бинты для усов, модные жилеты и пр., и пр., и пр.

* * *

Есть ум скептический, критический, практический, иронический и т. д. Глупость — только одна.

* * *

Глупого мужчину всегда можно узнать по глупым глазам. Но женские глаза... Черт их знает! Не то глубина — не то томность; не то мысль — не то любопытство... и вдруг дура!

* * *

Глупость все ценности превращает в карикатуры: вместо гордости у нее — наглость, вместо общественности — стадность, вместо искусства — любительство, вместо любви — флирт, вместо славы — успех...

* * *

Если дурак написал 100 литературных или научных преискурентов, перевел 100 ненужных книг и изучил 100 живых и мертвых языков — его по всей справедливости не следует называть за это «маститым».

* * *

Человек, носящий университетский знак, — или глуп, или не умен.

<1910>

НАИВНЫЕ СЛОВА

(ПОСВ. Г.Г. ПИШУЩИМ)

Бархатный пиджак не делает писателя.

* * *

Если ты напечатал два рассказа в вечерних газетах и одно стихотворение в «Ниве» — не торопись выпускать в свет «Полного собрания» своих сочинений.

* * *

Если у тебя есть «имя», не пиши хлама. Если у тебя его нет, тем более остерегайся.

* * *

Профессионал-писатель, как Будда, поступивший в коммивояжеры.

* * *

Во многих редакциях есть специалисты, которые подбирают чужие лирические окурки и докуривают их до ваты. Пусть бы докуривали, но у многих после этого самый вид стихов вызывает чувство брезгливого равнодушия. О редакторы, пощадите хоть Поэзию, если вы себя не щадите!

* * *

Не собирай газетных вырезок о себе, ибо каждое утро кофе твой будет, как желчь.

* * *

Когда посылаешь свою книгу критику, не придумывай сам надписи, а попроси первого встречного сделать ее за тебя.

* * *

Пиши только руками, — ноги необходимы для ходьбы.

* * *

Снимайся возможно реже: ты не двухголовый теленок, и не давай в прессу сведений о том, сколько у тебя родимых пятен... «Реклама — двигатель торговли», но разве ты торгуешь мазью от прыщей или галошами?

* * *

Если ты бездарен, отруби себе руки. На всякий случай вырежь и язык, чтобы не мог диктовать.

* * *

Не потрафляй, даже если ты можешь рассчитывать на восемнадцать изданий.

* * *

Расписывать, как у верблюда в ноздрях растут финики, — еще не значит быть оригинальным.

<1911>

НОВЕЙШИЙ САМОУЧИТЕЛЬ РЕКЛАМЫ

(ДЛЯ гг. НАЧИНАЮЩИХ И «МОЛОДЫХ»)

В наше зоологическое время одно только искусство высоко держит свое знамя и неустанно опрокидывает на головы вялых современников собрание сочинений за собранием, альманах за альманахом... Невероятное количество начинающих поэтов пишет почти как Пушкин. Невероятное количество начинающих прозаиков пишет почти как Толстой. Сооружаются поэтические академии, цехи поэтов, лиги взаимного печатания и восхваления и проч., и проч.

В недалеком будущем все страховые общества, банки и конторы по найму прислуги должны будут прекратить свои операции, так как ни один клерк не захочет сидеть над презренным сведением балансов: все займутся составлением собраний сочинений — занятием легким и приятным, не требующим ни особых способностей, ни каких-либо предварительных знаний.

Но книг с каждым днем все больше, ибо авторов все больше: читателей же все меньше, так как многие, дойдя до полного равнодушия, продолжают по инерции выписывать «Ниву» и этим ограничиваются.

Как быть? Как выделиться из массы? Как схватить за волосы читательское равнодушие и, не давая читателю прийти в себя, заставить его если не прочесть, то хоть купить книгу?

Как навязать свое имя толпе, чтобы оно, как «тарарабумбия», преследовало ее и в бане и во сне, в самые тихие минуты бытия? Все эти вопросы и составляют область сложной науки, которая называется рекламой и является, как известно из всех объявлений, «главным двигателем торговли».

Автору этих строк удалось в течение нескольких последних лет собрать по этому вопросу кое-какой материал. Материалом этим он и хочет поделиться с теми малоопытными начинающими (по большей части провинциалами) и так называемыми «молодыми», которые невинность уже потеряли, но капитала еще не приобрели. Итак:

§ 1. Обложка — душа книги. Если прохожий заметит в книжной витрине на другой стороне улицы пятно цвета раздавленного попугая и неудержимо потянется к нему, как к зарезанной автомобилем на площади лошади, — значит, обложка удовлетворительна. Заглавие должно быть не менее выразительно: «Четыре пуговицы. Книга для крокодилов», «Кто и что?». Для сборника стихов предпочтительнее что-нибудь узывное и тугопонятное: «Пусть лилии молчат», «Филь», «Арфы из шарфов» или «Шарфы из арф» (по вкусу). Имя автора следует печатать такими крупными и необыкновенными буквами, чтобы все соседние вывески поблекли от зависти.

§ 2. Печатать на обоях и оберточной бумаге уже старомодно. Следует искать нового материала: все издание, напр<имер>, на березовой коре, а сто экземпляров на ослиной коже с ржым обр<езом> (для любителей).

§ 3. Не считаясь с устарелым мнением Гоголя, высказанным им в «Завещании» (п. 7), и с его старомодной скромностью, к каждой книжке, независимо от ее размера, необходимо прилагать свой портрет. Если лицо недостаточно умно и выразительно, следует во время позирования придавать своим чертам ту общую неопределенную напряженность, которая легко может сойти за работу мысли и чувства.

§ 4. Предисловия бывают двух сортов: личные — от лица автора и в виде рекомендательных писем от лиц, получающих не менее 500 рублей с листа. Вторые выгоднее, ибо многие грубые читатели склонны видеть в авторских предисловиях то нервное интересничанье и «беспокойную ласковость взгляда», которые ассоциируются с известной вульгарной поговоркой о гречневой каше. Если же автора рекомендует какое-нибудь солидное и маститое лицо, читатель, не желая показаться нечутким самому себе и своим друзьям и родственникам, зачастую начинает видеть на голом короле платье.

§ 5. На каждой сотне экземпляров не лишне ставить цифру нового издания, причем с пятого или шестого издания можно начать печатать в объявлениях и в конце каждой книги:

Издание шестое только что вышло и поступило в продажу.

Седьмое печатается.

Восьмое готовится к печати.

Девятое готовится к приготовлению к печати и т. д.

§ 6. Посвящать книги лучше не ближайшим родственникам, как чаще всего делают, а лицам, значение которых в искусстве более или менее установилось: «Светлой памяти Гомера», «А. Пушкину». Можно и современникам: «Учителю — Анатолию Франсу». Франс далеко, русского языка не знает, да и уголовной ответственности автор за такие посвящения по закону не подлежит. Свидетельствуя о хорошем вкусе автора, посвящения эти сразу вводят его в избранное общество и намекают на неограниченные возможности в будущем. Можно посвящать и стихиям.

На титульном листе полезно напечатать какой-нибудь эпитафия на санскритском языке или древнебретонском наречии.

§ 7. Теперь о самом главном. Книга выпущена. Изумленные народы толпятся перед витринами и у прилавков. Книга куплена. Надрезана. Огорченный читатель с прискорбием вздыхает о потерянном рубле и времени и злорадно ожидает отзыва. Что делать? Если автор холост, лучшее, что можно посоветовать ему, это жениться на тетке секретаря, либо швейцара одного из наиболее ходких периодических изданий. Психология родства обязывает — оценщики, состоящие при этом издании, становятся близкими знакомыми, вместе закусывают, сравнивают автора с Шекспиром и доброжелательно хлопают его по плечу. Вытянет ли он от многописания себе жилу на руке, купит ли новые подтяжки, — об этом будет сообщено миру в специальных отделах: «Наш даровитый вытянул себе жилу», «Наш даровитый купил новые подтяжки».

В том случае, когда с автором ничего не случится, — и об этом доведут до общего сведения: «С нашим даровитым от такого-то числа по такое-то ничего не случилось».

Если же автор женат, тогда труднее указать определенную линию поступков, так как все зависит от того, насколько автор обладает талантом общности (умение играть на бильярде и переходить на «ты» со второй встречи, умение посетить в один вечер три ресторана, две премьеры и один литературный кружок) и насколько он ласков.

§ 8. При рассылке даровых экземпляров критикам следует избегать одинаковых надписей, так как критики ходят друг к другу в гости и могут, пересматривая новые книги, случайно натолкнуться на знакомую надпись. Если одному пишешь: «Самому чуткому», второму можно написать: «Самому умному», третьему: «Самому талантливому» и т. д.

Вот несколько более оригинальных надписей: «Кто горячее вас ненавидит бездарность, дорогой Иван Иванович? — Подпись», «Если бы я не был собой, я бы хотел быть вами. — Подпись», «Маяку Красоты и Правды. — Подпись».

§ 9. Так как, благодаря приложенному к книге портрету, автора

начнут узнавать в трамваях, в театрах, в парикмахерских и прочих общественных местах, то ему следует для облегчения читателя придумать себе какую-нибудь гениальную внешность. Мягкие галстуки в виде слоновых ушей, бархатные куртки, длинные волосы, плащи, бурки, папахи и иные экзотические предметы пора сдать в архив, ибо все это давно уже стало достоянием провинциальных суфлеров, псаломщиков, таперов при кинематографах и прочих пасынков русской жизни.

В наши пестромигающие, ярмарочные, орущие дни надо прибегать к более смелым средствам: можно, например, сбрить брови и отрастить волосы в носу, можно носить красные очки со своим именем на каждом стекле или сшить из собственных обложек сюртук, а подкладку сделать из своих портретов. Можно вытатуировать на своем теле все заглавия своих рассказов или стихотворений, адрес и фамилию издателя и условия подписки на собственное собрание сочинений, что сослужит автору прекрасную службу в бане, в морских купаниях, при занятиях спортом и т. д. Можно... мало ли что можно? Надо только быть бесстрашным и отрешиться, наконец, от смешных шаблонов, которые давно уже стали чем-то вроде формы телеграфистов.

Полезно также завести какую-нибудь поговорку — повторять, например, через каждую фразу: «Три пупа, батенька». Поговорка, конечно, глупая, а в ушах останется — и можно быть уверенным, что с такой поговоркой вас ни один издатель, ни один редактор ни с кем другим уже не смешает.

§ 10. Не мешает завести приятельские отношения с каким-нибудь карикатуристом и художником-портретистом: карикатуры печатаются в периодических изданиях, а портреты выставляются на выставках. Если же подходящего знакомства нет, то надо, по крайней мере, возможно чаще сниматься. Лучше одному, но можно и с дочкой (щекой к щеке) или с собакой (символ одиночества); собаку, если нет своей, можно одолжить у дворника.

Снимки на группах требуют известной сноровки: надо уметь оттереть плечом соседей и попасть в центр группы, — что всегда несколько затруднительно, так как соседи стремятся к тому же. Составом группы отнюдь не следует смущаться; наоборот, если фигура автора мелькнет и на воздухоплавательном банкете, и на съезде вольнопожарных дружин, и на балетной репетиции, и в отдельном кабинете, и в тесном семейном кругу, общество только приятно удивится разносторонности автора и широте его духовных переживаний.

Относительно снимков для кинематографа всякие указания излишни, так как кинематографы обращаются только к тем авторам, которые получают не менее 500 рублей с листа. Мы же имеем здесь в виду исключительно молодых и начинающих.

§ 11. Могучим средством для захвата поля зрения читающей публики являются выступления на литературных вечерах и чтение

так называемых лекций. Нищета содержания и органические недостатки речи (пришепетывание, шепелявость, заикание и проч.) не должны служить препятствием, так как бородавки автора, его манеры, костюм и заикание часто интересуют публику больше, чем то, что он читает.

Что касается лекций, то лучше выбрать для них такие темы, которые, с одной стороны, не требуют знаний, превышающих словарь иностранных слов («Sic transit...» «Momento mori!»), с другой — дают неограниченный простор импрессионизму жеста и слова. Таковы темы, правда уже несколько обглоданные: Пол, Бог, Смерть, Любовь, Антихрист, Красота. Из неиспользованных тем можно рекомендовать: «О рекламе будущего», «Долой Пушкина», «О влиянии здорового смеха на открытие новых ресторанов», «Апология неонаглизма». Лучше всего, конечно, отбросить ложный стыд и читать о самом себе.

За неделю до лекции необходимо разослать в родственные периодические издания заметки, видоизменяя их изо дня в день в следующем порядке:

«Такой-то готовится прочесть лекцию. Захватывающий интерес!»

«Через три дня прочтет...»

«Послезавтра прочтет...»

«Завтра прочтет...»

«Уже! Сегодня! Читает! Захватывающий интерес! Билеты распроданы!»

После лекции опять заметка: «Такой-то прочел лекцию. Bravo, бис-bravo! По настойчивому желанию публики, лекция будет повторена тогда-то, тогда-то и тогда-то».

§ 12. Необходимо посещать все вернисажи и премьеры. Рекомендуется нанять двух прилично одетых восторженных юношей, которые ходили бы по пятам и все время громко говорили: «Кто это?» — «Где?» — «Вон там, у колонны, такое необыкновенное одухотворенное лицо?» — «Как, ты не знаешь? Это автор полного собрания сочинений Черепяхин». — «Черепяхин?! Неужели? Боже мой, подойдем поближе, может быть, он что-нибудь скажет...»

И опять сначала: «Кто это?» — «Где?» И т. д.

§ 13. Изредка полезно печатать раздраженные «письма в редакцию» о заимствовании авторского сюжета каким-нибудь португальским писателем (португальскую фамилию придумывать поправдоподобнее: Гварильянос, Лопо-де-Сильва и т. п.).

§ 14. Общее правило: надо напоминать о себе по крайней мере раз в неделю. Средств для этого немало: в любой вторник можно, например, сообщить о себе в третьем лице, что автор такой-то занят в настоящее время обдумыванием плана предисловия к своему новому роману «Женщина как таковая». В следующий вторник можно дать подробное изложение предисловия, а через неделю напечатать письмо автора в редакцию по поводу неполноты изложения и опечатки в третьей строке сверху.

Время от времени можно просто сообщать: «Автор такой-то

собирается написать книгу: «Название, тема и число страниц пока неизвестны».

§ 15. Можно указать еще некоторые устарелые способы привлечения к себе внимания: 1) Пятилетние юбилеи. 2) Воспоминания о Толстом и Чехове, с описанием главным образом собственных привычек и времяпрепровождения. 3) Интервью (обои в передней автора, взгляды его на искусство в пределах собственного собрания сочинений) и т. д., и т. д., и т. д.

§ 16. В заключение не мешает остеречь неопытных начинающих и молодых от некоторых слишком интенсивных приемов рекламы: меланхолические русские мужики, расхаживающие гуськом в лиловых пальто и со щитами на спинах по Невскому, никоим образом не должны их обслуживать, потому что даже в наше зоологическое время такая реклама, кроме убытков и неприятностей, ничего авторам не принесет.

<1913>

ЭЛЕГИЧЕСКАЯ САТИРА В ПРОЗЕ

У прекрасного Божьей милостью поэта Кирилла Такого-то был один крупный недостаток: он не походил ни на один из образцов, одобренных к печатанию в легкомысленных и пожилых изданиях, и вообще ни на кого не был похож. Если бы еще у человека было имя, — туда-сюда, — ради имени каких чудачеств не прощают. У Кирилла же не только не было имени, но долгое время на вопросы заведующих российской словесностью: «Где печатались до сих пор?» — легкомысленно отвечал: «А нигде не печатался!» Причем бесстрашно выдерживал укоризненно-суровый взгляд спрашивающего и прибавлял: «Надо же где-нибудь в первый раз, нельзя сразу во второй».

Родные и знакомые поэты (которые уже печатались) тщетно уговаривали беднягу «бросить» и заняться чем-нибудь путным... Кирилл находился в том маниакальном состоянии, которое заставляет всякое сильное дарование идти в мир, а не в канцелярии губернских казенных палат: кроме того, он хотел (будем беспощадны) и жить своим искусством, получая хлеб только из рук своей музыки, или, выражаясь более вульгарно, желал получать построчную плату, — ибо он был не только даровит, но и беден.

Человек построил Хеопсову пирамиду, вычислил расстояние до солнца, прорыл Панамский перешеек. Мудрено ли, что Кирилл добился того, что его первые стихи были наконец напечатаны в «Еженедельном Пегасе для легкого трамвайного чтения»? В первый раз ради курьеза, потому что автор не был ни на кого похож, во второй раз потому, что он уже печатался, и потому, что стихотворение было короткое, а гонорар минимальный, в третий — потому, что он уже печатался два раза, и т. д.

Прошел год. Настала весна. Легкоокрыленный Кирилл ходил по стогам столицы, сочувственно слушал щебетанье воробьев в Летнем саду и, покачиваясь на площадках трамваев, с радостной улыбкой косился на пассажиров. В руках одного из них был «Еженедельный Пегас», у другого — «Наш Зодиак», у третьего — «Счастье читателя», во всех этих органах из недели в неделю печатались его радостно-волнующиеся строчки, но никто из пассажиров еще не знал его, никто не знал, что автор стоит тут же, в дверях площадки, смотрит сквозь зеркальные стекла на кудрявые облака и видит то, чего никто не видит...

Прошел еще год. Кирилл печатался уже в двухнедельных журналах, выпустил свою первую благоуханную книгу, пережил сотни опечаток и рецензий, получал письма от читательниц, с просьбой выяснить свое *sredo*, и приглашения на литературные чревоущания в кружках, а однажды, вернувшись осенью в столицу, узнал из вечерних газет, что он привез драму в стихах: «Золотой день», которой он, между прочим, никогда не писал. Слава стояла в передней... Несмотря на все это, дарование его все росло, было буйным, радостным, неожиданным. Иногда только, когда он, сидя у себя, — уже не в мансарде, а в довольно сносной мебелированной комнате, — размечал, что «подходит» для «Парнаса», что для «Пегаса» и что для «Трезвого наблюдателя», им овладевало чувство, знакомое многим путешествовавшим в бурную погоду по морю. И еще тогда переживал он это состояние, когда приближалась очередная журнальная пятница или вторник, и он должен был, спеша, нести полувисохшие строчки, потому что «обещал» или потому, что это было нужно. Комната, стол, стирка, освежение, книги... Вы понимаете?

Еще год, второй, третий, четвертый. Книга вторая, книга третья, книга четвертая, книга пятая... Два бухгалтера, занимающиеся почему-то вместо своей специальности критикой, с чувством живейшей радости отметили, что Кирилл выправился и стал глаже (действительно, он стал глаже), «Би-ба-бу» вылил на него три очередные критические лохани. «Влас Ки-ка-пу» зарабатывал пародиями на его стихи больше, чем сам Кирилл, в волосах прекрасной музы блеснула первая седина — усталость, и закопошились бесчисленные подражатели. Один из них даже одевался, как Кирилл, и, пользуясь сходством фамилий, выступал от его имени в провинции на литературных вечерах.

Незаметно подполз первый пятнадцатилетний юбилей, но среди собравшихся за одним ресторанным столом многочисленных друзей, издателей, поклонников, репортеров и врагов самым скучным, самым безразличным и усталым в вечер юбилея был сам юбиляр. А возвращаясь после «за полночь затянувшейся дружеской беседы» домой, он в приливе откровенности (бенедиктин и английская горькая) сказал провожавшему его другу (не писателю): «Когда-то я был безумно счастлив, если видел свое имя в печати, — теперь я безумно счастлив... если могу хоть месяц не печататься».

Кирилл приобрел имя — такое же бесспорное и большое, как фирма Нобель, братья Ротшильд, Эдисон и проч. Книги его распались, как чернослив, и проникали всюду, от будуаров до самых демократических полок. В последней книге — двадцать четвертой — от «кривлянья», «экзотики» и хмеля не осталось и следа, острые углы стерлись, все было прилично, почти как у всех.

Наступил апофеоз. Маститые и пожилые издания поняли, что дальше ждать бессмысленно — Кирилл Такой-то ведь мог умереть, что бы они тогда получили? Две-три посмертных баллады, с бегло помеченными рифмами в концах длинных многоточий? Перед Кириллом, бывшим столько лет футбольным мячом для остроумных ног маститых и полумаститых оценщиков, распахнулись наконец ржавые маститые двери, и он возлег на почетное тучное лоно, поставляя изредка к очередному времени года блеклые и приличные строки, очень напоминавшие по своему вкусу вываренное суповое мясо. Метранпажу было отдано распоряжение всегда помещать их на первом месте.

Немногие наивные чудаки, помнившие и любившие прежнего Кирилла, глубоко были огорчены, но не в них, конечно, дело...

И вот на этой последней, высокой, но узкой ступени с Кириллом приключился высоко-забавный и редкий случай, который и завершит это печальное повествование. Однажды, в суете предпасхальной рассылки, Кирилл послал, по рассеянности, один из подписанных его именем пустых листков, предназначенных для переписчицы, в редакцию «Ежемесячной истины». Секретарь долго вертел в руках пустую бумажку, посмотрел ее на свет, пожал плечами и понес к редактору. Тот, в свою очередь, повертел бумажку в руках и сказал: «Гм! Придется напечатать...» — «Да что вы?» — секретарь был еще молод (ему шел всего лишь шестой десяток). «Ведь здесь ничего нет!» — «А имя?» — спокойно возразил редактор, солидно поправил очки и отослал листок в типографию.

Через месяц читатели «Ежемесячной истины» были чрезвычайно изумлены: между рассказом «Из быта московских архиереев» и статьей «Нефтяная Панама» была пустая страница, внизу которой жирным шрифтом было напечатано: «Кирилл Такой-то».

<1913>

ТЕХНИКИ

(СКАЗКА)

Пришел немецкий ученый фон-дер-Кваке в свое военное министерство. Перед дверью солдат стоит в полной амуниции, как приклеенный.

— Чего надо?

— Изобретение принес, — сам на узелок показывает.

— Проходи. Сто тридцатый сегодня. Эк вас носит!

Поднялся фон-дер-Кваке по лестнице, сюртучок обдернул, из ушей вату вынул и пошел прямо к полковнику, который этими делами заведовал.

— Здравствуйте, господин полковник! Вот принес.

Поднял полковник голову — плотный такой, щеки, как окорока, — и смотрит на узелок.

— Что там?

— Изобретение. Порошок такой. Пустишь по ветру в неприятельскую сторону, сейчас же у всех у них все тело чесаться начнет... Три дня чесаться будут, всю кожу с себя сорвут... Здорово?

— Что же, хорошо. Сколько?

— Сто марок. Очень дешево, господин полковник. Я ведь для отечества.

— Семьдесят. Больше нельзя... Много вас уж ходит.

Вздыхнул ученый, с завистью посмотрел на жирные полковничьи ляжки и пошел к казначею получать деньги. А по лестнице навстречу другой ученый подымается. Пыхтит, под мышкой какую-то штуку тащит, вроде швейной машины.

И тоже к полковнику.

— Вы с чем?

— Машина, господин полковник. Беспроволочным током работает. Заведешь ее — у неприятеля за десять верст глаза повылезают.

— Так, — зевнул полковник и по столу толстым пальцем побарабанил. — Испытание делали?

— Как же. На бельгийских пленных. Комиссия была — вот и свидетельство. Чистая работа: корова за двенадцать верст паслась и та ослепла.

— Как же вы так неосторожно? Ну, ладно. Полтораста марок.

— Прибавьте, господин полковник. Жена у меня, дети. Младший такой симпатичный мальчишка — на вас похож, господин полковник. Всего три года, а уже изобретает: вчера кошку керосином вымазал, серой обсыпал и в печку...

— Ладно. Десять марок прибавлю. Больше ничего?

— Орден бы мне какой-нибудь; ночей ведь не сплю, в кирхе не был два месяца, все изобретаю.

— Орден? Можно. Вон там в углу, в корзине, выбирайте. Следующий!

Перед дверью стоял хвост изобретателей. Тянулся по коридору, по лестнице, изгибался, как пожарная кишка, по улице и терялся далеко за углом.

Предлагали разное: отравленные сигары для братания; проклятия на русском языке, пропитанные составом, от которого люди три недели должны ходить, как очумелые; водку, разбавленную слюною бешеных собак; гранаты, начиненные ржавыми иглами, — черт его знает, чего только не приносили!

К восьми часам вечера полковник мокрый, как утопленник, заглянул в коридор и хрипло скомандовал:

— Баста!.. Четыреста тридцать пять номеров. Никогда еще такого дня не было. Завтра же доложу военному министру, чтобы хоть таксу ввел. Невозможно, господа... Этак скоро Германия без рубашки останется.

— Господин полковник, господин полковник!

— Ну что еще? Завтра в шесть утра. Читали внизу объявление?

— Господин полковник! Изумительное изобретение! Полный переворот в военном деле!.. Мировое владычество Германии! Выслушайте, господин полковник...

— Закройте двери. В чем дело?

Маленький толстый немец оглянулся вокруг, потер руки и вынул из кармана небольшой черный ящичек.

— Вот. Двенадцать лет работал, господин полковник. Видите клапаны? Если эту проволочку соединить вот с этой, да с этой, да нажать вот на эту штучку — то за тысячи верст отсюда взлетит Нью-Йорк, нажать вот эту — Париж, вот эту — Петроград, вот эту — Лондон... А? Здорово?

Полковник крикнул:

— Сколько?

— Десять тысяч марок.

— Слушайте... — полковник подошел к изобретателю и, сверкнув глазами, взял его за глотку. — Слушайте вы, толстый идиот, слушайте вы, несчастная собака! Вот вам двадцать тысяч марок, ступайте сейчас же домой, сожгите ваш проклятый ящик и чтобы я больше об этом не слышал! Поняли?..

— Да почему?.. Господин...

— Почему?! Он еще спрашивает почему... А что же мы, военные, будем делать после твоего проклятого изобретения? Галоши заливать? А? С войной что будет? А? С пушками? А? Ремесло наше уничтожить хочешь, армию переокрасить, маршировки лейтенантов прекратить!.. Понял, что ты изобрел, понял?

— Понял.

— Ну так вот. Никому ни слова. Вот двадцать тысяч марок, ты ничего не изобрел, я ничего не слышал. А впредь не в свое дело не суйся, черт этакий...

Пересчитал изобретатель деньги, посмотрел на свой ящичек, вздохнул и на цыпочках пошел к дверям.

БУМЕРАНГ

**Независимый двухнедельник
сатиры и юмора
под редакцией профессора
Фаддея Симеоновича Смяткина**

(1925)

ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

(ВМЕСТО ПЕРЕДОВОЙ)

На днях знакомый семилетний мальчик-эмигрант в беседе с нами задал нам несколько вопросов, на которые мы могли ответить только пожатием плеч.

Ввиду общего интереса этих вопросов, позволяем себе поделиться ими с нашими взрослыми читателями.

«Почему изобретателей новых разрушительных газов не сажают в сумасшедший дом, а, наоборот, платят им сумасшедшие деньги, чтобы они могли производить еще более сумасшедшие опыты?»

«Почему у взрослых эмигрантов есть правые, левые и центральные газеты, а у эмигрантских детей нет ни одного, самого простенького детского журнала?»

«Почему танцкласс с крепкими напитками, в котором бывает тетя Глаша, называет себя «литературным кружком»? Можно ли, например, назвать быстро архитектурным кружком, а кухмистерскую — балетной студией?»

«Почему советские начальники пишут в своих газетах, что у них великолепные финансы, а сами все время клянутся у буржуазных государств на табачок?»

«Почему тетя Глаша ходит на все литературные вечера и платит за билеты по 25 франков, а книг даже пятифранковых не покупает, находя, что это ей не по карману?»

«Почему на фильмах все молодые женщины такие красивые и ездят всегда в автомобилях, а в жизни они так себе и большей частью ходят пешком?»

«Почему каждая партия считает, что она одна умная и симпатичная, а все остальные вроде последних учеников? Разве дураки и разные пакостники не равномерно распределены между всеми партиями?»

«Почему несчастные американцы, которым запрещают в Соед. Штатах пить аперитивы, не заведут себе бистро на аэропланах? Интересно бы также знать, до какой высоты распространяется территория государства, — ведь всегда же можно пролететь на один метр выше?»

Если кто-либо из наших вдумчивых читателей может ответить на вопросы любознательного мальчика, просим направить ответы в редакцию.

НАШИ ТЕЛЕГРАММЫ

<I>

Б а т у м. — Бывший Троцкий получил от бывшего Вильгельма II предложение написать сообща сценарий фильма: «Мировые шарлатаны». Встревоженное ГПУ конфисковало у опального вождя писчую бумагу, карандаши, чернила, «Ремингтон» и переписчицу.

Л е н и н г р а д. — Слесарем Путиловского завода Иваном Серпом изобретен прибор для кормления коммунистических грудных младенцев красными копирувальными чернилами. Экспонат будет выставлен в Сов<етском> павильоне в Париже. Демьяну Бедному заказана в честь изобретения похвальная ода.

Р и г а (через Т и ф л и с). — Смещенная с поста полпреда в Норвегии престарелая Коллонтай получила, ввиду особых заслуг, назначение «главного инструктора красного коннозаводства».

М о с к в а. — Среди бела дня мчавшийся по Арбату Маяковский налетел на грузовой автомобиль и разбил его вдребезги. Число жертв выясняется.

А р х а н г е л ь с к. — Вылетевшая к Северному полюсу экспедиция Сов<етских> летчиков разослала по радио воззвание: «Всем, всем, всем! Перевалив через северное сияние, пьем бензин за здоровье мировой революции. Белое море впредь именовать Красным, Канин Нос — Ленин Носом, Двинскую губу — Крупской губой».

<II>

Н ь ю - Й о р к. — Колоссальный кит проглотил вблизи берегов Вашингтона таможенный катер, охраняющий побережье от контрабандного подвоза спиртных напитков. Ввиду огромного количества виски и рома, находившихся на самом катере, кит опьянел и выбросился в беспмятном состоянии на берег. Ликующие жители, разрубив пьяного кита на части, выжали из него спирт и в свою очередь опьянели. Огорчение опоздавших — не поддается описанию.

Р и г а (через С а х а л и н). — По представлению Чичерина представлены к ордену Красной Звезды I ст. все европейские короли, имевшие честь принимать у себя полномочных представителей СССР.

В а р ш а в а. — Находившийся в летаргическом сне с весны 1914 г. виленский пекарь Я. Рынзин внезапно проснулся 15-го сего мая в восемь с половиной часов утра. Потребовал газеты, прочел телеграммы и обзор современных событий, плюнул и, повернувшись на другой бок, снова впал в летаргический сон.

Л е н и н г р а д. — Безработным сменовеховцем А. Дроздовым внесен в Акад. Краснаук проект нового упрощения правописания путем уничтожения букв «е» и «ь», а также вопросительного и восклицательного знаков, как выражающих сомнение, вопрос, удивление и негодование.

<III>

П о л т а в а (через Лиссабон). — В разрытом близ Ромен кургане найдены бронзовый серп и молот; на рукоятках сохранились знаки, напоминающие по рисунку ВВС. Прибывший из Москвы красный археолог банщик Вавилин установил, что буквы эти означают в сокращении: «Вся власть Советам». Вавилин в награду за открытие назначен ректором всех закрытых за недостатком средств мордовских вузов.

П е р н а м б у к о. — Очередная мексиканская революция протекает вполне нормально. Местные жители во имя своих коммерческих и гражданских интересов обратились к новому диктатору генералу Лахудре-Кальвадос с просьбой установить очередь новых революций до конца настоящего года.

Н ь ю - Й о р к. — Началась забастовка наемных танцоров. Мужская часть населения совершенно безучастна. Женская — в паническом ужасе принимает все меры к прекращению забастовки.

Р и м. — Джеки Куган сегодня в первый раз вынужден был побриться. Родители в отчаянье. Приглашенный специалист по детским болезням заявил, что он совершенно в данном случае бессилен.

Экспансивные римляне, узнав о трагическом случае со знаменитым ребенком, забросали новую фильму с Джеки Куганом в главной роли гнилыми помидорами.

П а р и ж. — Добытая с большими затруднениями из Москвы зиновьевская слюна была впрыснута в Пастеровском институте совершенно здоровому молодому шимпанзе. На третий день обезьяна обнаружила все признаки военного коммунизма: отобрала у других обезьян пищу, укусила сторожа, перецарапала всех здоровых обезьян и, завладев всей клеткой, терроризировала их и загнала в угол. Проф. Р. высказал предположение, что прививка крови зараженной обезьяны любому последователю Коминтерна даст, вероятно, обратные результаты: прояснение сознания, тягу к уживчивости, мирному труду и разумному культурному разрешению всех социальных конфликтов.

Б у х а р е с т (через Суэцкий канал). — В Кишиневской книжной лавке К. Соловейчика конфискованы два завалывшиеся в подвале экземпляра пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке». Соловейчик, по обвинению в насильственной русификации края, предан военному суду без права апелляции. Экземпляры сказки под усиленным конвоем препровождены в местную каторжную тюрьму.

Р и м. — Муссолини выезжает для ознакомления с СССР в Москву. Дзержинский выезжает для ознакомления с Италией в Рим. Калинин, король и папа обменялись сочувственными телеграммами.

П р а г а (через Земгор). — По сведениям международно-го статистического бюро, на европейских мостовых появилось в количестве 8 человек новое бродячее племя евразийцев. По исследованию антропологического бюро, племя одинаково непригодно для жизни ни в Европе, ни в Азии. Временно питается изданиями сборников, которые сами же покупают и читают.

Л и в е р п у л ь (через Нью-Джерсей). — Культурная жизнь страны все ширится. В Ливерпуль прибыл Маршалл Роббинс (79 лет) для состязания в курении сигар с В. Келли (67 лет) на звание мирового чемпиона. Город в напряженном ожидании. Лондонский мэр постановил назвать две койки в городском доме умищенных именами отважных курильщиков.

Ж е н е в а. — Высылка из Франции китайцев коммунистов, которых не хотело принимать ни одно из соседних государств,

вызвала вмешательство Лиги наций. Лига решила, во избежание дальнейшей чехарды, предоставить для высылаемых коммунистов остров св. Елены. Жизнь на острове принудительными мерами международной охраны будет устроена на строго коммунистических началах. Коминтерн в панике обратился к Нансену с просьбой о защите.

<VI>

М о с к в а. — В ночь на 13 августа советский медиум индус Арум-Бабай был вызван Лениным в мавзолей. Вступив в контакт с мумией вождя, медиум явственно услышал под потолком прерывистый стук, который по телеграфной азбуке означал:

«Уберите этого дурака!»

— Какого?

— Зиновьев...

Окончание фамилии осталось невыясненным, так как медиум был тотчас же арестован и бесследно исчез.

Х р и с т и а н и я. — Беженцы-армяне, которым Нансен, специализировавшийся на зазывании беженцев, предложил вернуться в совзакавказскую республику, послали маститому норвежцу ответственную телеграмму:

«Когда в Норвегии мировой пожар будет, — чего тебе желаем, — тебе никуда бегать не надо, знакомства хорошие имеешь. А мы уже горели, спасибо. Между прочим, отгадай загадку: Северный полюс открывал — не открыл; беженцев возвращал — не возвратил; имущество имеет, — а сам с вор-разбойником дружит; человек образованный, — а поступает, как ишак. Отгадай, кто такой будет?»

<VII>

М о с к в а (через Вшивую горку). — Профсоюз безработных пролетарских поэтов обратился к английским шахтерам с просьбой о материальной поддержке. Шахтеры на общем собрании постановили запросить: почему СССР-ские пролетпоэты не объявят однодневной лирической забастовки, чтобы заставить свое правительство прийти им на помощь? В случае забастовки шахтеры обещают пролетпоэтам полную моральную поддержку.

<VIII>

В е н а. — Общее собрание гакенкрейцеров, возмущенных конгрессом сионистов, предложило правительству изъять из продажи все книги старого австрийского юмориста Сафира, который еще во времена Гейне писал: «Когда у дурака нет никакого дела, он становится антисемитом».

Л о н д о н. — Группа безработных английских рабочих запроектировала по радио Москву: «Правда ли, что в СССР безработным не платят ни гроша, а волнения безработных подавляются мерами, которые в несоветских странах применяются только укротителями к диким зверям? Имеет ли после этого смысл английским безработным помогать III Интернационалу вводить в Англии советский режим?»

Московское осведомительное бюро в ответ послало группу... в место, которого ни на одной географической карте не оказалось. Знающий русский язык старый английский боцман, к которому обратились за разъяснением, плюнул и от роли переводчика категорически отказался.

<IX>

С.-Я г о (ч е р е з т р о п и к К о з е р о г а). — Проживающий на острове Жуан-Фернандес единственный русский эмигрант Лука Киселев, запутавшись в партийных разногласиях с самим собой, вылетел на гидроплане в Париж для выяснения своей платформы.

Л о н д о н. — Шерлок Холмс, исследовав доставленные ему Конан Дойлом после «Конгресса спиритов» спиритические материалы, высказался кратко и энергично: «Идиоты!» Относится ли это выражение к духам или к спиритам, пока невыяснено.

АФОРИЗМЫ ПРОФЕССОРА Ф. С. СМЯТКИНА

Богатый американец мечтает найти в Париже бескорыстную девушку, бескорыстная девушка мечтает найти в Париже богатого американца, а бедный эмигрант мечтает найти в Париже квартиру без мебели.

* * *

Если ты сидишь у знакомой красивой дамы и развлекаешь ее до полуночи историей кооперативного движения в Австралии, никогда не забывай о времени отхода последнего метро.

* * *

Легче развестись с законной женой и затем жениться на Эйфелевой башне, чем обменять старую карт-д'идантите на новую.

* * *

Самое редкое в эмиграции явление: ветеринар, не именующий себя профессором.

* * *

О недалёковидная русская гимназия! Зачем ты не обучила меня

вместо греческих «аористов» и латинских «ut finale» английскому и французскому языку...

* * *

Эмигранту не подобает иметь многочисленное семейство...

* * *

Даже простая дырка от бублика имеет центр — почему же Зинаида Петровна уверяет, что центр может быть либо левый, с уклоном вправо, либо правый, с уклоном влево?..

* * *

Нетанцующий эмигрант подобен ихтиозавру.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАЗГОВОРОВ, НЕОБХОДИМОЕ КАЖДОМУ ИНОСТРАНЦУ, ОТПРАВЛЯЮЩЕМУСЯ В МОСКВУ

Вопр.: Почему этот подозрительный тип в кожаной фуражке ходит за мной по пятам?

Отв.: У него вчера умерла тетья, и он совершает прогулку, чтобы немного развлечься.

Вопр.: Где ближайшая меняльная лавка, в которой я мог бы разменять английские фунты на советское бумажное золото?

Отв.: Если вы зайдете со мной в любую подворотню, то ближайшая меняльная лавка в моем боковом кармане к вашим услугам.

Вопр.: Могу ли я нанять этого добродушного извозчика для прогулки за город?

Отв.: Нет. Но вы можете передать ему вашу корреспонденцию для отправки в вашу буржуазную газету.

Вопр.: Какие товары преимущественно вывозятся из вашей республики?

Отв.: Колеса на турусах, слоновые меха, полпреды и совкурьеры особого назначения.

Вопр.: А ввозятся?

Отв.: Оружие из разоружающихся стран, а также советский хлеб, проданный нами раньше за границу.

Вопр.: Почему у этих мужичков на базаре такое унылое выражение лица?

Отв.: Они скорбят, что революция в Индии до сих пор не вспыхнула.

Вопр.: Что написано на вывеске над этим жалким, грязным сараем?

Отв.: «Все для детей!» «Советский дворец имени Емельяна Пугачева».

Вопр.: Что это за роскошный особняк с автомобилями у подъезда?

Отв.: Здесь помещается красный дансинг индокитайских агитаторов.

Вопр.: Какая у вас средняя температура зимой?

Отв.: В домах наших беспартийных подданных десять градусов ниже нуля, в домах партработников двадцать пять градусов выше нуля, но наша советская водка во все времена года не опускается ниже 40°.

Вопр.: Что означает этот безобразный цементный хобот на кирпичном пьедестале?

Отв.: Это памятник Каину, первому комсомольцу, свергнувшему на заре человечества помещичье-буржуазную власть своего белогвардейского брата.

Вопр.: Отчего этот широкоплечий ломовой извозчик обливается потом?

Отв.: Он только что прочел в нашем ВУЗе лекцию по истории коммунизма у австралийских муравьев.

Вопр.: Где я могу купить перочинный ножик?

Отв.: В ближайшей кооперативной аптеке, но предварительно я должен вас арестовать за незаконное ношение оружия.

ПРОИСШЕСТВИЯ

<I>

Известный ученый вундеркинд, приват-доцент Дыркин, получив «академические пальмы» и возвращаясь из Министерства народного просвещения во взволнованном состоянии домой, забыл свои пальмы в метро. Розыски производятся.

Кинематографическая красавица обеих полушарий Стелла Полугорячая переделала «Войну и мир» в сценарий из жизни ковбоев. Крутить будет неподражаемый любимец публики Евгений Ленский, проездом через Афины остановившийся в Париже.

<II>

Новое фешенебельное кабаре «Кислая Радуга» на днях с большой помпой отпраздновало свой двухнедельный юбилей. Первому посетителю, по рассеянности попавшему в кабаре около 12 ч. ночи, были выданы благодарной дирекцией в виде премии бутылка минеральной воды «Витель» и пачка папирос «Марилан».

Небезызвестный банкир Высоцкий, продавший свой банк большевикам, заказал небызвестному Ветлугину, автору «Записок мерзавца», свою автобиографию.

Секретарем «профессионального союза грудных поэтов» Трифоном Грымзой составлено «Руководство для начинающих гениев с приложением полного словаря глагольных рифм». Спешно разыскивается издатель.

Вышел в свет и поступил в продажу знаменитый романс знаменитого автора знаменитых печальных песенок г. Пьерро-дон-Сиропо: *«Ваши пальцы пахнут дяконом»*.

Продажа во всех парикмахерских и лимонадных киосках.

<III>

Эпидемия случайных соединений, начатая «Рус<ской> газетой», объединившейся с «Веч<ерним> временем» в «Русское время», продолжается.

«Русское время» объединилось в свою очередь с «Русской землей» во «*Временную землю*»; «Дни» сделали предложение «Посл. новостям» о соединении в «*Последние дни*», а «Иллюстрированная Россия» по слухам собирается объединиться с «Возрождением» и будет выходить под названием «*Иллюстрированный Возрожденец*».

«Пар<ижский> вестник» объявил конкурс на постановку И. Эренбургу прижизненного *нерукотворного* памятника во дворе сов. посольства. Ввиду слухов о *нерукотворном* материале, из которого будет сооружен памятник, встревоженные жители окрестных домов подали жалобу в отдел общественной гигиены парижского муниципалитета.

Во время прений после доклада проф. Смяткина «Наши разногласия» произошел небывалый в истории русской интеллигенции случай. Докладчик, выслушав своего оппонента, встал и, подойдя к нему, пожал ему руку со словами: *«Вы меня убедили, благодарю вас»*.

Изумление слушателей, наблюдавших впервые в жизни такое отношение докладчика к оппоненту, не имело границ.

<IV>

12-го сентября около полуночи в раскрытое окно редакции «Ил. России» вскочил голодный страус и проглотил лежавшую на столе связку ключей.

Вызванная по телефону пожарная команда связала страуса, а живущий визави редакции дантист извлек при помощи большого магнита ключи из страусового желудка.

Переночевавший в ванной страус был в следующее утро от-

правлен с редакционным мальчиком в открытом такси по месту жительства, в Зоологический сад.

С первых чисел октября в Париже начнет выходить в свет новая ежедневная газета «Харьковский американец». Вместо шаблонных газетных отделов — передовицы, фельетона, хроники и т. п. — газета будет печатать четыре бульварных романа с продолжениями: 1) роман сенсационно-двуспальный, 2) сенсационно-каторжный, 3) сенсационно-оккультный и 4) сенсационно-марсианский.

В редакторы приглашен опытный харьковский закройщик, имеющий большие связи в светских, уголовных и оккультных кругах.

Эмигрантом-инженером Р. изобретен новый тип эмигрантских походных квартир. Квартира устроена по типу водолазного костюма, передвигаемого жильцом при помощи роликовых коньков. Члены любой семьи, прицепившись друг к другу крючками, могут <таким> об<разом> двигаться в любой местности. Квартиры приспособлены для ночевки под открытым небом на деревьях в гамакообразных позах, на земле — плашмя, на воде и под водой — в любой позе.

ОБМЕН

Неизвестно, по каким пролетарским соображениям совправительство усиленно зазывает в свою лавочку краснациональных эмигрантов для отправки эшелонами на «родину». Коммунисты, взывающие о любви к «родине», столь же дикое и неэстетическое зрелище, как шакалы, умиленно проповедующие вегетарианское питание (не для себя, конечно)...

Судя по напечатанным в «Парижском вестнике» маргариновым письмам кающихся Митрофанов, зазывание идет туго. Письма наспех стряпает безработный чекист, редактирует, судя по слогу, бывший полицейский паспортист. При бедности эмигрантской юмористической литературы письма эти можно было бы тиснуть куда-нибудь в «смесь», если бы они не были так угрюмо однообразны. Вот готовое клише (варьируются только подписи и трехэтажные слова):

«Дорогая редакция!

Эмигранты все, холера им в бок, белые бессознательные гады, обливающие помоями добрую и заботливую, как родная мама, советскую власть. Чем подписаться на красный аэроплан в подарок Красной Армии, честью раскаться, попросить прощение, взять способность и вернуться на пролетарскую родину, которая цветет, все

равно как красный мак в советском огороде, они, с-ы дети, ездят взад-вперед по Берлинам, Парижам, издают свои вонючие печатные органы и изливают вонючую ложь на красную матушку Россию. Собака лает — ветер носит!

Огромное спасибо, земной поклон тебе, дорогой «Парижский вестник», что ты наконец открыл нам глаза, залепленные белым мраком. Это вам не Милюков и не Гессен, купающиеся в золоте и пьющие нашу трудовую кровь!..

Бросил курить, скопил пять мозолистых франков, которые и прилагаю. Расписки не надо, верю и так.

*С раскаявшимся приветом Игнатий Мокрецов
с Бобруйска (бывший гад, а теперь зрячий).*

Если «эшелоны» не миф, то «Бумеранг» от всей полноты сердца приветствует скорейшую отправку нескольких сотен Митрофанов в братский СССР-ский котел. Воздух в эмиграции станет значительно чище, а застрявший в Париже «Союз возвращения на Родину» сможет наконец открыть в Москве кооперативный завод красных мыльных пузырей для устройства на нем всех безработных, раскаявшихся Мокрецовых.

Со своей стороны считали бы справедливым в обмен на зауряд-Митрофанов получить из СССР несколько сотен близких нам людей, которые годами простаивают в хвостах и не могут получить визы на выезд из самой счастливой и свободной страны в мире. Посильную для нас сумму на выкуп мы обязуемся собрать по подписке и внести в любой несоветский банк.

Думаем, что при всей нашей бедности, новая статья — выкуп эмигрантами своих родных и близких — значительно подымет температуру малокровного советского червонца.

МУЗЕЙ «БУМЕРАНГА»

Вещи ветшают, изнашиваются и выбрасываются в мусорный ящик. Между тем негодная вещь часто по своему символическому значению неоценима. Зубочистка, которою ковыряла в зубах Жорж Занд, стоила в свое время 1 су, а теперь ее не купишь и за 100 фунтов.

Но нас лично интересуют предметы, связанные с преходящим эмигрантским бытом. Не щадя времени и франков, мы положили в редакции «Бумеранга» начало «Музею русской эмиграции».

В нашей витрине пока имеются следующие уники:

1) перо, которым гр. А. Н. Толстой писал в «Общ<ем> деле»;
2) трудовой мозоль Ильи Василевского (Не-Буквы), приобретенный им от частого получения авансов в белогвардейской печати (Киев, Париж и пр.).

3) рукопись «Записок мерзавца» Ветлугина, гастролирующего в настоящее время в той же роли в Нью-Йорке;

4) список 14 миллионов раскаявшихся эмигрантов, приобретенный у машинистки «Пар<ижского> вестника»;

5) последняя буква «ять», написанная Зинаидой Венгеровой до перемены ею ориентации;

6) составленный редакц. сторожем «Бумеранга» перечень романтических названий для вновь открываемых русских ресторанов в Париже;

7) кривая падения температуры берлинско-эмигрантских издательств с 1920 по 1925 год;

и 8) фотогр. карточка П. Н. Прохорова, получившего в Passy квартиру без мебели и отступного.

Сердечно просим наших читателей, если в их инвентаре найдется вещь, достойная нашего музея, — сообщить нам цену этой вещи (до 5 фр. включительно). А еще лучше пришлите ее в редакцию безвозмездно с любезным письмом на имя проф. Смяткина.

Открытка с благодарностью высылается в тот же день, оплаченная марками по существующему тарифу.

МУДРЫЙ СОВЕТ

Раз в неделю надо выходить на двадцать четыре часа в отставку.

Конечно, не в воскресенье. В этот день все окрестности набиты, как ливерная колбаса, целующимися под всеми кустами ближними. А по квартирам ходят стадами досужие эмигранты и мечут словесную икру: «Куда мы идем? Что дальше? Кто вам перелицевал костюм? Правда ли, что «Дни» переезжают в Париж?»

Раз в неделю надо выходить в отставку: *т. е. не чувствовать себя в этот день эмигрантом.*

Как этого достигнуть?

В среду утром вы просыпаетесь, с разбега вскакиваете в туфли и идете в коридор. Из-под двери зловеще торчат три эмигрантские газеты и четвертая лимитрофная, которую почему-то подсовывают вам же, хотя адресат живет этажом выше.

Соберитесь с мужеством! Зажмите газеты каминными щипцами и запихните их до следующего утра за угольный ящик...

Звонок. Безработный приятель придрал с другого конца Парижа, чтоб вернуть вам зачитанный год назад 5-й том «Архива рус. революции» и пересказать его вам своими словами...

На блестящем французском языке, усиленно грассируя, ответьте ему через дверь, что вы позавчера уехали в Брюссель хоронить своего молочного брата.

Обедайте в этот день дома. Кусок творога (в виде сердца), немного луку (если вы переносите) и полметра хлеба. Ни в «Днепр», ни в «Урал», ни в «Аму-Дарью» не ходите! Никто к вам не подсядет с расспросами: «Куда мы идем, куда мы заворачиваем?»

За соседним столиком не будут трещать о чудесном случае с аппендицитом Софьи Мироновны... Соседнего столика — нет. Молча и радостно съешьте свой творог, бездумно следя, как жизнерадостная моль кружится над вашими брюками... Пожмите ей сочувственно лапку.

Беззаботный, как молодой ковбой, вы выходите на улицу и садитесь в первый встречный трамвай, тщательно обходя пассажиров, у которых торчат из карманов эмигрантские газеты. Последняя остановка: зелень, птицы, фонтан. Вы садитесь на скамью и стараетесь не думать о скамье, на которой вы ели в 1914 г. в Житомире дыню. Запел чиж? Не мучьте себя, что это чиж французский, а не орловский и не пензенский...

Заставьте себя поверить, что это просто чиж. Просто каштаны и просто, свободное от виз, синее небо, всем равно принадлежащее. Даже эмигрантам...

А вечером, возвращаясь, взвесьтесь в метро: ваш вес увеличился на полтора кило!

Поворот ключа. Блаженный зевок. Вы бухаетесь в постель, засыпаете, как новорожденная газель, и видите чудесные детские сны, в которых вы «никуда не идете и никуда не заворачиваете»...

Вы наморщили лоб? «Позвольте, ведь то, что вы предлагаете, — измена!» Ничуть не измена. Просто отдых. Раз в неделю каждый из нас имеет на него право.

ПИСЬМО, ОШИБОЧНО ПОПАВШЕЕ В РЕДАКЦИЮ «БУМЕРАНГА»

Дорогие товарищи!

Прочитав в «Красной газете», что ленинградский совет собирается переименовать еще 300 улиц, площадей, мостов и прочих городских принадлежностей, вношу свою лепту как сознательный младший полотер сопосольства в Париже. Причем за каждое мое название назначаю по таксе, по скромной расценке, с больших улиц по пять франков, с переулков по три. Даром не могу, ввиду дороговизны женского пола в Париже и расходов в соседнем бистро на представительство.

Улицы: Совнаргоголя, Компушкинская, Красиностровский проспект, Левобезбожная набережная, Каинский бульвар, Совполотерный бульвар, набережная Красномойки, Мандатная линия.

Переулки: Средняковский, Сыпняковский, Молодняковский, Лицом-к-деревне, Красноводочный, Малюты Скуратова, Пугачевский.

Мосты: Пулеметный, мост Зиновьевской Трудовой Мозоли, мост Пролетарской Справедливости, мост Красных Семечек.

Сады: Хамрический (б. Таврический), Ленинсандровский (б. Александровский) и Комсометний сад.

Острова: Комсильевский (б. Васильевский), Чертовский (б. Крестовский) и Абортный (б. Аптекарский).

Площадь: Кожаной Куртки (б. Исакиевская).

Когда придумаю еще, пришлю дополнительной бандеролью полный комплект по той же таксе. Вышлите только спешно новейший ленинградский план с перечнем. Чума вас знает, что вы уже там переделали? Может, только зря работал. В случае надобности могу переименовать срочно все памятники, вокзалы, реки, моря и озера. Само собой не за пять франков.

С совпосольским приветом, известный вам

Ефим ЯДРЕНЬИЙ

ИЗ СОВЕТСКОГО ПИСЬМОВНИКА

П И С Ъ М О Н Е В Е С Т Е

Дорогой товарищ, Анна Спиридоновна!

Как вы меня сагитировали на любовном фронте, то спешу вам в ударном порядке открыть сознательный лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Став лицом к женщине, должен, однако, поставить на вид зренья, что в желательности между нами полной смычки ножниц, прошу вас, как можно скорее, записаться в партию.

Муж и жена — одна сатана, и ежели я вполне красный, то и у вас, товарищ, должен быть соответственный мандат.

Что касасемо капитализма, будьте покойны: состоя в комподрядчиках и будучи пролетарского происхождения, своего не упустим. Портрет дорогого Ильича, на предмет украшения стенки заместо опиума для народа, при сем прилагаю.

Насчет броши не сомневайтесь: можно с серпом-молотом, можно со звездой. Вам, как блондинке, серп-молот к вашему пышному авангарду подойдет больше. Будьте покойны-с.

С тем остаюсь в уплотнении чувств и в ожидании вашего ответа.

Подпись.

П И С Ъ М О К О М М Е Р Ч Е С К О Е

Берлин. Фирме Шмальц-Зальц и К°.

Глубокоуважаемый фон-Директор!

Ваши многоуважаемые образцы с совершенным почтением получили.

Льстим себя надеждой, что заказ будет выполнен Вами с обычной, столь нами ценимой, крупнобуржуазной добросовестностью.

Насчет сроков уплаты позволяем себе заметить, что пролетарско-экономическое возрождение СССР самым тесным и сердечным образом связано с интересами Вашего капиталистического отечества.

Берем на себя смелость заверить вас, что в будущем Ваша образцовая фирма будет поставлена нами в наиболее благоприятные условия сравнительно с французско-англо-японо-американскими империалистическими разбойниками.

(Прим.: если адресат француз, англичанин и т. д., то комплимент должен быть изменен в обратном порядке)

Возвращаясь к уплате, убедительно просим принять нижеследующие наши скромные условия: вместе с товаром Вы обязуетесь одновременно дать нам взаймы сумму, равную стоимости товара, с погашением на следующий день после мировой революции в планетарной соввалюте.

В ожидании В. любезного ответа —
с кооперативным приветом пребываем и пр.

Подпись.

П И С Ъ М О Р О Д И Т Е Л Я М

Товарищи родители!

Письмо ваше получил. Собака лает, ветер носит... Правилам поведения меня вздумали учить? Меня, который самому Каутскому в два счета нос утрет!..

Читанули б лучше т. Орешина:

«Мы пальцами хватаем луны,
У нас в глазах — хвосты комет.
Огни и ветры — наши струны,
Пожар вселенский — наш рассвет!»

А у вас что в глазах?

Мутные слезы по старому режиму... Эх вы, пауки запечные! Щажу только вашу собачью мелкобуржуазную старость, а то б давно писанул в уездную Чека. Причесали б вас там живо.

Насчет трудной жизни, зря канючите. Зачем вообще жить тем, которые несознательные?

Мы ж в Москве, слава Дьяволу, живем, не тужим, в карманах бренчит...

К годовщине революции пришлю вам в гостинец полсобрание т. Зиновьева. Просвещайтесь! А то один конфуз: сын три вуза кончил, а производители, как мещанские навозные жуки.

Рожденный ползать — порхать не может!

С тем до свиданья. Читал недавно, что в Австралии на Сандвичных островах умные племена были: родителей, которые составятся и ни боба не понимают, на дерево сажали. А внизу костер запалят. С дерева старички, значит, прямо в огонь сигают, а родственники их вместо жаркого лопали.

Хоть польза какая-нибудь!

Ваш комсомолсын

Спартак ПИЩИКОВ.

КАК МОЖНО, НИКУДА НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СВОЕЙ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ, СОЗДАТЬ СЕБЕ ИЛЛЮЗИЮ РОСКОШНОЙ КУРОРТНОЙ ЖИЗНИ

МОРСКИЕ КУПАНИЯ

Подсините слегка ванну синькой, всыпьте в нее 1/2 кило поваренной соли и 10 граммов хины. Даже настоящий средиземный краб, брошенный в эту смесь, не отличит ее от морской воды. Шум прибора вам заменит доносящийся с улицы грохот грузовиков. Купального костюма, конечно, не надевайте. Спасательного пояса тоже.

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ

Повесьте в коридоре гамак, поставьте под него керосиновую переносную печку («Flamm bleue»), разденьтесь и смело ложитесь. Это нехитрое сооружение вполне заменит вам солнечную ванну. Чтобы создать полную иллюзию солнца, можете привесить к электрической лампочке в потолке медный таз для варенья. Время от времени не забывайте переворачиваться в гамаке, иначе... понимаете сами. Жильцов, проходящих во время вашего курса лечения по коридору, попросите закрывать глаза («fermez les yeux, s. v. p.!»).

ЭКСКУРСИИ В ГОРЫ

Поздно вечером, когда консьерж и все жильцы спят, можете начать восхождение пешком по домовой лестнице вверх. Затем спуск. Затем снова подъем. Пока вы не почувствуете, что довольно. Экскурсию эту надо совершать в мягких войлочных туфлях, иначе верхние жильцы, разбуженные вашим топотом, сбросят вас вниз без всяких предварительных объяснений.

«В И Ш И»

Обыкновенную бутылку «Виши» можно выпить в течение часа, с промежутком в 10 минут, из небольшого стаканчика с надписью «Виши». Стаканчик не трудно получить из курорта от знакомых простой почтовой посылкой.

Моцион после каждого приема внутрь воды можете совершать вокруг квадратного столового стола. Тридцать два километра в день — вполне достаточно. Диета: белое мясо, зеленые овощи, черное кофе и красное вино.

КАЗИНО

Приобретите за 12 франков карманную рулетку (подержанная — дешевле). Можно, впрочем, играть и в орлянку, тогда никаких специальных приборов не нужно.

Пригласите соседа, который тоже не смог выехать из Парижа, и играйте с ним с утра с таким уговором, чтобы выигравший угостил проигравшего утренним кофе.

Для создания более пышной обстановки покройте стол, на котором будете играть, плюшевой зеленой портьерой либо в крайнем случае постельным ковриком.

КУРОРТНЫЙ ФЛИРТ

Кажется, ничем не отличается от городского.

Впрочем, автор настоящего руководства не считает себя в данном вопросе компетентным.

БИРЖА

(ОТ СОБ. КОРРЕСПОНДЕНТА)

(Посв. Ив. Серг. Тургеневу)

Анализируя интенсивные факторы финансовой спекуляции, констатируем, что ликвидация дивидентных акций компенсировалась максимальной тенденцией консолидации паркета и кулис.

Прогрессирующий бюджетный дефицит, культивируя инфляцию, кардинально доминирует над фискальными привилегиями бонодержателей.

Валоризация франка при гарантированных эмиссиях интенсивно муссируется котировкой в паркете. Арбитражные — интенсивны. Сэй — комбинировались от 1829 до 1878.

Консоли — 13,50 (+0,10). В паркете за репорты дозировали 3%, в кулисе 7,5.

Эффект дивидентных фаворитов превалировал над паритетом и реализовал Санте-Фе — 1,190 (+53).

НАМ ПИШУТ ИЗ МОСКВЫ

Съезд пролетарских писателей в Москве («Моспролетпис») постановил:

1) Старую классическую литературу за исключением половины Тана, четверти А. Н. Толстого и полного Оль'Дора — за ненужностью упразднить.

2) Монументы Пушкина, Гоголя и Крылова перелить на пулеметы.

3) Освободившиеся пьедесталы сохранить вакантными для Демьяна Бедного, Сергея Городецкого и Василия Князева.

4) У всех случайно проживающих в СССР непролетарских писателей конфисковать бумагу и перья, обязав их обучить в трехмесячный срок пролетгениев писательской технике (стихотекстильному и прозотекстильному производству).

5) Книги непролетарских писателей из библиотек и книжных складов изъять, переработать в бумажную массу, окрасить в красный цвет и сдать целиком в союз «пролетписов».

6) Организовать подотдел «пролеткритиков» и «плакатхудожников» для рекламирования в ударном порядке пролетгениев на всех заборах, мостах, воротах и вокзалах СССР.

7) Гонорары упразднить. Пролетарских писоспецов посадить на государственный оклад: агитдраматургам — тройной, агитрасказчикам — двойной и агитпоэтам, ввиду их несметного количества, — одинарный.

8) Для скорейшего приобщения к мирславе спешно перевести все произведения пролетписов на иностранные языки — американский, бельгийский, югославский, месопотамский и др.

9) Куклы, изображающие эмигрантских белых писателей, наемников Антанты («нож в спину!») — Бунина, Куприна, Шмелева и пр., сжечь на Красной площади, предварительно посадив их при пении Интернационала на кол.

10) Тов. Луначарскому по представлению тов. ламповщиков Театра 1-го Красноводочного завода разрешить именоваться почетным «Совпролетшекспиром», с предупреждением, однако, чтобы больше не писал, а то другим бумаги не хватит.

Сообщил А. Б. В.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

(ОТ СОБСТВЕННОГО ЧИКАГСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА)

При раскопках в контрабандном винном погребе в штате Массачусетс найден дневник Адама на староанглийском языке, с точностью устанавливающий, что лучшая часть человечества происходит не от обезьяны, а от Адама по восходящей через Авеля линии.

Относительно Каина Адам категорически высказывается, что Каин был внебрачный сын гориллы и Евы.

Романа в прямом смысле слова не было, но любопытство Евы, однажды погубившее прародителей в раю, сыграло в этой связи

роковую роль. Таким образом, каинская ветвь человечества несомненно оправдывает на 50% теорию Дарвина.

В том же штате народный учитель Крампер позволил себе на уроке критиковать Библию, высказав мысль, что Хама вовсе не следовало брать в ковчег.

По гипотезе Крампера, Хам попал в ковчег в качестве ближайшего родственника, благодаря попустительству Ноя; между тем вместо него следовало взять какого-либо симпатичного невинного мальчика из числа погибших во время потопа.

Благодаря такой оплошности Хам, высадившись на сушу, развел большое потомство и стал родоначальником значительной части человечества, что много оскорбительнее и пагубнее происхождения от какой-нибудь обезьяны.

Зловредный учитель предан суду, с оставлением до суда на свободе под залог в 150 долларов.

Кинематографическое общество «Фильмобум» (Нью-Йорк, Дог-Стрит 2874-а) предложило Крамперу переделать свою гипотезу в сценарий, с выплатой ему, если он будет осужден, за каждый год тюремного заключения по 1800 долларов и с обязательством дать жене Крампера в данной фильме роль младшей дочери Ноя. Роль старшей дочери должна по контракту принадлежать звезде «Фильмобума» мисс Элли Кордильер.

Не лишена остроумия также гипотеза пивовара Бокмэстера из штата Кентукки. Еще в ранней молодости, не имея ни лишней смены белья, ни куска мыла, он наблюдал, что если в дороге долго не умываться и не раздеваться, то в волосах и в платье сами собой заводятся всем известные насекомые. Ни одно другое животное, по мнению пивовара, самозарождаться не может. Из этого следует, что первым живым существом на земле, где всегда достаточно грязи, и было указанное насекомое; а от него произошли все другие твари, в том числе и человек.

Подробно развить свою теорию на открытом диспуте в общественном сквере Бокмэстеру, однако, не удалось, ввиду тяжеловесных аргументов оскорбленных оппонентов.

Доставленный в карете скорой помощи в ближайшую больницу, пивовар сдался, категорически отказавшись от своей гипотезы.

НЕИЗВЕСТНОМУ АДРЕСАТУ

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

Умиравший от тоски в Вильно русский эмигрант среднего ума и образования (так называемый обыватель), изверясь в газетно-партийных правдах, желал бы на страницах «Бумеранга» вступить в переписку с каким-нибудь разбирающимся в современных явлениях парижским эмигрантом.

Пол — безразличен. Цель — прояснение собственного созна-

ния и попутная польза, которую может принести эта переписка прочим обывателям.

Вопросы первой очереди: что, собственно говоря, значит быть «левым» или «правым» (штемпеля эти начинают уже ставить даже на метеорологических явлениях)?.. Надо ли всю жизнь оставаться эмигрантом (мне всего 28 лет) или можно по временам чувствовать себя европейцем и просто человеком?

Стыдно ли быть «обывателем» или не очень стыдно? Что такое, наконец, обыватель? И бывают ли «обыватели» у других европейских народов?

С совершенным уважением извиняюсь и прочее.

Павел Иванович Рундуков.

Г-Н У Р У Н Д У К О В У В В И Л Ь Н Е

Глубокоуважаемый Павел Иванович!

Ввиду того что я живу в одной комнате с корректором «Бумеранга», мне удалось ознакомиться с вашим письмом еще до появления его в печати. Поэтому имею возможность ответить вам без промедления.

Вопросы, заданные вами, сложны и, извините, сбивчивы, как застарелый белорусский колтун.

Попробую ответить пока на второй: «Можно ли всю жизнь оставаться эмигрантом или по временам можно чувствовать себя европейцем и вообще человеком?»

Если, например, эмигрант получает в Нью-Йорке приличное наследство, женится на американке, покупает роскошную яхту и плавает по всем морям и заливам, — он уже не в такой степени эмигрант, как живущий в Латинском квартале безработный русский евразиец. Тем более что получать ежедневно на яхте эмигрантские газеты — невозможно.

Эмигрант, говорящий по-французски с легкостью консьержки (до 200 слов в минуту) и чудом получивший постоянное место в Париже по своей специальности, сразу на 50 процентов перестает быть эмигрантом. Нанимает квартиру, заказывает в рассрочку смокинг, ходит к французам в гости, уезжает на сентябрь в «Pornichet» и при виде человека с русской газетой в руках независимо насвистывает негритянский похоронный марш. Словом, приобретает к своей эмигрантской грыже как бы постоянный французский бандаж, значительно облегчающий его самочувствие.

Партийный эмигрант также в лучшем положении, чем беспартийный. Ибо на партийных съездах, банкетах и совещаниях создается такая атмосфера, точно у вас 300 одинаково мыслящих родственников, живущих с вами в одном уездном городе.

В Праге, Ужгороде и вообще в славянских городах эмигранту также легче полураствориться в местном населении, чем, например,

на острове Ямайке. Сочетайте-ка ямайский быт с самарской психологией!..

Профессия в свою очередь немало влияет на эмигрантское самоощущение. Эмигрант-журналист даже и во сне полемизирует с Милюковым, либо со Струве. А садовод или куровод, окруженный благоухающими молчаливыми цветами или мирно крякающими утками, — испытывает, в сущности, те же психические кроткие эмоции, которые он переживал когда-то в своем именице под Конотопом.

Я лично, с тех пор как перестал слоняться по русско-боярским ресторанам и пятый месяц уже, как не вижу рязанской лезгинки, не ем монмартрского шашлыка и не слышу лимитрофно-цыганских песен, чувствую себя больше европейцем, чем раньше. Ресторанное обслуживание тоски по родине вообще вызывает душевную изжогу. К тому же «гусь по-лезгински» тяжелее и дороже обыкновенной французской курицы.

В свою очередь, не откажите удовлетворить мою законную любознательность: чувствуете ли вы себя иногда европейцем (и вообще человеком) в Вильне и какие у вас для этого основания? Что вы в Вильне делаете и почему там застряли?

Нет ли у вас, кстати, комплекта старых виленских марок: с литовской лошадкой и польским орлом — серии «мезальянс»? Я вам в обмен пришлю азербайджанских — у меня есть двойной комплект.

*С эмигрантско-европейским приветом
Степан Федорович ХРУЩ
(настройщик, филолог по образованию).*

*Париж.
Сентябрь. 1925.*

НАЧАЛО СЕЗОНА

Ощупью ходят они во тьме
без света и шатаются, как
пьяные.

(Кн. Иова, гл. 12—25)

Осыпаются листья... В передовице об осыпающихся листьях вообще писать не принято, но пойдите на любой бульвар: осыпаются...

Министры, эмигранты и председатели парламентов возвращаются с океана в столицы. Мускулы депутатов за летние каникулы окрепли и готовы в предстоящих осенних дебатах подтвердить слабое человеческое слово соответствующим убедительным телодвижением.

Начало многообещающее... Консервативные китайцы тщательно готовятся к красному самоубийству; совбуревестники торгуют водкой, флиртуют с пейзажами, спецами и Муссолини; II Коминтерн ходит с мылом за III и тщетно убеждает его умыться; английские тред-юнионы вступили в гражданский брак с серпом и молотом: брак по любви с английской стороны и по расчету с московской. В итоге преждевременно мертворожденное дитя: забастовка английских моряков с результатами, не стоящими и одной керенки...

На помощь Лиге наций неожиданно пришли спириты и решили замирить земной шар при помощи разоруженной армии духов. Макдональд гостил у короля (собирается ли король гостить у Макдональда, нам неизвестно)... Папа ведет войну с короткими платьями, что, конечно, много сложнее войны в Марокко. Звери и птицы сбегают из зоологических садов, крокодилы скандалят и бросаются с парохода в воду: очевидно, наши бессловесные братья примкнули к платформе мирового пожара.

Эмигранты... У нас все по-старому. Одни совещаются, съезжаются и разъезжаются, другие в поте лица добывают свой хлеб насущный — увы, без масла. Впереди длинный хвост танцевально-кинжальных вечеров и докладов. Высокая полемика на первых страницах эмигрантских газет развивается вполне планомерно. Иному обывателю, пожалуй, покажется, что многие вопросы можно было бы полюбовно решить в кафе за чашкой черного кофе, но ведь обыватель понимает в высокой политике не больше, чем одно домашнее животное в одних южных плодах... К тому ж для таких читателей заведен на четвертой странице особый громоотвод: сенсационные романы с выпадением у героя кишок в одном номере и полным его выздоровлением в другом.

Вопрос о карт-д'идантите разрешен наконец декретом Президента республики окончательно: писатели при обмене платят 10 франков — остальное нас (редакцию «Бумеранга») мало интересует.

Листья осыпаются... В редакционные щели дует грубый и наглый уличный ветер и играет нашими волосами. Но мы бодры. Гуманная редакция «Ил. России», не щадя затрат, обещала не позже 15-го октября поставить в нашей комнате газовую печку. Пока нам больше ничего и не надо...

ДОМАШНИЕ АФОРИЗМЫ И МЫСЛИ ПРОФ. Ф. С. СМЯТКИНА

Когда я смотрю на звездное небо и думаю, сколько на каждой звезде дураков и политических партий, я начинаю терпимей относиться к нашей маленькой Земле.

* * *

Эмигранты-беженцы, флиртующие с «завоеваниями революции», происходят по прямой линии от тех земгусар, которые, окопавшись в тылу, убеждали некогда рязанских мужиков воевать «до победного конца».

* * *

Лучше камни в почках, чем опечатки в стихах.

* * *

Драка в парламенте столь же нелепа, как словесная дискуссия боксеров.

* * *

Женщина, увлекающаяся политикой, подобна бешеной канарейке.

* * *

Иван Иванович находит, что чтение бульварных романов лучшее средство для отдохновения мозгов. Не поймешь только, зачем ему это нужно. Ведь мозги у него и так всю жизнь отдыхают.

* * *

Рецензии о новых фильмах похожи на стихотворения в прозе, написанные биржевым маклером.

* * *

Искус расстояния одинаково опасен для любви и для гонорара: любовь стынет, гонорар не высылают.

* * *

Старые танцы способствовали увеличению браков. Новые — способствуют увеличению разводов.

* * *

Самое легкое и самое трудное искусство — политика: все за нее берутся, и никто в ней ничего не смыслит.

* * *

Лига наций похожа на спасательный пояс, нарисованный на прибрежной скале.

* * *

Блоха, кусающая мраморного Аполлона, напрасно теряет силы и время.

* * *

Мой знакомый меньшевик служит юрконсультантом в банке. До шести часов он по долгу службы защищает капитал, а после шести по наказу партии под него подкапывается. Как возможно сие совместить?

* * *

Если бы я не был профессором Смяткиным, я бы хотел быть Люксембургской королевой.

КИНОХРОНИКА

Португальская звезда Нелли Анчоус купила для своей болонки на Корсике виллу в 750 000 франков.

Советский кинорежиссер т. Расстегай крутит на Воробьевых горах «Капитал» Маркса.

Кинообщество «Вашингтон-Глобус» приступило к постановке «Песни песней». Соломона играет молодой негр, недавно выдвинувшийся в картине «Через Ниагару на верблюде». Роль Суламифи исполнит настоящая живая пантера, привезенная на аэроплане из Бразилии.

Ч. Чаплин взял патент на исключительное право играть в штанах гармоникой, держащихся на одной подтяжке. Плаггиатор Плум, выступивший в таких же штанах в фильме «Илиада», присужден к штрафу в 45 000 долларов.

Гениальная английская кинозвезда Ирэн Парабеллум на анкету о кинематографичности Шиллера ответила, что с таким артистом ей играть никогда не приходилось, да и не придется, потому что ее постоянный гениальный партнер Томас Шнур делает совершенно излишним ее выступление с каким-то никому не известным Фридрихом Шиллером.

Заинтересовавшая широкие фильмокруги техника цветных постановок, по заявлению т. Луначарского, совершенно не удовлетворяет комдуховным запросам СССР. Производятся опыты по возможности использования для совкартин одного только красного цвета.

МЕНЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ЗАВТРАКА, КОТОРЫМ ЧЕСТВОВАЛ В БЕРЛИНЕ КАНЦЛЕР ЛЮТЕР ТОВ. ЧИЧЕРИНА

1. Красный борщок.
2. Совполькие зразы à la Скаржинский.
3. Кровавый бифштекс à la Дзержинский.
4. Шницель «Hoch Hindenburg!»¹
5. Пломбир «Комсомол».
6. Чай по-комкитайски.
7. Горячий пунш «Мировой пожар».
8. Фиги с маслом «Даешь кредит!» и прочие дипломатические фрукты.
9. Советская водка и «Lewenbrei»² мюнхенской королевской пивоварни.

Во время завтрака буржуазный оркестр из чинов тайной полиции играл «Интернационал», мелодично переходивший в «Deutschland über Alles»³.

Из дипломатической любезности друг к другу Лютер завтракал в красном фраке с большой звездой К. Маркса, Чичерин в форме прусского кирасира с «Железным Крестом» на груди.

Сообщил Turdus.

РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

— Ну, знаете, какой я книжный шкаф купил! У Гомера такого не было...

— Зачем вам такая устарелая мебель?

— Все-таки благороднее, когда в квартире старина. На верхней полке можно держать коллекцию карт: у меня же сто шестьдесят три колоды... Посредине кинопрограммы. В пантеровых переплетах они совсем будут выглядеть, как старинные книги. А снизу всякая мелочь: расписание воздушных дорог, лепешки, регулирующие на-строение... Электрический пяткошкотатель...

— Это что за штука такая?

— Очень модная и полезная вещь. Раньше перед сном читали. А теперь к пяткам такую штуку приложишь — через пять минут уснешь... И сон можно любой заказать, по каталогу.

— Нет уж, батенька, я отстал. Беспроволочный чтец все-таки лучше. Вчера какой-то из Чикаго читал. Буря была на океане, что ли, верхние ноты так и звенели...

А сюжет — глаза на лоб лезут! «Воротнички из савана матери». Серия для взрослых. Комическая с потрясающим концом. С сокращениями на 20% дешевле.

— Дорого стоит абонемент?

¹ «Ура Гинденбургу!» (нем.).

² Левенбрай — сорт пива (нем.).

³ «Германия превыше всего» (нем.).

— Ни сантима. Раньше, друг мой, книги зачитывали, а я волну у соседа перехватываю. Приходите послушать. Недорого возьму.

ВЕРНЫЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОЙ КАРТ-Д'ИДАНТИТЕ

1

Заведите тетрадку для наклейки из эмигрантских газет всех взаимоуничтожающих друг друга справок по данному вопросу.

2

Закажите полдюжины похожих на любого детоубийцу ваших фотографических карточек без шляпы, бороды и усов.

3

Расспрашивайте каждый день всех знакомых и незнакомых, куда они ходили, куда не ходили, что делали и чего не делали.

4

Пойдите в ближайший комиссариат, чтобы убедиться, что с этим визитом вам отнюдь не следовало торопиться.

5

Снимитесь еще раз, потому что ваши первые карточки от многомесячного пребывания в боковом кармане успели выгореть.

6

Пойдите еще раз в комиссариат, чтобы (см. пункт 4).

7

31 декабря 1925 года возьмите с собой походную кровать и сэндвичи и пойдите в ваш комиссариат с твердым намерением не возвращаться оттуда до тех пор, пока не получите новой карт-д'идантите.

*Юрисконсульт «Бумеранга» б<ывший> архитектор
б<ывшей> Житомирской городской управы
И. КАНАУС*

ПРОФЕССОР УЕЗЖАЕТ

(ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕРЕДОВИЦА)

— Да! Довольно, довольно-с этого одурения, этого кошмара! Позвольте и нам, не мужикам (может быть, к несчастью!), позвольте и нам предъявить свои, наши, немужицкие требования!

Гл. Успенский. «Приятель»

Проф. Ф. С. Смяткин в ближайшие дни отправляется в кругосветное плавание. Не ради спокойного моциона, чтобы издать потом для детей старшего возраста путевой дневник вроде «Кораб-

ля Ретвизана» или «Фрегата Паллады». На казенный счет в чесучовом пиджачке путешествовать всякому приятно...

Цель данной поездки более грандиозная и высоконеотложная: создание мирового сочувственного движения в защиту интеллигенции от вымирания и от заколачивания ее головой гвоздей.

Одни партии состоят в мамках, няньках и опекунах при рабочих, другие обслуживают из глубины мягких кресел крестьян, пользуясь теми самыми полномочиями, на основании которых косноязычный «поэт» Хлебников называл себя «председателем земного шара». Особые организации учреждают общества «для защиты болонок от сквозного ветра», «убежища для бывших алкоголиков» (Blaukreuz-ферейны) «Лиги защиты Человека с большой буквы» (с очень маленьким бюджетом и с невидимой для невооруженного глаза практикой)... В Индии особые касты покровительствуют священным обезьянам и крокодилам. В полосе Конго бельгийское правительство, испуганное вымиранием горилл, отвело им крупный лесной участок, на котором гориллы имеют право истреблять туристов, но туристы горилл — отнюдь нет. Эскимосские и новозеландские национальные меньшинства состоят под высокой рукой Лиги наций...

И так далее — вплоть до обществ «защиты китов и тюленей от негуманного с ними обращения промысловых охотников».

И только одни интеллигенты, сентиментальные чудаки, заботятся, даже тогда, когда их и не просят, о всех: о рабочих, о крестьянах, об эскимосах, о Человеке с большой буквы, о тюленях... Только не о себе.

Между тем духовное и карманное ущемление интеллигентов развивается планомерно на всех материках, островах и полуостровах. Об СССР мы и не говорим. В этом аракчеевском поселении даже «Академия наук» превращена в рекламный турецкий барабан. Мозги там уважают только телячьи, потому что их можно съесть. Независимые же интеллигентские мозги вещь опасная и никому не нужная, ибо массы обслуживаются там, к сожалению, довольно прочной, хотя и не очень умной, коллективной головой, которая называется «ВЦИК».

СССР, конечно, вне конкуренции. Интеллигенция чувствует себя там приблизительно так, как в старину русские пленные под задами завтракавших на них татар.

Но и в неевразийских странах не все благополучно. Интеллигент затуркан в угол, сидит перед нетопленным камином, грызет свою сухую булочку и перед каждым встречным спекулянтом и мускулистым грузчиком готов извиняться за свое существование. И многочисленные свиньи под дубом даже не подозревают, что обязаны этому скромному чудаку всем, начиная от букваря и кончая дифтеритной сывороткой.

Кругосветное плавание даст возможность проф. Смяткуину выяснить сравнительную картину выматывания кишок у интеллигентов в разных странах и разными способами.

А затем, как полагается, профессор созывает инициативную группу. Группа созывает бюро. Бюро созывает предварительное совещание... А совещание организует либо съезд, либо объединение, либо лигу — или какую-нибудь другую, столь же полезную комбинацию...

Ввиду вышемотивированного кругосветного плавания проф. Ф. С. Смяткин, слагая с себя с настоящего номера обязанности редактора «Бумеранга», шлет своим любезным и нелюбезным читателям сердечный сатирический привет.

Большая задача больше маленькой — что подтверждается мудрым изречением древних: «*Aquila non captat muscas*». Для лиц, не получивших классического образования, приводим это выражение в посильном русском переводе: «Орел не ловит мух».

ПИСЬМО ИЗ РИМА

Сердечноуважаемая Анна Ивановна!

Узнал, что Вы в Париже и, слава Богу, устроились: собираете для «Бумеранга» объявления, а это ведь очень хорошо оплачивается.

Мои дела, слава Богу, тоже выравниваются. Из газет Вы знаете, что львица, игравшая в Риме в фильме «*Нерон развлекается*» роль домашнего животного, разорвала по ошибке портного, изображавшего гладиатора. Полиция вмешалась и запретила диким зверям играть. Львицы же, дуры, не понимают, что надо нападать нарочно, а не в самом деле. Но это даже хорошо...

Жена портного с двумя милотвидными римскими мальчиками получила кинопенсию и очень довольна, тем более что портрет ее был напечатан во всех воскресных приложениях.

А меня пригласили играть в львиной шкуре роль льва в виде двух задних лап с хвостом. Передние лапы с головой, как лучше оплачиваемые, достались по интриге бездарному сыну кинопарикмахера, с упоминанием фамилии на афишах и с оплатой трамвая в оба конца. Я не знаю, как начинал Чаплин, но эти интриги меня съедают.

Мои львиные лапы через полторы недели кончаются. Другого ничего не предвижу. В гиды, несмотря на знание древней истории по Виноградову, — не принимают. У ихнего профессионального союза странная пролетарская этика. «Наше занятие, — говорят, — потомственное и почетное. Если мы форестьеров станем в гиды допускать, то кому же мы в Колизее очки втирать будем?» Нет ли у Маркса на этот счет разъяснения? Справьтесь, пожалуйста, уж я им нос утру!..

Домов здесь строят — пропасть. Все больше в стиле царя Навуходоносора, когда он в безумие впал и гусиной травой питался. Но в строительные рабочие тоже не принимают. Почему же, спрашиваю, у нас в старой России итальянцы гипсовых Венер фабрико-

вали и на шарманках играли, и никто им не запрещал? А они говорят: «Ваше старое правительство было дурацкое, как же можно своим пролетариям конкуренцию составлять? Да и работать ты будешь с голоду старательнее нас, а мы тебя за это должны будем в безлунную ночь в переулке зарезать». Прямо упал я духом...

Взываю к Вам, дорогая землячка, как Иона из чрева кита к Лиге наций! Могу натирать застарелые паркетные. Могу обучать танцам, а также плавать по особой системе при помощи писем. Переделываю классиков и олонцекие былины в комические сценарии... Словом, стал вроде универсального перочинного ножика с сорока принадлежностями. Делаю последнюю ставку на Вас и на Париж, с приложением марки на ответ.

Прошу Вас, родная, ответить по пунктам:

1) Виза. Нет ли у Вас связи с секретарем консульства? Если нет, то заведите.

2) Нельзя ли предварительно продать в Париже автограф Наполеона? Получил его в обмен на самовар у здешнего букиниста. Цена от 17 до 146 долларов. Лучше — до.

3) У кого в Париже можно тотчас по приезде издать: «Бюджет небогатой афинской семьи по комедиям Аристофана» с моими комментариями?

4) Сообщите цены на комнаты в деловых районах Парижа. А также в неделовых. Нет ли эмигрантского беспартийного общежития — почему нет? Цены на папиросы? На теплые носки? На масло?

5) Подлежит ли оплате пошлиной русская каракулевая шапка? (Новая, левый бок изнутри изъеден молью.)

6) Правда ли, что Эйфелеву башню собираются перекрашивать? Как будет сдана работа: сдельно или по часам?.. Нет ли у Вас, кстати, связи с секретарем башни? Если нет, то заведите.

7) Правда ли, что Антон Семенович Бубнов открыл в Брюсселе фабрику несгораемых спичек? В крайнем случае могу, транзитом через Париж, поступить к нему бухгалтером. Бухгалтерию изучу в дороге... Но так как он меня знает с деловой стороны, не пишите ему, ради Бога, ничего о львиных задних лапах. Это уж со всяким эмигрантом может случиться.

*С римским приветом,
заранее благодарный и пр.
Ваш Степан ЛОСЬ.*

Carte postale

Italie. Rome. Al Signor S. Los.

По поручению известной Вам Анны Ивановны имею честь сообщить, что она за три дня до получения Вашего письма выехала в Буэнос-Айрес.

*С сов. почтением
Секретарь «Бумеранга»
(подпись неразборчива)*

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Милостивый государь,
г. Редактор!

Я поэтесса. Нигде не печаталась. Но разве это важно? Обладаю лирической душой и вполне усвоила новую технику. Не можете ли Вы ответить мне на страницах уважаемого «Бумеранга»:

1) от какого и до какого возраста включительно можно стать членом парижского «Клуба молодых литераторов»?

Мне 25 лет, но еще в 1905 году я читала свои триолеты на вечерах Психоневрологического института, положившего начало моему внутреннему развитию.

2) Дает ли мне настоящее письмо, как мое первое произведение в печати, право механического вступления в «Союз русских журналистов в Париже»?

и 3) Ввиду прозаичности моего имени и фамилии не посоветуете ли, каким псевдонимом украсить полное собрание моих стихов, к печатанию коих на собственный счет я на днях приступаю.

С сов. почтением жму руку и т. п.

Агафья БУБЛИКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

По пункту первому. Полагаем, что возраст, играя существенную роль для четвероногих объектов коннозаводства, не имеет никакого значения в области высокого служения музам. Обратитесь, впрочем, в «Клуб молодых литераторов» непосредственно, так как мы с уставом этого высокополезного учреждения не знакомы.

По пункту второму. Вступайте. Если прецедентов не было, почему бы Вам такового не создать.

По третьему пункту. Советуем Вам избрать для вашей музыки неотразимо звучащий псевдоним: «Веранда Шехерзадова».

С сов. почтением жмем руку и т. п.

РЕДАКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

<1>

5 мая в Salle Drouot в обществе деятелей русской кинематографии состоится доклад режиссера Кругликова «Республика или монархия?».

После доклада концертное отделение и танцы до утра.

Квартирное бюро «Золотая ручка»

В районе Passy, в новом, только что отстроеном доме, без отступных спешно передается *каменная болезнь*.

К консержке просят не обращаться.

Симпатичный молодой человек, пчеловод по специальности, ставит голос, удаляет безболезненно дефекты звука, пробивает в ушах дырки и приезжает на дом играть в бридж.

Расстоянием не стесняется.

Poste-restante, A. T.

Rue Henri Martin, 74

Новая колбасная

Только что получен настоящий русский зубной порошок и галоши фирмы «Проводник». Рабочим и семейным литераторам скидка.

Портной Я. Капцан

(Rue de Moscou, 34 bis)

Каталог:

Вывернуть еще раз перелицованные брюки	8 фр.	— с.
Почистить на колене пятно	1 фр.	— с.
Распороть смокинг	5 фр.	— с.
Обметать петлю спереди	0 фр.	50 с.
Зашить наглухо рукав	2 фр.	— с.

С сов. почт.
Я. Капцан

<||>

Окраска глаз, применительно к цвету пальто. Дамам, представившим четыре купона с заголовками «Бумеранга», представляется 10% скидка.

Гадалка О ф е л и я ф о н - Л ю к с

Предсказываю с ручательством на три года *прошедшее, настоящее и будущее*. Вызываю у себя и на дому у клиентов *тень фараона Тутанхамона*. Ввиду большого количества заказчиков, просят записываться заблаговременно. Покупаю также просроченные ломбардные квитанции и старые челюсти, даже и без золота.

Poste-restante. O. L.

Симпат. солидн. господин, недавно приехавший из Москвы, желает вложить 30 000 франков в верное дело, дающее не менее 300% годовых.

Спекулянтов просят не беспокоиться.

Только что получены из Сов. Рос. новые книги:

1. *Письма К. Маркса к Ленину.*
2. *А. Н. Толстой.* Руководство для начинающих плагиаторов.
3. *Дем. Бедный.* «Дурак красному рад» (193-й том красноба-сен).
4. *Крупская.* Исправл. и дополнен. собрание сочинений А. С. Пушкина.
5. *Чичерин.* Правила хорошего тона для полпредов.
6. *Семашко.* Популярный лечебник для селькоров.

«К и н о х л а м»

(Бессарабское производство)

Новая фильма!

«Чужой муж и жена под кроватью» (по знаменитому роману баснописца Крылова).

Дети в сопровождении взрослых платят половину.

<III>

Л е т н и й а б о н е м е н т

Идя навстречу желаниям лиц, уезжающих на лето в глушь, к океану и в дюны, *приезжаю гостить понеделно*. Приятен как собеседник, могу и молчать, беспартиен, играю во все салонные игры (за счет хозяев), могу, в случае надобности, наказывать детей и домашних животных. Условия только письменно.

Tél. Ranelagh 3-58.

Ввиду отъезда хозяев до 1 сентября на курорт, оставшийся в квартире жилец отдает напрокат ванну (важно для неумеющих плавать), а также *гостиную* под вечеринки, научные доклады и юбилеи.

Poste-restante № 333.

Опытный контрабандист, специалист по совзяткам, уезжая в Киев, берет поручения по вывозу из СССР родных и близких. Гонорар впредь в твердой валюте.

Справиться в Сов. павильоне.

Продается малоподержанный, почти ненадеванный *гамак*. Важно для живущих в лесистой местности. Выдерживает двоих даже с ребенком. Патентованный способ привески. Могу установить на месте с оплатой проезда в оба конца за счет покупателя.

Тел. *Wagram 21-16*.

П а н с и о н «С т е н ь к а Р а з и н»

Кобур

Приливы, заливы и отливы в любое время дня и ночи. *Волжские устрицы и раки*. Морские ванны из дистиллированной воды. *Высшее валютное общество*. Гондолы с плавучими гармонистами. Все эмигрантские газеты получают за день до их выхода. *Прогулка в горы на собственных ослах*. Ежедневно отбивные, расстегаи на лучшем подсолнечном масле.

Н о в а я к н и г а !!!

«Практический самоучитель курортного флирта»

ч. I Для начинающих.

ч. II Для среднего возраста.

ч. III Для старшего возраста.

Выписывающим все три части вместе, высылается бесплатно сенсационно-курортный роман Глафиры Матовой «Ночь на скале, отрезанной приливом».

Изд-во «Факел для всех».

<V>

Ф о т о г р а ф и я «У т е с»

Группы: партийные, юбилейные и рентгеновские. Увеличиваю в натуральную величину ближайших родственников и друзей дома.

Специальность — собачьи снимки, как-то: пуделя сидячие и лежащие, бюстные снимки для карт-д'идантите и тому подобное.

Бульвар Раснай № 13.

Б ю р о «С ф и н к с»

Отделения: Лодзь — Чикаго — Париж

Под наблюдением опытного кандидата прав с дипломом Психоневрологического института — розыски богатых родственников в Сев. и Южн. Америке; примирение разведенных супругов с ручательством на 3 года; патенты на беспроволочные изобретения; визы

туда и обратно; обоюдосторонний детективный надзор за компаньоном и владельцем коммерч. предприятия; розыски покойников; страхование на дожитие и пережитие; оскорбления действием, применительно к франц. законам.

Полная гарантия тайны!

С деловым приветом бюро «Сфинкс».
Телеф. Passy, 66-18.

Покупаю бриллиантовый лом и старые грыжные бандажи. Довожу на дом гречневую крупу и граммофоны. Переделываю неудачные сценарии, а также сдаю напрокат Эйфелеву башню для световых реклам.

Poste-restante. С. С.

Спешно продается настоящая *сибирская доха* из шкуры леопарда «Зизи», убитого в августе с. г. вблизи Булонского леса.

Адрес в ред. «Бумеранга».

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

<1>

М. С-ой.

«Давайте пить и веселиться,
Довольно нюни разводить!»

В первую свободную минуту непременно последуем в ближайшем бистро вашему совету. Стихи ваши, к сожалению, не могут быть вам возвращены, т. к. редакторский жизнерадостный Шарик выгасил их из корзинки и удрал с ними через окно в неизвестном направлении.

* * *

К. Р. — Мысль основать издательство «Бумеранг» нам очень улыбается. Если вам удастся убедить пять тысяч ваших знакомых раз в месяц уделять из их кинематографического бюджета несколько франков на покупку книги, — мы тотчас приступим к работе.

* * *

Пчеловоду-любителю. — В конце мая можете начать соединение в одну семью нескольких небольших роев. В эмигрантской среде, ввиду партийных разногласий, это было бы довольно затруднительно, но пчелы в этом отношении организованы лучше нас.

П. Петушкову.

«Я родственник Кузьме Пруткову,
Наследник всех его сатир».

Может быть, и родственник, но во всяком случае, судя по вашим виршам, очень дальний.

* * *

Клавдии С. — Так как редакция обязана знать все, то сообщаем героине вашей новеллы, что пятна от вишен выходят от мытья в горячем молоке.

Новеллу отослали для хранения в александрийскую библиотеку рукописей.

* * *

К. Р. — По формуле древних, эпиграмма должна, подобно пчеле, иметь жало, мед и небольшие размеры.

Ваша полуметровая эпиграмма, похожая на изящный утюг в четыре фунта весом, к сожалению, этими качествами не обладает.

<III>

Аполлону Халяве. — Пишущую машинку можете приобрести в рассрочку у нашего секретаря. В ней, правда, сломаны все гласные буквы (за исключением *ы* и *э*), но, быть может, это обстоятельство натолкнет вас на создание еще одной теории нового стихосложения.

<IV>

Лидии Т-й. — В толковом словаре Даля слова «обезвелволпал» не нашли. В архиве «Бумеранга» случайно сохранился № 1—2 «Бюллетеней» дома искусств в Берлине (1922 г.). На стр. 30—31 за подписью А. Ремизова есть подробное объяснение интересующего вас слова.

«1. *Обезвелволпал* (обезьянья великая и вольная палата) есть общество тайное,

происхождение — темное,

цели и намерения — неисповедимые,

средств — никаких.

2. Царь обезьяний — Асыка-Валахтантаракхтаранда-руфа Асыка Первый Обезьян Великий;

о нем никто ничего не знает и его никто никогда не видел».

Поняли?

* * *

Р. С. П.-у — Следующий конгресс спиритов открывается 1-го апреля на мысе Доброй Надежды. Предварительная запись на столики (вертящиеся) принимается в редакции «Бумеранга». Духи в сопровождении родственников за вход не платят.

* * *

Кузьме Кастальскому. — Лирики, ввиду несерьезного характера нашего органа, не печатаем. Обратитесь в газеты. Там иногда между статьями «Недомыслие и разномыслие?» и «Кооперативное движение на Огненной Земле» остаются пустые места.

Переговорите с ночным редактором («выпускающим»), обладающим в данном случае всей полнотой власти.

<V>

Тр. Тр.-у. — Беспартийных эмигрантских газет нет. Единственный беспартийный орган, который мы можем Вам рекомендовать — «Вестник свекловодства». Издается, кажется, в Ужгороде (Чехословакия), а может быть, и в Шанхае.

* * *

Опереточному комику Ф. — Очень рады, что Вы, наконец, се-ли на землю. Не забудьте, что не позднее середины октября должна быть окончательно закончена побелка *известью* старого птичника.

Откорм начните с ноября. В декабре обычно все бросают и возвращаются в Париж. Не забудьте перед отъездом зажарить для нас двух-трех молодых уток.

САТИРА В ПРОЗЕ
(1921—1931)

УЗАКОНЕННОЕ ЛЮБИТЕЛЬСТВО

(ОБ ОДНОМ НЕСЕРЬЕЗНОМ,
НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОПУЛЯРНОМ ИСКУССТВЕ)

Пишут о музыке, о живописи, о книгах, о балете. Перед холодными глазами современных прохожих развертывают один за другим пышные ковры любимого своего искусства... а тут же рядом, бок о бок, эстетическая, общедоступная кухмистерская готовит для всех дежурное блюдо из объедков любого искусства, сдобренных где сахарином сентиментальности, где трагизмом кинематографических ужасов, где очередной модой на какой-либо стиль, докатившийся до толпы.

В ряду таких дежурных блюд есть одно, состоящее в некотором родстве с поэзией. Правда, искусство это — декламация — пишется только с маленькой буквы, а, может быть, справедливости ради его следовало бы заключить в иронические кавычки, но сила его влияния так непоколебимо устойчива, но круги, им захваченные, так широки (едва ли не шире кругов любителей раскрашенных зайцев из папье-маше и фокстротов), что искусству этому стоит уделить несколько неблагосклонных, искренних слов.

* * *

Искусство декламации, в том виде, в каком нам его преподносят ежедневно, обладает одним удивительно привлекательным свойством: ему совсем не надо учиться. Художник, музыкант, архитектор, балерина, певец проходят долгие годы искусства и неутомимого бешеного труда, пока, ступень за ступенью, не дойдут до доступной каждому из них вершины.

Если бы какой-либо беззаботный эстет, с лиловым платочком в кармане, никогда не державший в руках скрипки, нанялся бы в кино по скрипично-увеселительной части и в первый же дебют стал извлекать из незнакомого инструмента пронзительные звуки выворачиваемой наизнанку кошки, — и скрипка и дебютант на долгое время потеряли бы физическую возможность проделывать такого рода опыты.

Но если бы тот же самый отчаянный человек выступил в роли декламаторствующего стиходробителя с «Каменщиком» Брюсова или «Качелями» Сологуба, результат был бы тот, который мы наблюдаем обычно: бурные аплодисменты родственников, сочувственные — знакомых и недоуменно-вежливые — остальной части слушателей. Потому что, Бог ее знает, что она такое — эта самая декламация. Воеет? Может быть, это новая школа выявления скрытых в стихах

подсознательных эмоций. Бубнит? Почему же и не бубнить... Пропускает двенадцать букв из общепринятого алфавита? А может быть, и это какой-нибудь позавчерашний уклон с завитушками, нео-сюсюканье, примечательное для трактовки данной музыки.

Мы, русские современники, захватили еще полосу подчеркивающей, приподнято-пафосной декламации. Любые стихи в такой передаче казались точно сплошь написанными курсивом. Поэт улыбается — разъяснитель-декламатор хохочет, поэт вздыхает — тот рыдает, поэт становится на цыпочки — этот взлезает на ходули, поэт намекает — господин во фраке бьет себя ладонью в манишку и шипящим шепотом подчеркивает...

Такая обывательско-актерская манера привилась особенно в необъятной русской провинции, где редкая губернская и уездная вечеринка обходилась без «Сумасшедшего» Апухтина, «Портного» Никитина, «Сакия-Муни» Мережковского, «Белого покрывала» и прочих окинжаленных вещей. Манера эта никогда не ограничивалась голосовыми связками: участвовали глаза, брови, нос, руки (шведская гимнастика патетических моментов), гордо отставленная подпрыгивающая нога, белый крахмал рубашки и вдохновенно набегающая на низкий лоб прическа... Особенно неистовствовали молодые люди, которым удавалось побывать в столице и послушать Ходотова. Бедный Ходотов! Не знаю, приходилось ли когда-нибудь этому даровитому артисту видеть и слышать, как оскар-уайльдствующие акционные чиновники наивно пародировали в житомирских и пензенских салонах его декламаторское искусство. Слава Богу, если не приходилось!

И наряду с декламацией помните ли вы ближайшую родственницу этой незаконнорожденной музыки — мелодекламацию? Бедные кости Апухтина и Надсона, кротких и скромных поэтов, не раз переворачивались в гробах, когда до них долетали обескровленные убого-монотонные аккорды, покрытые завываньем потерявших смысл и краски лирических строчек. Не один здоровый человек, даже из числа вежливо аплодирующих, уходил домой после таких сеансов с таким ощущением под ложечкой, точно он наелся глицерину с мыльной пеной, обильно политой малиновым сиропом...

Современная декламация, если определять ее новой убого-нищенской терминологией, конечно, значительно «полевела». Можно наметить два ее основных типа. Первый из них — пародирующая неосимволистов пономарско-трупная читка. Полное отсутствие жестов и игры лица, каменная маска автоматической пифии, которую принесли на вечер, обмахнули с нее метелочкой пыль и завели на положенные четверть часа. Голос без понижений и повышений, без *piano* и *forte*, без выделения цезуры, без отделения строк и строф. Собственно даже не голос, а чревовещание, своеобразно доводящее слушателя до того транса, который овладевает кроликом, когда на него, не мигая, смотрит вставшая над ним в зарослях очковая змея. Манера эта, правда, не так уж нова; не говоря уже о пономарской дикции, такого рода декламация знакома нам еще по «Посмертным

запискам Пиквикского клуба». Помните бесстрастную, долговязую фигуру судейского клерка в очках, неутомимо приводившего своих клиентов к присяге? «Формула самой присяги и все последующее произносилось одним духом без знаков препинания, так что вышло приблизительно так», — говорит Диккенс: «Возьмите книгу в правую руку вот ваша подпись вашей рукой клянитесь всемогущим Богом что показание ваше подлинно и верно с вас следует шиллинг давайте мелкими у меня нет сдачи».

Вторая манера культивируется подражателями того гениально-го, но скромного мужчины, который недавно обмолвился о себе в стихах:

Поэт, как Дант, мыслитель, как Сократ,
Не я ль достиг в искусстве апогея...

Манера эта, как и все великие открытия, проста и убедительна. Назвать ее можно «поэзо-фиксатуарной» по той утонченно-писарской изысканности, с какой декламаторы обоего пола, вихля бедрами, выпевают, с подвизгиваньем в середине каждой строки, завитые и напوماженные стихозы. Декламаторши, подверженные таким поэзо-припадкам, предпочитают появляться на эстраде с бронзовой подвязкой на голове, декламаторы — с экзотическим цветком в петличке и с румянцем на щеках, приобретенным по сходной цене в ближайшем парфюмерном магазине.

Есть еще одна особая категория декламаторов, из породы так называемых молодых и начинающих, — назвать их можно «самодекламаторами». Старшие их собратья, поэты, уже вошедшие в литературную табель о рангах (среди них даже «любимцы публики обеих полушарий», как писали в уездных афишах о доморощенных Вяльцевых), — показали им соблазнительный пример. Подмостки «Бродячих котов» и «Собак», а тем более «Соляных городков», вернее всяких книг и упорного, скрытого от всех творчества, вели к вершинам сегодняшней славы, создавая поэтам-самодекламаторам в короткое время такой успех, которого не достигали и самые рекламные сорта галош.

Заезжие провинциалы и несметные стада вечно взволнованных курсисток, легко переходя от общедоступного Надсона и Апухтина к самоновейшим поэзо-лихачам, своими глазами созерцали богов, багровея от счастья, слушали собственными ушами лирические состязания парнасских завсегдатаев и даже участвовали в таких незабываемых на всю жизнь событиях, как очередные выборы «короля поэтов»... Шутка ли сказать!

Чего же требовать от молодых? Правда, и в былое время кто не грешил стихами. Даже у историка Иловайского, наверно, была заветная тетрадка, которую он тщательно прятал от окружающих, а на старости лет, должно быть, сжег. Люди были скромнее. Свои первые опыты-черновики молодые стихописцы, после настойчивых приставаний, читали разве ближайшим друзьям и родственникам,

да изредка каллиграфическим почерком переписывали их в альбом единственной гимназистке.

В наши дни начинающие предприимчивее. Они пустили в обращение странную легенду, которой сами первые и поверили: о международной интриге против них старших братьев, редакторов, издателей, метранпажей и едва ли не брошюровщиц. Тайны мадридского литературного двора всех времен, расцвеченные безгранично щедрой к себе самовлюбленностью, до мельчайших подробностей известны каждому из них, едва знакомому с употреблением рифм «смерть-твердь-жердь»... И конечно, ультралевый уклон новой поэзии, производящий каждого прохожего, принявшего ее каноны, в гении, выгащил всех их, воющих и голосащих артельно и повзводно, на бесчисленные эстрады...

* * *

Теперь совершенно серьезно: если мы уже живем в такое поэтическое (действительно!) время, что ни на одной вечеринке — от вечера, посвященного памяти Толстого, до очередной студенческой пятницы — без декламации обойтись не можем, то нельзя ли эту самую декламацию каким-нибудь радикальным способом двинуть по-настоящему влево так, чтобы от нее ничего не осталось?

Я бы предложил, например, совершенно новый способ коллективной «внутренней декламации». Допустим, что в программе вечера стоит очередная громогласная порча стихов. Что, если бы устроители, выбрав строгие и неувядаемые вирши, скажем, Пушкина, Тютчева, Фета, Бунина, Блока (не плохие поэты!), отпечатали их на гектографе и раздали слушателям, а затем... и сам декламатор, и аудитория пусть вдумчиво прочтут их про себя, тихо переворачивая листочки...

А как же быть с «начинающими»? Во-первых, начинающие могут собираться где-нибудь у себя в мансарде и самодекламировать друг другу свои черновики до зубной боли, а во-вторых, если они сами попадут на такие вечера «внутренней декламации», то, может быть... не бесчувственные же они в самом деле, — у них надолго пропадет охота заниматься искусством, которое, право, много сложнее и ответственнее, чем игра на флейте. Попробуйте-ка сыграть перед сотнями посторонних людей на флейте, когда вы даже и того не знаете, с какого конца в нее дуть.

<1921>

ГРАФСКАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ

(СМЕНОВЕХОВСКАЯ НОВЕЛЛА)

Демьян Бедный, почетный кустарь красно-крыловского цеха в СССР, скосил глаза на шагавшего перед ним плотного автора «Хождения по мукам» и зычно рассмеялся:

— Что, Алешка, упарился?

Граф резко повернулся на новых пролетарских каблуках и загнул словесную спираль:

—.....! Хорошо тебе, черту гладкому, гоготать... Выслужился, дьявол. На всех заборах расклеен. А я что им, — мальчик дался? Семь раз в неделю присягать должен?

— Не нравится? А ты опять в Берлин... пупки отращивать.

— Выпустят они, как же. Уж я в Париж послом просился.

— В Па-риж?! Ах ты, штучка с ручкой! Ну и что ж?

— Зиновьев и разговаривать не стал. Вынул из бонбоньерки мятную лепешку и сует с...с... Жажду, говорит, очень утоляет, товарищ-граф, не угодно ли?

Демьян Бедный залиvisto заржал.

— Ну, Алешка, и лаком ты, как я погляжу. Это же за какие услуги? Я с самого Октября впрягся, красней меня, может, во всей СССР человека не сыщешь, — самому и то тошно, — и то не мечтаю, а тебя, свежезаконтрактанного борова — послом?

— Так что же мне делать? Икрой нэпманам плечи мазать?

— Пиши. Старайся.

— Трудно мне.

— А там писал? Стало быть, легко было. Ты думаешь «Детством Никиты» отделался, — буржуазный приплод раскрасил?.. Заслуга! Либо эта твоя, как ее... «Аэлита», — планетарный роман под Уэллса. Только красный хлеб у других зря отбиваешь. Ты, друг, не увиливай. На землю спустись — в СССР!

Граф уныло следил за мухой, переползавшей по клеенке через пивную лужицу, и молчал.

— Слушай, Алеша. Ты же мне не конкурент, прозаик. Есть у тебя одна золотая тема, которой ни у кого из нас нет. Уж я б из нее накроил! На полное собрание хватит...

Автор «Хождения по мукам» насторожился.

— Какая-такая тема? Много ты, Демьянова уха, в темах-то понимаешь.

— Ты что же притворяешься, Авеля из себя корчишь? Э-ми-гра-ци-я, вот какая тема. Понял? По-настоящему с тебя десять процентов взять бы следовало за эту тему, да бес с тобой, с товарищей не беру. Прощай, граф, пойду. Скучно у тебя, сидишь, как кислая собака. И зачем только к нам примазался, одному Госиздату известно!

* * *

После ухода маститого краснописца графа точно волной подняло. Метнулся по комнате, десть разграфленной бумаги на столе разложил, перышко новое с серпом и молотом обсосал и окинул злыми осоветившимися глазами свое недавнее прошлое: белые друзья, антисоветские разговоры, книжные заметки... Эпопея! Исказить, прибавить, раздраконить — благо никто не ответит. Весталками, дьяволы, заделались! Думают, так уж сладко было в «Накануне» Не-Букву дублировать... Ему, ходившему по мукам, с безголо-

сым Кусиковым и Дроздовым из одной собачьей будки подлаивать... Без веры, без пламени красную резинку жевать, свое кровное — грязным кнутом полосовать... Ладно...

Граф присел на корточки перед разинутым настежь чемоданом и тяжело вздохнул. Веры и пламени, увы, не было на советский червонец и сейчас, а слева под сорочкой, как всегда, когда он принимался за красную стряпню, подымался мутный приступ морской болезни.

От какой же печки все-таки танцевать? Мяса, мяса, дьявол их задави!

На дне чемодана ему бросился в глаза клочок старой эмигрантской газеты, в который был завернут красный жилет, подаренный графу совслужащими по «Накануне» перед отъездом графа в Москву. Он скользнул налившимися желчью глазами по скомканым столбцам и крикнул...

Ага! Вот это самое и есть.

* * *

Товарищ Стеклов концом красного пальца указал графу на стул у редакторского стола и пренебрежительно откинулся на кресле.

— Заждались, товарищ, заждались... Что же это вы так долго раскачивались, а?

Граф, с трудом выдавив на лице пролетарскую улыбку, молча протянул рукопись и, опустив глаза, контрреволюционно выругался (про себя, конечно): «Ишь, пулемет заржавленный!..»

Стеклов углубился в графскую рукопись.

«Крайне характерно отношение эмигрантской падали к советской этике, освободившейся от буржуазной указки и впервые на полной воле развертывающей мощные крылья навстречу красной красоте и правде...»

Не угодно ли, что пишут эти, захлебывающиеся от бессильной ярости трупы:

«Большевики не пытаются создать новое, сотворить идею жизни. Они поступают проще (и их поклонникам это кажется откровением) — они берут готовую идею и прибавляют к ней свое «но». Получается грандиозно, оригинально и, главное, кроваво».

«Да здравствует всеобщая справедливость! Но семьи тех, кто сражается против большевиков, — старики, женщины, дети — должны быть казнены, а те, кто не желает работать с советским правительством, — уничтожены голодом...»

«Да здравствует самоопределение народов! Но донских казаков мы вырежем. Малороссов, Литву, Финнов, Эстов, Поляков, всю Сибирь, Армян, Грузин и пр., и пр. вырезать, потому что они самоопределяются, не признавая власти Советов...»

«Это «но» — роковое и необычайно характерное. Большевики не знают созидательного «да» или сокрушающего в своем сокрушении творческого «нет» первой французской революции. У них чи-

сто иезуитское, инквизиторское уклонение — «но», сумасшедшая поправка.

Словно — один глаз открыт, другой закрыт, смотришь на лицо — оно повертывается затылком, — видишь — человеческая фигура, а на самом деле кровавый призрак, весь дрожащий от мерзости и вожделения...»

.....
Товарищ Стеклов не стал дальше читать, накрыл рукопись ладонью и поднял холодные глаза на графа, скромно и почтительно потевшего на стуле.

— Старые цитаты, граф.

— То есть, почему же?

Товарищ Стеклов искушенным глазом окинул папки, стоявшие за его спиной в шкафу с ярлыком «Контрреволюция — Париж» и раскрыл одну из них.

— «Общее дело». Статья от 9 октября 1919 года, перепечатанная в 1920 году в нью-йоркском сборнике «Скорбь земли русской».

— Но, товарищ... — Граф быстро проглотил слюну и провел языком по сухим губам. — Разве так важна дата. И разве эмигрантские мозги с тех пор так изменились?

— Цитаты старые, — сухо повторил Стеклов. — И опасные... Кем подписана статья, не знаете?

— Не помню-с... — Граф попробовал взболтнуть свою память, но кроме мути ничего в ней не осело. — Не помню-с... Но разве это существенно? Я цитировал середину статьи по случайно у меня завалывшемуся обрывку эмигрантской газеты...

— Оно и видно, — редактор захлопнул папку и вдруг, словно из вербной свиньи, заструился прерывистый, захлебывающийся визг, — это он смеялся. — Не знаете?.. Забыли? А вот я знаю и не забыл. Статья подписана *графом Алексеем Николаевичем Толстым*... До свидания, товарищ. Ничего, ничего, не извиняйтесь. В нашей практике всякое бывает. Двери, пожалуйста, закройте — с лестницы дует.

<1924>

РАЗГОВОР С ДЕДУШКОЙ

— Дедушка, что такое демократ?

— Демократом, дружок, называется такой человек, который желает народовластия.

— А что такое народ, дедушка?

— Народ — это все мы. Все, населяющие страну.

— И профессора, и шоферы?

— Ну конечно.

— А кого, дедушка, больше: профессоров или шоферов?

— Шоферов, разумеется, больше. Но почему ты об этом спрашиваешь?

— Потому что шоферы могут напутать. Разве они умеют управлять страной? Это же не такси...

— Они, милый, управлять и не будут. Они будут только подавать голос за ученых профессоров-политиков.

— А если они не захотят, дедушка? Их заставят?

— Нет, заставить нельзя.

— Так как же, дедушка. Вот они сами себя и выберут. Что ты тогда будешь делать?

— Ты еще маленький. Складывай свои кубики...

— Не хочу. Складывай сам... А скажи, дедушка, дураки — тоже народ?

— Гм... Дураки, милый, не класс, не партия, не профессия... Это все равно, если бы ты спросил: блондины — тоже народ?

— Нет, уж ты не увливай... При чем тут блондины и классы? Дураки — народ?

— Пожалуй, народ.

— И много их, дедушка?

— Очень много. Больше, чем надо.

— Большинство, дедушка?

— Пожалуй, что большинство.

— Так как же? Де-душ-ка! Раз глупое большинство, так оно же натворит большие глупости... А?

— А мы поправим.

— А они вас побьют...

— Как так побьют? Что ты за чепуху городишь.

— Ничуть не чепуха. Возьмут палку и скажут: нас больше! И не надо нам ваших умностей, хотим жить, как свиньи и дураки. И палкой вас хлопнут, чтоб не мешали. Что тогда, дедушка?

— Глупости.

— Да? А ты не читал, как в Берлине в парламенте драка была? Зловредные дураки дерутся, председатель в колокольчик звонит, а умные — молчат. И дерутся, и свистят, и ногами топают, как в конюшне. Разве не бывает?.. Дедушка, а женщины тоже должны право голоса иметь?

— Ну конечно!

— Отчего же в некоторых демократических странах они безголосые? Как сумасшедшие или воришки какие-нибудь. Ведь женщины же бывают умные, справедливые, добрые... Вот как мама, например. Даже республиканки между ними бывают. Я сам читал, дедушка, — Екатерина Великая писала: «Душа моя всегда была отменно республиканской». А может быть, их боятся, дедушка?

— Почему же боятся?

— Да вот дядя Петя говорит, что женщины «консервативны»... Ты как думаешь?.. Молчишь? Ну, ладно. Не понимаю я еще одной штуки. В Америке были выборы — республиканцы голосовали за одного человека, а демократы за другого. Разве республиканцы и демократы не всегда вместе? А я думал, что они как чай с сахаром...

- Много ты понимаешь...
- Что ж... Я не профессор... А вот еще, дедушка, ну, пожалуй-ста, бывают демократические танцы?
- Что это ты еще выдумал?
- Ничего не выдумал. В газетах вот пишут: там-то и там-то будет демократическая вечеринка с танцами. Бывают, значит, и монархические с танцами? Так, дедушка, если танцы у них одинаковые, то дешевле же вместе танцевать. И интереснее? А?
- Ты глуп, друг мой.
- Глуп, дедушка, верно. Книг для меня не пишут... Что же мне делать? Я все передовицы читаю — оттого и глуп. Так вот я по глупости своей и рассуждаю: если бы вместо вечеринок ваших с танцами да докладов с прениями — это же, дедушка, вроде бокса — ну, хоть бы детский журнал затеяли или приют открыли для русских детей — пользы бы больше было. Как ты думаешь, дедушка?
- Ступай, ступай! Вот что я думаю.
- Ну, да. Так всегда. Когда ответить не можешь, всегда спать посылаешь...

<1924>

ЭМИГРАНТСКИЕ РАЗГОВОРЫ

<1>

- Скажите, пожалуйста, почему этот тип именуется себя профессором?
- Ну, знаете, у него все-таки есть некоторый научный стаж: до войны был вольнослушателем в Психоневрологическом институте, с полгода проболтался в Харьковском ветеринарном... Во время Керенского защищал в петроградском союзе повивальных бабок диссертацию на тему: *«Авель как основоположник мелкобуржуазной идеологии»*... А затем был министром народного просвещения не то у Махно, не то у атамана Маруси. Чем не стаж?

* * *

- Бабушка, какой это ты пасьянс раскладываешь?
- «Наполеонову могилу», детка...
- Как тебе не надоест? Хочешь я тебе книжку дам...
- Какую такую книжку? Не люблю я этих нынешних...
- «Архив русской революции», бабушка. Вроде Майн Рида, только еще интереснее...
- Ну, голубчик... У меня архив этот весь в голове да в печенках сидит.
- Отчего ж ты не пишешь?

— Слов, милая, таких еще на свете нет, чтобы архив этот писать. Пусть пока заячьи министры пишут... А я уж на том свете, когда Господь призовет, писать засяду: лет тысячу писать-то надо...

* * *

— Скажите, кто это там у столика — баки расправляет?

— Маститый? Это Х. Знаменитый общественный бездельник.

— А чем он собственно занимается?

— Самоуважением. И до того остальных приучил, что так все, походя, его и уважают: двадцать четыре часа в сутки. Очень почтенная личность.

— Ну что вы. Какое же это занятие — самоуважение?

— Занятие неплохое. Другой и талантлив, и умен, и честен, да так ничего у него и не выходит. А этот с баками без всех этих качеств прекрасно обходится и с одним своим самоуважением такие дела разворачивает, что чертям тошно... Хотите представиться?

— Нет уж. Спасибо. В эмиграции уважение беречь нужно. Что ж я его зря под ноги индюкам разбрасывать буду?..

* * *

— Тридцать лет женаты и учить меня вздумал... Физиологию какую-то выдумал. Обед из трех блюд ему нужен... Подумаешь! Какая там еще у эмигрантов физиология?

— Да я ж, Даша, право голоса имею.

— Никакого. Женщина в эмиграции все! Кто визу добыл? — Я. Кто по-французски за тебя в участке объясняется? — Я. Кто комнату нашел? — Я. И квартиру найду! И совсем не твое дело... Лежи на соме и кури свои мариланы... Всю душу прокоптил.

— Да я ж, Дашенька...

— Никакая я тебе не Дашенька. После пятидесяти лет главное не питание, а квар-ти-ра. Понял? Овсянку будешь есть целый год, а квартира будет!

— Да на наши средства?

— Ха! Средства. У тебя не спрошу. А ты слыхал, как черногорцы к себе Бонапарта не пустили? Велики ли у них средства были?..

* * *

— Я, батенька, не монархист и не республиканец и прейскур-ант этот давно псу под хвост бросил... Ежели правительство не зверюга и не хапуга, то мне плевать, что у него там на шапке написано — пусть господа историки разбирают, за то им и деньги платят. А насчет «временного правительства» отвечу вам, сударь мой, кратко: уж лучше двуглавый орел, чем безглавый осел... Тот хоть щипал да защищал. А этот сослепу бешеных собак веером обмахивал. Вот и домахался.

* * *

— Когда же вы в Швейцарию?

— Да все с этой окаянной визой путаюсь. Катаральное свиде-

тельство от швейцарского врача представил, рекомендацию по политической благонадежности от предков Вильгельма Телля добыл, оспу привил, выпись из метрики моей послал, в санаторию за месяц вперед через банк внес... да вот, все толку не добыюсь.

— Чего же им надо?

— Залог, ироды, требуют. Если я там в санатории окочурюсь, так чтобы было на что венки купить и в цинковом ящике наложенным платежом обратно отправить. Гуманная нация, швейцарским бы сыром ей подавиться!

<II>

— Так как же вы все-таки полагаете: подлинное послание Зиновьева, или умные англичане сфабриковали его, чтобы верней Макдональда свалить?

— А не один ли черт? Если там в Москве красные олухи негодуют и отпираются, так какая же ихнему негодованию цена? К примеру, приведу вам из стародавней жизни такую быль. Закутит замоскворецкий купец, три месяца в злчном месте валандается, девок в шампанском купает, паркет икрой мажет, зеркала чем попало бьет. Очумеет до того, что его, словно куль, приятели без сознания чувств домой приволокут... А к вечеру приедет служающий со счетом, тысячи на три наблудил, — что было, чего не было, разве все упомнишь? Купец для вида очки взденет, мутными глазами счет пробежит: все правильно — зеркала бил, паркет мазал, кофту на главной мадам разорвал. А почему сифон сельтерской приписан?! Когда же он сельтерскую пил?! Мошенники! Сию минуту двугривенный со счета скости! Упрется и шабаш. Так вот и Зиновьев этот самый со своим письмом. Будь он трижды проклят.

* * *

— Слыхали? Газета большевиков в Париже затевается.

— На каком языке?

— На совнархозном. Три трехэтажных слова обрежут, в два пальца свистнут — вот тебе и язык. Вверху «серп и голод» для украшения фасада.

— Кому же это здесь нужно?

— Кусиковым, должно быть. Не на заборе же писарские куплеты писать. В Париже это воспрещено... Да и для рабкоров вроде санатория будет: поврет с месяц, синяки подлечит, а на смену следующий. И безопасно, и назад с копейкой поедет.

— Сменобреховцы... Одно «Накануне» съели, слопают и второе, — разве им мужицких остатков жалко? Кто же у них в главредакторы намечается?

— Савинков, говорят, просился, да не пустили. Очень уж у него выражение лица стало меланхолическое за последнее время... «Возвратного» тифа боятся.

* * *

— С Новым годом!

— Это с каким же?

— Как с каким? С двадцать пятым...

— Так это по новому стилю старый год прошел, а теперь по старому новый наступает.

— Ну, знаете, при моих доходах я два раза не праздную. И вообще Новый год — рестораторский предрассудок. Выдумали, черти, чтоб тираж зубровки поднять.

— Как же так, без праздников? Мрачно уж очень...

— А вот когда я новое пальто куплю, тогда у меня и Новый год будет. Чему мне сегодня в старой драповой кацавейке радоваться? Летосчисление — вещь условная: вот я его от нового пальто и буду вести.

* * *

— Десять франков за детскую книжку?! Возмутительно.

— Позвольте, Анна Ивановна. Забудьте на мгновение, что я приказчик и что мы в книжной лавке. Скажите мне, как доброму знакомому: что стоят ваши чулки?

— Не понимаю. Сорок франков. Но почему вас это интересует?

— Как часто вы их покупаете?

— Не понимаю. Два раза в месяц. Но почему это вас интересует?

— Так. Два раза в месяц по сорок франков — это дешево. А раз в год для своего ребенка десять франков за книжку — это дорого? Очень хорошо...

— Не понимаю... Как можно сравнивать: шелковые чулки с детской книжкой?! И потом, позвольте вам заметить, я даже добрым знакомым вторгаться в свою частную жизнь не позволяю... Слышите? А вам — наказание: теряете хорошую покупательницу... В прошлом году ничего не купила — и в этом не куплю!

* * *

— Этика... Важное кушанье ваша этика! Где вы проведете границу между коммерцией и спекуляцией? Ась? До какого процента — честно, а с какого — нечестно? Где начинается свинья и где кончается ангел? Человечество сейчас, милый мой, применительно к новой метафизике разделяется на две категории: одни спекулируют, а другие... им завидуют. Вас тошнит? Выпейте содовой воды...

* * *

— Вот все не верил, а теперь верю.

— Почему же?

— Есть у меня такой показательный микроб. Знакомый мой, буржуй трехобхватный, третий уже год в Берлине с большевиками

все какие-то дела вертел. Клей они ему из костей расстрелянных продавали, черт их знает... Письма он ко мне все писал — под голое свинство идеологические подпорки подставлял. Я, мол, не понимаю, да я, мол, отстал: родину-де нельзя на произвол стихиям бросать... Мода у них такая гнусная пошла: гвоздь в Христа вобьет, а сам плачет да о пользе человечества кричит. И все, конечно, по новому правописанию. Старый человек, не привык, — и до того с разгону перестроился, что и мягкий знак упразднил.

А теперь, извольте: о красных делах — молчок, правописание старое, да так на ять нажал, что где и не надо ставит, — о Европе даже вспоминать стал: когда же она порядок наведет?.. Уж, верьте мне, примета старая: крысы с корабля бегут — ждать недолго.

<III>

— Куда уезжаете на лето, Анна Петровна?

— Никуда. Помилуйте, какой в пансионатах отдых? Хозяйки — гадюки, стол — мерзость, жильцы — ломаются... Живешь, как под стеклянным колпаком... Сплетни, флирт, спирт, дорого, неудобно!.. Впрочем, что я вам расписываю. Вы ведь сами пансион терпеть не можете.

— Нет, почему же. Бывают образцовые пансионаты, очень образцовые. С хорошим обществом, с интеллигентной хозяйкой, со столом исключительно на сливочном масле, с культурным флиртом, с бриджем... Как же можно так огулом критиковать?

— Да? Странно, как меняются взгляды. Где же вы такое чудо нашли?

— Я... не нашла. Я, видите ли, сама пансион открываю.

* * *

— Господи, сколько у вас пакетов!

— Чай!

— Да у вас тут кило пять... Куда вам столько?

— И еще столько закуплю! Что вы с луны свалились?! Ведь в Китае же революция...

* * *

— А ну-ка, Павел Иванович, угадайте, откуда это:

«Верно, что сыграв миллионы ролей, одна трудней другой, я уже стану близко в Кормилу Режиссуры, пока искушенный в мастерстве вселенской игры, не сопричащусь Режиссерской Властью, соединившись навеки ипостасью Театрарха в одно неразрывно достойное Целое...»

— Ну и загнул! Судя по языку, наш бывший штабной писарь, Иван Опопонаксов, писал.

— Почти угадали. Евреинов. Журнал «Театр». № 1.

— А вы уверены, что это не псевдоним нашего писаря?

* * *

— Ну, как ваш французский язык поживает?

— Ай, оставьте! Только что научился в Варшаве по-польски — переехал в Берлин. Заговорил по-немецки — черт понес в Милан. Почти изучил итальянский — попал в Париж... Прямо как футбольный мяч! Так я уже теперь сразу сел за португальский.

— Почему за португальский?

— Очень просто. Скоро придется переезжать в Голландию, так я на всякий случай решил изучить португальский.

* * *

— Ритм великое дело... Первое время тяжело, а потом пятка работает с точностью метронома... А главное — правильно чередовать глубокое вдыхание и выдыхание, — тогда скользишь по полу с легкостью конькобежца.

— Простите, профессор, разве вы поступили в балет? В вашем возрасте?!

— Какой балет! Полы натираю, батенька... Не знали? Пять франков — обыкновенный пол, десять — запущенный. Запишите на всякий случай мой адрес...

* * *

— Подумываю я, друг, эмигрантскую баню открыть. Книжно-колонийальные лавки, кабаре эти с бродячими собаками — пробовано, перепробовано. Месяц в барышах, а год в шишах. А баня дело новое, эмигрантскую душу зацепит. Тут тебе и квас, и газетка, и шашки... Граммофон пушу: «Из-за острова на стрежень...» На манер клуба. Почитал, поспорил, а потом пожалуйте на полоч под веничек... Русское дело — валом все повалят!

— А банщиков где ж возьмете, Иван Спиридонович?

— Эко дело! Мало ли частных доцентов по редакциям окочивается... Их и приспособим.

<1924—1925>

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

(САТИРА В ПРОЗЕ)

Профессор Иван Петрович Рябчинский из напитков употреблял только чай — и то слабый. Не по толстовству, не по принципиально-моральным мотивам, а просто так, по полному безразличию к крепким напиткам.

Скандалов не выносил ни левых, ни правых, и, если на каком-нибудь эмигрантском диспуте шальный оппонент начинал обкладывать предыдущего оратора сверхпарламентскими терминами, Иван

Петрович, досадливо морщась, вставал и, конфузливо наступая на чужие мозоли, пробирался к двери.

К флирту был тоже безразличен: какой уж в беженской жизни флирт. И годы не те, и на такси свободных франков не было, а главное, характер у профессора был во всех смыслах безалкогольный. Жил кротко. Днем, поджав под стул ноги, работал в квартирном бюро, вечером одиноко гулял вдоль набережной Сены и для услаждения души все представлял себе, что это не Сена, а Нева...

* * *

Но однажды в столовке, доедая холодные макароны, Иван Петрович был неожиданно и горько потрясен. За соседним столиком незнакомые мужчина и дама говорили о нем, о Рябчинском.

Сначала дама:

— Вы говорите Рябчинский? Это, должно быть, тот, харьковский... Профессор? Алкоголик? Ну да, конечно, он. Жену продал в Константинополь, открыл там игорный притон, а потом, когда турки его выгнали, переехал в Берлин. Сошелся с племянницей. Скандалист отчаянный, его больше недели ни в одном пансионе не держат. Ни одной горничной прохода не дает. Напьется и в одной сорочке на балкон выходит... Мило?! А?.. Кончит тем, что его и из Берлина выкинут.

Потом мужчина:

— Гнус! И подумать только, что по таким вот субъектам иностранцы судят об эмиграции... А еще интеллигент! Профессор уголовного права... Хорош пример для подрастающего поколения!

* * *

Профессор явно ощутил на резиновой слизи макарон привкус хины. Он встал, посмотрел на багровое от вина, похожее на плевательницу лицо мужчины, назвавшего его «гнусом», на его даму — гусеницу с рыжим войлоком на голове, — подошел к их столику и хрипло спросил:

— Простите. Вы говорите о профессоре Рябчинском?

— Да. — И чета недоуменно переглянулась.

— О развратнике, алкоголике, продавшем жену в Константинополе, содержавшем там игорный притон и выходившем потом в одном белье в Берлине на балкон, о профессоре уголовного права Иване Петровиче Рябчинском?

— Да... — и мужчина и дама обрадовались. — Вы тоже его знаете? Садитесь, пожалуйста. Очень приятно!

— Благодарю вас, я постою. Так вот: насколько мне известно, профессор Рябчинский холост, вина не пьет, в Константинополе никогда не был, в Берлине тоже и живет безвыездно пятый год в Париже...

— Но позвольте-с... Вы введены в заблуждение! Может быть;

он ваш друг, — очень жаль, что у вас такие друзья. Но все, что мы о нем говорили, основано на самых точных сведениях.

Дама взволнованно дернула рыжим войлоком и свысока посмотрела на Ивана Петровича.

— На самых точных сведениях, — солидно подтвердил ее спутник.

Бедный Иван Петрович смущенно попятился, машинально опустил было руку в боковой карман, хотел достать «карт-д'идантите», чтобы доказать, убедить, но вдруг раздумал и, брезгливо махнув рукой, быстро пошел к вешалке.

<1925>

Г О Л О В А Б Л О Н Д И Н К И

(СЕНСАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН
В 13 ГЛАВАХ С ПРОЛОГОМ, МОНОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ)

ОТ РЕДАКЦИИ

Во всех уважающих себя серьезных периодических изданиях в целях культурного развития читателей и повышения тиража печатаются сенсационные романы, как-то: «Тайна замка Брынзы», «В бледно-сиреновой вилле» и т. п.

Почему, спрашивается, не напечатать такого романа и «Бу-мерангу»? Нам удалось по сходной цене (за 100 голландских гульденов) приобрести авторское право на перевод романа знаменитого португальского архитектора Мигуэля фон Шпингалета под волнующим названием «Голова Блондинки». Слово принадлежит автору.

ГЛАВА I

П р о л о г

Тишина звенела над парком... Место действия: изумрудные склоны Тюрингена, курорт Броттеродэ, пансион «Бездетная кукушка». Время: начало мая 1925 года, десять часов утра после утреннего кофе. Температура: 28 градусов по Цельсию.

ГЛАВА II

Р о к о в а я н а х о д к а

Маркиза Крамаренко, нервно кусая краску для губ, бросила долгий взгляд в зеркало над вешалкой и, как ураган, ворвалась на веранду.

— В беседке... на полу... валяется... голова!

Хозяйка растерялась:

— О, эта Фрида! Она, должно быть, мыла там телячью голову и по рассеянности свалила ее на пол.

— Да нет же! — маркиза капризно топнула ногой. — Голова женщины... блондинки...

Все ринулись к беседке.

ГЛАВА III

Д е л о в в е р н ы х р у к а х

Через двадцать семь минут из Ливерпуля прилетел на гидроплане, вызванный по беспроволочному телефону, знаменитый сыщик Ремингтон.

Широкими нестигающимися шагами вошел в беседку и приказал:

— Попрошу всех выйти. Кроме вас, маркиза.

ГЛАВА IV

П е р в ы й у д а р

Покрытая восковой бледностью голова неизвестной красавицы широко раскрытыми мертвыми глазами смотрела с пола на синеющее сквозь плющ беседки небо.

Ремингтон молниеносно нагнулся.

— Маркиза! Это ваша подвязка.

— Нет!..

— Не отпирайтесь.

— Как... вы... узнали?

— У вас на правой ноге повыше колена — круглое родимое пятно. Вы видите, оно запечатлелось на подвязке.

— Ах! — Молодое тело маркизы, как подкошенный барашек, осторожно опустилось без чувств на скамейку.

— Арестовать! — приказал сыщик. — Заприте ее пока в ванной комнате.

Местный полицейский инспектор с завистью приложил палец к козырьку.

ГЛАВА V

В т о р о й у д а р

Но кто соучастник? Ровный срез головы явно говорил о твердой и беспощадной мужской руке.

Сыщик пил в столовой кофе и нервно курил.

— Сколько вам лет? — внезапно спросил он у старшего племянника хозяйки.

— Семнадцать.

— Ага! Играете на тромбоне?

— Как... вы... узнали?

— Одутловатые губы и мозоль на языке. Арестовать!

Полицейский инспектор с завистью приложил (см. выше).

ГЛАВА VI

П о л о ж е н и е о с л о ж н я е т с я

Полицейский агент почтительно доложил Ремингтону:

— Его Светлость, наследный принц Руритании желает вас видеть.

— Просите.

— Господин Ремингтон? — принц вынул из петлицы орден Подвязки и продел его в петлицу сыщика.

— Я ваш давний поклонник... Но, видите ли, королева, это, конечно, останется между нами, желала бы это дело замять...

Ремингтон встал и несгибающимися ногами вежливо указал принцу на дверь.

— Долг, Ваша Светлость, выше всего.

ГЛАВА VII

Е щ е о д и н

— Вы садовник? — спросил Ремингтон, нервно глотая виски.

— Как... вы... узнали?

— У вас в волосах гусеница. Под ногтем правого указательного пальца огородная земля... Вы побледнели?!

— Пощадите! Жена, семеро де...

— Арестовать!

Полицейский инспектор с завистью (см. выше).

ГЛАВА VIII

М о н о л о г

Ремингтон, как молодой лось, нервно шагал по дорожке.

«О! Они меня не проведут. Если надо, я арестую все Броттеродэ, но преступление выйдет наружу! У местного мясника на фартуке кровь... Это ему даром не пройдет. Но не надо подавать вида.

Пусть еще погуляет на свободе. И нож! Я сам вчера видел у него в лавке большой свежоотточенный нож... Мистер Ремингтон, ты на верном пути! Но королева Руритании? Тайна ее письма будет мною свято сохранена».

ГЛАВА IX

Г у н и я д и - Я н о с н а ч и н а е т д е й с т в о в а т ь

Друг Ремингтона, венгерский магнат Гунияди-Янос, задумчиво посмотрел на знаменитого сыщика:

— Но почему на песке нет ни капли крови?

— Дождь. Песок разбух, а потом высох. Красные кровяные шарики ушли в землю, а белые видны только под микроскопом. Но микроскоп мой украден... Злодеи не дремлют! Ха-ха-ха! Сегодня вечером местный аптекарь пришлет мне свой микроскоп.

— Гений... — почтительно прошептал Гунияди.

ГЛАВА X

«И т ы, Б р у т!»

— Гунияди! Посмотрите мне прямо в глаза.

— Но почему, дорогой Ремингтон?

— Вы вчера... играли с хозяйкой пансиона в бридж!

— Как... вы... узнали?

— У вас на левой подошве ее шатеновый волос. Гунияди, как мне ни больно, но я принужден вас арестовать...

Полицейский инспектор (см. выше).

ГЛАВА XI

Г р о з н ы й м е ч с е ч е т б е з п р о м а х а

Броттеродэ пустело. Половина жителей была арестована знаменитым сыщиком. Другая половина не выходила за ворота и мрачно дожидалась той же участи. Мужья по ночам обливались холодным потом и тревожно спрашивали жен:

— Ты не помнишь, в ночь убийства была луна?

— Почему ты об этом спрашиваешь, Ганс?!

— А может быть, я... лунатик и тоже причастен к роковому злодеянию?

Жены ломали руки.

Но вдруг.....

ГЛАВА XII

Перст судьбы вмешивается в развязку

...Полицейский инспектор вызвал Ремингтона и доложил:

— Сэр! Местный парикмахер желает вас видеть.

— Позвать.

В дверях стоял бледный, как тубероза, парикмахер и мял в руках котелок:

— Простите. Честь дамы сковала мои уста... Но уж лучше я скажу, чем ей томиться под арестом в ванной. Маркиза назначила мне... свидание в беседке. Я возвращался из города с покупкой и не мог отклонить просьбы дамы. Мы немного выпили... рюмок по семи на брата, и... поцеловались. Алкоголь и страсть бросились мне в голову... и, уходя, я забыл свою покупку в беседке.

— Какую?!

— Видите ли, я давно хотел освежить свою витрину и купил... новую голову!.. — кротко объяснил парикмахер, опуская глаза.

— Проклятый!!.. Г-н инспектор, освободите сейчас же всех!..

Сыщик ринулся из беседки к своему гидроплану. Нервно застучал мотор.

ГЛАВА XIII

Э п и л о г

Наследный принц Руритании лишил посрамленного Ремингтона звания кавалера ордена Подвязки.

Благодарная маркиза тотчас же вышла замуж за парикмахера и запретила ему заниматься своим вульгарным ремеслом.

Прошло три месяца. Жители Броттеродэ, проходя мимо пансиона, нередко любовались на головки двух белокурых близнецов, которыми добрая судьба благословила счастливую супружескую чету.

В парке звенела тишина...

(Продолжения не будет)

Перевел с португальского А. ЧЕРНЫЙ

К Р А С Н О Д Е М О Н

(СОВЛИБРЕТТО)

«Le Journal» сообщает в статейке «Музыка в стране Советов» не новые для нас сведения о том, что большевики, не сумевшие создать своего пролетарского искусства, но понимая, каким

могущественным орудием пропаганды является театр, решили бесцеремонно подавать старый оперный репертуар под советским соусом.

«Тоска» Пуччини называется на советский лад «Борьба Парижской коммуны в 1871 г.», «Гугеноты» Мейербера стали «Декабристами», а «Жизнь за царя» перешиита в «Жизнь за серп и молот».

«Бумеранг», в свою очередь, может порадовать своих читателей. От неизвестного поклонника нами получено из Тифлиса заклеенное в коробке с халвой новое советское либретто оперы «Краснодемон». Было бы, может быть, более точно назвать эту оперу «Кавказской Вампукой», но авторские права, к сожалению, не принадлежат нам.

Редакция

А К Т I

Д е м о н на красной скале в красноармейском шлеме со звездой поет «Интернационал». А н г е л ы в небе стыдливо закрывают уши. У ног Демона аэроплан, подаренный ему парижским «Союзом возвращения на родину».

В облаках проплывает задумчивая тень Карла Маркса с «Капиталом» под мышкой.

Хор тифлисских кинто под аккомпанемент зурны заливается.

Арарат большой гора —
Константинополь видно...
Чемберлен убил бобра,
Как ему не стыдно!

Демон величественно сходит со скалы, берет в одну руку серп, в другую — молот, в зубы — кинжал, танцует лезгинку и баритонит.

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Над Европою парил...
Сбросил сотню прокламаций,
Всунул солнцу в грудь кинжал,
С облаков на Лигу наций
Равнодушно наплевал...

Багровое солнце, истекая буржуазной кровью, конфузливо скрывается за горы. Демон в сгущающейся мгле достает из ущелья бурдюк с кахетинским, высасывает его до капли и бросает в пропасть.

Клянусь я мировым пожаром,
Тебя, капитализм-паук,
Я сброшу в пропасть над Дарьялом,
Как этот выжатый бурдюк!

За сценой красноорудийная пальба. Из люка появляется американец-миллиардер. Демон предлагает ему нефтяную концессию. Оба обнимаются и, напевая «Аллаверды», садятся в автомобиль и уезжают в духан под горою заключать контракт.

А К Т II

Высланный червонцами двор князя Гудала. Рабы, закованные в кандалы, разносят гостям шашлык и самогон. Гурии, подстегиваемые бичами, принимают пластические позы.

Крупный помещик, князь Г у д а л, лениво глотает поданные ему на платиновом блюде крупные жемчужины и, икая, басит.

Я давлю свой народ
И живу я развратно...
Но возмездье придет,
Это мне неприятно!
О дочь моя Тамара,
Запомни мои слова:
Ты выйдешь за комиссара
И будешь вполне права...

Р а б ы (в сторону, пролетарским шепотом).

Возмездье придет...
О госпожа Тамара!
Восстанет народ, —
Ты выйдешь за комиссара!
Отец твой падет в борьбе.
Тра-ла-ла!
А мы при тебе, —
Хочешь ты или нет,
Образуем грузинский Совет...

Тамара бледнеет, вытаскивает из волос оправленную в княжеский сталактит шпильку и вонзает ее в глаз любимой рабыни.

Гости восторженно аплодируют.

Браво, Тамара!
Шпилькою прямо в глаз...
Такого удара
Еще не видал Кавказ!

Над дальней саклей, иронически скрестив руки, появляется бюст Демона.

Ха-ха-ха!
Каждый удар — пропаганда...
Помни, белая банда!
Ха-ха-ха!!...

А К Т III

Обвешанный черепами кавказских пролетариев, белогвардейский жених Тамары легкомысленно скачет в замок Гудала, чтобы обручиться

со своей несознательной невестой. Друзья-приспешники бренчат золотыми доспехами (96-й пробы) и весело поют.

Вместо кофе, вместо чая
Кровь народа все мы пьем!
Так живем мы, не скучая,
С нашим пьяницей-вождем...

Ж е н и х

Эй, приятели-убийцы!
Здесь будет наш ночлег.

Х о р р а б о ч и х-о с е т и н
(из-за кустов, пролетарским шепотом)

Засыпайте, кровопийцы,
Мы готовим на вас набег...

Жених, забыв сотворить вечернюю молитву, раскидывает бурку и кладет под голову несгораемую шкатулку с долларами.

Засыпает и поет во сне.

Душа терзается тяжко...
В ущелье забыл шакал...
В руке — дворянская шашка,
В шкатулке — мой капитал.
О Тамара!
Перед тем, как спать ложиться,
Я забыл помолиться...
Ты мне, видно, не пара!

Костры зловеще гаснут. Белогвардейский храп наполняет долину. Из-за зарослей кизила бурно влетают на красношаках осетины и рубят спящих с лихим припевом.

Цок-цок!
Мы — пролетарская рать!
Цок-цок!
В плен никого не брать!

Демон командует из бронированной башни.

Пулю в висок!
Шашкою в брюхо...
Кинжалом в бок!
Кастетом в ухо...

Осетины вытирают марксистские шашки о кудри убитых врагов, становятся в кружок и поют.

Вот раздолье для мечей!
Где ж товарищ-казначей?
Сделай опись и добычу принимай,
Кстати, завтра, кстати, завтра первый май!

Тов. казначей грузит на грузовик драгоценные доспехи и седла, но над шкатулкой в раздумье останавливается...

Шкатулка! Увы...
Ужели все для Москвы?
Товарищи, прошу вас, отвернитесь.
Шлю красный вам привет!
Во имя Маркса поклянитесь:
По описи — шкатулки нет...

Осетины клянутся, становятся на колени и поют «Интернационал».
Верблюды и ишаки почтительно опускают головы.
Демон задумчиво почесывает левое крыло.

Вот так всегда...
С шкатулками — беда!
Пошлю донос. Такому казначею
Дать надо в шею!

А К Т IV

Двор Гудала. Рабы злорадно ходят по сцене и потирают руки.

- 1-й р а б. Час возмездия настал...
2-й р а б. Конь к калитке прискакал!
3-й р а б. На коне жених лежал.
4-й р а б. Ха-ха-ха! Реви, Гудал!
5-й р а б. Чтобы черт их всех побрал!

Тамара выходит в траурной чадре и с арапником в руке.

Прочь, презренные рабы!
Завтра всем забрею лбы...

Рабы, извергая проклятия, разбегаются.
Тамара, пластически ломая пальцы, поет.

Час пробил. Вспыхнула борьба.
Кто нас спасет? Буржуи — слепы.
Интеллигенция — слаба.
Поляки? Но они — Мазепы...
Об интервенции мечтать
Нам в этот грозный час негоже:
Европа — ростовщик и тать,
Ей наша нефть всего дороже!

Демон, завернутый в красный флаг, появляется на кровле.

Клянусь я Маркса бородою,
Клянусь я плешью Ильича,
Клянусь серебряной рудою,
Клянусь улыбкой палача,
Клянусь я Лермонтовым Мишкой
И дагестанским курдюком,
Что я, снесясь депешей с Гришкой,
Тебя пристрою в Исполком!
Пусть ты княжна... Я все устрою,
Куплю дворец, надену фрак

И закормлю тебя икрою...
Вступи со мной в короткий брак!

Тамара конфузливо примеряет перед зеркалом красный бант. На лице блуждает сменовеховская улыбка.

В граммофоне нет такой пластинки...
Чей же голос здесь прорезал мглу?
К черту скорбь! Эй! девушки-грузинки!
Принесите ром и шепталу...

А К Т V

Ограда горного монастыря. Метель ревет «Интернационал». Сторож ходит перед калиткой и бьет в чугунную доску.

Что за свинство в самом деле
Энти стенки сторожить!
Надоел мне вой метели.
Разве я не должен жить?
Зватра первую монашку
Посажу на ишака,
Отточу лихую шашку
И помчусь служить в Че-Ка!

Д е м о н (*перелезает через забор и бренчит кошельком*).

Товарищ сторож! Ты болван:
Поешь, стучишь... Для ча?
Ступай в ближайший, брат, духан
И пей за Ильича!

Сторож почтительно берет палкой «на-краул», ловит брошенный кошелек и исчезает за обрывом.

А К Т VI

Келья Тамары. Княжна лежит на оттоманке, грызет семечки и, зевая, читает «Известия».

Ночь тиха, ночь ясна.
Не могу я уснуть!
Хоть бы сам сатана
Приналег мне на грудь...

Демон вышибает коленом окно и под аккомпанемент гармоник поет на мотив «Гульминджана».

Облетел я всю Кубань,
Спрашивал: где келья?
Мне сказали: перестань,
Поищи в ущельям!
Я теперь тебе нашел, —
Сдохну, не отстану!
Через местный Комсомол

Пропуск я достану...
Сгнил в тюрьме старик Гудал,
Ты — моя невеста!
Джугашвили обещал
Мне в Париже место.
Здесь теперь грузинский рай,
Но в Париже слаще:
По три шляпки в день меняй,
Можешь даже чаще!..
У тебя есть белый грудь,
У меня есть руки, —
Развлечемся как-нибудь
От житейской скуки!..
Упакуй свой чемодан!
Спрячь брильянты в книжкам...
Горы в тучах. Сторож — пьян.
Пулемет под мышкам...

Т а м а р а (*вскакивает, снимает с Демона красноармейский шлем и примеряет*).

Я согласна, Демон страстный,
Улетим с тобой в Париж.
Через месяц стяг наш красный
Ты над Сеной водрузишь!..

(Улетают в форточку.)

Входит, покачиваясь, сторож. Смотрит на разрытый гардероб и качает головой.

Все увезла — и брошки, и браслеты.
С пустой бутылкою остался я в руках...
Пристроится и будет жрать конфеты, —
А пролетарий... вечно в дураках!

(Спотыкается и засыпает на ковре.)

За сценой красноорудийная пальба.

*С подлинным верно:
А. Ч.*

<1925>

ПУШКИН В ПАРИЖЕ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Конан Дойл, обладая независимым состоянием и досугом, исчерпав все свои возможности в области «новейших походов знаменитого сыщика», в последние годы, как известно, занялся материализацией духов. К сожалению, далеко не все опыты ему удавались. Так однажды, в конце мая 1926 года, он чередуясь в таинственной последовательности пассажами и острым напряжени-

ем воли попытался было вызвать к жизни шотландского пирата Джонатана Пирсона. Пирсон, как полагал Конан Дойл, несомненно знал несметное количество легенд, приключений и старых поверий, авторское право в потустороннем мире никем не закреплено, — стало быть, пират мог бы, ничем не рискуя, обогатить творчество маститого сыщиковеда на несколько томов сразу.

Спутался ли порядок пассов или материализующие волны, исходившие из позвоночного хребта англичанина, приняли не то направление и вместо утесов Шотландии достигли, никем не перехваченные, далекой Псковской губернии, — но вместо знакомого по старинным английским лубкам, похожего на дикобраза Пирсона, в восточном окне перед удивленными глазами Конан Дойла закачалась незнакомая фигура. Ясные, зоркие глаза, тугие завитки волос вокруг крутого широкого лба, круглые капитанские бакенбарды, вздернутый ворот старинного сюртука, закрывающий самое горло сложно повязанный фуляр. Профессия?.. Быть может, музыкант: мягкое мерцание глаз и узкие кисти рук позволяли это предполагать, — во всяком случае джентльмен, и отборного калибра. Пираты такие не бывают.

— Кто вы такой, сэр? — спросил озадаченный англичанин.

Незнакомец вежливо назвал себя, но странный шипящий звук ничего не сказал Конан Дойлу.

— Скажите, это Лондон? — в свою очередь спросил незнакомец, твердо и отчетливо выговаривая английские слова.

— Да, сэр. Лучший город в мире.

Человек в фуляровом галстуке отмахнул платком клубящийся вокруг головы туман и сдержанно улыбнулся.

— Быть может. Простите, я еще не успел осмотреться... Скажите, какой теперь год?

— 1926-й, — ответил Конан Дойл и гостеприимно распахнул окно. Он знал, что материализованные духи неохотно проходят сквозь стекла. Незнакомец явно располагал к себе, но нельзя же по душам разговориться с человеком по ту сторону окна под аккомпанемент сиплого ветра и под плеск лондонского дождя.

За окнами никого не было... На противоположной стене лопотал отклеившийся угол афиши: «Настоящие леди и джентльмены носят резиновые каблуки фирмы Крум». Стоило ради этой давно намозолившей глаза хвастливой фразы высовывать наружу нос, подвергая себя простуде?.. Англичанин досадливо крякнул, сел на кресло и стал припоминать: где, в какой книге видел он изображение, напоминающее его сегодняшнего гостя? И вообще нелепо так исчезать, обрывая беседу на полуслове... Странные у этих духов понятия о вежливости!

* * *

А через пять дней после описанной встречи русская эмигрантская колония в Париже была взволнована необычайным слухом: в Париже появился Пушкин, подлинный Александр Сергеевич Пушкин.

кин, поселился в отеле Гюго на улице Вождар, по целым часам роется у букинистов на набережной Вольтер и упорно нигде в русских кружках не показывается. Необыкновенный слух подтвердился, знаменитый пушкинист Х., — настолько знаменитый, что перед ним меркло самое имя Пушкина, — клятвенно подтвердил в редакции своей газеты, что с фактом надо считаться: галстук тот же, на мизинце пушкинский перстень, один глаз темнее другого. А ведь последнее обстоятельство было доподлинно известно пушкинисту и даже послужило основанием его карьеры.

Эмигранты, впрочем, через два дня уже довольно спокойно обсуждали это из ряда вон выходящее происшествие. Обсуждали наряду с причинами падения франка, последней исторической фразой Пилсудского («сверкнула молния!») и предполагаемым открытием на Северном полюсе русского клуба. Впрочем, эмигрантская жизнь сплошной поток чудес и потрясающих событий: одним чудом больше — не все ли равно. Но общественных дел лоцманы не дремали. Принимались решения, выбирались делегаты... надвигался день «Русской культуры».

* * *

Солидный приват-доцентского облика человек, проверив в коридорном зеркале позу сдержанного самоуважения, поправил в петлице академические пальмы и четко постучался в занимаемый Пушкиным номер.

Пушкин встал, вытянулся и, изумленный бойким строем гладкой тирады, так и остался на ногах до конца речи, словно принимая рапорт.

— Глубокоуважаемый Александр Сергеевич! На меня выпала высокая честь приветствовать Вас от лица нашего прогрессивно-радикального объединения. Кажется, никто справа меня не предупредил... Вы в эмиграции человек новый, но можно ли сомневаться, что душой и телом, от первых лицейских опытов до последнего аккорда вашей лирическо-радикальной арфы, Вы с нами. Угнетаемый светской чернью, придавленный в своих светлых порывах грубым сапогом царизма и жандармской цензуры, друг декабристов, автор оды «Вольность», «Цыганы», «Дубровского», «Анчара», — Вы, конечно, не могли мыслить государственного устройства в иных формах, чем мыслим его мы. Ознакомившись подробно с политической программой нашего объединения, которую я имею честь Вам вручить, верю сердцем, что Вы завтра же запишетесь в число сочувствующих и не откажетесь от принадлежащего Вам по праву почетного председательствования на устраиваемом нами прогрессивно-радикальном торжестве в день «Русской культуры». Дабы не утруждать Вас, ответ Ваш и приветствие нашему объединению составлены нами заранее. По ознакомлении с этим ответом, вы, разумеется, имеете право на отдельные стилистические поправки, но основные линии изменению не подлежат...

Солидный человек положил на стол программу, проект ответа и, самодовольно покосившись на себя в зеркало, откланялся.

* * *

Второй посетитель нисколько не был похож на первого. Тощее унылое лицо классного наставника, огромная университетская бляха, прикрепленная к лацкану старого вицмундира, плоско и однообразно помахивающая ладонь правой руки, отсчитывающая, словно метроном, каждое слово...

— Милостивый Государь, Александр Сергеевич! Для нашей самой мощной зарубежной организации несомненно ясно, что Вы, являясь строгим представителем классического консерватизма в искусстве, внесли таковой же вклад и в историю русской общест-венности. Вращаясь в высоких сферах, получая на издание своих трудов Августейшие субсидии, будучи Всемилоостивейше удостоены звания камер-юнкера и повергая к Высочайшим стопам на предмет личного утверждения, через посредство графа Бенкендорфа, Ваши трезвоохранительные произведения, Вы тем самым, сами того не сознавая, стали предтечей наших, единственно здравых в метущейся эмиграции идей. Обращаясь к автору «Полтавы» и «Капитанской дочки», мы уверены, что в день «Русской культуры» Вы с нами. Другого выбора нет: либо Пугачев, Лже-Дмитрий и их демократи-ческие приспешники, либо мы, Tertium non datur¹.

Ваше Превосходительство! Редакция нашей самой распростра-ненной и самой литературной газеты, считая своим долгом закреп-пить Вас за нами, поручила мне заключить с Вами контракт на два года с предоставлением Вам места по воскресеньям в отделе «Ма-ленького фельетона». Принимая во внимание Ваше положение вновь прибывшего в Париж эмигранта-литератора, мы широко идем Вам навстречу. Посему благоволите принять аванс в 100 франков с выдачей мне на расписке автографа на получение оных. Честь имею кланяться.

* * *

Третий посетитель, похожий на оторопелого леща, не стучась, вкатился в номер и, уперев кулаки в бока, залихватски доложил:

— Александр Сергеевич! Интеллигенция погубила Россию.

Н-да-с!

Всякие шаровозы, вроде Герценов, Пироговых и прочих ми-люковских молодчиков, подтачивали функции нашего историче-ского фундамента, пока он не рухнул.

Что-с?!

А вот что-с: не совать зря свой нос в разные политические платформы. Консерватизмы, футуризмы, демократизмы... Что гол-ландцу здорово, то русскому смерть! Любите, как я, нашу Матушку

¹ Третьего не дано (лат.).

Родину, держите высоко свой стяг, как держу его я, — остальное приложится. Вот-с.

Александр Семенович!

Мы с детства, облитые лучами вашего беспартийного, истинно-русского творчества, почитываем ваши ямбы и прочие амфибрахий. «В армяке с открытым воротом» — завет Ваш мы храним свято. Будьте покойны-с! Именно любовь к народу, попросту, без платформ, без всяких интеллигентских фиглей-миглей. А когда народу вожжа под хвост попала, нечего с ним дурака валять!.. Я это говорил еще на предпарламентском совещании. Но шмаровозы меня не послушали. Результаты налицо.

Н-да-с...

Александр Спиридонович!

Наш беспартийный орган желает Вас в складчину чествовать в «Аскольдовой могиле». Цена с персоны 40 франков. С Вас, как с великого писателя земли русской, — половина. Программа выдающаяся: при участии знаменитых цыганских, боярских и композиторских сил, с инсценировкой при бенгальском освещении вашего захватывающего сонета «Лесной царь».

Русское спасибо и земной поклон, Александр Созонтович! Запомните дату: 7-го июня, ровно в 9 часов вечера, адрес в объявлениях. Н-да-с.

* * *

Пушкин прислушался: меднолобый тыкволицый человечек пропыхтел в коридор и исчез.

— Однако, какую Ноздрев в Париже карьеру сделал! — усмехнувшись, подумал поэт.

Прошелся по комнате, зевая, посмотрел на грязный потолок и вдруг вспомнил старую псковскую поговорку:

— Корова ревет, медведь ревет, а кто кого дерет, сам черт не разберет...

Позвонил слугу.

— Все?

— Там еще, monsieur! От крайних правых дожидаются и от пражских эсеров...

Поэт покачался на каблуках.

— Масоны, верно, какие-нибудь... Скажите, что я уехал, — строго сказал он слуге. — Что это у вас?

— Почта.

Француз, удивленно поглядывая на старинный покрой платья постояльца, положил письма на стол и удалился.

Пушкин взял плотную пачку конвертов. Вялым движением вскрыл один, другой...

«Одесское землячество в Париже, подтверждая гениальному собрату свое почтение и держа его, на основании биографии, также в некотором роде за одессита, просит его выступить на суаре зем-

лячества 12 июня в пользу открываемых его имени курсов по разведению синих баклажанов и уходу за дамской гигиеной лица».

«Директор Акционерного Общества «Руссофильм» просит назначить час для переговоров о переделке «Капитанской дочки» в комический сценарий. Предложение исключительно деловое. Просил бы до встречи составить подробный конспект, не особенно напирая на обстановочность».

Телеграмма:

«Редакция «Благонамеренного» просит обратной почтой прислать статью о Пастернаке. Привет старому учителю от молодых титанов. Руководитель Огурцов».

«Милостивый Государь, господин Пушкин.

Обращаюсь к Вам столь официально, за неимением под рукой, как вас по батюшке.

Я известный бессарабский издатель Кандалупа. В Румынии особенно благоприятен для вас рынок, потому что русские книги пропускаются сюда с баснословным трудом, а некоторые ваши сюжеты, изданные на месте, могли бы иметь успех.

Находясь проездом в Монте-Карло, приехал бы, не щадя билетных расходов туда и сюда, если бы получил Ваш принципиальный ответ: нет ли у вас интимных стишков, вроде Кишиневских, страниц на сто с портретом и факсимиле? Условия: обычно никому не платим, но так как у вас имя, могу дать 5% с обложечной цены; первая уплата 1 апреля 1932 года.

(Число почтового штемпеля)

Известный вам Кандалупа».

.....
Пушкин поморщился, смахнул в туалетное ведро остальные письма и подошел к окну. Слава Богу, стемнело. Ах, какой нелепый день!

Он вынул из кармана случайно завалившийся там луидор, положил его на видном месте — на край ночного столика, нажал кнопку звонка, быстро распахнул окно... и...

Отельный слуга был очень удивлен: в номере никого, в ведре грязная куча набухших конвертов, никаких следов багажа, на столике тускло блестит старинная золотая монета... Что за дьявол?..

1926

Париж

ЛУННАЯ СОНАТА

(СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ)

На сквозистых буковых ветках дробился и таял лунный дым. Сквозь бледно-фиолетовую зелень вдали переливалось огнями светлое брюхо казино. Негритянский гоп-танец, взвизгиваясь и кувыр-

кася, долетал до опушки и, оглушая испуганных соловьев, вихрем проносился по лунной полянке.

На пне, прислонясь друг к другу плечом, сидели он и она. Безмятежно и нежно стучали ее крошечные часы, четко и мужественно — его большие.

Он, тихо перебирая ее милые пальцы, ласково спросил:

— Разменяла?

— Нет.

— И не советую. Франк временно окреп, но... ты понимаешь? Если надо, заложи пока браслет и кулон. Франк упадет, ты разменяешь несколько фунтов, выкупишь вещи по номинальной цене и заработаешь на разнице.

Она вздохнула.

Он помолчал, прижал губами теплую ладонь и шепнул:

— Дивидендный рынок оживляется. С медными — крепко. Думаю купить Рио-Тинто. Как ты думаешь?

— Я думаю, что нефтяные Рояль-Детш вернее...

Лунный луч заиграл в ее мерно вздымающейся брошке и стыдливо скользнул в кусты.

Соловей над их головами удивленно пожал плечами:

— Кажется, влюбленные... Но такого странного объяснения я никогда в жизни не слышал!

<1926>

СОЛОВЕЙ

(СОВРЕМЕННАЯ НОВЕЛЛА)

Приехала в Париж из Москвы дама. Дама как дама: котиковое пальто на парчовой подкладке, короткое платьице, чулки цвета грудного младенца. В такси села с опаской — не советский ли соглядатай на шоферской подушке сидит? — и покатила в Монпарнас к старым знакомым, с которыми еще до войны в Москве в дружбе была.

Номер дома назвала на двенадцать номеров ниже настоящего, чтобы шоферу глаза отвести. Вышла, подождала пока такси из глаз скрылось, и нырнула, озираясь во все стороны, в серый подъезд.

Приняли гостью вежливо. Карьеры никакой особой дама там не сделала, муж какой-то красно-товарной статистикой в Москве занимался, сквозной ветер по графам разносил, ну и пусть. Есть-пить захочешь, так и казенных тараканов доить станешь...

Народу за круглым столом собралось немало: сами хозяева да знакомых эмигрантов разного обличья человек шесть — сошлись воскресный вечер в тишине и мирной беседе скоротать.

Даму не трогали. О большевиках ни слова. И надоели они, как бессменная дохлая собака под столом, и приезжую гостью не хоте-

лось в ложное положение ставить. Ей ведь возвращаться, стало быть, красный замок на губах не очень-то разомкнешь.

Но на безобидно «аполитичном» вопросе все сорвалось. Добродушный сосед придвинул даме варенье и спросил:

— Давно вы в Париже?

— С неделю.

— Нравится?

Дама иронически передернула выхоленными плечиками:

— Что тут может нравиться? Шум-гам, буржуазная толчея... Отели — дрянь. Цены — аховые... В театрах — мещанская пошлость... Полицейские — невежды. Я у него спрашиваю: где почтовый ящик? Он мне на фонарный столб с синим стеклом лапой показывает... В музеях — хлам. Грабежи каждый день. Франк падает. А еще республика называется!

— У вас лучше? — покраснев, спросил дядя хозяйки. Гости притихли. Хозяйка, опустив глаза, упорно мешала ложечкой чай без сахара.

— Сравнили! — гостя высокомерно посмотрела на абжур... — Вы, вероятно, думаете, что у нас в Москве на четвереньках ходят? Представьте себе — и в трамваях ездим, и лихачи стоят на углах... И автобусы из Берлина получили, вашим не чета.

— Я ничего не думаю, я только спрашиваю, — холодно поправил ее старый дядя.

— И спрашивать не о чем... Дай Бог, чтоб у Вас тут жизнь так кипела, как у нас. Порядок, гигиена. Улицы поливают утром и вечером.

— Это зимой-то? — спросил бородатый сосед и, вскинув на толстый нос пенсне, приложил ладонь к уху.

— При чем тут зима? — рассердилась дама. — Зимой специальные снегоочистительные тракторы по улицам ездят. В любом кооперативе совершенно свободно можете купить, что хотите: граммофон, горчицу, бюст Лассалья, советский календарь, словом, любой культурный предмет. Цены на 127 процентов дешевле довоенных! Милиция образцовая: если старому гражданину или октябрёнку нужно перейти через улицу, моментально останавливается все движение. Сталин однажды ехал на автомобиле на срочное заседание — Сталин, понимаете! — и то должен был переждать... Нищих только в музеях на старых картинах увидишь... Свобода, если вы, разумеется, не подрываете рабоче-крестьянских основ, полная. У нас, например, за три года ни разу не было обыска. Два года, — испуганно понизив голос, подчеркнула дама. — И вот, видите, я открыто ношу в Москве кольца, читаю Эренбурга, играю в лото, живу полной культурной жизнью — и хоть бы что! А здесь, в ваших эмигрантских газетах, черт знает что пишут...

— Скажите, пожалуйста, — тихо спросила кузина хозяйки, — ну, а как живут рабочие? Дети? Правда ли, что в ваших университетах...

— Неправда, неправда! — не дослушав, окрысилась дама. —

Все рвутся к свету... Прислуга наша читает Анатоля Франса. Во всей республике по последней переписи осталось 2411 неграмотных и те, кажется, эскимосы. В одной только Москве 918 поэтов... И каждый ломовой извозчик, если он не лишен ломоносовских задатков, может в полгода стать профессором статистики... Перед аудиториями хвосты. Наука абсолютно свободна, и после последней чистки никого даже пальцем не тронули. Дети? Будьте покойны: государство делает все, что может, — на каждом углу образцовые ясли, детские театры, балетные студии, кинотеатры, приюты, санатории, консерватории...

Дама перевела дух и поиграла браслетным шариком.

— Обсерватории... — ехидно подсказал у окна молодой человек.

— Да, и обсерватории! Зачем же лишать детей научных развлечений?.. А рабочие?.. Рабочие, что ж, они тоже, конечно, вполне... как и крестьяне... которые... — дама запнулась, в голове мелькнула «кооперативная горчица» и бюст Лассалья, но нельзя на одной горчице и бюсте выезжать.

— Крестьяне и рабочие ежедневно принимают ванны из розового масла? — сочувственно осведомился дядя хозяйки. — Очень приятно. А теперь, сударыня, разрешите вас познакомить с вашим визави: Павел Ильич Топорков, месяц тому назад вырвался из Москвы и больше туда никогда по некоторым обстоятельствам не вернется. Павел Ильич, будьте добры, расскажите нашей гостье то, что вы знаете о тамошних порядках. Прошу вас!

Павел Ильич деловито и холодно рассказал. О беспризорных детях, ютящихся по чердакам и водосточным трубам, о тяжелой и безобразной жизни рабочих, о красной водке и красном разврате, о людях, сосланных в тундру за неосторожное к ним письмо из-за границы, о заплеванной науке, о растоптанном красным копытом свободном искусстве. Многое рассказал, — и дама, кусая губы и нервно теребя золотую сумочку, чувствовала себя так же неудобно, как когда-то в гимназии, когда классная дама ставила ее за ложь в угол.

А потом все тот же зловерный старик-дядя попросил хозяйина, чтобы он показал даме свой альбом.

Альбом этот сплошь пестрел вырезками из советских газет. И вырезки эти, — случайно всплывшие на грязной воде осколки правды, — безжалостно подтвердили все, что рассказал Павел Ильич.

Дама растерялась и торопливо попробовала было объяснить, что она ведь не большевичка, что ошибок у них, конечно, много, что надо же войти в их положение и стать объективно на их точку зрения... Но красно-аракчеевская «точка зрения» никого не интересовала, потому что люди, с которых содрали кожу, неохотно входят в положение тех, кто эту кожу с них сдирал.

Затем даму оставили в покое. Одни мирно болтали, другие играли в бб, и приезжая сирена отчетливо почувствовала себя на необитаемом острове. Она встала, повертелась перед стенным баро-

метром, скользнула в переднюю, разыскала свою котиковую шубку и, как обиженное дитя, нахмутив прекрасно отретушированные бровки, стала торопливо одеваться.

Хозяйка, соблюдая обычные рефлексы вежливости, вышла ее провожать, но как-то так случилось, что церемониал «приходите, пожалуйста», теплых поцелуев и рукопожатий был заменен широко распахнутой на лестницу дверью, опущенными глазами и глухим молчанием.

* * *

Последнее действие этой несложной истории разыгралось в взволнованной голове приезжей дамы, в темной такси, отвозившей ее домой в отнюдь не пролетарский отель у Этуаль.

Надо быть справедливым — больше всего негодовала дама на самое себя: «Идиотка, распелась! Кто за язык тянул? На лояльности заработать захотелось, тьфу, дура отпетая... Да ведь как же не понять, что среди них ни одного советского человека не было, чего же я со своими снегоочистительными тракторами выехала?.. Не бывает ведь таких, прости Господи... И ведь самого главного-то они, эмигрантские эти олухи, и не знают, что мне через месяц-два надо в Париж мужа из Москвы выцарапывать. Хватит! Накушались советских пряников... Визит-то мой теперь до красных ушей, не дай Бог, докатится — учтут, а что я их советскую тухлятину в розовой воде полоскала — не очень-то поверят... Да и дополоскать не сумела — сбежала, как кошка высеченная...»

Остановилась дама снова за 20 номеров до своего отеля. Шоферу-французу дала жирно на чай и независимо сказала: «Какая, товарищ, досада! Была в советском клубе на вечеринке и забыла там свой зонтик...»

И показалось ей, бедной, что шофер на это ей левым глазом подмигнул. Вот ужас!

<1925>

НОВЕЙШИЙ КОМСПРАВОЧНИК

1

Какие наши ближайшие задачи?

Ввиду развала хлебозаготовительной вавилонской башни, прибегнуть к методу красного Колумбова яйца и спешно перегнуть все хлебные излишки в красную водку. Для увековечивания совстроая назвать все звезды, кометы и действующие вулканы именами видных коммунистов (за исключением т.т. примкнувших к оппозиции). Принять деятельное участие в Женевской конференции по разоружению всего мира, причем добиться передачи всего военного инвентаря на хранение в СССР.

Что такое комоппозиция?

Комоппозицией называются некоторые недисциплинированные т.т., вроде Зиновьева-Каменева-Крупской и К°, которые на компарадах позволяют себе выпячиваться из строя и, проходя церемониальным маршем перед очередной декорацией «заветов Ильича», напускают таким образом общее равнение.

Как надлежит поступать с такой комоппозицией?

Точно так же, как поступала бы комоппозиция, если бы она оказалась в большинстве: по шее!

Какое отношение Всесоюзной Компартии к III Интернационалу?

Отношение руки к зажтому в ней факелу. Причем факел перекладывается иногда на минуту под мышку, когда руку приходится протягивать за крупнобуржуазным займом (увы!) или за определенными получками под концессии.

Что такое «диктатура пролетариата»?

Строй, которому «пролетарии всех стран» теоретически завидуют, но практически почему-то продолжают его у себя не вводить.

Какой социальный строй на Марсе?

По последним наблюдениям нашей Красной Обсерватории — сочувствующий СССР (именно последнему, одобренному ВЦИКом уклону).

Что будет делать партия на следующий день после мирового пожара?

Собирать головешки и строить из них хижины, взамен сгоревших дворцов.

Когда произойдет сие прекрасное событие?

Ввиду того, что летосчисление по календарю Зиновьева временно отменено, — сие неизвестно.

Кто такой Карл Маркс?

Кабинетный кустарь-коммунист, предтеча гениально-универсального практика Ильича. По мнению опытных товарищей, если бы Маркс жил в наше время, он занял бы позицию Каутского (социал-предателя, социал-соглашателя и т. п.; полный список эпитетов опубликован в красном энциклопедическом словаре под буквой «К»).

10

Есть ли в партии хоть один человек, который одолел полное собрание сочинений т. Ленина?

К сожалению, нет. Даже партийный корректор этих гениальных книг заболел на семнадцатом томе сонной болезнью и прикомандирован для излечения к нашему китайскому полпредству.

11

Что такое «комсомол»?

«Комсомол» — первая надежда и забота партии — юные красные опричники, эмблема которых вместо метлы и собачьей головы — серп, молот и телефон. Серп для подрезания всех, нарушающих красный уровень молодых ростков, молот для вколачивания их в землю и телефон для доноса в ГПУ на несознательных родителей, любовниц и друг на друга.

12

Можно ли одновременно повернуться лицом к деревне и лицом к рабочим?

Можно. Для этого только надо быть двуликим Янусом. Наша партия постоянно становится даже трехликой, потому что третьим лицом она медленно, но неуклонно поворачивается к мировому капиталу.

13

Где кончается «бедняк» и где начинается «средняк»?

Подробный предельный живой и мертвый инвентарь для того и для другого будет укомплектован на следующем партсъезде по политическо-экономическому курсу дня.

14

Где кончается «средняк» и где начинается «кулак»?

«Кулаком» вообще называется жирный деревенский гражданин, пользующийся наемной рабочей силой в пределах, превышающих естественные потребности комгражданина. Предел потребности и наемной силы будет укомплектован — см. выше.

Можно ли по аналогии назвать кулаком жирного ответственного коммуниста, пользующегося наемной рабочей силой: прислугой, шофером, личной секретаршей и содержанками?

Ни в коем случае. Ответственный партиец, отдающий партии свой коммозг, компечень и комсердце, имеет нелегальное право на некоторые сверхштатные привилегии. При условии если он не залезет сверх нормы (понятие индивидуально-резиновое) в парткассу.

Какая разница между «мелким» и «крупным» буржуем?

Мелкий буржуй продает в СССР последнюю и единственную шубу (если она чудом у него сохранилась). Между тем как крупный буржуй, состоя при Внешторге спецом, продает только чужие шубы, а себе покупает новую.

<1926>

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

1

Если молодое поколение в лице твоего собственного сына или дочери начнет тебя посыпать преждевременно нафталином, — объясни молодым кентаврам спокойно и веско, что то же самое когда-нибудь случится и с ними.

И прибавь, что нет мыслей пожилых и юных, а есть только дельные и ослиные мысли. Причем они попадают в ту или иную голову совершенно независимо от возраста.

После этого разъяснения дай молодому поколению десять франков на кинематограф, сядь к окну и спокойно закури папиросу.

2

Если к тебе пришел, по неизвестной для него самой причине, ближний и сидит, как фурункул, три часа кряду, — нажми под столом специально для таких случаев устроенную кнопку... Раздастся звонок.

Сорвись с места, побегни будто отворять дверь, вернись и скажи: — Какая неприятность... В нашем подвале консьерж нашел припаянную к стене адскую машину — через пять минут она должна взорваться... Да куда же вы, дорогой мой, торопитесь?!

3

Обыкновенно люди ведут себя во сне так же пресно, как и наяву, не изменяя ни своего характера, ни общепринятых правил поведения.

А между тем только во сне и можно пожить в полное удовольствие. Так, например: во сне можно побить своего кредитора; во сне можно, придя в гости, снять со стены понравившуюся вам картину или надеть на голову хозяйки футляр от пишущей машинки.

Проведя таким образом время, вы проснетесь бодрый и жизнерадостный и будете весь день чувствовать себя прекрасно.

4

Когда 99 твоих знакомых зачитали у тебя книги и придет 100-й и со сладкой улыбочкой подойдет вкрадчиво к твоему книжному шкафу, — прежде чем он раскроет рот, скажи ему сердечно:

— А знаете ли, Василий Васильевич, во мне в последнее время открылась удивительная способность читать чужие мысли. Сказать вам, о чем вы сейчас думаете?

— Гм... Пожалуйста.

— Вы думаете: вот разрозненный Пушкин, вот остатки Толстого... На месте хозяина я бы ни одной каналье не дал больше из этого шкафа ни одной книги...

— Совершенно верно, — ответит вам хрипло Василий Васильевич, — и отшатнется от вас и от вашего шкафа.

5

Если про тебя сплетничают и говорят всякие мерзости, — усиль сам дозу. Говорят, скажем, что ты в Праге ограбил свою квартирную хозяйку, — пусти слух, что не одну, а трех.

Когда сплетня увеличит тираж до двенадцати, каждый поймет, что это вздор и что ты кристальная личность.

6

Если жена твоя (или не-жена, подробности эти нас не касаются) в ворчливом настроении, — не возражай ей, это ее взбесит; не отделяйся молчанием, это ее еще больше взбесит; и не поддакивай ей — она примет это за иронию.

<1931>

ТИХИЕ ШУМЫ

(ЗАПИСКИ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА)

Конечно, грохот большого города укорачивает жизнь... Заболевший острой неврастенией воробей улетает в пригородную рощу, а человек — куда же он денется? Короткая цепочка дел, службы и семейной повинности держит крепко — хочешь не хочешь, а ежедневно городскую порцию надо глотать целиком...

Рев автомобилей! Вой пароходных сирен! Лязг трамваев! Скрежет карусельных шарманок! Над вами, под вами, с боков — сиплая чехарда радио и граммофонов, домашних певиц и семейных вечеринок...

И если во времена Буало не было ни автомобилей, ни граммофонов, ни трамваев, то, видите ли, знаменитому сатирику мешали спать... парижские влюбленные кошки и грохот утренних телег... О нежные рулады кошачьих серенад, о усыпительная музыка кованых железом колес по добрым старым булыжникам!

Не знал Буало ни безмолвного крика плакатов, ни пестромигающего ада электрических реклам... Мыло-какао-слабительные пилюли-аперитивы и гениальные клоуны. В метро, на заборах, на стенах, на Эйфелевой башне и на вашей пивной кружке!

Нервный человек горит, как свеча, с двух концов: пылают мозги, горят и подкашиваются ноги... И если бы не благодетельная забота начальства, которое пытается все эти шумы причесать и притушить, и, наложив на них регулирующую сурдинку, довести их до нежного рокота Эоловой арфы, — если бы не эти благодетельные меры, жутко подумать, с какой бы быстротой догорал с обоих концов наш размягченный огарок.

* * *

Но есть и иные шумы. О них не говорят, о них не пишут в газетах, но они опаснее и неотразимее любой городской какофонии, и сам всемогущий префект парижской полиции г. Кьяпп, если бы ему об этом доложить, беспомощно опустил бы свои энергичные руки.

Свеча загорается изнутри — в сердцевине... — распадается надвое и горит-пылает со всех четырех концов...

Вот об этих тихих, незарегистрированных шумах позвольте в припадке отчаянья кое-что рассказать вам, мои дорогие сомученики и сомучители. Кажется, еще от сотворения мира еще никто к этой страшной теме не прикасался.

* * *

Каждое утро приходит к вам разноликий дурак в гости. Тихим жестяным голосом журчит он о Достоевском (юбилейная дата!), о вчерашнем футбольном матче, о фильме, который собрался посмотреть его знакомый, о лекции «Мы и не мы» (предложение изложения по сегодняшней утренней газете), об «Обрыве» Гончарова, который он впервые случайно прочел позавчера ночью... Достоевский уменьшается до размеров вашего гостя, футбольный матч вырастает в мировое событие...

«Бу-бу-бу-бу!»

Лекция «Мы и не мы» обрастает идиотскими ракушками, которые сам черт не разберет.

«Бу-бу-бу-бу!»

Вы вперебой закрываете незаметно то одно, то другое ухо. Не

подаете реплик, не поддакиваете даже... Все равно, зачем ему ваши реплики?

«Бу-бу-бу-бу!!»

Вы, отважный человек, — переживший и великую и гражданскую войну, — беспомощно оседаете в кресле... У вас не хватает решимости деловито и круто надеть на голову гостю глушитель — ватный колпак для чайника. Тихий шум лопающихся пустых слов нудно забирается под кожу, и, когда гость наконец опорожнился до дна и ушел, — свеча ваша убавилась с обоих концов по крайней мере на два сантиметра... О г. Кьяпп, г. Кьяпп, если бы вы знали!

* * *

В дверь стучится жилища:

— Можно?

У нее в комнате натирают пол. Она культурный человек, она когда-то, до Рождества Христова, окончила Психоневрологический институт. Она молча берет «Голос минувшего на чужой стороне» или «Руководство по заочному разведению шелковичных червей» — садится к окну и читает. Читает, конечно, культурно — про себя. И вдруг начинает... хрустеть пальцами. Выламывает палец за пальцем сначала на левой руке, потом на правой. Потом сложным аккордом на обеих сразу... О, этот звук! Лязг груженных рельсами грузовиков кажется щебетаньем ласточек в сравнении с неумолимым хрустом ее пальцев...

С тихим отчаяньем смотрю я на ее интеллигентное вялое личико и напряженно произношу про себя слова заклинания:

— О культурное животное! Перестань... Заклинаю тебя твоим детством, твоей молодостью, твоей первой любовью, твоей золотой медалью, тишиной лунного неба, безмолвием Северного полюса и молчанием неродившихся детей... Перестань, перестань!

Но она толстокожая. Она смотрит на меня вскользь своими влияявшими психоневрологическими глазами и начинает хрустеть еще громче. И я терплю... Потому что, если я, повинувшись всевышнему отвращению, хвачу ее словарем Ларусса в висок, как же я потом докажу присяжным, что она хрустела? И сделают ли они снисхождение по такому, не зарегистрированному никаким законом поводу?

* * *

Потом приходит кроткое дитя, живущее в квартире визави, — дверь против двери. Дитя знает, что вы обожаете детей, и после каждого домашнего жестокого шлепка по мягкой части тела летит к вам отдыхать душой.

Сегодня оно притащило с собой жестяной органчик. Видали ли вы когда-нибудь этот музыкальный инструмент величиной с небольшую жестянку из-под сгущенного молока, с тремя пликающими, паршивыми нотками внутри?

Вы слышите у правого виска:

— Плик, плик-плик!..

Потом у левого. Потом под затылком: это дитя взобралось на спинку вашего стула и забавляется.

И когда оно заметило, что вы человек немзыкальный, что вы содрогаетесь от темени до каблуков, дитя становится беспощадным. Пликает вам в нос, в глаза, в уши и бегаёт вокруг вас, быстро-быстро вертя рукояткой, пока вся комната не наполнится скреже-таньем взбесившихся кузнечиков.

Не поможет вам ни книжка с картинками, ни блюдо с засахаренным вареньем... А шлепнуть маленького гостя вы не смее-те, потому что за этот именно органчик его дома только что и нашле-пали... Но дома ребенок молчал, — а у вас, у человека, обожающего детей, подымет такой рев, что лучше вам его и не трогать.

И вы совершаете подлость.

— Ах, какая интересная музыка! Дай-ка мне поиграть...

Незаметно отламываете вы пальцем стальные палочки и воз-вращаете музыку ребенку.

— Нет, ничего у меня не выходит.

И дитя с ревом возвращается домой, а вы дрожащей рукой расстегиваете свой вспотевший воротничок...

* * *

И вот наступает час обеда. Мирный час, когда люди, собрав-шись за круглым столом, в благодушной неторопливости и христи-анской любви друг к другу принимают пищу.

Столовник наш, милейший, с высшим филологическим образо-ванием человек, Василий Аркадьевич, потирает руки и по-старо-модному завертывает уши салфетки на затылке.

Говорит он на пяти языках, но за обедом все его пять языков, слава Богу, отдыхают. Бережно он отправляет ложку перлового супа в рот... и раздаётся звук плохо смазанного насоса...

Почему на филологическом факультете не учат, как надо есть?! Истории древней философии можно не знать, но есть должен уметь каждый!.. Я сижу перед нетронутой тарелкой и всей кожей до кон-чиков ушей слушаю, как ходят и скрипят его челюсти, как хлюпают и всасывает в его горло клейкий суп, как медленно вращаются его проснувшиеся кишки... Какой рев паровозных сирен сравнится с этой нечеловеческой симфонией?

О г. Кьяпп, г. Кьяпп, если бы вы слышали!

* * *

А ночью в моей комнате расположился на кушетке приехав-ший погостить из Риги дядя. Около часа я просыпаюсь... Сена ли поднялась и ворчит под окном? Или домовая давится в камине бараньей костью?..

Зажигаю огонь. Сажусь на постель, вслушиваюсь. Это мой дядя

храпит... Какое у него, в сущности, отвратительное лицо! А ведь днем он показался мне таким симпатичным. Как покойная тетя могла с человеком, издающим по ночам такие звуки, жить сорок лет? А я ведь только десять минут его слушаю.

— Дядя!

— Хрр... Брр... Мрр... Грр...

Тогда я бросаю башмаком об пол.

— А? Что? Что случилось?

— Ничего. Это от вашего храпа упал в коридоре шкаф с посудой...

Но дядя не понимает моего деликатного намека, яростно скребет живот и опять зарывается в подушки.

Больше выдержать я не могу. Я одеваюсь и иду на улицу. Грохот последних трамваев успокаивает и освежает меня. Какая ласковая, спокойная мелодия! И как бы устроить так, чтобы дядя хоть раз в жизни услышал, как он храпит? Записать в фонограф... Но разве он поверит?

И вот возвращаюсь... Потому что холодно, потому что, черт возьми, не для того я снимаю квартиру, чтобы шляться по ночам по улицам.

Усаживаюсь на кухне у столика. Достаяю из шкафчика гусиное сало и хлеб. Раскрываю наугад номер позапрошлой газеты... Боже мой, какая тишина!

Но, увы. Из крана капает вода. Капля за каплей, с противным шлепаньем, — словно падает мне на темя. Кап-кап... И через десять секунд: кап-кап...

Третий месяц хожу я на поклон к водопроводчику и умоляю подвинтить кран. Ни-за-что.

— Нам, сударь, в такое горячее время принимать такие мелкие заказы не с руки...

Мелкие заказы? Чего же он ждет, этот разъевшийся вампир? Чтоб Ниагара хлынула из крана? Чтоб моя голова треснула пополам?

* * *

О г. Кьяпп, если бы вы знали!..

1931

Париж

НАБЛЮДЕНИЯ ИНТУРИСТА

Советское правительство прилагает все усилия с целью привлечь иностранных туристов, т. н. интуристов.

Смотрел из окон отеля на любимую русскую игру: «хвосты». Один встал у закрытой лавки, за ним другой, за ним третий — пока хвост за угол не загнулся. А потом лавку открыли... Каждый пооди-

ночке входил и выходил с маленькой (в бинокль видно) сухой рыбкой под мышкой.

Скучная игра. Но гид объяснил, что народу она очень нравится, а рыбку они получают в премию для кормления своих любимых животных.

* * *

Неправда, будто они совсем истребили буржуев. Своими глазами видел очень многих: все сытые и гладкие, даже чересчур; держат себя нахально; все с большими портфелями — вроде акушерских сумок (д<олжно> б<ыть>, носят в них на всякий случай свои аннулированные акции); одеты солидно и сообразно с климатом: кто в коже, кто в защитных френчах.

Простой оборванный народ охотно им уступает дорогу. Только иногда вслед ругается и то, впрочем, негромко...

О, до чего мы в Европе ничего толком о Советском Союзе не знаем!

* * *

Насчет религии тоже все ерунда. С автокара сам видел свободный «крестный ход». Дьяконы плясали, как дервиши, и бросали в народ агитационные религиозные картинки, а самый главный их «папа» ехал верхом на метле и, по старинному обычаю, кричал петухом.

И не только никто их не преследовал, но даже милиция охраняла от всегда возможного восторга толпы. Гид позволил мне снять фотографию, и я всем покажу ее в Лондоне.

Врага надо изучать, но клеветать на него — недостойно джентльменов...

* * *

Вчера днем автокар остановился — шофер подобрал у моста румяного беспризорного мальчика и, извинившись перед нами, нарушил маршрут и отвез ребенка во «Дворец случайных красных малюток»... Вся администрация вышла на крыльцо и, прежде чем впустить мальчика в вестибюль, опрыскала его со всех сторон одеколоном.

Хотел бы я знать, когда у нас в Лондоне научатся так обращаться с подобными малютками.

* * *

Сегодня утром, когда я переходил через улицу, чтобы бросить письмо в ящик, мимо моего уха пролетел камень. Гид объяснил, что, д<олжно> б<ыть>, какой-нибудь сознательный пролетарий принял меня за Чемберлена и невольно дал волю своему гражданскому негодованию. Но вообще совграждане очень любят интури-

стов и нередко высказывают на улице пожелания по адресу их родителей в самой восторженной форме.

* * *

Спросил на перекрестке у бедно одетого гражданина с интеллигентным выражением лица, не мог ли бы он за хорошую плату дать мне несколько уроков русского языка... Но гражданин убежал от меня, как от зачумленного...

До чего все-таки в них развито отвращение к Чемберлену!

К пережиткам старого строя они терпимы и лояльны в высшей степени. Проходил мимо памятника Пржевальскому — путешественнику-генералу — и собственными глазами видел: на генеральских плечах до сих пор сохранились погоны.

* * *

Купил на госфарфоровом заводе на память советскую чашку (серия для интуристов): красным серпом бреют золотого барашка, а вокруг на голубой ленточке надпись — «деньги ваши будут наши».

Непонятно, но сделано с большим вкусом.

* * *

Поразительно, как развился простой народ за время советской власти! Не только швейцар в отеле, но все слуги до последнего уборщика говорят на всех европейских языках.

Одного я как-то, возвратясь из уборной в номер, застал врасплох за чтением моей записной книжки. «Простите, сэр! — сказал он мне, покраснев, как девушка. — Я только упражнялся в английском языке...»

— Какой народ, какая страна!

* * *

Гуманность их выше всякой похвалы. Как-то гид, отведя меня в сторону, сказал, понизив голос: «Гражданин, у вас доброе лицо... Может быть, у вас есть какие-нибудь поручения к нашим несчастным обедневшим буржуям от их заграничных друзей? Передайте мне и я сделаю все, что в моих силах. К побежденным врагам мы великодушны...»

К сожалению, никаких поручений у меня не было.

* * *

И когда я спросил его: правда ли, будто ваши граждане не могут так же свободно путешествовать в иноземные страны, как мы, интуристы, ездим к вам? — «О! — ответил гид, — какая черная клевета! Кого нужно, мы командидуем сами. А у прочих нет свободной минуты, — мы все доканчиваем нашу дорогую пятилетку и даже не имеем времени перечесть перед сном несколько страниц из вашего дорогого Шекспира...»

А кому не терпится и кто очень любит передвижения, тех посылаем мы на север. Там очень здоровый климат и нашим туристам так там нравится, что никто уже оттуда не возвращается.

Молча пожал я ему руку и подумал: какой строй! Какой удивительный строй!

Так иногда пять дней непосредственного осязания дают больше, чем тринадцать лет пережевывания непроверенных слухов...

<1931>

ПРИСКОРБНЫЙ СЛУЧАЙ

В припадке острой откровенности доведенный до бешенства человек назвал своего ближнего «скотиной». Основания все были налицо. Ближний (назовем его алгебраически Иксом) был действительно такой скот, что это знали поголовно все, — не только его родственники, но даже посторонние люди, живущие на другом конце города.

И только один Икс об этом своем основном качестве даже и не догадывался. Даром критического самопознания, — таково уж свойство всех скотов на свете, — он не обладал, а из окружающих никто ни разу в жизни не решился ему намекнуть, что он скот и ничего больше.

И вдруг такой случай! Пусть с глазу на глаз, пусть по телефону, но ведь слово было произнесено. Как смыть пятно? Дуэлью или «письмом в редакцию»? Но дуэль небезопасна: предупрежденная полиция может опоздать, мало ли у нее какие дела... А «письмо в редакцию» могут и не напечатать, ибо откровенное выражение, вырвавшееся по адресу Икса, никакого общественного значения не имело. Если же и напечатают, письмо неизбежно вызовет контрписьмо.

Как смыть пятно?.. И тогда Икс вспомнил о старинном патентованном пятновыводчике, который называется «третейским судом». Вспомнил и заработал.

* * *

Обидчик (назовем его алгебраически Игреком) получил от Ивана Ивановича, старого партнера по бриджу, чрезвычайно официальное послание:

— «Милостивый государь — и тому подобное!

Г. Икс оказал мне честь, избрав меня третейским судьей по известному Вам прискорбному делу. Благоволите, со своей стороны, указать лицо — и тому подобное. Уклонение Ваше от третейского суда даст основание — и тому подобное. Примите, милостивый государь, уверение — и тому подобное».

Даже никакого сердечного постскриптума не было: «Суд, мол, судом, а я сегодня черносмородиновую водку из Риги получил. Приходите, дорогой. Жму руку — и тому подобное...»

Разумеется, Игрек должен был бы бросить письмо со всеми уверениями за комод — в архив русской эмиграции. Какой, к черту, третейский суд! Разве сам Иван Иванович, правда, неофициально и, так сказать, «между нами», не называл сто сорок раз Икса скотиной? Но святая глупость, вдохновительница многих далеко не глупых людей, толкнула Игрека под ребро, и он сдуру соблаговолил и полез в мышеловку.

Иван Иванович и Петр Петрович — третейский судья со стороны Игрека — сидели за столом друг против друга торжественно-непроницаемые, словно члены жюри по выбору королевы русской колонии в Нарве. Еще торжественнее был избранный ими арбитр, Семен Семенович, вдумчиво рассматривавший добытую зубочисткою из уха серу.

И вошел Икс. И вошел Игрек. У обиженного Икса было такое величаво-благородное выражение лица, что любой профессор психологии стал бы в тупик: как можно такую благоухающую личность назвать скотиной? А обидчик был удивительно похож на облитого огуречным рассолом цыпленка... В житейских делах всегда почему-то бывает совестно не свинье, а тому, кто на эту свинью сгоряча указал пальцем.

Игрека удалили в другую комнату, и он оттуда, волнуясь и давась слюной, мог горестно в течение двадцати минут прислушиваться к негодующим раскатам голоса Икса. Слов, к счастью, слышать не мог. Да и не старался; потому что это было некорректно.

Потом позвали его и допрашивали отдельно. И он, к ужасу своему, вдруг понял, что никаких твердых объяснений по поводу своего неакадемического выражения он дать не может. Ибо Икс принадлежит к числу тех незарегистрированных скотов, о которых еще в старой русской формуле сказано: «Не пойман — не вор». Визитная карточка у него была чрезвычайно пышная, и даже на банкетах нередко случалось, что распорядители его сажали (хотя и с глубоким отвращением) поближе к центру. Поди-ка, поборись с таким...

Как-то вдруг так вышло, что шел Игрек, грубый неврастеник, по лесу, наступил каблуком на невинный ландыш и выругался. Выход из мышеловки был один: принести хрупкому цветку свои глубочайшие извинения и взять свой комплимент обратно...

До этого, впрочем, не дошло. На перекрестном допросе Игрек сорвался, и все полетело к черту... Обиженный ландыш с такой свободной грацией клеветал, врал и передергивал, словно в лунную ночь на флейте играл. Силы были уж слишком неравны. У одного в арсенале пулемет, капканы и вымазанная грязью оглобля — у другого нервы и дурацкая белоснежная лилия голословной правды.

И бедный Игрек не выдержал. Помощи ниоткуда. Даже его собственный третейский судья, Петр Петрович, либо академически хмыкал в бородку, либо объективно кусал свои грязные ногти. Бед-

ный Игрек не выдержал... Нарушив все правила третейской шахматной игры, вскочил, резко перебил своего партнера и свалил все шахматы на пол:

— Послушайте, я действительно ошибся, назвав вас скотиной... Вы, в сущности, — обер-скотина!

Можете себе представить, какое впечатление произвело на всех это дополненное и улучшенное издание...

* * *

Результаты? Игрек был единогласно обвинен с выражением общественного порицания (без занесения в эмигрантский формуляр): в двойном сугубо-необоснованном оскорблении Икса, в подчеркнутом неуважении к третейскому суду и в халатной распушенности. Последнее обвинение как недостаточно академическое по форме было после долгих споров снято. Затем, приняв во внимание контузию на войне и тяжелую наследственность по женской линии, решили подсудимого из числа членов рязанского землячества, к которому принадлежали все вышепоименованные лица, не исключать.

Последняя неофициальная точка была поставлена на лестнице. И оба третейских судьи, и сам арбитр по очереди, но в одиночку, сочувственно пожали несчастному Игреку руку и каждый повторил одно и то же:

— И надо было вам, батенька, с этой скотиной связываться!

<1931>

НАГЛЯДНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обыкновенная женщина, без всяких уклонов в гениальность, — Вера Павловна Бубнова давно уже не могла разобраться в одном семейном недоразумении: действительно ли ее муж гений?

Конечно, всегда приятнее верить, что близкий человек явление необыкновенное. Она знала и от самого мужа, и от его гениальных коллег, что «непризнание» — похвальный лист, который обычно толпа выдает молодым Колумбам. Толпа вначале всегда дура. А потом проходит лет десять, двенадцать: в мастерской гордого и не уступившего ни пяди художника появляются директора южноамериканских и австралийских музеев — и остается только катиться по новой ширококолейной дороге...

Своих гениев ни в Южной Америке, ни в Австралии почему-то нет. Климат, должно быть, неподходящий. Директора рыщут по Европе... И так как не все они ослы, то поймут же они, черт возьми, что первый открывший Бубнова своих фунтов стерлингов в воду не бросит. Надо только уметь ждать...

Многое, впрочем, смущало Веру Павловну. Гениев, помимо ее мужа, была прорва. Ходили они друг к другу стадами... Рисовали

они все на один салтык: словно бросали на расстоянии буро-грязные кисти в полотна! Дело, конечно, не в том, что она ничего не могла понять — гнилая ли картошка была на полотне, труп ли старухи, разрезанный на куски и обильно политый навозной жижей?.. Желание что-либо понять — было постыдно, она это очень хорошо усвоила.

Со всех сторон мансарды глядели на нее тусклые завитушки, дымящиеся пробочники и термитные кучи со вставленными в них сверху донизу оловянного цвета глазами... Утром проснешься — будто отваром цикория тебе всю душу вымазали. Но Вера Павловна покорно терпела. Ради будущего. Ради австралийских директоров, ради победной колесницы, в которой и она, подруга и рабыня, займет свое место... Даже любимых своих пророков и сивилл Микеланджело убрала со стены. Ибо Владыка изрек:

— В моей квартире прошу такой слащавой дряни не развешивать.

И она покорно сложила гравюры в папку и сунула под диван.

Даже от любимого дяди отказалась. Потому что ее дядя однажды не выдержал — покраснел, посмотрел с отвращением на баранье руно гения и ляпнул:

— Хорошо-с... Предположим, что я лавочник и безглазый моллюск. Но вы ведь, в сущности, топчетесь на одном месте. На всю эту абракадабру я любовался еще двадцать лет тому назад на выставке «Треугольник»... И вот с тех пор — все та же вобла. Хоть бы вы ее омолодили как-нибудь. Старо... Трижды старо!

Знал дядя, какое слово — единственное слово — убивало наповал. И вот пришлось отказаться от дяди. Владыка в тот вечер после его ухода сказал: «Я или дядя — извольте выбирать!»

Она выбрала. С утра до ночи, не подымая глаз, вышивала в углу у окна дамские сорочки. Гениальная орава, шатавшаяся к мужу, съедала пропасть чайной колбасы, выкуривала бездну синих папирос. Термитников с оловянными глазами никто не хотел покупать... Безглазые моллюски до них не доросли, директора музеев до адреса Бубнова не добрались — путешественника по гениям никто еще в Париже не догадался издать.

Вера Павловна терпела. Вышивала, стряпала, стирала — только порой подымала кроткие глаза на бурые, обрамленные за ее счет кляксы и покорно вздыхала:

— О Господи!

* * *

Но вот однажды она расцвела. Гений встал как-то в час дня, почесался спиной о косяк комода и буркнул:

— Садись. Буду тебя писать.

Боже мой! Портретов он никогда еще не писал, — первой будет она. Быть может, ощупью он дойдет наконец до настоящего своего призвания. Быть может, штопоры и термитники были только

томлением духа, мутными черновиками вдохновения, а ее, свою жену, он увидит иными — теплыми, человеческими глазами... Раскроет в ней себя, — и поймут все... И...

Она сидела тихо-тихо, как гимназистка на экзамене космографии. Сдерживала дыхание, не шевелилась. Только невидимые крылья дрожали над ее вязаной кофточкой и глаза сияли так лучезарно, что даже слепой дурак бы понял: «А ведь какое она удивительное существо, эта простенькая Вера Павловна».

Владыка кончил. Она встала, сжала руки и робко спросила:
— Можно?

Художник зевнул и небрежно провел платяной щеткой по лохмоту войлоку, заменявшему ему волоса.

— Смотри. — Сказал так, будто буйволица подошла к картине...

На полотне круглилась грязная тыква, над ней тыква поменьше с двумя идиотскими щелками вместо глаз. Рта не было, — зачем такая мещанская подробность? Вместо рук из большой тыквы торчали два отрезка автомобильной шины. И наискось, должно быть для ясности, красной краской было размашисто наляпано:

«МОЯ ЖЕНА!»

Вера Павловна долго не отрывала глаз от своего портрета. Глаза ее уже не сияли — прищурились, спрятались, ушли...

— Это... я?

— Рразумеется. Твой внутренний портрет! Я так тебя вижу!.. Если тебе нужна фотография, пойди на угол и снимись.

— И ты «это»... выставишь?

— Рразумеется. Дай мне пять франков.

Гений зажал в кулаке сунутую ему боком бумажку, влез в свой, похожий на переваренный коровий мешок, пиджак и ушел прожигать жизнь.

Вера Павловна осталась одна. Со своим портретом. Долго смотрела, стучала пальцами по столу и произнесла сухо и четко только одно слово, чрезвычайно выразительное слово:

— Так...

* * *

К закату художник вернулся. Вера весело напевала у окна. Странно, — никогда раньше не пела. Дамские сорочки валялись на диване, точно они не были заказаны к сроку.

— Вера, есть...

Жена молча указала гению головой на салфетку, закрывавшую блюдо. Странно, — никогда раньше не закрывала. Он сдернул салфетку и выпучил глаза: на блюде лежали обрезки ржавой жести, вокруг гарнир (он наклонился и понюхал) — нарезанный кусочками резиновый каблук.

— Что это за фокусы?

— Это не фокусы. Это твой обед. Внутренний портрет твоего обеда. Так я его вижу...

Художник поморщился, но лицо жены было грозно.

— Ах, так... В таком случае дай мне десять франков.

Жена молча протянула кусочек холста, выкроенный из портрета «моей жены».

— В чем дело, Вера?

— Ни в чем. Это внутренний портрет десяти франков. Ты научил меня видеть вещи. Спасибо.

— И что же дальше?..

— Ничего. Сегодня вечером я иду к дяде. Если ты хоть на что-нибудь годишься, я попрошу его достать для тебя работу. У его знакомых — кукольная мастерская, — плюшевым фоксам надо пятна на боку рисовать...

— А если не пожелаю?

— Тогда и завтра, и послезавтра, и до тех пор пока ты не перестанешь симулировать гениальность, ты будешь получать такой же обед и такие же десять франков. Вурдалаков своих, — она показала на стены, — сегодня же убери вон. Понял?

— Понял. Хорошо... Я подумаю.

По лицу его было, впрочем, видно, что думать он долго не будет.

Начиналась новая жизнь.

<1931>

АМЕРИКАНСКИЕ РЕКОРДЫ

1

Проповедник нью-йоркского содружества «Истина внутри нас» прочел в цирке, стоя на одной ноге, проповедь, длившуюся 19 часов 41 минуту. Остальные содружества посрамлены, так как такого времени до сих пор не показывал никто. Содружество «Неугасимый пламень» тренирует своего проповедника, который будет говорить, стоя на голове, в течение суток.

2

Изабелла, лошадь скаковой конюшни голливудской звезды Рия-Пипа, третьи сутки играет на двух роялях «Вальс Миссисипи».

Лошадь еще совершенно бодря. Исполнение по радио передается во все штаты. Если лошадь выдержит еще сутки, Рия-Пипа потребует повышения своего гонорара на 40 процентов.

3

Союз «Чикагских интеллектуальных шатенов» объявил конкурс на сочинение третьей части «Фауста».

Условия: 1) число слов 21 735; 2) число запятых 2648; 3) число точек 1580; 4) после каждой тысячи сочиненных слов каждый участник конкурса обязан выпить пол-литра воды и 5) до окончания конкурса никто из состязующихся не имеет право выходить из зала.

<1931>

ЭМИГРАНТСКИЕ ПРИМЕТЫ

Играть во сне в бридж с эсером — к зубной боли.

Собака воеет — на квартиру набавят.

Попасть под автомобиль — к исполнению желаний.

Чешется правая пятка — к повестке.

Купить под Парижем участок — к бессоннице.

Купить в Саль Друо кресло — к клопам.

Храпеть ночью в отеле — сосед постучит в стену.

Чихнуть в ванне — к подписке на «Сатирикон».

<1931>

СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ

КОРОЛЕВА-ЗОЛОТЫЕ ПЯТКИ

В старовенгерском королевстве жил король, старик седой, три зуба, да и те шатаются. Жена у него была молодая, собой крымское яблочко, румянец насквозь так себя и оказывает. Пройдет по дворцу, взглянет, — солдаты на страже аж покачиваются.

Король все Богу молился, альбо в бане сидел, барсуковым са-лом крестец ему для полировки крови дежурные девушки терли. Пиров не давал, на охоту не ездил. Королеву раз в сутки в белый лоб поцелует, рукой махнет да и прочь пойдет. Короче сказать, никакого королеве удовольствия не было. Одно только оставалось — сладко попить-поесть. Паек ей шел королевский, полный, что хошь, то и заказывай. Хоть три куска сахару в чай клади, отказу нет.

Надумала королева как-то гурьевской каши перед сном поесть. Русский посол ей в день ангела полный рецепт предоставил — мед да миндаль, да манной каши на сливках, да изюму с цукатцем чайную чашечку верхом. До того вкусно, что повар на королевской кухне, пробовавши, половину приел. И горничная, по коридору несши, не мало хватила. Однако и королеве осталось.

Ест она тихо-мирно в терему своем, в опочивальне, по-венгерски сказать — в салоне. Сверчок за голландкой пощипывает, лунный блин в резное оконце глядит. На стене вышитый плат: прекрасная Гобелена ножки моет, сама на себя любит.

Глядь-поглядь, вырос перед королевой дымный старичок, личность паутиной обросла, вроде полкового капельмейстера. Глазки с бело-голубым мерцанием, ножки щуплые в валенках пестрых, ростом, как левофланговый в шестнадцатой роте, — еле носом до стола дотягивает.

Королева ничего, не испугалась.

— Кто вы такой, старичок? Как-так сквозь стражу продрались и что вам от моего королевского величества надобно?

А старичок только носом, как пес на морозе, потягивает:

— Ну и запах... Знаменито пахнет.

Топнула королева по хрустальному паркету венгерским каблучком.

— Ежели ты на мой королевский вопрос ответа не даешь, изволь тотчас же выйти вон!

И к звонку-сонетке королевскую муаровую ручку протянула.

Тем часом старичок звонок отвел, ножку дерзко отставил и говорит:

— Что ж так сразу и вон? Я существо нужное и выгнать меня никак нельзя. Я, матушка, домовой, могу тебе впалую грудь сделать, либо, скажем, глаз скосить, — родная мать не узнает.

— Ах, ах!

— Вот тебе и ах... Могу и доброе что сделать: королю дней прибавить, альбо тебе волос выбелить, с королем посравнять. Дай, матушка, кашки, за мной не пропадет...

Зло взяло королеву.

— Ты швабра с ручкой! Нашел чем прельщать... Не про тебя каша варена. Ступай на помойку, с опаленной курицы перья обсоси.

Домовой зубом скрипнул, смолчал и сиганул за портьеру, какмышь в подполье, в сонную ночь.

Наглоталась королева кашки, расстегнула аграмантовые пуговицы, чтобы шов не треснул, ежели вздохнет. Хлопнула в белые ладоши. Постельные девушки свое дело знают: через ручки-ножки гардероб ейный постянули, ночной гарнитур сквозь голову вздели. Стеганое соболье одеяльце с боков подоткнули, будто пташку в гнезде объютили. «Спите с Богом, Ваше Королевское Величество! Первый сон — глаза закрывает, второй сон — сердце пеленает...»

Ладно. Стала она изумрудные глазки заводить. Лампадка в углу двоится. Сверчок поцыкивает. В животе кашка урчит-бурчит, поученому сказать, переваривается.

Тем часом дымный старичок из-за портьерки ухо приклонил: легкий королевский храп услышал. Он, рябой кот, только того и дожидался. На приступочку стал, на другую подтянулся, из-за пазухи кавказского серебра пузырек достал.

А тут королева как раз во сне приятную сладость увидала, всем своим женским составом потянулась, розовые пятки-пальчики из-под собольей покрышки обнаружила. Тут старичок и нацелился: вспрыснул пятки из флажечки, дунул сверху, чтобы волшебная смазь ровней растеклась. Тарелку из-под каши облизал наскоро и ходу. Будто и на свете его не было.

Вздохнула королева в обе королевские груди, ручку к сердцу тяжело притулила, и обволокло ее каменным сном аж до самого полудня.

* * *

Солнце в цветной оконнице павлиньим хвостом полыхает. Караул сменяется, стража у дверей прикладами о пол гремит. Стрепенулась королева, правую щечку заспала — маком горит. Вскинула было легкие ножки, ан врешь, будто утюги железные к пяткам привинчены. Пульсы все бьются, суставы в коленках действуют, — однако пятки ни с места. Заело. Села она кое-как, по стенке подтянулась, глянула под одеяльце, так руками и всплеснула: свет от-

тедова веером, червонным золотом прыщет. Красота, скажем, красотой, а шевеления никакого.

Прибежали на крик постельные девушки, стража у дверей на изготовку взяла, — в кого стрелять неизвестно. Старик король поспешает, халатной кистью пол метет, за ним кот любимый, муаровой масти, лапкой подрыгивает.

Вбежал король, сейчас распоряжение сделал:

— Почему такое? Кто, пес собачий, королеву золотом подковал? Чего стража смотрела? Всех распотрошу, разжалую, на скотный двор сошлю свиньям хвосты подмывать. Чичас королеву на резвые ноги поставить.

Туда-сюда, взяли королеву под теплые мышки, поставили на самаркандский ковер, а она, как клейстер разваренный, так книзу и оседает. Нипочем не устоять. Всунули ее девушки под одеяльце, сами в ногах встали, пальцами фартушки теребят.

— Мы, ваше величество, этому делу не причинны. Почему такая перемена — нам неизвестно.

Опять от короля распоряжение:

— Цыц, сороки! Позвать ко мне лекарей-фельдшерей. Да чтобы беглым маршем, не то я их сам так подлечу — лучше не надо.

Не успел приказать, — гул-топот. В две шеренги построились, старший рапортует:

— Честь имеем явиться, ваше величество.

То да се, пробовать стали. Свежепросольные пиявки от золотых пяток отваливаются, лекарский нож золота не берет, припарки не припаривают. Нет никаких средствий. Короче сказать, послал их король, озлясь, туда, куда во время учебной стрельбы фельдфебель роту посылает. Приказал с дворцового довольствия снять: лечить не умеют, пусть перила грызут. Прогнал их с глаз долой, а сам с досады пошел в кабинетную комнату, сам с собой на русском бильярде в пирамидку играть.

Той порой по всему королевству, по всем корчмам, постоянным дворам поползли слухи, разговоры, бабьи наговоры, что, мол, такая история с королевой приключилась — вся кругом начисто золотом обросла, одни пятки мясные наружу торчат. Известно, не бывает поля без ржи, слухов без лжи. Сидел в одной такой корчме проходящий солдат 18-го пехотного Вологодского полка, первой роты барабанщик. Домой на побывку шел, приустал, каблуки посбил, в корчму зашел винцом поразвлечься.

Услыхал такое, думает: солдат в сказках всегда высоких особ вызволяет, большое награждение ему за это идет. А тут не сказка, случай сурьезный. Неужто я на сам деле сдрейфлю, супротив лекарей способа не сыщу?

Поднял его винный хмель винтом, на лавку поставил. Обтер солдат усы, гаркнул:

— Смирно, черти! Равнение на меня... О чем галдеж-то? Ведите меня сей секунд к коменданту: нам золото с любого места свести, что чирей снять. Фамилия Дундуков. Ведите!

Взяли солдата под теплые мышки, поволокли. А у него, чем ближе ко дворцу, тем грузнее сапоги передвигаются, в себя приходиться стал, струсил. Однако идет. Куда ж денешься?

Доставили его по команде до самого короля.

— Ты, солдат Дундуков, похвалялся?

— Был грех, ваше королевское величество!

— Можешь?

— Похвальба на лучиновых ножках. Постараюсь, что Бог даст.

— Смотри. Оправишь королеву, век свой будешь двойную говяжью порцию есть. Не потрафишь — разговор короткий. Ступай.

Солдат глазом не сморгнул, налево — кругом шелкнул. Ать-два. Все равно погибать, так с треском... Вытребовал себе обмундирование первого срока и подпрапорщицкие сапоги на ранту, чтоб к королеве не холуем являться. В бане яичным мыльцем помылся, волос дорожный сбрил. В опочивальню его свели, а уж вечер в окно хмурится.

Спит королева, умильно дышит. Вокруг постельные девушки стоят, руками подпершись, жалостливо на солдата смотрят. Понимают, вишь, что зря человек влип.

Ну, видит солдат — дело не так плохо: вся королева в своем виде, одни пятки золотые... Зря в корчме набрехали. Повеселел. Всех девушек отослал, одну Дуню, самую из себя разлапушку, оставил.

— Что ж, Дуняш, как, по-вашему, такое случилось?

— Бог знает. Может, она переела? Кровь золотом свернулась, в ножки ей бросилась...

— Тэк-с. А что оне вчера кушать изволили?

— Гурьевскую кашку. Вон тарелочка ихняя на столике стоит. Ободок бирюзовый.

Повертел солдат тарелочку — чисто. Будто кот языком облизал. Не королева ж лизала.

— Кот тут прошедшую ночь околачивался?

— Что вы, солдатик! Кот королю заместо грелки, всегда с ним спит.

Посмотрел опять на тарелочку: три волоска седых к ободку прилипли. Вещь не простая...

Задумался и говорит Дуне:

— Принеси-ка с кухни полную миску гурьевской каши. Да рому трехгодовалого штоф нераспечатанный. Покамест все.

— Что ж вы одну сладкую кашку кушать будете? Может, вам, кавалер, и мясного хочется? У нас все есть.

— Вот и выходит, Дуняш, что я ошибся. Думал я, что вы умница, а вы, между прочим, такие вопросы задаете. Может, кашу и не я кушать буду.

Закраснелась она. Слетала на кухню. Принесла кашу да рому. Солдат и говорит:

— А теперь уходите, красавица, я лечить буду.

— Как же я королеву одну-то оставлю. Король осерчает.

— Пусть тогда король сам и лечит. Ступай, Дуня. Уж я свое дело и один справлю.

Вздохнула она, ушла. В дверях обернулась: солдат на нее только глазами зыркнул. Бестия!

Спит королева. Умильно дышит. Ухнул солдат рому в кашу, ложку из-за голенища достал, помешал, на стол поставил. Сам сел в углу перед печкой по-киргизски, да в трубу махорочный дым пускать стал. Нельзя же в таком деле без курева.

Ждет-пождет. Только двенадцать часов на башне отщелкало, топ-топ, выходит из-за портьеры дымный старичок, носом поверху тянет, к миске направление держит.

Солдат за печку, — нет его и шабаш.

Короче сказать, ест старичок, ест, аж давится, деревянную ложку по самый черенок в пасть запихивает, с ромом-то каша еще забористее. Под конец едва ложку до рта доносить стал. Стрескал, стервец, все, да так на кожаном кресле и уснул, головой в миске, бороду седую со стола свесивши...

Глянул солдат из-за печки: клюнуло. Ах ты, в рот тебе тыква!

Подобрался он к старичку, потрусил его за плечико, — пьян, как штопор, ручки-ножки обвисли. Достал солдат из ранца шило да дратву и пришил крепко-накрепко домового к креслу кругом сквозь штаны двойным арестантским швом. Ни в одной швальне лучше не сделают.

Сам шинель у королевской кровати разостлал, рукой дух солдатский разгреб, чтобы королеве не мешало, и спать улегся, как в лагерной палатке.

Просыпается на заре: что за шум такой? Видит, натужился старичок, покраснел рябой кот, возит кресло по хрустальному паркету, отодраться не в силах. А королева понять ничего не может, с постельки головку румяную свесила, то на старичка, то на солдата смотрит, — смех ее разбирает.

— Не извольте, — говорит солдат, — сомневаться. Мы с ним коммерцию в два счета кончим. Эй, — говорит, — господин золотарь, грузовичок свой остановите, разговаривать способнее будет! Вот.

Старичок, конечно, шипит:

— Чем ты меня, пес, с оберточной стороны приклеил?

— Пришил, а не приклеил. Это, друг, покрепче будет. Ну, милый, белый день занимается, некогда с тобой хороводы водить. Умел золотить, умей и раззолачивать. Давай обратное средство, живо, не то так тут на кресле и иссохнешь.

Старик умный был, видит, что перышко ему под ребро воткнули. Достал из-за пазушки пузырек перламутровый, насупился и подает солдату: — Подавись.

Однако и солдат не из последних обалдуев был, — репертичку сделать решил.

— А ну-кась, давай сюда и первый золотильный состав.

Оконце приоткрыл, проходящую кошку из кровельного желоба

выудил, снял сапог, сунул ее в голенище. Золотильным составом капнул ей под хвост, так кругом золотой циферблат и обозначился. Капнул из перламутистой сткляночки, враз все сошло.

— Ишь ты... Чтобы тебе ежа против шерсти родить!

Чуть он, можно сказать, вприсядку не пустился.

Честно-благородно дратву вокруг стариковых штанов подрезал. Вскочил старичок, встряхнулся, как мокрая крыса, и нырнул за портьеру.

Подошел солдат к королевской постели, каблуки вместе, во фронт стал. Королева, конечно, запунцовилась, глазки прикрыла, неудобно ей: хоть он, солдат, заместо лекаря, а все ж мужчина. На пятки ему пальчиком указывает.

Капнул солдат на мизинный палец с исподу, сразу он порозовел, быдто бутон с яблони райской, — теплотой наливается... С полпятки выправил, — сердце стучит, нет мочи.

— Дозвольте, ваше королевское величество, передышку сделать, оправиться. Очень меня в жар бросило с непривычки.

На эти слова повела она ласково бровью. А бровь, словно колос пшеничный, прости Господи...

* * *

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Короче сказать, родилось у королевы в положенный срок дите-королевич. Многие давно примечали, что к тому дело шло. Король спервоначалу руками развел, однако потом ничего — обрадовался.

Пирование было, какого, скажем, и в офицерском собрании не бывает. Пили-ели, аж порасстегнулись некоторые. Костей-пробок полную корзину понакидали. Солдат Дундуков на почетном месте, супротив короля сидел. В холе жил после королеввиной поправки. Ароматами дворцовыми заведывал, должность ему такую придумали. Каждый день двойная говяжья порция ему шла, папироски курил, не соврать, шесть копеек десяток — «Пажеские». Раздуло его на сладких харчах, словно бугай племенной стал. Многие из служанок-девушек интересовались, одна Дуня брови сдвигала, никогда на него и не взглянет.

В полпирование поманил комендант королевский Дундукова пальцем.

Вышли они в прохладительную комнату, комендант по сторонам глянул и громким шепотом говорит:

— Лиса курку скубет, лиса и ответ дает. Дело свое ты, Дундуков, своевременно справил, золотые пятки с королевы, как мозоль, свел. Награждение получил, бессрочный отпуск сполна выслужил. Однако, друг любезный, надо тебе чичас сундучок собирать, в путь-дорогу отправляться. Маршрут на все четыре стороны. Прогонные — коленом ниже спины из секретного фонда получишь. С Богом, друг! Обмундирование свое второго срока не забудь. Дезинфекция сделана.

Побагровел солдат, в холодный жар его бросило, однако спросить насмелился:

— Почему ж такое?

— Потому такое, что у королевича новорожденного пятно мышастое на правом ухе... Понял?

— Пятно я свести могу. Должно, опять домовой...

Сунул ему комендант бессловесно под самые усы светлое походное зеркальце: смотри, мол.

Что ж сытого потчевать? Глянул солдат на свое правое ухо, серьгой замотал.

— Так точно, — говорит, — понял...

Вышел он на королевский двор, сундучок на ремне через плечо перекинул.

— Эх ты... С пухом, с духом, нос на вздержках... Не хвастай, коноплястый — будешь рябенский!

Дуня вверху в окне стоит, мимо смотрит. Постельные девушки рты ладонями прикрывают, перемигиваются. Вздулся волдырь, да и лопнул!

Помаршировал солдат по дороге, в сундучке пуговицы перекатываются. Думает: зря это я сразу две пятки свел. Надо бы хоть с полпятки золотой оставить. Разговор бы другой был. А впротчем, что ж: может, еще кого подлечить придется, — в другом королевстве.

1928

Париж

АНТИГНОЙ

Посылает полковой адъютант к первой роты командиру с весковым записку. Так и так, столик у меня карточный дорожного дерева на именинах водкой залили. Пришлите Ивана Бородулина глянец навести.

Ротный приказание через фельдфебеля дал, адъютанту не откажешь. А Бородулину что ж: с лагеря от занятий почему не освободиться; работа легкая — своя, задушевная, да и адъютант не такой жмот, чтобы даром солдатским потом пользоваться.

Сидит это Бородулин на полу, лаком-сандаракон ножки натирает, упарился весь, разогрелся, гимнастерку с себя на паркет бросил, рукава засучил. Солдат был из себя статный да крепкий, хочь патрет пиши: мускулы на плечах, руках под кожей чугунными желваками перекатываются, лицо тонкое, будто и не простой солдат, а чуть-чуть офицерских дрожжей прибавлено. Однако ж, что зря хаять, — родительница у него была старого закала, природная слободская мещанка, — в постный день мимо колбасной лавки не пройдет, не то, чтобы что...

Перевел Бородулин дух, ладонью пот со лба вытер. Поднял глаза,

барыня в дверях стоит, — молодая, значит, вдова, у которой адъютант по сходной цене фатеру сымал. Из себя аккуратненькая, личико тоже — не отвернешься. Ужли адъютант у корявой жить станет...

— Упрели, солдатик?

Скочил он на резвые ноги, — гимнастерка на полу. Только он ее через голову стал напяливать, второпях в ворот руку вместо головы сунул, ан барыня его и притормозила:

— Нет, нет. Гимнастерку не трожьте!

Обсмотрела его по всем швам, будто экзамен произвела, и за портьеру медовым голосом бросила:

— Чисто Антигной... Энтот мне как есть подходит.

И ушла. Только дух за ней сиреневый так дорожкой и завился. Принамурился солдат. На кой ляд он ей подходит? Экое слово при белом свете лягнула... С жиру оне барыни перила грызут, да не на такого напала.

Справил Бородулин работу, снасть свою в узелок связал, через вестового доложил.

Вышел адъютант самолично. Глаз прищурил: блестит столик, будто его корова мокрым языком облизала.

— Ловко, — говорит, — насандалил, молодец, Бородулин!

— Рад стараться, ваше скородие. Только извольте приказать, чтобы до завтра окон не отпирали, пока лак не окреп. А то майская пыль налетит, столик затомится... Работа деликатная. Разрешите иттить?

Наградил его адъютант, как следует, а сам ухмыляется:

— Нет, братец, постой. Одну работу справил, другая прилипла. Барыне ты оченно понравился, барыня лепить тебя хочет, понял?

— Никак нет. Сумнительно чтой-то...

А сам думает: что ж меня лепить-то? Чай, уж вылеплен...

— Ну, ладно. Не понял, так барыня тебе разъяснение даст.

И с тем фуражку на лоб и в сени проследовал.

Только, стало быть, солдат за гимнастерку — портьерка — взык! — будто ветром ее вбок отнесло. Стоит барыня, пуховую ладонь к косяку прислонила и опять за свое:

— Нет, нет. Взойдите, как есть, в натуральном виде. Вас как зовут-то, солдатик?

— Иван Бородулин. — Ответ дал, а сам, будто медведь на мельничное колесо, вбок устоялся.

Зовет она его, значит, в свой покой на близкую дистанцию. Адъютант приказал, не упрешься.

— Вот, — говорит барыня, — обсмотрите. Все кругом, как есть, моей работы.

Мать честная! Как глянул он, аж в глазах забелело: полна горница голых мужиков, кто без ног, кто без головы... А промеж них бабы алебастровые. Которая лежит, которая стоит... Платья-белья и званья не видать, а лица, между прочим, строгие.

Барыня тут полное пояснение сделала:

— Вот вы, Бородулин, по красному дереву мастер, я из глины леплю. Только и разница. Ваша, например, политура, а моя — скульптура... В городе монументы, скажем, понаставлены, — те же самые идолы, только в окончательном виде...

Видит солдат, что барыня не военная, мягкая, — он ей поперек и режет:

— Как, сударыня, возможно? На монументах ерои в полной парадной форме на конях шашками машут, а энти, без роду-племени, ни к чему. Разве таких голых чертей в город выкаташь?

Она ничего, не обижается. В кружевной платочек зубки поскалила и отвечает:

— Ан вот и ошиблись. В Питере не бывали? То-то и оно. А там в Летнем саду беспорточных энтих сколько угодно. Который бог по морской части, которая богиня бесплодородием заведует. Вы солдат грамотный, следует вам знать.

«Ишь, заливаает! — думает солдат. — Чай, там в столичном саду мамки княжеских ребят нянчат, начальство гуляет, — как же возможно погань такую меж деревьев ставить?»

Достаёт она из рундучка белую мохнатую простыню, край кумачовой лентой обшит, — подаёт солдату.

— Вот вам заместо крымской епанчи. Рубаху нательную прочь сымайте, мне она без надобности.

Ошалел Бородулин, стоит столбом, рука к вороту не подымается.

Ан барыня упрямая, солдатского конфуза не принимает:

— Ну, что ж вы, солдатик? Мне ж только до пояса, — подумашь, одуванчик какой монастырский... Простыньку на правое плечо накиньте, левое у Антигноя завсегда в натуральном виде.

Не успел он опомниться, барыня простыню на плече лошадиной бляхой скрепила, посадила его на высокий табурет, винт подвинтила... Вознесся солдат, будто кот на тумбе, — глазами лупает, кипяток к вискам приливает. Дерево прямое, да яблочко кислое...

Взяла она солдата на прицел из всех углов.

— В самый раз. Вот только стригут вас, солдат, низко, — мышь зубом не схватит. Антигною беспрерменно кудерьки полагаются... Мне для полной фантазии завсегда с первого удара модель во всей форме видеть надо. Ну, этой беде пособить не трудно...

В рундучок снова нырнула, паричок ангельской масти вынула и на Бородулина его так круглым венчиком и скинула. Сверху обручем медным притиснула, — то ли для прочности, то ли для красоты.

Глянула она с трех шагов в кулачок:

— Ох, до чего натурально! Известкой бы вас побелить, да в замороженном виде на постамент поставить — и лепить не надо...

Посмотрел и Бородулин в зеркало, — что наискось в простенке около козлоногого мужика висело... Будто черт его за губу дернул.

Ишь срамота... Мамка не мамка, банщик не банщик, — то есть до того барыня солдата расфасонила, что хочь в балаганах показы-

вай. Слава Тебе, Господи, что окно высоко: окромя кошки никто с улицы не увидит.

А молодая вдова в раж вошла. Глину вокруг станка вертит, туловище в сырмятном виде на скорую руку обшлепала, вместо головы колобок мятый насадила. Вертит, пыхтит, на Бородулина и не взглянет. Спервоначально она, вишь, до тонких тонкостей не доходила, абы глину кое-как обломать.

Потеет солдат. И сплунуть хочется, и покурить охота смертная, а в зеркале плечо да полгруды, как на лотке, гольем торчат, вверху рыжим барашком пакля расплывается, — так бы из-под себя табурет выдернул да себя по морде в зеркале и шваркнул... Нипочем нельзя: барыня хочь и не военная, однако обидится, — через адъютанта так ушибет, что и не отдышишься. Упрела, однако ж, и она. Ручки об фартух вытерла, на Бородулина смотрит, усмехается.

— Сомлели? А вот мы передышку чичас и сделаем. Желатель-но походить — походите, а то и так в вольной позиции посидите.

Чего ж ему ходить в балахоне-то энтот с обручем? Запахнул он плечо, слюнку проглотил и спрашивает:

— А из каких он, Антигной энтот, будет? В богах басурманских числился, либо на какой штатской должности?

— При крымском императоре Андреяне в домашних красавцах состоял.

Покрутил Бородулин головой. Скажет тоже... При императоре либо флигель-адъютанты, либо обер-камердинеры полагаются. На кой ему ляд при себе хахаля такого в локонах содержать.

А барыня к окну подошла, в сад по грудь высунулась, чтобы ветром ее обдуло: тоже работа не легкая, — пуд глины месить — не утку доить.

Слышит солдат — за спиной писк-визг мышинный, портьерка на кольцах трясется. Покосился он взад на оба фланга, чуть с табуретки не сковырнулся: с одного конца барынина горничная, вертеха, в платочек давится, с другого денщик адъютантский циферблат высунул, погоны на нем так и трясутся, а за ним куфарка, — фартуком пасть закрывает... Повернулся к ним Бородулин полным патретом — так враз всех трех и прорвало, будто по трем сковородкам горохом вдарили... Прыснули, да скорее ходу по стенке, чтобы барыня не застигла.

Обернулась барыня от окна, Бородулина спрашивает:

— Вы что же это, солдатик, фырчите?

И ответить нечего... Кто фырчит, а кто обалдуем на табуретке сидит. Обруч набок съехал, глаза, как гвозди: так бы всех идолов в палисаднике вместе с барыней к хрену и высадил. Вздохнул он тяжело, — Бог из глины Адама лепил, поди Адам и не заметил, а тут барыня перед всей куфней на позор выставила...

Эх ты, гладкая! Сколько у ерша костей, столько и барских затей... Знак за отличную стрельбу выбил, по гимнастике, по словесности первый в роте, и вот достиг, — из-за адъютантской пали-

туры в Антигнои влип и не вылезешь... Не барыниным каблучкам присягал, чего ж в простыню-то заворачивает?

Видит барыня, что солдат совсем смяк. Полепила она еще с малое время, передничек сняла и деликатным голосом выражает:

— Ежели вам, например, невмоготу, чего ж зря сопеть-то... Энтот с простого звания людьми часто бывает, — от умственного занятия до того иного с непривычки в полчаса расшатает, будто воду на ем возили... Да и мне лепить трудно, ежели натура на табуретке простоквашей сидит. Для фантазии несподручно. Идите, солдатик, в лагерь. А завтра с утра беспрерывно приходите. Я завтра постановку головы вам сделаю, а что касаемо ног, уж я их вам наизусть с какого-нибудь крымского болвана приспособлю.

И полтинничек новый Бородулину из портманетки презентовала. Барыня была справедливая, тоже она не любила, чтоб около ее даром потели...

* * *

Заявился Бородулин в лагерь, — около передней линейки стоит ихней роты фельдфебель, брюхо чешет, в бороду регочет.

— С легким паром. Отполировался?

— Так точно. Столик в полную форму произвел.

— Ты мне столиком не козырай... Барыня-то до коих пор тебя вылепила? Антигноем заделался. Смотри, в Питер на выставку идола твоего пошлет, заказов не оберешься.

Взводные тут которые, — свои-чужие, — в руку похохатывают, земляки ухмыляются.

Сгорел Бородулин... Вот так пуля! Стало быть, по денщицкому полевому телефону уже дошло... В городе рубят, по посадкам щепки летят.

Тронулся он было дальше, в свое отделение, а сзади так и наддают:

— Ишь ты, доброхот! Такие-то тихие, можно сказать, и достигают.

— В карсет его засупонила. Лепись!

— Ен и сам вылепит... Ай да Бородулин, первую роту не посрамил.

Прибавил солдат ходу, — сколько не брешут, еще и на завтра останется.

Ан тут ротный с батальонным, старичком, по песочку мимо палаток прогуливаются.

Стал Бородулин во фронт. Батальонный на него глазами ротному показывает.

— Антигной?

— Он самый. Ну, что ж, Бородулин, потрафил?

— Не могу знать, ваше скородие.

Тянется солдат, а сам, как вишня, наскрозь горит.

— Ну, ступай отдохни. Замаялся поди. Ишь, орел какой... Можно сказать, выбрала!

А уж какой там орел, — курицей в палатку свою заскочил, куска хлеба не съел, до самой вечерней поверки винтовку свою чистил, слова ни с кем не сказавши.

Утром, только на занятия вышли, Бородулин ни гу-гу, будто вчерашнее во сне привиделось. Однако фельдфебель пальцем его к себе поманил.

— Собирайся, гоголь. Адъютант вестового присылал, чтоб непременно тебе каждое утро у барыни лепиться. Портянки-то свежие надень, — либо носки тебе фильдебросовые из штаба округа прислать. Павлин ты, как я погляжу.

Взмолился тут Бородулин, чуть не плачет:

— Ослобоните, господин фельдфебель... Заставьте за себя Бога молить. За что ж я в голой простыне на весь полк позор принимать должен? Уж я вашей супружнице в городе опосля маневров так кровать отполирую, что и у игуменьи такой не найти.

— Не подсыпайся, братец, не могу. Ты солдат старательный, сам знаю. Да как быть-то? Ротный из-за тебя с полковым адъютантом в раздор не пойдет... Потерпи, Бородулин, экой ты щекотливый. Солдат только на морозе да в бане краснеть должен. Однако ты там смотри, — в адъютантский котел с солдатской ложкой не суйся... Адъютант у нас серьезный. Ступай.

Вот и позавтракал: селезень и тот упирается, когда его резать волокут, а солдат и серьгой тряхнуть не смеет.

* * *

Помаршировал Бородулин к барыне, в каждом голенище слово по пуду песку, — до того идти неохота. Слободю проходил, слышит из белошвейной мастерской звонкий голос его окликает:

— Эй, кавалер! Что ж паричок-то не надели, мы для вас бантик розовый заготовили...

Обернулся он, а в окне четыре мамзели, одна на другой лежит, пальцем на него указывают.

— Антигной Иванович! Зашли бы к нам, что брезгаете? Чай, мы не хуже барыни, — красоту бы свою нам показали...

— Плечики у вас, сказывают, пуховые... Может, голь-кремом смазать прикажете? Что ж так барыне в сыром виде показываться.

Наддал солдат, щепень под каблуками так сахаром заскрипел. А вслед самая озорная, девчонка шелудивая, которая утюжки подает, на всю улицу заливаается:

— Цып-цып-цып!.. Солдатик!.. В случае, глины на вас не хватит, пришлите к нам, у нас на дворе свињи свежей нарыли!..

Ишь, уксус каторжный!.. На всю слободу оскоромила. Взял он наперерез проулком к адъютантской фатере направление, в затылок мальчишки в два пальца свистят, приказчики из москательной лавки на улицу высыпали:

— Эвона! Монумент глиняный на занятия вышел... Что к чему обычно — брюхо к опояске, солдат к барыниной ласке.

— На соборной площади тебя, сказывали, поставят, — смотри не свались!

Развернулся было Бородулин, хотел одного, который более всех наседад, с катушек сбить, ан тот в лабаз заскочил. Сел, пес, в дверях на ящик, мешок через плечо перекинул, ноги раскорячил, — показывает, как солдат на табурете в позиции сидит...

Прямо, можно сказать, убил. Грохот, свист... Сиганул Бородулин через забор, да пустырями, по задворкам, на барынину улицу, как петух из капусты, вынырнул. Зашел с черного хода, будто его на аркане топить волокни. Только мимо кувши проскочить нацелился: горничная за кувшарку, кувшарка за денщика, — трясутся, заливаются, слова сказать не могут. Прошел Бородулин словно босыми ногами по битой посуде... Барыня на скрип вышла, про здоровье спрашивает. Послал бы он ее по прямому проводу, да нижним чинам в барском доме деликатные слова заказаны...

В два счета обрядила его по-вчерашнему, — локонцы эти собачьи промеж ушей натянула, на правом плече бляха, левое окорком вперед.

— Как сомлеете, скажите... Я зря человека мучить не люблю.

Добрая, что и говорить! А сама такую муку придумала, что кабы не служба, кота б она на крыше лепила заместо Бородулина...

Мнет барыня глинку, миловидно дышет. Туловище кое-как обкарнала, на патрет перешла. Чиркуль со стены сняла и для проверки дистанции стала солдату между губой и носом да промеж глаз тыкать... Наизусть, значит, не умела, — а тоже берется...

Злой он сидит, как волк в капкане. Да волку, поди, легче, — лапу отгрыз и поминай, как звали. А тут, отгрызи-ка! На чиркуль глаз скашивает, как бы в ноздрю не заехал, и все ухом к портьерке: не регочут ли там энти гадюки домашние... Хорошо ему, денщику адъютантскому, — курносый да рябой, как наперсток, — в Антигнои-то не попал.

Встрепенулась тут барыня:

— Ах-ах! Совсем из памяти вон. Портниха ж меня там в будуварном покое дожидается!.. Делов столько, что почесаться некогда. Вы уж, солдатик, посидите, ручки-ножки поразомните, а я там мигом по своей женской части управлюсь. Орешков ли пока не желаете погрызть, только на паркет не сорите.

С тем и упорхнула. Сидит Бородулин, преет, табурет под ним покрывает. До орешков ли тут, кажись бы, самого себя с досады перегрыз. Нечего сказать, поднесла ему барыня: и проглотить тошно, и выплюнуть не смей.

А за спиной фырк да фырк... Ляпнуть бы туда туловищем своим глиняным.

Ан тут портьерка в сторону, — старая старушка, которая при барыниной дочке в няньках состояла, на пороге стоит, в коридор зычным голосом командует:

— Кыш, пошли прочь на кувшню! Еще и чужих понавели смот-

реть, — эка невидаль, — с солдата мерку сымают... Вон отседова, не то барыне доложу, она вас живо распатронит.

И в монументную комнату колобком вкатилась. Посмотрела на Бородулина, аж чепчики заскребла:

— Тьфу ты, нечистая сила! Ишь, как живого солдата в крымскую девку обработала...

Солдат, бедный, так голенищами с досады и хлопнул:

— Что ж, бабушка, самому не сладко... По городу не пройти, — так и поливают. Привязала меня твоя барыня через адьютанта, как воробья на нитке, куда ж подашься...

— А ты не гоноши... Какой роты?

— Первой, бабушка... Под арестом ни разу не был, стрелок хоть куда, — из пяти пуль все пять выбиваю... Вот и дождался производства. Барыне б твоей полпуда мышей за пазуху!

Пожевала старушка по-заячьи губами, обсмотрела со строгостью Бородулина, однако ж смягчилась.

— Внучек у меня в Галицком полку служит тоже в первой роте. Вроде тебя. Винтовку за штык на вытянутой руке подымает... Ну, что ж, сынок, надо тебе ослобониться. Барыня у нас ничего, да вот блажь на нее накатывает, все норovit кобылу хвостом вперед за-пречь...

— Да как же, бабушка, ослобониться-то?

— А ты старших не перебивай. И не такие винты развинчивала...

Походила она по комнате, морскому богу в морду с досады плюнула и вдруг — хлоп — на прюнелевых ботинках подкатывает к табуретке, веселым шепотом скворчит:

— Нашла, яхонт... Ей-богу, наша! Куда дерево подрубил, туда, милый, и свалится! Барыню нашу нипочем не сколупнешь, — адьютантом вертит, не то что солдатом на табуретке. Однако есть и на нее удавка: запахов она простых не переносит, — сублинная дамочка. Почитай, с самого детства, чуть что, чичас же из комнаты вон...

— Да где ж я, бабушка, запахи энти-то возьму?

— А ты, Скобелев, вперед не заскакивай... Завтра спозаранку, прежде чем на муку свою идти, редьки скобленой поешь, сколько влезет, да еще полстолько... Понял? Да луковицу старую пополам разрежь и подмышками себе натри до невозможности. Вот как вспотеешь, не то что барыни, мухи на паркет попадают. Чу, идет... Пострадай уж, сынок, сегодня, а завтра помянешь ты меня, старуху, добрым словом.

И с тем на прюнелевых ботинках выкатилась, будто светлый ангел.

Барыня взошла и опять за свою глинку. Воззрилась она раз-другой, сережками потрясла:

— Чудной вы, солдатик. То, как сыч, сидел, а теперь, вишь, веселость какую в лице обнаружил. Посурьезнее нельзя ли. Антигнои, они веселые не бывают.

А как тут сурьезным сидеть, когда все нутро у солдата от стапушкиных слов так и взыграло...

* * *

Далее что и рассказывать?.. Как на другое утро стал солдат на посту своем табуретном редькой отрыгивать, да как потным луком от него, словно из цыганского табора, понесло, — барыня так и взвилась, да еще на евонное счастье дождик шел, — окна не открьшь...

Стала она с ножки на ножку переступать, да кружевным платочком вентиляцию производить, да глину с тоски не в тех местах мять, где полагается...

К грудям ей подкатило, насилу успела выбежать, — можно сказать, аж люстра матом покрылась, до того солдат нянькин рецпт во всей форме произвел.

Ждет он, пождет, нет барыни. То ли ему одеваться, то ли дальше редькой икать... Да и совесть покальвать стала: барыня к ему «солдатик-солдатик», а он со шкурой ее от глины и оторвал. Что ж, сама виновата, — хочь бы, скажем, Ермака с него лепила либо генерала Кутузова, а то такую низменную вещь.

Стал он деликатно каблуками постукивать, чтоб редьку заглушить, ан тут нянька гимнастерку ему несет, глаза, как у лисы, когда она из курятника с полным брюхом ползет.

— Ну, милый, полный расчет. Оболокайся да ступай в лагерь, нам ты боле не надобен... Ух, и начадил ты, однако, — сига закоптить можно...

Курительную монашку зажгла и в угол отвернулась, пока солдат с себя поганую одежду сымал.

Затянул он поясок, обдернулся, полушалок с турецкими бобами из кармана вынул и старушке с поклоном преподносит:

— Примите, бабушка, за совет, за беспокойство. Из волчьей ямы, можно сказать, вытащили...

— Ах, свет мой! Глазастый-то какой, — вот уж угодил старухе... Спасибо, сынок. Кабы с плеч лет пятьдесят скинуть, я бы тебя, ландыш, и не так отблагодарила. Однако, ступай, — до того от тебя простой овощью разит, что и разговор вести невозможно.

Встряхнулся Бородулин, налево — кругом повернулся, подошвой о пол хлопнул, — аж все голые мужики-бабы по стенкам затряслись...

1931

ОСЛИНЫЙ ТОРМОЗ

Притаилась, стало быть, наша головная колонна в Альпах в непроходимом ущелье. Капказ не Капказ, а горы этак с полтора Ивана Великого. Облака, которые потяжелее, по верху цыпаются,

ни взад, ни вперед. Водопадина сбоку шумит. Чего ж ей, дуре, больше делать? Суворов фельдмаршал, само собой, в передовой части. Пока вторая бригада в далекий обход поднебесным путем пошла, чтоб французу в зад трахнуть, надо было переждать. А что ущелье непроходимое, Суворову через правый рукав наплевать. Потому прочие начальники-генералы, а он генералиссимус, никаких препятствий не признавал. Где, говорит, древесный муравей проползет, где орел прочертит, там и мои чудо-богатыри ползком-швырком взойдут, скатятся. Дыхания хватит, а не хватит, у себя же и зайдем...

Сидят это солдатики под скалами, притихли, как жуки в сене. Не чухнут. За прикрытием кое-где костерки развели, заслон велик, не видно, не слышно. Хлебные корочки на штыках поджаривают, чечевицу эту проклятую в котелках варят. Потому австрийские союзнички наш обоз с гречневой крупой переняли, своим бабам гусей кормить послали. Сволота они были, не приведи Бог. А нам своей чечевицы подсунули, — час пыхтит, час кипит, — отшельник, к примеру, небрезгущий и тот есть не станет. Дерьмовый провиант.

Ходит Суворов-князь по рядам, кому кусок леденца из специального кармана ткнет, — «соси за мое здоровье». Кого по лядунке хлопнет, пошутит: — «Знаешь меня, кто я таков?»

— Как же нам своего отца не знать! Вас, Ваше Сиятельство, по всей Рассеи последний черемис и тот знает...

— А может, я вражеский шпиен под Суворова подзаделался... Ась? Что же ты, — спорынья в квашне, сто рублей в мошне, — как зуй на болоте, нос вытянул? Стой, не шатайся, говори не заикайся, ври не завирайся!

— Разве ж шпиен так по-русски чесать может?.. Да по глазам кто ж Ваше Сиятельство сразу не признает...

— Какие такие у меня глаза? Один плачет, другой дремлет, третий за вас всех не спит.

— Такие глаза, будь здоров во веки веков, — отвечает чудо-богатырь, — что прикажи ты мне чичас, батюшка, чтоб я себя самого на шомпол насадил и на костре изжарил, — и глазом не моргну.

Ухмыльнулся Суворов в сухой кулачок, трех свой поперек передвинул.

— Уж ты, сват, лучше не зажаривайся. Авось и живьем пригодишься.

Обошел линию, посты проверил, задумался. Адьютант любимый ему чичас табакерку на ладошке поднес для прояснения мыслей. Чихнул Суворов, эхо ему за горой: «Будьте здоровы-с!» Рассмеялся старик: «Покорнейше благодарим!» И спрашивает адъютанта: «Обоз в порядке?» — «Так точно, за вашим шатром расположившись».

А тут лунный месяц из-за гребешков альпийских выплыл, снежинки перепархивают, будто белые мотыльки в синьке кипят. Одним словом, красота. Ветер на буйных крылах за гору перемахнул,

над хребтом грохочет, в ущелье не достигает. Солдат, значит, не подморозит. Перекрестил Суворов адъютантову голову — «ступай спать, Христос с тобой!» И пошел к себе в киргизский шатер, что всегда за им в обозе возили.

Отвернул вестовой Сундуков кошму, тихим голосом рапортует: — Зайчиху я тутошнюю в силок поймал. Жирная, не укулупись. С каких харчей в горах раздобрела, Господь ее знает.

— Ну что ж, — говорит князь Суворов. — И женись на своей зайчихе. Меня в посаженные отцы позовешь.

— Никак невозможно, Ваше Сиятельство, потому я ее зажарил, аржаной корочкой нашпиговал. Окажите божескую милость, погрызите хоч лапку. Силы вам, батюшка, беречь надо, а вы, можно сказать, одним сквозным воздухом изволите питаться.

Принахмурился Суворов, сальную свечку поднял, морду вестовому осветил.

— Смотри, Васька... Загадки гадки, а отгадки с души прут. Я раз в году сержусь, да крепко. Ты что ж, поведения моего не знаешь? Турок ты, что ли?

— Лайтесь, не лайтесь, Ваше Сиятельство! Хоть жареным зайцем меня по скуле отхлепите, только извольте скушать.

— Эх ты, Васька! Семьдесят в тебе душ, да ни в одной пути нет. Даром, что при мне состоишь... Когда ж я своих солдат по скуле хлестал? Хоть в нитку избожись, не поверю. Порцию я свою солдатскую съел чечевички, брат, сладкая пища. Австрийцы хвалят, — с нее они такие и храбрые... А жаркое сам съешь, я тебе поведеваю.

Взял Сундуков зайца за задние лапки, сало с него так и каплет, прямо сердце зашло. Вышел на мороз и первый раз за всю службу приказания самого Суворова не сполнил: кликнул обозную собачку и шваркнул ей зайца, — «жри, чтоб тебя адским огнем попало!».

Собачка, само собой, грамотная: хряп-хряп, только и разговору. Посмотрел Сундуков, слезы так бисерным горохом и катятся, к штанам примерзают. Махнул рукой и сел на мерзлый камень звезды считать: какие русские, какие французские...

Тут-то, братцы мои, и началось. Сидит Суворов, горные планты рассматривает, — храбрость храбростью, а без ума бобра не убьешь. И вдруг музыка: ослы энти обозные как заголосят — заревут — зарыдают: будто пьяные черти на волынках наяривают... Да все гуще и пуще, — обозные собачки подхватили в голос, с переборами, все выше и выше забирают, словно кишки из них через глотку тянут.

Стукнул Суворов походным подстаканником по походному столу, летит Сундуков, в свечу вытянулся.

— Что там за светопредставление?! Ведьма, что ли, бешеного быка рожает?

— Никак нет... Ослы поют. Погонщик через переводчика сказывает, будто они завсегда в полнолунную ночь в восторг приходят,

кто кого перекричит. Занятие себе такое придумали, Ваше Сиятельство...

— Ишь ты, скажи на милость. А у меня, сват, свое занятие: соснуть на часок надо, тоже и я не двуличный. Дай-ка пакли из тюфячка, уши заткнуть.

Покрутил Сундуков головой... Ах ты, Царица Небесная, ужели русскому генералиссимусу из-за такой последней твари не спать... Ишь как притомился.

Паклю подал, вздохнул и на мелких цыпочках прочь вышел.

Да разве ж против ослиной команды пакля действует? Месяц стал выше, сияние на полную небесную дистанцию, ослы-стервы только в силу вошли, будто басы-геликоны кузнечными мехами раздувают, да с верхним подхватцем...

Тетку твою поперек! Сел Суворов на койку, шуплые ножки свесил, сплюнул. Под пушечный гром спал, под небесный спал, а тут — хочь воском уши залей, не всхрапнешь. Чего делать? Приказать им в мешки морды завязать? За что ж тварь мучить, погонщика обижать... Поколеют, не солдат же в дышла впрягать. И животная полезная, из жил тянется, в гору ли, с горы, — ей наплевать. Соломы дадут — схряпает, не дадут — солдатскую пуговку пососет. Экая оказия!.. Спасибо Создателю, ветер над горой ревет, ослов заглушает. А то бы беда, враг близко...

Вынырнул тихим манером Сундуков из-за кошмы, стоит, иско-са на начальника любимого смотрит. Шагнул ближе, в свечу вытянулся.

— Не извольте, Ваше Сиятельство, беспокоиться, чичас они замолчат.

— А ты что ж, с обоих концов их соломой заткнешь?

— Никак нет. Голос у них такой, никакая солома не удержит.

— Как же так они, сват, замолчат? Они ж только во вкус вошли — ишь как наддают, хочь вприсядку пляши.

— Не извольте беспокоиться. Чичас полную тишину Вашему Сиятельству предоставлю.

Ушел вестовой. И что ж, братцы, как по отделениям в одном конце закупорило, в другом... Чуть последний осел сверчком рипнул — и стоп.

Вынул Суворов паклю, прислушался: ни гу-гу. Ухмыльнулся он, походную думку-подушку поправил, плащом ножки прикрыл и, как малое дите, ручку под голову, — засвистал-захрапел, словно шмель в бутылке. Какой ни герой, а и сам Илья Муромец, надо полагать, сонный отдых имел.

* * *

Утречком, чуть серый день наступил, по горам-скалам до ущелья дотянулся, скочил князь Суворов, сухарик пососал, вестового кликнул. Ледяной воды в рот набрал, в ладони прыснул, ночную муть с личика смыл и спрашивает:

— Что ж, Василий Панкратыч, ослиный капельмейстер... Как же ты их, сват, ночью угомонил? Ась? Шаман ты сибирский, что ли?

— Никак нет. А как при лунном сиянии позицию их мне разглядеть потрафилось, заметил я, что ежели он, стерва-осел, рыдает, в восторг входит, чичас он хвост кверху штыком... Нипочем иначе не может. Такой у него, Ваше Сиятельство, стало быть, механизм... Ну, тут уж штука не хитрая, — по камешку я им к хвостам вроде тормоза подвязал, они и примолкли...

Рассмеялся Суворов звонко, так личико морщинками и залучилось.

— Ах ты, ослиный министр, чертушка, милый ты человек! Расскажу вот австрийцам, утиным головам, пусть от зависти полопаются... Разве ж им, козодоям, за русской смекалкой угнаться? Ась? Утешил ты меня по самое горлышко. Чем же мне тебя, сват, наградить? Проси чего хочешь, понатужься, — ежели только власти моей хватит, честное слово не откажу... Ну!

Вестовой Сундуков ослабил, а сам руку за спину завел.

— Так точно, Ваше Сиятельство! Награждение мое в вашей полной власти, действительно. Вчерась ночью второй заяц в силоч попался, — заяц ничего, форменный. Не спал я, для вас изжарил, старался, авось смилуетесь. Будьте отцом родным, наградите вашего верного слугу, извольте откусать!

И зайца из-за спины вытаскивает.

Насупил было Суворов, — посмотрел на вестового и оттаял.

— Хитрый ты, Васька, до невозможности. У лисы ухо срежешь, да ей же и скормишь... Счастье твое, слово дал, солдатское слово не олово. Давай, сват, походную вилку-ножик. Только, чур, половина мне, половина тебе. А то три дня разговаривать с тобой не буду... Согласен?

— Так точно, согласен.

Насупил было и Сундуков, да что ж поделаешь.

А ослам приказал князь Суворов по гарнцу чечевицы выдать за то, что им ночью ради чужого русского старика лунный восторг перешибли.

<1931>

КАВКАЗСКИЙ ЧЕРТ

Читал у нас, землячки, на маневрах вольноопределяющий сказку про кавказского черта, поручика одного, Тенгинского полка, сочинение. Очень всем пондравилось, фельдфебель Иван Лукич даже задумались. Круглым стишком вся как есть составлена, будто былина, однако ж, сюжет более вольный. Садись, братцы, на сундучки, к окну поближе, а то Федор Калашников больно храпит, рассказывать невозможно...

Пирует грузинский князь Удал, — на триста персон столы понаставлены, бык жареный на медном блюде лежит, в быке — жареные утки, в утках — жареные цыплята. С амбицией князь был... Вином хочь залейся, по всем углам кахетинское в бочках скворчит, обручи еле сдерживают. Кто мимо ни идет, вали к князю, пей, ешь, хочь облопайся. Потому Удал единственную дочку просватал, к вечеру милого жениха ждут, а пока что, не зря ж сидеть, — песни, пляс, пирование. Под простыми гостями туркестанские ковры посланы, под княжеской родней — дагестанские.

Дочка Тамара меж подруг на собольем одеяльце сидит, ножки княжеские под себя поджавши, черные брови, как орлиные крылья, в разлет легли, белое личико, будто фарфоровое пасхальное яичко, скромные ручки на коленках держит, — девушка высокого рода, известно стесняется.

Подходит к ней старший гость, дядя ейный по матери, князь Чагадаев, сивый ус за ухо закрутил, чеканным кавказского серебра поясом поигрывает.

— Что ж, Тамара... Другие-прочие пляшут, а ты будто жарптица привинченная. Уважь дядю, пройдишь, что ли, рыбкой...

Защелкал он мерно в ладони, словно деревянными ложками брякнул. Мужчины, стало быть, подхватили: раз-раз!.. Музыканты брызнули. Взмыла Тамара, Господи Твоя воля!

Летает это она пушинкой, шароварки легкими пузырями вздуло, косы полтинниками звякают, ножка ножке поклон отдает, ручка об ручку лебедем завивается. Слуги, которые гостей обносили, с подносами к земле приросли, а гости осатанели, суставами шевелят, каблуками землю роют... Сплясал бы который, да вино ножки спеленало.

Не выдержал тут дядя ейный, князь Чагадаев, даром что сивый: затянул пояс потуже, башлык за плечо, — бабку твою на шашлык! — пошел кренделять... Занозисто, братцы, разделявал, до того плавно, что хочь самовар горячий ему на папаху поставь, — нипочем не сронит...

Разожгло тут и Тамару. Стеснения своего окончательно лишилась, потому лезгинка танец такой — кровь от него в голову полыхает... По кругу плывет, глазами всех так без разбору и режет: старый ли, молодой, ей наплевать...

Щечки факелом, грудь облаком, носком вострым под себя подгребают, одним глазом приманивает, другим холодит, поясница по полам, косы ковер метут... То исть, бубен ей в душу, пронзительно девушка плясала... В остатний раз свободу свою вихрем заметала.

В тую пору одинокий кавказский черт по-за тучею пролетал, по сторонам поглядывал. Скука его взяла, прямо к сердцу так и подкатывается. Экая, думает, ведьме под хвост, жисть! Грешников энтих,

как собак нерезанных, никто сопротивления не оказывает, хоть на проволоку их сотнями нижи. Опять же, кругом никакого удовольствия: Терек ревет, будто верблюд голодный, гор наворочено до самого неба, а зачем неизвестно... Облака в рот лезут, сырость да сырость, — из одного вылетишь — ныряй в другое...

Сплюнул он с досады, ан тут в синюю дыру вниз глянул, на край тучи облокотился, туча его к самому княжескому замку подвезла. Покрутил черт голову: эх, благодать!

Пир у князя Удала только в полпирование вошел, музыка гремит, факелы блещут, гости с ковшами на карачках по двору разбрелись... А на крыше княжеская дочка Тамара, красота несказанная, лезгинку чешет: месяц любитесь, звезды над тополями вниз подмигивают, ветер не шелохнет.

Обидно черту стало, хочь плачь, — да у чертей слез-то нету. На-кось, поди, у людей веселье, смех, душа к душе льнет, под ручку, дьяволы, пьяные ходят, а он, как шакал ночной, один да один по-над горами рыскать должен.

А как Тамару, пониже спустившись, со второго яруса поближе разглядел, так даже сомлел весь: отродясь таких миловидных не видывал, даром что весь Кавказ с Турцией-Персией наскрозь облетел. В сердце ему вступило, будто углей горячих горсть глотнул, чуть кубарем сверху на княжеский двор не свалился. Сроду его к бабам не тянуло, — ан, тут и заело...

Так вот, стало быть, к кому за Арагвой молодой Синодальный князь скачет, карабахского коня нагайкой ярит...

Ладно, думает. «Ты, брат, скорый, да и я не ползучий»... Не тот, мол, курку ест, кто к столу спешит, а тот, кто ее за крылышко держит.

* * *

Летит Синодальный князь, к луке пригнувшись, на брачный пир поспешает. Алый башлык за спиной ласточкой вьется, борзый конь хвостом версты отсчитывает. За князем верблюды свадебными подарками бренчат, свита коней нахлестывает... Ан, князя Удала замка все не видать, — давно бы, кажись, ему время за Арагвой светлыми окнами, брачными факелами блеснуть. Стало быть, черт через своих подручных бесов все повороты спутал, тропинки вбок отвел, сам карабахскому коню в морду из-за тучи дует, направление сбивает. Чистая беда!

Да еще часовенка древняя в ущелье стояла — отшельник ее один в стародавние времена склал, сам по обещанию камни снизу на спине таскал. Которые путешествующие беспрерывно перед ней шаг земедляли, шапки сымали, молитву читали — против ночного набега, против внезапной пули, против чеченца гололобого. Черт и тут постарался: скрыл часовню туманом, будто чадрой покрыв. Князь без внимания мимо и проехал...

Едут да едут. Стал молодой князь сомневаться. Попридержал

коня, пену с черкески белой перчаткой смахнул, золотые часы вынул, — время позднее.

Дал он тут приказ:

— Стой! Оправься. Слуги мои верные!

Ночь пала, месяц за горы сгинул, карабахский конь задыхается. Не иначе, как нам на бивак до рассвета располагаться придется. Скидавай тюки, закусим по малости, утро вечера мудренее... Ночь холодная, жертвую по чарке на каждого, — боле не могу, потому вокруг небезопасно.

Легла свита вокруг князя кольцом на голом камне. Дозорных выставили. Прилег князь на бурку, глаза обшлагом прикрыл, мурчит, как кот: Тамара перед ним на софе в шароварках потягивается, сонный ветер глаза закрывает. Прижимает это он седло к грудям, тайные слова шепчет, — не четки ж ему во сне перебирать.

Верблюды посапывают. Всхрапнули и дозорные, против дьявола никакой караул не устоит. А тут, братцы мои, с обоих флангов не то чечня, не то осетины, — во тьме и пес не разберет, — пластунами подобралась, кинжалы в зубах, да как ахнут! «Халдыбалды!» Черт им тут на самую малость месяц приоткрыл, чтоб способнее было жениха-князя найти!.. Лязг, свист, — где тыл, где фронт, где свои, где чужие, — ничего не известно, потому сражение кавказское, никакого плана, одна резня.

Проснулся князь, на коня неоседланного пал, звизганул шашкой — хрясь, брясь! — улочку себе скрозь неприятеля прорубил...

— За мной, — кричит, — ребята! Мы им хвост загнем...

А какие там ребята, — почитай вся свита без голов лежит, руки-ноги по утесам разбросаны. Так во сне в полном вооружении ни за понюшку и пропали. Который и жив, тому за кустом руки вяжут, к седлу приторачивают...

— Эк, Калашников-то как расхрапелся! Закрой его, Бондаренко, шинелью, а то собьюсь к чертям. Самое главное чичас начинается.

Вынесся князь из сечи, борзый конь ко князю Удалу направление взял, ан и черт не дурак. В ночной мгле перехватил у чеченца с правого фланга винтовку, да князю в затылок с коленца не целясь, с дистанции шагов, братцы, на триста. Как в галку! Ахнул Синодальный князь, к гриве припал, — вот тебе, можно сказать, и женился. Ночь просватала, пуля венчала, частые звезды венец держали...

* * *

Влетает, стало быть, карабахский конь, верный товарищ, к князю Удалу на широкий двор, залиvisto ржет, серебряной подковой о кремь чешет: привез дорогого гостя, примайте! А пир, хочь час и поздний, в полном разгаре. Бросились гости навстречу, князь Удал с крыльца поспешает, широкие рукава закинул... Тамара на крыше белую ручку к вороту прижала, — не след княжеской невесте к жениху первой бежать, не такого она воспитания.

Что ж молодой жених с коня не сходит? Тестю поклона не отдает? Невесту не обнимет? Или порядков не знает?

Соскользнул он на мощенные плиты, кровь из-за бешмета черной рекой бежит, глаза, как у мертвого орла, темная мгла завела... Зашатался князь Удал, гостей словно ночной ветер закружил... Спешит с кровли Тамара, а белая ручка все крепче к вороту прижимается. Не успел дядя ейный, князь Чагадаев, на руку ее деликатно принять, — пала, как свеча, к жениховым ногам.

Повел дядя бровями, подняли ее служанки, понесли в прохладный покой, а у самих слезы так бисером по галунам-лентам бегут... Поди каждому жалко на этакое смертоубийство смотреть-то.

А черт рад, конечно: в самую мишень попал. Из-за туч, гад, снизился, по пустому двору ходит, лапы потирает. Собака на цепу надрывается, а ему хочь бы что. Подкрался к угловой башне, мурло свое к стеклам прижал, — интересуется... Оттедова, изнутри-то, его не видать, конечно.

Лампочка на подоконнике горит, Тамара на тахте пластом лежит, полотенце с уксусом на лбу белеет, а сама с лица полотенца белей. Омморок ее зашиб, значит.

Делать нечего, стала она кое-как в себя приходить. Руки заломила, рыдает в три ручья, — вещь не сладкая, братцы, жениха потерять, — всей жизни расстройство.

А тут в фортку черт голос подает, умильными словами поет-уговаривает:

— Ты, — говорит, — девушка, не плачь напрасно. Помер твой князь, в рай попал, там ему полный покой, об тебе и не вспомнит... Женихов в Грузии не оберешься, а ты по здешней стороне первая красавица, да еще с во каким приданым, — есть об чем тужить... Все помер, а пока что жить надоть. В небе звезды ходят, хороводы водят, ни скуки, ни досады не знают, ты бы с них, девушка, пример брала. А я тебя, между прочим, каждую ночь до первых петухов утешать буду, пока утренняя пташка не стрепенется, — потому днем не сподручно...

Вскочила княжна на резвые ноги, туда-сюда глянула. Кот под лавкой урчит — ходит, о подол трется, над головой князь Удал в расстройстве чувств шагает, а боле никого и не слышать. Выскочила она на крыльцо, — Терек под горой поигрывает, собачка на цепу хвостом машет, княжне голос подает: «Не сплю, мол, не тревожься»... Кто ж в фортку, однако, пел?

Караульный тут, который в доску для безопасности бил, подходит. Княжна к нему: «Не проходил ли кто незнакомый через двор, по какому случаю в поздний час пение?»

— Никак нет, — отвечает караульный. — Седьмой раз дом обхожу. В доме такое несчастье, как можно... Уж я б его, певца, чичас князю Удалу представил, он бы ему прописал!

С тем и ушла. Головку к шелковой думке приклонила, — к подушечке махонькой, — вздохнула, об судьбе своей горькой призадумалась, однако ж, слеза не идет, — черт свое дело сделал.

В лампочке керосин вышел, дрема ее стала клонить. Заснула она тихо-благородно, косы-змеи под себя подостлавши, ан тут черт ей в сонном видении и является.

И не то что в своем обнаковенном подлом виде, а во всей, можно сказать, неземной красоте. Кудри выются, глаз пронзительный, ус вертит, в бессловесной любви ей признается... Девушке много ль надо: испужалась она было спервоначалу, а потом огонь у нее по жилам пробежал, потянулась она к нему, как дите...

Да, видишь, черт времени не рассчитал: петух тут первый закурекал, — сгинул бес, как дым над болотом. Так на первый раз ничего и не вышло.

Терек шумит, время бежит, никакого княжне облегчения нету. Подруги ее уговаривают: «Пойдем, Тамара, хочь к речке, смуглые ножки помыть». Она упирается: «Нет мне покоя, — днем об жёнихе тоскую, по ночам тайный голос меня душит. Никуда не пойду».

Испужались подружки, пошли к князю Удалу. Так, мол, и так, неладное с Тамарой творится, надо меры предпринять. Князь чичас к ней, дочка единственная, нельзя без внимания оставлять.

— Что ж, — говорит, — дите... Я мужчина, человек старый, слов настоящих не знаю. Кабы твоя мать покойная была жива, она бы тебя в минуту разговорила. Однако не тужи, достаток у нас, слава Тебе Господи, не малый, девичьи слезы вода. Надо себя в порядке содержать, а не то, чтобы по ночам неизвестные голоса слушать.

У Тамары, однако, характер твердый, грузинский.

— Я, папаша, резоны ваши понимаю. Совсем я от хозяйства отбилась, вас, старика, без попечения оставляю. Не могу с собой совладать... Пойду в монастырь, а то как бы чего не вышло. Девушка я, сам знаешь, горячая... Лучше вы меня и не отговаривайте.

Три дня хмурился князь, весь ковер протоптал шагавши, — сына б приструнил, на милую дочку рука не подымается. Пускай, думает, идет. В монастыре хочь честь свою княжескую по крайности соблюдет, Бога за меня помолит... Поперек судьбы сам царь не пойдет.

Снарядил он ее богато, дары в монастырь на десяти верблюдах вперед послал. Дочку в горную обитель сам под конвоем предоставил, чтоб головорезы-чеченцы, не приведи Бог, в горы ее в плен не угнали. Народ аховый, наживы своей не упустят.

Живет это она в келейке своей месяц-другой тихо, скромно, лучше и быть нельзя. На рассвете утренняя заря, — по-грузински Аврора, — в окошко влывает, белую стенку над изголовьем румянит. Чинар сбоку шумит, светские мысли отгоняет; пташки повадились крошки клевать. Горы вдали, будто мелким сахаром посыпаны, снеговая прохлада от них идет, — в жару самое от них удовольствие. Знай одно: службы не пропускай, об остальном не твоя забота. Чистота, пища легкая, ясные мысли облаками плывут, пей

себе чай с просфоркой, будто ангел бестелесный, смотри на горы, ручки сложимши, — боле и ничего.

Однако от черта и монастырь не крепость. Прознал он, само собой, что княжну Тамару в подоблачный монастырь укрыли, ан доступу ему туда нету, — сторож, отставной солдат, по ночам с молитвой ограду обходит. Княжна воску белей все молится да поклоны кладет, — в церкви ли, в келье ли своей глаз не подымает, об земном и не вспомнит.

Изловчился черт, стал ей с вечерним прохладным ветром шепоты свои да поклоны посылать...

— Очнись, княжна... От себя никуда не уйдешь. Ты месяца краше, миндаль-цвет перед тобой, будто полынь-трава, — ужель красота в подземелье вянуть должна? Который месяц по тебе сохну, и все без последствий. Все свои дела через тебя забросил, должна ты меня на путь окончательно наставить, а то так закручу, что чертям тошно станет. Себя, девушка, спасаешь, а другого губишь, — это что ж такое выходит?

Стревожилась тут Тамара окончательно. На то ль она в подоблачный монастырь шла, чтоб невесть от кого такие слова слушать... Однако же, и ее зацепило. Ева, братцы, тоже, может, по такому случаю погибель свою приняла.

Зажгла она восковую свечу, поклоны стала класть, душой воспарила, а ухом все прислушивается, не будет ли еще чего. А ветер сквозь решетку в темные глаза дышит, гордую грудь целует, — никуда ты от него не укроешься. Куст-барбарис за окном ласково об стенку скребется, звезды любовную подказку насылают, фонтан монастырский звенит-уговаривает, ночной соловей сладкое кружево вьет... Со всех сторон ее черт оплел, — хочь молись, хочь не молись.

* * *

Видит черт, что полдела сделано, а далее окончательно затормозило. Не юнкер он какой, в самом деле, чтоб по ветру с девушкой перешептываться, да во сне ей являться, об любви своей докладывать. Тоже и он гордость свою имел.

Пустился он, песья голова, на хитрости. Штоф кизлярки украл, да отставному солдату, сторожу, который обитель в ночное время с молитвой обходил, — и подсунул. А ночь, милые мои, прохладная была, кавказские ночи известные. Отставному солдату, хочь он и при монастыре состоит, тоже выпить хочется, — не святой. Хлебнул он с устатку, намаялся которую ночь-то ходивши, хлебнул в другой, согрелся, — в кизлярке этой, градусов, поди, с пятьдесят было, — к стенке притулился, да и захрапел, как жук в соломе. Слабосильный старичок был, да и от вина отвыкши.

Черту только того и надо. Без обходной молитвы ему чего ж бояться. В трубу втиснулся, к княжне в келью проник, об паркетный пол вдарился и таким красавцем-ухарем объявился, что против него и покойный Синодальный князь ничего не стоил.

Княжна Тамара так ручками и всплеснула — удивляется:

— Кто вы такой есть и почему в неполаженное время в келью мою тайно проникли? У нас этого не полагается.

Тут ей нечистый все, как и есть, выложил.

— Я, — говорит, — тебе в сонном видении неоднократно являлся... Я тебе по ночному ветру чувства свои объяснял. Ты, девушка, однако, не сомневайся. Я не из простых чертей, а вроде как разжалованный херувим. Потому за гордость свою и поступки наказание понес. Однако, как я теперь в тебя без памяти влюбившись, — все поведение свое перемену, добрей тихого младенца стану, только бы на красоту твою непрерывно любоваться. Тоже и мне пожить по-человечески хочется, — со скуки одинокой давно бы удавился, да черти смерти не подвержены... Сжался, княжна, я тебя во как возвеличу, по всему Кавказу слава трубой пройдет.

Принахмурила Тамара гордые брови, сердце у нее мотыльком бьется, ан доверия полного нету.

— Сгинь, — говорит, — сатана, прахом рассыпья! Почему я тебе доверять должна, ежели вся ваша порода на лжи стоит, ложью сповита? С измальства я приучена чертей гнушаться, один от вас грех и погибельная отравка. Чем ты, пес, других лучше?.. Скройся с моих прекрасных глаз, не то в набат ударю, весь монастырь всполошу.

Побагровел черт, очень ему обидно стало, — за всю жизнь в первый раз на хорошую линию стал, а ему никакого доверия. Однако голос свой до тихой покорности умаслил и полную княжне присягу по всей форме принес:

— Клянусь своим страстным позором и твоим чернооком взором, клянусь Арарат-горой и твоей роскошной чадрой, что от всей своей дикой подлости дочиста отрекаюсь, буду жить честно, в эфирах с тобой купаться будем и все твои капризы исполнять обещаю даже до невозможности...

Ахнула тут Тамара, видит, дело всерьез пошло, — самого главного кавказского черта, шутка ли сказать, приручила.

Разожгло ее наскрозь, — в восемнадцать, братцы мои, лет печаль-горе, как майский дождь, недолго держится. Раскрыла она свои белые плечики, смуглые губки бесу подставляет, — и в тую же минуту, — хлоп! С ног долой, брякнулась на ковер, аж келья задрожала. Разрыв сердца по всей форме, — будто огненное жало скрозь грудь прошло.

Закружился бес, копытом в печь вдарил, пол-угла отшиб. Вот тебе и попиравал!.. Однако ж, дела не поправишь. Душу из княжны скорым манером вынул да к окну, — решетку железную, будто платок носовой, в клочки разорвал. Да не тут-то было. Навстречу ему с надворной стороны княжны Тамары Ангел-Хранитель тут как тут. Так соколом и налетел:

— По какому такому праву ты, окаянный, сюда попал, почему душу ейную тащишь?

— По такому праву, что княжна со мной по своей воле обру-

чилаась. А ты где раньше был? Крепость сдалась, что ж ты не в свое дело суешься?

— Нипочем, — отвечает Ангел-Хранитель, — не сдалась. Она, Тамара, как птенчик глупый, за поступки свои не отвечает. Я за нее ответ держу!.. А с тобой разговор короткий...

Да как хватит его справа налево огненным мечом наотмашь, так во всю щеку шрам ему и сделал... Локтем отпихнул черта и воспарил с Тамариной светлой душой в кавказскую поднебесную высь.

Очнулся черт. Щека горит, смола в печенке клокочет... Двинул в сердцах отставного солдата, что под руку подвернулся, вдоль спины, так что с той поры на карачках солдат до конца жизни и ходил.

Взмыл к тучам и прочь с Кавказа навсегда отлетел, только молоньи хвостом за ним, будто фейерверк, сиганули...

В Персию, говорят, переселился, потому там народ более легкий, да и девушки не хуже грузинских. Может, и взаправду остепенился, какую хорошую за себя взял, ремесло свое подлое оставил и в люди в свое удовольствие вышел. Кто их там, чертей, разберет, братцы...

1931

С КОЛОКОЛЬЧИКОМ

Папашу моего в нашем округе каждый козел знает: лабаз у него на выгоне, супротив больницы, первеющий на селе. Крыша с накатцем, гремучего железа. В бочке кот сибирский на пшене преет, — чистая попадья. Чуть праздник, — в хороводе королевича вертят, — беспременно все у нас рожки да подсолнухи берут.

По делам прилучится куда папаше смотаться, не то, чтобы в телеге об грядку зад бил, мыша пузастого кнутовищем настегивал, — выезжал пофорсистее нашего батальонного. Тараталачка лаковая, передок расписной, — дуга в елочках, серый конек — вдоль спины желобок, хвост двухаршинный, селезенка с пружиной... Сиди да держись, чтобы армяк из-под облучка не ушел... Кати, поерзывай, да вожжи подергивай. Колокольчик под дугой, будто голубь пьяненкокий, так и зайдется. С амбицией папаша ездил, не то чтобы как...

Покатил он как-то в уездный город соль-сахар закупать. Пыль пылит, колесо шипит, колокольчик захлебывается. Только в городок вплыл, ан тут на первом повороте у исправникова дома и заколодило. Ставни настезь, новый исправник, — бобровые подушники, глаза пупками, — до половины в окно высунулся, гремит-кричит:

— Стой! Язви твою душу... Аль ты, мужицкое твое гузно, не слышал, что я простого звания людям форменно воспретил по го-

роду с колокольчиками раскатывать? Подвернуть ему инструмент!.. На первый раз прощаю, на второй — самого в оглобли запрягу...

Выскочил тут стражник, холуйская косточка, колокольчик за язычок к кольцу привертел, — смолкла пташка. Обидно стало родителю, аж коня на задние ноги посадил. Да что тут скажешь: поев крапивки, поскреби в загровке... Маленький начальник страшной сатаны. Повернул он с досады таратайку, ну ее, соль-сахар, к темной матери, — взгрел коня, вынесся за околицу... Скажи на милость! Что ж, папаша мой, Губарев, патенту за лабаз не платит, пар у него свинячий заместо души, зад у него липовый, что ли, чтобы он не смел по городу с легким колокольчиком проехать? Чай, и в Питере закону такого нету, — хочь соборный колокол к дуге подвяжи, ежели капитал тебе позволяет...

Летит папаша по столбовой дороге, коня шпандорит, направление к станции держит. Про село свое и думать забыл, до того его амбиция распирает. Докатил до водокачки, вожжи работнику бросил.

— Вертайся, Сема, домой! Лабаз на три дня замкнешь, пока я в Питер, туда-сюда, смахаю. Удавлюсь, а не поддамся.

* * *

Навернула машина на колеса, сколько ей верст до Питера полагается, — и стоп. Вышел родитель из вагона, бороду рукой обмел, да так, не пивши не евши, к военному министру и попер. Дорогу не по вехам искать: прямо от вокзалу разворот до Главного штабу идет, пьяный не собьется.

Взошел он в прихожую, старший городской, — медали от плеча к плечу так и прыщут, — спрашивает:

— Эй, любезный, чего надоть? С черного хода бы пер, а сюда одни господа достигают. Фамилия твоя как?

— Губарев, братец. К военному министру по личному делу. Доложи-ка, почтенный.

— Гу-ба-рев?! Не сынок ли ваш в пятой роте Галицкого полка изволит служить? Знак за отличную стрельбу имеет?

— Он самый. Стало быть, о нем и в Питере известно?

— Как же-с, помилуйте. Ах ты, Господи...

Бросил тут городской и пост свой, веничком папашу почистил, да галопом за адъютантом, адъютант за флигель-адъютантом. Повели моего родителя под локти, будто сдобного архиерея, к самому министру. Генералы, которые в очереди дожидались, только с досады отворачиваются.

Министр, жидкий старичок в густых эполетах, сам навстречу двери распахивает:

— Губарев?! С легким вас приездом... Как же, как же, слышали. Сынок ваш, можно сказать, по параллельным брускам первый, по словесности первый, запевало знаменитый, знак за отличную стрельбу имеет... В креслице не угодно ли... Да, может, вы с дороги, с устатку, не перекусите ли чего, пока до разговора дойдем?

Отчего же моему папаше и не перекусить. Харч генеральский, да в дороге он с амбицией, не пивши не евши, аппетит-то нагулял.

Затрезвонил тут генерал во все кнопки, — денщику самовар заказал, — поворачивайся! Генеральша с закусками вкатывается.

— Ах, ах! Какого Бог гостя послал! Супруга ваша в добром ли здоровьице? Ножки у нее все затекают, слыхала. Бычок ваш, черненький, поди, совсем в возраст вошел? Сынок-то ваш все отличается... Скоро, поди, в ефрейтора его произведут, — отделенным назначат...

Известно, женщина интересуется.

Дочка генеральская тут, про сынка услышавши, — про меня то есть, — из-за портьерки хрящики высунула, — сухопарая, питерская жилка:

— Ах, мамаша! Не прихватили ли они солдатика этого фотографию? Очинно интересно. Сказывали — чистый шантрет, рост гвардейский, взгляд злодейский... Петрушей зовут...

Ну, генерал тут на них зыкнул, бабий ихний департамент за дверь выставил.

Выпил он с родителем чашек по пяти с кизилевым вареньем, чашки перевернули, генерал и говорит:

— Вали, Губарев! В чем твоя до меня надобность? Кому же и услужить, как не тебе, голубю. По сыну и отцу честь.

Папаша ему доподлинно про исправника, да про колокольчик и доложил. Разбульонился тут генерал, не знает, в какую кнопку и звонить...

— Ах, он воевода дырявый! Да что ж он — о двух головах? Тебе, Губареву, да колокольчики воспрещать?.. Который сына такого произвел, пятой роты Галицкого полка, Петра Губарева?.. По всей империи из всех солдат первый. Обдумай сам, гордый старик, — как исправника порешишь, так и будет. Хоть с места его долой, хоть в женский монастырь на покаяние. Воля твоя.

Папаша, конечно, бороду надвое распустил, солидным голосом выражает:

— Мы, ваше превосходительство, не черкесы какие. Без молитвы и комара не убьем. Пусть он, ерыкала, на своем месте сидит. Только желаю я бумагу от вас получить форменную насчет колокольчика. Чтобы права свои определить. А то он мне завтра, серого звания человеку, и чихать воспретит, как я мимо его дома проезжаю.

— Ладно, не воспретит. Как бы сам не расчихался.

Кликнул генерал старшего писаря, настрочил папаше орленую бумагу: хочь по всей Империи с бубенцами раскатывай, не то что по своему уезду.

Папаша полой усы обтер, крест-накрест с генералом почмокался, да на ухо ему кой-чего и сказал: «приписку, мол, на обороте такую и такую нельзя ли сделать по этому самому делу?»

Усмехнулся военный министр, однако перечить не стал, —

приписал. Выдали тут родителю обратный билет по первому классу, генеральша холодных каклет на дорогу выслала, да мне шелковый платочек.

* * *

Доехал папаша благополучно. Из первого класса на своей станции с узелком вышел, — борода вперед, живот гоголем, — начальник в красной фуражке так глаза и вылупил. Не иначе, как Губарев подряд в Питере взял: на всю аглицкую нацию мятные пряники поставлять. Однако ж, экипажа на мягких рессорах ему не подано...

Зашкандыбал старый хрен в свое село. Пташки поют, телеграфная проволока гудет, а папаше наплевать. Отмахал пять верст, достиг до своей резиденции. Мамаша колобком с крыльца скатывается: — ах да ох! Да куда же ты, орел, запропастился? Да чайку, соколик, не соизволишь ли? Да баньку, голубчик, не истопить ли?

Отстранил он мамашу категорически, — кака тут баня... Одно у него в думке: как бы ему скорей исправника выпарить, — а само успеет.

Приказал работнику в ту же минуту Серого запрягать. Сам в лабаз взошел, выбрал два бубенца — глухаря, которые побасистее, да к дуге их по бокам колокольчика и прикрутил. Для перебойного рокота, для густой политуры...

Покатил в уезд. Работник рядом на облучке кишки подобрал, удивляется: в игумны, что ли, хозяина произвели, — экое дело он затеял. Однако молчит. Потому мой папаша поведения короткого, — чуть на него не потрафишь, такую тебе выволочку задаст, что и фельдфебеля родной матерью назовешь.

Подъезжает он к городку, — бубенцы скворчат, колокольчик подзывает, Серый наш так пухом и стелется. Влетел с перезвоном в улочку, перед исправничьим домом чуть попридержался. Трах, — ставни настезь, — его скородие в архалуке весь фасад на улицу выставил, баки по ветру, глаза пьявками, клюквой весь так и залился.

— Стой! Трах-тах-тарарах... Ты что ж, шило тебе в глаза, гвоздь в душу, нож в печень, — с тройным звоном едешь? Над начальником каланчу строишь? Приказаний не исполняешь? Эй, стражник!

Не успел служивый холуек штанцы подтянуть, из сарая выскочить, ан родитель мой к самой оконнице подкатил, да исправнику в баки орленую бумагу и сунул:

— Не шуми, роца, — дубраву разбудишь... Теперь захочу, хоч Серому весь хвост бубенцами изукрашу. Читай, ваше скородие!

Глянул исправник в бумагу, архалук запахнул, да кота любимого, который с подоконника лапкой его теребил, так о пол и шваркнул. На ком боле злость сорвать...

А папаша, умильный старик, тут пару и поддал:

— Переверни, господин, бумагу-то. Там для тебя самый смак-то и обозначен.

Обернул исправник папашин патент, а там и прописано, — хвост Фоме залупили, да репей прицепили:

«Исправнику имярек, за то, что папашу рядового Губарева, пятой роты Галицкого полка, занапрасно избидел, — форменно воспрещается с колокольцами по своему городу-уезду раскатывать. Езжай, сукин кот, вглухую».

Съел он блин, даже и в маслице не омакнувши. Как у нас, братцы, говорится: приданое на грядке, а увечье на спине...

Засвистал папаша, покатил с громом-звоном соль-сахар закупать. Население из окон смотрит, рты настежь, собачки из подворотен, — уши торчком, — удивляются, городовые-стражники в затылках скребут... А папаше с высокого облучка наплевать. Ишь, как колокольчик наяривает:

«Трень-брень, телепень, на нос валенку надень...»

1932

КАБЫ Я БЫЛ ЦАРЕМ...

Встал бы утречком, умылся, чаю с бубличком напился, кликнул бы нашего фельдфебеля:

— Здорово, Ипатыч. Чай пил?

— Так точно, ваше величество. Какой же русский человек утром чаю не пьет?

— А солдаты пили?

— Никак нет. По раскладке в армейских частях натурального чайного довольствия не полагается.

— Вишь ты, Ипатыч. А они, поди, тоже не венгерцы. Русские, не хуже тебя. Отдай чичас через старшего писаря приказ, чтобы каждому солдату утром-вечером чаю полную миску выдавали, хочь залейся. И сахару по четыре куска.

— И по одному хватит, ваше величество. Солдат и вприкуску попьет. А то вся армия в день пуда четыре схряпает, — расход-то какой!

— Эх ты, барабан пузатый. Тебе с ротного котла не то что внакладку, и на варенье с приплодом твоим хватает. А солдатские куски на весах прикидываешь? Сею ж минуту распорядись, чтоб парадный мой золотой портсигар в империалы перелить, — на чай-сахар солдатам, поди, на год хватит. Я в случае надобности и из серебряного покурю.

— Как же, ваше величество, возможно! Ежели к вам шах персидский в гости приедет, — у него портсигар весь червонного золота, алмаз на алмазе, а у вас простого серебра. Несоответственно выйдет.

— Не бубни, Ипатыч. Фазана, поди, видал: зад у него да хвост золотистый, аж солнце перешибает, а что он против русского серого орла может? Ась?

О полдень ко мне адъютант с докладом заявляется. Кого чином повысить, кого в отставку, какому полку шефские вензеля за отлич-но-усердную службу презентовать.

— Ну, это дело не важное. Не горит. Морсу, ваше скородие, не угодно ли?

— Покорнейше благодарим.

— А вы стульчик возьмите. Я хочь и царь, однако обхождения простого... Хочу я, ваше скородие, распоряжение по всем войскам сделать, чтоб солдат под гребенку до голого места не стригли. Пушай каждый с фантазией себе прически делает, кому что по вкусу.

— Да ведь по уставу, ваше величество, не полагается. Другой себе такой дикий чуб отпустит, что всю линию строя испортит...

— А ты мне уставом глаза не коли. Как захочу, так устав твой и поверну. Завидно тебе, что ли? Сам, небось, паклю себе взбил, девушкам на погибель... Опять же казаки во какие чубы носят, однако ж империи от этого никакого убытка.

— Так то ж кавалерия, ваше величество. Казакам для форсу начес полагается. Для устрашения супротивника...

— А пехота, по-твоему, шиш собачий, что ли? Не перечь, а то прикажу тебя самого под нулевой номер обкорнать, вот тогда, сокол, и поговоришь...

Насунился мой адъютант, морсу не допил, вон вылетел. Ну что ж... Ужели я, царь, у адъютанта на поводу ходить буду?..

Только я его сбыл, в дверь специальный зауряд-военный чиновник вкатывается.

Эстафета от шведского короля. Хочет он свою племянницу, природную принцессу, к вашему величеству в гости прислать. Как она себя во всей форме в девицах сохранивши, а вы человек холостой, желает король, надо полагать, вас на брак подбить. Ему лестно, да и нам не зорно... Хочь мы шведов и били, однако ж держава не последняя.

— Пошли, — говорю, — ты шведского короля на легком катере к шведской матери... Ежели мне в голову вступит, на своей, русской, женюсь. Шведки ихние из себя голенастые, — разве с нашей пшеничной сравнить!

— Никак, ваше величество, не возможно. Министры вам воспретят. Потому им желательно по ходу политики со Швецией марьяжный интерес вести...

— Звание, — говорю, — у тебя полуофицерское, а в голове у тебя тараканы портянку сосут. Мои министры пушай хочь на венгерских козах женятся, а я патреот. Что ты мне политикой козыряешь? Сам-то, небось, на русской женат?

— Так точно. На Авдотье Кузьминишне. Дамочка из себя очень авантажная.

— Ну, вот видишь... А сам ко мне с эстафетой суешься. Разжалую вот тебя в первобытное состояние, — и следа от тебя не останется...

— А может, ваше величество, шведскую-то хочь для просмотра пригласить? Чай, не слиняет? Не контракт же с ней заключать с одного маху... А вдруг она из себя антрекот с изюмом? На сливках вскормлена, обхождение специальное, одним словом — принцесса.

— Дадено, видно, тебе в ручку. Да как же я с ней без языка легкий любовный разговор вести буду?

— Переводчика к вам, ваше величество, из генералов приставят.

— Ну вот, братец, сразу и видать, что окромя чернильницы да Авдотьи Кузьминишны ты ни к одному женскому предмету и не прикасался. Какой в таких делах переводчик? Как же это я на гармонии через чужие руки играть буду... Проваливай к псам... Житья от вас царю нету. Ступай на конский завод, там и распорядься, — а я когда хочу, на ком хочу и сам обженюсь...

До того он меня, братцы, разбередил, что цельную бутылку мадеры я один без закуски выщедил, дверь на крючок замкнул, под царским балдахином распростерся и до самого обеда, как бугай, провалялся.

* * *

Просыпаюсь. Чего, думаю, закусить-выпить? А ты у меня, стало быть, Сидорчук, в денщиках. Чего ж ты, дурак, заржал? Не в фельд-маршалы же тебя, вахлака, сразу определять.

— Эй, — кричу, — Сидорчук! Индюшка у нас со вчерашнего дня осталась?

— Так точно, ваше величество... Лапки я, действительно, сгрыз, а около гузка еще сладкого мяса наскрести можно.

— Тащи сюды. Экой ты до лапок интересующийся. Да рябиновой новый штоф откупори. Садись супротив, хватим по лампадке. Спешить в летнее время некуда.

— Как же я, ваше величество, при вашей должности выпивать с вами буду? Сокол, когда пьет, — мелкие пташки за кустами трепещут.

— А я тебе повелеваю. Все, брат, теперь в моей власти. Сегодня ты денщик, а завтра, захочу, — хоть в бабы тебя произведу.

— Покорнейше благодарим.

— Само собой — лохань ты свою чичас настезь и мало что не с рюмкой рябиновую заглотал.

Выпили мы по второй. Две сестры милосердные над нами веерами для температуры машут.

— Что ж, Ваня, — спрашиваю я тебя. — Теперь я царь, пользуйся. Отчего ж для землячка не постараться. Только ты не очень загибай, линию свою помнить надо.

— Да вот, ваше величество, — отделенный, ефрейтор Барсуков, оченно уж себе дозволяет. Вчерась я бляху на поясе не до жару заворонил, так он меня бляхой, извините, в скулу.

— Своротил?

— Никак нет. Я завсегда назад поддаюсь: Да обидно уж очень — давно ли его самого хлестали...

— Ладно. Барсуков, говоришь. Назначаю я его при тебе в денщиках состоять. Вот и отыграешься... Чего регочешь-то? Шиш какой твой отделенный. Захочу, хочь в водовозную бочку его запрягу, ежели он моих солдат почем зря бляхой потчует.

Охватили мы с тобой штоф. Генералы в дежурной комнате покашливают. Да мне куды ж спешить? — чай, все с клязурами, друг под дружку подкапываются. Глянул я в фортку, — а на дворе все та же хреновина: солдатики с разгону чучелу колят.

— Эй! — кричу. — Отставить. Будет вам, черти, соломенную кровь проливать. Распускаю всех на три дня, три ночи... Каждому по рублю, а кто из моей губернии, — четвертак прибавлю... Вали в город. Только чтоб без безобразия: кто упьется, веди себя честно, — в одну сторону качнись, в другую поправься.

Рота, само собой, довольна. Сгрудились земляки под окошком, морды красные, орут, аж дворец золотой трясется:

— Покорнейше благодарим, ваше величество! А уже насчет поведения, будьте покойны, — не подгадим... Только позвольте доложить, нельзя ли всем по рублю с четвертаком, а то обидно. Чай, и прочие губернии не хуже твоей...

Вышел я на малахитовый балкон, с ласковостью отвечаю:

— Пес с вами. Мне четвертаков не жалко, сколько захочу, столько и начеканю.

Грохнули землячки, аж железо на крыше загудело:

— Уррра!.. Сейчас тебя, ваше величество, качать придем.

— Нельзя, братцы, должность моя не дозволяет... Смирно! В одну шеренгу стройся. На первый и второй рассчитайся. Какой там хлюст на правом фланге разговаривает? Я тебе поговорю! Ряды вдвой! Отставить. Чище делай!.. Сидорчук, вали с ротой за старшего. В случае чего, я тебе голову отвинчу... Спасибо, орлы, за службу! С Богом!.. Ать-два, ать-два... Дай ножку!..

Упарился я, в кабинет свой взошел. Сестер с веерами к лысой матери отпустил, — тоже и их, поди, женихи в городском саду дожидаются.

Вышел я к генералам, за ручку поздоровался:

— Эк вы, ваши превосходительства, бумаг нанесли, все на нашу солдатскую голову. Ведь вот турки без канцелярии живут, а войско у них знаменитое... На три дня вас распускаю, авось государство не треснет.

Генерал-майорам по два рубля раздал, генерал-лейтенантам — по трешке. Полным генералам, старичкам малокровным, — ни полушки: не пьют, не курят, барышню встретят, — губу на локоть,

слюнка по сапогам. Футляр парадный, а скрипка без струн. Куды таким деньги?

— Валите, ваши превосходительства, а я опять сосну. Рябиновая водка — нежная. Простой штоф раздавивши, может, я вас, генералов, «соловья-пташечку» петь заставил... А теперь ничего. Счастливо оставаться.

* * *

К закату очухался. Изжога у меня, не приведи Бог, — будто негашеной извести нажрался. В баню, что ль, сходить, либо для перебоя чувств цимлянское выпить? Однако ж, сам себя и осадил: главные законы, думаю, писать надо, а цимлянское от нас не уйдет. Министры, — им что, абы жалованье получать, да царю что ни попало подсовывать. Один, скажем, на своем посту находясь, на голой ладони волос бреет, другой, на его должность заступивши, — на той же ладони волос сеет. Только и различия. А я что ж? Печать к пустой бочке, что ли?

Сел я за столик. Задумался. Перво-наперво, как я человек военный, об войске подумал. Срок службы решил вдвое урезать. В четыре года перебежкам да бегу на месте и верблюда обучить можно, — а русский солдат не идеот вяленый, и двух лет ему с горбушкой хватит... Пусть за сбавку службы население пополняют да землю пахут, чем зря казенными подметками хлопать.

Кавалерию, особливо легкую, — мыльное войско, — начисто срежу... Только пыль от них да горничные пухнут. Однако ж, для царских парадов, по случаю приезда афганских прынцев, чтоб плац расцветить, — три легкоженских гусарских полка сформирую. Баба к лошади в линию фигуры вполне подходит, тыл у нее крутой. ...А ежели по всем швам бляшки да шнурочки, очень это ей соответствует. На войну брать их не буду, — по всему фронту пойдут крутить, ни один солдат в окопах не усидит.

Морячкам тоже фитилек вставлю: год во флоте, год в армейской пехоте. Чтоб, ежели придется, вровень с нами страдали. А то ленточки пораспустили, штаны с начесом, порция усиленная... Война грянет, — он кой-когда, пес, по пустой воде выпалит, а у нас, сухопутных, что ни день — полный урон...

Летчикам — первое место. Серебром обложу, золотом прикрою. В строю каждый гулявый — герой, — не откажешься. А он в одиночку на стальном жуке в неизвестном направлении орудует. Обладка да Бог, — сам бы Скобелев призадумался.

Насчет фельдфебелей по всем частям приказ отдам: чтобы, когда по ротным школам солдаты над грамотой преют, они бы, жеребцы стоялые, нижних чинов за уши не тянули. Вольноопределяющий только по картон-буквам слогам обучит, а фельдфебель за ухо: «тяни, сукин кот, гласную букву, чтоб гласно выходило!..» Этак и ушей не хватит. И чтобы библиотечки ротные везде заведены были. Для чего ж и грамота, ежели в шкапчике, окромя уставчика внутренней служ-

бы да жития преподобной Анфисы-девы, — ни боба. Что ж это за модель: печку завели, а топить воспрещается.

Опять же насчет солдатских жен... Я, скажем, холостой, сердце у меня вакантное. А другой, женатый, наплачется. Он тут прыжки да плавное на носках приседание делает, царскую службу несет, а жена евонная в деревне рассусоливает. То семинарист к батюшке на легкие каникулы припрет, — к кому ж ему, как не к солдатке, припаяться? Сладкая водочка да стручки, — в рошу пойдут комаров считать, — ан глянь, ей теплым ветром и надуло. Снохачи тоже попадаются лакомые: днем поплавок в ланпадке поправляет, а ночью к рыбке по стенке подбирается. Альбо в город которая сама подастся в черные куфарки, — кто мимо ни пройдет, норовит ее за подол: почему аршин ситца? Как горох при дороге...

Занятие это, ребята, я форменно прекращу. Всех солдаток по уздам велю в одну фатеру сбить, правильных старушек к ним, на манер старших, приставлю. Шей, стряпай, дите свое качай, полный паек им всем от казны. Солдаты ихние в побывку раз в полгода заявляются. Честь честью. А какая против закона выверт сделает, в гречку прыгнет, — в специальный монастырь ее на усмирение откомандировать, чтоб солдатских чистых щей дегтем не забеливала...

В ротах прикажу для легкости прохождения службы всем желающим балалайки выдать, либо гармонии, что кому по вкусу. Освещение удвою, что ж после поверки утопленниками по темным койкам сидеть... Дисциплина дисциплиной, а час в сутки и дятлы веселятся. По булке с маком каждому предоставлю, ужели в России пшеницы для нижних чинов не хватит?.. Струнки бренчат, чаек кишки греет, кто грамоте горазд — сонник читает, кто земляку на койке салазки загибает. Унтера в стороне за своим чайничком сидят, глазами зыркают, — а насчет замечаний ни-ни... Потому час не ихний.

А по праздникам я сам все роты самолично обойду. Да чтоб не тянулись, — смотри у меня! Поздоровкались — и будет. Понанесут мои лакеи и жареного и пареного, корзин со сто. За провизией не постою, — не таковский... Барышень городских пригласим, — Сидорчук у нас мастак... Да как грянем в шесть гармоний кудрявую польку, — аж до офицерского собрания докатится. «Ти-ли, ти-ли, черта брили, завивали хохолок...»

Жалованье вам всем, само собой, утрою. На полтинник в месяц и мышь не разгуляется. Солдат, хочь и нижний чин, чай, из того же ребра сделан. Выпить да покурить и ему хочется, да и мылом-резедой в праздник умыться всякому антиресно. В орлянку опять же на пуговку от штанов не сыграешь...

Да еще вот. Ежели под ружье солдата ставят, полную выкладку на него навьючивают, — чтобы у чистого крыльца его на потеху фельдфебельским дочкам не выставляли! А на задворках. Чтоб тихомирно он наказание отбыл, чтоб в душу ему помету не подсыпали... Обязательно приказание отдам.

А по гражданской части уж я, братцы, и не знаю... Созову разных сословий старичков, — умственные из них попадают. Так, мол, и так, отцы... Государство наше, поди, поболее Турции, а живем кисло. Голова в золоте, тело в коросте. Дворцы да парады, кумпола блестят, в театрах арфянки гремят, гостиные дворы финиками-пряниками завалены, — а у нас в деревне кругом шестнадцать. Леший в дырявом лапте катается, сороковкой погоняет, онучей слезы утирает... Афганскому прынцу пирожок на золотом блюде показываем, а начинка тараканья. Я царь, мне это досадно. Ежели надо, жалование мне урежьте, я из солдатского котла попытаюсь, — только полный порядок наведите.

Да засажу я их, чертей-старичков, в отдельный дворец, — пей-ешь, хочь пуговики напрочь, — а кругом строгий караул поставлю. До той поры их, иродов сивоусых, не выпущу, пока до настоящей точки не дойдут... Аль у нас в России золота под землей не хватит, аль реки наши осокой заросли, али земля наша каменная, али народ русский в поле обсевок? Почему ж эдакую прорву лет из решета в сито переливаем, а так до правильной жизни и не достигли?

* * *

Обдумал я все главные дела, ан тут и ночь накатила. Дежурные сестры перину взбили, горностаево одеяльце отвернули:

— Пожалуйте, ваше величество. Простым солдатам редька с квасом снится, а вам пушай рябчик в сметане. Счастливо оставаться. Завтра чуть свет щиколладу мы вам миску принесем, да сала полфунта. Рубашка ночная у вас под подушкой, потому цари в дневной не спят.

Фукнули они за дверь. Один я, как клоп, на одеяле остался. Тоска-скука меня распирает. Спать не хочется, — днем я нахрапелся, аж глаза набрякли. Под окном почетный караул: друг на дружку два гренадера буркулы лупят, — грудь колесом, усы шваброй. Перед опочивальней опять-таки двое. Дежурный поручик на тихих носках взад-вперед перепархивает. Паркет блестит... По всем углам пачками свечи горят, — чисто, как на панихиде. То ли я царь, то ли скворец в клетке...

Хлопнул я в ладони, — из задней дверки денщик Сидорчук появляется, сам, стерва, жует чтой-то. До царской куфни дорвался.

— Пойди в роту. Отдай чичас приказание, чтоб койку мою сюда приволокли. А энта бабья мякоть мне без надобности.

Горностаея за хвост на пол сдернул, перинку носком поддал.

— Неудобно, ваше величество. Фельдфебель и тот на мягком спит. А при вашей должности...

— Ты что ж это, присягу забыл? Без рассуждений! Как двину тебя по мордовской волости, так до самой роты и докатишься. Шарика с собой прихвати, развлекусь хочь с собачкой...

— Да как же, ваше величество, возможно? Разве ж дежурный поручик простого ротного пса пропустит?

— А я тебе свой перстень дам. Покажешь, — так и кобылу пропустит.

Через пять минут, слышу, волокут мою койку. Шарик, обормот, так козлом с радости на часовых и сигает. Вскочил в опочивальню, да меня в губы. Эх, ты, собачка, друг закадычный!

Расклали солдатики койку, — Курослеп да Соленый, нашего взвода. Столбами вытянулись, глазами меня так и едят.

— Садись, — говорю, — ребята. Чего там. Чичас нам Сидорчук белую головку откупорит. В остатний раз с вами выпью. Садись, не бойся. Я вам повелеваю.

Только это мы расположились, — Сидорчук нам моментальную закусочку соорудил, — сало поджарил, так на сковороде и скворчит... Глядь, из-за двери рука в галунах просовывается, пакет подает.

— Что такое?! Ни днем, ни ночью царю от вас передышки нет. Видишь, люди закусывают. Положь пакет на ларь в передней, авось не примерзнет.

Однако за рукой сам курьер так лапшой в щель и тянется.

— Спешно, секретно, в собственные руки, — прочитайте от скуки. Расписание занятий вашему величеству на завтрашний день.

Принял я бумагу, водку с досады пробкой заткнул, чтоб градус не выдыхался. Курьеру на чай гривенник дал, — человек подначальный: хочь бешеную собаку ему за обшлаг сунь, — обязан доставить.

Вскрыл я конверт, а там скоропишущей машинкой цельная колбаса отбита, лопатой не проворотишь:

«— В семь утра — в манеж гусарскую фигурную езду смотреть; в восемь — дагестанскому шаху тяжелую артиллерию показывать; в девять — юнкарей с производством поздравлять; в десять — со старым конвоем прощаться; в одиннадцать — свежий конвой принимать; в двенадцать — нового образца пограничной стражи пуговики утверждать; в час — с дворцовым министром расход проверять; в два — подводный крейсер спускать; в три — греческого короля племяннику ленту подносить...»

Да два парада гвардейских, да один армейский, да вечером бал, — бык с елки упал! — Турецкий посол за моего конвойного есаула троюродную внучку отдает... Анчутка вас задави! Дале я и читать не стал. Дрожки без колес, в оглоблях пес, — вертись, как юла, вокруг овсяного кола...

Подошел я к царскому телефону, шарманку повертел, снова зауряд-чиновника вызвал:

— Дзынь-дзынь. Царь говорит. Реестр я ихний получил, бабку их под каблук... А что мне будет, ежели я наряда энтото не исполню?

— Никак не возможно, ваше величество. Солнце цельный день по небу бродит, тоже много чего зря освещает. Не откажешься.

— Да когда ж при таком расписании я настоящее исполнять буду?

Слышу я, усмехается он, стрекулист, по проволоке, шершавым голосом с почтительностью отвечает:

— А, может, энто по реестру — настоящее и есть? По всем странам один прейскурант. Поперек койки, ваше величество, не ложись, — а то ножки замлеют...

Плюнул я в трубку, к землякам отошел:

— Ну что ж, землячки, выпьем... Пошлины взяты, товар утонул. Дело энто еще обмозговать надо.

Скука-тоска меня распирает, — аж сало горчит... Допили мы сороковку, не пропадать же царскому добру. Походил я по ковру, жука майского, что сдуру в царскую опочивальню залетел, в окно выпустил... Ан тут меня и осенило:

— Тащи, ребята, койку обратно. Простите, что зря потревожил.

Что ж, — думаю, — власть моя еще при мне. Не все карты биты, один козырь остался. Авось отыграюсь...

Сел за столик да и стал приказ писать: самого себя в рядовые приказал разжаловать, да в свою роту тую ж минуту откомандировать. А за беспокойство повелел себе из царского сундука сапоги на ранту выдать. И сразу ж, братцы, точно утюг отрыгнул, — легко мне стало прямо до невозможности...

Вот, можно сказать, и поцарствовал. Как у нас говорится: нашел леший клубок, а взять убоялся...

<1932>

КОРНЕТ-ЛУНАТИК

Кому что, а нашему батальонному первое дело — театры крутить. Как из году в год повелось, благословил полковой командир на масленую представлять. Прочих солдат завидки берут, а у нас в первом батальоне лафа. Потому батальонный, подполковник Снегирев, начальник был с амбицией: чтоб всех ахтеров-плотников-плясунов только из его первых четырех рот и набирали. А прочие — смотри-любуйся, в чужой котел не суйся.

Само собой, кто в список попал, послабление занятий. Взводный уж тебя на ружейных приемах не засушит, пальчики коротки. И вообще, жизнь свежая, будто вольного духу хлебнешь. Лимонад-фиалка...

* * *

Словом сказать, столовый барак весь в ельнике, лампы-молнии горят, передние скамьи коврами крыты, со всех офицерских квартир понашарпали. Впереди полковые барыни да господа офицеры. Бригадный генерал с полковым командиром в малиновых креслах темляки покусывают. А за скамьями — солдатское море, голова к голове, как арбузы на ярмарке. Глаза блестят, носами посапывают — интересно.

А на помосте — кипит... Вольноопределяющий — подсказчик из собачьей будки шипит-поддает. Да и поддает для проформы, потому рольки назубок раздраконены, аж сам батальонный удивлялся. «Ах, — говорит, — и сволочи у меня, лучше и быть нельзя».

Все, само собой, в вольном платье: кто барином в крахмале, кто купцом пузастым, кто служающим половым-шестеркой. Бабы рольки тоже все свои сполняли. Прямо удивления достойно... Другой обалдуй в роте последний человек, сам себе на копыта наступает, сборку-разборку винтовки, год с ним отделенный бьется, — ни с места. А тут так райским перышком и летает, — ручку в бок, бровь в потолок, откуль взялось...

А всех чище вестовой батальонного командира, Алеша Гусаков, разделявал. Барыньку представлял, которая сама себя не понимала: то ли хрену ей с медом хочется, то ли в монастырь идти. То к одному, то к другому тулится, мужа своего, надо быть, для поднятия супружеской любви, дразнила... Мужчины за ей, конечно, как сибирские коты, так табуном и ходят. Ей что ж... Пожевать да выплюнуть. Плечиком передернет, слово с поднамеком бросит, аж весь барак от хохота трясется. Бригадный генерал слезы батистом утирает, полковой командир ручкой отмахивается, батальонный уж и смеху лишился — только хрюкает. А адъютант полковой столбом встал и все взад оборачивается, солдатам знак подает:

— Тише вы, дуботолки, из-за вас никакой словесности не слышно.

Чистая камедь... Как развязка-то развязалась, — барин в густых дураках оказался, на коленки пал. А Алешка Гусаков в бюстах себе рюшку поправляет, сам в публику подмигивает, — прямо к полковому командиру рыло поворотил, — смелый-то какой, сукин кот... Расхлебали, стало быть, всю кашу, занавеску с обеих сторон стянули, — плеск, грохот, полное удовольствие.

Ну, тут батальонный по-за-сцену продрался, Алешку в свекольную щеку чмокнул, руками развел:

— Эх, Алешка! Был бы ты, как следует, бабой, чичас бы тебя на свой счет в Питербург на императорский театр отправил... В червонцах бы купался. Не повезло тебе, ироду, родители подгадили...

* * *

Камедь отвалили, вертисмент пошел. Каждый, как умеет, свое вертит. Солдатик один на балалайке «Коль славен» сыграл до того ладно, будто мотылек по невидимой цитре крылом прошелестел. Барабанщик Бородулин дрессированного первой роты кота показывал: колбаску ему перед носом положил, а кот отворачивается, — благородство свое доказывает. А как в барабан Бородулин грянул, кот колбаску под себя и под раскатную дробь всю ее, как есть, с веревочкой слопал. Опосля на игрушечного конька взлез, Бородулин перед ним церемониальный марш печатает, а кот лапкой по усам себя мажет, — парад принимает. Так все и легли...

Между прочим, и Алешка Гусаков номер свой показал: как сонной барыне за пазуху мышья попала... Полковница наша в первом ряду так киселем и разливается, только грудку рукой придерживает... Кнопки на ней все напрочь отлетели, до того номер завлекательный был.

Потом то да се, — хором спели с присвистом:

«Отчего у вас, Авдотья,
Одеяльце в табачке?»

Гусаков за Авдотью невинным фальшщетом отвечает. Хор ему поперек другой вопрос ставит, а он и еще погуще... С припеком.

Батальонный только за голову хватается, а которые барыни, — ничего, в полрукава закрываются, иначе не уходят...

Кончилось представление. Господа офицеры с барыньками в собрание повзводно тронулись, окончательно вечер пополюровать. Гусаков Алешка земляков, которые уж очень руками распространились, пораспишал. «Не мыльтесь, братцы, бриться не будете». И, дамской сбруи не сменивши, узелок с военной шкуркой под мышку, да и к себе. Батальонный евоный через три квартала жил, — дома, не торопясь, из юбок вылезать способней...

* * *

Вылетел Алешка за ворота, подол ковшиком подобрал, дует. Снежок белым дымом глаза пушит, над забором кусты в инее, как купчихи в бане расселись. Сбил Гусаков с дождевой кадки каблучком сосульку, чтобы жар утолить. Сосет-похрустывает, снег под им так ласточкой и чирикает.

Глядь, из-за мутного угла наперерез — разлихой корнет, прибор серебряный, фуражечка синяя с белым, шинелька крыльями вдоль разреза так и взлетает... Откуль такой соболев в городе взялся? Отпускной, что ли? И сладкой водочкой от него по всему переулку подыхает...

Разлет шагов мухобойный, — раскатывает его на крутом ходу, будто черт его оседлал, — а, между прочим, и не так уж склизко. Врезался он в Алешку, ручку к бровям поднес, честь отдал.

— Виноват. Напоролся. Куда ж это вы, Хризантема Агафьевна, так поздно? И как это вас папаша-мамаша в такой час одну в невинном виде отпускают?

Ну, Алешка не сробел, в защитном дамском виде ему что ж...

— А что, — grit, — мне папаша с мамашей могут воспретить? Я натуральная сирота. А припоздала по случаю театра... И насчет тальмы не распространяйтесь, мои пульсы не для вас бьются...

Корнет, само собой, еще пуще взыграл.

— Ах, ландыш пунцовый! Да я что же. Сироту всякий военный защищать обязан... Грудью за вас лягу.

Алешка тут, конечно, поломался:

— Мне, сударь, ваша грудь ни к чему. У меня и своя неплохая.

— Ах, Боже ж мой... Да я ж понимаю! А где, например, ваш дом?

— За дырявым мостом, под Лысой горой, у лешего под пятой.

— Скажи, пожалуйста... В самый раз по дороге.

И припустил за Алешкой цесарким петухом, аж шпоры свистят.

Видит Алешка — дело мат. Обернул он вокруг руки юбку, да и деру. До калитки своей добежал, к крыльцу бросился, только ключ повернул, глядь, корнет за плечами... Иного вино с ножек валит, а его, вишь ты, как окрылило.

Испужался солдат, плечом деликатно дверь придерживает.

— Уходите, ваше благородие, от греха. Дядя мой в баню ушелши. С минуты на минуту вернется, он с нас головы снимает.

— Ничего. Старички, они долго парятся. А насчет головы, не извольте тревожиться, она у меня крепко привинчена. Да и вашу придержим.

И в дверь, как штопор, ввинтился. Шинельку на пол. За Алешку уцепился, да к батальонному в кабинетный угол дорогим званым гостем, как галка в квашню, ввалился. Выскользнул у него Алешка из-под руки. Стоит, зубками лязгает. Налетел с мылом на полотенце... А что сделаешь? Хоть и в дамском виде, однако простой солдат, — корнета коленом под пуговку в сугроб не выкатишь...

Сидит корнет на диване, разомлел в тепле, пух на губе щиплет, все мимо попадает. А потом, черт вяленный, разоблакаться стал: сапожки ножкой об ножку снял, мундир на ковер шмякнул...

Гостиницу себе нашел. Сиротский дом для мимопроходящих... Шпингалет пролетный. И все Алешку ручкой приманивает:

— Виноват, Хризантема Агафьевна, встать затрудняюсь. А вы бы рядом со мной присели. На всякий случай... У меня с вами разговор миловидный будет.

Пятится Алешка задом к дверям, будто кот от гадюки, за портьерку нырнул, — и на куфню. Дверь на крючок застегнул, юбку через голову, — будь она неладна. Из лифчика кое-как вылез, рукав с буфером вырвал, с морды женскую прелесть керосиновой тряпочкой смыл, забрался под казенное одеяльце и трясется.

«Пронеси, Господи, корнета, а за мной не пропадет! Нипочем дверь не открою, хочь головой бейся...» Да для верности скочил на голый пол и шваброй, как колом, дверь под ручку подпер.

А корнет покачался на спружинах, телескопы выпучил, муть в ем играет, в голове все потроха перепутались. Сирота-то эта куда подевалась? Курочка в сережках... Поди, плечики пошла надушить, дело женское.

Глянул в уголок, — видит на турецком столике чуть початая полбутылки шустовского коньяку... С колокольчиком. Потянулся к ей корнет, как младенец к соске. Вытер слюнку, припал к горлышку. «Клю-клю-клю...» Тепло в кишки ароматным кипятком вступило, — какие уж там девушки. Да и давешний заряд немалый был.

Снежок по стеклу шуршит. Барышня, поди, ножки моет, — дело женское. Ну и хрен, думает, с ней. И не таких взнуздывали.

Бурку подполковничью на себя по самое темя натянул, ножками посучил. Будто в коньячной бочке черти перекатывают. Так и заснул под колыбельный ветер, словно мышь в заячьем рукаве. Жернов — камень тяжелый, а пьяный сон и того навалистей.

* * *

На крыльце калошки-ботики скрипят. Ворчит батальонный, ключом в дырку попасть не может. Однако добился. Не любит середь ночи денщика будить... Да и без того Алешка сегодня в театре упарился.

Ввалился в дверь, в пальцы подышал. Видит, из кабинет-покоя свет ясной дорожкой стелется: Алешка, стало быть, ангел-хранитель, постель стлал — лампу оставил. И храп этакий оттудова залистый, должно, ветер в трубе играет.

Ступил подполковник Снегирев на порог, глаза протер — отшатнулся... Что за дышло! Поперек пола офицерский драгунский мундир, ручки изогнувши, серебряным погоном блещет, сапожки лаковые в шпорках, как пьяные щенки, валяются... А на отамане под евонной буркой живое тело урчит... Кто такой? По какому случаю? Сродников в кавалерии у батальонного отродья не было... Что за гусь сквозь трубу в полночь ввалился?

Поднял он тишком край бурки, — личико неизвестное. А на корнета свежим духом пахнуло, — потянулся он, суставами хрустнул и, глаз не продирая, с сонным удовольствием говорит:

— Пришли, душечка? Ну что ж, ложитесь рядом, а я еще с полчаса похраплю...

Но тут батальонный загремел:

— Какая-токая я вам душечка?! По какому-такому праву вы, корнет, на мой холостой диван с неба упали и почему я с вами рядом спать должен? Потрудитесь встать по службе и короткий ответ дать!

Да бурку с него на пол.

Корнет, самой собой, от трубного гласа да от ночной прохлады да вскочил репкой, зеньки вытаращил... Равновесие поймал, ручки по швам и хриплым голосом в одних носках выражает:

— Извините, за ради Бога, господин полковник, вы, стало быть, ейный дядя?

— Кому я, псу под хвост, дядя?.. Ежели вы, корнет, из сумасшедшей амбулатории сиганули, так я, слава Создателю, подполковник Снегирев, еще по потолку пятками не хожу. Кто вы такой есть и почему я вас под своей буркой, как подброшенного младенца, нашел?

Зарумянился корнет, однако вылезать-то из невода надо.

— К племяннице вашей я точно подкатился. Однако будьте без сумления. Все честь честью. Потому, как на вокзале, по случаю

заносов, застрял, — сразу к вам ввалившись, на отомане и заснул. А насчет намерений ничего у меня не было. Оне девушки хладнокровные даже до невозможности.

Расвирипел тут батальонный, крючок на воротничке сорвал:

— Да вы что ж это, корнет, со мной в чехарду играете?.. Отродясь у меня племянницы не было. Я человек вдовый и над собой таких надсмешек не дозволю. Да, может, вы и не корнет, а, извините, жулик маскарадный? Да я чичас всю вашу сбрую запрю, а вас к воинскому начальнику на рассвете в одних прохладных рейтузах отправлю... Эй, Алешка!

Почернел гость залетный в лице, ан тут не взовьешься. Потерял голову — поиграй желвачком. Однако сообразил: из тылового кармана билет свой отпускной вынул. Так, мол, и так, занапрасно позорить изволите. А насчет племянницы, Бог ей судья. Либо я перепил, либо недопил, — наваждение такое вышло, что и сам начальник главного штаба карандаш пососет.

Повертел батальонный офицерскую бумажку в руках, языком цокнул, засовестился:

— Прошу покорно меня извинить. Я человек полнокровный, да и случай больно уж сверхштатный. Может, Алешка в энтот разе узелок развяжет. Эй, Алешка! Горниста за тобой спосылать, что ли?

* * *

Является, стало быть, Алешка. В темном углу в портьерки стал, шароварки оправил, руки по швам, стрункой.

Батальонный ему форменный допрос делает:

— Дома был все время?

— Так точно. На куфне, вас дожидавшись, у столика всхрапнул.

— Рожа у тебя почему в саже?

— Самоварчик для вашего высокородия ставил... В трубу дул, а оттедева от напряжения воздуха сажа в морду летит. Куда ж ей деваться?

— Ладно, не расписывай. Господина корнета видишь?

— Так точно.

— Хорошо видишь? Возьми глаза в зубки.

— Явственно обозначается. Мундир ихний и сапожки на ковре лежат, а их благородие отдельно стоять изволят. Прикажете подобрать?

— Не лезь, рукосуй, пока не спрашивают! Как их благородие к нам попал?

— В гости с вашим высокородием, надо полагать, явились. Чайку с лимоном прикажете на две персоны, либо каклетки со сладким горошком разогреть?

— Погоди греть, как бы я тебя сам не взгрел... А вот теперь я

тебе расскажу. Дверь я ключом сам открыл, — была на запоре. Понял?

— Так точно. Сам на два поворота замкнул. Замок у нас знаменитый.

— Так-с... Взошел в кабинет, а у меня в отомане под буркой теплый корнет храпит. Вот они-с. Что ты на это скажешь? В замочную дырку он пролез, что ли?

— Никак нет. Замочную дырку я всегда с внутренней стороны бляшечкой прикрываю...

Усмехнулся батальонный, да и корнет повеселел, — сел на стул сапожки натягивать. Ишь какой, мол, солдат аккуратный.

— Так-так. Мозговат ты, Алешка, да и я не на глине замешан. Каким же манером, еловая твоя голова, корнет к нам попал? Тут, брат, не замком, — чудом тут пахнет.

— Не могу знать. Насчет чудес полковой батюшка больше меня понимают. А только дозвоьте разъяснение сделать.

— Говори. Ежели дельное скажешь, полтинник на пропой дам.

— Весной, ваше скородие, случай был: полковой капельмейстер по случаю полнолуния на крыше у городского головы очутился. Извольте помнить?

— Ну-с.

— Сняли их честь-честью. Пожарные солдаты трехколенную лестницу привезли. Доктор полковой разъяснение сделал, будто это у них вроде лунного помрачения. Лунный свет в них играл.

— Ну-с?

— Может, и их благородию таким же манером паморки забило...

Посмотрел батальонный на корнета, корнет на батальонного, оба враз рассмеялись.

— Ну, это ты, ангел, — говорит корнет, — моей гнедой кобыле рассказывай. Какое же теперь полнолуние, луны и на полмизинца нынче нет.

— Да, может, ваше благородие, в вас это с запрошлой луны действует? Вроде лунного запоя...

Махнул тут батальонный рукой:

— Заткнись, Алешка! Не то что полтинника, гривенника ты не стоишь. Посадил корову на ястребя, а зачем — неизвестно. Тащика сюда каклеты. У меня от ваших чудес аппетит, как у новорожденного. Да и гость богоданный от волнения чувств пожует. Прошу покорно...

Тронулся Алешка легким жаворонком: пронесло, слава Тебе Господи. А батальонный ему в затылок:

— Стой! А чего это ты, шут, между прочим, все хрипишь? Голос у тебя в другую личность ударяет...

— Виноват, ваше скородие. Надо полагать, как в самовар дул, жилку себе от старания надсадил... Папироски на подоконнике, не извольте искать.

Да поскорее от греха два шага назад и за дверь.

Сидят, закусывают. Снежок по стеклу шуршит, каклетки на вилках покачиваются. Пожевал батальонный, к коньяковой собачке руку потянул: гнездо цело, да птичка улетела...

— Однако... И здоровы ж эти лунатики пить-то! Чокнуться даже нечем. Да вы будьте без сумления, пехота не без запаса... Эй, Алешка, гони-ка сюда зверобой, в сенях на полке стоит. Сурьезная водочка... А между прочим, корнет, здорового вы, надо быть, дрозда зашибли, допрежь того как в лунном виде под бурку мою попали. Ась?

— Так точно. По случаю заносов, на вокзале флакона два-три пристроил.

— Конечно. Чего ж их жалеть... А за племянницей неизвестного дяди полевым галопом изволили все ж таки дуть? Я по службе вас старше... Сам кобелял в свое время. Валите...

— Так точно. Был грех.

— А в чем она, племянница, одевши-то была?

— В черной тальме. А может, и в белой. Снег в глаза бил, и я, признаться, на раскатах очень заносился... Вот платочек запомнил: в павлиньих узорах, округ головы зеленые махры...

Затоптал батальонный каблуками, глазки залучились, по коленке корнета хлопнул.

— Так и есть. Это ж вы за племянницей нашего старшего врача лупили. В театре она на комедь смотрела... Через дом от нас живет. Ах, корнет-пистон, комар тебя забодай! Ну и хват! Ан потом снежком ее занесло, ветром сдуло, а вы в мою калитку от двух бортов с разлета и попали... Ловко. Эй, Алешка! Что ж зверобой? Протодиакона за тобой спосылать, что ли?

А Алешка за портьеркой задержался, разговор ихний слушавши. Спервоначалу так весь сосулькой и заледенел, а потом видит, какой натуральный поворот делу даден, — взошел бесстрашно, рюмками звякнул. Встал перед ими — душа на ладони — и дополнение светлым голосом сделал:

— Запамятовал, ваше скородие, виноват. Как за дровами в самую полночь в сарайчик отлучился, — черный ход на самую малость у меня был не замкнут. Может, в эту самую дистанцию их благородие к нам в лунном виде и грохнули. Больше неоткуда, потому чердак у нас изнутри замазан. Таракан и тот не пролезет.

Объяснил чистосердечно, батальонный окончательно повеселел, — военный начальник точность любит, а не то, чтоб на чудесном помеле корнеты скрозь штукатурный потолок под бурку вваливались. Отпустил он Алешку сны досыпать, а сам по пятой зверобой-рюмке невинный вопрос задает:

— Ну что ж, сынок, пондравилась тебе докторская племянница? Лимон с гвоздикой.

— Так точно. Сужет приятный, да с крючка сорвалось... Руку только нацелился поцеловать, — чуть зубов не лишился. Огонь девка!

Батальонный так и покатился.

— Эх ты, вьюнош скоропалительный. Да она ж горбунья! В градусах да в снежной завирушке ты и не разглядел... Ручку? Ее ж потому одну доктор из театра отпустил, что все ее в городе знают... Кто ж на такую вилковатую березу окромя мухобойного залетного корнета и польстится?

Насупился корнет, губу щиплет. Досада... Да скорей за шестую рюмку. Зверобой конфуз осаживает, известно.

Поднял тут батальонный голову: ишь как в сенях ветер скворчит. Сквозь портьерку ему невдомек, что не в ветре тут суть, а энто Алешка, гнус, морду себе башлыком затыкает... Смех его разбирает — вот-вот по всем суставам взорвется...

1931

БЕСТЕЛЕСНАЯ КОМАНДА

Шел солдатик на станцию, с побывки на позицию возвращался. У опушки поселок вилами раздвоился: ни столба, ни надписи, — мужичкам это без надобности. Куда, однако, направление держать? Вправо, аль влево? Видит, под сосной избушка притулилась, сруб обомшелый, соломенный козырек набекрень, в оконце, словно бельмо, дерюга торчит. Ступил солдат на крыльцо, кольцом брякнул: ни человек не откликнулся, ни собака не взлаяла.

Надал он плечом, взошел в горницу. Видит, на лавке старая старушка распространилась, коленки вздела, на полати смотрит, тяжело дышит. Из себя словно мурин, совсем почернела. В переднем углу заместо иконы сухая тыква висит, лапки в одну шеренгу прибиты.

— Здравствуй, бабушка... Куда на станцию поворот держать, — вправо аль влево?

— Ох, сынок... На обгорелый дуб целиной-лугом ступай. Пешему не заказано... Да не подашь ли мне, старой, водицы испить. Совсем, сынок, помираю.

Зачерпнул солдат ковшиком, сам все на передний угол посматривает.

— Что ж у тебя, бабушка, иконы-то не видать? Из татарок ты, что ли?

— Тьфу, тьфу, служивый... Русская я, орловской породы, мценского завода. Да знахарством все промышляла по слабости здоровья. Рукоделье такое: бес ухмыляется, ангел рукой закрывается. Стало быть, образ мне в избе держать неподручно. В сухомятку молюсь, — на порог выйду, звездам поклонюсь, «Славу в вышних» пошепчу... Авось Господь-Бог услышит.

— А по какой части, бабушка, ты орудуешь больше? По штатской аль по военной?

— По штатской, яхонт, по штатской. Остуду, скажем, между

мужем-женой прекратить, альбо от зубной сѣорби заговорить... Деток кому подсудобить, ежели потребуется. Худого не делала. А по военной что ж... В стародавние годы заговоры по ратному делу действовали, пули свинцовые отводили. А ныне, сынок, сказывают, кулеметы какие-то пошли. Так веером стальным и поливают. Управься-ка с машинкой этакой...

Вздыхнул солдатик.

— Ну, бабушка, ничего. На себе поснесем, да вас побережем. Кланяйся родителям, в случае чего... В запрошлом году они скончавшись. Будь здорова, бабушка, помирай себе с Богом...

Только встал, обернулся, — слышит, у ног тварь какая-то мяучит, о сапог мягкая шуба трется, а ничего не видит. Протер он обшлагом буркалы, — что за бес... Плошка пустая у порога подпрыгнула, метла прочь сама откатилась, голос шершавый все пуще мяучит-надрывается.

— Ох, — говорит, — бабка! Что же это за наваждение? Душа кошачья у тебя по избе без лап, без хвоста бродит...

— А это, соколик, кот мой, Мишка. Плесни-ка ему молочка в плошку. Я сегодня по слабосильности с лавки не вставала. Голоден он, чай.

— Да где кот-то, бабушка?

— Плесни, плесни. Экой ты, солдат, надоеда...

Налил солдат из крынки полную плошку. Глядит: молоко стрепенулось, кверху подпрыгивает, будто ложечкой кто сливки сбивает. Брызги во все стороны... Дрожит плошка, молоко убывает да убывает, глядь-поглядь — само в себя ушло, края подлизаны, даже до сухости...

Обадел солдат, на бабушку уставился. Усмехается старушка.

— На войне был, а пустякам удивляешься. Настой-зелье я по своей секретной надобности сварила, остудить под лавку поставила. А он, дурак Мишка, сдуру лизнул, — вот и бестелесным стал. Да пусть он так бродит, мне все одно помирать. Авось в бестелесном виде промышлять ему способнее будет.

Загорелась солдатская душа до чужого ковша, — по какой причине и сам не знает...

— Ох, родненькая, дай-ка мне состава этого, умора ведь какая... Солдатикам на позиции тошно, тоска смертная. А тут этакая забава... Уж я за тебя в варшавском соборе рублевую свечу поставлю: окопный солдат вроде как святой, — тебе это не без пользы будет.

Закашлялась старушка, зашла, поплевала в тряпочку, отдышалась и говорит:

— Экий ты младенец стоеросовый... Ну что ж, бери, — свои бросили, чужой пожалел, водой попоил. Только смотри, шути да откусывай... Ежели какую тварь либо человека в бестелесный вид приведешь, помни, орел: только водкой зелье мое и прополаскивается. Рюмку-другую вольешь, сразу предмет в тело свое войдет, натуральность свою обнаружит...

Солдат одной рукой за чашку, другой за баклажку. Перелил, бабушке в пояс поклонился и за дверь — целиной-лугом на обгорелый дуб, к своей станции. Зелье на боку в баклажке булькает — аж селезенка у солдата с радости заиграла, до того забавная вещь.

* * *

С этапа на этап — докатился солдат до своего места, в аккурат час в час в свою роту появился. О ту пору полк ихний в ближний тыл на отдых-пополнение оттянули. Старослужащим вольготнее стало, — винтовку почистил, шинель залатал и вались на свою койку, потолочные балки в бараке пересчитывай.

А свежих бородачей во дворе обламывают. Занятие идет, соломенное чучело колоть учат: штык по шейку всади, да назад одним духом с умом выверни. Ходит ротный, присматривает, не очень и ему весело запасных вахлаков обтесывать. Зевнул в белую перчатку, фельдфебеля спрашивает:

— А что ж, Назарыч, Шарика нашего не видеть?

— Не могу знать. Второй день в безвестной отлучке. Тоже тварь живая, амуры, надо быть, тыловые завелись.

Повернулся ротный на подковках, Назарычу занятия предоставил, в канцелярию ротную пошел приказы полковые перелистывать. Слышит, за перегородкой в углу кто-то подсвистывает, Шарика кличет, — в ответ собачка урчит, веселым голосом огрызается. Поглядел он в щелку: сидит это солдатик Каблуков, что наперед с отпуска вернулся, на сундучке. Одна нога в сапоге, другая в портянке. Свистит, пальцами прищелкивает, а перед ним, — Господи, спаси-помилуй! — пустой сапог в воздухе носится, кверху носком взметывается.

Дрогнул ротный, а уж на что храбрый был, самому дьяволу не спустит. За столик рукой придержался. Дошел до порога, за косяк ухватился... Стрепенулся Каблуков, вскочил, вытянулся, — а сапог округ него так впрысядку и задувает, уши по голенищам треплются, а из голенища, будто из грамофонной дыры: «ряв-ряв!» Да вдруг сапог прямо на ротного, будто к родному брату, — по коленке его хлопает, в руку подметкой тычется...

Побелел ротный, — на елку бы влезть, да елки нетути...

— Ох, — говорит, — Каблуков! Плохо мое дело... Прошлогодняя контузия, вот она когда себя оказывает. Беги за Назарычем, пусть меня скорей в лазарет свезет... А то, пожалуй, оборони Бог, кусаться начну.

Оробел Каблуков, к земле прирос. Однако кое-как губы расклеил:

— Не извольте, ваше высокородие, тревожиться. Сапог натуральный, интендантской кожи. А что он сам летает, будьте без сумленья, собачку я бестелесную учил поноску носить. Да тут вы сбоку взошли, не заметил я, напужал только ваше высокородие занапрасно.

Выпучил ротный глаза.

— Что ты... окстись... Какая-токая бестелесная собачка?

— Да наш Шарик. Я его, ваше высококородие, наскрозь прозрачной настойкой для забавы обработал. Скажем, как стекло: виду нет, а в руку взять можно.

Ротный так на сундучок и опустился:

— Ну, Каблуков, придется, видно, нас двоих в тихое отделение на лазаретной линейке везти. Я телесные сапоги в воздухе ловить буду, а ты бестелесной собачкой забавляться. Вишь, что война из людей делает.

Однако Каблуков, хочь и подчиненный, поперек тут врезался, видит, чем дело пахнет. Обсказал все, как есть, про помирающую старушку да про кошкино молоко.

— Я ж, ваше высококородие, против присяги не пошел. Мог в лучшем виде сам себя смыть, стеклянным студнем по всей Расеи перекатываться... Поймай-ка у сокола на плече, у бабы под мышкой... Ан к окопной страде вернулся. Вы, ваше высококородие, извольте сундучок ослобонить, я вам чичас все наружу произведу, — от своего начальника какие ж секреты.

Звякнул сундучок веселой пружиной. Каблуков одной рукой шкалик вытащил, другой невидимую собачку к себе притянул, бестелесную пасть ей раскрыл.

— Ишь ты, ртуть курчявая!.. Ротный армейский цуцук, а на счет водки отворачивается. За пальцы меня хватать? Своего отдельного начальника?! Готово, ваше высококородие, извольте получить.

И действительно... Бабушке твоей Хны-Хны, преподобной Печерице! Сапог сам собой наземь шмякнулся, а промеж пальцев у Каблукова мясная собачка-Шарик вьется, пасть раззявила, нос морщит, лапой по языку мажет, винный дух соскребывает.

Ротный по сторонам глянул, воздух глотнул, Каблукову в самое ухо выпалил:

— Никому не показывал?

— Никак нет. Я, ваше высококородие, всей роте сюрприз готовил. В балагане на ярманке и за двургивенный такого сюжета не покажут. Пусть, думаю, узнают, кто есть таков Егор Каблуков...

— Эх, ты, — говорит ротный, — телятина с косточкой... Смотри ж, чтоб мышь не прознала, чтоб муха не догадалась... Чтоб ветер не подсмотрел. Ох, Каблуков, чего это мы с тобой теперь разделаем... Наград в штабе не хватит.

И пошел к дверям, будто к мазурке поплыл, — один глаз лукавый, другой за-дум-чи-вый...

* * *

Часы заведи, а ходить сами будут. К закату из полкового штаба вестовой в барак вкатывается: экстренно, мол, Каблукову явиться, да чтоб с ротной собачкой пожаловал. Фельдфебель удивляется, землячки рты порасстегнули, однако Каблуков ни гу-гу. Ноги шагают, а рука в затылке скребет: беспокойства-то сколько от старушки этой помирающей произошло.

Переступил он' через штаб-крылечко, писаря за столами переглядываются, полковой адъютант, насупившись, ус теребит, — почему, мол, такая секретность? Через него же первого всякие тайности проходили, а тут на-кось, — серый солдат со сверхштатной собачкой и хочь бы слово... Обидно.

Провели Каблукова в дальний закуток. Сам командир полка коридорную дверь на два поворота замкнул, вторую прикрыл, — ох, милый друг, Егор Спиридонович, что-то будет... И ротный тут же: один глаз лукавый, другой и того лукавее.

Дернул командир плечом, щеки пламенем отливают. Дать бы ему, Каблукову, промеж глаз, а ротного налево-кругом на гауптвахту, суток на десять, пока не очухается... Ан сначала-то проверить надо.

— Ну что ж, показывай, голубь. А уж потом и я тебе по-ка-жу... И зубом золотым скрипнул.

Подтянулся Каблуков. Он, что ж, худого не замышлял. Схватил Шарика поперек живота, баклажку вынул, да в пасть ему пропорцию и влил: сгинул Шарик, как дым разошелся.

Повеселел тут солдат совсем, а командира полка аж в малиновый румянец вдарило.

— Разрешите, ваше высокородие, фуражечку вашу?

Насмелился Каблуков, снял со стола да бестелесной собачке в зубы. И пошла, братцы мои, командирова фуражка козлом по всей горнице скакать, будто нечистая сила в нее из-под половиц поддувает...

Перекрестился командир мелкой щепотью.

— Тьфу, тьфу... Простая деревенская баба, кочерга ей под пятое ребро, а какую военную химию удумала...

Глаз у него, конечно, по-иному заиграл: та же опара, да другой кисель. Потрепал Каблукова по защитному погону, ротного к грудям прижал.

— С Богом! Валите в мою голову. Только, чтоб и воробей на телеграфной проволоке до поры-времени не услышал... Убью!

Обратил Каблуков Шарика в первобытное состояние, — шкалик-то с собой прихватил, — и за ротным на вольный воздух выкатился.

А ротный так и кипит. Ччас через фельдфебеля десять отчаянных самохрабрейших охотников вызвал. В баню их собрал, потому к бане рощица примыкала, — очень это по диспозиции способно было. Выстроились молодцы, один к одному — хочь в Семеновский полк в первую роту — и то не подгадят. Разведчики рьяные — блоха за немецкой пазухой повернется, и то уследят.

Про помирающую старушку ротный им, само собой, обсказывать не стал. Зачем православных землячков в сумление вгонять, — по нечистой линии сам Скобелев сдрейфит...

— Вот, — говорит, — львы, слышали, небось, — аэропланты теперь наши в краску-невидимку красить начали. Достигаем до точки. Разговор был, что и наушники такие к моторам приспособ-

лять начали. Глушители то-исть. Фыркнет он в небо, — ни цвета, ни зуда, ни стрепета. Врагу каюк, нам чистая польза... Ан теперь в главном штабе у нас новую вещь удумали... Состав такой безвредный один доктор химический сообразил. Хлебнешь рюмку, сразу тебя в бестелесность ударит, — ни ногтей, ни пупка, будто столб воздушный на невидимых подметках. Поняли, львы?

— Так точно, поняли. А как же опосля, ваше высокородие, когда замирение произойдет? У нас у всех жены-дети. Неудобно по домашности...

Усмехнулся ротный.

— Ничего, не робей. Вернемся с разведки, всем по чарке поднесу. Водка вмиг состав этот створаживает, опять все в теплое тело войдем. Ужель стану я солдат своих самолучших портить? Да и я ж с вами... Из приварочной экономии командир всем по десяти целковых обещал, окромя награды, — да и я от себя прибавлю... Подошвы войлоком все подшили?

— Так точно, подшили.

Повеселели львы. Да и Каблукова взмыло: ишь ты, с какой малости такое дело развернулось... А насчет доктора, может, ротный и правду сбrehнул: доктор этот в мирное время, может, в орловском земстве служил, — старушка от него и позаимствовалась.

— Ну, Каблуков, — говорит ротный, — действуй... Только как же насчет обмундирования? Немцы ж по пустым штанам-гимнастеркам палить будут. Это нам, друг, не модель.

— Не извольте тревожиться. Обмундирование я, ваше высокородие, спрысну. Уж насчет этого сам призадумывался, — однако действует... На Шарике ж ошейника и видом не видать было. Винтовок, между прочим, брать не придется. Сталь-дерево нипочем не поддается. Старушка-то не доглядела...

Сверкнул ротный глазом.

— На кой ляд нам винтовки! Не в них в этом деле сила... Только, ребята, друг дружку на аршине дистанции бечевками связать надо, а то разбредемся, как туман в поле. Говорить-то только тихим шепотом придется. Господи, благослови! Действуй, Каблуков.

Выстроились десять охотников в ряд. Каждому Каблуков по деревянной ложке налил, ротному последнему. Спрыснул всех, сам остатки хлебнул... Пронзительный состав...

Скрипнула дверь. В рощице за баней кусты зашуршали, будто ветер зеленую дорожку надвое распахнул. А ветра, между прочим, и с детское дыхание не было: на лугу спокой-тишина, пушинку оброни, сама наземь падет и не дрогнет. Огни кое-где по окраинным халупам зажглись, туман вечерний у моста всколыхнулся, — воздух сам с собой разговаривает:

— Эх, покурить бы теперь, ваше высокородие...

— Я тебе покурю. Попролам перерву, да еще надвое...

— Кто там с правого фланга споткнулся?

— Ничего... Держалась кобыла за оглоблю, да упала. Вали, землячки, дальше...

* * *

Отмахали верст с десять. Притомились солдатики, потому хоч видимости в них не было, однако пятки горят, как у настоящих. По дороге, как через местечко шли, баба полька, — из себя на рессорах, — руками всплеснула, к фонарю отскочила, глаза выкатила... «Иезус-Мария!» Плечо горит, будто медведь облапил, — а на улице никого... Затряслась, подол собрала — и ходу.

Зыкнул ротный, по голосу сразу признать можно:

— Какой там кобель на правом фланге озорует? Смотри, Вос-тяков, как в тело войду, морду тебе за это самое набыю окончательно. Зачем бабу обижаешь?

— Подвернулась она, ваше высокородие. Виноват. Эх, горе, на веревочке идем, а то занятно уж очень, как в этом самом виде ежели бы подкатиться к ней по-настоящему...

— Я тебе подкачусь... Обменяйся с ним, Козелков, местом. Разыгрался он что-то, как бугай в клевере.

У крайних домов на взгорье спохватился ротный: — А ну-кась, Каблуков. Веревочку я тебе приспущу. Смотайся-ка в лавочку, колбасы возьми конец, а то, окромя хлеба, провианту с собой не прихватили.

— Да как, ваше высокородие, брать-то? Колбаса по воздуху поплывет, купец с перепугу крик подымет, лавку замкнет. Попаду я тогда, как козел в прорубь.

Двинул его ротный невидимым локтем в невидимую косточку.

— Порассуждай у меня! Ты, хлюст, думаешь, что ежели скрозь тебя фонарь видать, так ты и разговаривать можешь? Каблуки вместе! В походе кур-гусей слизывает, ни одна бабка не встрепенется, — а тут учить тебя. Рупь смотри, в кассу вбрось, не азиаты мы колбасу даром брать.

Слетал Каблуков тихо-благородно. Рупь за колбасу, конечно, многовато... Полтинник подкинул, семь гривен сдачи себе отсчитал. Пошли дальше. Собачки ко следам их принохиваются, воют. Рас-толкуй-ка им, в чем тут секрет... Камнями кое-как отогнали, — неудобно ж команде по такому делу со свитой идти.

К самым, почитай, позициям нашим подошли. Темень кругом, не приведи Бог. Прожектор кой-где немецкий из-за речки светлым хоботом рыщет. Сползет, и совсем ослепнешь... Хочь ты телесный, хочь бестелесный, а ежели сам не видишь, — куда пойдешь.

Свернул ротный командир в бор.

— Ложись, братцы. Пожует малость, да и спать. Завтра чуть свет перейдем линию. Лопатки-то с собой прихватили?

— Так точно, — как приказано. Под гимнастерки подоткнули.

— То-то. Первым делом под их пороховой погреб подкоп подведем. Верстах в двух от ихнего расположения, это нам доподлинно известно. Бог поможет, и начальника их дивизии в лучшем виде

скрадем — и не фукнет: ¹Наделаем, лвы, делов. Только смотри у меня — ни чихать, ни кашлять... К бабам ихним ни-ни, знаю я вас бестелесных... Ежели у кого ненароком ¹бечевка лопнет, помни: сигнал — пароль «Ах вы сени мои, сени!»... По свисту своих и найдешь... Из подвигов подвиг, Господи благослови.

К сосне притулился, шинельку подтянул — и готов. На войне заснуть — люльки не надо, проснуться — и того легче.

.....

.....

Только это серая мгла по низу по стволам пробилась, вскочил ротный, будто и не спал. Глянул округ себя, да так по невидимой фуражке себя и хлопнул. Вся его команда не то чтобы лвы, будто коты мокрые стоят в одну шеренгу во всей своей натуральности... Даже смотреть тошно. Веревочка между ими обвисла, сами в землю потупились, а Каблуков всех кислее, чисто как конокрад подшибленный.

Дернул бестелесный ротный за веревочку — хрясь!.. — от команды отделился да как загремит... Хочь и не видать, а слышно: лапа перед ним сосновая так и всколыхнулась. С пять минут поливал, все пехотноармейские слова, которые подходящие, из себя выдул. А как немного полегчало, хриплым голосом спрашивает:

— Да как же это, Каблуков, случилось?! Стало быть, состав твой только от зари до зари действует. Стало быть, старушка твоя...

И пошел опять старушку эту благословлять. Не удержишься, случай уж больно сурьезный.

Вскинул Каблуков глаза, кается-умоляет:

— Ваше высокородие! Без вины виноват. Хочь душу из меня на колючую проволоку намотайте, сам больше того казнюсь. Вчерась, как колбасу покупал, штоф коньяку заодно спроворил. Ночь, думаю, светлая, авось пригодится. Старушка-то помирающая, оглобля ей в рот, явственно ж сказала: только водкой политура эта бестелесная и сводится. А про коньяк ни слова. Выпили мы ночью без сумления по баночке. Ан вот грех какой вышел...

Что ротному делать? Не зверь ведь, человек понимающий. Ткнул легонько Каблукова в переносье.

— Эх ты, вареник с мочалкой... Что ж я теперь полковому командиру доложу. Зарезал ты меня...

— Не извольте, ваше высокородие огорчаться. Немцы, допустим, газовую атаку произвели, — состав наш и разошелся. Так и доложите...

Голос за сосной ничего, добрее стал:

— Ишь ты, дипломат голландский. Ладно уж. Только смотри, ребята, никому ни полслова. Ну что ж, давай и мне коньяку, надо и мне слюду бестелесную с себя смыть.

Смутился Каблуков, подал штоф, а там на дне капля за каплей гоняется. Опрокинул ротный, пососал, ан порции, однако не хватило. Заголубел весь, будто лед талый, а в тело настоящее не вошел.

— Ах, ироды... Слетай, Каблуков, на перевязочный, спирту мне

добудь хочь с чашечку. А то в этом виде как же ворочаться-то: начальник не начальник, студень — не студень...

Благословил этак в полсердца Каблукова, в вереске под сосной схоронился и стал дожидаться.

<1931>

СОЛДАТ И РУСАЛКА

Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить, — оченно фельдфебель раков под водочку обожал. Засветил лучину, искры так и сигают, — тухлое мяско на палке-кривуле в воду спустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, — мяском духовитым не кажную ночь полакомишься...

Только было солдат приноровился черных квартирантов сачком поддеть, на вольный воздух выдрать, — шась, — кто-то его из воды за сапог уцепил, тащит, стерва, изо всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой, иву-матушку за волосья ухватил, — нога-то самому надобна... Мясо живое из сапога кое-как выпрастал, а сапог, к теткиной матери, в воду рыбкой ушел...

Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит русалка, мурло лукавое, по мокрую грудь из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет:

— Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая! А то б не ушел... Уж в воде я б с тобой в кошки-мышки наигралась.

— Да на кой я тебе ляд, дура зеленая? Играй с окунем, а я человек казенный.

— Пондравился ты мне очень. Морда у тебя в веснушках, глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила...

Рассердился солдат, босой ногой топнул:

— Отдай сапог! Рыбья кровь... Лысого беса я там под водой не видал, — у тебя жабры, а я б, как пустая бутылка, водой залился. Да и какая с тобой, слизь речная, любовь? На хвост-то свой погляди.

Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет хвоста-то... Отплыла напрочь, посередь речки на камень присела, сапогом себя, будто веером, от волнения обмахивает.

Солдат чуть не в плачь:

— Отдай сапог, мыбра. На кой он тебе, один-то. А мне полуразутому хочь и на глаза взводному не показывайся... Съест без соли.

Зареготала она, сапог на хвост вздела, — и одного ей достаточно, — да еще и помахивает. Тоже и у них, братцы, не без кокетства...

Что тут сделаешь. В воду прыгнешь, — залоскочет, просить не упросишь, — какое ж у нее, у русалки, сердце...

А она, с камушка повернувшись, кое-чего и надумала:

— Давай, солдатик, наперегонки гнаться. Я вплавь, по воде, а ты по берегу — вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет?

Усмехнулся про себя солдат: вот фефела-то... Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь плавучую не одолеют?

— Идет, — говорит.

Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала, — а он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтоб бежать способнее было...

Свистнула русалка. Как припустит солдат — трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце — колотушкой, медяки в кармане позвякивают... Уж и ракита недалече, — только впереди на воде, видит он, вода штопором забурлила и будто рыба чешуя цыганским монистом на лунной дорожке блестит... Добежал, — штык ей в спину! — плещется русалка супротив ракиты, серебряным голосом измывается:

— Что ж вы, солдатик, запыхавшись! Серьгу бы из уха вынули, — бежать бы легче было... Ну, что ж, давай повернем. Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает...

Повернулся солдат и отдышаться не успел, да как вдругорядь дернет: прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит... Врешь, язви твою душу, — в первый раз недолет, во второй перелет, — разницей подавишься!

Достиг до первоначального места, глянул в воду, — так фуражку оземь и шмякнул. Распростерлась рыба девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает:

— С легким паром. Что ж серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый. Камушек пососи, а то с натуги лопнешь.

Сидит солдат над кручею, грудь во все мехи дышит... Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял, — слышит под портянкой хрустит чтой-то. Сунул он руку, — ах, бес. Да это ж губная гармония, — за голенищем она у солдата завсегда болталась... У конопатого венгерца, что мышеловки в разнос торгует, в городе купил.

Приложился с горя солдат к звонким скважинам,дохнул, слева-направо губами прошелся, — русалка так и стрепенулась.

— Ах, солдатик! Что за штука такая?

— Не штука, дура, а музыка... Русскую песню играю.

— Дай мне. Ну-ка, дай!.. Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду...

Ишь, студень холодный, чего выдумала. Чтоб землякам на погибель солдат же ей и способ предоставил... Однако без хитрости и козы не выдоишь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает: как бы ее, скользкую бабу, вокруг пальца обвести.

— Сапог вернешь, тогда, может, и отдам...

Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз.
— Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармошь в руках подержать, авось обменяю.

Так он тебе и сошел... Добыл солдат из кармана леску, — без запаса ходил, — сквозь гармонь продел, издаля русалке бросил.

— На поиграй... Я тебе, — даром что чертовка, — полное доверие оказываю. Дуй в мою голову...

Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам, — глаза так светляками и загорелись. Ан, вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармонии бегут. Самой собой: инструмент намокши, да и она, шкура, понятия настоящего не имела... Зря в одно место дует, — то в себя, то из себя слюнку тянет.

— В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня, будто жаба на луну квохчет?

— А потому, красавя, что башка у тебя дырява. Соображения в тебе нет. Гармонь в воде набрякла, — я ее завсегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни, — да на лунный камень поставь. Она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент-от подсохнет.

Подплыла она, дуреха сырая, к камушку, гармонь в сапог, в самый носок, честно забила, — к бережку вернулась, хвостом, будто пес, умиленно виляет:

— Так обучишь, солдатик?

— Обучу, рыбка. Козел у нас полковой, дюже к музыке неспособный, а такую красавицу, как не обучить... Только, что мне за выучку будет?

— Хочешь земчугу горстку я тебе со дна добуду?

— Что ж, вали. В солдатском хозяйстве и земчуг пригодится.

Мырнула она под кувшинки, — круги так и пошли.

А солдат не дурак, — леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать, — гармонь поперек в сапоге стала... Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился.

Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблучком прихлопнул... Эх, ты, выдра тебя загрызи!.. Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристее...

Обобрал заодно сачком раков, что вокруг мяса на палке кишмя кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.

Вынырнула русалка, в ручку сплюнула, — полон рот тины, — в другой горсти земчуг белеет...

— Примай, кавалер, подарок...

Бросил он ей фуражку, не самому ж подходить:

— Сыпь, милая... Да дуй полным ходом к камушку, гармонь в сапоге-то, чай, на лунном свете давно высохла.

Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, земчуг в кисет всыпал, — вот он и с прибылью...

Доплыла она, шлендра полоротая, на камушек тюленем взлезла, да как завоет, — будто чайка подбитая:

— Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяник тебя задави-и...

А солдат ей с пригорка фуражечкой машет:

— Сапог на мне, гармонь при мне, а за жемчуг покорнейше благодарю. Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на ожерелко хватит... Счастливо оставаться, барышня. Раков, ваших подданных, тоже прихватил, — фельдфебель за ваше здоровье полускает...

Сплеснула русалка лунными руками, хотела было пронзительное слово загнуть, — да какая ж у нее супротив солдата словесность.

<1932>

АРМЕЙСКИЙ СПОТЫКАЧ

Обсмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему два месяца для легкой поправки: лети, сокол, в свое село... Бедро ему после ранения как следует залатали, — однако ж, настоящего ходу он не достиг, все на правую ногу припадал. Авось деревенский ветер окончательную разминку крови даст.

Попал он с лазаретной койки, можно сказать, как к куме за пазуху. На палочке ясеневого винтом кору снял, — ходи себе баринном да постукивай. Хочешь, на завалинке сиди, табачок покуривай, — полковница вдовая на распределительном пункте два картуза махорки ему пожертвовала. Хочешь, в коноплянике на рогоже валяйся, легкие тучки считай да слушай, как кудрявый лист шипит... Окопы словно в темном сне снились, — русский воздух, бадья у колодца звенит. Ручей за плетнем воркочет, петух домашний штаны клювом долбит, — тоже, дурак, нашел себе сласть.

Семейство у солдата было ничего, — зажиточное. Картофельными лепешками его ублажали, молоко свое, немеренное, в праздник — убоина, каждый день чаек. Известно — воин. Он там за них, вахлаков, в глине сидючи, что ни день — со смертью в дурачки играл, как такого не ублажить. Работы, почитай, никакой, нога ему не позволяла за настоящее приниматься. То ребятам на забаву сестру милосердную из редьки выкроит, то Георгиевский крест на табакерке вырежет — одно удовольствие.

А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли. Дубы кряжистые, — лапа во все концы, глазом не окинешь. По низу гущина: бересклет, да осинник, да лесная малина, — медведь заблудится. На селе светлый день, а в чашу нырнешь, солнце кой-где золотым жуком на прелый лист прыснет, да и сгинет, будто зеленым пологом его затянуло... Одним словом — дубрава.

Сидит как-то солдат под вечер на завалинке. Овцы с лужка через выгон серой волной к своим дворам катятся, — которая овца на солдатское голенище уставится, которая ясеневого палочку понюхает. Забава...

Подседа тут старушка одна знакомая; — черный шлык, глазки шильцем, язык мыльцем, голова толкачиком.

— Что ж, бабушка, — говорит солдат, — внучки твои малинки лесной хучь бы кузовок принесли... С молоком — важная вещь. Уж я бы им пятак на косоплетки выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я бы засушил, да фельдфебелю нашему, с дачи на фронт вернувшись, в презент бы и поднес. Гриб очень солдатским снеткам соответствует.

Пожевала старушка конец платка, головой покачала.

— Эх, сынок, ясная кокарда! Стало быть, ты про беду нашу и не слышал? Какие тут грибы да малина, ежели в лес не то что дите, — и сам кузнец шагу теперь не ступит...

— Вот так клюква! Медведи к вам, что ли, с западного фронта по случаю отступления на постой перешли?

— Эх, сказал. На медведей бы мы всем селом облавой пошли, нам же прибыль была б. В аптеке, сказывают, нынче за медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Каки там медведи... И свои лохматые, какие были, из лесу невесть куда ушли. Не то что человек, зверь лесной и тот не выдержал.

— Что ж, бабушка, за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они ж, милая, бессемейные, — сам от себя не расплодишься...

— А ты говори, да оглядывайся. Дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие... Допрежь того спокон веку мы спокойно жили. В лесу хочь люльку поставь: дятел на сук сядет, чуб набок, да и прочь отлетит. Только и всего. Да, вишь ты, ненароком правду сказал: не иначе, как с прифронтовой полосы на нас накатило... Волостной писарь сказывал, будто германы газ такой в самоварах ихних кипятят, — покойников неотпетых вываривают, на нашу сторону дух по ветру пушают... Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит, — лошади ли, медведи, вся тварь живая до подземного, скажем, жука вся как есть мрет. Стало быть, и нежить лесная, — тоже и ей дышать надо, — смраду этого не стерпела, вся начисто к нам и поддалась. Вот и поди в лес теперь по малинку...

— Да видал ли их кто, бабушка? Може, попритчилось кому с полугару? На сапог сам себе наступил, через портки перескочил да и ходу.

Обиделась бабка, лаптем пыль взбила, — натурально, старому человеку хрена в квас не клади.

— Воевать ты, сынок, воевал, а ум-то свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, что ли, чтоб зря цокотать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный, — при церкви на должностях состоит, — в лес по весне сунулся хворосту собрать, и того захороводили. Среди бела дня лешие с ним в кошки-мышки играть затеяли... Он под куст, а лесовик его за штаны, — он под другой, а там его не весть кто ореховым прутом по сахарнице. Гоняли, гоняли, как крысу по овину. Очумел он совсем, голосу

лишился. Только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался.

— А он бы им чего-нибудь на глас шестой спел, они б и отстали...

— Тебя не спросился. Каки там гласы, когда его в цыганский пот ударило; — как шкалик называется, только на третий день вспомнил...

— Контузия, бабушка, по-военному это будет.

— Что пузо, что брюхо, — мясо-то одно. А кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковывать. Да, спасибо, догадался: через левое плечо себя обсвистал, да черным словом три раза навыворот выругался, — только тем его и отшиб... С неделю опосля того на пятку ступить не мог.

Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, призадумался.

— Что ж, у вас меры какие принимали?

Заахала тут старушка, раскудахталась:

— Примали. Знахарь наш, Ерофеич, один глаз кривой, другой косой, — чай, сам его знаешь, — уж чего не делал... Первоначально тридцать три вороны поймал, черным воском им задки запечатал, да на опушке в полнолуние их и вытряс. Крику-то что было! Опосля семи живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал, — да от семи осин, что на Лысой Поляне растут, в разные стороны с наговором и спустил. Средства верное. Собрали мы ему на винцо, на пивцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. «Теперь, — говорит, — дело крепко припаяно, ни полшиша они мне беды не сделают...» Из дыма, вишь, веревку свил: лесовики пришлые, — военный крючок им не по мерке пришелся... Только это Ерофеич на бережку под ивой переобуваться стал, — глядь, сбоку самые матерые лешаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а лешие к нему, да за жабры: «ага, сват, сто шипов тебе в зад, — тебя-то нам и не хватало!» Сунули его головой в дупло, да как в два пальца засвистят, — так раки к ним со всего озера и выползли... «Эвона, — кричат, — вам закуска! Вон он, знахарь, вороний скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит... Дня на три вам, поди, хватит!..» Так бы и источили. Однако и знахаря голой клешней за пуп не ухватишь. Вынул он из-за пазухи утоплого пьяницы мозоль, — на всякий случай всегда при себе носил. Добыл серничек, чиркнул, мозоль подпалил: дупло пополам, будто бомбой его разодрало. Самого себя, как свинью, опалил, — однако случай такой: на мягкой карете не выедешь... Дополз домой, все село сбежалось, — по всему телу у него синие бобы, будто ситчик турецкий... Вот и сунься. Грибами теперь у нас, хочь сам архиерей прикати, не полакомишься.

Неладно, — думает солдат, — выходит. По городам, по этапным дворам, по штабам-лазаретам и слухом о таких делах не слышал. Порядок твердый, все как есть одно к одному приспособлено.

Будь ты хочь распрелешишь, — в казенное место сунешься, — шваброй тебя дневальный выметет, и не хрюкнешь. А тут в коренное русское село, в тихую глухомань этакое непотребство вонзилось...

— Ну, а к батюшке, бабушка, обращались?

— Обращались, розан мой, обращались. Насчет лесной погани, — говорит, — это дело не мое. Один суевер ветку нагнул, другого по ушам хлестнуло, третий — караул кричит. Серая брехня. Да и как вы к Ерофеичу обращались, пушай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варил. Обиделся, значит... Да, вишь, брехня брехней, однако ни попадя, ни ейные ребята тоже в лес и носу не кажут. А небось в былое время одной лесной малины в лето с куль насушивали... Стало быть, «третий суевер караул кричит», а четвертый под поповской периной дрожит.

Видит солдат, что туго завинчено. Чей бы бычок не скакал, а у девки дите... Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка мертвым рукавом по темному небу машет, тихим голосом спрашивает:

— А здесь в селе не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных?

— Наблюдалось, ох, наблюдалось... Чай, им в лесу, оголтелым, скучно. Озоруют и здесь. То коноплю кой-где серый дух, тьфу-тьфу, узлом завяжет, то поросеночка над избой в трубу сунет... То калитку с погоста повивальной бабке на крыльцо приволокут. А наемни у учительши курица петухом пела, срам-то какой. Чай, тоже и у учительши амбиция своя есть... В стародавние времена леший кой-когда в лесу с девушки платок стащит, а таких подлостей не производили. Видно, и лешие нынче, — откуль их нанесло, — тоже осатанели. Чистые фулиганы... А вот еще случай был... Да ну тебя, сынок, к Богу, — не путем спрашиваешь, не ко времени отвечаю. Проводи-ка ты меня до избы, а то борону у плетня увижу, не весть что померещится... А все из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пушают. Вот и дождались.

Доставил солдат Божью старушку по принадлежности. К своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивает. Что ж, ежели в сам-деле с прифронтовой полосы купоросным газом сволоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти. Ужель свое село так нечисти болотной и предоставить?..

* * *

В пустую кадку постучи, пустота и отзовется, — ан солдатская голова не без начинки, братцы... На заре, чуть ободняло, прокрался он задворками к бабке доказнице. Брякнул в оконце. Выснула она свое печеное яблочко наружу, как мышь из-под лавки.

— Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли? Ничего у меня, старушки, про вас, солдат, не припасено.

— А ты, мать, поищи, — найдется. Бочоночек самогону, ведра в два, уважь, выкати. За мной не пропадет.

Всполошилась она, пискариком затряслась, — один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит:

— Да что ты, герой, окстись! Каки у меня самогоны? Окромья толокна да квасу, нет у меня и припасу.

Солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется:

— Ты, бабка, не рассусоливай. Не урядник я. Для общества, не для себя стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альбо сам пропаду, альбо лес наш по всей форме очищу... Да еще пакли дай, старая. Сруб у тебя новый ставили, авось осталось.

Засуетилась старушка, видит, дело всурьез пошло. Мырнула в подполье, — бочоночек выволокла, — жилистая была, лахудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплей для прикрытия забросал. Попер тачку по-за плетнями, аж колесо запищало. Час ранний, ни на кого не наскочишь... Правой ногой хромлет, однако ж ему наплевать: суставы-то у него еще во-как действовали...

Докатил до опушки, одежду с себя долой. Сел под куст в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом, да в пакле и вывалялся. Чисто как леший стал, — свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха венчиком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зеленю отливают, потому на голову, заместо фуражки, цельный куст вереску нахлобучил.

Вышиб он втулку, стал водку поядренее заправлять: махорки с полкартуза всыпал, да мухоморов намял, туда ж запихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера!

Покатил он бочонок в чашу, палочкой подпихивает, козлом подпрыгивает, сам пьяную песню поет:

— А КТО ТАМ ИДЕТ?
ЛЕШИЙ БОРОДАЧ.
А ЧТО ЕН ВЕЗЕТ?
ЧЕРТОВ СПОТЫКАЧ...

Слышит — по орешнику будто ползучая плесень шелестит, с дуба на дуб невесть кто сигает, кудрявым дымом отсвечивает.

Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Пот по морде ползет, глаза заливает, — а утереться нельзя, потому все лесное обличье с себя смажешь. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил, бочоночек на попа поставил, застучал в донышко, — на весь лес дробь прокатилась.

С ветки на ветку, с ельника на можжевельник подобралась мутная нежить, — животы в космах да в шишках, на хвостах репей, на голове шерсть колтуном. Кольцом вокруг солдата сели, языки под мышкой, глаза лунными светляками. Один их них, попузастее, — старший, должно быть, потому у него светлая подкова на грудях висела, — хвост свой понюхал, словно табачком затянулся, спрашивает:

— Ты, милачок, откудава прибыл?

— Для собственного ремонта с западного фронта, из Беловежской Пуши... У вас здесь погуще.

— А в бочонке у тебя что за узвар?

— Армейский спотыкач, ковшик выпил — дуешь вскачь. В гродненской корчме подцепил, да сюда прикатил.

Леший рот растянул, а на животе у него глядь, — второй рот распахнулся, да оба враз и зачмокали.

Ловко, — думает солдат, — энто у них приспособлено...

— А почему от тебя, — спрашивает пузастый, — пехотным солдатом пахнет?

Лешие, конечно, не потеют, — солдатский-то букет ему в нос и бросился.

— Да я по этапным дворам бродил, по ночам солдатские пятки брил. Вот, извините, и пропах... Да вы не скулите. Вона у пня дохлый крот, вы ноздри натрите, — авось отшибет.

Подобрались лешие поближе, а солдат втулку приоткрыл, нацедил пеннику с полчерпака, стоит поплескивает, — так они кругом на хвостах и заелозили.

— Ну, что ж, подноси, — говорит старший. — Чего дразнишь? А то мы тебя и в кампанию свою не примем...

Как гаркнет солдат:

— Встать! Становись в затылок... Да чтоб по два раза не подходить, знаю я вас, сволочей одинаковых...

Потянулись они к бражке, как старушки к кашке: кто пасть подставляет, кто ухо, а кто и того похуже. Некогда солдату удивляться, знай льет — кому в рот, кому в живот, або вошло.

И минуты не прошло, взошел им градус в нутро, забрало их, братцы, аж до копчика. Похохатывать стали, да с перекатцем, да с подвизгом, — будто кошка на шомполе над костром надрывается...

А потом играть стали: кто на бочке, брюхом навалившись, катается, кто старшего лешего по острым ушам черпаком бьет... Кто в валежник морду сунувши, сам себе с корнем хвост вырывает. Мухомор с махоркой на фантазию, братцы, действует...

Назюзились они окончательно. В кучку сбились, друг с дружкой, как раки, посцеплялись — шерсть-то у них дремучая, — покорежились раз, другой и аминь. Будто траву морскую черт бугром взбил, копыта об ее вытер, да и прочь ушел.

Запалить их, что ли? — думает солдат. Спирт внутри, пакля наружу, — здорово затрещит. Однако ж, не решился: ветер клочья огненные по всей дубраве разнесет, — что от леса останется? Нашел он тут на бережку старый невод, леших накрыл, со всех концов в узел собрал, поволок в озеро. Груз не тяжелый, потому в них, лесных раскаряках, видимость одна, а настоящего весу нет. А там, братцы, в конце озера подземный проток был, куда вода волчком-штопором так и вбуравливалась.

Подбавил он в невод камней — для прочной загрузки — да всю артель веслом щербатым в самый водоворот и спихнул. Так и за-

хлюпало! Прощай, землячки, — пиши с того света, почем там фунт цыганского мяса...

Обмыл с себя солдатик паклю, да крахмальную слизь, морду напоротником вытер, пошел одеваться: нога похрамливает, душа вприсядку скачет... Ловко концы-то сошлись. На войне раненого полуротного из боя вынесешь, Георгия дают, а тут за этакий мирный подвиг и пуговкой не разживешься. А ведь тоже риск: распознай его лешие, по косточкам бы раздергали, кишки по кустам, пальцы по вороньим гнездам...

Добрел он до села, у колодца общественного стал, как загремит в звонкую бадью ясеновой палочкой:

— Сходись, старый да малый! Бог радость послал: грибами-малиной теперь в лесу хочь облопайся...

Сбежался народ, кто с лепешкой, кто с ложкой, — дело-то в самый обед было. Сгрудились вокруг, удивляются: солдат трезвый, а слова пьяные.

Однако как он про свою победу-одоление рассказал, так все и дрогнули. Солдат достоверный был, с роду он не брехал, — не такого покроя.

— Да как же ты их, легкая твоя душа, обошел-то? Ерофеич, на что мастак, и тот, как колючей проволоки наглотавшись, из лесу задом наперед еле выполз.

Смеется солдат, глаза, как у сытого кота, к ушам тянутся.

— Военный секрет, милые. Авось и в соседнем уезде пригодится. Тачку-то бабкину прихватите, когда из лесу вертаться будете, — в ней главная суть.

Тронулось тут все население беглым маршем в лес, — и про обед забыли. Только платки да портки за бугром замелькали. Ребятки лукошки друг у дружки рвут, через головы кувыркаются. В лес нырнули, так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось.

* * *

Сидит солдат на завалинке, прислушивается. Ишь гомон какой над дубами висит. Дорвались...

Покосился он тут вбок, — Ерофеич по плетню к нему пробирается, тяжело дышит, будто старшину в гору на закорках везет... Добрался до завалинки, сел мешком, ласково этак спрашивает, а у самого морда такая, словно жабой подавился:

— Что ж ты, служивый, хлеб у меня перебиваешь?

— Да я, папаша, не для ради хлеба, — ради удовольствия. Хлеба у нас и своего хватит...

— Как же ты их, милый человек, обчекрыжил? Умственности у тебя никакой нет... Правил ты настоящих не знаешь...

— Никак нет. Умственности, действительно, за собой я не замечал.

— Да как же ты все-таки распорядился? — спрашивает Ерофеич, а сам все придвигается, ушами шевелит, — вот-вот солдату в рот вскочит.

— Очинно просто. Я, папаша, без правил действовал. Только они на меня в лесу оравой наскочили: «Кто такой да откуда?»». А я к стволу стал, да так им бесстрашно и ляпнул: «Села Кривцова, младший подмастерья знахаря Ерофеича!» Перепугались они на-смерть, имя-то твое услышавши, — да как припустят... Поди верст за сорок теперь к западному фронту пятками траву чешут.

Насупился Ерофеич, глазом косым повел — нож в сердце!

— Н-да. Ну, как знаешь. Не плюй, брат, в колодезь, авось он и не высох. На фронт ты вернешься, а, может, я б тебе слово какое наговорное против пули бы вражеской дал.

— Спасибо, папаша. Да мне оно ни к чему. Я там, в окопах сидючи, так приспособился, что германские пули голой рукой ловлю, да им же обратно и посылаю...

Видит знахарь, что солдат ложку свою крепко держит. Голос он переменял, да этак жалостливо к солдату и подсыпается.

— Ну, да ладно... Натурально каждый свой секрет про себя держит. А не мог ли бы ты, друг, беде моей пособить, — уж я отслужу, будь покоен. Тело у меня после того случая все синими бобами пошло. Средства у тебя нет ли какого, оченно уж обидно.

Поиграл солдат сапогом, плечом передернул.

— Средства и без меня найдется. Слыхал я тут, что ты к солдатке одной не путем, сладкий старичок, подкатываешься. Так вот, как ейному мужу Бог приведет невредимо с фронта воротиться, — отполосует он тебя, рябого кота, кнутом, — вот весь ты синий и станешь. В ровную, стало быть, краску войдешь.

Вскочил Ерофеич, горькую слюнку проглотил, — аж портки у него затряслись. А солдату что ж. Чурбашку из-за пазухи вынул да и принялся из нее командира полка вырезать. Разве с таким сговоришься?

1932

МУРАВЬИНАЯ КУЧА

1

Призывает король своего единственного сына.

— Что ж, Вася, девятнадцатый тебе год, а никаких поступков от тебя не видно. Либо зайцев травишь, либо на золотой балалайке играешь. Ни с чем несообразно. Проехался бы ты по чужеземным королевствам, посмотрел, как люди живут, где какие распорядки. Авось пригодится... Я уж сутулиться стал, твое время подходит. Поезжай в партикулярном виде, будто ты обыкновенный купеческий сын, по торговой части к делам принюхиваешься. А то если королевичем заявишься, прием известный: балы да охота, — все та же позолота. Ничего настоящего и не увидишь... Слугу себе выбери из дворцовой стражи, — там народ дошлый. А для направления ума

дам тебе генерала. Есть у меня один на примете, до того умный, что и вакансии для него у меня в королевстве не нашлось. В штатской форме с тобой и поедет. Поди в баню, попарься перед дорогой, да и с Богом...

Королевич отцу не перечит. В караульное помещение побежал, на ногу повернулся, солдата, который для забавы котенка в подсушок запихивал, в сад поманил.

— Глаза у тебя, Левонтий, с искрой... Я веселых очень обожаю. Папаша меня в заморские страны в вояж спосылает. Хочешь со мной?

— Так точно, ваше королевское высочество. Как лист перед травой.

— Ты, — говорит королевич, — насчет листа брось. По службе передо мной не тянись, я тебе воспрещаю. Поедем мы в вольном платье, стало, и разговор промеж нас вольный должен быть. Я — будто купеческий сын, ты — слуга закадычный. И генерал при нас ученый будет состоять. Сбоку-припеку для умственного намеку. Кислый, черт, не приведи Бог, — один бы я с ним нипочем не поехал.

— Ничего, — отвечает солдат. — Они, как пожилые, по своей части орудовать будут. А мы свой интерес везде найдем, будьте покойны-с. В коляске поедем, альбо верхом?

— Верхом, само собой, веселее. Да, кажись, по купечеству все больше в колясках ездят. Ты уж там собери, что надо, а я пойду в баню помыться. Приходи после меня, я тебе с полкотла оставляю...

Управились быстро. Смазал Левонтий колеса, чемоданы сзади прикрутил. Караульному начальнику доложил: еду, мол, в командировку по казенной надобности, заморских воробьев считать. Счастливо оставаться.

Выехали они под вечер потаенно, чтобы лишней огласки не было. Левонтий на козлах сидит, тройкой правит, кнутом над головой свищет — «эх вы, симпатичные!». Да тишком от генерала собачью ножку из рукава потягивает.

Выкатились они за приграничный шлагбаум. Генерал мягкий вяземский пряник покусывает, королевичу мораль читает.

— Первым делом, ваше высочество, насчет напитков — ни-ни. Потому в пьяном виде человек главную суть проморгает, весь мир ему вроде питейного заведения представляется, — с рюмкой спознаться, себя потерять. Напиться и в своем королевстве можно... Опять же и по женской части не очень озоруйте. Папаша вас для государственной выучки спосылает, а не то, чтобы бабы хвосты раздувать. Я уж давно с этой позиции отошедши, и ничего, ума прибавил, чего и вам желаю. Примечайте, что к чему надлежит: какое на войсках обмундирование, почем хлеб на базаре, какие ваши товары идут, какие зря по лавкам преют. Кажинный вечер в полевую книжку на постоялом дворе рапортички свои заносите, я проверку сделаю. Опять же...

Прислушался генерал, — храпит с правого боку королевич, аж

кони шарахаются. Растолкал он его деликатно, замечание ему сделал:

— Я вам, ваше высочество, линию поведения разъясняю, а вы, например, храпите. Хотя я и в штатском, однако ж, неудобно.

Извиняется королевич:

— Дорога тряская, слова усыпительные. Как не вздремнуть... Вином я, между прочим, не занимаюсь, бабами пока что не интересуюсь, млад еще, — что ж вы меня только зря растравляете...

Перемигнулся он тут с Левонтием:

— Гони, Левонтий! Что ты там на козлах вожжи доишь. Вишь, город чужеземный под горой показался... Во тьме ни лысого беса не увидим, — что ж я тогда в полевую книжку запишу?

Загremели колеса. Генералу и крышка: на полном ходу не больно поговоришь, — либо язык прикусишь, либо слюной подавишься. Нутренности свои на толчках придерживает, в угол притулился, — вылетишь на косогоре, ложками не соберешь.

2

Покрутились в одном городе, завернули в другой. Пиявит генерал королевича, смотреть тошно. То на площадь водит для наблюдения, как казенного вора березовой лапшой кормят, то кирпичи на постройке колупает: снаружи красота, а в середке песок трухлявый, — «у нас не в пример чище». На парад из толпы глазели. Эка невидаль! Равнение держат, а смотреть скучно. Девушки тут некоторые на королевича в вольном платье засматриваться стали, — генерал его плечом заслонил. В полевую книжку и записать нечего.

А Левонтий все при конях, да при коляске. С лица посерел — ни уйти, ни напиться, — потому неизвестно, когда генерал с королевичем на постоянный двор с проходки вернутся. Вот тебе и заморские края, — будто с завязанной мордой в театре сидишь...

В третье королевство переметнулись. Проснулся это генерал ни свет ни заря, — двужильный пес был, — кликнул Левонтия: «подавай кофий». А королевич из своего номера знак сделал — «затормозись на минутку».

Задержался Левонтий около койки, смотрит на королевича, а у того голубые невинные глаза в синий стальной цвет ударяют, до того у него сердце кипит.

— Что ж, Левонтий... Так с им тут и возжаться, кирпичи да парады, тетку его в негашеную известь! Придумай, брат, чего-нибудь, как бы нам хочь один день без него позаняться.

— Дело не хитрое, — отвечает солдат, — разрешите безвредный сонный порошок им в кофий бухнуть. В сон их ударит, хочь все бакенбарды по волоску выщипи, до самой полночи не прочухается. Будто судак литургический!..

— Сыпь! Ты мне подчинен, я тебе приказываю. А то, ежели без передышки терпеть, как бы я его всурьез не ухлопал.

Раз-два, вваливается Левонтий к генералу, чашка на отлете, пар штопором.

Хлебнул тот, по лицу легкий туман прошел. «Горчит чтой-то»...

— Никак нет. Кофий самый генеральский, казанского размолу. Извольте выкушать. — Опростал генерал чашку, хотел было губу обшлагом утереть, да так на диван и запрокинулся. Хрюкнул — и готов. Хочь на блюдо клади...

Стрепенулся королевич:

— Куда ж мы с тобой, Левонтий, закатимся?

— Перво-наперво в лес. Двустволки прихватим, пташек постреляем. В речке искупаемся, умственность-то эту надо вам с себя смыть. Да генеральскую фляжку дозвольте в ягдташ сунуть. Они хоть и пожилые, а насчет рому мастаки. Выпьем, закусим, а там — что Бог пошлет.

Прикрыли они генерала скатеркой, чтоб мухи его не заели, — и в ходу. Лесная глушь тут за постоянным двором и простиралась.

* * *

Шли они, шли, зеленая мгла глаза застилает, дух ядреный. Ни пташки, ни зверя. Заместо зайцев друг за дружкой гоняли, кровь в них взыграла, — из-под генеральской опеки на целый день ушли. Сполоснулись в ручье, выпили, закусили, — тронулись дальше. В какую сторону ни сунутся, конца-краю лесу не видно. Стали они сумлеваться, откуль пришли, куда на постоянный двор направление держать? Плутали, плутали, ан тут и лес оборвался, вдалеке в два яруса голубые холмы маячат, по скату то ли туман белеет, то ли овцы пасутся. Глянул королевич в подзор-трубу: по углам, будто сахарные головы, башни стоят, промеж их стена в зубцах белой змеей вьется.

— Эва! Никак крепость, Левонтий? Авось там и дорогу укажут и коней дадут... Чего зря кружить... Время не раннее. Айда!

Сказать просто, да не так-то и шагнешь. Кругом топь, на зеленый мох ступишь, так по брюхо в болото, как в простоквашу, и влипнешь. Выдрались они на пенек, пообсохли. Экая досада. Ни тропы, ни дорожки. Что ж за крепость такая без подхода?

Возрился это Левонтий из-под ладони, наземь пал, королевича к себе пригнул: «Нишкни! Вишь там, справа, лиса по кочкам сиагает».

Только было королевич за двустволку схватился, чтобы с коленя зверя срезать, а Левонтий рукой дуло отвел:

— Не извольте стрелять. Лиса в крепость продирается, должно, у ей там нора под горой... Валите за ее хвостом, ишь, так вымпелом и горит, — авось и мы доберемся...

Стали они с кочки на кочку перепархивать, крепость все явственней обозначается. Только к башне подтянулись, на твердую землю ступили, — шась — из ворот бабий взвод с ухватами на перевес налетел, локти незванным гостям прикрутил.

Резонов никаких не принимают, волоком волокут, упираться не

упирайся, — здоровенные бабы были, чистые медведицы. Притащили их к парадной избе, сидит на крыльце строгая девушка — бровь шнурком, грудь ананасом, глаза — лед бирюзовый. Вроде как ихняя царица. Обсказала ей старшая взводная баба, в чем суть. «Заявились людишки, пол мужеский, собой слабосильные. Бают, будто с дороги сбились, а как скрозь топь прошли, и сами не знают».

Усмехнулась царица, видит, — враг неопасный. Приказала Левонтия — пока что — в баню посадить, караульную девушку к нему приставить. А королевича на крыльце против себя посадила — мотать шерсть. Куда ж его, такого сахарного, сторожить, и сама управится. Сидит Левонтий в бане в полной прохладе, с отчаянной скуки палочку строгают, досада его грызет, аж в глазах рябит. Ишь ты, дело какое! В бабий полон попали, хочь никому и не сказывай.

Караульная девушка на пороге рукавицу вяжет, ухват к лавке прислонила. Из себя кубастенькая, личико просфоркой, плечики — одно беспокойство...

— Эй, ты, караул почетный! Как тебя звать-то?

— Таней зовут. А тебе ни к чему. Сиди, коли посадили.

— Да что ж зря сидеть? Не цыплят высиживать? Где у вас, Таня, мужики-то? Грудных ребят кормят что ли?.. Почему бабы в караул заступают?

— Отродясь у нас мужиков не было. Этого добра не держим. Бабье у нас царство. Сами собой управляемся.

— Ишь ты! А как же у вас, например, насчет пополнения населения?

— Штука какая. Старушки у нас специальные к этому приспособлены... В чужие земли их потаенно спыслаем, они нам малолеток, девочек-сироток и приставляют...

— Ловко! Стало быть, чужими трудами подпираетесь. А как же старушки через топь пробираются? На лягушках верхом, что ли?..

— Зачем через топь. Она непролазная. Подземный ход у нас тайный есть... Да тебе знать-то не полагается. Бес вас поймет, зачем вы к нам препожаловали. Сиди и не вякай.

— Это точно. Государственный секрет прохожим выдавать не полагается. Ты, вижу, девушка натуральная... А как у вас, например, насчет пищи?

— Черники поешь. Вон, полная плошка стоит.

— Шут с ей, с черникой... С нее только язык лубенеет. В полон берете, а продовольствие воробьиное. Тоже, государство... Ватрушку бы хочь поднесла.

— Какие тебе ватрушки! Творогу да яиц у нас и в заводе нет. Потому мы ничего мужского, тьфу-тьфу, ни быков, ни петухов не держим. А без них куры не несутся, коровы пустые ходят...

Овощами обходимся, ягоды у нас да мед, грибов не оберешься. Пожуй вот корочку. Ишь, гладкий какой, авось до утра не помрешь...

Встал Левонтий, палочку в угол швырнул, подошел к Тане, рядом на лавку сел.

— Ты ухвата-то не трожь, арестованному не дозволяется.

— Тоже оружие!.. Ведьмам пятки чесать. А ты, девушка, смотри: видишь над баней гнездо — ласточка живет, птенцов воспитывает. Чай, не одна живет, — с женщиной. Без мужчины с этим делом не справишься.

— Мне-то что. Не я распорядки здешние заводила. Зато без командиров живем. Вот сменяюсь, да пойду с бабами в чехарду играть... Тебя как звать-то? Что скучный сидишь?

Подсыпается солдат поближе.

— Левонтием зовут. Некоторые девушки понимающие и Левонтий звали... Жук у вас, Танюша, между прочим, по плечу ползет. Дозвольте снять.

— Не замай, черт! И жука-то никакого нет, все врешь. Ишь, как от тебя женщиной несет.

— Не козлом же пахнуть. Зря хайшь. Рому, Таня, не хотите ли?

— Что за ром такой?

— От бешеного бычка штоф молочка... Хлебните. Вишь, закашлялась, розан какой изумрудный. Да ты что ж отодвигаешься. Я тебе добра желаю.

— Не приставай, охальник! Еще кто мимо пройдет, ненароком в дверь заглянет.

А сама нет-нет, да к Левонтию и приклонится. В новинку ей, стало быть.

— Да ты в уголок пересядь. Здесь в тени способнее. Эх, Таня, Танюша... Глазки у вас, можно сказать, знаменитые. По всем королевствам ездил, таких не видал. Натуральные глазки.

— Да ты все врешь...

— Лопни моя утроба. А ручки... Откуль что берется. Чисто лен бархатный. Ты когда с караула сменяешься?

— К закату. Рябая Алена заступит. Злая она, нос конопатый. Ты к ей, смотри, не подольщайся. О полночь мой черед. Зайца тебе принесу жареного.

— Зайцы разве у вас плодятся?

— Да они так, самотеком... Вроде ласточек. Мы тому не причинны... Рубашку мне потом дашь, я тебе стираю... Вот бабы наши баяли, будто все вы, мужчины, хуже чертей. А ты ничего, приятный.

Ухмыляется Левонтий. А сам все жучка на круглом плечике шарит. И шут его знает, куда он, жук энтот, уполз...

* * *

В прочих королевствах время колесом бежит, а тут застопорило: будто в подводном царстве на дне песок пересыпаешь.

Ослобонили Левонтия из банной кутузки, — должности никакой. Хочешь — раков под ракистой лови, хочешь — канву из девичьих узоров выдергивай... Пробовал было он баб ратному строю

обучать, рукой махнул. Команды не слушают, регочут, кобылы, да и с ухватами какой же строй! Одна срамота. Скомандует «стрельба с колена», — а они крутые бока почесывают да Левонтию миловидные намеки подают. С поста-то их давно на скоромное потянуло, — держи ухо востро.

Однако он не интересуется. Не такой был солдат... Чего тут дожدهшься? Капустным комендантом назначат, косу отпусти, да на девок покрикивай. Кабы не Таня, магнит румяный, да не королевич, — давно бы он по лисьим кочкам домой подался: своя дверь — как гусли скрипит, чужая — собакой рычит.

Опять же с королевичем неладно. Пришла его к себе царица, ни на шаг не отпускает. В капоты свои парчовы рядит, кудри помадит. Совсем обабился, хочь в лукошко сажай. Что хорошего. Сам себя разжаловал, из парадных королевичей к бабьей царице в игрушки определился, блох ейных на перине кормит. При таком и состоять обидно.

Чистил как-то Левонтий около парадной избы двустволку, за-свистал солдатский походный марш своего королевства... Услыхал королевич, по лицу словно облако прошло, задумался. Ключуно, стало быть, — вспомнил. Царица к нему с теплыми словами, плечом греет, глазами кипятит, а он ей досадный знак сделал, не мешай, мол, слушать... С той поры Левонтия и близко к крыльцу не подпускали. Определили его за две версты в караульное помещение, дежурным бабам постные щи варить. Свисти, соловей, сколько хочешь...

Три дня варил, словом ни с кем не перекинулся. Бабам досадно, а ему наплевать. Все планы свои раскидывал, — солдатская голова его сто поверток знает. Да все за кухонный порог с отчаянной скуки поглядывает, как дохлую галку муравьи обглаживали.

На четвертый день к вечеру вызывает он через Танюшу королевича на черное крыльцо, манит его в сад, в беседку. Брови принахмурил и страшные слова говорит:

— Беда, ваше высочество. Нынче утром я в бурьяне, под караульной башней, штаны латал, бабий разговор ненароком подслушал. Бунтуются они, идолицы, хотят вас на муравьиную кучу в натуральном виде посадить.

Испужался королевич, за поясок схватился: «Как так? За что про что?»

— За то про то, что вы ихнюю царицу из седла выбили, все ихние правила нарушили. У них устав твердый.

— Да разве ж я ее из седла выбивал?

— Ну, кто-кого, где им разбирать. Муха ли к меду липнет, мед ли к мухе. А чтобы вам не обидно было, порешили и ее с вами, спинку к спинке привязавши, таким же манером остудить... Муравей у них крупный, в три дня и ногтей не останется.

— Вот так поднес! Как быть-то, Левонтий?

— Так и быть. Звание свое природное вспомните, и, между прочим, вы есть мужчина. Капот ноги путает... Знайте, сударь, честь:

погрелись, да и вон. Подземельный выход мне через одну девушку известен, костюм ваш штатский я в ихнем чейхаузе выкрал. Надо нам беспременно в эту же ночь и бежать.

— Не благородно, Левонтий, выходит. Женщину я зря растревожил, а сам в кусты.

— Не извольте огорчаться, мед ваш мы с собой прихватим. Потолкуйте с царицей, что ей слаше: здесь без вас бело тело муравьям скормить, либо с вами на воле на королевскую вакансию выйти... Генерал, поди, заждался, землю под собой роет. Папаша без вестей истосковался. Час сроку даю, обдумайте. Тоже и я не безногий, тони, кому охота, а мы на песочек...

Пала темная ночь, все в аккурат по левонтьеву расписанию и вышло. Объявилась у подземельного хода царица, королевич за ей, в затылок. И Левонтий тут как тут, а сбоку девушка, личность закутана, с узелком.

Всмотрелась царица, всполошилась:

— Ты-то куда, Танюша?

Девушка, само собой, разъясняет:

— Чем я других хуже... Устав и я нарушила, Левонтий подтвердить может. Ужели мне одной за вас всех на муравьиной куче сидеть?

Засмеялась царица тихо-тихо, будто мелкий жемчуг на серебряное блюдо просыпала. Раздвинула на горе куст ежевики, взяла королевича за теплую ручку. Таня огарок зажгла — сгнули. Левонтий за ими вроде прикрытия тыл защищает.

Идет и все петли свои в голове плетет. Теперь, стало быть, королевич главную науку произошел — невесту себе выбрал, не станет, поди, по заморским краям больше трепаться. А генерал, что он супротив может. Его для умственности послали, а не то, чтобы после кофия весь день до вечера на диване дрыхнуть. За этакое поведение король не похвалит...

Подтянулся он к Тане поближе, на ухо ей разъясняет: «Ты, Танюша, смотри. У нас тоже в королевстве устав строгий. Кто из вашей сестры с кем одним спознался, того и держись. А не то чичас на муравьиную кучу посадят. Поняла?»

Двинула она его локтем под пятое ребро, осерчала: «Отвяжись, леший. И так я, как в тебя, дурака, врезалась, — дни-ночи не спала, аппетиту решилась. Ужель снова из-за вашего брата беспокойство такое принимать?»...

1931

МИРНАЯ ВОЙНА

За синими, братцы, морями, за зелеными горами в стародавние времена лежали два махоньких королевства. Саженью вымерять — не более двух тамбовских уездов.

Население жило тихо-мирно. Которые пахали, которые торговали, старики-старушки на завалинке толокно — хлебали.

Короли ихние между собой дружбу водили. Дел на пятак: парад на лужке принять, да кой-когда, — министры ежели промеж собой повздорят, — чубуком на них замахнуться. До того благополучно жилось, аж скучно королям стало.

Был у них на самой границе павильон построен, чтоб далеко друг к дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в суседском.

Сидят они так-то, дело весной было, каждый на своей половине, в шашки играют, каждый на свою землю поплевывает.

Стража на полянке гурьбой собрамшись, кто в рюхи играет, кто на поясах борется. Над приграничным столбом жучки выются, — какой из какого королевства и сам не знает.

Вынул старший сивый король батист-платок, отвернулся, утер нос, — затрубил протяжно, — спешить некуда. Глянул на шашечную доску, нахмурился.

— Не ладно, Ваше Королевское Величество, выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла. А теперь гладко, как у бабы на пятке... Ась?

Младший русые усы расправил, пальцами поиграл.

— Я твоим шашкам не пастух. Гусь, может, мимо пролетающий крылом сбил, али сам проиграл. Гони дальше...

— Гусь? А энто что?.. — и с полу из-под младшего короля табуретки шашку поднял. — Чин на тебе большой, королевский, а играешь, как каптенармус. Шашки рукавом слизывает.

— Я каптенармус?..

— Ты самый. Ставь шашку на место.

— Я каптенармус?! От каптенармуса слышу! — скочил младший король с табуретки и всю игру полой халата наземь смахнул.

Побагровел старик, за левый бок хватился, а там вместо меча чубук за пояс заткнул. Жили прохладно, каки там мечи.

Хлопнул он в ладони:

— Эй, стража!

Русый тоже распетушился, кликнул своих.

Набежали, туда-сюда смотрят: нигде жуликов не видно. Да и бить нечем, — бердышей-пищалей давно не носили, потому очень опасная жизнь была.

Постояли друг против друга короли, — глаза, как у котов в марте, — и пошли каждый к себе подбоченясь. Стража за ими, — у кого синие штаны за сивым королем, у кого желтые — за русым.

* * *

Стучат-гремят по обеим сторонам кузнецы — пики куют, мечи правят. Старички из пушек воробьиные гнезда выпихивают, самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских запасных штабов моль веничком выбивают, мундиры штопают, — слезы по ни-

ткам так и бегут. Мужички на грядках ряды вздваивают, сами себе на лапти наступают.

Одним малым ребятам лафа. Кто на пике, заднюю губернию заголив, верхом скачет... Иные друг против дружки стеной идут, горохом из дудок пуляют. Кого в плен за волосы волокут, кому фельдшер прутом ногу пилит. Забава.

Призадумались короли, однако по ночам не спят, ворочаются, — война больших денег стоит. А у них только на мирный обиход в обрез казны хватало. Да и время весеннее, оборонять-сеять надо, а тут лошадей всех в кавалерию-артиллерию согнали, вдоль границы укрепления строят, ниток одних на амуницию катушек с сот пять потребовалось. А отступить никак невозможно: амбицию свою поддержать каждому хочется.

Докладает тем часом седому королю любимый его адъютант: так-то и так, Ваше Величество, солдатишка такой есть у нас заваливший в швальне, солдатские фуражки шьет. Молоканского толку, не пьет, не курит, от говяжьей порции отказывается. Добивается он тайный доклад Вашему Величеству сделать, как войну бескровно-безденежно провести. Никому секрета не открывает. Как, мол, прикажете?

— Гони его сюда. Молокане они умные бывают.

Пришел солдатик, смотреть не на что: из себя михрютка, голенища болтаются, фуражка вороньим гнездом, — даром что сам мастер. Однако бесстрашный: в тряпочку высморкался, во фронт стал, глаза, как у кролика, — ан смотрит весело, не сморгнет.

— Как звать-то тебя?

— Лукашкой, ваша милость. «Трынчиком» тоже в швальне прозывают, да это сверхштатная кличка. Я не обижаюсь.

— Фуражки шьешь?

— Так точно. Нескладно, да здорово. А в свободное время лечебницу для живой твари содержу.

— Какую еще лечебницу?

— Галчонок, скажем, из гнезда выпадет, ушибется. Я подлечу, подкормлю, а потом выпущу...

— Скажи, пожалуйста... Добрый какой.

— Так точно. Веселей жить, ежели боль вокруг себя утишаешь.

Повел король бровью.

— Ишь ты, Чудак Иванович. А каким манером, ты вот похвалялся, — бескровно и безденежно войну вести можно.

— Будьте благонадежны. Только дозвоьте до поры до времени секрет при мне содержать, а то все засмеют, ничего и не выйдет.

— Да как быть-то? Ядра льют, пуговицы пришивают... Чего ж ждать-то?

— Не извольте беспокоиться. Пошлите, ваша милость, соседскому королю с почтовым голубем эстафет: в энтот, мол, вторник в семь часов утречком пусть со всем войском к границе изволят прибыть. Оружия ни холодного, ни горячего чтоб только с собой не брали, — наши, мол, тоже не возьмут... И королевскую боль-

шую печать для правильности слова приложите. Да на военный припас мне три рубля пожалуйста, только всего и расходов.

— Ладно. Однако смотри, Лукашка... Ежели на смех меня из-за тебя, галчонка, подымут, — лучше бы тебе и на свет не родиться.

— Не изволь пужать, батюшка. Раз уж родился, об чем тут горевать...

С тем и вышел, голенища свои на ходу подтягивая.

* * *

Стянулись к приграничной меже войска, — кто пешой, кто конный. Оружия, действительно, как условились, не взяли. Построились стеной строй против строя. Шепот по рядам, как ветер, перекатывается. Не зубами ж друг друга грызть будут... Ждут, чего дальше будет.

Короли, насупившись, каждый на своем правом фланге на походном барабане сидит, в супротивную сторону и не взглянет.

Глядь, издалека на обозной двуколке Лукашка катит, под себя чего-то намостил, будто кот на бочке подпрыгивает.

Осадил коня промеж двух войск, скочил наземь и давай из тележки, круг за кругом, толстый корабельный канат выгружать. А вдоль каната на аршине дистанции узлы позакручены.

Стал Лукашка на пень, ладони лодочкой сложил и во все стороны звонким голосом разъяснение сделал:

— Вот, стало быть, братцы, посередке каната для заметки синий флажок завязан. Пушай каждое войско, на своей стороне в затылок стамши, за канат берется. Флажок, значит, над самой границей придется. И с Богом, понатужьтесь, тяните на перетяжку... Чья сторона осилит, канат к себе перетянет, та, стало быть, и одолела. И амбицию свою соблюдем и никакого кровопролития в золотой валюте. Скоро и чисто... Полей не перетопчем, детей не осиротим, хаты целы останутся. А уж какое королевство не одолеет, пушай супротивникам на свой кошт полное угощение сделает. Всему то есть населению... Ежели господа короли согласны, нехай каждый со своей стороны батист-платочком взмахнет — и валяйте! А чтоб веселей было тянуть, пушай полковые оркестры вальс «Дунайские волны» играют. Усе.

Ухмыльнулись короли, улыбнулись полковники, ослабились ротные, у солдат — рот до ушей. Пондравилось. Стали войска по ранжиру гуськом, белые платочки в воздухе взвились. Пошла работа! Тужатся, до земли задами достигают, иные сапогами в песок врывшись, как клюковка стали... А которые старшие, вдоль каната бегают, своих приободряют: «Не сдавай, ироды, наяривай! Еще наддай!.. Наддай, родненькие, так вас перетак...»

Лукашка клячу свою отпряг, брюхом перевалился, вдоль каната разъезжает, — чтоб обману нигде не было. Увидал, как на супротивной стороне канат было об березу закрутили, чичас же распорядился: «Отставить! Воюешь, так воюй по правилу...»

Вспотели кавалеры, дух над шеренгой, будто портянки в возду-

хе поразвесили, — птички так в разные стороны и разлетелись. А народ в азарт вошел. Полковники которые, генералы, все к канату прицепились, старички некоторые, мирное население, из-за кустов повыскакивали, вонзились, каждый в свою сторону наддадет-тянет. Только и слышно, как штаны-ремешки с обеих фронтов потрескивают.

Короли и те не выдержали. Повскакали с барабанов, каждый к своему концу бросился... Музыканты трубы покидали и туда же...

И вдруг, братцы мои, как лопнет канат на самой середке: так оба войска гуськом наземь и попадали. Пыль винтом. Отдышались, озираются... Как быть?

Кличет седой король Лукашку:

— Эй, ты, Ерой Иванович! Как же теперь вышло? Кто победил-то?

А Лукашка громким голосом на всю окрестность, глазом не сморгнувши, объявляет:

— Ничья взяла. Полное, стало быть, замирение с обеих сторон. Каждый король суседское войско угощает. А на завтра, проспавшись, все, значит, по своим занятиям: кто пахать, кто торговать, кто толокно хлебать.

Ликование тут пошло, радость. Короли друг дружку за ручку трясут, целуются. По всей границе козлы расставили, столы ладят, обозных за вином-закусками погнали. А пока обернутся, тем часом короли в павильоне за свои шашки сели, честно и благородно.

Не все, конечно, с земли встали-то. У иных, как канат лопнул, — шаровары-брючки по швам разошлись, как тут пировать будешь. Кое-как рукой подтянувши, до кустов добрались, а там бабы, которые на сражение издаля смотрели, швейную амбулаторию открыли. Известно, уж у каждой бабы в подоле нитка-иголка припасена.

Кликнули к себе короли в павильон Лукашку.

— Что ж, молодец, дело свое ты справил. Чем тебя наградить, говори, не бойся. На красавице женить, альбо дом с точеным крыльцом построить?

Высморкался Лукашка в тряпочку, во фронт стал, отвечает:

— Дом у меня везде. Где я нужен, там и мой дом. Красавицы мне не надо, из себя я мизерный, ей будет обидно. Да и мне она, человеку кроткому, не с руки. Соболаговолите лучше, Ваше Здоровье, приказ отдать по обоим королевствам, чтоб ребята птичьих гнезд не разоряли. Боле ни о чем не прошу.

Ухмыльнулись короли, обещали, отпустили его с миром. Блаженного дурака и наградить нечем...

* * *

Таким манером, землячки, сражение энто на пользу всем и пошло. У других от войны население изничтожается, а здесь прибавка немалая вышла. Потому, когда бабы по густым кустам-буера-

кам разбрелись, — портки полопавшие на воинах пострадавших чинить, — мало ли чего бывает. Крестников у Лукашки завелось, можно сказать, несосветимое число.

<1930>

Париж

СКОРОПОСТИЖНЫЙ ПОМЕЩИК

Случай такой был на осенних вольных работах. Копали солдаты у помещика бураки. Вот, стало быть, в один распрекрасный вечер ворочался солдат Кучерявый на своем топчане в хозяйской риге. Невтерпеж ему стало, надышали солдаты густо, — цельная рота, нет никакой возможности. Дневальный, к нему спиной повернувшись, устав внутренней службы долбит. Ночничок коптит. Чего ж зевать? Скочил он тихим манером с койки, шинельку и вещевого мешок прихватил, пошел себе искать покою. Ходил-бродил и забрался в людскую баню, что на задворках стояла. Соломки в угол подбросил, уместился кое-как, притих и дремлет. Блохи огнем калят, да что ж, ужели из-за такой сволоты не спать...

Однако слышит, кто-то в вещевом мешке копается, — мышшь не мышшь, будто пес лапами скубет. Лунный дым пол заливает. Приклонил солдат голову, видит — зверь вроде древесной обезьяны. Откуль такому в Волынской губернии взяться? Глянул в другой раз, аж сердце зашло: сверху рожки, снизу копытца, на пупке зеленый глаз горит. Подтянулся Кучерявый, — солдат не кошка, некогда ему пугаться. Левую ладонь мелким крестом закрестил, изловчился и хватить за мохнатый загривок. Черт и есть, только мелкой масти, — надо полагать, из нестроевой чертовой роты самый ледащий.

— Ты чего, гад, в мешке шарил?

— Нитки, — говорит, — вошеной искал. Прости, служивый, дьявола ради.

— Зачем тебе, псу, нитки?

— Мышей летучих наловил, взводному бесу на уху. А нанизать, дяденька, не на что.

— Вот я тебе чичас нанижу.

Выудил из кармана трынчик, сыромятный шинельный ремешок и, ладони не снимая, скрутил бесу лапки, как петуху на базаре. Встряхнул и сел сверху.

— Ндравится?

— Чему ндравиться? Дурак стоеросовый. Пользы своей не понимаешь.

И захныкал.

— Кака-така польза? Чего врешь?

— Солдат врет, а черт, как стеклышко. Ты б меня отпустил, я б тебе за это исполнение желанья, как полагается, сделал.

— Надуешь, кишка тараканья.

— Ну, жди до свету. Может, я днем дымом растекусь, будешь, дурак, с прибылью. Чертово слово — как штык. Не гнется. Ты где ж слышал, чтоб наш брат обещанья не сполнял. Ась?.. А, между прочим, зад у тебя, солдат, чижелый. Чтоб ты сдох.

И опять захныкал.

Задумался Кучерявый. Чего ж пожелать? Сыт, здоров, рожа, как репа. Однако машинка у него заиграла, а черт тем часом перемогся, дремать стал, — глаз на пупке, как у курицы, пленкой завело.

— Ладно. Что дрыхнешь-то? Тут тебе не спальный вагон. Сполный желание: желаю быть здешним помещиком. Поживу всласть, мозговых косточек пососу... Хоть на час, да вскачь. Делай!

О Черт лапой пасть прикрыл: смешно ему, да обнаруживать нельзя.

— Что ж, — говорит, — вали... Удалось картавому крикнуть. Это ты, солдат, здорово удумал.

— А куда ж ты настоящего помещика определишь?

— Не твоя забота месить чужое болото. Подземелье у нас за дубняком есть: там и переспит, очумевши. А когда тебе надоест...

— Чего ж тогда делать-то?

— Волос у меня выдери, да припрячь. Подпалишь его на свечке — помещик опять на своем отоман-диване зеньки протрет, а ты прямо к вечерней поверке на свое место встрянешь. Понял?

— И козел поймет. Только как бы мне за самовольную отлучку не нагорело. Фельдфебель у нас, брат... шутник.

— Эх, ты, мозоль армейский. В помещики лезет, а наказаний боится. Ну, и сиди до утра, дави мои кости, — хрен сухой и получишь.

Привстал Кучерявый, ладонь с загривка снял. Плюнул ему черт промеж ясных глаз. Слово такое волшебное завинтил, — аж по углам зашипело: «чур-чюра, ни пуха ни пера... Солдатская ложка узка, таскает по три куска; распяль пошире — вытащит и четыре». Зареготал черт и сгинул.

И смыло солдата, как пар со щей, а куда — неизвестно.

* * *

Наутро протирает тугие глаза — под ребрами диван-отоман, офицерским сукном крытый, на стене ковер — пастух пастушку деликатно уговаривает; в окне розовый куст торчит. Глянул он наискосок в зеркало: борода чернявая, волос на голове завитой, помещицкий, на грудях аграмантовая запонка. Вот тебе и бес. Аккуратный, хлюст, попался. Крикнул Кучерявый. Взмошел малый, в дверях стал, замечание ему чичас сделал:

— Поздно, сударь, дрыхнуть изволите. Барыня кипит, — третий кофий на столе перепревши.

— Ты ж с кем, — отвечает солдат, — разговариваешь? Каблуки вместе, живот подбери.

— Некогда, — говорит, — мне с животами возжаться. Барыня серчает. Приказала вас сею минуто взбудить. Все дела проспали.

— Как барыню зовут-то?

Шарахнулся малый.

— Аграфеной Петровной. Шутить изволите?

— А тебя как кличут?

— Ильей пятый десяток величают. Кажная курица во дворе знает.

Спугался слуга. Помещик у них тихий, непьющий, — барыня строгая, винного духу не допускала. С чего бы такое затмение?

Влез солдат в поддевку, плисовые шаровары подтянул, сам себе перед зеркалом рапортует:

— Честь имею явиться. Вас черти взяли, а меня на ваше место предоставили. Мурло только у вас не очень чтобы выдающее...

Умываться стал, Илья пуше глаз таращит. Где ж видано, чтобы благородный господин, в рот воды набирамши, себе на руки прыскал и по роже размазывал... Однако стерпел. Видит, характер у помещика за ночь как будто посурьезнее стал.

— Зубки изволили забыть почистить.

— Я тебе почищу, будешь доволен. Полуоборот направо! Показывай, хлюст, дорогу, забыл я чегой-то.

Одним словом, взошел он в столовую комнату. Помещение вроде полкового собрания, убранство, как следует: в углу плевательная миска, из кадки растение выпирает, к костылю мочалкой прикручено, под потолком снегири насвистывают, помет лапками разгребают. Жисть!

За кофею грозная барыня сидит — по столу зорю выбивает. Насупилась. С собой красавица: у полкового командира мамка разве что чуть пополнее...

— Заспался? Заместо кофию сухарь погрызешь песочный. Требуха ползучая. Забыл, что ли, какой ноне день?

— Не могу знать. День обнакновенный, воскресный. Дозвольте вас, Аграфена Петровна, в сахарное плечико... того-с...

Вскипела барыня, плечом в зубы тюкнула, так пулеметным огнем и кроет... Откудова ж Кучерявому знать, что у них вечером парадбал назначен, батальонный адъютант дочке предложение нацелился сделать. Упаси Господи, хоть из дому удирай, да некуда. А барыня дочку из биллиардной кличет, полкубуйся, мол, на папашу. Забыть изволил — «жирафле-монпасье»! Может, оно по-французски и хорошее что обозначает, а, может, француз за такие слова чайный прибор разбить должен...

Дочка ничего, из себя хлипкая, жимолость на цыплячьих ножках. Покрутила скорбно головой, солдата в темя чмокнула. Нашла тоже, дура, куда целовать.

Одним словом, отрядила барыня солдата перед крыльцом дорожки полоть, песком посыпать. Как ни артачился, евонное ли, бариново, дело в воскресный день белые ручки о лопух зеленить, никаких резонов не принимает. Как в приказе: отдано — баста. Слуги

все в город за вяземскими пряниками усланы: Илья-холуй на полу сидит, медь-серебро красной помадой чистит. Полез было солдат в буфет, травнику хватить, чтобы сердце утишить. Ан буфет на запоре, а ключи у барыни на крутом боку гремят. Сунься-ка.

Ползал он, ерзал до обеда, упарился, китайского шелка рубашка пятнами пошла. Домашний пес, медеянский пудель, за ним, стерва, следом ходит. Чуть Кучерявый присядет корешков покурить, тянет его за поддевку, рычит. «Работай, мол, солдатская кость, — знаем мы, какой ты есть барин!»

С пол-урока отмахал, дочка ему в форточку веером знак подает: папаша, обедать. Взыграл солдат, — в брюхе-то, ползавши, аппетит нагуляешь. Взошел перышком. Смотрит, перед барыней гусь с яблоками, перед им — суп-сельдерей из мушиных костей, две крупки впереди плывут, две сзади нагоняют. Почему, говорит, такое? — Почки у тебя гнилые, мясного тебе нельзя. Супу не хочешь, — моркови сырой погрызи, очень от почек это помогает.

Встал солдат из-за стола, — будто на сонной картинке пирожок лизнул. В плевательную миску сплюнул. «Покорнейше благодарим». Поманил Илью глазом. Стоит, гад, чурбан-чурбаном, с барыниной шеи муху сдувает. Сам, небось, потом все потроха-крылышки один стрескает. Пошел горький помещик с пустой ложкой на кухню. Котлы кипят, поросенок на сковородке скворчит, к балпараду румянится.

Фельдфебель, кот лысый, расстегнувши пояс, у окна сидит, студень с хреном хрюпает, желвак на скуле так и ходит. Посматривает Кучерявый издали на фельдфебеля с опаской; переминается, а сам стряпуху в сени манит: «Выдь-ка, мать, разговор будет». Вышла она к нему, ничего. Женщина пожилая, почему и не выйти.

— Ужели, — говорит солдат, — для ради своего барина и студня не найдется? Оголодал, мочи моей нет, — кишка кишку грызет.

Не на такую, однако, наскочил.

— И не просите, ваше здоровье. Барыня меня пополам перевернет, потому — почки у вас заблуждающие.

Послал он стряпуху, куда по армейскому расписанию полагается, — с тем и ушел. Фельдфебельскую казенную горбушку на кадке нашел, сгрыз до крошки. А за окном солдаты, ротные дружки, в ригу гуськом спешат, котелки со щами несут, лавровый дух до самого сердца достигает, мясные порции на палочках несут. Промеял быка на комариную ляжку.

Вертается он мимо барыниной спальни. Слышит, спружины под барыней ходят, кряхтит барыня, гуска ее распирает. Поиграть, что ли? Остановился, в дверь мизинным пальцем деликатно брякнул. «Дозвольте взойти? В Акульку перекинуться, либо так орешков погрызть. Очень тошно одному по дому слоны слонять. А вы, между прочим, из себя кисель с молоком, хоть серебряной ложкой хлебай. Душенька форменная...» — «Пошел, — говорит, — прочь, моль дождевая. Чтob я таких слов солдатских больше не слышала!» К дочке в стенку изумрудным кольцом тюкнула и опять слова свои

по-французски: «Жирафле-монпасье»... Хрен их знает, что они обозначают.

Сташил Кучерявый с коридорного ларя лакейскую гармонь. Обрадовался ей, словно ротному котлу. Пошел к себе в кабинет, на отомане уместился, ноги воздел и только было грянул любимую полковую:

Дело было за Дунаем
В семьдесят шастом году...

ан летят со всех ног Илья-холуй да стряпуха Фекла, руками машут, гармонь из рук выворачивают. «Барыня взбеленившись, у них только послеобеденный сон в храп развернулся, а вы ее таким простонародным струментом сбудили. Приказано сей же час прекратить!» Загнул солдат некоторое солдатское присловье, Феклу так к стене и шатнуло. Однако подчинился. Видит — барыня в доме в полных генеральских чинах, а помещик вроде сверхштатного обозного козла, ротной собачке племянник.

Задержал он в дверях Илью, спрашивает:

— Что ж это, друг, барыня у вас такая норовистая? До себя не допускает, никакой веселости ходу не дает. В чем причина?

Лакей форменно удивляется:

— Рази ж вам неизвестно, что имение на ихнее, барынино, имя записано. Характер у вас по этой причине подчиненный. Туфельки на бесшумной подошве надеть извольте-с. Барыня сердчает, почему скрип.

— Дал бы я твоей барыне леща промеж лопаток... Давай туфлю-то, рабья душа.

Скидывает он с тихим шумом штаблетки на самаркандский ковер. Нагнулся, — слышит от Ильи умильный дух — перегаром несет.

— Что ж, Илья, этак не годится. Я ведь тоже вроде человек. Тащи сюда сладкой водочки, да огурцов котелок. Ухнем в тишине, — тетку твою за правую ногу.

— Никак нет, сударь. Барыня меня должности решит. Я потаенно, извините, вкушаю. А вам они нипочем не дозволяют. Капли свои почечные извольте принять.

Схватил солдат Илью за бело-коленкоровые грудки, потряс и в коридор высадил. Пал на отоман, бородку в горсть сгреб и до самой вечерней зари, как бугай, пластом пролежал. Авось, думает, на бал-параде отыграюсь...

* * *

Вечеру снарядили солдата по всей форме. Сапожки лаковые на ранту, поддевка новая, царского сукна, кисть на рубашке алая, полтинник, не меньше, стоит. Набрался он духу, сунулся было в дверях с ротного командира шинельку стаскивать. Однако барыня зашипела: «Ты что ж, денщик, что ли? Фамилию свою срамишь. С

дам скидавай, а с господами офицерами и Илья управится». Ротный ему лапу сует, здоровкается, а солдат-дурак руки по швам, глаза пучит, тянется. Кое-как обошлось. Идут в зальцу. Начальства этого самого, как в полковой праздник. К закускам табуном двинулись, графины один другого пузастее, разноцветным зельем отливают.

Насмелился солдат, — в суете да с обиды и мышшь храбра, — дернул рюмку-другую. С полковым батюшкой чокнулся, хоть он и на офицерской линии, однако вроде вольного человека. Хватил по третьей, — барыне за адъютантовой спиной подмигнул: сторонись, душа, оболью. Четвертую грибком осадил. От пятой еле его Илья отодрал, — не жаль себя, да жаль водочки... Кругом народ исподтишка удивляется: ай да помещик, ужели барыня на его имя имение отписала? Ишь хлещет, будто винокуренный завод пропивает.

Однако, укорот ему тут барыня сделала. Посадила с собой рядом за стол, по другую руку — ротный. Прикрутила малого на короткую цепочку. Сама его в бок локтем, каблуком на мозоль давит, глаза зеленые, того и гляди пополам перекусит. Ротный его про здоровье спрашивает, насчет заблуждающей почки, а он, словно за чуб его бес поднял, вскочил да гаркнул по-солдатски:

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие.

Гости, известно, ухмыляются: разнесло, мол, помещика, — рот нараспашку, язык на плече...

Осадила его барыня на задние ноги, аж шароварный хлястик лопнул. Кругом пьют-едят, сосед соседке кренделяет. Один солдат, как пес на аркане. Только во вкус вошел, робость монопольным винтом вышибать стало, ан тут и точка.

Меж тем, господин полуротный супротив сидел, догадался: «Воды, — говорит, — не угодно ли? Потому у вас на лице сердечная бледность».

Накапал ему с полстакана. Поднес Кучерявый к усам: хлебной слезой так в душу ишибануло. Опрокинул на лоб, корочку черную понюхал, сразу головой будто выше стал. Барыне сам на мозоль наступил, в бок ее локтем двинул... Песню играть стал, с присвистом ложками себе по тарелке подщелкивает:

На полянке блестит лужа,
Воробьи купаются...
Наша барыня от мужа
В полдень запирается.

Катавасия тут пошла, грохот. Барыня авантажной ручкой до солдатской морды добирается: оконфузил, гунявый, при всех, да и дочке карьеру того и гляди перешибет. Ротный ее оттаскивает, полковой доктор сонными каплями прыщует. Еле угомонилась. А тут дочка для перебоя на фортепьянной музыке танец вальца ударила, завертелись кто с кем. Солдат не зеваает, полынной в суматохе в проходном закоулке хватил, — хмельной клин в голову себе вбил. Ротного матушку, полнокровную, сырую старушку, обхватил и да-

вай ее почем зря буреломом вертеть, как жернов вокруг пушки. Солдатские вальцы ломают пальцы... Насилу отодрали.

Разбушевался Кучерявый. По ломбардному карточному столику ляпнул — доска пополам.

— Кто здесь хозяин! Я! Построиться всем в одну шеренгу. На первый-второй рассчитайсь!.. Ряды вздвой! Желая всем приказание объявить...

Ну, тут некоторые военные насупились: простой помещик, волевая личность — офицерским составом командовать вздумал...

Собрались кольцом, дым ему в глаза пускают, пофыркивают. А он как рывкнет:

— Желая, чтобы всю роту чичас же сюда предоставить! Всем солдатам полное угощение! И чтоб жена моя, барыня, при полном параде русскую перед ими сплясала. Живо!

Тут его окончательно и пришили. Справа и слева под ручки, как свинью на убой, поволокли. Елозит он ногами, упирается, а барыня сзади разливательной ложкой по ушам да по темени. Насилу полковой доктор уговорил, чтоб полегче стучала, потому при блудящей почке большой вред, ежели по ушам-темени бить.

Вдвинули его в кабинет, наддали пару, так до самого дивана на собственных салазках прокатился. Вот тебе и помещик. И дверь на двойной поворот: дзынь. Здравствуй, стаканчик; прощай, винцо.

Отдышался он, вокруг себя проверку сделал: вверху пол, внизу — потолок. Правильно. В отдалении гости гудят, вальц доплясывают. Поддевка царского сукна под мышкой пасть раскрыла, — продрали, дьяволы. Правильно. Сплюнул он на самаркандский ковер, — кислота винная ему поперек глотки стала. Глянул в угол, — икнул: на шканделябре черт, банный приятель, сидит и, щучий сын, ножки узлом завязывает-развязывает. Ах ты, отопок драный, куда забрался.

— Что ж, господин помещик, весело погуляли, мозговых косточек пососавши?

— Не твое, гнус, дело. Слезай чичас с моей шканделябры.

— Слез один такой... Говори с дивана, я и отсюдава слышу.

— Желание мое второе сполнить можешь?

— Уговор об одном был. Разлакомился?

— Барыню мою сократи, сделай милость. Я тебе воценных ниток целый моток у каптенармуса добуду.

— Ишь, сирота! За одну нитку кости давил, а теперь — моток. Шиш получишь, а второй тебе барыня завтра к обеду выставит. С мозговой косточкой...

Рванулся было Кучерявый с дивана, да хмель его назад навзничь бросил... На пустой желудок, полынная, известно, хуже негашеной известки.

— Эфиоп тухлый! Сдерну вот пицаль с ковра, глаз тебе на пушке прострелю, как копеечку...

— Вали, вали! Пицаль, брат, с турецкой компании не заряжена. Мишень-то готова. Рыбьей спиной повернулся и хвост задрал.

— Пали, ваше благородие. Может, ручки подсобить вам под-
нять?

И серный дух по всему кабинету пустил. Прямо до невозмож-
ности.

Икнул солдат, язык пососал и головку набок.

* * *

Прочухался солдат через некоторое время — в окне вечерняя
заря полыхает. Пошарил кругом, от помещицкого обмундирования
одна пуговица на ковре валяется. Дверь на запоре. Под окном ме-
делянский пудель, домашняя собачка, на цепи скачет, пленника
стережет. Дожил Кучерявый. Ротный не сажал, а тут партикулярная
баба строгим арестом наградила. Илья, поди, в замочную щель смот-
рит, в кулак, стервец, речочет. Опохмелиться нечем... Слюнку про-
глоти, да языком закуси. Потряс он дверь изо всех солдатских сил,
барыня из бильярдной так и рывкнула: «Цыц, гунявый! Не то и
белье отберу. Жалобу губернатору подам, что ты меня тиранишь. Я
евонная дальняя тетка. Он тебя, окаянного, в дисциплинарный
монастырь сошлет...»

Хлопнул себя солдат по исподним, — попал, как блоха в тесто.
И пяток теперь не отдерешь. А за окном солдатики у колодца ве-
село пофыркивают, белые личики умывают. Жисть!

Сунулся он было в кiset, дымом перегар перешибить. Ан в
кисете пусто: только и всего — дратва не дратва, вроде свиной
щетки волосок свернувшись.

Вспомнил он, в чем суть, от радости на весь дом засвистал, аж
в шканделябрах хрусталики закачались. Теперь можно. Шваркнул
серничком о пол, запалил волосок, — и смыло солдата, как пар со
щей...

А переключка тем часом идет, до его фамилии добираются.

— Кучерявый!

— Я!

— Ты где ж это, лягавый, бродил? Куда самовольно отлучался?

— Не могу знать, господин фельдфебель.

Не успел фельдфебель на него зыкнуть, распоряжение сделать,
чтобы наутро солдата при полной выкладке под ружье у риги по-
ставить, — ан в дверях Илья-холуй с ножки на ножку деликатно
переступает.

Подошел фельдфебель, ручку ему потряс.

— Барыня прислали, нельзя ли к им завтра утречком солдата
прислать. По случаю бал-парада столик ломбардный пополам хряс-
нул.

— Что ж, — говорит фельдфебель. — Кучерявый у нас столяр
выдающий. Завтра утром и пойдешь. Барыня тебя за работу гуской
покормит. Мозговых косточек пососешь.

У солдата аж в грудях засвербело. Не иначе, как черт это его
опять сосватал. Ишь, зеленый пупок в углу над бревном помигива-

ет. Закрестил он себе мелким крестом ладонь, руку сжал, черту исподтишка кулак показывает.

И фельдфебель, — точно его, лысого kota, ветер на оси в другую сторону завернул, — задумался...

— Никак нет... Запомню. Завтра утром ротный приказал Кучерявого в город командировать. В полковой канцелярии шкаф разошедший...

Вздыхнул Кучерявый. Будто сто пудов с плеч сбросил... Да, пожалуй, барыня не меньше того и весила.

<1930>

СУМБУР-ТРАВА

Лежит солдат Федор Лушников в выздоравливающей палате псковского военного госпиталя, штукатурку на стене колупает, думку свою думает. Ранение у него левое: пуля на излете зад ему с краю прошла, — курица и та выживет. Подлатали ему шкурку аккуратно, через пять дней на выписку, этапным порядком в свою часть, окопный кисель месить. Гром победы раздавайся, Федор Лушников держись...

А у него, Лушникова, под самым Псковом, — верст тридцать не боле, — семейство. Туда-сюда на ладье с земляком, который на базар снеток поставляет, в три дня обернешься. Да без спросу не уйдешь, — военное дело не булка с маком. Не тем концом в рот сунешь, подавишься...

Подкатился он было на обходе к зауряд-подлекарю, — человек свежий, личность у него была сожалеющая.

— Так и так, ваше благородие, тыл у меня теперь в полной справности, в другой раз немец умнее будет, авось с другого конца в самую голову цокнет... А пока жив, явите божескую милость, дозвольте семейство свое повидать, по хозяйству гайки подвинтить. Ранение мое, сам знаю, не геройское, да я ж тому не причинен. По ходу сообщения с котелком шел, вижу, укроп дикий над фуражкой, как фазан, мотается... А нам суп этот голый со снетком и в горло не шел. Как так, думаю, укропом не попользоваться. Вылез на короткую минутку, только нацелился — цоп. Будто птичка в зад клюнула. Кровь я свою все-таки, ваше благородие, пролил. Ужели русскому псковскому солдату на три дня снисхождения не сделают?

Вздыхнул подлекарь, глазки в очки спрятал. «Я, — говорит, — голубь, тебя б хочь до самого Рождества отпустил, сиди дома, пополний население. Да власть у меня воробыная. Упроси главного врача, он все военные законы произошел, авось смилуется и обходную статью для тебя найдет». Добрая душа, известно, — на хромой лошадке да в кустики.

Сунулся Лушников к главному, ан кремень тихой просьбой не расколешь. Начальник был формальный, заведение свое содержал в

чистоте и строгости: муха на стекло по своей надобности присядет, чичас же палатной сестре разнос по всей линии.

— Энто, — говорит, — пистолет, ты не ладно придумал. У меня тут вас, псковичей, пол-лазарета. Все к своей губернии притулились. Ежели всех на бабий фронт к бабам отпускать, кто же воевать до победного конца будет. Я, что ли, со старшей сестрой в резерве? У меня, золотой мой, у самого в Питере жена-дети, тоже свое семейство некупленное... Однако ж, терплю, с должности своей не сигаю, а и я ведь не на мякине замешан. Крошки с халата бы лучше сдул, ишь обсыпался, как цыган махоркой...

Утешил солдата, нечего сказать, — по ране и пластырь. Лежит Федор на койке, насупился, будто печень каленым железом проткнули. Сравнил тоже, тетерев шалфейный... Жена к нему из Питера туда-сюда в мягком вагоне мотается, сестрами милосердными по самое горло обложился, жалованье золотыми столбиками, харч офицерский. Будто и не война, а ангелы на перине по кисельному озеру волокут...

Сестрица тут востроглазая у койки затормозилась. Куриный пупок ему из слабосильной порции для утешения сунула, да из ароматной трубки вокруг побрыскала. Брыскай не брыскай, — ароматы от мук не избавят.

Вечер пал. Дневальный на стульчике у двери порядок поддерживает, — храпит, аж пузырьки в угловом шкапчике трясутся. Сестра вольную шляпку вздела, в город на легких каблучках понеслась, — петухов доить, что ли... Тоже и ей не мед солдатское мясо от зари до зари пеленать. Под зеленым колпачком лампочка могильной лампадкой горит, вентиляция в фортке жужжит, — солдатскую обиду вокруг себя наворачивает. Эх, штык им всем в душу, с правилами ихними... Хоть бы вполглаза посмотреть, что там дома... Сердце стучит, за тридцать верст, поди, слышно...

Отвел Лушников глаза с потолка, так бы зубами все койки и перегрыз. Видит, насупротив мордвин Бураков на койке шуплые ножки скрестил, на пальцы свои растопыренные смотрит, молитву лесную бормочет. Бородка, ровно пробочник ржавый. Как ему, пьявке, не молиться... Нутренность у него какая-то блуждающая обнаружилась — печень вокруг сердца бродит, — дали ему чистую отставку... Лежи на печи, мухоморную настойку посасывай. И с блуждающей поживешь, абы дома... Ишь, какое, гунявому, счастье привалило!

Отмолился мордвин; грудь заскреб. Смотрит Лушников — на грудке у Буракова какой-то поросычий сушеный хвост на красной нитке болтается.

— Энто что ж у тебя, землячок, за снасть?

— Корешок, — говорит, — такой, сумбур-трава.

— А на кой он тебе ляд, что ты и на войну его прихватил? От шрапнели, что ли, помогает?

Осклабился Бураков. В ночной час в сонной палате и мордвину поговорить хочется. Пошарил он глазами по койкам, — тишина,

солдатики мирно посапывают, хру да хру, — известно, палата вы-здоровливающая. Повернулся к Лушникову мочалкой и заскрипел:

— Сумбур-трава. На память взял, пензенским болотом пахнет. По домашности первая вещь. Сосед какой тебе не по вкусу, хочешь ты ему настоящий вред сделать, чичас корешок водой зальешь и водой энтой самой избу в потаенный час и взбрызнешь. В тую же минуту по всем лавкам-подлавкам черные тараканы зашуршат. Глаза выпьют, уши заклеют, хочь из избы вон беги. Аккуратный корешок.

Сел Лушников на койку, — не во сне ли с лешим разговаривает. Ан нет, мордвин самый настоящий, — подштанники казенные, лазаретное клеймо сбоку, все честь честью.

— А выводной корешок-то у тебя есть?

— Какой выводной... Из воды его ж и вынешь, — просуши, да на черной свечке подпали, — все и сгинут. Таракан не натуральный.

Взопрел даже Федор с радости, потому толковый солдат сразу определит, что к чему принадлежит. Умоляет, стало быть, Буракова, дай да отдай, зачем тебе, лисья голова, энтое снадобье. Ты, мол, домой вертаешься, у тебя на болоте сколько хошь — найдешь, а мне на войне, почем знать, во-как пригодится.

Отпихивался мордвин, отпихивался, а потом и сдался.

— Ладно, Лушник. Ты человек добрый, пять ден за меня блевотное лекарство пил. Подарить не могу, давай меняться. Собачьей кожи браслетку с самосветящими часами отдашь, — корешок твой.

Принамурился Лушников. Часики он у немца пленного на табак выменял: ночью проснешься, блоха тебя лазаретная взбудит, ан тебе впотьмах сразу известно, который час. А тут, на-кось, сопливой редьке часы отдай.

— Да зачем тебе, лесовику безграмотному, часы? По петухам встаешь, по солнцу ложишься, сосновой шишкой причесываешься. Лучше рубль возьми, — подавись. Серебряный рубль, чижелый.

Однако уперся мордвин. Грудку застегнул, корешок спрятал, морду халатом верблюжьим не по правилам лазаретным прикрыл.

Посидел-посидел Лушников, не выдержал. Что ж, часики дело наживное: авось и на другого пленного наскочит. Свое семейство ближе... Дернул мордвина за пятку, мало ногу с корнем не вырвал.

— На часы! Лопай! Матери своей на хвост нацепи, чтобы на метле ей летать способнее было. Давай корешок...

* * *

Завертелась мельница с самого утра. Только это мордвина выписали, койку его освежили-оправили, — шась-верть, — влетает сестрица, носик вишенкой разгорелся, ручками всплескивает.

— Ужаси какие! В подвальной аптеке черные тараканы всю вазелинную смазь съели. По всем столам, чисто, как чернослив, блестят... У нас госпиталь образцовый, откуль такая нечисть завелась, бес их знает, Господи помилуй. За смотрителем побежали...

Дежурный ординатор по коридору полевым галопом дует, шпорки цвякают, ремень перевернут, шашка куца по голенищам ляскает.

— Смотритель где?.. Весь ночной диван в крупных тараканах, в чернильной банке кишмя кишат. Хоть дежурную комнату закрывай...

Только прогремел, глядь — дневальный санитар из офицерской палаты ласточкой вылетает да за дежурным ординатором вдогонку:

— Ваше скородие! Дозвольте доложить, господа офицеры перобумагу требуют, рапорт писать хотят... В подполковничьем молоке черный таракан захлебнувшись. Ругаются они до того густо, нет возможности вытерпеть...

И в канцелярии шум-грохот. Стенные часы стали, сволочи, а почему — неизвестно. Полез письмоводитель на стол, в нутро им глянул, так со стола и шваркнулся: весь состав в густых тараканах, будто раки в сачке — вокруг колес цапаются.

Из ревматической палаты толстая сестра на низком ходу выкачивается, фельдфебельским басом орет, аж царский портрет на стенке трясется:

— Да это что же?! С какой-токой стати в ночных шкапчиках тараканы?! Да этак они и за пазуху заползут... Я девушка деликатная, у меня дядя акцизный генерал, часу я тут не останусь.

Матушки мои... Лежит Федор Лушников на коечке своей, будто светлое дите, ручки из-под одеяла выпростал, пальчиками шевелит, словно до него все это и не касающее.

А тут главный врач из живорезной палаты в белокрахмальном халате выплескивается на шум-голдобню. Что такое? Немцы, что ли, госпиталь штурмом берут?..

Смотритель к нему на рысях подлетает, наливной живот на ходу придерживает, циферблат белый, будто головой тесто месил... Он за все отвечает, как не обробеть. К тому ж со дня на день ревизии они ожидали, писаря из штаб-фронта по знакомству шепнули, что, мол, главный санитарный генерал к им собирается: госпиталь уж больно образцовый.

Заверещал главный врач, — солдатики на койках промеж себя тихо удивляются: тыловой начальник, доктор, а такая у него в голосе сила. Смотритель трясется-вякает, толстая сестра насаждает, а дневальный из офицерской палаты знай свое лопочет про рапорт да подполковничье молоко.

Первым делом бросился главный врач в офицерскую палату, голос умаслил, пронзительно умоляет. Да, может, таракана кто ненароком с позиции в чемодане завез, он с дуру в молоко и сунулся. Будьте покойны, ласточка без спросу мимо их окна не пролетит. Что ж зря образцовый госпиталь рапортом губить...

Шуршание тут пошло, чистка. Окна порасстегнули, койки во двор, тараканов по всем углам шпарят, денатуральным спиртом углы мажут, яичек ихних, однако, не видно... Хрен их знает, откуда они

такие годовалые завелись сразу. А их все боле и боле: буру жрут, спирт пьют с полным удовольствием, — хоть бы что.

А из кухни кашевар с ложкой вскачь: «Ваше скородие, весь лук в тараканах... Прямо чистить нет возможности, сами на нож лезут».

Обробел тут и главный, за голову схватился. Не переселение ли тараканье по случаю войны из губернии в губернию началось. Приказал пока что к офицерской палате дневального сверхштатного поставить, чтобы какой таракан под дверную шелку не прополз. С остальными прочими время терпит.

Скребут-чистят. Кое-как пообедали, каждый солдат, прежде чем рот раззявить, в ложку себе смотрит: нет ли в каше изюмцу тараканьего. Так и день прошел в мороке и топотне. Только в выздоравливающей палате, как в графской квартире, — тараканьей пятки нигде не увидишь.

К закату расправил Федор Лушников русые усы, вышел за дверь по коридорному бульвару прогуляться. Видит, за книжным шкафом притулился к косяку смотритель, пуговку на грудях теребит, румянец на лице желтком обернулся. Подошел к нему на бесшумных подошвах, в рукав покашлял. Смотритель, конечно, без внимания, своя у него думка.

Так и так, — докладывает Лушников. Не извольте, мол, ваше благородие, грустить. Бог дал, Бог и взял.

— Вприсядку мне, что ли плясать, чудак-человек. Да мне теперь перед ревизией в самую пору буры этой тараканьей самому поесть, а там пусть уж без меня разбираются.

— Куда ж спешить. Бура от вашего благородия никуда не уйдет. А допрежь того я вам всех тараканов в одночасье выведу, за полверсты от госпиталя ни одного не найдете.

Кинулся к нему смотритель, как к родному племяннику, чуть с копыт не сбил. Да ах ты, да ох ты... Да не жестко ли ему, Лушникову, спать, да не охочь ли он до приватной водочки?

Лушников лисьи эти хвосты отвел, сразу к делу приступает. Угодно, мол, от тараканьей пехоты избавиться, сделайте снисхождение, на три дня увольте, — хочь гласно, хочь негласно, — семейство свое повидать.

— Да ты не надуешь ли, яхонт, насчет тараканов? Нахвал денег не стоит... Ослобони, а там и разговоров не будет.

Лушникову что ж... В каком, говорит, помещении у вас главный завод.

Повел его смотритель в продуктовый склад, дверь распахнул, а там — как майские жуки под тополями, — так черная сила живым ключом и кипит. Смотреть даже смрадно. Солдат огарок черный, который ему мордвин в придачу дал, из рукава выудил, чиркнул спичкой, подымил корешком... Так враз все тараканы, будто сонное наваждение, и сгнули, — мордвин не какой-нибудь оказался.

В тую же минуту у смотрителя на личности желток румянцем так и заиграл.

— Ах ты, орел! — говорит. — Выведи на скорую руку по всем этажам, а там вали на все три дня. На свой страх тебя увольняю. Глаза у тебя ясные русские, не подведешь, вернешься.

Сует на радостях Лушникову сала да чаю, тот, конечно, деликатно отказывается, да в рукав халатный прячет. Призадумался, однако, смотритель:

— Ты, братец мой, вижу я, дока: обмозгуй уж, присоветуй, как бы этак отлучки твоей никто не приметил... А то в случае чего жилы из меня главный наш вымотает да на них же и удавит.

Усмехается Лушников.

— Зачем же этакое злодейство. Жилы каждому человеку нужны... Есть у меня в Острове, рукой подать, миловидный брат. У купца Калашникова по хлебной части служит. Близнецы мы с ним, как два полтинника одного года. Только он глухарь полный, потому в детстве пуговицу в ухо сунул, так по сию пору там и сидит, — должно предвидел, — чтобы на войну не брали... Вы уж, как знаете, его в Псков предоставьте, — заместо меня в лучшем виде три дня рыбкой пролежит и не хухнет. Чистая работа...

Звзвился смотритель. Пока солдат по ночным палатам в тайности корешком дымил, отрядил он помощника своего на интендантском грузовике в Остров. Версты кланяются, встречные кобылки на дыбки встают. Спешно, секретно, в собственные руки... Ночь знает, никому не скажет.

* * *

Ходит главный врач журавлиным шагом по госпиталю, обход производит. Часовому у денежного ящика ремень подтянул, во все углы носком сапога достигает. Хоть бы один таракан для смеха попался: красота, чистота. Утренний свет на штукатурке поигрывает, на кухне котлы бурлят, кастрюли медью прыщут, хозяйственная сестра каклетки офицерские нюхает, белые полотенца на сквознячке лебедями раздуваются...

Взошел главный в выздоравливающую палату. Почему халат в ногах конвертом не сложен? Почему татарин у стенки рукавом нос утирает? С какой радости туфли под койкой носками врозь? Голос, однако ж, сдобный, строгости еще настоящей в себя не вобрал, шутка ли, от такой тараканьей язвы госпиталь избавился... Дошел до Лушникова, приостановился...

— Ты в какое место, сокол, ранен? Запомятовал я.

Лушников-близнец на койку сел, белыми ресницами хлопает:

— По хлебной, — говорит, — части...

— Что такое? Откудова дурак такой мухобойный объявился?

Сестра остроглазая тут в разговор врезалась, удобрилась, как мачеха до пасынка:

— Не извольте, г. доктор, беспокоиться. Он с раннего утра все невпопад отвечает, заговаривается. Надо полагать, по семейству своему скучает.

— А, это тот, что на три дня на побывку просился... Заговаривайся, друг, да не очень...

Глянул он тут в историю болезни, велит палатному надзирателю обернуть солдата дном кверху. Перевернули его, главный очки два раза протер, глазам не верит — ничего нет, прямо, как яичко облупленное.

— Ловко, говорит, у меня в госпитале работают. Надо бы тебя, красавца, сею же минуту на выписку, да уж оставлю до ревизии. Пусть санитарный генерал сам поглядит, как чисто у нас в образцовом ранения залечивают.

Больше и смотреть не стал, с сестрой пошутил, веселой походкой из палаты вышел и пошел в канцелярию требования на крупную соль подписывать.

Работа, меж тем, кипит. Смотритель с лица, как подгорелый солод, стал. В команду новые медные чайники из цейхгауза волокут, а то из жестяных заржавленных пили. Санитаров стригут, портрет верховного начальника санитарной части чистой тряпкой протерли, рамку свежим лаком смазали, — красота. На кухне блеск, сияние. Кашеварам утром и вечером ногти просматривают, чтобы чернозема этого не заводилось, дежурного репертят насчет пробы пищи, да как отвечать, да как полотенце на отлете держать.

Три дня пролетело, — нет санитарного генерала, — не извозчик псковской, — к любому часу не закажешь. Измаялись все: одну чистоту наведут, готовы вторую. Свежих больных-раненых подсыпят, опять скобли да вылизывай, — пустой котел блестит, полный — коптится.

Про Лушниковца смотритель и не вспомнил, не такая линия. Однако ж, он в обещанный срок, как лук из земли, в вечерний час перед смотрителем черным крыльцом вырос. Личико довольное, бабьим коленкором так от него и несет. Вестовой доложил. Вызвали потаенно близнеца-брата, сменились они одеждой, поцеловались троекратно, — и каждый на свое место: глухой на вокзал, Федор на свою койку. Пирожок с луком исподтишка под подушку сунул, грызет — улыбается. Угрели его, стало быть, домашние по самое темя.

Только утром он из сонной мглы на белый свет вынырнул, слышит, парадные двери хлоп-хлоп. Махальный, сквозь дверь видать, знак подал. Дежурный ординатор с главным врачом шашками сцепились, чуть с мясом не вырвали. Один рапортует, другой сладким сахаром подсыпает. Ведут... А в дальних покоях по всем углам сестры сосновым духом прыскают, чтоб лазаретный настой перешибить.

Обернулся генерал, выбрал себе точку, в выздоравливающую палату направление держит.

Ну, главный врач сообразил, конечно, ежели первый блин густо намаслит, другие легче в горло пойдут. Подводит санитарного начальника к лушниковской койке, на два шага позади в позицию встал, докладывает.

— Случай, Ваше Превосходительство, необыкновенный... Солдат Лушников в сидячее место ранение имел, до того здорово у нас его залечили, что и швов не видеть. Будто кумпол гладкий, до того красиво вышло. Муха и та не усидит. Извольте взглянуть.

Генерал, само собой, интересуется. Перекувырнули Лушников-ва, оголили ему Нижний Новгород, главный врач так и ахнул. Не крой лаком, завтра строгать... Рубец пунцовый во всю полосу, будто сосиска, вздулся. Опасности никакой, а знак отличия полный, лучше не надо.

Вот тебе и намастил... Нахохлился генерал, хмыкнул в перчатку и бессловесно в коридор вышел. Главный за ним, — только кулак за спиной Лушникову показал. Сестрица валерьяновую пробку нюхает... Подбелил солдат щи дегтем, нечего сказать...

Что там дальше было — Лушникову неизвестно, а только через малое время крестный ход энтот назад потянулся: генерал кислый, шашку волочит, главный врач за ним халатную тесемку покусывает, — сладка, надо быть. Смотритель в самом хвосте, — будто два невидимых беса под мышки его в котел волокут...

Обедать, однако ж, надо, — и святые закусывают. Только это выздоравливающие за перловый суп принялись, сестрица впархивает да прямо к Лушникову с сюрпризом: «Собирайся, милый человек, на выписку. Главный врач распорядился перышко тебе немедленно вставить, — нечего лодырей держать, которые начальство почем зря морочат».

Встряхнулся солдат, ему что ж. Рыбам море, птицам воздух, а солдату отчина — своя часть. Не в родильный дом приехал, чтобы на койке живот прохлаждать... Веселый такой, пирожок свой с луком — почитай восьмой — доел, крошки в горсть собрал, в рот бросил и на резвые ноги встал.

— Спасибо, сестрица, за хлеб, за соль, за суп, за фасоль. Авось Бог не приведет в другой раз белое тело живопырным швом у вас зашивать... Слушок есть, что к Рождеству немцу капут, женщин у них уже будто малокровных в артиллерию брать стали. А с бабами много ли настреляешь...

Однако сестрица от койки не отходит, вертится. Очень ей по ученой части интересно, как так солдат то гладкий был, то вдруг рубец у него наливным алым перцем с исподу опять засиял. Как, мол, такое, Лушников, могло произойти.

Ему что ж скрывать, не католик какой-нибудь.

— Ничего, — говорит, — денатурального, сестрица, в том нет. Третьего дня, как меня ваш главный обернул, я по деликатности воздух в себя весь вобрал, вся кровь в меня и втянулась, ни швов, ни рубцов. А сегодня запамятовал, вот ошибочка и вышла. Уж не взыщите, сестрица. Корова быка доила, да все пролила. Всякое на свете бывает...

АНТОШИНА БЕДА

Пала ночь на город... Звезды не спят, ветер по кустам бродит, а солдатам в мирное время в ночную пору спать полагается. Спит весь полк, окромя тех, кто в карауле да по дневальству занят. Собрались солдатские Ангелы-Хранители в городском саду, за старым валом. Подначальники ихние, по койкам свернувшись, глаза завели, — не сидеть же до белой зари у изголовьев ихних... Ходят Ангелы по дорожкам, мирно беседуют, — лунный свет сквозь них насквозь мреет, будто и нет никого. Только крыло, словно парус хрустальный, кое-где над кустом загорится — и опять в темных кустах погаснет.

Каждый Ангел со своим солдатом схож, — который солдат в плечах широк, лицом ядрен, — и Ангел у него бравый; который замухрышка незадачливый, — Ангел у него тихонький, уточкой переступает, виду у него настоящего нет... Однако все между собой в светлом согласии, в ладу, — не по ранжиру же им, Ангелам, равняться, звание не такое.

Все боле поротно они собирались, кругами. Потому каждый своей частью интересуется, все солдатски своей роты до доньшка им известны, — беда ли какая, либо заминка, совместно обсудят, авось чего и придумают.

Шестой роты Ангелы коло пруда расположились. Ангела перовзводного командира обступили, ласково ему выговаривают: что-де твой воин-унтер разбушевался, — спокойя от него нет, молодых солдат сверх пропорции жучит... Какой-де овод укусил? Начальник был справедливый, а теперь — будто козел на бочку, так на всех дуром и наскакивает.

Смутился Ангел, поясок шелковый подергивает. «Эх, братцы, и самому мне обидно. Письмо он с деревни получил, — невеста евоная за волостного писаря замуж вышла, — вот он с досады и озорует. Уж я его как-никак успокою... Свое горе сам и перетерпи, на подчиненных не перекладывай...»

Про инспекторский смотр поговорили, — кажись, в роте все исправно, без боя, без крика репертички идут... Сойдет гладко, солдатам облегчение.

Помолчали Ангелы, стали камушки в лунный пруд метать. С чего же им печалиться: войны не предвидится, в роте штрафованных нет, каждый солдат себя соблюдает, — кажись, у Ангелов-Хранителей и забот-то никаких нет.

Затянул было с правого фланга светлокрылый один любимую их солдатскую:

Ранным рано на рассвете
Господь солнышко послал,
Чтоб на ротное ученье
Солдат жаворонком встал...

Подхватили Ангелы бестелесными соловьиными голосами, — от ясного дыхания рябь по пруду прошла. Прижались друг к дружке для угрева, покачиваются. Ан тут ктой-то из них и спрашивает:

— А что ж это Антошкиного голоса не слышать? Он всех знаменитей поет, куда ж он сподевался? Кажись, солдат его не в наряде...

Переглянулись они справа-налево, — нет Антоши. А звали они так Ангела одного Хранителя, — потому имена у них каждому по своему солдату идут.

Туда-сюда глянули, на легкие ножки встали: нет Ангела и следа, будто облако, растаял.

Бросились они по кустам, видят, поодаль, у самой воды, сидит под лозой Антоша, плечики у него вздрагивают, крылами лицо прикрыл, навзрыд рыдает.

— Что с тобой, лебедь? Кажись, твой и здоров и не на замечанье... С чего плачешь-то, ангельский лик свой туманишь?

— Ах, братцы, беда... Поди сами знаете, — мой-от в роте всех тише, всех безответнее... В иноки б ему, а не в солдаты... Портняжил он все между делом, по малости. То вольноопределяющему шинельку пригонит, то подпрапорщику шароварки сошьет... То да се, — десять целковых и набежало... Хотел матери убогой к празднику послать. Старушка в слободе под Уманью живет, только тем и дышит, что от сына ей кой-когда перепадает. Ан вот сегодня и прилучилось; скрали у моего солдата всю выручку, и званья не осталось...

Всполошились тут Ангелы, кругом обступили, крылами, как ласточки в грозу, так и шелестят...

— Да кто ж у него мог скрасть, милая ты душа, когда он из роты-то и не отлучался? Что говоришь-то, подумай...

Опустил Ангел еще ниже голову, тихо ответ подает:

— В роте и скрали. Простите на горьком слове, — да что же и скрывать-то...

Насупились Хранители, друг на дружку и не взглянут. Кто же взять-то мог? Нет у них в роте такой темной души, чтобы у своего брата-солдата воровским манером последнее огреть.

Спрашивает тут первовзводного командира Ангел:

— Доложил твой, что ль, по начальству?

Антошин Ангел резонно ему докладывает:

— Не таковский мой, чтобы жалиться... Да еще перед самым смотром катавасию заводить. Что ж срамоту на шест вывешивать. Шестая наша рота, как орешек, ужели мы же ее под каблук... Честь не десять целковых стоит, а ежели бы на кого мой солдатик подозрение и имел, уши бы себе заткнул, рот завязал. Я от вас со своим огорчением в сторонку деликатно ушел, а вы меня сами нашли, да распатронили...

Ведь вот какой Ангел понимающий оказался.

Разошлись крылатые кто куда. Луна за облако скрылась, кусты вурдалаками принахмурились... Отличилась шестая рота, что и говорить...

Выступает тут из-за темного дуба чернявый Ангелок, из себя не ахти какой, шуплый да хмурый. Коло Антоши наземь сел, к плечу его прикоснулся:

— Не кручинься, голубь. Узел крепко завязан, да авось я развяжу. Деньги-то ведь мой скрал, — Брудастый...

Антоша так на него крылами и замахал:

— Что ты, что ты! Ветер слышал, ночь унесла... Снежок подпал и следок застлал. Чего же зря расковыриваешь?

Однако ж, Ангелок свою ниточку разматывает:

— Хочешь не хочешь, а я этого дела так не оставлю. Тебя мне и ненадобно. Сраму и на воробьиный клюв не будет... Только ты мне своего чистого покрепче усыпи, пока я дуботолка моего в смягчение приведу... Тоже и я препорученную мне черную душу выполоскать-то должен.

Так строго сказал, что встал Антошин Ангел, низко чернявому поклонился и со смирением ручки скрестил.

— Делай, что хочешь. А уж мой до зари камушком пролежит...

* * *

Не спит Брудастый. На локоть облокотился, все на Антошку посматривает, что супротив на койке в носовую жилейку высвистывал, — в печени у него, Брудастого, так и саднит.

— Ишь, дрыхнет, — будто и не у него украли... Дите стоеросовое. А тут сдуру в чужой сундучок раскатился, — благо, открыт был. Вот теперь сам себя на вертеле и поворачивай. И зачем крал, бес его кривой знает! Ни светило, ни горело, да вдруг и припекло... Попросить у Антошки, как следовало, — он тебе рубашку последнюю с крестом отдаст, лампадная душа... Не пожалился ведь никому, Чистоплюй Иванович. Молчан-травку проглотил, только с лица побурел. Поди, и не себя он теперь жалеет, а того, кто себя потерял, — на убогое солдатское добро позарился. Ведь вот этакая-то вещь более всего и пронзает...

Не спит Брудастый, поворачивается. А над ним будто темное крыло ходит, слова острые навевает:

— Что, солдат, сам себя накаливаешь? Кто тебе чехол на балайку ко дню Ангела сшил? Антошка. Кто на маневрах, как ты притомился, винтовку твою на себе пер? Антошка... А он ведь и сам, как лучинка... Кто за тебя, темного, письма домой пишет, обалдуй ты безграмотный? Кого ограбил?.. Антошка простит-стерпит, да тебе же еще штаны задарма залатает, — а что же ты мамашу его хлеба к празднику лишил? Что ж я с тобой делать буду, ежовая твоя голова? Хоть бы откомандировали к другому, — тошно мне с тобой, нет никакой возможности...

Скрипнул Брудастый зубом. И не спит будто, — откуда ж голос такой занозистый.

— Вставай, вставай... Чего кряхтишь-то, как святой в бане... Умел в яму лезть, умеи и выкарабкиваться.

Не видно пылинки, а глаза выедаёт... Терпел он, терпел, однако

ж не чугунный, — долго ли вытерпишь. Видит, дневальный, к нему спиной повернувшись, сам с собой в шашки за столиком играет. Скосил солдат на пол. По-за койками в угол пробрался, десятку из-под половицы выгудил, да тихим маневром, подобралшись к Антошиной койке, под подушку ему и сунул.

Сразу ему полегчало, будто чирий, братцы, вскрыл. Завел он глаза, одеяльце на макушку натянул. Только уснул, — ан и во сне хвостик-то остался: «Деньги-то я, — думает, — отдал, а надо будет утром Антошке по всей форме спокаяться. Срам перед ним приму, — он добрый, ничего... А то уж больно дешево отделался: украл, — воробей не видал, назад сунул, — будто наземь сплюнул...»

Только подумал, а перед ним будто его брат родной, только с крылами да в широкой одежде, как небесному воину полагается... Топнул он на Брудастого ножкой:

— И думать не смей!.. Оченно Антошке твое покаяние нужно. Только смутишь его, тихого, занапрасно... Я тебе форменно воспрещаю.

Оробел Брудастый, в струнку вытянулся:

— Да как же так?.. Хочь наказание какое на меня для легкости души наложите...

— А ты без покаяния походи, вот это тебе настоящее наказание и будет.

Задумался тут чернявый Ангелок и начальственно прибавляет:

— Да еще, ежели пострадать хочешь, — воспрещаю я тебе с этого часа солдатскими словами ругаться. Понял?

Смутился тут Брудастый совсем, спрашивает своего Ангела:

— На время или окончательно воспрещаете?

— Окончательно. Ведь вот же Антоша не выражается. Стало быть, можно...

— Да ему ж без надобности... Вздохом из него всякая досада выходит. А обнакновенному солдату, посудите сами. Скажем, я винтовку чищу. Паклю на шомпол навертел, смазкой пропитал, в дуло сгоряча загнал, — а назад шомпол-то и не лезет... Как тут, Ваше Светлородие, не загнуть? Дверь рывком дернешь, — и то она рипит, а солдат...

— Это до меня не касаемо. Наворачивай паклю в пропорцию, вот и не заест... А будешь рассуждать, я тебя и курева лишу.

Вздóхнул тут Брудастый, на голенища свои покосился.

— Ладно. Попробую... Только, в случае чего, ежели осечку дам, — уж вы того, не прогневайтесь.

Улыбнулся Ангел. «Ничего, — говорит, — главное, чтобы прицел был правильный, а осечку Бог простит».

* * *

Так-то оно, братцы, все и обошлось. Антошке — возврат имущества, Брудастому — эпитимья, шестой роте — ни суда, ни позора, Ангелам-Хранителям — беспечный покой.

«ЛЕБЕДИНАЯ ПРОХЛАДА»

Случай был такой: погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот, стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за ее хоромами на солнце лупился.

Дом крепкий, просторный. Прежде всего в нем сам купец с семейством квартировал, а как помер, вдова с отчаянной скуки себе новые хоромы взгромоздила, а старый дом так и стоял без надобности, паутинкой-пылью замшился, — мышам раздолье.

Перевезли, значит, кавалеры свои сундучки на нестройной двуколке, костылей в стены наколотили, трубы поразвешивали, — живут. Воздух, конечно, затхлый, однако, как махоркой его провентилировали, — жилым духом пахнуло.

С утра до вечера цельный день трубы курлычат, флейты попискивают. Потому команда, помимо своей порции, еще и в городском саду по вольной цене по праздникам играла. А тут еще и особый случай привалил: капельмейстер, прибалтийский судак, хоть человек вольнонаемный, однако по службе тянулся, — вальс собственного сочинения ко дню именин полковой командирши разучивал. «Лебединая прохлада» — на одних тихих нотах, потому в закрытом помещении у командира нельзя ж во все трубы реветь...

А в том дому, братцы, еще с турецкой кампании, домовик поселился, на чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал, — прямо перина. В новые хоромы не переехал, — старый деревянный дом куда способнее, что ж камень своими боками обсушивать... Да и домовые они вроде кошек — к своему стародавнему месту до того привычны, что и с кожей не оторвешь.

Харч был готовый — на помойке, за банькой, завсегда либо мозговую кость, либо пирога испод подгорелый добудет. Дворовый барбос до этих лакомств не достигал, потому домовой еще с вечера помойку обшаривал, пока собачку с цепи не спускали.

В лунные вечера ему, красноглазому, раздолье: по пустым покоем похаживает, мутным баском рявкает, — стекла по всем концам так и отзовутся. Либо на рундучок в прихожей ляжет, патлы свесит и давай по-мышинному поцыкивать... Набежит мышей прорва, он им сладкий сухарик скормит, да на две партии и распределит: которые мыши пешком — пехота, которые на крысах верхом — кавалерия. Хлопнет пяткой о притолоку — знак подает, — пошла война. Грызутся, кувырком о пол шмякаются, а он, шершавый, и рад — по рундучку катается, сам себя лапами по пузу барабанит... Удовольствие.

Зато и мышиную свою команду уж он не выдавал, — ни одного кота в дом нипочем не допустит. Чуть который мурло из-за ободранной доски покажет, чичас его домовик кочергой по усам, кот так и вскинется. Попал шар в лузу да и выскочил.

Да и на крыше ему, кудластому, лафа... Зимой белые шмели

над трубой попархивают, в ставне у купеческой вдовы красное сердечко мерцает. Тишина кругом до чрезвычайности. Дальний лес в мутном молоке дремлет... Дура-ворона сбоку на крышу подсядет, спит домовый снежок да в зад ей пальнет, — лети, милая, не загащивайся!.. И летом не плохо: звезды, Божьи глаза, над кровельным коньком играют. Сопрет домовой из колодца бутылку пива. Пьет, ногой по желобу стучит. Остатки дворовому псу на башку сплеснет, — не смотри, обормот, на луну, не для тебя выплыла... В саду сторож у шалаша груши-опадки печет. Чуть глаза заведет, домовой свою порцию свистнет, с руки на руку перекидывает и к себе на чердак. Знатно жил, что и говорить...

Особливо ж он весну обожал. Черемуха округ всей крыши кольцом цветет, миндальным мылом ноздри лоскочет. Соловьи над малинником гремят, звонкий раскат-пересвист из сада того густо наплывает, что не то что домовой — бревно разомлеет. Вытащит он из-за водосточной трубы своей работы жилейку, да как начнет соловьев подбадривать, аж прачка Агашка на дворе на белых пальчиках лебедью закружится...

И вот тут, нежданно-негаданно, — загнали ему, под самый, можно сказать, май месяц шип под ноготь. Понаперло этой музыкальной солдатни во все покои, прямо дом трясется. Днем не заснешь, — а когда ж и соснуть домовому, как не днем... Почитай, с зари гундосят черные дудки, флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет, басы в подкладку мычат-раскатываются. Хоть башку в стружки зарой, хоть паклей из-под бревна уши законопать, нипочем тишины не добьешься. Марши да польки — будто медные козлы через стеклянный забор скачут... Вальс «Лебединая прохлада», правда, на одном пьяном шепоте шел, да что толку, ежели капельмейстер через каждый такт музыку обрывал и такими прибалтийскими словами солдат камертонил, что домовой с тоски в трубу голову засовывал. Не любят они, домовые, когда кто по-русски неправильно ругается...

Да и ночью не легче было. Строевой солдат, когда он не дневалит, да на посту с ружьем не стоит, ночью обязательно дрыхнет, а эти бессонные какие-то оказались. Чуть капельмейстер на свою фатеру через дорогу вонзится, чуть старший унтер-офицер, сверхсрочный старичок, — мундирчик с шевронами над койкой повесит, — сейчас кто куда. В саду шу-шу, шу-шу: мало ли беспризорных куфарок да мамок... Полковому музыканту после пожарного, можно сказать, первая вакансия. Из окон сигают, в кустах масло жмут — всех соловьев, самозабвенных пташек, к собачьей матери поразогнали... Сирень снопами рвут, — на пятак попользуются, на рубль поломают. Ох, сволочи!

Нырнет домовой, как солнце сядет, под жимолость, к помойке своей серым катышком прoderется, ан и тут обида: квартирант богоданный, музыкантская собачка Кларнет-пистон, все как есть приест, — хоть мосол обглоданный после нее прохладным языком оближи... На чердак вернется, — портки музыкантские на веревках

удавленниками качаются, портянки, хочь и мытые, на лунном свете кадят-преют, никакая сирень не перебьет.

Даже мыши и те сгнули. Капельмейстер, чистоплюй, во все углы носом потыкал, — приказал в мышинные щели толченого стекла насыпать. Тварь Божия ему, вишь, помешала. Ну и ушли все скопом в лабаз соседний, не по стеклу ж танцевать. Лапки свои — не казенные. Совсем домовому обидно стало, как своей последней компании он решился. Ишь, хлуп гусиный, — на малое время до лагерного сбора с командой втиснулся, а распрядки заводит, будто он тут и помирать собрался.

Вылез как-то домовой о полночь на крышу, к трубе притулился, лунный дым сквозь решето стал сеять, а сам свою думку думает: как бы охальную команду с места сжить? Не самому ж со стародавнего гнезда сниматься... Хоть дом сожги, — в золе под порогом ямку выкопает, никуда не подастся. Кой-чего и придумал. Начал он тихо, вроде «Лебединой прохлады», а дальше все круче: поострей толченого стекла дело-то вышло.

* * *

Утром, чуть ободняло, полез барабанщик на чердак, бельишко в охапку собрал, — все как есть на месте. А чуть на свет вынес, так и заверещал:

— Ох ты, гусь с яблоками! Глянь-ка, братцы... Никак черт на нашем белье трепака плясал.

Сбежались музыканты, — вот так постирушка. По всем порткам, рубахам жирной сажей следки понатоптаны. Да и следки какие-то несуразные: то ли селезень с медвежонком сажу на белье месили, то ли обезьяна заморская, из трубы вылезши, на передних лапках по белью краковяк танцевала...

Подкатился тут старший унтер-офицер, подковками затоптал:

— Что ж, энто, до-ре-ми-фасоль вам в душу, за оказия?! Как так не доглядели? Почему такое?

Догляди-ка тут, — не часовых же к подштанникам ставить... Капельмейстер на крик из своей фатеры поспешает. Сквозь очки глянул, чуть дневальному голову не отгрыз. А что ж с дневального в таком разе и спросишь, — ведь эдак его и за лунное затмение под винтовку ставить-то надо...

Ну, кой-как дело обмялось. Собралась команда в верхнем помещении. Впереди флейты, за ними кларнеты, у стены геликонбасы, — самые пучеглазые да усатые кавалеры. Дал капельмейстер знак, чтобы, значит, «Марш-фантазию» спервоначалу для разгону музыки. Набрали солдатики полную порцию воздуха, понатужились, дунули в мундштуки, — как прыснет из всех раструбов мелкой пылью керосин, — так всех с морды до подметок и окатило. А более всех капельмейстер попользовался, потому он завсегда перед командой, палочкой своей выкомаривает...

Затрясся он, раскрыл было рот, чтобы всю команду в три тона обложить, ан слов-то и не хватило... Выплюнул он с пол-ложки, —

с висков течет, мундирчик залоснился, с голенищ округ ног жирный прудок набегают. Залопотал он тут, как скворец, — и слов других не нашлось:

— Что значит? Что значит?! Что значит?!

Ничего не значит. Помет на полу, а птички и видом не видать.

Призадумались тут и музыканты, а уж на что народ дошлый. Флейтист один мокроротый, весь, как сорочье яйцо, веснушчатый, кинулся к керосиновой жестянке, что в углу стояла: пусто. А вчерась полная ведь была, — вот в чем суть!

Стали солдатики шарить, про капельмейстера и забыли, — хочь и начальник, совсем он ошалел с перепугу, чихал в сенях да старшему унтер-офицеру бока свои мокрые под тряпочку подставлял. Стали шарить. Глядь-поглядь, такие же следки, как на белье, только керосином смоченные, на чердак вели... Заскучили тут многие...

Однако ж, опомнился кое-как прибалтийский судак энтот, приказание дал, чтоб чердак до последней балки обследовать. Музыканты, ежели присяга потребует, народ храбрый: в самый бой впереди всех с музыкой идут. Ан тут человек с 5 охотников-то набралось. Фонарь зажгли, барабанщик наган свой против неизвестной нации неприятеля из кобуры вытянул, поперли на чердак. Тыкались, тыкались, все закаблучья друг дружке оттоптали, — хоть бы моль для смеха попалась. Только с дюжину пустых пивных бутылок у слухового окна нашли, — как кегли были расставлены. Да вместо шара чугунная бомба, что к лампе подвешивают, рядом лежала. Ох ты, Господи! То-то вчерась ночью над головами гудело-перекатывалось. Потоптались музыканты, никто и слова не сказал.

Делать нечего, — стали они задом с лестницы спускаться, а вдогонку им из-под дальней черной балки стерва какая-то подлым голосом огрызнулась:

— Ку-ку! Шиш съели?..

Загремели солдатики вниз, аж лестница затряслась. Доложили капельмейстеру, бухнул он с досады в турецкий барабан колотушкой, чуть шкуру не прорвал.

— Чепуха на барабанском масле! Голые потемки разве сами разговаривать могут? Промывайте струменты, ну вас всех к подноготному дьяволу...

Обнакновенно немец, — и выразиться по-настоящему не умел. Поманил он старшего:

— Займись тут пока с ними. А я пойду переоденусь, потому я весь фатогеном провонялся. Фитиль в меня вставить — и лампы не надо...

* * *

Отрепертились солдатики к вечеру, аж губы набрякли. Дело спешное: завтра утречком к полковой командирше в полном составе являться, супризный вальс играть. Проверили они инструменты, да вместо верхнего помещения внизу их над койками поразвеша-

ли, — при лампочке да при дневальном никакой сукин бес не накеросинит.

Сели в кружок, — кто в картишки, кто ноты подшивает, кто из черного хлеба поросят лепит... И вдруг все враз к фортке головы повернули: из-за колодца, из садовой чащобы невесть на чем, — ни дудка, ни окарина, невесть кто «Лебединую прохладу» высвистывает...

Да с такими загогулинами да перекатцами, что капельмейстеру хочь лицо закрыть. Он, минога, гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал, а тут стежок за стежком золотом завивается, сам из себя звонкие ростки дает... Кому ж играть? Все на местах. Экое ведь дело!

Пошушукались кавалеры. Расползлись по углам. В сад, конечно, ни один не сунулся, — место неладное: взамен знакомой куфарки еще такое, — тьфу, тьфу, — облапишь, что и рот набок сведет... Тихо-мирно по койкам своим завалились, подводные жуки в ушах зашуршали — уснула команда.

Один щеголек-флейтист у окна сидит, хозяйство свое налаживает. Утром в экстренной суматохе со всем не справишься... Поясок лакированный лампадным маслом протер, на вороненую бляху подышал, тряпочкой прошелся — так павлиньим глазком и прыснуло. Фуражечку встряхнул, — не блин армейский, своя собственная, — края пирожком загнул. Соколом на голове сидит... Полосатые оплечья слюной освежил. — Эх, вы, Дашки-канашки, прилипай к рубашке... Оплечья энти, братцы, у них, форсунов-музыкантов, как у селезней хохолок в хвосте. Так девушки пачками и дуреют...

Музыканты они, черти фасонистые, писарям не уступят. Потому завсегда на людях: то в городском саду в сквозном павильоне над публикой гремят, — каждый сапог на виду, — то на парадных балах мазурку расчесывают. Михрютками в голенищах разинутых не вылезешь, не тот табак. А ежели кой-что себе сверх форменной пригонки и позволяли, адъютант не подтягивал. Ему тоже, поди, лестно: такая команда, хочь в Париж посылай...

Обдернулся солдатик, — кажись, все. А как шароварки свои просмотрел, видит, пуговики подтянуть надо, — нитка, сволочь, гнилая попалась: чуть молодецкую выправку развернешь, так пуговка канарейкой вбок и летит...

Прихватил он все, как следовало, шука зубами не отгрызет. Подтяжечки новые примерил, в оконное стекло на себя засмотрелся: чисто генерал-фельдмаршал... Музыканты они ремешками не затягиваются, — и форс не допускает и для легкости воздуха в подтяжках способнее: ежели брюхо поперек круто перетянешь, долгого дыхания тебе, особливо на ходу, не хватит. Обязательно себя в штанах, как в футляре, содержать надо, чтобы правильная перегонка нот из груди в подвздошную скважину шла.

Охорашивается флейтист в стекло, подтяжечками поигрывает, с сонной зевоты рыбкой потянулся, — ан почудилось ему тут, будто с надворной стороны серый козел на дыбки подымается, в окно на

него во все глаза смотрит... Прикрыл солдат бровки ладонью, вззрился в темную ночь, — так вдоль стены и метнулось чтой-то... Да еще фыркнуло, шершавое зелье, — по всем кустам смешок глухой шорохом прокатился.

Не прачка ли Агашка? Голос у нее, однако, не толстый, кларнет с переливом, не то чтобы в басовую подземность ударять. И бежать ей с чего же: ты ей гимнастерку поштопал, а она к тебе так всем арсеналом и подворачивается...

Кто ж, лярва, сквозь окно подсматривал?.. Вспомнил тут музыкантик, какие чудеса в команде разворачивались, сжался, как мышшь... Гардероб свой на табуретке конвертом сложил и в теплое гнездо под собственное одеяльце чижином безвинным забился. Ишь, как в трубе корова в пустую бутылку ухаёт, а ведь на дворе ветра и в полколебания нет... Спаси, Господи, помилуй флейтиста Данилу, сонным неводом затяни, на заре перышком встряхни!

Остался дневальный посередке за столиком одинокой кукушкой. Сидит, бодрится, жужелицу по нотам пальцем подталкивает, чтобы правильное направление держала. Чего ж бояться: лампочка в полную силу горит, вокруг земляки в носовые флаги дуют. Не в лесу сидит, — наплевать!

Сквозь форточку оркестр соловьиный достигает, — вот поди ж, никто не учил, а без капельмейстера так и наяривают. Эх ты, жисть!

Притих он, прищипился, стал было носом дремливую рыбку удить, — ан слышит, будто дверь скрипнула... А может, и не скрипнула, — солдат во сне зубом заскрежетал? Серая мгла вдоль коек бродит-шарит, ножницы будто звякнули. Откуда тут в ночной час ножницам взяться? Таращит дневальный глаз, к земляку на койку присел, — и жуть на него наплывает и ночная мусть по рукам-ногам пеленает. Вздремнул не вздремнул, — бык его знает. К ковшику подошел, в ладони себе прыснул, глаза освежил и стал для бодрости на столике крепкое слово вырезать.

Сменился дневальный, другой заступил. Ан тут вскорости и солнце, словно подсолнечник золотой, из-за сада выкатилось.

* * *

Не успел капельмейстер щеки себе поскоблить — слышит, насупотив в команде крик, старший унтер-офицер истощным голосом орет. Побежал немец через дорогу, как был в мыле, в музыкантское помещение заскочил. Хоть и вольнонаемный начальник, скомандовал ему навстречу дневальный: «Встать, смирно!» Кто привстал, руками за брюхо держится, а кто так на койке турецким дураком сидит... Что такое?

Старший из угла шкандыбает, всей пятерней штаны на весу держит, лица на ем нет.

— Ох, ваше скородие... Пропали мы все с потрохами. Как к командирше команду вести, ежели на всех музыкантских штанах пуговицы все до одной отрезаны?! Даже пряжки на хлястиках все

начисто, можно сказать, слизаны. Либо в трубы дуть, либо штаны держать, — совместить никак невозможно!..

Началась тут, братцы, завирушка... Ночной дневальный крестится, языка с перепугу лишился, — знаками показывает, что ни сном, ни духом он тому не причинен. Да и не до дневального в таком виде, — через малое время в поход к полковому командиру на фатеру идтить. Как быть-то?

Послал капельмейстер утреннего дневального, — на одном ем брюки в полной исправности были, — к командиру нестройевой роты, чтобы распорядился из чихауза новый комплект спешно выдать. Припустил дневальный, а капельмейстер вдогонку дирижирует:

— Беги четвериком! По сторонам не смотри... На чужой кровать рот не раздевать. Марш, марш! Глухому попу два обеда на ужин...

Скрылся из глаз дневальный. А время идет. Обшарили на всякий случай все сундучки, — на всю команду пять запасных пуговиц набрали, — музыканты народ не запасливый. Пока что булавками подкололись, да это ж вещь не надежная: духовой инструмент крепких пуговиц требует, потому натуга большая.

Стучат часы, минутная стрелка капельмейстера прямо по сердцу чиркает... Слышат они — конский топот у ворот. Не двуколка ли с шароварками вскачь примчалась. Глядь, сам полковой адъютант на взмыленном коне во двор вкатывает, — у него ж, братцы, музыкантская команда в непосредственном подчинении, — тут засуетишься!..

— Почему, — кричит, — Иван Распрокарлович, такое запоздание?! Все собрамшись, командир в басовом ключе выражается, с какой стати музыки нет?.. Почему у вас личность в мыле? Рапорт об отчислении подавайте, ежели служить не умеете.

Капельмейстера аж в фальцет вдарило:

— Ох, господин адъютант! За бритого двух небритых дают... Сначала казните, потом выслушайте.

И доложил ему, какие камуфлеты в команде происходят. При тих адъютант, — видит, дело цинковое... А тут и двуколка со штанами подоспела. Оделась команда в два счета и марш-маршем к командирской фатере.

Хочь и с запозданием, однако вальс «Лебединую прохладу» пронзительно сыграли, — будто серебряные ложки в лоханке прополоскали. Разомлела командирша, капельмейстеру полпудовую ручку под усы сунула, музыкантов в беседку послала мундштуки промочить... Ежели нутро вспрыснешь, завсегда легче дух из себя в трубу гнать.

Командир полка, между тем, нет-нет да и насупится: моментальность любил, не приведи Бог, — а тут против расписания на двадцать минут оркестр согрешил.

Адъютант за парадным столом, что ж ему делать, все, как есть, и доложил: нечистую силу под арест не посадишь... И про портки

со следами, и про керосин, и про пуговики... Заахали полковые дамы, господа офицеры осторожно удивляются, полковой батюшка в шелковый рукав покашливает...

А капельмейстер, судак прибалтийский, после шестой рюмки усы пирожком вытер и с отчаянной храбростью заявляет:

— Или я, или черт... Официальный прошу панихидный молебен отслужить, а то я за занятия не отвечаю.

Ну, тут полковой батюшка его и причесал:

— Ни панихидных молебнов, ни молебственных панихид, Иван Карлыч, еще не существует. Может, вы сочините. А что касаемо черта, полагаю, что это не евонная повадка. Черт бы пуговики с мясом вырезал, чтобы казенное добро до тла изничтожить... А это домовик, не иначе. Вы его тихой жизни лишили, он и озорует... Уж вы и не супротивляйтесь, — он вас доест. И молебен никакой не поможет... А ежели желаете доброго совета послушать, попросите через полкового командира городского голову, чтобы он вам, пока ремонт идет, — другое помещение под команду приспособил. Барак какой-либо бесчердачный, потому домовые в бараках не обитают...

Городской голова тут же насупротив сидел. С капельмейстером чокнулся и говорит:

— Ладно, рижский бальзам... Барак я тебе приспособлю. Только дай мне, братец, прибалтийское слово, что в воскресенье в городском саду сверх комплекта ты мне «Лебединую прохладу» на громких нотах сыграешь... Тихая музыка меня не берет... а я уж по тебе, как помрешь, — панихидный молебен по первому классу закажу. По рукам, что ли?

<1932>

БЕЗГЛАСНОЕ КОРОЛЕВСТВО

В прикарпатском царстве, в лесном государстве, — хочь с Ивана Великого в подзорную трубу смотри, от нас не увидишь, — соскучился какой-то молодой король. Кликнул свиту, на крутозадного аргамака сел, полетел в лес на охоту. Отмахали верст с пяток... Время жаркое, — орешник на полянке, на что куст крепкий, и тот от зноя сомлел, ветви приклонил, лист будто каменный, никакого шевеления.

Привязала свита коней к орешнику, король широкой походкой вперед идет, камыш раздвигает, ручья ищет. Ан был, да весь высох... Всмотрелся король в чащобу, видит незнакомая малая хатка под дубом стоит, дым не дымит, пес не скулит, будто и нет никого. Махнул он перчаткой, свита да стража за им пошла. Видят — дверь в сенях пасть раззявила, хочь свисти, хочь стучи, никто, девкин сын, не откликается.

Ну что ж, не в рюхи с хозяином играть: главное-то и без него

в сенцах нашлось... Выкатили бочоночек на свет, втулку выбили, — стоялый квас шибанул в глаз, все так и повеселели. Выпили они по липовому ковшику, от короля до королевского денщика, в затылок по чинам ставши. Хоть болотной бражкой и припахивает, однако ж около хвоста меду не ищут. В лесной глуши и на том спасибо...

Тут-то вот, милые мои, король дуба и дал: ему бы по званию своему империял-другой неведомому хозяину на лавке оставить надо, — запас, вишь, весь вылакали. Однако ж он, по веселости лет, запоматывал, дежурный генерал не доложил, адъютант икнул, не подсказал, денщик не насмелился. Так и укатили.

Только трава улеглась, тихий шорох по кустам растаял, копыта вдали по корням вперебой захлопали, — вылезает это из-за вереска дремучая борода, кудлатая голова, колючие глаза — лесной колдунок, который, значит, в хатке этой обосновался.

Приполз он к сеням, — ножки-то у него были с младых лет сдрюченные, — в материнской утробе не так повернулся, осечка и вышла... Принагнул кадушку, ан в ней одна нахальная муха пищит, которая за остатной каплей забралась. Благословил он незваных гостей начерно: квас-то был ядреный, в подполье мореный, на семи травах настоенный... Весь лес, почитай, задом обьелозил, пока до настоящего букета добрался. Вот тебе и запасся... Пошарил он по лавке, по подлабочью, — хоть бы алтын ему король за выпитое бросил. Чин королевский, а поступки цыганские...

Почервонел колдун, черной слюной харкнул. Ладно, думает, квасок-то хорош, да как-то он еще отрыгнется...

Ступил он на порог, кротовью костку из-под половицы добыл, спрыснул ее из баночки папоротниковой, на жабьих глазах, настоеккой, повернулся к востоку, где королевский город за лесом лежал, и стал над косткой причитать:

«Кто мой квас пил, рыло омочил, всем им со сродственниками, соседями-подсоседями, со слугами-стражей, со всем приплодом, всему их роду на все королевство уста запечатываю... Бабам не галдеть, колесу не скрипеть, кишкам не бурчать, наяву не чихнуть... Ты взойди, тишина, как над озером луна! Одним птицам-сестрицам, косматым зверям, да насекомой твари уста отмыкаю. Слово мое крепко, дело мое цепко, — ни черту расколдовать, ни ангелу расковать. Тьфу, тьфу, ехал шиш в Уфу, голова в кустах, хвост на плечах, печать на устах...»

Отпономарил он все, как следует, косым каблуком прихлопнул, заржал да и уполз в вереск семь трав для нового кваса собирать. Нельзя ж ему, сволочи, без квасу-то...

* * *

Летит король на аргамаче, стремена пружинит, плащ за спиной ласточкой. Чтой-то свиты не слышно, — ни свиста, ни топота? Обернулся: все за ним веером скачут, только чудно как-то, — галопом дуют, будто ветер по воде стелется, уздечка не звякнет, копыто не цокнет. Попридержал король коня, портсигар вынул, у дежурно-

го генерала серничка хотел было спросить, раскрыл жаркие уста, — ан окромя дыхания, ни полслова... Затормозило, значит. Наохлился король, безмолвной плетью лист с дуба сбил. Свита да стража кольцом обступила. Которые поближе, дали королю прикурить, а он папироску наземь, — как рыба в садке, рот раскрывает, приказание какое сделать хочет, что ли... Да как прикажешь, ежели в словесной машинке завод соскочивши?

Повернулись тут и прочие, друг к дружке с седла тянутся, спросить хотят, что с королем приключилось, — рты настезь, языки мельницей. Да что ж с одним языком сделаешь, ежели колокол черти унесли?

Смятение тут пошло, коней вальсом вертят, лесной воздух глотают, пальцами слова подпихивают, — хочь бы хны... Пропала вся словесность, как есть, даже и чертыхнуться нечем.

А тут и собачки подбавили. Натянула вся свора сырмятные ремешки, зады дрожат, глаза — свечками, да как заголосят:

— Что ж это за охота, сукины вы дети?! Вон там за кустом лис огненным хвостом прочертил, — а нас не спускают!

Шарахнулась тут свита, завертелись охотнички... Слыханное ли дело, чтобы людям молчать, псам разговаривать? А псы так и надсаживаются. Лопнули ремешки, собачки по осиннику так и брызнули... Ан король ни с места. Лоб перчаткой утер, да гневный знак доезжаему сделал: труби, мол, в рог, сзывай их, вислозадых, назад, — какая, мол, теперь охота...

Приложил охотничек гнутую завитушку к устам, надул щеки арбузом, ан из рога, как из карася, одна безгласная тишина кольцом вьется.

Испужался король, свита фуражки долой, — лбы крестят, да поводья почем-зря туды-сюды дергают... Надоело коням в карусели вертеться, повернули к седокам головы, зубки оскалили, да как заржут:

— И-го-го! Матерям вашим — кобылам сто плетей в зад! Задергали нас совсем... Чего, дружки, на них, обалделых, смотреть — гони в королевские стойла... Видно, нынче дело — табак, завертят они нам головы окончательно...

Прикусили мундштуки, задами друг на дружку нажали, выстроились по четверо в ряд, да как дернут марш-маршем к золотым королевским кровлям, что над холмом светлым маревом горели, — аж седоков к луке будто ветер пригнул. Ни топота, ни хруста: облака над лесной полянкой вперегонку плывут, — поди-ка, услышь-ка...

* * *

Осадил бессловесный король коня у парадного крыльца, — королева к нему, как подбитая лебедь, скатывается, белые руки ломают: беда во дворце стряслась, она доложить-то без слов и не может. Сынок королевский с нянькой в палисаднике играл, журчал, как ручей, да вдруг с нянькой его и закупорило, — знаки подают,

а разговора не слышно, одни пузырьки на губах играют... Кинулась королева к челяди, да и тут неладно: повар судомойку, лакей горничную за пуговку держат, белыми губами шевелят, — хочь в рот к ним вскочи, не услышишь... В окно короля заприметила, с лестницы катышком скатилась, да сама и онемела.

Король королеву по круглой головке погладил, свите рукой махнул, — расходишь, мол, братцы, что ж нам карасями пучеглазыми друг на дружку смотреть-то... Королевича на руки подхватил, к широкой груди притулил, — ни ответу, ни привету. Так втроем в опочивальню и ушли в тишину, как под лед нырнувши...

А в королевской резиденции и невесть что завертелось. Бабы у колодца судачили, — первое их дело соседские кишки полоскать, — да вдруг как тихим громом их ударило... Тужатся, тужатся, ан выстрелить-то и нечем. До того им обидно стало, аж за ушами засвербело. А тут козел с вала по-над колодцем, потная шерсть, морду повернул, да как фыркнет:

— Наговорились, гладкие... Будя! Дайте-козь теперь нашему брату словесного козла подоить...

Да как начал их отчитывать, — почему в хлеву навоз горбом; почему козы не доены, — чай, пастух давно их из-за яра пригнал; почему козлу ни одна баба черного хлебца с солью не поднесет, сами-то, шкурехи, небось, булку трескают... Ишь, вымя-то как раздуло!

Освирепели тут бабочки, стали в него камнями пулять. До чего удивительно: который камень в самое пузо угодит, — ни гула, ни треска, будто ангел крылом одуванчик сшиб. Однако ж, больно, мать их в пуп боднуть, копытом прихлопнуть! Терпел козел, терпел, да как стал их поперечными словами вентилировать, — тоже и он кой-чему около королевских казарм научился. Перепужались бабы тут окончательно, да так неслышным галопом по домам и брызнули... Что ж за жизнь пошла, ежели все слова, чистые да нечистые, к козлу перешли, а бабам и огрызнуться-то нечем!..

Пьяненький тут один по забору пробирался, — мастеровой алкогольного цеха. Только хайло растегнул, нацелился песню петь, ан из него один пьяный пар в голом виде. Икнуть и то не может... С какой стати этакое беззаконие? Даже остановился он, ручкой сам себе щелкнул, а щелчка-то и не слышно. Вот так пробка! А мухи над ним столбом в винном чаду завились, да зубы скалят... Обрадовались, сроду не говоривши:

— Ах, мухобой какой! Милые, гляньте-ка, как его от двух бортов качает... И кто ж это ему ноги передвигает? Чай, давно ему время с копыт слететь. Вали, дядя, лужа-то мягонькая...

Шлепнулся мастеровой беззвучным тюфячком в канаву, ножки задрал, — досада его калит: последняя тварь, муха, выражается, а он всего, как есть, разворота лишился. Дела...

Ребятенки тут поодаль в бабки играли. Меткий удар — легким словом подстегнуть первое дело. Ан и их зацепило: руками машут,

голоса черт унес. Испужались они, вздумали было зареветь, да рева-то и нет... Прыснули они тихими воробьями по хатам к матерям. Какая уж тут, без крика, без визга, игра.

Мужик с бабой на завалинке супротив винной лавки сидели. Только было пристроился по случаю вечерней прохлады с бабой поругаться, — словом занозистым зарядился, да порох-то и отсырел... Уж он и квасу глотнул и табачку понюхал, — ни на полслова силы не хватило... Двинул он с досады бабу локтем в бок, — так она и взвилась, чтобы раскатной дробью его осадить. Да заместо того только и смогла, что между глаз ему плюнула... Даже и драться не стали, до того им обидно стало. Что ж драться, ежели и взвинтить друг дружку нечем.

Кот ихний, Гришка, драная голова, с забора так и залился:

— Ну и камедь, мышь вам во щи!.. Сроду таких делов не видал. Мы, на что коты, и то сперва пофырчим-пофырчим, а потом плюем, да цапаемся. А тут, слова не сказавши, он ее в бок, а она в него обратной почтой — харкает...

Раскипятился мужик, хватил в кота поленом, да, спасибо, не попал. Пошел с бабой в избу, да так, и не ужинавши, огня не вздувши, и взобрались на полати... Спиной друг к дружке, двуглавым орлом сонные пузыри пускать.

Опять же кузнец за пустырем на отлете борону клепал. Свистал, свистал, что ж за работа без свиста, — ан свист-то с губ вдруг и сдуло... Подивился он, — что за пес, кто ж губы заклеил? Да и удивляться-то не успеешь: молотом по железу стучит — ни стука, ни гука... Поддувало не скрипит, огонь не трещит... Что за наваждение?.. Поскреб он в затылке, задом из кузницы выкатился, сел на старую наковальню. Час нё поздний, а тишина вокруг, — будто город периной накрыли. Одни псы, — спаси и помилуй! — на свалке кости грызут, да друг дружку, как нищие на ярмарке, собачьими словами облаивают.

— Пойди, сволочь, с моего места! «От сволочи слышу»... «Да дайте же ей, сукиной дочке, тяф, бычьим ребром по зубам, — что ж она на мою падаль распространилась»...

Охнул кузнец, побежал к королевскому фельдшеру по соседству, авось тот ему какое разъяснение даст, либо пивяки к разговорной жиле поставит. Да и с фельдшера-то взятки гладки: сидит на полу, телескопы выпучив, сам себя за язык тянет, а выдоить-то и нечего.

Словом, пошла тут жисть по всему королевству. Судья не судит, купец не зазывает, трактиры паутиной заплело, свадеб не играют, ребят не крестят, именин не справляют, в гости не ходят... В пустую молчанку только тараканов на стене бить интересно.

А скотину домашнюю да прочую живность, всю как есть, в лес прогнали, — ну их к Анчутке, с разговорами ихними бесовскими. Умней людей хотят быть, пусть в лесу и подохнут. Не коровам баб доить, не коровам и разговаривать.

Особливо военных подрезало, — хочь все войско распускай по задворкам в бессловесной одури подсолнухи грызть. Часовых у дворца и то сменить нельзя, пароля не передавши... Стой хочь до седой бороды, пока квашней наземь не осядешь. Сам король караулы и похерил, своей властью пищали у часовых поотобрал, — расходишь, мол, по казармам слонов слонять, а немого короля тишина укараулит... Ученье начисто отменил. Без раскатной команды, без барабанного боя, без песен да марша одни лягушки по отделениям скачут, да и те квакают. Вздумали было спервоначалу батальонное учение по знакам производить, да воробьи засмеяли: «Первая рота пьяным серпом развернулась, вторая — себе на штаны наступает»... Так и бросили.

Заскучали тут генералы, распечь некого, — самовар, и тот громогласно бурлит, когда жар его проймет. Офицеры да фельдфебеля бесшумно орехи грызут, в дурачки, будто утопленники под водой, тихим манером дуются. Ни сока, ни сладости. Солдатики по углам хлеб да кашу жуют, — что и собираться-то вместе, ежели за обедом ни шутки сшутить, ни легким словом перекинуться. Да и насчет прочего, скажем, с миловидным предметом в королевской роще прогуляться... Нельзя же девушку сразу за банты брать, разговор-то хочь махонький нужен.

А король и совсем скис. Приемы прекратил, не глазами же другу облизывать. Всех иноземных заезжих гостей отвадил, границу закрыл, — срамота ведь, братцы: гость разговорчивый из другого правильного государства приедет, — ужели кобылу к нему для беседы рядом за королевский стол сажать? Мораль по всем странам пойдет...

Королева с сынком безгласным все в почивальне сидит, безмолвные слезы глотает. По всему дворцу ребяенок, словно чиж, трещал, а тут до того измолчался, что на пальцах разговаривать стал. Сердце надорвешь, смотревши.

Сидит как-то король у окна, на закат смотрит, сладкий пирог вилкой расковыривает. Власть ему не в власть, еда не в еду... Только видит — вдали пыль закурилась, народ ко дворцу волной валит, немой громадой накатывает. А впереди отставной солдат Федька, малый еще не старый, которого в запрошлом году громом-молоньей на часах оглушило, — с той поры он и онемел. Подошли поближе, король аж в окно перегнулся... Экая вещь: лопочет что-то Федька, руками размахивает, а вокруг его бессловесным стадом народ рты поразинул, слушает не наслушается. Немой заговорил, языкатые онемели, видно, и впрямь деревья-то скоро корнями кверху расти начнут...

Взошел тут адъютант, на пальцах показал, что, мол, Федька к вашему величеству достигнуть желает, — как, мол, прикажете?

Король и чин свой на подоконнике забыл, отстранил чубуком адъютанта, да вприпрыжку сам к крыльцу и побежал.

Перекрестился Федька, поклон королю до самой пряжки отдал, да как заговорит, аж теплый ветер по толпе прошел, до того чело-вечью речь слушать любо.

— Не тужи, ваше величество! Дело еще может на поправку пойти. А покуль что, разреши с глазу на глаз потаенный доклад сделать, — вещь первой важности. Секрет при всех, как снег на базаре: по каблукам грязью разойдется...

Хватает его король ласково под локоть, ведет дорогого гостя в кабинет; дверь замкнул, во второй кабинет провел, опять замкнул. Посреди покоя стульчик ему придвинул, сам рядом сел, ухо прик-лонил. Чтобы не подслушивали, значит.

Федька-то тут и выпотрошился:

— Как я, ваше величество, после немоты своей заговорил, за-одно с бессловесной тварью в обратную линию попавши, — тут собачка моя, миловидный Шарик, с разговором ко мне и прилетает. Однако ж, она пес не нахальный, не возгордилась... «Так и так, — говорит, — хозяин... Я это дело обследовала. По следам королев-ской свиты в лес смахала. Меж кустов и трав на хатку эту под дубом и я напала. Вижу, сова — круглый глаз, на цепи на загнетке сидит, колдуна своего драгунскими словами ругает. — Почему, — спрашиваю, — дура, ругаешься? — А почему же он, злыдень, ушел семь трав собирать, а мне хочь бы корочку оставил, на цепь зам-кнул»... Собачка моя, натурально, зверь башковатый, в лес смахала, зайчонка сове принесла, — трескай, стерва, а как наешься, расска-зывай дальше. Ну, сова косточку последнюю обглодала, да Шарику все и выложила. Честная, дрянь, оказалась... — Как, мол, король со свитой квас выдули, да как колдунок с отчаянной злости наговор на кротовьей костке сделал, все королевство речи лишил... Дал я Шарику за умственность молока похлевать, да и надоумил его: сова к вечеру опять оголодает, стащи-ка ей куренка, да сразу не да-вай, — подразни. Авось она, на цепи сидя, со злости на колдуна, и проговорится, хохлатая шкура, насчет средстввия, как язык-то во всем королевстве опять разговорным концом обернуть... Как по писанному, ваше величество, и вышло. Сьмайте с вашего королевско-го пальца кольцо с печатью, дайте мне его на малое время. Завтра к обеду, авось, все загадят, а пока более ни об чем докладывать не могу.

Обнял король Федьку, в небритую скулу его безмолвно чмок-нул, кольцо с пальца снял, сам Федьке сладкий пирог на вилке подносит... Полное, стало быть, доверие оказал.

* * *

Ранним рано обскакал Шарик, обрыскал все королевство: «Схо-дись все на базарную площадь, хозяин Федька вас лечить будет». Слетелся народ, как мухи на патоку, — голова к голове, будто маковки. Король с семейством да первые чины за ними кольцом. А Федька старается: под котлом посередь базара костер развел, раз-варил кротовую костку. Потом огонь загасил, дал воде остынуть маленько, на бочку стал, печать показал да как гаркнет:

— Королевской властью приказываю, чтобы на короткий срок предоставили мне самую болтливую во всем королевстве допрежь беды бабу! Вреда ей не будет, одно удовольствие... Только правильно, голуби, выбирайте, чтоб ошибки не вышло.

Вскипел тут бесшумно народ, стали то одну, то другую выпихивать, — бабы упираются, галки с крыш смеются, толку ни на грош. Взяли тут бабы дело в свои руки, пальцами туда-сюда потыкали, выхватили перекупку одну базарную, сырую бабеху в полтора колеса в обхвате... Подтащили к Федыке, головами показывают: честно, мол, выбрали, — болтливей ее ни одной сороки не было...

— Ну, мать, — говорит Федыка, — скидавай лишнее, лезь в котел. Да не бойся, не щи из тебя варить буду, только попарись.

Перекупка туда-сюда метнулась, да не уйдешь. Подхватили ее бабы под рукоятки, тыквы у нее от волнения разболтались... Смехота.

— Да ладно уж, — смилостивился Федыка. — Сорочку на ей оставьте, и в сорочке искупается. Что ж нам на ее вдовый балык любоваться...

Бухнули ее в теплый котел, аж до колокольни брызги долетели. Окунул ее Федыка раза три, выудил, крикнул да на спине вон и выволоч. Сушись, ласточка, — навар в котле, подол на земле.

Размещал он варево, скомандовал всему населению — от короля до лохматого нищего — к котлу подходить, да каждому по чарке бабьей настойки — на кротовой костке — и поднес... Морщились некоторые, — скус-то не курочкой отдает, однако, — говорить хочешь — не откажешься.

И вот враз, чуть последнему грудному младенцу последнюю чарку хлебнуть дали, — весь базар заголосил-загалдел, аж до неба докатилось. А из лесу скотина да прочая живность откликается, — домой идут. Разговор-то у них, всех скотов, сразу и замкнулся: корова мычит, петух кукарекает, как по расписанию Божьему полагается.

Обступил тут народ Федыку кучей, король ему десятку сует, королева — поясок, с себя снявши, презентует. А Федыка-то тут, братцы, и онемел, опять вровень с бессловесной тварью в свое состояние вернулся...

Королева заахала, народ соболезняет: всех спас, а сам назад поддался... Спрашивают его — нет ли для него, Федыки, особого средства? А он, шут, только смеется, да на знаках что-то показывает.

Тут-то молодой королевич и пригодился, — на пальцах-то он очень хорошо понимать стал.

— Вещь в том, — говорит, — что ежели эта баба, которую он искупал, с первого новолунья ради него трое суток добровольно молчать согласится, — тогда и к Федыке словесность навсегда вернется.

Подтащили тут мокрую перекупку, просят ее, умоляют, а она как раскатилась:

— Бабку его под пятое ребро!.. Чтoб я?! Да ради него?! Ради

срамника-то этого, который меня, стародавнюю вдову, в натуральном виде при всех разбандеролил? Ни минуты не помолчу, ни полминуточки, ни вот на столечко...

И пошла кудахтать... Так весь базар и грохнул. Рассмеялся Федька, русой башкой тряхнул, через королевича объяснил: и без речи, мол, обойдусь, не привыкать стать. Королевское семейство да весь народ вызволил, — на королевскую десятку с товарищами выпью... А баба эта пусть мою разговорную порцию себе берет... Авось не лопнет.

1932

ШТАБС-КАПИТАНСКАЯ СЛАСТЬ

Проживал в Полтавской губернии, в Роменском уезде, штабс-капитан Овчинников. Человек еще не старый, голосом целое поле покрывал, чин не генеральский, — служить бы ему да служить. Однако ж, пришлось ему в запас на покой податься, потому пил без всякой пропорции: одну неделю он ротой командует, другую — водка им командует.

В хутор свой, как в винный монастырь, забрался, чересполосицу монопольную бросил, каждый день стал прикладываться. Русская водочка дешевая, огурцы свои, дела не спешные, — хочешь умывайся, не хочешь и так ходи. Утром в тужурку влезет, по залыцу походит, — в одном углу столик с рябиновой, в другом с полынной... Так в прослойку и пил, а уж как очень с лица побуреет, подойдет к окну да по стеклу зорю начнет выбивать, пока пальцы не вспухнут.

Компании себе никакой, однако, не составил. Батюшка по соседству трезвенный оказался; даже отворачивался, когда мимо проезжал, потому на всех подоконниках у господина Овчинникова наливки так и играли. Прочие тоже опасались, — штабс-капитан пил беглым маршем, интервалы короткие. Который гость отстанет, догонять должен, а не то коленом в мякоть, — поди подавай рапорт румынскому королю.

Сидит это он как-то летом один, скворца хромого пьяным хлебом кормит, — оммакнет в рюмку, да птичке и поднесет. Все же веселее, будто и не один пьешь. Скворец у него крепкий оказался; гусей пьяными вишнями споил, — облопались, в одночасье подошли... Собака благородной масти, Штопор по прозванию, сбежала. Каждый сбежит, не только благородный, ежели ему в глотку чистый спирт без закуски капать.

Сидит это господин Овчинников, а время около полуночи было. Сам с собой в зеркале чокается: «Будь здоров, сукин племянник! — Покорнейше благодарю!» и рюмку на лоб... Вгонит ее в нутро, будто карасином давится, а сам новую цедит. Уж и зорю по стеклу не выбивал, пальцы набрякли. Только нацелился по двенадцатой, а

может, и по шешнадцатой пройтись, глядь, из бутылки малиновая жилка ползет. Жилка за жилкой, сустав за суставом, все на свое место встали, — цельная погань на край горлышка села, на штабс-капитана смотрит, хвостом в носу ковыряет. Как есть бесенок, масть вот только неподходящая: обнакновенно они в черноту ударяют, а спиртная нечисть в зелень.

Штабс-капитан ничего, — не удивляется. Даже обрадовался, не с мухами же тихий разговор вести.

— Наконец, — говорит, — заявили. Давно вас заждался! Почему ж ты, однако, ммалиновый?

Соскочил бес поближе, на чернильницу сел, потягивается.

— Потому, — отвечает, — форму у нас переменили. Которые по купечеству приставлены, по запойной, значит, части, — обмундирование у них, действительно, старое оставлено, зеленое. А какие к военным прикомандированы, особливо к запасным, — те теперь малиновые.

Пондравилось штабс-капитану, что такое к военным внимание. Ус пожевал, рюмку об штанину вытер, наточил водки, гостю подвигает.

— Пей, адъютант. Экой ты мозгляк, однако... Поди, водка из тебя так в чистом виде с исподу и вытечет...

— Не извольте беспокоиться. Не пью-с.

Ну, господин Овчинников не таковский, чтоб в своем доме такие слова слышать:

— А я тебе приказываю. Пей, клоп малиновый! Не то туфлей по головизне тюкну, и икнуть не успеешь.

Бес копытцем мух отогнал и дерзким голосом выражает:

— Не пью. Пять раз вам повторять. Службы не понимаете, а еще военный. Ежели бы бесы, которые к пьяницам приставлены, сами пить стали, что бы это было...

Обиделся штабс-капитан, пальцем с амбицией помахал:

— Обалдуй ты корявый, разницы не знаешь. Пьяницы это из нижних чинов, а из офицерского звания — алкоголики.

— Хоть алкоголик, хоть католик, — мне без надобности. Своего не упустим...

— А ты при мне бессменно, что ли?

— Само собой. Когда спите, я отдыхаю. Не взвод же к вам приставлять. Жирно будет.

— Давно при мне?

— Как вы еще в подпрапорщиках состояли, с той самой поры... Скучно мне с вами, господин Овчинников, не приведи черт!

— Какого же хрена тебе от меня надо? Чтоб я вокруг дома со шваброй промеж ног ползал?

— Зачем же-с. При вашем чине неподходяще. Пьете вы скучно. Ни веселости, ни поступков. При кузнеце я раньше болтался, так тот хоть с фантазией был. Напьется, я ему в глаза с потолка плюну, а он лестницу возьмет, да по ней задом наперед начнет лезть, пока

в портках не запутается. Свалится, из носа клюква течет, а сам песни поет, собачка подтягивает... Интересно.

Фукнул штабс-капитан. Рюмку отставил, усы сапожной щеткой расчесал и говорит:

— Дурак ты серый. Тебе повышение дали, ко мне назначили, а ты об кузнеце вспомнил. Плюнь-ка в меня, попробуй, я тебя, гниду, вместе с домом спалю!

— Зачем же мне в вас плевать-то? Тоже я разницу понимаю. А дом спалите, сами и сгорите. Преждевременно это, потому разворот вашей судьбы еще не определился.

— Какой-такой мой разворот?

— Не могу знать. Это от водки да от старших чертей зависит.

— А ты-то сам из каких будешь? Какие еще там у вас старшие?

— Как же. Примерно, как у вас, военных. Сатана вроде полного генерала. Дьяволы да обер-черти на манер полковников. Прочие черти, глядя по должности: однако все на офицерских вакансиях состоят. Ну, а мы — легкие бесы, крупа на посылках. Наш чин — головой об тын...

Взъерепенился тут штабс-капитан, как индюк на лягушку. Как вскочит, как загремит, аж вьюшки задрезбужали:

— Так ты, шпингалет, стало быть, вроде нижнего чина?! Да как же ты, глиста малиновая, при мне сидеть насмелился! Встать по форме, копыта вместе!..

И словами его натуральными покрыл вдоль и поперек до того круто, что стряпуха на кухне с перепугу с топчана свалилась.

Однако бес не сробел. Не то, чтоб встать, лег на край стола, языком, будто жалом тонким, поиграл и господина Овчинникова с позиции так и срезал:

— Первое дело, как вы есть в запасе, не извольте и фасониться. Где гром, там и молния, а вы, можно сказать, при одном голом громе остались. Второе дело: не я вам, а вы мне, хоть я и рядового звания, подчинены... Счастливо оставаться, ваше высочорodie, а ежели не сытно, дохлым тараканом закусите, — здорово на зубах хрустит...

Да с этим напутствием под стол скользнул, будто уж в подполье.

Крякнул хозяин, бутылку-матушку, чтоб обиду запить, перевернул, — ан в бутылке одно лунное сияние. В сухом виде предмет бесполезный.

* * *

Чуть вторая полночь из сада сквозь окна глянула, бес тут как тут. А уж Овчинников испугался было, не обиделся ли нечистый, — алкогольная моль, — за вчерашнее.

Вылез бес из бутылки, над лампой малиновые лапки посушил, спирт так болотным языком и вспыхнул.

— Ну, что ж, — спрашивает, — опять филимониться будете, либо умственный разговор поведем честь честью?

— Черт с тобой! Трезвый я б тебе морду хреном натер, а в натуральном своем виде не могу без разговора. Зовут-то тебя как?

— Имени еще у меня нету. Очередь не дошла. Который черт у нас черные святцы составляет, седьмой год болен лежит, — ведьма ему за прыткий характер хвост с корнем вырвала. А фамилия моя Овчинников.

— Как Овчинников?! Ах ты, козел беспаспортный! Да это ж моя прирожденная фамилия...

— Так точно. Ваша и есть, — не ворона, не улетит. Мы всегда по своим выпивающим для удобства фамилии носим. А ежели вам обидно, буду я рапорта Овчинниковым-Младшим подмахивать...

— Рапорта подаешь?

— А как же. Да вы не тревожьтесь. Я честно. Вы вот счет путаете. Я рюмки лишней не прибавлю. Однако ж, у вас послужной список подмок густо...

— Что так?

— Животных спаиваете. Да и не я вас подбивал, — хочь и бес, а до такой азиатчины не дошел... Позавчерась невинной козе картофельную шелуху перцовкой вспрыснули... А у нее дите. Нехорошо, сударь, поступаете. Лучше уж дохлых мух на табачке настаивать, да в гитару с ложечки лить. Очень против пьяной одури развлекает.

Нахмурился штабс-капитан, засопел. Ишь ты, сволота, еще и нотации читает... Губернантка безмордая.

Видит бес, что разговор в землю уходит, а ему тоже скучно за зеркалом с пауком в прятки играть. Перевел он стрелку, невинным голосом выражается:

— Извините, господин, давно я спросить вас собирался. Что это за круглая снасть на главном подоконнике у вас стоит?

Штабс-капитан мутным глазом окно обшарил, перегар проглотил и обстоятельно бесу отвечает:

— Энто, друг, не снасть, а «штабс-капитанская сласть». Когда, стало быть, арбуз дойдет, в руках хрустит и хвостик у него вялым стручком завьется, — чичас я дырочку в нем проколупаю и скрозь воронку спирта волью, сколько влезет. Дырочку воском залеплю да глиной кругом арбуз густо и обмажу. Недели три его на солнышке на окне выдержу, спирт всю медовую мякоть съест, сахар в себя впитает... А потом, душечка ты моя, глину я оскробу, пробочку восковую к черту и сок, стало быть, скрозь чистый носок процежу... Так аромат по всей комнате и завьется. Деликатная вещь — другая попадья хлебнет, так вся шиповником и зарозовеет. Однако ж, я только на именины свои и потребляю, потому меня это дамское пойло не берет... Я, брат, теперь на перцовку с полынной окончательно перешел, да и то слабо. Хочь на колючей проволоке настаивай...

Заинтересовался бес до чрезвычайности. Да как же он рукоделие это овчинниковское проморгал? Пристал, как денщик к мамке, скулит-умоляет: дай ему хоть с полчашечки «штабс-капитан-

ской сласти» попробовать. И про устав свой забыл, до того губы зачесались.

Ан хозяин уперся. Повеселел даже, глаза заиграли. Ишь, ржавчина, честной водки не пьет, подай ему сладенькую! Сложил четыре шиша, бесу поднес и для уверенности восковой свечой глину на арбузе крест-накрест со всех сторон закапал. Будто печать к денежному ящику приложил... Расколупай теперь. Гитарку взял: трень-брень, словно никакого беса и в глаза не видал.

— Угобзился, — говорит бес, — очень вас за угощение благодарим. Уж когда вы, господин, на теплую фатеру в преисподнюю в особое отделение попадете, угошу и я вас тогда! Будьте благонадежны.

Удивился штабс-капитан, даже тужурку застегнул.

— А разве... там... для нас особое отделение есть?

— Как не быть. Ублаготворят вас по самые ушки...

Ну, тут уж хозяин взмолился: расскажи да расскажи, какое там обзаведение... Само собой, интересно, — душа своя, некупленная. Как ей там, голубушке, опохмеляться придется.

Однако и бес языком узелком завязал.

— Не скажу, лучше, господин, и не мыльтесь. Присягу через вас не нарушу... Давно ли у вас арбуз-то на окне стоит?

— Недели две с гаком. Поди, совсем настоялся. Да ты брось про арбуз-то.

— Зачем бросать, подымать некому... А вот ежели вы, господин, завтра о полночь печать с арбуза снимете, так и быть, нонче душу из вас в сонном естестве выну и на часок ее т у д а контрабандой доставлю. Насчет этого присяги не принимал. По рукам, что ли?

А сам на арбуз косится, кишка в нем главная, наскрозь видно, так и играет...

— По рукам, — говорит штабс-капитан. — Погоди, последнюю для храбрости пропушу...

Минуты не прошло, отвалился Овчинников от бутылки, на пол сполз. Лампа погасла. Поковырялся бес около поднадзорного своего, в лапе чтой-то зажал — вроде паутинки голубенькой, — спиртом так от нее и шибануло... Вихрем на копытце закружился и скрозь пол угрем ушел. Только половицы заскрипели.

* * *

Очухалась штабс-капитанская душа в алкогольном отделении, в самом пекле, притулилась в угол, во все бестелесные глаза смотрит. В пару да в дыму ее не видать, народу прорва, словно блох в цыганской кибитке...

Грешник тут один навстречу попался: штопор каленый в него винчен был по самую ручку, из пупка кончик торчал.

— А что здесь, — спрашивает Овчинников, — и военный отдел есть, либо все вперемешку?

— Ох, есть, — говорит грешник. — Новичок вы, надо полагать. Сейчас вами займутся...

Испужался Овчинников, руками замахал.

— Да мне не к спеху! Не извольте беспокоиться... А вы сами из каких будете?

— Акцизный чиновник. На земле в пьяном виде подрался, пробочник в меня собутыльник и всадил. Вот теперь он во мне наскрозь и пророс, мочи моей нет... Плюньте на кончик, остудите хоть малость, слюнка у вас еще свежая.

Плюнул Овчинников, зашипел штопор, грешник пот со лба вытер.

— Ох, спасибо! Ежели интересуетесь, пройдите вона туда за русскую печь, там военных мучат. Дела по горло, черти с копыт сбились, авось вас не скоро приметят.

— А нижние чины, извините, отдельно или с офицерским составом вместе?

— Ох, не могу знать... Матросы, кажись, есть. А солдаты не очень-то прикладывались, в казарме не загуляешь... Однако ж, не ручаюсь... Ох, ирод мой ко мне направляется, мочи моей нет.

Так от него Овчинников и прыснул. Обогнул русскую печь, видит, бильярды поставлены, черти вместо шаров головы катают. Эва! Признал. Вон подполковник Сидоров, капитан Кончаковский... Страсти-то какие! Оба в запрошлую масленицу в бильярдной скончались, — на пари друг дружку перепивали...

Дальше — больше. Из водки пруд налит, берега шкаликовые, — голые моряки руками в лодках гребут, языками до водки дотягиваются... А она, матушка, от них так и уходит, так и отшатывается... Мука-то какая!

За прудом в беседочке огромная бутылка стоит, ведер, поди, на сто, вся как есть спиртом налита... А в спирту знакомые кавалеристы настаиваются: которые ротмистры, которые чином повыше. Одни совсем готовы — ручки-ножки макаронами пораспустили, другие еще переворачиваются, пузыри пускают.

Потупил штабс-капитан глаза, дух перевел. Слышит — музыка гремит... Черти на армейских разгуляях верхом едут, за плечами, вместо винтовок, шпринцовки торчат. Шпорами раскаленными в бока грешников бьют, на дыбки поднимают. Многих он тут признал, даром что без мундиров, в одних ремешках поперек брюха. С левой стороны покойный воинский начальник Мухобоев удила грызет, пена так мылом на пол и валит. Во второй колонне командир нестроевой роты, который по весне в бане горчишным спиртом опился, — черт его по ушам сороковкой бьет, а он задом, как кобыла на параде, так во все стороны и порскает... В хвост полковой адъютант Востросаблин, — тоже, стало быть, скапустился. А уж на что пить был горазд: бывало, в холодный самовар зубровки нальет, черешневый чубук опустит да и сосет, как дите. А теперь дослужился, — ведьма на нем козлозадая сидит, друшлаком под брюхо взбадривает, — срам-то какой...

Гремит музыка, — бесы на пригорке в пустые кости свистят, будто в гвардейские сопелки... Дьявол эскадронный команду подает:

— Слезай! Жеребцам морды открыть! Шпринцовки на руку! Вали!

Враз черти, кажный своему грешнику, в нутро полный шприц водки вогнали. Только, значит, те проглотили, облизнуться не успели, а черти назад по команде всю водку и выкачали... Мука-то, мука-то какая!

Бросился Овчинников промеж чертовых ног, чтобы, не дай Бог, нечистым на глаза не попасться. По темному коридорчику пробежал, пол весь толченым бутылочным стеклом посыпан, — все подошвы, как есть, ободрал. Видит, в две шеренги грешники стоят, медную помпу качают. Пот по голым спинам бежит, черти сбоку похаживают, кого шомполом поперек лопаток огреют, кому копытом в зад жару поддадут.

Спрашивает штабс-капитан правофлангового:

— Для кого, милый, стараетесь? Куда спирт-то гоните?

Тот копоть с лица бакенбардой вытер, с осторожностью объясняет, пока надсмотрщик рогатый на другом фланге бушевал:

— Для себя, друг, стараемся. Мы все тут офицеры запаса, которые по пьяному делу службу побросали. Раз в неделю спирт себе под котлы накачиваем, — военных чиновников на денатурате, а нас на чистом спирте кипятят... Кабы знать, за версту бы эту белую головку на земле обходил. Качай теперь да кипи, только тебе и удовольствия...

Отошел штабс-капитан по стенке. Головка у него вспухла, коленки подламываются, от винного букета глаза фонарями вздуло. Вот, стало быть, какая ему позиция предстоит, альбо еще градусом крепче.

За локоть его тут ктой-то перехватил, так он квашней и осел. Ужели сейчас мучить начнут, законного срока не дождавшись...

Ан глянул вбок, весь просиял, будто своего полка капельмейстера увидел: бес это его малиновый за руку снизу тянет, подмигивает:

— Ну что ж, все обсмотрел?

— Так точно, — отвечает штабс-капитан, сам руки по швам держит. — Покорнейше благодарим.

— То-то. Ты, поди, думал — финиками-пряниками тут вас, спиртодуев, кормить будут... А самого главного, небось, не видал?

Затрясся Овчинников, не знает, об чем речь. И без главного сыт.

— Подполковника интендантского не видал, который живую тварь вином спаивал?

Посерел Овчинников, будто пеплом ему личность натерли...

— Никак нет... А разве за это особо полагается?

— А вот ты полюбуйся.

Видит штабс-капитан, — сидит на карусели, на горячей терке

хлипкий, припаянный старичок. А в середине, где механику крутят, — скворцы, гуси, собачки, всякая пьяная живность... Как налегли они на железную ось, да как стало старичка встряхивать, да качать, да подбрасывать, да вокруг себя в двойной пропорции вертеть, — хочь и не смотри! Мутит его, корежит, кишки к горлу подступают, а сблевать, между прочим, не может. Ну, а зверье, конечно, радо: верещит, лает, гогочет, — передышку на малый миг сделают, старичку на плешь монопольным сургучом покапают — и еще пуще завертят. Давится прямо подполковник, до того ему тошно, а облегчиться нельзя.

Закрыв тут штабс-капитан личико руками, на пол мешком опустился. Не выдержал, значит... Потер ему малиновый бес шершавым хвостом уши, кое-как в чувствие привел, через руку перекинул и потаенной шахтой наверх, в Роменский уезд, Полтавской губернии, верхом на сквознячке так и вознесся.

* * *

Сидит штабс-капитан у окна хмурый, как филин, кислое молоко хлебает. На столик с полынной глянет, — так к кадыку и подкатит...

Полночь пробило. Слышит он, — шуршит за зеркалом, сухой бессмертник качается, — малиновое мурло на свет выползает.

— Здравствуйте, господин! Молочком закусываете?

— Пшел вон, тухлоглазый. Я сегодня трезвый... Как кокну тебя подстаканником, — слизи от тебя не останется. Зеркала вот только жалко.

Удивился бес. Голос, действительно, натуральный. Будто и другой кто разговаривает. Подбородок чисто пробрит. Рубаха свежая... Пуговицы на тужурке, которые удавленниками висели, все крепкой ниткой подтянуты. Чудеса...

— А как же, — говорит, — насчет «штабс-капитанской сласти»? Я свое сполнил, а вы про подстаканник намекаете. Некоторые благородные слово свое держат...

Встал штабс-капитан. Расписки не давал, ан честь в трубу не сунешь... С арбуза печати сбил, глину обломал, на стол поставил. Сам отвернулся.

Прыгнул бес на арбуз, верхом сел, да как припадет — и процевивать не стал.

— Ох, до чего, дяденька, скусно. За-зы-зы... До середины дошел... Пошли вам черт доброго здоровья.

Ушками шевелит, хвостик то в кольцо завьет, то стрелкой выпрямит... Хрюкает, ножками сучит, — дорвался Игнашка до сладкой бражки...

Отвалился, обмяк, из малинового кирпичным стал. Повернулся к штабс-капитану, сам баланс на арбузе еле держит.

— А ты что ж? Вали! Я с твоей сласти добрый стал... Пей в мою голову, считать не буду. Потому я нынче сам в алкоголиках

состою. Клюква-бабашка, собирала Парашка, на базар носила, чертенят кормила...

Снял господин Овчинников, слова не сказавши, со стены вишневым чубук, окно распахнул, подошел сзади к бесу да как дунет в него из чбука, так он, сквозная плесень, во тьму и вылетел, будто и не гостил.

С той поры и сгинул. Мужички только сказывали, будто у пьяных, которые из монополии по хатам расползались, стали сороковки из карманов пропадать. Да в лесу ктой-то мокрым голосом по ночам песни выл, осенний ветер перекрикивал... Человек не человек, пес не пес, — такой пронзительности отродясь никто и не слыживал.

А штабс-капитан окончательно на молоко перешел. Даже хромого скворца, который по старой памяти в руку клювом долбил, пьяного хлеба требовал, — от этого занятия отучил. Спасибо малиновому бесу...

Батюшка мимо проезжал, головой покрутил: на окнах у господина Овчинникова заместо наливок бумажные анделы на нитках красовались, — случай в Роменском уезде необнакновенный.

Однако ж, как и допреж того, гости овчинниковский хутор полным карьером объезжали. Постный чай да кислое молоко... Уж лучше к кадке в дождь подъехать да небесной жидкости в чистом виде напиться.

1931

КОМУ ЗА МАХОРКОЙ ИДТИ

(СОЛДАТСКИЕ ПОБРЕХУШКИ)

Послал в летнее время фельдфебель трех солдатиков учебную команду белить. «Захватите, ребята, хлеба да сала. До вечера, поди, не управитесь, так чтобы в лагерь зря не трепаться, там и заночуете. А к завтраму в обед и вернитесь».

Ну что ж! Спешить некуда: свистят да белят, да сигарки крутят. К вечеру, почитай, всю работу справили, один потолок да сени на утреннюю закуску остались. Пошабашили они, лампочку засветили. Сенники в уголке разложили, — прямо как на даче расположились. Начальства тебе никакого, звезда в окне горит, сало на зубах хрустит, — полное удовольствие.

Подзакусили они, подзаправились. Спать не хочется, — соловей над гимнастикой со двора так и заливается, прохлада из сеней волной прет. Порылись они в кисетах-карманах, самое время закурить, — ан табаку ни крошки...

Вот один солдатик и говорит:

— Что ж, голуби, обмишурились мы, соломки из тюфяка не покуришь... Без хлеба обойдешься, без табаку — душа горит. Придется нам в город в лавку идти, час еще не поздний.

Второй ему свой резон выставляет:

— На кой ляд всем троим две версты туда-сюда драть. Мало ль мы на службе маршируем?.. Давайте на узелки тянуть, — кому выйдет, тот и смотается.

А третий, рябой, свой плант представляет:

— Время терпит. Узелки, братцы, вещь пустая. Давайте-ка лучше сказки врать. Кто с брехни собьется, на настоящую правду свернет, тому и идти...

На том и порешили.

* * *

Умостились они на сенниках, сапоги сняли, ножки подвернули, — первый солдатик и завел:

— В некотором полку, в некоторой роте служил солдат Пирожков, — из себя бравый, глаз лукавый, румянец — малина со сливками. Служил справно, — все приемы так и отхватывал, — винтовка в руках пташкой, честь отдавал лихо, — аж ротный кряхтел... Однако ж, был и у него стручок: чуть в город его уволят, так он к бабьей нации и лип, как шмель к патоке. Даже до чрезвычайности...

Не перебивайте-ка, братцы, спервоначалу будто и правда означается, ан сейчас чистая брехня и пойдет... Встретился Пирожков как-то на гулянке в городской роще с девицей одной завлекательной, — поведения не то чтобы легкого, не то чтобы тяжелого, середка на половинке. Сели они на травке, — цветок сбоку к земле клонится, девушка к цветку, Пирожков к девушке, — под мышку ее зажал, аж в нутре у нее хрустнуло. Однако ж, не на ангела напал, — вывернулась рыбкой, да как двинет локтем под жабры, — так Пирожков и екнул.

— Что ж, — говорит солдат, — ужели тебя, девушку, в невинном виде и поцеловать нельзя?

А она, известно, осерчавши, потому блузка у нее от солдатского усердия лопнула, сатин по шесть гривен аршин:

— Тогда, говорит, меня поцелуешь, когда командир полка перед тобой во фронт станет.

Да с тем юбку в зубки, в кусты и улетела...

Вертается солдат в роту, — дюже его заело... То да се, занятия начались, дошло до отдания чести, да как во фронт становиться... Новобранцев отдельно жучат, — кто ногу не доносит, кто к козырьку лапу раскорякой тянет, — одновременности темпа не достигают. А старослужащие ничего: хлоп-хлоп, один за другим так и щелкают.

Дошло до Пирожкова, — экая срамота. Лихой солдат, а тут, как гусь, ногу везет, ладонь вразнобой заносит, дистанции до начальника не соблюдает, хочь брось. А потом и совсем стал, — ни туда, ни сюда, как свинья поперек обоза. Взводный рычит, фельдфебель гремит, полуротный ландышевыми словами поливает. Ротный на шум из канцелярии вышел: что такое? Понять ничего не может: был Пирожков, да скапутился. Хочь под ружье его ставь, хочь

шкварки из него топи, — ничего не выходит. Прямо как мутный барбос.

Фельдфебель тут к ротному подскочил, на ухо докладывает:

— Образцовый солдат был, ваше высокородие... Чистая беда! Придется его, видно, в комиссию послать, видно, у него мозговая косточка заскочила...

Подумал ротный, в усы подышал:

— Повременить придется. Авось очухается... Ужель такого солдата лишаться? В город его только нипочем не пущать, а то он, во фронт становясь, начальника дивизии с ног собьет, всю роту испохабит.

Время бежит. Пирожков ничего, тянется, — по всем статьям первый, кроме того, чтобы во фронт становиться. Как занятия, — его уж насчет этого и обходили; что ж зря камедь ломать, дурака с ним валять.

Ан тут-то и вышло. Нежданно-негаданно завернул в роту полковой командир. Ногти солдатские обсмотрел, сборку-разборку винтовки проверил. А потом отдание чести. Стал сбоку монумент монументом, солдатики так один за другим перед ним и разворачиваются, знай только перстом знак подавай: «проходи который...» Видит полковник, все прошли, один brave солдат по-за койкой столбом стоит.

— А это что за прынец такой? Пятки у него, что ли, стеклянные. А ну-ка-сь, выходи, яхонт!

Подлетает тут ротный, — так и так, — да все насчет солдатской мозговой косточки и выложил. Как загремит командир полка, аж все голуби с каланчи, супротив роты, послетали:

— Какая там косточка! Показывать не умеете!.. Растяпа разине на ухо наступил. Я ему эту косточку в два счета вправлю. Эй, орел, поди-ка-сь сюда! Стань на мое место! Вот я тебе сейчас сам покажу.

Отошел командир полка подале, да как стал шаг печатать, так по стеклам гулкий рокот и прошел... Ать-два! На положенной дистанции развернулся перед Пирожковым, каблук к каблуку, руку к козырьку. Красота!

— Понял? — спрашивает.

— Так точно, ваше высокородие.

— А ну-ка, сделай сам!

Ахнул тут и Пирожков: шаг в шаг, плечики в разворот, хлопнул во фронт перед командиром, да так отчетисто, — чище и в гвардии не сделаешь...

— Ну, вот, — говорит командир, — видали? Показать только надо как следует.

Удобрился он тут до Пирожкова, как мачеха до пасынка, приказал его для разминки чувств в город до вечера отпустить. А тому только того и надо. Пришел скорым шагом в рощу, походил, побродил, разыскал свою кралю...

Дале что ж и говорить... Пришлось ей белый флаг выкинуть, на

полную капитуляцию сдать, потому условие он честно исполнил, — бабьей их нации сто батогов в спину! Так-то вот, братцы, а за табачком-то идти не мне...

* * *

Крякнул второй солдат, начал свое плести:

— Жила у нас на селе бобылка, на носу красная жилка, ноги саблями, руки граблями, губа на губе, как гриб на грибе. Хатка у нее была на отлете, огород на болоте, — чем ей, братцы, старенькой пропитаться?.. Была у нее коровка, давала — не отказывалась — по ведру в день, куда хошь, туда и день. Носила бабка по дачам молоко, жила ни узко, ни широко, — пятак да полушка, толокно да ватрушка.

Пошла как-то коровка в господские луга — на тихие берега, нажралась сырого клевера по горло, брюхо-то у ей, милые мои, и расперло... Завертелась бабка, — без коровки-то зябко, кликнула кузнеца, черного молодца... Колол он корову шилом, кормил сырым мылом, — лекарь был хоть куда, нашему полковому под кадрили. Да коровка-то, дура, упрямая была, — взяла да и померла.

Куды тут, братцы, деваться, чем ей, старенькой, пропитаться? Наложила она полное решето мышей, надоила с них пять полных ковшей, стала опять разживаться...

Ан тут, в самые маневры, зашли к ей лихие кавалеры, господа молодые офицеры:

— Нет ли у тебя, бабушка, молочка заморить пехотного червячка? Пока полевая кухня подойдет, кишка кишку захлестнет...

Поскребла бабка загривок, дала им жбан мышинных сливок. Выпили, поплевали, в донышко постучали, да и в сарае спать завалились. Только глаза завели, слышат — мыши в головах заскребли, скулят-пищат, горестно голосят.

— Что ж это за манера, господа офицеры? Бабка нас дочиста выдоила, молоком нашим вас напоила, а мышата наши голодом сидят, гнилую полову луцат... Благородиями называетесь, а поступаете неблагородно.

Приклонил тут старшей офицер ухо к земле, поймал старшую мышь в золе, посадил на ладонь, да и спрашивает:

— Что ж нам теперь, пискуха, делать? Платили за коровье, выпили на здоровье, ан вышло — мышье. Мы тому не повинны...

Старшая мышь и говорит:

— А вы, ваши высокородья, пожалейте наше отродье. Деньги-то у вас военные — пролетные, люди вы молодые — беззаботные. Соберите в фуражку по рублю с головки, старушке на коровку...

Ну-к что ж... Офицеры — народ веселый, завернули полы, набросали в фуражку с полсотни бумажек, старушке поднесли, да и прочь пошли.

С той поры, братцы, мышей в деревне развелось, хочь брось... Кто всех сочтет, тот за табачком и пойдет.

Третий, рябой, принахмурился, соломину из тюфяка перекусил и начал:

— Не с чего, так с бубен... Прикатил, стало быть, дагестанский принц в наш полк для парадного знакомства. Повезли его в тую ж минуту в офицерское собрание господ офицеров представлять. Глянул кругом полковой командир, брови нахотлил, полкового адъютанта потаенным басом спрашивает:

— С какой такой стати все младшие офицеры тут, а ротных командиров будто пьяный бык языком слизал?

Полковой адъютант с ножки на ножку переступил и вполголоса рапортует:

— Все, господин полковник, по неотложным делам отлучившись. Первой роты командир под винтовкой стоит, — тетка его за разбитый графин поставила; второй роты — бабушку свою в Москву рожать повез; третьей роты — змея на крыше по случаю ясной погоды пускает; четвертой роты — криком кричит, голосом голосит, зубки у него прорезываются; пятой роты — на индюшечьих яйцах сидит, потому как индюшка у него околевши; шестой роты — отца дьякона колоть чучело учит; седьмой роты — грудное дитя кормит, потому супруга его по случаю запоя забастовала...

— Стой! — закричали земляки. — Вот и проштрафился...

— Как так проштрафился?

— А разве ж ты, моржовая твоя голова, не знаешь, что завсегда, как восьмой роты командирова супруга в запой войдет, — их высокородие дите самолично из рожка кормит?.. Дуй скорее за махоркой, а то из-за брехни твоей и так припоздали...

1932

ПРАВДИВАЯ КОЛБАСА

Служил в учебной команде купеческий сын Петр Еремеев. Солдат ретивый, нечего сказать. Из роты откомандирован был, чтобы службу, как следует, произойти, к унтер-офицерскому званию подвигнуться.

Рядовой солдат, ни одной лычки-нашивки, однако амбиция у него своя: у родителя первая скобяная торговля в Болхове в гостинных рядах была. Само собой, лестно унтер-офицерскому званию галун заслужить, папаше портрет при письме послать, — не портянкой, мол, утираемся, присягу сполняю на отличку, над серостью воспарил, взводной вакансии достиг. И по Болхову расплывется: ай да Петрушка, жихарь. Давно ли он на базаре собакам репей на хвосты насаживал, в рюхи без опояски играл, а теперь на-ко, какой шпингалет! А уж Прасковья Даниловна, любимый предмет, — отчим ее по кожевенной части в Болхове же орудовал, — розаномальвой расцветет. Вислозадым Петрушку все ребята на гулянках

дразнили. Вот тебе и вислозадый: знак «за отличную стрельбу» выбил, а теперь и до галунов достигает. Воробей сидит на крыше, ан манит его и повыше.

Все бы ладно, да вишь ты... Ждучи лосины, поглоたешь осины. Невзлюбил Еремеева фельдфебель, хоть второй раз на свет родись. Сверхсрочный, образцового рижского батальона, язва, не приведи Бог. Из себя маленький кобелек, жилистый, да вострый, на Светлый Христов Праздник и то вдоль коек гусиным шагом похаживает, кого бы за непорядок взгреть. Язык во щак ест, — порцию ему особую выделяли, — уж на что сладкая пища. Трескает, а сам из-за перегородки по всей казарме, как волк в капкане, так и зыркает. Одним словом, ерыкала. К команде не снисходит. Во сне и то специальными словами обкладывал, — знал себе цену. Только тогда зубки и скалил, когда на рысях к ротному подбегал, папиросу ему серничком зажигал.

А тут, вишь, купеческий сын завелся. Ручки, гад, резедой-мылом мылит. Часы в три серебряные крышки с картинкой — мужик бабу моет, — у подпрапорщика таких не водилось. Загнешь ему слово, сам тянется, не дрыгнет, а сквозь морду этакое ехидство пробивается: «лайся, шкура, красная тебе цена до смертного часу четвертной билет в месяц, а я службу кончу, самого ротного на чайсахар позову, — придет». С вольноопределяющимися за ручку здоровкался, финиками их, хлюст, угощал. Неразменный рубль и солдатскую шинельку посеребрит. В полковой церкви всех толще свечу ставил, даром что рядовой.

Начал фельдфебель Еремеева жучить. То без отлучки, то дневальным не в очередь, то с полной выкладкой под ружье поставит, — стой на задворках у помойной ямы идиолом-верблюдом, проходящим гусям на смех. Все закаблучья ему оттоптал. А потом и сверхуставное наказание придумал. Накрыл как-то Еремеева, что он вместо портянок штатские носочки в воскресный день напялил, — вечером его лягушкой заставил прыгать. С прочими обломами, которые по строевой части отставали, в одну шеренгу, на корточках с баками над головой — от царского портрета до образа Николая Угодника... «Звание солдата почетно», — кто ж по уставу не долбил, а тут на-кось: прыгай, зад подобравши, будто жаба по кочкам. Кот, к примеру, и тот с одной амбицией прыгать не стал. Да что поделаешь? Жалобу по команде подашь, тебя же потом фельдфебель в дверную щель зажмет, писку твоего родная мать не услышит... Не спит по ночам Еремеев, подушку грызет, — амбиция вещь такая: другой ее накалит, а она тебя наскрозь прожигает. Еловая шишка укусом не сладка.

* * *

Прослышал купеческий сын от соседской прачки, будто в слободе за учебной командой древний старичок проживает, по фамилии Хрущ, скорую помощь многим оказывает: бесплодных купчих петушиной шпорой окуривал, — даже вдовам и то помогало, — от

зубной скорби к пяткам пьявки под заговор ставил. Знахарь не знахарь, а пронзительность в нем была такая: за версту индюка скрадут, а ему уж известно, в чьем животе белое мясо урчит.

Улучил время Еремеев, с воскресной гулянки свернул к старичку. И точно, — откуль такой в слободу свалился: сидит килка на одной жилке, глаза буравчиками, голова огурцом, борода, будто мох конопатый... На стене зверобой пучками. По столу черный дрозд марширует, клювом в щели тюкает, тараканью казнь производит.

Воззрился Хрущ, слова ему солдат не успел сказать, бороду пожевал и явственно этак спрашивает:

— Заездил тебя рижский-то, образцовый?

Крякнул Еремеев, языком подавился.

А тот дальше:

— На море, на окияне сидит бес на диване, малых собак грызет, большим честь отдает... Сел ты, друг, в ящик по самый хрящик. Ничего, вызволю. Как звать-то?

— Петр Еремеев, первого взводу учебной команды, второй гильдии купца сын.

— Экий ты, братец, вякало... Гильдия твоя мне нужна, как игуменье шпоры. Встань! Чего на дрозда уставился? Он этого не любит. Пособи, Господи, Петру Еремееву, первого взводу учебной команды, а прочим, как знаешь... Скорое средство тебе дать либо с расстановкой?

Встрепенулся солдат, вскинулся:

— Да уж нельзя ли как-нибудь залпом! За нами не пропадет... Пристал он ко мне, как слепой к тесту. Почему, говорит, на казенную фуражку сатиновую подкладку подшил? Я, — говорит, — тебя рассатиню. Вырвал подкладку, харкнул в нее да меня же по личности...

— Скрипишь ты, солдат, будто старую бабу за пуп тянут. Не елозь, дай крючочек вынуть. Колбасу с водкой фельдфебель твой трескает?

— Так точно... Ах, ты ж Господи, как это вы в самую точку! Взводные с вольноопределяющими им завсегда по праздникам в складчину бутылку с колбасой в шкапчик потаенно ставят. Будто сюрприз. Для укрощения звериного естества, чтобы они по воскресным дням меньше рычали-с.

— Вот и расчудесно. Дам я тебе, друг, своей колбаски. Особливой. Только ты ее в праздник ему не подсовывай, — действует она на короткий срок, пока она в человеке ворочается. А чуть выйдет наружу — шабаш. Подсунь ее в будни, когда у вас занятия происходят. Понял?

Переступил Еремеев подковками, дрогнул.

— А они, то есть фельдфебель, от вашей колбасы, извините, не подойдут? Присягу я принимал, и вообще неудобно.

Хрущ глаза поднял, нацелился в купеческого второй гильдии сына, неловко тому стало. И дрозд тоже тараканов своих бросил, смотрит на солдата: каждый, мол, день чистые гости ходят, а такого

абалдудя еще не бывало. Пососал скоропомощный старичок язык, сплюнул.

— В унтер-офицеры метишь, а сам дурак. В чужой пазухе блох ищешь. Я, сынок, не убивец и тебе не советую. Потому за самую паршивую душу ответ держать придется. Ступай к свиньям собачьим, ничего тебе, халява, не будет.

Взмолился Еремеев, еле упросил, колбаску за рукав шинельный сунул, будто пакет казенный. Поднес знахарю трешницу, а тот рукой в ящик смахнул, даже и не удивился. Старичок был не интересующийся.

— Чего ж с этой колбасой ожидать-то?

Хрущ в оконце уставился, будто сам с собой разговор ведет:

— На море, на окяине сидит баран на аркане, никто его не отвяжет, пока дело себя не окажет... Ветер-ветерок, тонкий голосок. Подуй на хату, выдуй солдата, — баба у меня там секретная еще в анбарчике дожидается.

Повернулся Еремеев на носках, подошвой хлопнул и через выгон — направление на дом с красной крышей, — замаршировал в свою учебную команду.

Подивился фельдфебель. В будний день колбаса в шкапчике оказалась. Должно, вольноопределяющий Лихачев посылку домашнюю не в очередь получил, с начальником поделился.

Сгрыз он ее дочиста, до веревочки, скус, как скус, чуть-чуть мышинным пометом припахивает. Да ведь даровая, не соловьиным же пахнуть. Вытер усы, в струнку их выправил, выходит, стало быть, на занятия: Рыгнул, как полагается. То да се, — «подымирование на носки и плавное приседание». Не успел он руки на бедрах проверить, Еремеева за пояс потрясти, ан тут дневальный дверь настезь, кирпич на веревке кверху птичкой: начальник команды пожаловал. Дежурный рапортует, дневальный около шинели, как моль, вьется. Поздоровкался ротный, гаркнули солдаты, аж кот с окна слетел.

Стоит рота, не шелохнется, а штабс-капитан Бородулин плечики поднял, сапожки в позицию поставил, глянул вбок на фельдфебеля и спрашивает:

— Ты чего ж, это, Игнатъич, ухмыляешься. Попову кобылу во сне доил, что ли?

Пошутил, значит.

Фельдфебель ладонь ребром к козырьку, грудь корытом, воздуху забрал да как резанет:

— Смешно уж больно, ваше высокоблагородие. В команде вы, можно сказать, Суворов, чисто лев персидский. А с бабой совладать не можете. Рожа у вашего высокоблагородия поперек щеки вся поцарапана. Денщик сказывал, будто за картежную недоимку супруга вам вчерась здорово поднесла...

Отчетисто этак выговорил, будто его черт за язык дернул, а сам с перепугу телескопы выпучил, тянется, — вот-вот пояс на брюхе лопнет.

До того опешил ротный, что и перебить не успел. Да как вскинется:

— Ты, что ж, еж тебе в глотку, очумел? Каблуки вместе! Ты что это такое сказал?! Га!

Рота не дышит, прямо в пол взросла. Фельдфебель еще пуцует, дисциплина из него так и прет, а язык свое:

— Да, почитай, всему городу, ваше высокоблагородие, известно, что супруга вашего высокоблагородия на вашем высокоблагородии верхом ездит.

Мать честная! Ну тут пошло, действительно...

— С кем разговариваешь?! Перед кем стоишь?! Да ты, пуп моржовый, ума решился? Под суд хочешь? С утра нализался?..

— Никак нет. Сроду пьян не был. С утра к мамзели вашего высокоблагородия, что за баней живет, сходил. Гитарку у них починял, для своего же начальника старался... Занапрасно обижать изволите...

А сам все тянется, аж посинел весь... Хочь язык вырви. Стоит купеческий сын Еремеев на правом фланге, зубами со страху лязгает, — ишь чего колбаса-то делает...

Ну тут у ротного и слов не стало, — случай уж больно непредвиденный. Потряс фельдфебеля за грудки, перчатку собачьей кожи в шматки порвал. Полуротный, само собой, подскочил, на голову показывает: спятил, мол, фельдфебель, в мозги вода попала. Как прикажете?

Нечего сказать, — крутая каша, хочь топором руби. Махнул ротный рукой: «убрать его, лахудру, пока что», — и сам за ворота. Вся рота слыхала, не потушить, надо дело по всей форме разворачивать.

А фельдфебель стоит осовевши, усы обвисли, пот по скуле змейкой. Взяли его взводные под вялые локти, поперли в канцелярию, посадили на койку. Сопит он, бормочет: «Морду-то хочь поперек рта башлыком мне обвяжите, а то и не то еще наговорю...» Обвязали, — уж в такой крайности пуцай носом дышит. Заступил на его место временно первого взвода старший унтер-офицер. Известно: коня куют, жаба лапы подставляет. Кое-как занятия до обеда дотянули.

* * *

Не успели солдаты кашу доскрести, стучит-гремит полковая дуколка. Фершал фельдфебеля легкой рукой обнял, повез в госпиталь на испытание, — достались Терешке черствые лепешки.

Доктор ему чичас трубку в сосок. — Дыши, — говорит, — регулярно. Правый глаз закрой, посвисти ухом... Какой у нас теперича месяц-число?

— Месяц, — отвечает фельдфебель, а сам трясется, — апрель, число третье. Да вы б и сами, вышескородие, должны знать, потому у вас завсегда в апреле весенний запой начинается.

Затопотал доктор ногами, плюнул, дальше и спрашивать не стал. Что с полуумного возьмешь?

Дежурный офицер из каморки вышел, — поинтересовался.

— А, Игнатыч? Что это, братец, с тобой?.. Меня знаешь?

— Так точно. Подпоручик Рундуков, шестой роты. Вас, ваше благородие, по всей окрестности знают: квартирной хозяйке крестиками капот вышивали, все стряпухи смеются... Вам бы, ваше благородие, в кокошнике мамкином ходить, не то что с шашкой...

Обжегся подпоручик, крикнул, с тем и отъехал.

На другой день штабс-капитан Бородулин заявился в госпиталь, сел на койку к фельдфебелю, а у того уже колбасная начинка наскрозь прошла, — лежит, мух на потолке мысленно в две шеренги строит, ничего понять не может. Привскочил было с койки, ан ротный его придержал:

— Лежи, лежи, Игнатыч. Что ж мне с тобой, друг сердечный, делать? Служил, служил, в жилку тянулся, и вдруг этакая осечка... Под суд тебя отдавать жалко. Да по всему видать, накатило это на тебя с чего-то.

— Так точно, ваше высокоблагородие! Под усиленный арест посадите, либо морду набейте, только чести не лишайте, дозволейте в команду вернуться.

— Не могу, друг. Послезавтра комиссия, а там, что Бог даст.

Привстал было штабс-капитан, а фельдфебель его по госпитальной вольности за кителек с почтением придержал, докладывает:

— Дозвольте, ваше высокоблагородие, доложить, запомывал. Рядовой Еремеев первого взвода, как в город последний раз отлучался, неформенный, лакированный пояс надел, — не успел я его наказать. Уж вы его своей властью взгрейте, покорнейше прошу. Нечего ему, хахалю, с писарей пример брать...

Усмехнулся начальник команды, до чего, мол, фельдфебель старательный, — в мозгах вода, а службы не забывает.

Доктор тут подкатился. «Ничего, — говорит, — он сегодня вроде человека стал. По всей форме отвечает, как следовало. Спал, должно быть, при открытом окне, лунный удар его хватил, что ли. В комиссии разберем»...

Лежит фельдфебель на койке, халат верблюжий посасывает. Супчику поглотал. Будто кобылу — овсянкой, черти, кормят. Фершал, пес, совсем вроде псаломщика, — доктор обход производит, а тот за ним не в ногу идет, еле пятки отдирает... Дали бы его Игнатычу в команду, сразу бы обе ножки поднял. Что-то там без него делается? Небось, рады мыши, — кота погребают. Ладно, — думает. — По картинке-то праздник мышам боком вышел... Соснул Игнатыч с горя и во сне Петра Еремеева за ржавчину на винтовке заставил ружейную смазку есть.

Тем часом, милые вы мои, купеческий сын, который этот кулеш заварил, сбежал к скоропомощному старичку в слободу. Как дальше-то быть? И фельдфебеля жалко, а себя еще пуще. А вдруг

тот, в казарму вернувшись, за свой срам всю команду без господ офицеров на вечерних занятиях источит.

Поймал старичок таракана, лапки оборвал, отпустил, — жалостливый был, гадюка.

— Забота не твоя. Пошли ему перед самой комиссией утречком вторую порцию, а там все, как на салазках, покатится.

И колбаску ему сует дополнительную.

Поскреб Еремеев в затылке, — один глаз злой, другой — добрый.

— А может, не давать? Вишь, его как с нее разворачивает...

— Эх ты, вякало! На море, на окяне стоит дурак на кургане, — стоит не стоится, а сойти боится... Передумкой сделанного не воротишь. Письмо-то ты от папаши вчера получил? Ты колбасу письмом и осади. Ах, да ох — на том речки не переехать. На половине, брат, одни старые бабы дело застопоривают.

Подивился Еремеев: откуда он, змей, про письмо дознался. Вздыхнул, колбаску за обшлаг — и на улицу.

А перед самой комиссией принес фершал фельдфебелю паке-тец, — из учебной команды гостинец, мол, прислан. Схрюпал Игнатыч колбасу мало что не с кожей, госпитальное довольствие известно какое. За столом старший доктор сидит, да лекарь помоложе, да адъютант батальонный, да штабс-капитан Бородулин.

Поиграл доктор перстами, глянул в окно.

— А ну-кась, Игнатыч. Человек ты трезвый, вумственный. Погляди-ка в палисадник. Какой это куст перед окном растет?

— Черная сморода, вашескородие. Вишь, на ней, почитай, все почки ошипаны, как не узнать. Вы ж завсегда по весне черносмородинную водку четвертями настаиваете.

Позеленел старший доктор. Комиссия ухмыляется, а батальонный адъютант свой вопрос задает:

— Два да пять сколько, к примеру, будет?

Вопрос, можно сказать, самый безопасный.

— Ничего не будет, ваше благородие.

— Как так, ничего?..

— А очень просто. Потому как вы в приданое две брички да пять коней получили, — ничего у вашего благородия и не осталось. Все промеж пальцев спустили.

Нахмурился адъютант.

— Ну и стерва ты, Игнатыч, даром что больной!

Тут, само собой, младший лекарь вступился:

— Испытуемых ругать по закону не дозволяется. Скажите, фельдфебель, сколько у меня на ногах пальцев?

— У настоящих господ десять, а у вашего благородия одиннадцать. Через банщиков всем известно, — правая-то нога у вас шестипалая. Потому-то вам дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром что рьяная...

Сгорел прямо лекарь: правда глаза колет.

А уж штабс-капитан и вопросов никаких не задает; видит —

опять лунный удар в фельдфебеле разыгрался, лучше уж его и не трогать.

То да се, порешили коротко. Наказанию не подвергать, потому человек не в себе, по нечетным дням будто белены объевшись. К военной службе не годен, — сапоги под мышку, маршируй хоть до Питера.

Вертается на короткий час фельдфебель в учебную команду сундучок свой сложить-собрать. Солдаты по углам хоронятся, бубнят. Неловко и им: был начальник, кот и тот от него под койку удирал, а теперь вроде заштатной крысы, которой на голову керосином капнули.

Прибирает Игнатыч за перегородкой свое приданое, пинжачок вольный в гостиных рядах купил, глаза б не глядели, — а тут купеческий сын Еремеев вкатывается.

По-старому каблучки вместе:

— Здравия желаю, господин фельдфебель!

— Тебя-то, помадная банка на цыпочках, за коим хреном сюда принесло.

Ничего, проглотил Еремеев, не подавился. Перешел на другую линию, повольнее:

— Да вы, Порфирий Игнатыч, занапрасно сердаете. Очень об вас сожалеем, такого начальника, можно сказать, и днем в погребу не найдешь... В гвардию б вас, и то б не осрамили...

— Лиси, лиса! Мало я тебя еще причесывал.

— Действительно, маловато-с. Родную мамашу заменяли. Должен я, следовательно, и вас обдумать. Папаша вот письмо прислал. Старший наш приказчик помер, угрызение грыжи с им приключилось, царство небесное. Человек был еж, младшим холоум не потакал, первая рука после родителя. Беспокоится папаша, кем бы заменить. Мово совету спрашивает. Человек вы еще жилистый, с перцем. Куда пойдете? На гарнизонное кладбище бурьян на могилах полоть... Не желаете ли в Болхов на вакансию заступить старшим? Жалованье правильное, харч с наваром, власть во какая... Не то что лягушкой, кузнечиком прыгать заставите — не откажутся... Папаша одряхлел, после службы я все дело в свои руки принимаю. Как вы об этом полагаете?

Скочил фельдфебель на резвые ноги, сообразил. А купеческий сын сел, — аж сундучок под им хрястнул... Солнце заходит, месяц всходит.

— Покорнейше благодарим, господин Еремеев. Я что ж, я послужу... Уж будете благонадежны-с. На правом плечике мундирчик у вас замарамши, дозвоьте почистить...

Еремеев, само собой, дозволяет.

— Почисть, почисть. Ты, Игнатыч, смотри дома про меня не ври. Насчет наказаньев, как ты меня под ружье к помойной яме ставил, и прочее такое... Невеста там у меня, неудобно.

Фельдфебель аж ногами застучал:

— Да помилуйте, Петр Данилыч, — отечество даже, хлюст,

вспомнил. — Да что вы-с! Вы ж в команде первейший солдат были, как такого можно наказывать. Да вам бы, ежели на офицерскую линию выйти, и цены б не было. Только что ж вам при капитале за такими пустяками гоняться...

— То-то.

Встал это Еремеев, полтора пальца фельдфебелю сунул и пошел к своей койке переобуваться: взамен портянок носки натягивать. Хоть и не видно, а все же деликатность и внутри оказывает...

Кряхтит, ногу, как клешню, выше головы задрал, сам про свое думает, — правильно это волшебный старичок насчет письма присоветывал. Ежели этих подчиненных, чертей-сволочей, на короткой цепочке не держать, голову они тебе отгрызут с косточкой... Доволен папаша будет: во всем Болхове такого громобоя, как Игнатыч, не сыскать. Подопрет, — не свалишься.

1930

КАТИСЬ ГОРОШКОМ...

Укатила барыня, командирова жена, на живолечебные воды, на Кавказ, нутренность свою полоскать. Балыку в ей лишнего пуда полтора болталось. Остался муж ейный, эскадронный командир, в полку один. Человек уж немолодой, сивый, хоша и крепкий: спотыкачу в один раз рюмок до двадцати охватывал. Только расположился на полной свободе развернуться, от бабьего гомону передохнуть, глядь-поглядь, на двор барынина мамаша на пароконном извозчике вкатывает. Перья на шляпке лопухом, сквозь увальку глазищами, словно вурдалак, так и лупает. Барыня ей, стало быть, секретный наказ послала: «Приезжай, последи за моим сахарным. А то без меня дисциплину забудет, — либо обопьется, либо с арфянками загуляет. В дом наведет, из приданных моих чашек лакать будут». Отдохнул, значит.

Высадил он мамашу, грузную старушку. Ус прикрутил, глаза вбок отвел и под ручку ее на крыльцо поволок. — «Прошу покорно, заждались! Эй, Митька, тащи чемодан, дорогая мамаша приехали, — крыса ей за пазуху»...

И хошь бы одна заявила: пса с собой привезла закадычного. Голландской работы по прозвинию мопс Кушка. Личность вроде как у ей самой, только помельче.

Отвели ей с псом самолучший покой. Расположились, квохчут. Не поймешь, кто с кем разговаривает: барыня ли с собачкой, собачка ли с барыней.

Ходит ротмистр вокруг стола, шпорами побрякивает, ус книзу тянет. Кипит. Денщика кликнул.

— Продышаться пойду... Какие мамашины приказания будут по бѹфетной части, сполняй. А ежели она начнет под меня подкуп домашний рыть, выспрашивать, — смотри у меня, Митрий!

— Слушаюсь, ваше высококордие. Промеж дверей пальцев не положу.

Денщик, что ж. Человек казенный. Самовар раздул, мягкие закуски для старой барыни на стол шваркнул. В чашку надышал, утиральником вытер, из варенья муху горсткой выудил, обсосал, дело свое знает.

Отдохнула старушка. В столовую вкатывается, коленкор ейный гремит, будто кровельщик по крыше ходит. Сзади Кушка хрипит, по сторонам, падаль, озирается, собачью ревизию наводит.

Заварила она чаю, половину топленых сливок себе в чашку ухнула, половину Кушке. Голландской работы собачка простого молока не трескает.

Денщик Митька стоит у окна, мух на стене подавливает, ждет, что дальше будет.

Старушка на блюдечко дует, невинную речь заводит:

— Что ж ты, друг ананасный, барином своим доволен?

— Так точно. Командир натуральный. Дай Бог каждому.

— Гости у вас часто бывают?

— Ватюшка полковой заворачивает. Странники кое-когда, проходящие... Хозяин дома вчера водопровод проверять приходил. Крантик у нас ослабемши...

— Так. Выпивает командир с ними, что ли?

— Не без того, выпивают-с. Клюквенный квас у нас отменный после барыни остался.

— Квас, говоришь?.. Ну, а сам он куда отлучается, не примечал ли?

— Примечал, как же-с. В манеж ездят на занятия. В бане третьего дня парились. В парикмахерскую завсегда ходят. Волос у них жесткий, — дома не бреются...

— Так-так. На словах твоих хоть выпись... Ну, а где ж он обедает без барыни? В собрание ходит?

— Никак нет. Я им кой-чего стряпаю. По средам-пятницам — рыбка. А так — либо каклеты, либо телятина под безшинелью.

Вскинула барынина мамаша глазки: из блохи, мол, шубу кроишь, да мне не по мерке.

— Вечерами что ж твой барин делает?

— Псалтирь читают. Другие господа на бильярдах, а они все псалтирь... Либо по тюлю крестиками вышивают.

Харкнула старушка со злости. Ишь, охальник, — руки по швам, язык штопором.

— Кушку моего на променад поведешь. Что сливы-то выпучил? Он уличное гуляние обожает... Через улицу, смотри, на руках переноси — извозчики у вас аспиды. Ты мне за него головой отвечаешь.

— Слушаюсь, сударыня. Собачка первоклассная, отчего ж не ответить... Только для вас спокойнее, чтобы я со двора не отлучался.

— Патрет я с тебя писать буду, что ли?

— Никак нет. Не извольте беспокоиться... А только на про-

шлой неделе жулики тут у соседей шарили. Ваших, примерно, лет невинной старушке в русской печке пятки прижгли и ограбили. Вам в случае чего помирать — раз плюнуть, а мне и за вас и за Кушку отвечать... Больно много наваливаете.

Испужалась она, завякала:

— Ах, страсти какие! Сиди уж лучше на кухне. Кушку я из окна на веревочке по двору вывожу... Матушки-батюшки, город-то у вас какой окаянный!

Денщик руками за спиной поиграл. Кто не слукавит, того баба задавит. Ишь ты, мымра, чего придумала! Чтоб все встречные драгуны да горничные задразнили... «С повышеньцем вас, Митрий Иванович! В собачьи мамки изволили заделаться...»

* * *

Заварила барынина мамаша кашу — ложка колом встанет. Куды командир, туды и она, самотеком. Новоселье ли у кого, орденки ли вспрыскивают, все ей неймется. Не с тем, мол, приехала, чтобы пальцы на ногах пересчитывать... Мантильку свою черного стекляруса вскинет, да так летучей мышью рядом и перепархивает с мостков на мостки. Резвость двужильную обнаружила, — злость кость движет, подол помелом развевает.

Сдаст ее командир в гостях хозяевам на руки, сам в дальнюю комнатку продерется — по графинам пройтись, в банчок перекинуться, либо дамочку встречную легким словом зарумянить, — ан старушка контрольная тут как тут. Карты из рук валятся, водка мимо рта льется. Шершавость у ей в глазах такая была непереносная. Прямо как скаженный он стал. А не брать нельзя, в чулан мамашу не спрячешь. Жалованье командирское известное: на табак да на щи. Способия она ему из пензенского имения высылала, — то мундир обновить, то должок заплатить, то копченого-соленого с полвагона. Отянешь ее за хвост, — банку мухоморов пришет, прощай, зятек, постучи о пенек...

И денщику тошно. Известно, барину туго — слуга в затылке скребет. Принесешь — криво, унесешь — косо. Хоть на карачках ходи. Да и Кушка-пес одолевать стал. Небелые ножки с одинокой скуки грызть начал, гад курносый. Денщику взбучка, а пес в углу зубы скалит, смеется — на него и моль не сядет, собачка привилегированная. Ладно, думает Митрий. Попадется быстрая вошка на гребешок. Дай срок.

Поводил-покрутил командир мамашу, как кобылку на корде, невоготу ему стало. Стал дома рейтузы просиживать. Придет с манежа, чай пьет, бублик промеж пальцев на пол крошит, приказы прошлогодние с досады читает. А она супротив. Как ячмень на глазу. Лопочет, разливается. Разговорная машинка у нее лихо работала. Хошь не отвечай, хошь на крыльцо выйди на луну сплунуть, она знай жернов о жернов точит. Почему попадья перестала в баню ходить, да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал, да к какой губернантке корнет Пафнутьев на будущей неделе

в окно лезть собирается... Командир аж побуреет. «Угу» да «угу», — только и ответов.

Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал, ей не страшно насчет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут.

— Ступай, ступай, — говорит, — Митрий, Кушку моего по улицам выводи. Что ж ты его все по двору таскаешь. Этак ты его до водного ожирения доведешь.

Насунился Митрий, стакан, который мыл, в руках у него хрястнул. Ужели от срамоты этакой так и не отвертеться?

Пошел на кухню, покрутился там, вертается веселый, с ремешком энтим кобельковым.

— Пожалуйте на променаж, прошу вас покорно! — На сахарок Кушку в переднюю выманил... Однако слышит — рычит Кушка, упирается, аж дверь трясется. Что такое?!

— Не хотят на улицу. Прямо морду им чуть не оторвал. Изволят упираться...

Попробовала старушка: может денщик-черт нарочно ожерелок потуже затянул? Грех клепать. Все как следовало. Потянула: за ней идет, похрюкивает, животом пол метет. За Митрием — ни с места! Лапы распялил, башкой мотает, будто его в прорубь водяному на закуску тащат.

Глянул ротмистр, задумался. Ведь вот денщику судьба послабление какое сделала. А мамаша-то пензенская сидит, как приклеенная. Не вырывается...

* * *

Дальше да больше. Дарья кухарка, через забор жила, кой-когда к денщику забегала — часы в темном углу проверить, мало ли дел по соседству. Известно: стар хочет спать, а молодые играть. Уследила барынина мамаша, на дыбы встала. «Ступай, ступай, шлендра! Подол в зубки, кругом марш... Нечего чужие стены боками засаливать...» И в сахарнице куски с той поры пересчитывать стала. Денщик только серьгой потряхивает, дюже его забрало. Барин бывало придет из собрания через край хлебнувши, сам себя не видит. В карты ему случаем пофартит, червонцы из кармана на стол брякнет — не считано, не меряно. Никогда Митрий дырявой полушкой не попользовался. А тут, на-кося, — сахар!.. Присыпала перцу к солдатскому сердцу.

Ладно. Стала она по-иному со скуки выкомаривать, откуль что берется. Сидит это вечером, на блюдечко толстой губой дует, самовар попискивает. Ротмистр из спичек виселицу строит: кому — неизвестно.

— Чтой-то, — говорит старушка, — двери у нас скрипят нынче. К дождю это беспременно. Смажь, Митрий, маслом, — мне завтра в гостиные ряды, ужель мокнуть.

Денщик человек казенный. Смазал. Язык бы ей смазать, авось бы тоже прояснило.

А она наддает:

— Ты, Митрий, вчера опять каклетки оставшие с буфета не убрал?

— Виноват. Тараканов на кухне морил, запоматовал.

— Виноват... А знаешь ты, что это означает? Ежели мышь неубранное после ужина поест, у хозяина зубы разболются.

Ротмистр под столом шпорами: дзык.

— Чепуха это, мамаша. На нетовую нитку бабьи вздохи нанизаны.

Старушка указательной косточкой по столу постучала.

— Скаль зубки. Конечно, есть приметы серые: нос чешется — в рюмку глядеть. Другие ротмистры и без этого выпивают... Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон обточены. Не соврут... Скажем, конь ржет — всякий дурак знает — к добру. А вот ежели вороной жеребец в полночь на конюшне заржет — беда! Пожар в этом доме в ту же ночь жди. Хоть в шубе-калошах спать ложись.

Денщик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трет, плечики у него так и ходят. Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой варганчик завела.

— Либо поп дорогу перейдет, — отплеваться завсегда можно. А ежели он мимо перешедши остановится да табачку из табакерки хватит, да, не приведи Бог, чертыхнется, — уж тому черной воспы не миновать. Я батюшек знакомых, которые нюхающие, за полверсты всегда обхожу... Опять же, собака воет. Случай серый. В какую сторону воет, вот в чем аллигория. На север — неблагополучные роды; на юг — потолок на тебя завалится; на восток — от грыжи помрешь; а коли на запад — молоко тебе в голову беспрременно бросится. Приметы без промаху.

Командир виселицу свою спичечную раскидал, встал из-за стола, ноги ножницами раззявил. Голос мягкий, а под ним так смола и пробивается.

— Вы бы, мамаша, Кушку своего отравили, что ли. Больно много от него, стервы, опасностей. Это ж все равно, что на ручных гранатах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось, пойду пасьянц Наполеонову могилу перед сном разложу.

Смолчала старушка. Драгунский обычай известный: все смешки. Погоди, Изюм Марцыпанович, с судьбой шутить, не барьеры брать...

А Митрий — у буфета он все крутился, — таким сладким кренделем подкатывается:

— Оно точно-с. Которые благородные, сумлеваются. Мужичкий пустобрех. А я верю-с. У нас тоже свои приметы имеются орловские. Выдающие...

— Расскажи, дружок, расскажи. Пирожок, который оставши, можешь себе взять...

— Покорнейше благодарим, закусимши уже. Ежели, к примеру, пробка в графине не тем концом воткнута, значит, гость в дому загостился, пора ему, значит, на легком катере к себе собираться.

Глянула она на графин, — поперхнулась, аж глаза побелели.
— Пошел вон, глуздырь! Скажу вот завтра командиру, чтоб тебя на хлеб на воду посадил за приметы свои дурацкие...

Пробку, как следует, перевернула, сахарницу в буфет замкнула и поплелась к себе с Кушкой на покой — в сонное царство, перинное государство.

* * *

Ровно в полночь заржал на конюшне вороной жеребец. Прокинулась барынина мамаша, свет вздула, да к командировым дверям:

— Вставай, зять. Пожар!

— Дед бабу рожал... В чем дело, мамаша?

— Жеребец твой ржет вороной. Слышишь?

— Не перекрашивать же из-за вас. Я во сне с городским головой пунш пил, а теперь он без меня все высосет. Беспокойная вы старушка...

Денщик тут же стоит, свечку держит, будто ружье на караул. Какой там сон! Белая кофта по бокам вьется — чистый саван. Бумажки в волосьях рыбками прыгают. А жеребец так и заливается. Ужаси-то какие!

— Дом-то у тебя хоть застрахован?

Вздохнул ротмистр: по ком этот вздох, тот бы в щепку иссох... И пошел к себе досыпать. Авось городской голова не все выпил.

А мамаша чулки-мантильку надела и до белой зари на сундучке подремала, — либо в эту ночь, либо в будущую гореть непременно придется. До утра обошлось, ничего.

А утром еще злее беда накатила. Повела она Кушку на променаж, — с денщиком нипочем не шел, — трах, у самой калитки батюшка в трех шагах поперек прошелестел. Остановился, табачку из табакерки хватил, да как чертыхнется: «Экий дьявольский ветер, половину табакерки выдул, бес его забодай!..»

Вернулась старушка, гайки у нее развинтились, по перильцам кое-как подтянулась. Взошла в столовую, шатается. Ротмистр к ручке, а она в кресло так студнем и осела.

Что еще такое?!

— Ох, друг... Накликкала на свою голову. Поперечный поп, табак нюхавши, чертыхнулся... Кушку моего тебе завещаю. Имение — дочке. Не подходи, не подходи лучше, я теперь вроде как в карантине. Черной воспы не миновать.

Подвигился ротмистр. Жилка у нее на шее бьется, глаза мутные. Одурела, что ли, мамаша?.. Да и впрямь чудно. Как по расписанию все выходит. Махнул перчаткой, пашку подтянул, — «дзык-дзык», на коня сел и в манеж.

Денщик полоскательной чашкой постукивает, хрустальный стакан в руках пищит. Человек казенный, ему все это без надобности. Мало ли делов?.. Часы на стене, — время на спине.

Не пила она, не ела целый день. Все пронзительную соль с

пробки нюхала, да капустные листья к головке прикладывала. Сахар-провизию, однако, пересчитала, что следует выдала — и на ключ.

Вечером сидит командир один: полстакана чаю, пол — рома. Мушки перепархивают. Тишина кругом. Будто старушку огуречным рассолом залило. В задумчивость он пришел, в полсвиста походный марш высвистывает. Таракан через мизинный перстень рысью перебежал, — что оно по пензенским приметам означает: чирий на лопатке вскочит, альбо денежное письмо получать? Тьфу, до чего мамаша голову задурила!

И вдруг, братцы мои милые, как взвоят Кушка в старушкиной спальне... Чисто гудок паровозный. Выскочила старушка в чем была, шерсть на ей дыбом, да к командиру:

— Куда окно мое выходит?!

— На север, мамаша...

Так она и присела:

— Да за что же это за напасть такая. Неблагополучные роды?!

Это у меня-то? У вдовой старухи?!

— Что ж вы ко мне привязамшись? С Кушки вашего и спрашивайте.

Денщик в дверях стоит, мнется. Почесал в затылке — и за дверь.

Взвыл Кушка еще пуще.

Кинулась она в спальню.

— На юг воеет!..

— Это что ж, мамаша, по вашему прискуранту выходит?

— Потолок завалится... Матушки!.. Выноси, Митрий, вещи, у меня уж с утра уложены. Часу здесь не останусь.

— Да что ж, вы, мамаша, в своем ли уме? Потолок дубовый, хоть слонам по ему ходить. Бросили бы...

— Нет, зятек, я-то в своем уме, а вот ты попрыгай. Жеребец вороной ржал, поп чертыхался, да еще Кушка подбавил... Чичас к ночному поезду коляску подавай. Помирать, так уж на своих пуховиках...

— Я, мамаша, вашему комфорту не препятствую, — а только, может, приметы ваши пензенские в нашей губернии не действуют?

— Шутить вздумал? Молебен дома отслужу, авось рассосется. Эва, сколько на одну женщину наворочено. Митрий!

Денщик тут как тут. Человек казенный. На барина смотрит: как, мол, прикажете?

— Что ж, закладывай. Действительно, странно что-то одно к другому приторочено.

Митрий за вещи, старушка за Кушку, — ротмистр на ходу ее в плечо чмокнул. Катись горошком!

* * *

Гитары бренчат, стаканы звенят, полон дом гостей, — праздник у ротмистра. За вороного жеребца пили, за ветер, который у ско-

проходящего батюшки табак из табакерки выдул, за голландской работы собачку Кушку. Дивятся некоторые, руками разводят. Как все, мол, ладно вышло: сама себя пензенская мамаша легким одуванчиком вышибла. Головы ломают, случаи разные рассказывают один другого мудренее.

У кого петух в усадьбе все головой тряс, пока воры кладовую не взломали. Тогда и прекратил. Цыганке одной мышь попала за пазуху — недели не прошло, струна на гитаре лопнула да ее по глазу. А у свояченицы городского головы родинка была мышастая на таком месте, что самой не видно, — к добру это... Вот она пятьдесят тысяч, как одну копеечку, и выиграла на свой внутренний билет. Поди ж ты...

Командир только головой вертит: бабьи побрехушки... Глянул он невзначай на денщика, — стоит, стаканы вытирает, глаза щелками лучатся, рот так к ушам и тянется. Как есть лиса в драгунской форме.

— Поди-ка, Митька, сюда, поди! Ты что ж это в тряпочку пофыркиваешь? Уж не ты ли, хлюст, тут волшебствами этими жеребчыми занимался?..

Молчит Митрий, глаза пучит.

— Говори, черт, не бойся. Я сегодня добрый. Почему Кушка с тобой гулять на улицу не шел? Ась?

— Обидно уж больно, ваше высокоблагородие. Командир полка встренется, во фронт встать надо... А тут мопса у тебя на шпоре сидит. Опять же куфарки задразнят.

— Ты тут не таранти. Гни так, чтоб гнулось, а не так, чтоб лопнуло.

— Так точно. Каблуки я нашатырной водкой натер. Чуть энтого Кушку к каблуку на ремешке притянешь, так он на задок и садится, голосом голосит. Ни одна собачка не вытерпит.

— А жеребец почему ржал? Соли ты ему на хвост посыпал?

— Потому, выше скородие, забрало меня дюже. Командир в доме один, а тут оне на нас верхом семши. Сахарницу стали запирать.

— Ты про сахарницу брось. Говори, да откусывай!

— Да как же ему не ржать, ежели в полночь вестовой корнета Пафнутьева по уговору кобылу их благородия к нашей конюшне к самой отдушине подвел.

— Шпингалет ты, я вижу... А батюшку ты как же ей подсунул?

— Никак нет. Дарья-куфарка отца-дьякона подрясник с веревки сняла, — проветривался он. Шляпу ихнюю нахлобучила, бороду мы, извините, из вашей заячьей рукавицы приладили. И того... чертыхнулась Дарья... действительно. Голос у ее толстый.

Гости кольцом стянулись, смеются. Командир глазами поблескивает. Не нагорит, значит.

— А с собачкой чего проще. Я округ барыниной спальни над плинтусом внизу по стенкам балалаечную струнку приспособил, коробок от ваксы к ей подвесил. За веревку дернешь, коробок ти-

хим манером и дзыкает, с которой стороны требуется. Цельный день Кушку на конюшне репертил, пока он выть не стал под эту музыку. Собачка музыкальная. Только, ваше скородие, прошу прощения — промашку я дал спервоначалу: на север, это точно, выть бы не следовало. Неудобно-с вышло.

Гости аж присядают, до того им понравилось. Налил командир полную стопку рома, поднес Митрию.

— Пей, бес. На этот раз прощаю. Вот только мамашу огорчил уж очень, сна ее надолго теперь лишил. Шутка ли сказать, приметы какие к ней прикручены...

— Никак нет. Не извольте беспокоиться: потолок и пожар при нас и останутся. А насчет черной воспы я им средство на вокзале дал.

— Ежели они мозоль с кушкиной пятки вырежут и в полночь его, в хлебный шарик закатавши, натошак съедят, никакая их воспа не возьмет...

Зареготали гости. Командир в ус ухмыльнулся:

— И что ж, поверила?

— Так точно. Полтинничек на чай дали-с. Ужли нашему орловскому способу ихней пензенской приметы не перешибить?

СТАТЬИ И ПАМФЛЕТЫ

ОПЯТЬ...

На днях вернулся из Финляндии. Жил в десяти километрах от Выборга, в сосновом доме со старинной мебелью, на берегу засыпанного снегом озера, две недели не читал ни одной строчки (как это было хорошо!), вставал рано, ходил по лесам и знакомился сам с собой.

Конечно, теплый сосновый дом был тут же под рукой, а мороз не опускался ниже 5 градусов, но оказалось, что лес, о котором я читал у Тургенева и Аксакова и который видел больше из окон железнодорожных вагонов, был мне таким близким и своим, как будто я родился зайцем или дятлом или вырос кустом черники под сосной...

Вся интеллигентность слетела радостно-легко и сразу, точно это была городская, служебная форма, тесная будничная, общеобязательная и потому надоевшая бесконечно.

Да, я знакомился сам с собой (в городе у меня не было для этого времени: всегда находилось что-нибудь более важное — дела, книги, знакомства, театр и пр.) и все не мог понять, откуда же появился этот новый лесной человек? Откуда эти навыки чутко воспринимать шумы ветра, странные формы древних камней и молчаливые краски бледного неба?

Вот я пишу сейчас эти слова, и у меня по-интеллигентски выскакивают какие-то эпитеты, строки округляются, а за ними медленно, но ясно вырисовывается облик «человека в очках», который задумчиво сосет карандаш и понемногу нанизывает образы, мысли, эпитеты на нить воспоминаний...

«Человек в очках» берет то один цветной карандаш, то другой — и худо ли, хорошо — раскрашивает картинки. Иначе он делать не может.

А там в лесу — ни лес, ни снежное озеро, ни сильное, холодное небо не казалось декорацией, или строфами лирического стихотворения, или вообще обстановкой для того маленького «я», которое стояло на камне, жевало сухой стебель и смотрело, как заяц — уверяю вас! — как заяц, вверх на дорогу...

И, ей-богу, этот заяц ничего не украл у Гамсуна, ибо все зайцы любят лес, большие и маленькие.

Боже мой, я вернулся в Петербург!

Вернулся, да, потому что я все-таки не заяц и корой питаться не мог, а сосновый дом у озера не принадлежит мне — что мне больше осталось делать?

Уже в вагоне голова моя обратилась в кинематограф, и чем ближе к Петербургу, тем быстрее разматывал я ленту за лентой, сердце ошетинилось сразу — и непримиримо, с враждебным укором смотрел я в окно на бегущие леса...

Напротив сидел интеллигент, судя по тупому и вместе хитрому лицу — октябрист. Рядом с ним другой интеллигент чистил апельсин и корочки бросал на пол. За спиной, судя по голосу, тоже интеллигент, убежденно доказывал другому: «Вы говорите абсурд, дорогой мой!» — а другой не менее убежденно возражал: «Нет, это вы говорите абсурд!»

Потом, уже в Петербурге, когда я ехал на извозчике домой, — ветер, настоящий интеллигентный ветер, жаловался, визжал и, не зная, куда ему деваться, метался из стороны в сторону и все ныл, ныл...

Извозчик говорил что-то о Думе и о холере, но я его не слышал. Я думал о шумном, но скрытном лесном ветре, который то сгибал сильные сосны, то ласкался к ним. Я думал еще (ведь я был в Петербурге) о встречных вывесках, о пьяных отравленных людях, которых почти не было в Выборге, о красивых выборгских домах и нелепых петербургских, о сборнике «Знание», который я читал в вагоне, о завтрашнем дне и о многом другом.

Вечером я одел крахмальный воротничок (двойной) и пошел на Андрея Белого.

Вокруг меня сидело много интеллигентов (некоторые были без воротничков, в русских рубахах, но они тоже были интеллигентны) — и все мы слушали Андрея Белого.

У Андрея Белого оказались безукоризненные манжеты и жесты высокой выделки.

Андрей Белый сказал нам, что для него, чтобы определить, что такое искусство и какое его место в жизни, нужен целый ряд лекций, а так как времени у Андрея Белого нет, то он будет говорить кратко и просто, по-мужицки...

Дальше я ничего не понял. Сосед мой делал вид, что понимает, но притворство явно металось на его измученном лице.

О, никогда еще в жизни не слышал я, чтобы мужики выражались так темно и деликатно. Но потом я вспомнил, что в моей голове шумит еще финляндский лес и что это он мешает мне слушать. Тогда я встал и тихонько вышел, купил на улице «Биржевые» и, прижимаясь к домам, ежась и закрывая глаза, пошел с ужасом домой.

Боже мой, я вернулся в Петербург!

<1909>

«ХОРОШИЕ АВТОРЫ»

В былые дни, когда у нас была и родина, и крыша над головой, и своя книжная полка, как радостно и приветливо встречали мы каждую большую книгу, приходившую с Запада.

Гауптман — Гамсун — Лагерлеф — Киплинг — Метерлинк — Уэллс — Роллан — Шоу — Франс — блестящая вереница... В сознании нашем они так «обрусели», что крепкими незримыми нитями сплелись с Чеховым, с Короленко, со всеми, кто всплывал над безбрежными темными русскими полями за последние десятилетия.

Больше того: каким-то верхним русско-интеллигентским чутьем иные книги мы утверждали полнее, чем грузные сородичи авторов это делали у себя дома. Вспомним хотя бы «Пана»... Какие тиражи, сколько переводов и какие переводы даже в тех желтых книжонках на газетной бумаге, которые стоили гривенник.

Но все мы были прекраснодушными идиотами: мы верили, как романтические поповны, что над каждой четкой прекрасной страницей, над всей этой каллиграфически-великолепной словесностью парит Ангел добра, правды и справедливости. В деснице — грозный, карающий неправду меч, в шуйце — голубой батистовый платок для осушения слез всех скорбящих и затравленных. Что ж, стыдиться ли нам этой детской веры сегодня?..

И вот здесь, за рубежом, сколько раз мы с вами тайно подымали глаза к знаменитым парнасцам-европейцам. Не к Лиге наций, корректно регистрирующей погромы и разгромы государств, идеологий и количество оторванных голов, не к конференциям дипломатов, притворяющихся, что тигр, если ему дать небольшой заем и сделать маникюр, станет настоящим вегетарианцем... Запах нефти заглушил запах крови — какая уж тут к черту сентиментальность!

Но знаменитые европейцы молчали. Мелкий шершавый эпизод с бурами привлек в свое время к себе больше внимания, чем гибель колоссальной страны, родины Толстого и Достоевского («Толстоевского», по утверждению одного европейца-интеллигента).

Примирился мы и с этим. Не клянчили, вырванных ноздрей не демонстрировали, ничего не просили ни для себя, ни даже для осиротелых русских детей. Обходились своими силами. Кто надорвался, кто сгорел, как Л. Андреев со своим «S. O. S.», другие — «там» в СССР молчали и молчат, сдавленные красным намордником.

Впрочем, не все евразийские парнасцы безмолвствовали. Уж лучше бы все! То один, то другой из них слетает на неделю в комфортабельном аэроплане в страну красной лучины, вставит розовый монокль в глаз и сразу все поймет и всему поверит. Электрификация, города-Афины, университеты для Катюш Масловых, крестьяне читают Уэллса в подлиннике, и в каждой избе девушки на серпах и молотах играют пролетарские гимны. Гид из породы Чуковских все это, разумеется, объяснит и даже не улыбнется, — привык уж.

А потом, вернувшись, в тиши своей барской виллы, семидневный Одиссей в поучение нам, бездомным, коренным русским гражданам, надменно ухмыляясь, напишет, что «Советы — лучшая власть в

мире» (для нас, конечно, — не для него), что мы, слепые кроты, ничего не понимаем, что на его глазах ни разу никого не удавили, а он верит только «собственным глазам». С таким же успехом он должен был бы отрицать и татарское иго, и нашествие гуннов на Европу, и прекрасные дела Нерона, и сожжение Гуса, и многое другое, что он «собственными глазами» не видел.

Господи, до чего тошно писать об этом! Все ведь они, словно на подбор, тончайшие скептики, люди с рентгеновским, пронизающим насквозь зрением. Отчего же наши — Тургенев, Глеб Успенский, Толстой и иные, попадая за границу, не слепли, не пресмыкались, становились еще зорче и сдержаннее? А ведь СССР — грубо размалеванный лубок в сравнении с той Европой, которую большим русским людям приходилось видеть.

Кое-кто из крупных европейских имен, слава Богу, начинает прозревать и остывать. Но Уэллс и Бернард Шоу сочли нужным на днях лишний раз вписать свои имена в книгу знатных гостей на роскошном советском рауте в Лондоне. Большинство дипломатических представителей не приехали, командировав на раут мелких чиновников. Кто командировал Уэллса и Б. Шоу — неизвестно. Мировая совесть, носителями которой они являются? Двумя буре-вестниками во фраках стало больше. Орденом «Красной Звезды» советские вельможи, быть может, их и украсят, а виллы их при них и останутся: в Англии ведь государственная власть «непротивлением злу» не занимается, — в этом мы только что убедились. У них, по рецепту того же Уэллса: «Если начинает буянить сумасшедший человек, невольно и здоровые должны принять участие в борьбе» («Мистер Брилинг и война»).

Итог мы подведем сами. Карамзин когда-то утверждал категорически: *«Я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором».*

Мы тоже были в этом уверены. Даже слишком. До того, что весь свой интеллигентский иконостас сверху донизу увешали хорошими авторами-человеками от Горького до грошового Тана-Богораза включительно.

Но сегодня мы с душевным прискорбием утверждаем столь же категорически: хороший автор может быть никаким человеком, может быть даже общественно-отвратительным человеком, — слепым, тупым и ничтожным. Никому не возбраняется.

В той же мере, как и любой хороший пианист, хороший живописец и хороший балетмейстер. Ибо словесно-каллиграфический талант, даже самый блестящий, — одно, а талант чуткого и справедливого сердца — совсем иное. Вот собаки, например, последним талантом обладают зачастую, хотя ни романов, ни повестей не пишут.

И раз навсегда запомним: у негров была своя Бичер-Стоу, белая женщина, всколыхнувшая своей книгой немало тупых, заплывших нефтью душ. Для нас такой Бичер-Стоу в Европе не нашлось. Будем же надеяться, что в глубине Африки какой-нибудь честный и

справедливый негр, побывавший в СССР (каких там только цветных не было!) — напишет о нас, белых рабах, и о красных плантаторах — честную и справедливую книгу.

<1924>

СТАРЫЙ СПОР

Знакомый мой, высланный в свое время за неподходящее выражение глаз из пределов СССР, вступает по временам со мной в бесплодное для нас обоих ратоборство.

— Что вы знаете о новой России, вы, живший там без году неделю?

Я упираюсь:

— Новую, послеоктябрьскую Россию я видел месяца четыре в Пскове и месяца семь в Вильно. Какой стаж необходим, чтобы иметь право судить об этой Не-России?

— В вашем захолустном Пскове была только первая раскачка. А Вильно! Тоже, подумаешь, большевики: виленские наборщики и литовские кустари... Только тот, кто неделю за неделей все эти годы прожил там, в состоянии понять колоссальный сдвиг, который...

— К черту ваш сдвиг! Я сравнивал то, что видел, с рассказами бежавших потом киевлян, петербуржцев, псковичей. Одно и то же — до одурения. Разница только в количестве проломленных черепов. Чума — всегда чума, однообразно-нудная, как бред пьяного лопаля... вспомните-ка у Уайльда: «чтобы узнать, какого качества вино, нет необходимости выпить всю бочку». Я выпил ведро, вы три бака. Вот и весь ваш опыт.

Знакомый презрительно протирает очки и выпаливает:

— А крестьянство? А рабочие? Новый быт? Подрастающие кадры? Новая мораль? Голод? Резкие повороты руля, от которых то трещали наши шеи, то вспыхивали кое-какие надежды... Это вам не Уайльд, сударь...

— Позвольте. Вы где жили все эти годы?

— В Петрограде.

— Так. В Петрограде. Ездили вы по России? Изучали новый быт? Нет! Сидели, как каторжник, прикованный к стене в нетопленной комнате у Пяти Углов. Ходили в «Дом литераторов», слушали, чтобы не сойти с ума, доклады о новых путях русской метрики.

— Че-пу-ха!

— Да вы не злитесь. Разве я осуждаю? Это лучшее, что можно было там делать. Где видели вы за эти годы новых крестьян? В лице мешочников, приходивших с черного хода? Они помалкивали, а вы вдвое. Были ли вы на голоде? Нет. Вы ведь не привилегированный американский корреспондент. Что делалось в соседнем уезде знали? По казенным реляциям в «Известиях» и по казенной неправде в «Правде»?..

— Ну... Вы-то много видели в вашей Европе?

— Не меньше вас. Видел сотни людей, бежавших оттуда. Из разных мест и в разные сроки. Сравнивал. Читал статьи иностранных корреспондентов, контрабандные письма из России... Читал и советскую стряпню: иногда и ложь показательна, если привыкаешь к языку шулеров.

— Бросьте. Статьи да письма. Эмигрантская логика. Знаете ли вы, например, что коммунизм — это одно, а большевизм — явление совсем иного порядка, особенно в деревне?

— Хрен редьки не слаще. Разница, вероятно, такая же, как между нагайкой и арапником... И почему вы этак свысока: эмигрантская логика. С жиру мы что ли эмигрантами стали? Да и вы сами не были ли там «внутренним врагом-эмигрантом»? Для вас, коренного русского интеллигента, самый захолустный австралийский городок должен быть ближе того Содома, в котором вы жили. Что связывало вас с окружающей жизнью?

— Общие страдания, общие надежды.

— А мы тут пряники ели? Стажа страданий не прошли? Не рвались порой «туда», как вы «оттуда»?

Знакомый мой резко крутил головой, словно профессор бактериологии, нехотя ввязавшийся в научный спор с несовершеннолетним гимназистом.

* * *

Я умолкаю. Временами мне от души его жалко, ей-богу. Разница между нами с каждым месяцем стирается, и недалек день, когда он волей-неволей перестанет презрительно протирать очки в ответ на мои тирады. Оба мы одинаково отстанем от тех новых конвульсионных «сдвигов», в которых скоро и советские вельможи перестанут разбираться...

Была война: та самая великая, идиотская война, от которой все и пошло... Знакомый мой провел на ней месяца с три (потом заболел, что ли), а многие из нас все годы вплоть до красного Октября. Не спорим же мы с ним о том, что он о войне судить не может (три всего месяца лишь был!)... Очень даже может. В чем же дело?

И думается мне, что только внутренний червяк суесловия и гордости мешает ему честно сознаться в одном: была бы возможность, бежал бы он и раньше, как многие из нас грешных. Что же тут зазорного? Меня — икса — живого человека душат, травят, хлебной карточкой по голодному рту бьют, язык вырвали и кричать не дают, за мой письменный стол свинью с кумачовым бантом посадили, а я от всей этой совмейерхольдовской кувырколлегии и уйти не смею? Стыдно? Да разве эмиграция со вчерашнего дня пошла? Эмигрировал и князь Курбский, и Герцен, и французские граждане в Россию, как мы теперь во Францию. Да и сам т. Ленин не был ли эмигрантом?

Поводы только были разные. А у нас уж из повода повод. Ибо что же такое «крававый» старый режим, который был непереносим

для Ленина, в сравнении с ленинским флердоранжевым режимом, от которого эмигрировали мы? Корь — и сибирская язва. Это даже социалисты, в тех случаях, когда в СССР бьют социалистов, повторяют с трогательным единодушием.

Была бы возможность: сколько несчастных беженцев увидела бы Европа из далеких приволжских и иных внутренних городов России, если бы они не лежали так далеко от западного кордона.

Всего этого я не говорю моему знакомому. Пусть курит и молчит. Дважды два ведь в сознании многих из нас сегодня даже и не стеариновая свечка, а целый свечной завод...

Пусть курит... К стихам он равнодушен, даром что ходил на доклады о новых путях русской метрики. А жаль... Уж я бы ему в альбом вписал на добрую память незлобною рукой.

Чем ты гордишься, глупая тетеря,
И почему меж нами ты, капрал?
Один бежал из смрадной пасти зверя,
Другого зверь, пресытись, изблевал...

<1924>

МЕЛКАЯ ИГРА

«Союз русских художников во Франции», постановивший на общем собрании испросить у красных властей прошение и попроситься на участие в советском отделе на Выставке декоративных искусств в Париже, — разумеется, в своих расчетах не ошибется.

Искусство, как известно, аполитично. И большевики, высокие покровители свободных художеств, у себя дома всемерно проводят этот принцип. Перекраивают на псевдопролетарский фасад старые оперы, книгу, вплоть до детской азбуки, сделали орудием самой низкопробной пропаганды, и даже в балете, — на что уж аполитична Терпсихора, — дряблыми и толстыми ногами Дункан наглядно изображала торжество мировой революции.

Изобразительное искусство в особенности достигло там высоких степеней свободы, радостного самоутверждения и аполитичности. Товарищ Чехонин, в прошлом изысканный сноб-виньетист, стал раскрашивать придворный красный фарфор, заменив старую буколическую символику изображениями лубочных толстощеких слесарей с молотом и раскрашенных пейзажков с серпом; т. Бродский, скупив за гроши картины своих обнищавших собратьев, стал рисовать портреты единственных прибыльных заказчиков — высшую красную знать; рычащие каинские плакаты залепили все стены, заборы и уборные; чудесная русская графика, горького хлеба ради, начала обслуживать казенные заказы: почтовые марки, ассигнации, обложки к полному собранию митинговых завываний т. Зиновьева и пр. Что ни марка, что ни денежный знак, что ни обложка, — сплошная пропаганда. А кто был ранее иного толка,

скажем художник Лукомский, всю свою жизнь посвятивший изображению русских церквей и монастырей, — тот со дня перехода к большевикам смяк, увял, изошел бешеной слюной в двух статьях в «Накануне» и умер как художник. Искусство за себя мстит и рабства не терпит: это оправдалось на многих перебежчиках. Что нового дает большевикам т. Лукомский? Не втыкать же ему в свои церкви красные флаги? — все равно в таком виде на выставку не допустят.

И только в старых музеях бывшей России дремали старые полотна больших русских мастеров, полотна, увы, почти сплошь «контрреволюционные». Разве не контрреволюционны аристократические портреты Брюллова, насыщенный жизнью добродушный жанр Федотова, раздолбные картины изобильных и беспечных русских базаров и ярмарок, воплощенные в красках религиозная мистика и историческая жизнь? Не один красноармеец, не один отравленный коммунистическим самогоном рабочий останавливался в эти годы перед старыми русскими картинами и тайно вздыхал: была жизнь и исчезла. Школа наглядного обучения, и какая школа! И уж не пощадили бы большевики ни одной такой «вредной» картины, если бы они не представляли собой крупной ценности в валюте, последнего их разменного фонда...

* * *

«Союз русских художников» в своих расчетах не ошибется. Крупные мастера, которых мы все знаем и ценим, хочется верить, в позорном голосовании участия не принимали; в союзе они состояли, надо полагать, лишь номинально и на общем собрании, вероятно, не были. Впрочем, все это выяснится само собой.

А мелочь, левые мазилки, конечно, ставку свою сделали не зря. Ведь раздолье какое... Ни знания, ни таланта, ни своеобразия. Приложишь только верноподданно к красной туфле М. Ф. Андреевой, опусти раскаявшиеся глаза к советскому подножию и вмиг из недоучки, полуголодной богемы попадешь в привилегированную касту советских гениев. Заслуга ведь немалая: здесь, в сердце Европы, на показательной культурной выставке помочь своим новым господам создать советские декорации. Пусть полуграмотно, пусть коряво, — корявость, то есть зачастую просто неумелость, прикрытая кое-каким новаторством, — давно ведь стала новым декоративным стилем. Возьмут количеством экспонатов, — вот, мол, какая мощная наша пролетарская культура... И знатные иностранцы, пожалуй, и не разберутся: примут среднюю пачкотню за скифско-пролетарские достижения, свет с красного востока... А уж своя реклама поможет.

Это ли будет не заслуга «Союза русских художников во Франции»? И оценят ее советские воротилы по достоинству. Целая артель новообращенных пригодится ведь и после выставки: плакаты, проекты планетарных памятников Ленину, этикетки для новой советской водочной монополии — заказов не оберешься. Устроился же т. Ларионов, вдохновитель союза, приведший раскаявшихся за

ручку на рю де Гренель. А что такое Ларионов — мы ведь немного знаем. Никакой художник, ни одной картины, о которой стоило бы вспомнить. Так, какие-то пустячки в стиле упражнений малоуспевающего ученика школы Штиглица, тщательно заgrimированные ультралевым уклоном.

Одно бы, примитивной честности ради, можно было бы посоветовать союзу: пусть именуют себя впредь не: «союзом русских художников», а «Союзом ССэровских раскаявшихся неудачников».

Настоящий же союз образуется и помимо них, в чистом виде, без плевел, без пресмыкательства и ползания на брюхе перед теми, кто не пощадил ни одной музыки... И когда образуется, устроить, если понадобится, легко и на полной свободе свою выставку: выставку независимых русских художников, а не спешно переукрашенных в красную краску декораторов-капельдинеров.

<1925>

ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Задача — воистину каторжная. Группа косноязычных загонщиков, переметнувшихся к большевикам, в распространяемой из-под полы листовке «Союз возвращения на родину» пытается доказать: 1) что большевики кроткие, гуманные вегетарианцы, 2) что они пламенные и просвещенные патриоты, слуги Родины — великой России, 3) что гонения на церковь — ложь, 4) что террор как система введен в обращение и начат белыми, а красные, скрепя сердце, принуждены были на террор ответить террором, 5) что СССР создал денежную единицу такую же твердую, как американский доллар, 6) что Родине нужны только честные работники — просите прощение, берите советские паспорта и вы будете кататься, как сыр в советском масле... Багажа можно брать около 50 кило! Сколько могут брать коммунисты, в брошюрке, к сожалению, не указано.

Написанную языком рапорта красного милицейского, языком, убеждающим лишь в том, что авторы сами ни одному своему слову не верят, листовку эту можно только приветствовать. В небогатой антибольшевистской пропагандной литературе она несомненно пригодится и пользу свою принесет.

Единственная задача новых хозяев, неопытных загонщиков, чисто азефовская: внести в некоторые круги колеблющихся и усталых эмигрантов разложение — и только. Какой же агнец поверит; что большевики стремятся увеличить число безработных в СССР несколькими сотнями тысяч голодных ртов?

Но авторы брошюры данный им заказ выполнили из рук вон плохо. Кое-какую видимость полуправды следовало бы все-таки сохранить, не для голландцев же пишут, да и голландцам уже кое-что известно... Зачем же расписывать, что на советских соснах растут

ананасы и что мостовая в Кремле вымощена булыжниками из червонного золота?

Если денежная единица в СССР так тверда и устойчива, как американский доллар, то почему в СССР в широких размерах подделывали доллары и нигде в мире никто не подделывал советских бумажных миллиардов и червонцев? Потому, должно быть, что это такое же бесплодное предприятие, как подделка использованных трамвайных билетов. Далее: почему «твердая советская единица» не котируется ни на одной бирже земного глобуса за пределами СССР? Биржа ведь не сентиментальна и идейными соображениями отнюдь не руководствуется. Почему ни одна капиталистическая страна не просит займы у СССР и, наоборот, нет ни одной капиталистической страны, у которой «рабоче-крестьянская» власть не кланчила бы на свои интернациональные дела на второй же день после признания?

Известно ли неуклюжим загонщикам, что гуманный лозунг «смерть буржуазии», с первых дней захвата большевиками власти красовавшийся на всех плакатах и стягах, пущен в оборот и приведен в действие не самой ли буржуазией? Известно ли им, что террор и гражданская война, так талантливо проведенные красными у себя дома и навязываемые ими с упорством бесноватых всему миру — являются основной стихией большевизма. Без террора, без гражданской войны, без захвата чужого добра, без удушения чуждой им свободной мысли, слова, быта — ведь и никакого большевизма нет.

Знают ли зазыватели «Союза возвращения на Родину», что само слово «Родина» для каждого коммуниста-большевика контрреволюционно. Какая родина может быть у тех, кому интересы Красного Китая ближе и дороже насущных интересов русского крестьянства? Сколько миллионов российских десятин можно было бы обсеменить на сотни миллионов золотых рублей, выбрасываемых красными на интернациональную пропаганду? Знают ли зазыватели, что само имя родины — Россия — бесследно вытравлено из красного государственного обихода: его нет даже на почтовых марках, нет на денежных знаках, нет в договорах с иностранными державами. Только СССР! Зачем же скупщики мертвых эмигрантских душ кощунственно упоминают о России?

«Родине нужны только честные работники»? Родине — да, но коммунистам для СССР нужны только честные коммунисты. Их, увы, после каждой очередной чистки все меньше, как свидетельствует об этом сама советская печать. Культурных работников — ученых и писателей, даже стоящих в стороне от всякой политики, высылали сотнями, студентов, не принадлежащих по происхождению к пролетарской знати, выгнали из аудиторий, — какие же «честные» работники им нужны? Что за дикий товарообмен? Одним, сидящим на месте, мешать жить и работать и выбрасывать их вон, а других, живущих за пределами красной досягаемости, зазывать в мышеловку?

Пусть едут туда высокие гости, новые друзья СССР, иностранные капиталисты и специалисты-сводники. Им ни позорных листов заполнять, ни торчать в советских передних не придется; в международных вагонах, под почетной охраной пролетарских штыков, докатят и вылезут со своими моржовыми чемоданами (конечно, не в 50 кило весом!) в первоклассные московские отели, куда пролетариев и на порог не пускают.

* * *

Большевизм надоел, как застарелая грыжа. Сел за стол, зажег лампу и хотел было написать об одной любопытной встрече в Риме. Но подвернувшаяся под руку бессмысленная брошюра дала мыслям совсем иной толчок. Точно под кожу впрыснули полную дозу антибольшевистской сыворотки. Такое ощущение испытывает любой эмигрант, прикоснувшийся к этой, исполненной бездарной лжи и рабьей лести листовке. «Ах, большевики такие патриоты, они так обожают Россию, они так гуманны, они в основу своей политики кладут в первую голову благосостояние родины, они запрещают антирелигиозные выступления, даже сам Уэллс подробно доказывает, что белые начали террор, а красные совсем, совсем не хотели, и уже никакого террора теперь нет, в тюрьмах арестованные играют на арфах и едят кисель из красной «развесистой клюквы»...»

Одно все-таки в этой игре непонятно: в силу каких соображений советские представители занимаются в Париже поддержкой антибольшевистской литературы?

<1925>

ИЛЛЮСТРАЦИИ

На столе — стопа советских еженедельников за прошлый год. Выдумки даже на заглавие не хватило. Рабски скопировали внешность старого бульварного «Огонька», даже обложка не красная, а знакомая — грязно-голубенькая.

К слову «Нива» прибавили красная. Только и всего. Но содержание для нас, эмигрантов, глубоко поучительно.

* * *

Вот заглавная страница «Огонька»: «Председатель Совнаркома СССР А. И. Рыков, произносящий речь к крестьянам села Песчанка Царицынской губ<ернии>, в местности, пострадавшей от неурожая».

Положил начало этому странному занятию, как известно, наш недоброй памяти Главковерх, первый словесный электрификатор февральской революции. Прорыв ли на фронте, вспухала ли дезертирская волна, плохо ли работал тыл, — Главковерх вылезал из штабного автомобиля, взбирался на первую подвернувшуюся под ноги бочку и, окруженный обалделыми солдатами, сознательными

писарями и хмурым офицерством, говорил — говорил — говорил... Старые, поседелые в боях полковники в обморок падали, а он все говорил...

Т. Рыков свято блюдет февральские традиции. Произносит ли он так же речи в местностях, подозрительных по чуме, пострадавших от наводнения и советских сусликов? Или, может быть, для удобства т. Рыкова размножают? Водружают на ящик его чучела с граммофоном, заряженным рыковской пластинкой, повертят сзади ручку — и готово?..

При старом режиме поступали разумнее и проще. Помню голод в Поволжье в конце девяностых годов. Помню, отправились мы отрядом из Житомира в Уфимскую губернию кормить и лечить голодающих. Красный Крест дал врачебный персонал и медицинские средства, местный гарнизон, по почину начальника дивизии, — сухари, министерство внутренних дел — ассигновку на муку и на скот, общество — работников, одежду, пожертвования... Но вот совершенно не помню, чтобы к нам в Белебеевский уезд Уфимской губ<ернии> приезжал взамен всей этой помощи председатель совета министров и предложил голодающим вместо хлеба... речь. Занят он был, что ли, или люди тогда были человечнее и умнее?

* * *

Советская эстетика обогатилась новым достижением. В столичных скверах выращивают на газонах из цветов портреты вождей-революционеров («Огонек»). В память годовщины смерти выцветили наряду с Воровским и Свердловым портреты Лассалья и Жореса.

Жорес умер десять лет назад, Лассаль — шестьдесят: вот единственное преимущество, дающее право красным сатрапам приписывать к своему участку вождей-идеалистов, в глаза не видевших прекрасного советского строя...

Можно ли хоть на миг сомневаться, что живи сейчас Лассаль и Жорес, — один из них был бы плехановцем, а другой стоял бы на платформе, скажем, Каутского? И тогда, вместо цветочных портретов на советских газонах, вождей почтили бы столь знакомыми нам дурацкими колпаками с ослиной надписью: «социал-предатели и социал-соглашатели, вонзившие нож в спину» и пр., и пр.

* * *

К числу крайне левых революционеров, глашатаев советской революции, «пушкинист» из красного еженедельника «Зори» (№ 8) на основании двух сомнительных эпиграмм причисляет... самого Пушкина.

«Пушкин был не только революционер тогдашнего времени, но при этом еще и крайне левого толка».

Сердечно жалею, что у нас нет под рукой сочинений Екатерины Великой. При помощи двух склеенных из разных кусков цитаты с таким же успехом доказали бы, что блистательная Императрица была «революционеркой крайне левого толка».

Более того: на основании отзывов т. Ленина и глупости некоторых его соратников мы доказали бы, что Ленин был контрреволюционер крайне правого толка.

Неясно только, зачем просвещенному пушкинисту понадобилось втыкать красный бантик в могилу великого поэта? Такая ли уж честь быть сейчас в СССР левым революционером?

Разве не сидят эти революционеры вместе с Марией Спиридоновой в советских тюрьмах, вместе со своими более умеренными коллегами (см. сборник лев. революционеров «Кремль за решеткой»)?

* * *

Бедная советская власть! Не только тюрьмы, не только водка, литература, табак, бюрократия и канализация — даже ребусы были в дооктябрьские времена лучше и не носили на себе такого угрюмоторжного клейма «нового мира».

Вот какими ребусами усталые, полуголодные рабочие услаждаются там свои досуги:

- 1) «Диктатура пролетариата — верная дорога к коммунизму» и
- 2) «Сельское хозяйство имеет первенствующее значение для всей экономики советской власти».

После таких ребусов для окончательного закрепления сов<етского> строя в сознании масс следовало бы сделать еще один шаг: на грудях кормилиц красных воспитательных домов вытатуировать за казенный счет «серп и молот»... И заодно уж — положить красные ребусы на ноты и заменить ими колыбельные песни.

* * *

Столь же усладительны и еженедельные пролетарские стишки. П. Орешин — фотография приложена, — молодой человек с лицом кроткого полотера, прометействует:

Когда мы ночью воем в темнь,
Нам вторит гром! Кто хочет выть?
Хватай горящие поленья,
Учись гиппопотамом быть!

(«Кр. нива» № 6)

Воображаю, какую крупную словесную спираль развертывает по адресу своего гениального собрата несчастный пролетарий-читатель! За семь с лишним лет улыбаться разучились, радость до тла выжгли: поотрывали головы учителям, вяло топчась вокруг себя, лезут задом наперед в осточертевшую гиппопотамовую шкуру... Зачем?

<1925>

В прежние годы подпалишь какую-нибудь курицу или дурака в петербургском «Сатириконе», и далекий рязанский или орловский читатель, с удовольствием обоняя запах паленых перьев, пинкертоновских очков не надевал: «бытовая курица», «бытовой дурак», чего еще до фамилии добираться.

Да в самом Петербурге народу была пропасть. Кто там разберет — с Петербургской стороны курица или с Васильевского острова...

Нужно ли вообще подпаливанием заниматься? Это уже вопрос особый. Другой вот и хорош, и честен, и с женой не дерется, а положишь его на палитру — одну сыворотку из него и выжмешь.

А дурак или злыдень какой-нибудь всеми цветами глупости или свинства переливает. «Дурак круглый», «дурак махровый», «дурак классический» — одних дураков сортов до двадцати.

И кто видал, кто может себе представить карикатуру на Антиноя, на доктора Гааза, на Гаршина?..

* * *

В эмигрантском уезде — тесно. Милых людей не мало, но и немилых достаточно. И все на виду, как сосиски в витрине. Ленивые люди говорят: нет тем. Как же нет, когда темы по всем метро стадами скачут, в каждом знакомом квартале по дюжине золотых тем из всех углов торчит. Жизнь стала пестрей лоскутного одеяла. Высокое переболталось с низким, — и вообще — поднимаются реже, а вниз кубарем — каждый день... Голова от нерасказанных тем пухнет.

По рецепту старого стишка в таких случаях «переносится действие в Пизу». Но попробуйте, пожалуйста, перенести сложную настойку из парижских натурщиков в Берлин и обратно. Целый день телефонные звонки и неделикатные вопросы: «Это вы про Клавдию Петровну?! У нее же рыжие волосы и боа из шеншелей, и она же свою старую тетку на мороз выгнала...»

Ну вот. Только на свете гиен, что ваша Клавдия Петровна. Поймите вы, наконец, милые люди, что на фотографии и то человек часто на свою собаку похож, а уж «сатирической фотографии» и подавно на свете нет. Сантим ей цена.

Многоуважаемый и дорогой Смех! Ты так всем сейчас нужен, без тебя так всем тошно... Но чтобы ты не садился каждый раз, выражаясь вульгарно, в калошу, вот несколько гигиенических правил, которые сегодня весьма пригодятся в редакции *любой* газеты и *любого* журнала:

1) Если хочешь сделать сборную солянку из своих знакомых или из знакомых твоих знакомых, выбирай таких, которые уехали в Америку или живут в Румынии. Туда ничего не доходит, а если и дойдет — обойдется.

2) В политические кайканы не лезь. Иначе тебе оторвут сначала правую руку, а потом и левую. Обзаводиться же двумя правыми или двумя левыми лапами тебе, внепартийному Смеху, не пристало.

3) Над большевиками смейся не чаще двух раз в неделю, ибо нет более осточертевшей и отвратительной темы. Я полагаю, что сами большевики, которые поумнее, когда думают о себе, зажимают обеими руками нос.

4) Лежачего бей осторожно, особенно если он брат твой — эмигрант.

5) Помни, что в эмиграции есть своя юмористическая теща из старого «Будильника»: карт-д'идантите, виза, падение курса, оборванный эмигрант, сидящий на чемодане у швейцарской границы, и т. п. милые вещи.

Если можно, дорогой Смех, никогда не касайся этих тем...
Пожалуйста!

6) Вообще, если можешь, умея быть смешным... без темы. Вари куриный бульон без курицы и осторожно маскируй каплю серной кислоты ведрами веселого, бодрого кваса. Ибо каждый твой близкий — цензор, прокурор и Нат Пинкертон твоей души.

7) А главное, не забывай, что еще Гоголь писал о «Комическом писателе»: «Малейший признак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия».

Во всем остальном ты, разумеется, совершенно свободен.

<1925>

НАШИ ДЕТИ

Они живут рядом с нами — русские дети, маленький народ, не знающий России. У них какая-то своя подводная жизнь: приносят в дом лубочно-раскрашенные французские еженедельники для детей и, сдвинув брови, не улыбаясь, рассматривают нелепые и смешные фигурки; с опытностью старых биржевиков собирают марки, меняют их, бегают на марочную биржу и следят за движением цен по новым прейскурантам; строят из стальных продырявленных пластинок подъемные краны и похожие на эшафот элеваторы (скучные игрушки для маленьких марсиан!); надвинув на голову пластинку с тугими наушниками, хмуро слушают наплывающий с Эйфелевой вышки радиоскрежет и одновременно пробегают глазами заданные на завтра страницы из истории французской революции... К ним никогда не приходят маленькие французы, школьные приятели, и сами они тоже в гости к ним не ходят: не принято. По четвергам — кинематограф. Гениальный Чаплин утирает нос салфеткой своей дамы; ковбой, привстав на седле, ловит свалившуюся со скалы любимую девушку; изящный банкир по случаю падения рельсопрокатных акций подносит к виску изящным движением браунинг.

России наши дети не видали и не знают. К кой-кому из них

перешел по наследству обрывок русской хрестоматии со странными картинками. Генерал Топтыгин, развалившийся в санях, девушка, сидящая на окованном сундуке в снежном бору, витязи, выходящие из моря... Дети перелистывают, смотрят, — далекие северные джунгли, «Россия». — «Тарзан», ужасный роман-семечки, пожалуй, пленительнее и ближе.

Иногда заглянут в передовицу эмигрантской газеты, брошенной отцом на столе. Непонятно. Раскроют «Архив русской революции» — скучно.

* * *

Путь один — русская книга. Если кто-либо из взрослых поможет детям и среди бесчисленных томов разыщет и укажет то, что нужно, — нет внимательнее, нет роднее читателя, чем русские дети. Лесковский «Кадетский монастырь», либо «Зверь», либо «Неразменный рубль», даже в простом домашнем чтении-журчании сразу заставит детей забыть о вечернем радио и о подъемных кранах из стальных пластинок. Так не слушают (да и не читают этого вздора вслух) ни «Тарзана», ни «Генерала Дуракина» из серии несменяемой «розовой библиотеки», ни отвратительных еженедельников из угловых лавочек.

И, быть может, самый непропащий, самый плодотворный час эмигрантского досуга тот час, когда мы, отойдя от наших правых-левых планетарных споров, знакомим детей с настоящей русской книгой. Вы увидите чудо: маленький иностранец Иванов, с запинкой лепящий фразу на родном языке, вдруг на ваших глазах станет русским. Где надо — бойко и задорно улыбнется, где надо, — по-русски задумается, а если задаст вопрос, то вы и по вопросу поймете, что дошло как раз то, ради чего автор и огород городит...

Даже, казалось бы, такая взрослая, сложная книга, как «Мертвые души». Повторите в коляске с Чичиковым его знаменитое путешествие, прихватив с собой в попутчики знакомого русского мальчика, вы не пожалеете об этом. С такой свежестью восприятия, так неожиданно легко схватит он и разгадает, вглядываясь и узнавая на каждом повороте дороги свое невиданное-неслыханное. И вы, напрягая память и отвечая на жадные детские расспросы, благодарно восстановите черту за чертой уплывающую, необъятную картину — Россию...

Ребенок вас поразит. Так комнатная, родившаяся в клетке белка, никогда не выдавшая своей лесной родины, жадно внюхивается в каждую хвоину брошенной ей еловой ветки. Всмотритесь пристальнее: пройдет минута, и в каждом движении перед вами заправский лесной зверек.

* * *

Недавно с одной девочкой перечитывали мы «Сказку о рыбаке и рыбке». Прочли, чтобы посравнить и подлинную народную сказку

о той же рыбке. Сидели тихо и думали. Быть может, вот эти самые слова:

«На море, на окияне, на острове на Буяне стояла небольшая ветхая избушка; в той избушке жили старик да старуха...»

Слушал от своей няни и сам Пушкин, глядя в окно на качающиеся русские сосны и прислушиваясь к складывающимся в голове вступительным строкам:

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.

Девочка, никогда не выдавшая России, нарисовала на моем блокноте картинку. Рыбак был похож на бретонского рыбака, старуха на его жену бретонку и корыто на бретонскую лодку. Вокруг корыта росли пальмы. Девочка жила в прошлом году в городке у океана и других рыбаков не видала. А пальмы она видела где-то в другом месте: не то в Африке, не то в парижском ботаническом саду.

* * *

С каждым днем все дальше и дальше уплывает от наших детей русская золотая рыбка. Нам, взрослым, некогда. Черной работы по горло, а в свободные минуты до одури спорим, ходим смотреть Чаплина (мы ведь тоже люди) и играем в шестьдесят шесть. Маленький народ, не знающий России, день за днем подрастает... Пока мы еще понимаем друг друга. Близкое и родное нам еще таится то в одном, то в другом детском сердце.

И порой нечаянно, как дорогой незаслуженный подарок, получишь от маленького иностранца Иванова больше, чем мы ему дали.

Вот страничка из моего детского архива, «Стихи к Пушкину», написанные семилетним русским мальчиком в Риме:

Вот в самой, самой глуши поля
Разлегся на траве густой,
Чтоб пораздумать здесь на воле
Сам Пушкин, наш поэт младой.

Деревья все тихо шумят
И птицы весело поют,
Кузнечик, словно акробат,
Скачет в траве то там, то тут,

Иль пчелка пронесется
Иль бабочка крылом блеснет, —
В его душе все остается
И никогда не пропадет.

Тебе ведь даже и не снится,
Что в самом юношестве лет
С тобою, может быть, случится
И что погибнешь ты, поэт?

Что ты погибнешь на дуэли,
С которою нельзя шутить,
Умрешь ты на серьезном деле
И смерть нельзя предотвратить.

И знал ли ты: со смертью твоей,
Которую ты, как герой принял,
Что ныне плачет по тебе Орфей,
И плакал я, когда твой стих читал.

.....

Я читаю вслух эти наивные детские строки, и мне кажется, что стоящий на столе портрет отрока Пушкина сочувственно улыбается. Портрет этот я купил в Пскове, на базаре, у неграмотной бабы-букинистки, быть может, одной из правнучек Арины Родионовны...

Будем верить, господа взрослые, что золотая рыбка еще вернется и наши дети научатся более разумно и бережно с нею обращаться, чем мы.

1927

Париж

ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ

Перед Рождеством надо было устроить девочку из знакомой семьи в детский приют. Обратились в приют «Голодной Пятницы». Ответ был такой простой и естественный: «Увы, ни одного свободного места». И помимо того, — в Земгоре лежала целая стопка прошений. Горе ведь тоже ведет свою строгую очередь, и ее нельзя ни обойти, ни нарушить.

Моя знакомая девочка жила временно — и срок истекал — во французской школе-приюте: тридцать три французских девочки, она одна русская. И уже перенеслась мысленно в русский приют, строя свои маленькие планы — там, в новом месте, и сад, и кролики, и русские подруги. Я же ей об этом приюте и рассказывал. И вдруг: нельзя. Помню, как нелегко и тягостно мне было это ей объяснять. Разве поймет малыш, только-только начинающий жить, суровую логику слова «нельзя»? Даже ее матери, замученной работой эмигрантке, и то трудно было освоиться с этой простой мыслью: ее девочке, которая уже и улыбаться разучилась, нет места в русском гнезде...

И сколько таких отказов. Никто о них не знает, никто о них не слышит, кроме тех, которые теряют, быть может, последнюю надежду дать своему ребенку русский уют, отдых, ласку в кругу таких же ясноглазых малышей. А детство неповторимо — недели и меся-

цы бегут, — и какое же детство в тесной клетушке отеля, где даже смеяться громко нельзя, чтобы не потревожить соседей. Мать весь день на работе — перелистывай свои тетрадки, прислушивайся к грохоту грузовиков на улице и думай... Представляли ли вы себе когда-нибудь, о чем они думают, оставаясь сами с собой, среди парижского океана, наши дети, такие серьезные и так много пережившие дети?

* * *

Перед самым Рождеством получил от детей подарок: календарь величиной с почтовую марку на картоне, изукрашенном ватным снегом и вырезанными елочками; с горы летел, приклеенный к салазкам, русский мальчик, а внизу стояла в цилиндре и с метлой снежная баба. Чудесный подарок. Вместе с подарком пришло и приглашение — каракулями — звали к себе на Рождество в приют «Голодной Пятницы».

Это было самое веселое за все эмигрантские годы Рождество. Детские сияющие глаза ведь убедительнее всех отчетов и благополучных цифр: дети действительно были здесь у себя дома — и маленькие зрители, и крохотные артисты на самодеятельной сцене. И елка была настоящая, — откуда такую в Монморанси раздобыли — пышная, до потолка, вся в блестках и искрометных бусах. Большая часть зрителей сидела на коленях у приехавших к ним в гости матерей и отцов, — глаза, не отрываясь, смотрели на сцену, а маленькие руки, тоже не отрываясь, прижимались к отцовским пиджакам и материнским плечам. Передо мной сидели на скамеечке три каплюшки. Две посерьезнее, а третья — как ртуть. Все время исподтишка дергала своих соседок за косички, — дернет и отвернется, будто не она, а... шах персидский. Мне, помню, даже неловко стало: а вдруг они на меня подумают, ведь я сижу сзади. И я, наклоняясь, сказал ей вполголоса:

— Сиди тихо, мышка. Зачем ты мешаешь им смотреть?

— А вы кто такой?

— Я главный начальник над всеми непослушными девочками во Франции.

Шалунья недоверчиво покосилась, осмотрела меня с головы до ног и притихла.

Весь приют в эти теплые Рождественские часы показался мне одной большой семьей. И как славно малыши «представляли». Никакой муштры, никакой выучки на пятерку с плюсом, чтобы показать детей гостям. Так играют только здоровые, бодрые дети у себя дома, руководимые внимательной и любящей рукой. А потом раздавали подарки и лакомства, и мне показалось, что я попал на русскую Вербу: трещали трещотки, гудели гудки, маленькие руки с упоением били в новые барабаны. Это был единственный в своем роде крыловский квартет, когда какофония не терзает уха, но радуется и тешит. Мы, взрослые, сидели в соседней комнате, пили чай, слушали и улыбались.

Теперь приют «Голодной Пятницы» переехал в новый дом: он просторнее, удобнее, мест больше. И стопка эмигрантских прошений, затаенно-горьких сдержанных просьб, начнет таять... если мы все еще и еще раз вспомним о детях и во имя нашего собственного детства, — ведь оно цвело и сияло, и наши матери не ждали очереди, не думали весь день на работе, как обеспечить завтрашний день своему ребенку, как, ограждая детство, заслонить от него хотя бы на время жестокие будни.

<1930>

О ЛИТЕРАТУРЕ

Владимир НАРБУТ

ЛЮБОВЬ И ЛЮБОВЬ

(3-я КНИГА СТИХОВ. СПБ., 1913)

Когда случайная группа приятелей по бильярду соберет между собой небольшую сумму и издаст на обоях «Садок судей», начинив его взвизгиваниями под Рукавишникова и отсебятиной под шаржированный модерн, — такое явление, по существу, только безобидно и смешно. Всякий развлекается, как умеет, а если кто из пайщиков подобных сборников принимает свои «смеюнчики-смехачи» всерьез, то и это не страшно. Писаря и фельдшеры, начитавшиеся «Золотого Руна», любят узывно выражаться; одним — более расторопным и крикливым — везет, и они становятся на 1 1/2 недели «знаменитыми», другие прозябают в Управлениях Воинских начальников и в Окружных Лазаретах, чахнут от зависти и обвиняют во всем судьбу.

Бывают и более трагические случаи, когда то, что кажется кривляньем и вывертом или хитрорасчетливым новаторством во что бы то ни стало, — просто есть явление патологического порядка. Пример — совсем не замеченная в свое время книга стихов фельдшера Я. В. Куртышева, с портретом автора на обложке. Книга называется:

«Стихотворения всех правд жгучих минут» (Спб., 1905).

Автор служил в больнице св. Николая (указано в тексте) и написал 144 страницы стихов в таком роде:

На Васильевском захрясло,
На Петербургской потемнело,
И центр города затошал,
Про Выборгскую не скажем,
И про Охту ничего,
Потому что это от нас очень далеко.
.....и т. д., и т. д.

Владимир Нарбут усердно идет по следам авторов «Садка судей» и «Стихотворений всех правд жгучих минут», только впечатление от его новой книги тем безобразнее и оскорбительней, что автор не лишен дарования (умеет же он писать в толстых журналах, не выворачиваясь наизнанку!) и, надо полагать, здоров.

«Третья книга стихов» В. Нарбута включает в себе... два стихотворения. В первом — 28 строк, во втором — 20. Размер книги на 1/2 сантиметра больше спичечной коробки. Сквозь книгу дели-

катно пропущен шелковый зеленый шнурок, и вся она чрезвычайно похожа на «премии», вкладываемые крупными кондитерскими в конфетные коробки в целях рекламы. Зачем понадобился В. Нарбуту такой прием? Цель, правда, достигнута, — внимание привлечено, — но, право же, это внимание такого рода, что когда-нибудь автор (если он перестанет смотреть на искусство как на средство навязывать свою фамилию возможно большему числу людей) будет жестоко стыдиться своей выходки.

Содержание «третьей книги стихов» несложно: в первом стихотворении (28 строк) — знакомый по сборнику «Аллилуйя» тщательный подбор корявых, крокодиловых слов и образов, которыми автор, очевидно, создает свою «марку» («вздыбленная ноздря», «а язвы в небе щиплет едкий гной» и т. д.), — «марку», которую уже успели в наше безрыбное, голодное время смешать с ультраантурализмом.

Смысл стихотворения — как в солдатской панораме: «Бой в Крыму, все в дыму, — ничего не видно!»

Второе стихотворение несколько доступнее и короче (20 строк). Цена — десять копеек.

<1913>

ПОДОРОЖНИК

Вдоль русских проселков, купаясь в придорожной пыли, растет крепкая, всевыносящая многолетняя трава подорожник. Широкие, лапчатые листья измазаны дегтем, упругий стебель, придавленный к земле выскочившим из колеи слепым колесом, снова и снова подымает навстречу ветру и солнцу свой мохнатый, светло-лиловый колос и живет, и дышит...

Именем этой травы назвала так давно волнующая каждое незвериное сердце поэтесса Анна Ахматова свою новую книжку. Весь томик умещается на мужской ладони — связка горьких, напоенных неугасимой женской мукой стихов все о том же:

Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зеленую волну,
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем,
Но, предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей звездой,
От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.

И еще острее:

Проплывают льдины, звеня,
Небеса безнадежно бледны.
Ах, за что ты караешь меня,
Я не знаю своей вины.

Если надо — меня убей,
Но не будь со мною суров.
От меня не хочешь детей
И не любишь моих стихов.

Все по-твоему будет: пусть!
Обету верна своему,
Отдала тебе жизнь, — но грусть
Я в могилу с собою возьму.

И еще обнаженнее:

От любви твоей загадочной,
Как от боли, в крик кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу.

Новых песен не насвистывай,
Песней долго ль обмануть,
Но когти, когти неистойвей
Мне чахоточную грудь.

Чтобы кровь из горла хлынула
Поскорее на постель,
Чтобы смерть из сердца вынула
Навсегда проклятый хмель.

Как и в первых книгах Ахматовой, перед нами все тот же дневник женской души, интимный и обнаженный до конца... Но дневник поэта открыт для всех: в искусстве последнее освобождение и преодоление себя, — таков его вечный закон, равно объемлющий и горькую лирику Гейне и прекрасную музу Ахматовой.

Кто бы вы ни были, прочтите вот эту светлую страницу, словно написанную рукой современной Татьяны, — разве, всплывая над сегодняшним, не укачают вас эти строки, не сделают хоть на миг просветленнее и богаче?..

Покинув рощи родины священной
И дом, где Муза Плача изнывала,
Я, тихая, веселая, жила
На низком острове, который, словно плот,
Остановился в пышной невской дельте.
О, зимние таинственные дни,
И милый труд, и легкая усталость,

И розы в умывальном кувшине!
Был переулок снежным и недлинным.
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм Святой Екатерины.
Как рано я из дома выходила,
И часто по нетронутому снегу,
Свои следы вчерашние напрасно
На бледной, чистой пелене ища,
И вдоль реки, где шхуны, как голубки,
Друг к другу нежно-нежно прижимаясь,
О сером взморье до весны тоскуют, —
Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.

И неожиданно, теплым розовым огнем расцветает среди надломленных болью песен крохотное стихотворение о ребенке:

Мурка, не ходи — там сыч
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?

На русском Парнасе уже давно творится неладное. «Язык богов» — прозрачный и мудрый — надолго и прочно оболванен самовлюбленной фиксатуарной слизью «поэз», звериным рыком маяковщины, полированной под палисандр, но дряблой внутри, как осина, брусовщиной, мутно-кустарными откровениями новых скифов с Мало-Подъяческой (так хорошо изучившими словарь Даля) и бессчетным числом плетущихся в хвосте «имажинистов», или как

там они еще себя кличут, — вяло и убого симулирующих эпилепсию своих более одаренных старших собратьев.

Тем дороже сейчас эта, написанная только для себя, книжечка, увидевшая свет в Петербурге в безумные дни 1921 года. Пленителен и честен в каждом слове этих стихов русский язык (все, что у нас осталось). Пленителен и дорог образ самого поэта — русской женщины, души которой не коснулась ни одна капля грязи, воющей, кишашей накрашенными музами-проститутками улицы.

<1921>

«ШАТЕР» ГУМИЛЕВА

Перед глазами тоненькая книжечка: «Н. Гумилев. Шатер. Стихи. Издание цеха поэтов. 1921 г.». По дате на первой странице эти стихи написаны в 1918 году, но напечатаны они лишь в нынешнем году, незадолго до мученической кончины убитого палачами поэта.

Какой шатер раскинул над головой томившийся среди красных дикарей поэт-заложник? О чем он мог писать в стране, где полный словесный паек отпущен только привилегированным Демьянам, жирным шутам, увеселяющим досуги тиранов? О чем он мог писать там, где даже несоветское выражение глаз считается смертным грехом, где выстрел наемного китайца в затылок сводит последние счеы с непродавшейся музой?

И все же даже там у поэта нашлись свои, высокой красоты и силы, слова. Он писал не о «скифской» России, — в львином рву хищного зверя не дразнят, — тоскуя и томясь, вспоминал он о второй своей родине — Африке. И черных дикарей — полудетей, полувзверей, наивных и простых предпочел красным.

Вступление, посвященное Африке, обрывается, увы, несбывшейся надеждой-мечтой:

Дай скончаться под сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария...

О строгом и честном до конца поэте расскажут в свое время те, кто знал его лично, кто провел вместе с ним последние каторжные годы «там». Нет даже слабой надежды, что не увидевшие света, написанные им страницы будут сохранены и дойдут до нас: те, кто застрелили поэта, хорошо знают свое ремесло и, перерыв оставшиеся после него бумаги, конечно, испепелят их до последнего клочка. У них ведь есть Демьяны, — зачем им такое наследство? Слова скорби бледнеют перед лавиной лжи и мрачного зверства.

Из последней книжки поэта, случайно попавшей на Запад, мы приводим ниже несколько песен. Пусть будут они венком на его безвестную могилу, — венком, сплетенным из его собственных цветов.

<1921>

Зинаида ГИППИУС

СТИХИ

(ДНЕВНИК 1911—1922. КН-ВО «СЛОВО». БЕРЛИН)

Книга эта не вся открыта глазам читателя, — читателя ищущего, конечно, а не перелистывателя книг. «Дневник» — ведь только для себя, и сложная интимность отдельных страниц ясна, быть может, только автору-поэту, замыкая в слове цепь только им пройденных исканий. Поэтому многие строки и строфы ускользают, прячутся в себя, оставляя чувство неудовлетворенности, точно подслушанные отрывки чьей-то взволнованной речи.

Сам автор в двух чудесных по форме и мысли стихотворениях «Банальностям» и «Свободный стих» словно тоскует по «старым созвучиям», захвачанным толпой, по «созвучно-длинным, стройным строфам», связывая не совсем справедливо свободный стих с суетными исканиями молодых поэтов (ведь не «молодыми» же написаны «Псалмы» Давида, «Nordsee»¹ Гейне, стихи Уитмена и Верхарна). Но «банальность» формы — строгая пластика старых созвучий — неотделимо связана с «банальностью» тона и содержания: ясностью, простотой, вскрытой до дна глубиной, — не затемненной мелькающими шарадами намеков, которых, увы, немало в «Дневнике».

Первое крыло книги — лирика до черных дней войны и октября 1917 г. — открывается глубоким, полным зловещих предчувствий стихотворением «У порога»:

На сердце непонятная тревога,
Предчувствий непонятный бред.
Гляжу вперед — и так темна дорога,
Что, может быть, совсем дороги нет.
Но словом прикоснуться не умею
К живущему во мне и тишине.
Я даже чувствовать его не смею:
Оно, как сон. Оно, как сон во сне.
О, непонятная моя тревога!
Она томительней день ото дня.
И знаю: скорбь, что ныне у порога,
Вся эта скорбь — не только для меня!

1913. СПб

¹ «Северное море» (нем.).

Полнозвучны, красочны и неожиданно просты посвященные Бунину и как бы насыщенные им строфы: «Все мое». Второе, созвучное по письму, посвященное тому же поэту стихотворение «Крылатое» затемнено заключительной строфой:

И средь небес горячих,
Как золото желты —
Людей, в зарю летящих,
Певучие кресты (?).

В цикле «Война», в целом не совсем отвечающем своей зловещей теме, зачумленное дыхание войны нашло сильное и своеобразное отражение в стихотворениях: «Тише!», «Адонай», «Сегодня на земле» и «Непоправимо».

И если революционный «Юный Март» окрылил поэта, как и многих переживших эти дни, то вторая часть дневника, отмеченная черным крестом, символом смерти (Октябрь 1917 г.), полна горького отрицания, томления распятого духа, тяжелой и бескрылой ненависти.

Бездарная звериная эпопея последних лет, конечно, давно уже антиреволюционна по своему существу, и сама по себе тема эта за пределами лирических откровений. Отсюда и срывы от надежды и любви во что бы то ни стало («Дни», «Знайте», «Качание», «Тишь») к темной проклинаящей безнадежности («Пока», «Ночь», «Песня без слов»).

Заключительная часть дневника «Там и здесь» — только едва очерченное преддверие в новый мучительный круг наших дней, — без родины, по эту сторону черты:

Там — я люблю иль ненавижу, —
Не понимаю всех равно:
И лгущих,
И обманутых,
И петлю вьющих,
И петель стянутых...
А здесь — я никого не вижу.
Мне все равны. И все равно.

Но вопреки последней тоске и отчаянью, «Дневник» заканчивается непобедимым упорным призывом к самому себе в стихотворении «Будет»:

Ничто не сбывается,
А я верю.
Везде разрушение,
А я надеюсь,
Все обманывают,
А я люблю...

В этой вере и любви — поэт не одинок.

«СОБАЧЬЯ ДОЛЯ»

(ПЕТЕРБУРГСКИЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ

А. РЕМИЗОВА, Е. ЗАМЯТИНА, С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА,
В. ИРЕЦКОГО, В. ШИШКОВА.
КН-ВО «СЛОВО». БЕРЛИН. 1922)

Перед нами коллективный памфлет, посвященный петербургской жизни под ярмом большевизма. Но памфлет, во-первых, облеченный в беллетристическую форму, а во-вторых, построенный на одном и том же для всех авторов метафизическом приеме: не людской быт, но собачья жизнь и... собачьи переживания тяжелых дней являются единственной общей темой рассказов и отрывков, из которых составлена книга.

Замысел сам по себе неплохой, и таким приемом нередко пользовались памфлетисты (достаточно хотя бы вспомнить Свифта или Лабуле), — но выполнение его тем труднее, чем серьезнее истинная тема памфлета. Ибо все беллетристические произведения подчинены одному общему неумолимому закону: они должны прежде всего удовлетворять художественным требованиям и нормам. Но метафора, переносица в мир четвероногих, орудие капризное и хрупкое: если она не превращается в чистую аллегория, где под животными масками преобразен все тот же человек с *его* психологией и бытом, то она должна включать в избранный писателем образ именно этому образу присущую правду, она должна дать художественно верную и художественно полную его обрисовку.

Это оказалось не вполне под силу авторам сборника. Не только чеховской или толстовской, но хотя бы андреевской или купринской силы в изображении четвероногих им не удалось достичь. Малоубедительны, маложизненны герои «собачьей доли», а оттого не производит должного впечатления ни их доля, ни попутно и в связи с их участью рисуемая судьба людей. И, может быть, если бы вместо неудавшегося проникновения в «собачий мир» авторы ограничились чисто внешними полуфотографическими изображениями рисуемых ими «происшествий», то рассказы много выиграли бы и в силе, и в художественной правде, и в красоте.

Лучше других вещей «Находка» Алексея Ремизова, но этот рассказ лишь подтверждает отмеченное выше, ибо здесь в центре повествования не собака, а обитатели многоэтажного дома, терпящие от холода и от декретов, от собственного оскудения и от порчи канализационных труб.

И, право, лучше было бы под тем же заголовком собрать рассказы, посвященные людскому быту, который «там» — страшнее «собачьей доли».

Читатель в эмиграции расслоился на две неравные группы. Одна — поменьше — может покупать книги, даже в «роскошных» переплетах, но предпочитает книгам кинематограф и эмигрантские кабаки кабардинско-боярского стиля. Другая — огромная — тяги к книге не утеряла, но по причинам горько-прозаическим должна была сделать выбор между книгой и обедом. Победил, увы, обед.

К последней группе принадлежу и я. Поэтому в эстетическом образовании моем был крупный пробел: не читал «Кукхы» Алексея Ремизова. В библиотеке ее не оказалось, а 25 франков даже и для «Кукхы» — цена невыносимая.

Знакомый книжник, к счастью, снабдил меня на день этим сокровищем, — вот о книге этой я — читатель хочу сказать несколько кратких слов.

* * *

Почему «Кукха»? В подзаголовке автор с обычным для него вывертом слов снисходительно пояснил: «Розановы письма». А в конце книги приложил и расшифровку:

«Кукха», как и «Ахру», — слово обезьянье, на обезьяньем языке: ахру — огонь, кукха — влага».

Но так как книгу писала не обезьяна, да и я сам — читатель, на хвосте вниз головой раскачиваться не хочу, то «Кукху» эту самую расшифровывал проще и ближе к делу: обложечный, шаманский крик, плакатная «тарабумбия» — глаза не разбегаются по витрине, сразу схватывают короткий словесный визг и выкатываются на лоб. Все, что нужно.

Заглавие — символ, любовно выбранное имя, а вовсе не пустая подробность. Можете ли вы прекрасное звучание слов «Дворянское гнездо», «Отец Сергей» подменить каким-нибудь «Ки-ка-пу» или «Шурум-бурум». Попробуйте!

* * *

Но дальше. На стр. 47 А. Ремизов невзначай дает благоуханное определение творческому слову: «писать и молиться одно и то же».

Вот как он пишет-молится на страницах, посвященных близкому человеку и большому писателю В. В. Розанову:

— «21.9. «33 белых попа» такое есть общество.

Собираются иногда в редакции. И вот во время собрания батюшка один вышел в коридор. Просит: «Покажите, пожалуйста, географию!» Я его до уборной проводил, а когда он щелкнул, тут я его тихонечко защелкнул. И колотился ли несчастный, я не слышал, да и никто не слышал. И только под утро и то случайно — «по расстройству» — освободил его Г. И. Чулков» (стр. 19).

— «22.9. Был В. В. Розанов. Рассказывал: когда он первый раз это сделал — ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хозяйке — за 40 — так на другой день с утра он песни пел» (стр. 21).

— «23.9. Куплено: зеленый диван у А. С. Волжского за 10 рублей в рассрочку. Диван с просидкой» (стр. 22).

— «25.9. Были у Мережковских. З. Н. подарила мне лягушку об одной лапке».

И через несколько страниц: бережно сохраненный для потомства рассказ о друге-писателе, записанный с его слов:

«В. В. рассказывал за чаем заграничный случай: о преимуществе русского человека. Были они все за границей — и Варвара Дмитриевна, и ее все дети — Таня, Вера, Варя, Надя, Вася, и Александра Михайловна — падчерица. И случился такой грех: захотелось В. В. в одно место, а как спросить, и не знает. А Александра Михайловна отказывается, говорит ей неловко. Да терпеть нет возможности, он под себя и сделал. Господи Ты, мой Бог, в отеле брать белье отказались, хоть сам мой! А главное-то, так стали смотреть все, что пришлось Розановым пережить».

«А когда то же самое случилось в Петербурге: не удержался и обложился, — с каким сочувствием отнеслись дома, прислуга. Сколько сердечности и внимательности» (стр. 25).

Уж, подлинно, хоть бы у той же прислуги поучился А. Ремизов «сердечности и внимательности». Та уж, наверно, запачканное белье В. В. Розанова на улицу не выволакивала! А вот он не убоился и даже всех сродников-свидетелей с добросовестностью уездной сапожницы перечислил.

* * *

И так через всю «Кукху»... Изумительные афоризмы: «селетки ловятся солеными», «спички делаются из электричества», «где кончается Рерих», «там начинается Аничков».

Драгоценные биографические подробности:

«А В. В. Розанов вчерашний день в баню ходил!»

«В. В. Розанов был старейшим кавалером обезьяньей великой и вольной палаты».

Интимные письма Розанова с такими подробностями, после опубликования которых бедный покойник, должно быть, не раз в гробу содрогался:

«Ну и кроме души меня вдохновляла эта волнующаяся под трауром ночь. Какие у нее груди? Очень интересно? А «прочее»? Еще интереснее» (стр. 59).

Зачем же? Если собственного такта не хватило, то ведь сам Розанов в одном из писем подчеркивает: «Нельзя о т к р ы в а т ь, называть г р о м к о то, что должно быть в тайне и молчании» (стр. 78). Чего яснее.

Но больше всего о себе, об Алексее Ремизове. О своем ночном колпаке с красной кисточкой, о своих книгах и книжечках, о том, что он, Ремизов, тончайшей комариной ножкой «сделал обезьянью монету — львовую»:

И вскользь трогательная неожиданная жалоба в пространство:

«Мы, Василий Васильевич, бесправные тут. Я это тогда еще почувствовал, как из Ямбурга в Нарву попал, на самой границе, когда с нашим красноармейцем мы, русские, простились, а те свой гимн и запели.

И уже молчок — ни зыкнуть, ни управы искать» (стр. 66).

Ну, что ж... «Тут», — т. е. в Европе, где мы свободно читаем, пишем и дышим, мы бесправны, а «там» — могли и зыкать, и управу искать? И вот почему-то, вместе с Ремизовым все же сидим «тут», а не «там»? Почему бы, в самом деле? Впрочем, полагаю, что «Кукха» могла бы появиться и там. Ее бы и сам Брюсов пальцем не тронул.

* * *

Вывод? Он неотразимо ясен, если, не придавая цены высокой лирической формуле «писать и молиться одно и то же» (хороши молитвы!), — мы обратимся к той же «Кукхе» и на странице 24 прочтем неосторожно вкравшуюся запись:

«Я писал в альбомы передонощину; брежу мелким бесом».

Вкусы бывают разные, но уж лучше бы передонощина эта в альбомах и оставалась!

Как же так?.. Как сочетать Ремизова, влюбленного в слово поэта, прочтите хоть страничку его: «Божья пчелка» («Иллюстрированная Россия», № 5), с Ремизовым, отплясывающим с языком под мышкой на могиле друга-писателя передоновский канкан? Игра природы? Не знаю.

Знаю только, что изредка пишет он человеческой правой рукой, — и тогда чудесно, а чаще обезьяней левой лапой («обезлевлaп») — и тогда отвратительно до тошноты. А ведь нетрудно бы понять, что стиль этот, даже не стиль, а стилишко, с типографско-ухищренной разбивочкой строк, со словесными загогулинами и всяким непристойным уродством, давно пора бы бросить. Надоел и никого не омолаживает. Литература не обезьянья палата, а уж если так хочется почудить, то можно запереть комнату на ключ, обмазаться гуммиарабиком, вывалиться в пуху и показывать себе самому в надкаминном зеркале язык. Зачем же это проделывать публично?

Ведь еще старик Державин в «рассужденье о лирической поэзии» сказал: «бессмыслица и слух раздирающая музыка стыдят и унижают лиру». Столь же определенно выразился он об отсутствии вкуса: «без его печати, как без клейма досмотрщика, никакие искусственные произведения бессмертия не достигают».

* * *

Заключение. Помните «мальчика для сечения», о котором рассказывает Марк Твен в «Принце и нищем»? Нашалит ли принц,

плохо приготовит ли уроки, — за все отвечала спина мальчика, специально для этой цели нанятого.

Амплуа этого мальчика в последние перед войной годы занимала «девочка для сечения» — г-жа Вербицкая. Иногда — Нагродская. Иногда — Чарская. Почему-то все дамы. Впрочем, был и мальчик: Брешко-Брешковский. Литературная пробирная палата занималась совершенно бесплодным разоблачением лопуха и негодованием, что лопух розовым маслом не пахнет. На всем остальном (за редким исключением) — табу. Принцы обезьяньей крови могли себе позволить все, что угодно: калечить язык, вурдалачить, непристойничать... «Комитет взаимных одолжений» (выражение А. А. Яблоновского) все покрывал литаврами дружеских рецензий и круговой порукой. Даже маститые ископаемые из толстых журналов не всегда решались назвать черное — черным и корявое — корявым, боясь не угнаться за литературной левизной.

И уж, казалось бы, применительно к искусству старую латинскую поговорку давно бы следовало прочесть наоборот: «quod licet bovi, non licet jovi»¹. Ибо, что же с быка спрашивать? Юпитеру же, действительно, не пристало с головой под мышкой бежать.

Традиция эта ненарушимо сохранена и в эмиграции. Вакансию «мальчика для сечения» занял, кажется, Игорь Северянин. Слава Богу, раскусили...

Все прочее забронировано коротким словом «имя», да пропиской в том или ином литературном дружеском участке. «Комитет взаимных одолжений» работает всюду.

Но что мне, читателю, «имя», если я должен наплевать на последнее, что у меня осталось, — русский язык, — сидеть и содрогаться над таким вот словесным чертополохом:

«Ночь, бани,
Луны — лупы,
Лужи,
Влажность сквозь звезды, —
— Василий Васильевич!

влажность сквозь звезда, живая влага, Фалесова hugon² мировая «улива», начало и происхождение вещей, движущаяся живая, огненная, остервенелая, высь скорпи, высь быстри, высь бега, жгучая, льнущая —

— я скажу —
на обезьяньем языке словом —
одним словом:

Кук-ха —»
(«Кук-ха», стр. 75).

А я скажу на человеческом языке: одним словом — стыд-но!

<1924>

¹ «Что положено быку, не положено Юпитеру» (лат.).

² Вода, жидкость (греч.).

Утверждение — большая и редкая радость в наши черные, взбаламученные дни.

Большевистский самум не пощадил в своем разгуле ни быта, ни науки, ни искусства. Лавина красных сборников и пролетарских антологий ни о каком ренессансе не свидетельствует. Одни — последние из стойких — молчат, ибо давняя николаевская цензура, о которой повествовал в своем дневнике Никитенко, — кроткое и доброе дитя в сравнении с красным карандашом. Другие скрепя сердце ушли в архивные изыскания, исследуют пушкинские многоточия, переводят, — в этой работе хоть какая-то тень независимости, хоть остатки русской культуры забронированы от комсомольского окрика. Художественная литература в лапах новых таперов. Неудачники и кустари вылезли из всех щелей. Одних поэтов хватило бы на население губернского города. Проза — вычурно-телеграфный код, с устремлением в зоологический натурализм фирмы Пильняк и К°, либо бульварно-циничная эренбурговщина, — семечки, товар дешевый и ходкий. Сотни сезонных гениев, сотни взаимно заушающих одна другую теорий. Крикливый и пестрый базар.

За рубежом — усталость, тяжелая литературная поденщина, поток «воспоминаний», дробление рассказов на газетные отрывки. Нет своего угла, подлинный читатель обнищал, издательства после берлинского Аранжуэца переживают горькое и мутное похмелье. Мечтать ли о книге?

И вот перед глазами — книга мастера. Рука не отяжелела, язык — главный герой бунинской прозы — также полнозвучен и насыщен краской, светом и интонациями. Так легко принять и утвердить этот дар, не подводя его ни под какие словесно-критические нормы: романтизм ли это, неореализм или какой-либо другой «изм»? Пусть судят высокие спецы.

Одно несомненно ясно. У многих бормотальщиков, с чужого голоса навязывающих автору ненависть, сухость и человеконенавистничество, — глаза, очевидно, на затылке. Писать о себе и о своем нелегко и не всегда нужно. Прочтите сдержанные и возвышенно-печальные строки пролога к книге: так не ненавидят.

* * *

О бунинском языке писали немало. Он завершен, и сложен, и цветист, как многокрасочная переливающаяся парча. Читаешь и видишь.

«Редкая острота душевного зрения» — так пишет сам художник о счастливых часах своего творчества. Острота эта находит себе великолепное выражение в той своеобразной словесной живописи, которая так присуща Бунину. Порой слово его, сгущаясь до экстракта, становится даже избыточным. Русопет американской складки, брянский мужик-делец, попавший под экватор, не словами ли автора говорит: «стоял непрестанный шум океана, пароход медлен-

но клало с одного бока на другой, и точно удавленники в серых саванах, с распростертыми руками, качались и дрожали возле трубы длинные парусиновые вентиляторы, жадно ловившие своими отверстиями свежесть муссона»... («Соотечественник»).

И в той же книге — иного склада и звучания завершенная простота и успокоенность речи в апокрифе «Третьи петухи», в восточной легенде «Готами». Третья струна: ядреный, простонародный лад сатирической сказки «О дураке Емеле». Сказка эта, не вполне четкая по замыслу, выходит, правда, за пределы, очерченные прологом к книге. Но язык ее убедительно показывает, как широки и разнообразны изобразительные силы автора.

Переходя от рассказа к рассказу, так легко и свободно подчиняешься силе бунинской печали и любви. Любви? Да, конечно! «Старуха» — служанка, незаметный и затурканный гений дома, — мягче и любовнее ее бы и Глеб Успенский не зарисовал. «Пост», «Косцы», «Звезда любви», «Исход», «Далекое», «Преображение» — какая любовь к России, какое чуткое внимание к тихим дням человеческой жизни в их полноте и обреченности... И если завершающие рассказ «Старуха» страницы неожиданно резки и сатирически беспощадны, то такая ненависть — не родная ли сестра поруганной любви, встающей над щитом? Пора бы это давно понять.

«Сны Чанга» из того же круга. Любовь зверя к человеку. Быть может, зверь слишком очеловечен. Упрекнем ли художника? Когда человек звереет, невольно обращаешь глаза к зверю: не научит ли хоть он?

Любопытно сопоставить «Исход» — тихую смерть старого князя с жутким и сильным рассказом «Огонь пожирающий». Душа поэта словно содрогнулась перед машинно-кошунственным уничтожением праха, лишеного последнего «уюта». Содрогнулась как-то по-русски, вызывая такую же встречную волну в читателе.

Более близкие нам по переживанию рассказы «Конец» и «Несрочная весна» читаешь с особенным волнением. Конец ли? И если «некто, уже тлевший в смрадной могильной яме, не погиб, однако, до конца» («Несрочная весна»), то подобно ему не все ведь погибли. Не все русские глаза выколоты, не все закрылись и там, и здесь за рубежом. Кто возьмет на себя горькое право поставить последнюю мертвую точку?

Холодно и жестоко построен превосходный рассказ «Петлистые уши». Дата шестнадцатого года. Такие выродки в наши дни как бытовое явление оправданы (даже с избытком!), и герой рассказа сегодня, наверно, в среде садистов-чрезвычайников свою карьеру сделал. Но, конечно, не ему — двуногой гиене, экспериментатору типа Марианны Скублинской — варшавской детоубийце, затмить в нашей памяти образ сложной и несчастной души Раскольниковова.

Хотелось бы сказать еще о многом: об исключительной любви Бунина к морю, — до галлюцинации выпукло развертывается оно в тиши и грозе перед глазами читателя; о разработке им внерусских

тем («Отто Штейн») — эта ответственная для русского автора задача, давно вошедшая в круг излюбленных им тем, выполнена с обычным мастерством; о строгом и суровом, но всегда волнующем подходе его к великому таинству смерти. Но рамки газетной статьи не широки.

* * *

«Роза Иерихона» раскрывается, как и другие книги автора, двусторчатым складнем: проза-стихи. Создалось такое ходячее мнение: бунинская проза — высокое мастерство, но стихи... знаете... Хорошо, да — пейзажи, природа, но проза все-таки лучше. Точно maestro, виртуоз на виолончели, для развлечения берется иногда и за флейту. И конечно, в похвалу вспомнят застрявшую в памяти строку: «хорошо бы собаку купить»... Слово кроме этой собаки ничего и не было.

Это, впрочем, вполне естественно. Северянинско-брюсовские пути высокой музе Бунина чужды до отвращения. Тютчевский горный путь, строгое и гордое служение красоте, сдержанная сила четкой простоты и ясности — малопривлекательны для толпящихся вокруг Парнаса модников и модниц. Кому — оклеенный фольгой сезонный трон, кому — благодарное и неизменное утверждение зрячих.

Лирические страницы книги — благодарны и глубоки. Рука не устала, дух не оскудел. Только острее и суровее стало слово, наотмашь отбивающееся от надвигающихся сумерек «бесстыдного и презренного века».

Трудно сказать, что больше пленяет: своеобразный ли бунинский живописный натурализм, в двух строчках зарисовывавший в лавке мясника мясные бараньи туши:

В черных пятнах под засохшим
Серебром нагой плены... —

крылатая ли лирика любви («Свет незакатный», «Глупое горе»), полные ли отрешенности и полета строфы о «Петухе на церковном кресте», великолепное по бодрости и сжатости «Просыпаюсь в полумраке», либо неожиданные для автора, пронизанные сдержанной улыбкой «Одиночество», «Спутница» и стихи о трактирном хозяине-греке, который «очень черный и серьезный, очень храбрый человек».

Карандаш отмечает на полях и «Феску», и «Даль», и «В цирке», и «Плоты»... Жадным глазам раздолье.

* * *

Советская «Красная новь» в одной из последних книжек вновь подымает вопрос о человеконенавистничестве и ненависти Бунина. Изумительная наглость! Красные крепостники и Малюты Скуратовы требуют от своих жертв, от растоптанного ими слова — любви

и кротких напевов. Они — и любовь. Какая тупая неосторожность, какое кощунство! Малюты, правда, бывают сентиментальны. Недавно ведь еще писал Горький о «задушевности» смеха Ленина и о трогательной его любви к детям.

Но к лицу ли такая повадка трезвым и плечистым совкритикам с серьгой в ухе и идеологией пулемета в душе? Стихи Бунина, видите ли, — вирши Тредьяковского, одетые в траурные одежды пророка Иеремии...

Что ж... Иеремия — это неплохо. «Рабы господствуют над нами и некому избавить от рук их». «Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юношей берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы же не сидят у ворот; юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетованье» («Плач Иеремии». Гл. 5). Разве не похоже?

Но почему же Тредьяковский? Дикая ли это красная безграмотность или наглость? Добрый труженик Василий Кириллович тем и памятен в русской литературе, что наступал сам себе на язык и в своих тяжелых, чугунных виршах (хотя не так уж он и виноват, — но это особая тема). А Бунин — зоркий, виртуозно владеющий словом художник... Зачем же сравнивать оглоблю с виолончелью?

Впрочем, и у Тредьяковского не все вирши плохи. Вот, например, строфа, которую «Красная новь» могла бы поставить эпиграфом над всеми своими книжками, как по данному поводу, так и вообще:

То Ложь проклята, дерзновенна,
Из Ада вышедши безденна,
Святую борет Правду, злясь.

<1924>

«ВЕЧЕРНИЙ ДЕНЬ»

(Н. А. ТЭФФИ. РАССКАЗЫ. ИЗД. «ПЛАМЯ». 1924)

В рядах современных русских юмористов Н. А. Тэффи давно занимает по праву первое место. Жанр этот вообще не легок по каторжным условиям самой работы. Замкнутый в тесные рамки «маленького фельетона», ограниченный злободневностью и политической чехардой, юмор как редкое и своеобразное мироощущение не находит возможности выявить себя до конца в свободной художественной игре... «Толстые» журналы и теперь, как и раньше, наглухо отгораживаются от этого жанра, — ибо нет в мире более консервативных людей, чем редактора толстых радикальных журналов. И все же даже в узких пределах газетного фельетона, под гнетом партийной и политиканской цензуры, Н. А. Тэффи зачастую пленяла зоркой наблюдательностью, неожиданными вспышками тонкой и едкой усмешки, легкой и гибкой тканью письма.

И уж конечно, манера ее никогда не имела ничего общего с вульгарным жанром смехофонов-анекдотистов, которые еще до войны заполнили целой артелью все свободные столбцы газет, еженедельников и сатирических журналов.

За последние годы порой сквозь веселый фон ее фельетонов пробивалась явная усталость: так много ведь приходится теперь писать и так трудно быть веселым в наши дни к очередной среде и воскресенью... Впрочем, основная причина усталости глубже — и резко подчеркивается новым сборником Н. А. Тэффи «Вечерний день». Художника влекли иные задания, и он выполнил их блестяще.

* * *

Перед нами новая Тэффи. Неожиданный, уверенный художник, владеющий всеми дарами строгого творчества: чувством меры, ритмической плавностью речи, своеобразным языком — красочным и сжатым, мягкой силой, обволакивающей своими образами чуждую душу и покоряющей ее властно и незримо.

Рассказ, открывающий сборник, — «Соловки» знаком нам еще по «Жар-Птице». Перечитываешь его вновь слово за словом — какой крепкий прозрачный отстой... Казалось бы, и темы нет: скудный русский север, вода и камни, случайные слова случайных людей, столкнувшихся на житейском перепутье. Но так плавно укачивает нарастание русских красок и слов, так добр и снисходителен юмор ко всем встречным нелепым двуногим, так тонко знание природы и так сильна тяга к ней... И уж если в ткань языка вкраплены кое-где «посолонь» или мелькнет слово про-старцев, которые чуть «дыбали», то не в пример другим изюму положено в меру, ровно столько, сколько нужно.

Далекий, как житель с Марса, пароходный слуга-китаец «Акын» под пером Тэффи преобразается в по-чеховски знакомого нам человека. Быть может, когда-то на петербургских дворах он продавал нам чесучу... Что знали мы о нем? А у Тэффи даже тяжкие образы курильщика опиума — «черная бархатная лестница», «золотая змейка Лью», наплывающая голубая вода и пляшущие в ней «умные рыбы, красные и черные с золотыми перьями» — убедительны и незаменимы...

Особое внимание привлекает глубокий и печальный рассказ «Лапушка». Говорят, вот, что никакого эмигрантского быта нет, что все мы цыгане в пиджаках, никакого своеобразия в себе не носим и растворяемся, как капли дождя в море, в окружающей европейской суете. «Лапушка» — яркое опровержение этой неглубокой мысли. Драма русской девушки-подростка на чужбине — драма каждой эмигрантской семьи, в которой есть дети, — вскрыта во всей полноте. Тип взят нарочито заурядный, средний... Жажда жизни одинаково ведь сильна у каждого, кто растет, кто жизни еще не видел. У заурядных, быть может, она еще сильнее, — ни умом, ни волей, ни чувством долга от новых соблазнов им не оборониться. Русские краски блекнут, в шестнадцать лет не живут воспоминаниями, а чужая манящая

жизнь — за семью замками. И опять вечно повторяющийся разлад, — «отцы и дети», — но в иной безвыходной эмигрантской обстановке.

Писать о незаметных, ординарных людях, где красками не возьмешь, где только проникновение и зоркость углубляют серые тона, может только большой писатель. Н. А. Тэффи прекрасно справилась со своей сложной задачей.

В набросках «Шалаев» и «Анюта» — полное и тонкое знание старого русского быта. Деталь за деталью словно из раскопок воскрешают нашу провинциальную Помпею: в лице купца, затеявшего на лошадях прямым путем съездить из Казани в Париж, в четко выписанной картине ледохода, в нежной зарисовке влюбленной Анюты.

Труднее принять в целом написанный в форме телефонного монолога «Предел». Быть может, сама форма неправдоподобна, — кто рассказывает по телефону свою жизнь незнакомому человеку? Быть может, сама тема, — мучительно-торопливое оголение героя перед первым встречным, — после Достоевского никому не под силу. Но остальные детали и сцены: описание «шикарного салона», портрет Семена Абрамовича и целый ряд мыслей и наблюдений (конечно, самой Тэффи, а не героя) очень хороши.

Жутко и горестно рассказана история о несчастном сельском учителе, которого двуногие звери приняли за «поручика Каспара» и расстреляли. Коротенький этот рассказ как бы вскрывает бессмысленность тех неисчислимых омерзительно-нелепых убийств, которыми переполнен новый советский быт.

* * *

«Женщина-писательница» — сочетание этих слов не звучало гордо у нас в России, Аполлон был излишне жесток к прекрасному полу, и целая плеяда: Вербицкая — Нагродская — Чарская — Лаппо-Данилевская и пр. — приучили даже среднего читателя ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо.

Но обрушив на нас многотомный поток дамской беллетристики, строгий Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи. Не «женщину-писательницу», а писателя — большого, глубокого и своеобразного. И новая «серьезная» Тэффи так же радуется нас и пленяет, как и Тэффи — автор милых лукавых песенок и юмористических сочных набросков.

<1924>

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

Ни одно творчество так не отдалено от своей аудитории, как творчество писателя. Художник, собравший на своей выставке плоды неустанных трудов, — видит своего зрителя, нередко и слышит, как таинственные незнакомцы судят о нем, собираются перед той или иной картиной, отдавая ей большую дань внимания и восхище-

ния. Талантливый профессор с первых дней своей творческой работы живет в тесном слиянии с аудиторией, ведет ее за собой, подчиняет своим замыслам и слову. В этом смысле так же счастливы Никиш и Дузе и любой композитор, переживающий осуществление своей творческой мечты в ярко-освещенной зале перед глазами понимающих и покоренных знатоков.

И только писатель, привязанный и прикованный к письменному столу аскет, — одинок. Книги исчезают в пространстве, переводятся на иностранные языки, живут в человеческой толще неуловимо-своеобразной жизнью. Изредка лишь автор на полях своей книги, взятой из библиотеки, найдет детски наивные пометки читателя, причем читатель этот никогда не сомневается в себе, а всегда готов обратиться в подсудимого героя книги и самого автора. Рецензии? Критические статьи? В лучшем случае это та же литература, в худшем — пресная, профессиональная стряпня, либо демагогически-увертливые отписки.

И, быть может, одни «юбилеи» — этапы славного служения перу — создают иллюзию более близкого общения и теплоты между многоликим сфинксом-читателем и одиноким человеком, создавшим в тишине ночей свой пестрый и многогранный мир, воплощенный в его книгах.

* * *

Александр Иванович Куприн — одно из самых близких и дорогих нам имен в современной литературе. Меняются литературные течения, ветшают формы; исканий и теорий неизмеримо больше, чем достижений, — но простота, глубина и ясность, которыми дышат все художественные страницы Куприна, давно поставили его за пределы капризной моды и давно отвели ему прочное, излюбленное место в сознании не нуждающихся в проводниках читателей. Ибо нет в искусстве более высокого и трудного строя. Имитировать и стилизовать можно любой язык, стиль и эпоху — от Гофмана до «Псалмов» Давида. Но крепкое, как здоровье, простое в простоте своей прозрачное и глубокое слово — не подделаешь, и под силу оно только «силачам» — самобытным и неподражаемым художникам.

Дорог нам и с каждым днем все дороже и самый мир купринской музыки. Отошедший русский быт (только теперь мы его оценили во всей полноте!) нашел в нем исключительно широкого выразителя, — словно не книга, а сама жизнь раскрывает перед нами одну зеленую страницу за другой. Не судья, не прокурор, автор всегда с нами, — никогда не над нами. Нам, простым смертным, с ним легко и радостно: поймет и никогда камнем не бросит. Есть разные подходы к теме, — купринский, быть может, самый мудрый: русский ли конокрад, контрабандист ли еврей, пароходный ли шулер-студент, — для него прежде всего человек. Художник любит своеобразием и силой героя, его неповторимым рисунком и заставляет любоваться и нас. Разве тот, кто до конца любит природу, отвергнет крапиву, потому что роза «лучше»?

Целые пласты русской жизни, уютной и неторопливой, в тесном окружении родной природы, которую Куприн до того зорко позвериному знает, словно он когда-то, до земной жизни, сам был скворцом, — проходят перед нами широкой, насыщающей глаза и сердце картиной...

И каждое из выплывающих в памяти лиц: лесная ли девушка Олеся, уличный ли бродяга, рассказывающий в кабачке свою жизнь, чудесный ли музыкант из «Гамбринуса» до того знакомы нам и близки, точно все это оставленные там в России живые люди, а не вызванные к жизни искусством художника тени из необъятного русского лона. Это ли не величайшее достижение.

* * *

Тридцать пять лет... Сам автор смутно помнит содержание своего первого очерка «О закулисной театральной жизни», который появился в печати 20 декабря 1889 года. И нет больше на свете этого милого очерка, первого робкого опыта безусого юнкера, будущего автора «Поединка». Страницы эти исчезли на всероссийском костре, как исчезли целые библиотеки, города и поколения. Тридцать пять лет славного служения литературе протекло с того дня, и вот автор через объявления в газетах разыскивает на чужбине тома своих сочинений. Тома, которые в изобилии были разбросаны по всем углам России, — стали экзотической редкостью для самого автора...

Стоят ли они на полках коммунистических библиотек? Ведь автор «контрреволюционер» и «наемник Антанты»... Но те одиночки, у кого еще сохранились там книги и память о бывшей России, — жадно и любовно перечитывают Куприна, об этом мы знаем по случайно доходящим до нас закордонным письмам.

А здесь, на Западе, книги его совершают новый круг: в переводном отражении они входят в тесное и живое общение с европейским читателем и все шире привлекают к себе внимание далеко не гостеприимной к иностранцам критики. Эмигрировал в общем потоке не только автор, но и его книги. Кто лучше и полнее его расскажет недоверчивым чужим людям об огромной, несуразной и милой стране, называвшейся Россией?

* * *

В день «юбилейный» — горький и безрадостный на чужбине день — одну новую сторону в литературно-эмигрантской деятельности А. И. Куприна хочется особенно выделить. Я говорю о его статьях. Одним они кажутся чрезмерно правыми, другие усматривают в них признак подозрительной левизны. Третьи вообще недовольны: почему статьи? Впрочем, что нам до мнений случайных прохожих... Еще со времени редактирования фронтовой газеты Северо-Западной армии «Приневский край» (в 1919 г.) А<лександр> И<ванович> весь ушел в тяжелое и неблагодарное дело антибольшевистской пропаганды. Три этапа — «Приневский край», «Общее

дело» и «Русская газета» связаны одной прямой линией: неугасимым неприятием и ненавистью к красному быту, красному политическому иезуитству и бесчеловечности.

Легче всего было, конечно, по примеру многих засесть в башне и остаться весталкой, отделив себя от эмигрантской безъязычной толпы, от поруганной родины высокими замыслами служения чистому искусству. Но путь этот, удобный и почетный, А<лександра> И<вановича> не увлек.

Величайшие мастера — Достоевский и Гейне в свое время сменяли кисть художника на шпагу публициста, повинувшись чувству гражданского долга. Глеб Успенский делал это в продолжение всей своей многострадальной жизни.

Им, безотносительно от личного мастерства, было несоизмеримо легче: перед ними был человекообразный враг, с которым можно было обороняться одним оружием, не уподобляя слово крику вопиющего в пустыне. «Большевизм» — каменная, обрызганная кровью стена, от которой все человеческие слова отскакивают и расплываются в пространстве, и художник, обличающий красную ложь, неизбежно уподобляется Дон-Кихоту. Что ж: не напрасно мы так любим Дон-Кихота и так равнодушны к практическому благоумию его слуги.

Когда большой человек и писатель среди шума улицы, в толпе усталых, равнодушных и торгующих, заступится гневно и горячо, не заботясь о чеканке слов, за избиваемого человека, за попранную и оплеванную правду, — будем ли мы назойливо упрекать его, что тембр его голоса не всегда ровен, что жесты его недостаточно пластичны? Честь и слава Куприну, что чугунное ярмо антибольшевистского публициста он не сбросил на первом перекрестке (так ведь легко ему это было сделать!) и тащит его на себе до сего дня. Когда-нибудь это зачтется выше многих каллиграфически безупречных беллетристических страниц его собратьев по перу.

* * *

Все мы переживаем теперь четвертую жизнь. Первая протекала когда-то в России широко и беспечно, вторая тревожная и глухая — пришла с первых дней войны, третья — жалкое подобие жизни, которое мы влачили при большевиках, четвертая — эмигрантские серые дни... Пожелаем же в этой четвертой нашей жизни, мы все, случайно уцелевшие от потопа, живущему среди нас родному и близкому нам писателю — дотерпеть, домаяться до пятой жизни — у себя на раскрепощенной родине... И если эта жизнь наступит, ему не придется по газетным объявлениям, словно пропавших без вести родных, разыскивать свои книги. Они возродятся в каждой русской культурной семье желанными и испытанными друзьями.

<1924>

О грехопадении Брюсова писали за последнее время немало. В самом деле странно: индивидуалист, изысканный эстет, парнасский сноб, так умело имитировавший поэта, парящего над чернью, и вдруг такая бесславная карьера, достойная расторопного Ильи Василевского или какого-нибудь Оль Д'Ора... Красный цензор, вырывающий у своих собратьев последний кусок хлеба, вбивающий осиновый кол в книги, не заслужившие в его глазах штампа советской благонадежности... Это была, увы, не тютчевская цензура, не «почетный» караул у дверей литературы, а караул подлинно арестантский, тяжкое и низкое ремесло угасителя духа. Свой и бил своих. Приблизительно такое же дикое и небывалое зрелище, как еврей, организующий еврейские погромы.

* * *

Утешение — в холодной и беспристрастной переоценке перебежчика. Если бы большой художник слова стал из Павла Савлом и, предав своих, перешел в стан врагов — было бы горше и больнее. Комсомольские заушения Демьяна Бедного и Маяковского мало нас трогают. На заплеванном ордуо новых куплетистов Парнасе кувыркаются красные гориллы. Отвратительно, — но какое же отношение это имеет к литературе и к нашему духовному прошлому?

Но Брюсов?.. Точно ли он имел право на пристальное внимание к себе читающей России? Может ли поэт, метивший чуть ли не в преемники Пушкина, стать до того выпукло бездарным, что об этом и говорить как-то совестно?.. Впрочем, об этом речь впереди. Среди надменно-холодных книг, выстроганных, отполированных до зеркального блеска и снабженных автором благоговейными примечаниями к самому себе, мелькали, правда, отдельные полнозвучные строфы и страницы, но и у любого Дмитрия Цензора и Якова Година они были... И вдруг — срыв. Полный и безудержный срыв. Не спасло и брюсовское мастерство — высокая техника имитации вдохновения и таланта.

* * *

Я говорю о брюсовских «Опытах» (стихи 1912—1918 гг.), вышедших в свет еще в 1918 году в Москве, книге, едва ли известной в эмиграции. О ней не писали, о ней не говорили, а между тем книга необычайно показательная. Король гол. Да и никакого короля нет. Угодно вам убедиться? Раскройте «Опыты».

Автор попытался составить технический прейскурант размеров, строф и созвучий. Почему бы и нет? Существует же у добрых немцев, украшающих стихами даже картонные подставки для пива, словарь рифм. Это бы еще не давало право говорить о полном

небытию поэта, наступившем задолго до его физической смерти. Но в предисловии автором дан исключаяющий всякое сомнение камертон: «В идеале я стремился к тому, чтобы включить в эту книгу лишь те стихи, которые являются подлинной поэзией. Я мог ошибиться в своем выборе, мог слишком снисходительно отнестись к своему произведению, но ни в коем случае не считал, что одно техническое исхищрение превращает стихи в произведение искусства».

Это «ни в коем случае» и позволяет предложить вниманию читателей некоторые, наиболее яркие образы из книги его «Опытов».

ПАЛИНДРОМ БУКВЕННЫЙ

Я — идиллия?.. Я — иль Лидия?..

.....

Топот тише... тешит топот...

Хорош шорох... Хорош шорох...

Хаос елок... (колесо, ах!).

Озер греза... Озер греза...

Тина манит.

Туча... чуть...

А луна тонула...

И нет тени.

.....

Еду... сани... на суде...

(стр. 117)

Вы ничего не поняли? Такие ли стихи теперь пишут... Но прочтите эту абракадабру справа налево — наоборот — и вы поймете. «Палиндромами» называют такие «стихи», которые можно читать в любом направлении: смысл, вернее бессмыслица, от этого не страдает.

Некогда занимались этим на досуге бурсаки: «я иду с мечом судия»... Но виртуоз-*maestro*, учитель целой плеяды стиходелов? Что же это, как не «техническое исхищрение» самого низкопробного сорта?.. Можете ли вы себе представить, чтобы кто-либо из русских поэтов от Пушкина до Никитина мог так глумиться над подлинной поэзией и над самим собой?

Таких «палиндромов» — буквенных и словесных — целый букет. Стихотворение «Мой маяк» (стр. 115) построено на ином, писарском языке: каждое слово начинается на «м»:

Мой милый маг, моя Мария,

Мечтам, мерцающий маяк...

(и т. д. до одури)

В стихотворении «Слово» каждое слово начинается с буквы «С».

В стихотворении «Июльская ночь» все начальные буквы составляют азбуку от А до Θ.

Есть вирши с длинным чулком рифмующихся слогов на конце (семисложные рифмы).

Ты — что загадка, вовек не разгадывающаяся!
Ты — что строфа, непокорно не складывающаяся!
Мучат глаза твои душу выведовательностями,
Манят слова твои мысль непоследовательностями.

(стр. 91)

Есть и сплошные рифмы, напоминающие по сложности узора рисунки для вышивания, прилагавшиеся когда-то к «Ниве». Есть и «звукотпись», и «перезвучия», и «двух- и трехдольники», и стихи в виде треугольника... Упущены лишь те «концевые спотыкачи», которые мы знаем еще с детства.

Помните: к каждому слову прибавляли «лды».

Я-лды иду-лды в село-лды,
Что же-лды ты-лды отстал-лды?..

Но когда Брюсов кощунственно после Лермонтова пытается вновь перевести (свободными стихами Гёте) «Ночную песнь странника», не помогают никакие палиндромы. Хлопает, как отяжелевшая утка, крыльями, — и ни с места.

На всех вершинах —
Покой.
В листе, в долинах,
Ни одной
Не вздрогнет черты...
Птицы дремлют в молчании бора.
Погоди только: скоро
Уснешь и ты!

(стр. 72)

* * *

Каждое из помещенных в «Опытах» Брюсова стихотворений, по выражению автора, — «частица его души». Какая это была душа — пусть судят зрячие... Такого Брюсова, исчерпавшего себя до дна, — мы без сожаления и горечи можем отдать большевикам.

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Неожиданная кончина широко популярного писателя-юмориста, так преждевременно ушедшего из жизни, еще теснее смыкает круг русской писательской семьи. Кто бы ни ушел из тех, немно-

гих, кто привлекал к себе внимание за последние десятилетия, — поэт ли, прозаик, драматург — смены нет и не видно.

Первые литературные шаги А. Т. Аверченко еще на памяти читателя связаны с основанием им в конце девяностых годов в содружестве с несколькими литераторами и художниками «Сатирикона», близкого по облику мюнхенскому «Simplicissimus»у. Никому не ведомый харьковский провинциал приехал в Петербург и на страницах нового журнала, столь не похожего на прежние кустарно-юмористические еженедельники, сразу выдвинулся своим сочным, здоровым юмором, своеобразным талантом рассказчика-весельчака, сумевшего расшевелить самого серьезного и хмурого русского читателя.

Чуждый надрыва, далекий от всех интеллигентских «проклятых» вопросов, Аверченко сделал своим героем мелочи быта, а острая наблюдательность, четкое знание русской провинции, особое чувство смешного, — связанное, быть может, с его хохлацким происхождением, порой доходили до виртуозной игры в его коротеньких рассказах-анекдотах. Автор, чуть ли не единственный в прозе представитель беспечной русской богемы, сталкивал лбами неожиданные положения, развивал до гротеска какую-либо уродливую, подмеченную им в толпе черту и, не глумясь, не уничтожая своего случайного героя, весело над ним потешался и отпускал его с миром. Таков был далекий предшественник Аверченко, популярный в свое время немецкий юморист Сафир, современник Гейне.

Длинный хвост подражателей, все эти Гуревичи, Оль Д'Оры и Ландау, упражнявшиеся на задворках «Сатирикона» и окружавшие блеклым гарниром имя своего учителя, ни в малой мере не усвоили своеобразных черт его письма: меткого и короткого диалога, нарастание внешнего комизма, неожиданного фейерверка развязки. Аверченко создал стиль и моду, а бойкая юмористическая артель торговала шипучкой, разливая ее в бутылки из-под чужого шампанского.

Среди тяжелодумов той поры, мрачно копавшихся в вопросах пола, неуклюже флиртовавших то с мистическим анархизмом, то с проблемой смерти, свежий заразительный юмор Аверченко был несомненно оздоровляюще полезен и сыграл свою общественную роль помимо направленного безразличия автора.

Быть может, длительная фельетонная работа, срочная, связывающая размером и зачастую комкающая темы, помешала покойному юмористу развернуть свое дарование в более широкие бытовые полотна, помешала ему стать тем, чем был Федотов в живописи. Но, увы, счастливая возможность выдерживать свои рукописи в ящике письменного стола, возможность неторопливого и независимого от злобы дня творчества была неосуществима для тех, кто, подобно покойному, жил исключительно еженедельно-журнальным и газетным трудом, не дающим ни передышки, ни места для широких замыслов. А альманахи и толстые журналы с упорством старо-

веров чурались юмора, предпочитали ему любую муйжелевскую мочалку, тянувшуюся с января по декабрь.

* * *

В эмиграции, вне окружения старого многоцветного и сочного русского быта, добродушный юмор Аверченко резко надломился. С непоколебимым упорством вгрызался он в безрадостную и бездарную тему: «большевизм». Сатира сменила юмор. Ненависть к поработителям быта заслонила веселую усмешку обывателя над забавными нравами своей родной улицы, беспечно шумящей за его окном («обывательское» отношение для нас сегодня отнюдь не жупел, а напротив — во многом здоровое, утверждающее национальный быт начало).

В последние годы Аверченко неумоимо бил своей легкой скрипкой по чугунным красным головам, — и это невеселое, новое для него занятие является большой и доблестной заслугой покойного писателя. Разумеется, за вывернутой наизнанку сумасшедшей большевистской жизнью никому не угнаться. Любая вырезка из советской хроники фантастичнее любого гротеска самого Щедрина, но в мире все растущего эмигрантского безразличия и усталости дорого каждое слово протеста и непримиримого отрицания красной свистопляски. Были «сменившие вехи», были и полусменившие, а вот веселый и беспечный юморист оказался одним из самых стойких и непримиримых.

* * *

Мы надеемся, что в эмиграции найдется русское издательство, которое догадается выпустить в свет «Избранные рассказы Аверченко». Покойный автор отличался одним редким качеством: он почти никогда не был скучен. А избранные его рассказы, собранные внимательной рукой и связанные вместе, не залежатся на книжных складах и будут лучшей данью памяти жизнерадостного писателя и человека, который вне всяких теорий словесности простак-самоучкой пришел в литературу и всем нам подарил немало веселых минут.

ПАМЯТИ А. Т. АВЕРЧЕНКО

Я хочу коснуться нескольких черт так внезапно закрывшего глаза Аркадия Аверченко, — тех черт, которые были знакомы лишь немногим, близко знавшим его и работавшим с ним лицам.

Беспечный и легкомысленный весельчак, — так должны были представлять его себе бесчисленные читатели. А между тем в ха-

рактуре этого весельчака была одна преобладающая черта, которой и любой серьезный человек мог бы позавидовать: исключительная работоспособность, никогда ему не изменявшая. Качество отнюдь не великорусское — железное упорство хохла, гнувшего свою линию, уметь работать, не остывая, не поддаваясь никаким настроениям, с точностью машиниста, ведущего свой поезд от станции до станции.

Почта приносила в «Сатирикон» со всех концов России груды рукописей (вернее сказать, «ногописей»). Оглушительно-нелепые цитаты, смешившие всех в «почтовом ящике», не сочинялись шутки ради самим редактором, как казалось многим. Сотни и сотни акцизных и почтово-телеграфных графоманов заваливали своими корявыми куплетами и набросками редакционный стол. Аверченко все сам читал, молниеносно процеживал, натывал несчастных авторов, как жуков, на булавки своего юмора, двумя-тремя словами распластывал на последней странице и хоронил на дне редакционной корзинки. Он вел все редакционные собрания, веселье и дурашливые, но вместе с тем и строго деловые... Придумывал сообща с ближайшими сотрудниками темы для рисунков, руководил расклейкой номеров, ездил в Комитет по делам печати, выдирая из цепких лап цензуры застрявшие там злободневные карикатуры... Выступал на вечерах, переделывал свои рассказы в пьески, редактировал «Дешевую библиотеку» «Сатирикона», сотрудничал попутно в нескольких провинциальных газетах и никогда не забывал о своей основной, любимой работе в «Сатириконе», никогда не запаздывал, выступая часто в одном номере под несколькими псевдонимами, затыкая, если нужно, все пробелы экспромтами-«мелочами».

Как он со всем этим справлялся — не знаю, но справлялся легко и словно шутя.

И попутно — он успевал жить. Вкусно, смешливо и жизнерадостно. Правда, обсуждение тем иногда переносилось в просторную столовую «Мариинской гостиницы» в Чернышевском переулке — в двух шагах от редакции — но уж подлинно таких веселых заседаний во всем литературном Петербурге не было. Председатель — редактор, внешне сдержанный и неповоротливый, был среди своих неистово весел, но как-то под сурдинку, исподтишка, точно раскачивая других. И собрания эти проходили, словно нескончаемый пикник молодых кентавров, которые в числе прочих развлечений вздумали выпускать еженедельный «смешной» журнал.

И еще не лишняя подробность: в те счастливые молодые годы никогда никаких ссор и недоразумений в кругу сатириконцев не было, а вино в их быту было только легкой подробностью и никогда не заплетало веселых языков. Всегда ровный, добродушный и приветливый, Аверченко шуткой отмахивался от неизбежной в любом деле воркотни и только однажды, помнится, вышел из себя. Василий Князев, нынешний советский лжепиит, случайно присосавшийся

к «Сатирикону», как-то до одури надоел всем в редакции, выпрашивая тему для своих очередных виршей. Аверченко молча взял его за плечи, втолкнул в чулан с бракованными номерами, запер и продержал там до окончания редакционного дня.

Люди, случайно сталкивавшиеся с Аверченко, когда он бывал вне круга своих — той же богемско-бешабашной окраски лиц, помнится, не раз удивлялись: этот солидный, сдержанный человек — Аверченко? Да он вовсе не «смешной» — не острит, молчалив, вял... Они не понимали, что по той же причине прирожденные комические актеры в обыденной жизни также бывают нередко сдержанны и молчаливы. В силу, быть может, подсознательного оберегания своих сил... И наоборот: разве не встречали мы серьезнейших профессоров, которые в частном своем быту, словно разминая уставшие от сухой напряженной работы мозга, дурачатся, хохочут, острят, — правда, не всегда удачно...

* * *

Автор бесчисленных юмористических рассказов, проникавших во все уездные углы хмурой России, ушел из жизни. Умер на чужбине, эмигрантом. Снилось ли его беззаботной душе такая судьба?..

Еще за день до смерти, как писали об этом из Праги, он шутил и надеялся осилить свою болезнь, жить и работать... Судьба не улыбнулась на его последнюю шутку и сурово поставила точку.

<1925>

РУССКИЙ ПАЛИСАДНИК

(О СТИХАХ П. ПОТЕМКИНА)

Если вспомнить — русская поэзия в последнее десятилетие перед войной была лишь условно русской. Художественная проза была несравненно сильнее насыщена национальным содержанием, но стихи — перелистайте любую нашу предвоенную антологию, — не покажется ли большинство страниц переведенными с какого-то общеевропейского символического языка на русский?

Исключения редки. Вспоминаются великолепные русские пейзажи Бунина, от которых поэт перешел затем к сухой и неподвижной экзотике Востока, псевдославянское псевдомифотворчество Городецкого («Ярь»), клюевская декоративная, немного сусальная деревня, «Поповна» Андрея Белого, неожиданная и у этого темного поэта лукавая и радостная, подлинно русская страница, вязкие, словно пропитанные дегтем, натуралистические вирши Вл. Нарбута. Кажется, все.

О причинах этого сложного явления здесь говорить не будем: это тема, которой может быть посвящена целая книга.

Имя недавно ушедшего из мира П. П. Потемкина в связи с затронутой темой привлекает к себе наше особое внимание. Беспечный представитель богемы и изящный сноб, возлюбивший пестрый театральный мирок парикмахерских кукол, горбунов, арлекинов, бесшабашных негров, умел так мастерски и весело вызывать из небытия весь этот забавный антураж европейских кабаре. И вместе с тем он единственный из всех создал исполненный своеобразия, грации и лукавства национально-лирический цикл типических персонажей русского города.

Задание скорее живописное, чисто федотовское, нашло свое разрешение в сочной словесной живописи, — причем сдержанная юморизация типа никогда не переходила в фарс, в глумление, в карикатуру-пародию, в желание угодить галерке. Военный ли писарь, мальчишка из мелочной, татарин (халат-халат), дворник и лихач, приказчик из живорыбного садка — казалось бы, такие пресные, повседневные и не-литературные натурщики в зарисовках поэта, сохраняя свои до тонкости схваченные бытовые черты, были обвеяны дыханием подлинного лиризма, влекли к себе, вызывали душевную симпатию и добрую улыбку.

Словно примелькавшиеся лица своих родных и близких, каждый видел их сто раз на любом перекрестке, и вот пришел поэт — несколько легких чудесных строк — и превратил валенку, грязную метлу и всклокоченную бороду в румяное пятно городской герани.

* * *

Странный поэт. Он ни разу не высек ни одного лавочника за «мещанство», не возмущался петербургскими кафешантанными певицами, не превращал добродушного и замотавшегося околоточного Иванова в кровожадного Вяя. Он очень любил жизнь, не требовал, чтобы крапива и чертополох пахли розой и с большой любовью вычерчивал их четкий и неповторимый рисунок.

Странный поэт. Рабочие на лесах строящегося дома, городская прислуга, мальчишка-подмастерье и прочая, так называемая младшая братия, никогда не служили ему манекенами для кройки «гражданских» стихов. Меньшая братия не валяется у него в канавах, не проклинает небо и землю, не бьет себя в грудь, — она у него почти всегда улыбается, в глазах задор, на щеках румянец. И право же, поэт-художник обнаружил немалую мудрость и такт тем, что дал нам возможность полюбоваться на живых людей во всей полноте их национального здоровья и своеобразия. Не осуждаем же мы за это Кустодиева. Напротив. А потемкинская не-гражданская бытовая лирика, нимало не заботясь о том, несомненно попутно делала свое доброе дело лучше всякой гражданской. Такова сила художественной правды и бескорыстной ясной жизнерадостности, столь редкой в нашей лирике.

Форма? Без строф, без пауз, слитая в одно лесенка длинных, коротких и совсем коротких строк. Свободный, прерывистый ритм, отчасти родственный ритму немецких «Бретта Лидер» (песни подмостков) начала девятисотых годов. Форма эта под рукой мастера-поэта, как послушная гармоника, растягивалась и сжималась, была исполнена порывистого движения, и всякое бытовое прозаическое слово претворялось в ней и радостно звенело.

Вот начало стихотворения «Ларечник»:

Мой ларек у самого канала,
У мосточка (пеший переход).
Я торгую в нем уже без мала
Двадцать первый год.
Сливы, арбузы,
Дыни кургузы,
Шоколад, лимонад,
Яблочки, стручочки
В каждом уголке,
Семечки, разный квас, —
Все, что хочешь, есть у нас...

Невольно выплывает в памяти «Дядюшка Яков».

Наконец, вкратце о других сторонах многогранного творчества поэта: о цикле изящных театральных безделушек, в которых тоже пробивалась русская струя («Катенька», «Платовские казаки в Париже», «Полотеры»), о законченной и подготовленной им к печати антологии чешских поэтов в его переводе, о его многочисленных ритмически безукоризненных переводах из романсовой литературы, о круге стихов, вышедших в сборнике «Смешная любовь».

Но основным своеобразным трудом поэта, его художественным подвигом, четким и ярким, остается «Герань», насаженный им русский палисадник, многокрасочная галерея городских типов, живые махровые русские цветы. Так живы они в памяти и так бодро и радостно напоминают они со страниц маленькой книги о чудесной, великой стране, в которой мы когда-то жили.

Путь творчества поэта никогда не сливается с большой дорогой. Шумный, взмыленный успех Городецкого и поэзобарабанная карьера Северянина отгорели, как ракеты, не оставив после себя даже следа.

Потемкин в этом смысле никогда не был «модным» и всегда оставался поэтом, никогда не был стиходелом.

Но если сегодня выпустить на свет его избранные страницы, — у нас несомненно будет одной любимой книгой больше.

<1926>

НОВЫЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

(Изд. Т-ВА «Н. П. КАРБАСНИКОВ». ПАРИЖ. 1927)

Книга открывается сдержанным и четким рассказом «Однорукый комендант». Рассказ этот, написанный в тонах бесхитростного повествования, в купринской прозе примыкает к известному нам уже в эмиграции «Царскому писарю». С большим вкусом и достоинством разворачивается русская тема, повесть об одном из цельных и крепких русских людей, звучащая для нас сегодня, как просветленное бытовое сказание... Не в каждом ли городе, не на каждой ли странице нашей ненаписанной истории такие люди, большого и малого калибра, были избранными, часто незаметными праведниками среди обломовского и смердяковского болота. Излюбленная лесковская тема вновь оказалась живой и как-то поновому нам близкой под пером большого мастера и зоркого человека.

Почти все остальное содержание книги — внерусское. Новые края за долгие годы скитаний дали новые краски, образы, звучание. Для настоящего художника, конечно, нет чужого. Прочтите яркий и волнующий очерк «Золотой петух». Французские петухи встречают восход солнца. Вот и все содержание очерка, укладываемое в короткую, пресную строку. Но с какой силой и убедительностью передана в слове эта петушиная симфония, какое бодрое утверждение и приятие жизни, в ся к о й жизни, под любым небом... Любого лежебоку, просыпающего золотые утренние часы, потянет после этого очерка пережить, испытать самому, как хороши бывают на земле иные, простые и светлые, как солнце, минуты.

В рассказе о кошке «Ю-Ю» много доброго юмора, много забавных, впервые рассказанных подробностей, ради которых только и стоит браться за перо.

Очерки о южной Франции «Юг благословенный» написаны любящей рукой. Мы все в эмиграции исподволь обрастаем и проникаемся чувством второй родины. Но купринская сдержанность делает излишними столь обязательные для многих lamentации, обращенные к русской березе, черемухе и крапиве. Краски щедры, дали свободны, глаза взволнованны и после городской зимней спячки радуются новому со всей жадностью, присущей глазам художника и вырвавшегося на волю человека в пиджаке.

Завершающий книгу апокриф «Лесенка голубая» изящно и тепло сплетен с современным бытовым узором. Тяга к легенде, к апокрифу-сказанию, уводящему от пресных будней, не впервые звучит в творчестве Куприна. Но в данном рассказе своя особая гармония: разные, столь далекие души — тяжелораненый русский пехотный капитан и французская сестра-монахиня — в затхлой госпитальной палате породнились на миг, покоренные светлой легендой,

высокой гармонией вымысла, которая превышает всякой житейской правды.

Зрячего читателя эта книга порадует. Теперь, когда преимущественное право на издание имеют либо «Самоучитель мыловарения», либо теософически-окультистские семечки, новая книга большого русского писателя — ценный подарок.

<1927>

ПУТЬ ПОЭТА

«Смешная любовь» — так называлась первая книга стихов П. Потемкина, вышедшая в свет в Санкт-Петербурге в 1908 году.

Поэту было тогда 22 года. В первой книге обычно — этюды, гаммы. Юность пробует голос и нередко срывается. Но петербургский студент-словесник, похожий скорее на лицеиста, изящный и сдержанный, уже в этой ранней книге обнаружил присущие его лире свойства: эластичную плавность стиха, изысканное мастерство сложного ритма, прерывистый перебой строк, четко отвечающий внутреннему волнению.

В первой книге Потемкина порой звучала та театральная манерность, капризная и грациозная, которая потом привела поэта к одному из излюбленных им видов творчества, — к театральной миниатюре. Томящаяся среди петербургских ночных «серых улиц» и «слепых домов» муза создавала из тумана и мглы миражный мирок жестяных любовников, парикмахерских кукол и трагических горбунов.

Петербург в «Смешной любви» не тот, который мы знаем по «Герани». Поэт не отошел еще от своих личных переживаний, юность позирует перед собой, порой словно играет болью, притворяется опытнее и искушеннее самой себя, и Петербург только мрачная декорация в лирической пьесе, главным действующим лицом которой является автор.

«Герань» — вторая лирическая ступень, столь далекая от «Смешной любви», словно ее другая рука писала. Автор шире раскрыл глаза и увидел другой Петербург: живой, теплый, русский. Grimаса боли и разочарованности исчезла, «я» ступевалось. Вокруг и рядом, в заурядной столичной повседневности, на панели и в петербургских скверах, во дворах, на каналах и на верхушке конки поэт подсмотрел красочную и краснощекую народную жизнь и весело и любовно заполнил ею круг «Герани».

Ничего от Кольцова, ничего от Никитина. Ничего от гражданских мотивов и общеобязательной любви к младшему дворнику. Скорее, украшенная сложным ритмическим узором далекая линия, идущая от некоторых веселых и беспечных народных страниц Некрасова: от «Коробейников», от «Генерала Топтыгина».

Лукавая веселость музыки Потемкина, необычное соединение двух начал — лирического и буднично-забавного, создали редкий по своеобразию цикл рисунков-стихотворений, темы которых навеяны населением петербургских нижних этажей. Дворник, городской, извозчик, белошвейка, татарин-старьевщик, приказчик живорыбного садка, подвальная прачка, — незаметные, окружавшие нас на каждом шагу персонажи, о сочной бытовой привлекательности которых мы и не догадывались.

И самый петербургский пейзаж, вызывающий в памяти штампованный образ неба, цвета солдатской шинели, навозного снега и безнадежного, кислого дождя — в потемкинских стихах проясняется и голубеет, овеивается молодым весенним ветром с островов, гамом веселой Вербы, гомоном воробьев в Александровском саду, гулким раскатом пасхальных колоколов. Точно сама молодость под руку с поэтом беспечно кружилась по петербургским широким проспектам, смеясь, заглядывала ему в глаза на площадке трамвая, влюбляла в каждое голубиное крыло на шляпке случайной прохожей.

Беспечный и бескорыстный, он был поэтом не только в своих кудрявых звонких стихах. Его страницы — отражение того странного, неповторимого душевного строя, который в каждом движении, в каждой мысли, воплощенной в стихе и не воплощенной, определяется старомодным словом «поэт»... Потемкин был таким поэтом с головы до ног.

Узнать его руку можно сразу даже по любой неподписанной им лирической мелочи в старом «Сатириконе». В каждой мелочи, как в мельчайшем осколке алмаза, все та же игра: грациозная, порывистая веселость, прерывистый, вольный ритм, добродушное, юное лукавство, четкая и чеканная словесная графика.

И вот теперь, когда близкий нам Петербург, как и вся старая бытовая Россия, исчезли, развеяны по ветру, растоптаны копытами новых скифов, — живописная бытовая лирика Потемкина дышит новой повторной жизнью: острым и ярким отражением ушедших столичных будней.

У поэта вообще возраста нет. Старый Гафиз и Анакреон моложе многих юношей. Но эмигрантские годы даром не проходят.

В стихах «Переход» (у каждого из нас был свой незабываемый переход от т у д а) глаза художника еще тянутся к жизни, еще подмечают красоту, сапфирно-синюю ленту Днестра, вишенье и зыбкий мостик через ручей, месяц, запыленный серебристыми облаками... Но душа придавлена железом печали, слова скомканы и прерывисты:

И страшно тем, что нету страха, —
Все ужасом в душе сожгло.
Пусть вместо лодки будет плаха,
На ней топор, а не весло, —
Ах, только бы перегребло!

Как многие из нас, поэт искал ширмы. Переводил (и чудесно переводил) чешских поэтов, набрасывал горькие строки парижской, эмигрантской «Герани» («Эйфелева башня», «Яр»). Но свое, единственное, надломилось и отошло. «Деревья чахлые заплеванных бульваров» не заменили родины. В воспоминаниях, последнем даре самых обойденных, — горькая полынь:

И место действия — Москва,
И время — девятьсот двадцатый.
Ах, если б о косяк проклятый
Хватиться насмерть головой!

Смерть пришла сама. Тихой рукой закрыла глаза и остановила беспокойное сердце поэта.

Да будет светла память о нем!

1928

Париж

РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

В цикле русских исторических народных песен, свободно откликнувшихся на все значительные события русской исторической жизни, немалое место уделено Петру Великому.

Всю тяжесть резкой перемены государственного уклада, черное, порою изнуравшее народ, строительство, непрерывные петровские походы — народ вынес на собственных плечах и отразил в своем слове.

Тем не менее, русская историческая песня, одаренная мудрым чутьем справедливости, оказалась на стороне Петра, царя-строителя и неутомимого работника. Ни жестокие картины расправы со стрельцами, ни подчас невыносимая царева служба не заслонили основных черт облика Петра: первый в труде, первый в ратном подвиге и опасности, — ничего для себя, все для родины, для ее славы и процветания. Все его труды и дела протекали на глазах у всех — от заботы о посадке желудей под Таганрогом до великих бранных дел. А последний, сведший Петра в могилу, столь близкий народной душе подвиг (спасая на петербургском взморье тонувших в бурю солдат, простудился, слег и умер), — не о нем ли вспомнил стоявший у его гроба молодой солдат, когда плакал, разливался рекой, поминая «полковничка преображенского, капитана бомбардирского»?

Затейливая, словно переливающаяся словесной парчой, песня-сказание «Рождение Петра» вся исполнена светлой радости и ликования. Такие песни слагались неллицеприятной памятью народной

лишь о тех, кого любили, прощая им суровый нрав и тяжелую хозяйскую руку.

Печатаемые в этом сборнике образцы русских народных песен о Петре, помимо своего исторического значения, являются прекрасными образцами народного творчества.

Как и народное зодчество и обиходное кустарное искусство (см. статью И. Я. Билибина), как народные напевы, так и художественное слово — народная русская лирика — образуют единый круг бесценной Русской Красоты. Из быта она давно ушла, но для каждого чутких глаз и ушей воскресает вновь и вновь.

Прикоснуться к истокам этой крепкой и выразительной, родной и самобытной красоты, к совершенным достижениям народного духа всегда радостно и любо и нам, взрослым, и идущим за нами молодым, подрастающим: ибо ничто так полно не утолит русскую жажду здесь на чужбине.

<1928>

«ПАМЯТИ ТВОЕЙ»

Раскрывая любую новую русскую книгу, невольно ищешь в ней отклика на то, что кровно близко нам всем: не посвящены ли ее страницы горестной и темной русской современности, утрюмому и ущемленному советскому быту, столь далекому и непонятному для нас сейчас, как Китай иностранцам. Повести и рассказы о прошлом, зачастую просветленном и романтизированном эмигрантской тоской и бездомностью, как бы мастерски они не были написаны, все же не так нас волнуют, как тема первой важности, от которой никуда не уйдешь: как живут *там*, как умудряются жить, как хватает сил. Не отсюда ли наше жадное внимание к Зоценко, отразившему советские будни в трагических гротесках, слегка смягченных невинной усмешкой рассказчика-простака.

Писатель-эмигрант, видевший все там своими глазами, несравненно свободнее. Но нелегка и его задача: человек там перешел предел страданий, бытовой уклад скомкан и принижен до жизни термитов, краски стерты, пестрота и многообразие личной жизни, обихода семьи, города и деревни — выкорчеваны с корнем и даже самое Зло в большевистской постановке стало удивительно бездарным и однотонным.

Задача нелегка, тема — почти подвиг, и тем большую признательность вызывает к себе автор нового сборника «Памяти твоей» — слова эти звучат с обложки, как скорбный символ, посвящение. Первый очерк, рассказ о том, как расстреляли русского священника, так глубок и сдержанно прост, что вновь и вновь со всей остротой переживаешь вместе с автором последние дни и часы *каждого*

такого праведника... И трагичнее даже самого советского театра Гиньоль вскользь брошенная мысль, что у красного прокурора (короче говоря — у убийцы) такое «обыкновенное» лицо. Мысль эта в свое время волновала еще Короленко. «Минута молчания» — вот то душевное движение, которым хочется назвать впечатление от этого очерка, когда медленно дочитаешь его до последней строки.

Четко и жизненно-правдиво обрисована фигура старухи-немки в рассказе «Валькирия». Хорошая и несложная ее душа словно вкраплена в отвратительную, не признающую ее жизнь. Но в каждом слове и теплом движении она нужна окружающим ее людям, даже своим врагам. И, пожалуй, без таких, как она, там и совсем дышать было бы трудно. Даже ее смешной русский язык трогателен и убедителен, ни в одном слове автор не перешел в шарж, не нарушил верной душевной интонации.

Вот какими удивительными словами передает она по-русски содержание немецкого песнопения из своей черной книжечки: «...с твоей паломнически палка ты проходишь через поля и через холмы. Через сами высокие холмы и через сами громадные горы. И через моря ты переплывай. Но через сами маленькие холмики ты не перешагнул. Тут ты остался лежать под этим холмиком и тут ты будешь спать свой вешний сон».

С особо бережным вниманием пишет Георгий Песков о детях. Как ни трагична обыденная советчина для всех, детям в ней еще горше, чем взрослым. Истоки жизни отравлены, детства нет, маленькие сумрачные старички слишком много знают и видят, круг замкнут. Маленький Алик в пыльном чулане ищет какую-то синюю карточку со звездами — в ней прыгают лягушки. Но взрослым не до детской романтики, у них крупа, сахарный песок — волчья борьба за сегодняшний день... Сколько их таких, искривленно растущих Аликов по русским углам. Рассказ о Мише («Бабушкина смерть») прекрасен. Все растущее чувство беспомощной жалости к загнанному в тупую щель ребенку не подсказано автором — строка за строкой поднимают его в вас, держат в напряжении, не дают отдыха в примиренно-счастливом конце. Там таких концов не бывает.

Отчетливо и остро вскрыта черта, столь знакомая нам за последние трагические годы: в душном бытовом подполье даже кровно близкие люди становятся беспощадны и безжалостны друг к другу («Шурик»).

Целый круг людей, смытых и обезличенных революцией, автор символизирует в рассказе «Жилец» в лице неизвестно откуда появившегося Давида Васильевича. Человек приходит, уходит, ест и пьет, — но это тень от тени, и даже теплый мещанский уют, к которому он случайно приткнулся, не возвращает его самому себе. За простенькой фабулой — одна из самых горьких и близких нам трагедий российского бездорожья. К этому циклу можно отнести и очерки «Покупательница» и «Фокс».

Два рассказа — «Тринадцатый» и «Генеральшин мопс» (чеховская фабула) не в тоне книги и несколько нарушают ее цельность.

Но в общем содержание сборника значительно, автор — уверенный в себе художник, у него свои глаза и слова. Язык Георгия Пескова благородно-сдержан, меток и прост. По темам — и краски. Действующие лица говорят сами, никогда за них не говорит автор. И полное отсутствие истерики, которую чувствуешь иногда в эмигрантских отражениях советского быта — немалое достоинство.

<1930>

РУССКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

В какое эмигрантское жильё не придешь, — прежде всего ищешь глазами: а есть ли здесь книжная полка? И нередко, увы, вместо книжкой полки со стопкой русских книг увидишь глупую куклу маркизу в углу диванчика, граммофонные пластинки с негритянскими завываниями, пачку билетов со скидкой в ближайшее кино («Скрежет страсти!», «Объятья мулатки!») и замусоленную колоду карт на столе.

«Помилуйте, — говорят иные, — какие там книги! Жизнь птичья, эмигрантская, где там еще на перелете книжной полкой обзаводиться».

Так ли?

Живем подолгу, многие десяток лет кряду сидят в своих «иноземных» углах, кое-кто и мебелью обзавелся и даже книжный шкаф купил по случаю подержанный... Но книг так и не завел.

Дорого!

Но ведь весь Пушкин стоит не дороже глупой куклы маркизы, нескольких пластинок с фокстротами, нескольких билетов в угловое кино, не дороже двух бутылок с вишнежкой.

Скажем просто:

Только тот причастен к русской культуре и в меру сил хранит ее и передает своим детям, кто у себя дома, в своем гнезде, не может обойтись без русской книжной полки.

Ибо, если и от русской книги отвернемся, выбросив ее из обихода, — не превратится ли ежегодный праздник «Дня русской культуры» в торжественный холодный парад, в официальные поминки по гениям русской мысли?

1930

Париж

«КРОКОДИЛ»

С вялым недоумением перелистываешь очередной номер советского сатирического журнала «Крокодил». Тираж планетарный: пятьсот тысяч! Но, очевидно, только советские методы принудительного распространения могли создать такой тираж журналу, которому, по всей справедливости, следовало бы заменить боевую кличку «Крокодил» другим, вполне определяющим его содержание названием «Благонамеренная вобла».

Еще некоторое подобие сатиры, обглоданной до костей, можно найти в выкриках по адресу «капиталистов, империалистов и пацифистов». Но и эти, единственно свободные темы, играющие роль красной тещи, до того перекрыты во всех направлениях мордобойной казенной словесностью, что, собственно говоря, никакой сатиры и в помине нет. И невольно вспоминаешь (слова меняются, музыка остается), как в былые времена истинно-русские лабазники крыли «сицилистов»: буквально в том же музыкальном ключе, в котором расправляется «Крокодил» с «капиталистами». О пафосе такого рода очень своеобразно выразился Уэллс: «Они во что бы то ни стало хотят, чтоб у них изо рта шла пена. Они всячески стараются, чтобы этой пены было как можно больше...»

Основное задание журнала, впрочем, иное. Никакой внутренней сатиры — даже тени ее — по советскому расписанию не полагается. Попробуйте-ка изобразить Сталина хотя бы в таких сдержанно-иронических тонах, в каких когда-то «Сатирикон» подавал Столыпина... Но вот к услугам журнала серия «Степок-растрепок» — нижние чины из советских кантонистов: прогульщики, незадачливые кооператоры, летуны, беспомощные хозяйственники и пр., и пр. Им первое место. Отчего же и не перебить кости лежачим... О причинах сыпи — ни слова, но тыкать в каждый отдельный прыщ пальцами — с точки зрения советской сатирической гигиены — считается необходимым. И об образцах плохой продукции можно: о пиджаках об одном рукаве, о шестипалых перчатках, о расползающихся подштанниках... Бедный революционный «Будильник» даже не подозревает, что в стране планетарных достижений о таких вещах и писать зазорно: не капиталисты же им шестипалые перчатки поставляют.

В противовес стрелочникам, журнал выдвигает советских паймальчиков: ударника, попавшего на красную доску; премированного спеца, отмеченного статьей и портретом в газете; рабочего, «перевыполнившего промфинплан и награжденного поездкой на теплоходе»... Кажется, впервые от сотворения мира сатирический журнал занимается тем, что подносит читателям до приторности ароматный букет положительных типов. Крокодил сам по себе животное противное, но «Крокодил», обмазанный малиновым сиропом, — совершенно нестерпим.

И все-таки — тираж в 500 000! Воображаю, какой внутрен-

ней словесностью кроет усталый советский рабочий коллективную редакцию «Крокодила», перелистывая в минуты досуга страницы, которые, словно в припадке сонной болезни, составлял ответственный бухгалтер симферопольского пищевого треста...

Чем его «Крокодил» утешит? Сладеньким рассказом о деточках, которые играли в Красную Армию, кричали «ура» и пели «Марш Буденного», или такой сатирико-бетонной продукцией:

Февраль. Хромает массрбота,
И гужетранспорт не готов,
Нет спецодежды, хозрасчета,
Есть только море пышных слов...

Есть в номере и совершенно недопустимый промах. Под карикатурой, изображающей Аль-Капоне, окруженного чествующими его коллегами, такая подпись:

— Господа, зачем такие почести? Ведь я убил всего 39 человек и мне далеко до любого из вас!

Как можно в советском казенном издании затрагивать такие неосторожные темы?

<1932>

«МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»

Так называемые «морские рассказы», воскрешающие в наши дни традицию Станюковича, находят в эмиграции свой круг читателей. Темы, связанные с морской экзотикой, всегда заключают в себе некоторое преимущество перед «сухопутными» темами: в них больше движения, ярче декорации, им присуща та жюльверновщина приключений, которая так увлекала нас в юности. Но сейчас и взрослые так устали, что ищут в книге прежде всего отдыха и развлечения-отвлечения от нескончаемого потока обид и драм окружающей нас жизни.

В сборнике А. Гефтера не все равноценно. Иные рассказы значительны по содержанию — «Vale», «Женщина в мехах», «Спасите наши души» — хотя первый несколько скомкан и дает только конспект полного рассказа. Другие — «Бокс», «Цикада», «Блины» и пр. — бытовые очерки, забавные анекдоты, занимательно рассказанные и обнаруживающие в авторе хорошее знание той среды, о которой он пишет. Язык местами без нужды манерен: «принять несколько капель воспоминаний» — едва ли счастливая находка... Едва ли также вымазанная кокосовым маслом негритянка могла отражать в себе зелень, небо и море. Последний рассказ, давший в сокращении название сборнику («И разошлись, как в море кораб-

ли»), и по теме и по изложению банальнее остальных. Но в общем сборник многие прочтут с удовольствием — широкое дыхание моря доходит до читателя, и живая наблюдательность автора делает нас как бы свидетелями милых и забавных происшествий.

<1932>

КОММЕНТАРИЙ

«Сумбур-трава» — заглавие одной из солдатских сказок Саши Черного. И оно же стало названием настоящего тома. Выбор неслучаен, ибо в жанровом отношении состав книги воистину «сумбурен». Здесь и сатирическая проза малых форм, и сказовые стилизации, и публицистика, и выступления на литературные темы. Объединяющим моментом выступает именно разнородность и необычность материала, принадлежность его к смеховой стихии. Иными словами, сюда вошла та часть прозаического наследия поэта, которая не укладывается в ложе традиционной беллетристики (рассказы Саши Черного составят очередной том).

Временные рамки книги охватывают весь творческий путь писателя — от его дебюта на литературном поприще до последних, предсмертных публикаций. В основу композиционного построения тома и расположения материала положен хронологический принцип, позволяющий зримо представить творческую эволюцию автора.

Вместе с тем, как и в предыдущих томах Саши Черного, принята компоновка произведений в связки-разделы, группируемые по жанровому признаку. Впрочем, когда речь идет о Саше Черном, подобное деление в достаточной мере условно. Скажем, некоторые рецензии, пропитанные иронией, могут вполне сойти за фельетон или памфлет. Основной свод этого тома составили произведения, по большей части впервые вводимые в читательский оборот. Дотоле рассеянные по страницам повременной печати (отечественной и эмигрантской), они распределены по нескольким разделам: «Сатира в прозе», «Статьи и памфлеты», «О литературе».

«Сатира в прозе» — название авторское. Такой подзаголовок обнаружен в ряде публикаций прозаических миниатюр Саши Черного. Сатирическая пестряда включает фельетоны, афоризмы, юморески, скетчи и прочие всевозможные эксперименты писателя в области «смехотворчества». Однако при всем многообразии форм нельзя не заметить одну особенность: вся эта разношерстная вереница как бы расколота надвое 1917-м годом. Годом-рубежом, который самым роковым образом сказался на судьбе поэта. Чужбина изменила тематику и направленность его сатиры. Потому логичным представляется деление этого раздела на два периода: дореволюционный (1906—1917) и эмигрантский (1921—1931).

От «Сатиры в прозе» отпочковался еще один раздел — «Бумеранг». Это задуманный и осуществленный Сашей Черным отдел сатиры и юмора в журнале «Иллюстрированная Россия». В нем, словно в кривом зеркале, в шаржированно-карикатурном виде имитирован газетно-журнальный мир — с его «дежурными блюдами», рубриками, объявлениями и пр. Они представляют интерес не враздробь, а прежде всего как единое целое. Возможно, когда-нибудь все номера «Бумеранга», подготовленные Сашей Черным, вернее его литературным персонажем — профессором филологии Ф. С. Смяткиным, будут явлены читателю в полном, переработанном виде. Здесь же предпринята попытка воссоздать контаминационным пу-

тем некое художественное единство из прозаических миниатюр, принадлежащих Саше Черному или ему приписываемых.

Некоторые соображения по поводу дубильных текстов. Конечно, включение их в собрание сочинений шаг рискованный, но, смею думать, в данном случае оправданный. Не следует забывать, что мы имеем дело с миром смеховой культуры, замешанным на розыгрышах, переодеваниях и прятках, а стало быть, и на разоблачениях. Пребывая в анонимном состоянии, произведение фактически остается выключенным из «большой» литературы. Атрибутирование, т. е. возвращение анонимного сочинения его творцу, как правило, возможно лишь при сопоставлении со всем наследием писателя вкуче.

И наконец, последнее, являющееся как бы венцом многолетних творческих исканий Саши Черного в прозе. Речь идет о «Солдатских сказках» — поистине сердцевине данного тома да и вообще всего наследия поэта. Если в прочих разделах произведения выстроены по хронологическому ранжиру, то есть в порядке появления их в печати, то «Солдатские сказки» сохраняют структуру, принятую в первом отдельном издании этой книги.

Теперь собственно о самом комментарии. В нем даются примечания к именам собственным и названиям, встречающимся в тексте, разъяснения слов и выражений, не понятных широкому кругу читателей, раскрытие цитат и всевозможных перифраз.

Нахождение их было бы весьма затруднено без помощи литературных исследователей, к которым я обращался за советом и консультацией. Это М. З. Долинский, В. Н. Дядичев, Е. И. Меламед, А. Р. Палей, А. В. Соболев и многие-многие другие. Всем им моя глубокая благодарность.

Однако такой сугубо академический, строгий подход явно недостаточен для комментария столь своеобразного, остро полемического и многогранного тома, как «Сумбур-трава». Ибо читатель, открывавший в свое время свежий номер «Сатирикона» (петербургского или парижского), воспринимал язвительные уколы Саши Черного совсем не так, как воспринимает их на исходе века читатель нынешний. Дело в том, что современники автора прекрасно разбирались в подоплеке событий общественной и культурной жизни, с полуслова понимали шутки и остроты, рожденные злобой дня, толками и пересудами. Им не нужно было разъяснять, ведь они сами были и зрителями, и участниками этого захватывающего, животрепещущего действия, смешного и пестрого карнавала бытия, превратившегося ныне в статичную историческую картину, отдельные детали которой стерлись, изветрились из памяти поколений. Комментарий — не умозрительный, а именно реальный — потребовал просмотра уймы газет и журналов, сопутствовавших во времени публикациям Саши Черного, на страницах которых удавалось подчас обнаружить ответы, освещающие «темные» места текста.

Еще один аспект данного раздела — вопросы духа и умонастроений, которыми жило русское общество в ту пору. Читателю предстоит войти в курс идейно-политических течений и борений на перешейке двух революций, а затем — в зарубежной России, разобраться в ориентации различных печатных органов, познакомиться с партийными функционерами всех мастей и калибров.

Коль скоро многие сатиры и рецензии посвящены текущему литературному процессу, неудивительно, что немалое место в комментарии уделено аттестации пишущей братии. Примечательно, что современная оценка сопоставлена с взглядом «оттуда», когда слово предоставляется Саше Черному или кому-либо из его собратьев по перу. Для понимания важно услышать их голос. Когда в центре вни-

мания авторы, достаточно хорошо известные читателю, — задача иная. В этом случае акцент делается на «обратной связи», то есть на взаимопересечениях, либо противостояниях двух художников — Саши Черного и того, о ком он пишет. При этом привлекается информация о литературных вечерах и других мероприятиях культурной жизни. В задачи комментария входит также выявление объектов пародирования, атрибутирование предполагаемых прототипов, фиксация биографических реалий, фрагментарно вкрапленных в художественный текст. Все это, надеюсь, позволит почувствовать пульс времени, атмосферу минувшей эпохи и, стало быть, будет содействовать созвучному прочтению «улыбок и гримас» Саши Черного.

Комментарий к каждому произведению снабжен библиографической справкой, содержащей сведения о первой публикации. Для журналов указан — год, номер и страница, для газет — год и дата. Подпись фиксируется лишь в том случае, если она не совпадает с основными псевдонимами автора: Саша Черный и А. Черный. Место издания указывается для всех городов, кроме Петербурга.

Тексты печатаются по прижизненным изданиям и публикациям. При подготовке к печати они приведены в соответствие с современными правилами правописания и пунктуации, за исключением тех случаев, когда это может исказить авторский замысел.

Датировка по большей части дается по времени первой публикации. Угловые скобки, в которые заключена дата, означают косвенный способ ее установления, то есть дата появления произведения в печати. Впрочем, последнее, по-видимому, обычно практически совпадает со временем его написания. Авторские пометы и даты проставлены без скобок.

Купюры в цитатах комментария обозначены угловыми скобками и многоточием — <...>. Ниже приведены сокращения печатных источников, наиболее часто упоминаемых в комментарии:

Дон-Аминадо — Д о н - А м и н а д о. Поезд на третьем пути. М., 1991.

Жар-Птица — Ж а р - П т и ц а. Большой литературно-художественный ежемесячный журнал. Берлин. 1921—1926.

Зритель — З р и т е л ь. Журнал политическо-общественной сатиры. Спб. 1905, 1908.

ИР — И л л ю с т р и р о в а н н а я Р о с с и я. Еженедельный литературно-иллюстрированный журнал. Париж. 1924—1939.

Письма к Горькому — Горький и его эпоха. Исследования и материалы. Вып. 2. М., 1989: Письма Саши Черного к А. М. Горькому. С. 20—32.

ПН — П о с л е д н и е н о в о с т и. Ежедневная газета. Париж. 1920—1940.

РГ — Р у с с к а я г а з е т а. Париж. 1923—1925.

Сат. — С а т и р и к о н. Еженедельное издание. Спб. 1908—1914.

САТИРА В ПРОЗЕ

(1904—1917)

ДНЕВНИК РЕЗОНЕРА — Волынский вестник. Житомир.

I — 1904. 3 июня; II — 1904. 5 июня; III — 1904. 15 июня; IV — 1904. 5 июля; V — 1904. 8 июля. Подпись: Сам-по-себе. Газета «Волынский вестник», объявленная как ежедневное политическое, литературное и общественное издание, начала выходить 2 июня 1904 года. Редактор — М. П. Лобановская, издатель — Ф. И. Досинчук, в списке сотрудников значится А. М. Гликберг. В статье К. К. Парчевского, написанной к 25-летию литературной деятельности Саши Черного, о его дебюте в печати сказано (скорее всего, со слов самого юбиляра): «Начинающий автор удовлетворился принятой оплатой труда сотрудников, и произведения за подписью «Сам-по-себе» все чаще стали появляться в газете. Очень скоро молодой автор настолько вошел в работу, что стал главным сотрудником «Вестника», тем, что называется «и швец и жнец». Его статьи, стихи и заметки составляли главное содержание газеты, для оживления которой он даже полемизировал сам с собой, выступая под разными псевдонимами» (ПН. 1930. 6 марта). Однако при самом внимательном рассмотрении материалов, печатавшихся в «Волынском вестнике», не удалось обнаружить стихи или прозу (за исключением нескольких фельетонов за подписью «Сам-по-себе»), которые давали бы основание отнести авторство Саше Черному. Газета существовала недолго. Уже 19 июля 1904 года было помещено следующее объявление: «Контора редакции «Волынского вестника» имеет честь довести до сведения г.г. подписчиков, что вследствие возникших по изданию некоторых затруднений издание на очень короткое время с № 40 прекращается».

В фельетонной рубрике провинциальной газеты основное место уделено местной «злобе дня» и реалиям житомирской жизни. В комментарии использованы некоторые сведения на этот счет, любезно сообщенные житомирским краеведом В. И. Липинским. *...два театра служат искусствам (а один из них и чему хотите рад служить)...* — Заключенное в скобки замечание относится, по всей видимости, к театру на Киевской улице. Помещение его использовали для своих выступлений, как правило, гастролеры — заезжие актерские труппы и оркестры. *...«наш городской трамвай».* — Официальное открытие трамвайного движения на электрической тяге состоялось в Житомире 22 августа 1899 года (до этого трамвай был пущен лишь в шести городах империи). Маршрут пролегал по главным улицам Житомира — Б. Бердичевской, Киевской и Соборной. *«Скандальная хроника».* — Какого рода события городской жизни становились добычей местных репортеров может дать представление заметка, помещенная в «Волынском вестнике» (№ 24): *«К р а ж а с а м о в а р а.* В ночь на 27 июня в проулке Шпельберга, из квартиры Давида Фенкеля украден самовар. Вор Шабанов совершил кражу, сломал окно, и задержан с поличным приставом 2-й части. При задержании вора на Киевской рогатке найдены краденые вещи: несколько новых мешков и подушка». *«Популярные психологии» Сытина.* — Русский книгоиздатель И. Д. Сытин ориентировался в своей деятельности на широкие читательские массы. Значительную часть его книжной продукции составляли научно-популярные издания по различным областям знаний, специально переработанные для народа. *«Наше поколение юности не знает...»* — начальная строка стихотворения С. Я. Надсона. *...«чающих движения воды...»* — крылатое выражение в значении: «ожидающие каких-либо благ». Воз-

никло из евангельской легенды о купальне в Иерусалиме, «...при которой было пять крытых ходов. В них возлежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, чающих движения воды... Ангел по временам сходил в купель и возмущал воду; и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал» (Иоанн, 5, 2, 4). *Письмовники* — сборники, содержащие образцы эпистолярного жанра на разные случаи жизни (деловые, любовные, поздравительные и пр.) ... «*благими намерениями ад вымощен*» — широко распространенное выражение, приписываемое английскому писателю С. Джонсону (1709—1784). По другим сведениям, это изречение восходит к английскому богослову Джорджу Герберту (ум. 1632). ...*полное и всестороннее общение с читателем...* — Цели и задачи нового печатного органа изложены в редакционном обращении к читателям в № 1: «Волынский вестник» будет стараться по мере сил указывать на все, что идет вразрез с нормальным строем отечественной жизни. Желательно, чтобы образованный читатель, видя, как в «Волынском вестнике» отражается местная жизнь, делал бы свои заключения, добавления или возражения; словом, чтобы со временем установить тесную, дружественную связь между газетой и читателями». ... «*А залог?*» — «*Какой залог?*» — История, рассказанная в фельетоне, была, по-видимому, дежурной темой публицистической печати. Так, например, в повести А. Яблоновского «Записки уличного адвоката» (Одесса, 1905) имеется аналогичная сюжетная коллизия: помещик-самодур отказывается вернуть управляющему денежный залог, полученный при найме, будучи уверен в безнаказанности своих действий. «...*чего моя нога хочет*» — выражение из пьесы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет» (д. 2, сц. 1, явл. 2). «*Черная болезнь*» — в просторечии — чума либо оспа. *Саврас* — хамоватый наглец. «*Ретирадный слог*» — то есть «дурнопахнущий» (в старину одним из значений слова «ретирада» было «отхожее место»). ... «*клочках бумаги, подобно той, что покупают в английских магазинах...*» — имеется в виду туалетная бумага. «*Зеленая роща*» — дубовая роща на левом берегу Тетерева, излюбленное место пикников жителей Житомира. В южной части она ограничивалась гранитным утесом, похожим на профиль человека (его называли «голова Чацкого»). ... «*грек из Одессы...*» — цитата из стихотворения А. Н. Апухтина «Пара гнедых», известное также как популярный романс. ... «*шепот... робкое дыханье...*» — цитата из стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...». «*Сонный Тетерев катится...*» — это стихотворение А. Гликберга впоследствии включил в свой первый сборник «Разные мотивы». По форме оно продолжает традицию «баркаролы» в отечественной поэзии (И. Козлов, А. Пушкин).

АИДА В ЖИТОМИРЕ — Волынский вестник. 1904, 22 июня. Подпись: Сам-по-себе. Под этим названием в газете помещено в сущности два фельетона, написанных разными авторами: «На сцене» — Жеронимо, «В публике» — Сам-по-себе (Сравнение двух частей и двух авторов сделано в статье Э. Шнейдермана «Новое о Саше Черном» // Русская литература. 1966. № 3. С. 169—170). Обращение А. Гликберга к жанру театральной рецензии имеет вполне конкретную житейскую подоплеку: «Издательница газеты, она же пайщица местного оперного театра, расплачивалась с сотрудниками контрамарками на галерку. Другого гонорара не полагалось» (П а р ч е в с к и й К. К. Саша Черный // ПН. 1930. 6 марта). В эпиграфе цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Отчего» (1840). ...*мнение, будто Житомир — музыкальный город.* — Житомирцы гордились своим театром, в котором довелось играть почти всем выдающимся актерам России второй полови-

ны XIX — начала XX века. Для театра, организованного в 1858 году, специально было возведено здание на Старожандармской улице (после 1899 года переименована в Пушкинскую). Об активности театральной жизни можно судить по числу постановок. Так, в газете «Вольны» от 9 марта 1897 года сообщалось, что за минувший сезон театр поставил 92 спектакля, в том числе 28 опер. ...«*семь тощих коров*» пожрали «*семь коров тучных*». — Имеется в виду библейская история о том, как фараону приснился вещий сон, разгаданный позднее Иосифом. В нем говорится о «семи тощих коровах», которые, выйдя из реки, съели «семь тучных коров», но не стали от этого толще. (Быт. XLI, 1—33.)

ДЕЛИКАТНЫЕ МЫСЛИ — <I>: Маски. 1906. № 1. С. 2. Подпись: А. Г-г; <II>: Маски. 1906. № 5. С. 3—4; <III>: Зритель. 1908. № 3. С. 5. Подпись: Г. Рубрика под этим же названием была продолжена в «Сатириконе» (1909, № 42 и 1910, № 2), но уже не в прозе, а в виде цикла эпиграмм. *Марфа Посадница* — вдова новгородского посадника И. А. Борецкого, возглавившая в 1471 году враждебную Москве партию бояр. После поражения Новгородских войск в Шелонской битве продолжала деятельность против Ивана III, за что была взята под стражу с конфискацией всех земельных наделов. *Конституционно-демократическая партия* — партия кадетов или «партия народной свободы». Была организована в октябре 1905 года; к весне 1906 года насчитывала 70 тысяч. Основу ее составляла интеллигенция, разделявшая идеи либерализма и социального реформаторства. Программа предусматривала радикально-демократический вариант создания правового демократического государства с заменой самодержавного режима конституционно-монархическим строем по типу Англии. После издания закона 11 декабря 1905 года руководство партии заняло умеренно-центристскую позицию. По словам лидера кадетов П. Н. Милюкова, свою задачу на данном этапе они видели в том, чтобы «направить само революционное движение в русло демократической борьбы. Для нас укрепление привычек свободной политической жизни есть способ не продолжать революцию, а прекратить ее». «*Русское государство*» — ежедневная газета, основанная по инициативе С. Ю. Витте 1 февраля 1906 года. Размещалась в редакции газеты «Правительственный вестник» и использовала штат его сотрудников. Этот официальный орган, финансирувавшийся из сумм министерства внутренних дел и лично царя, был организован для выражения намерений правительства и для опровержения высказываний оппозиционной печати. Большинство сотрудников скрывалось под псевдонимами, которые после закрытия газеты 15 мая 1906 года были разоблачены (см. Г. Л. Из истории «Русского государства» // *Наша жизнь*. 29 июня 1906). Вместо нее в том же году начал выходить другой официальный орган «*Россия*». *Апостолы Петр и Павел* — во время правления Нерона были брошены в темницу за проповедь христианства и казнены. «*И возвратятся псы на блевотину свою*». — Несколько измененная цитата из Нового Завета: «Но с ними случится по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину» (Петр, 2, 22). ...*после 17 октября*. — Николай II подписал 17 октября 1905 года Манифест, в котором было объявлено о даровании народу незыблемых основ гражданской свободы «на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Однако обещанные свободы начали вскоре попирались и ущемляться путем введения запретительных и ограничительных законов. ...*безногая министерская мудрость*... — намек на С. Ю. Витте, возглавившего в октябре 1905 года Совет министров. Своеобразная форма его носа давала повод для разно-

го рода слухов. См. воспоминания сатириконца Оль д'Ора: «— Не знаете? Граф Витте. Он каждый год едет в Ахен выгонять ртуть. Сифилис подлечили у него, но ртуть в коже осталась. Приходится каждый год серные ванны принимать.

— И нос перешивать. У него ведь нос пришитый» (Старый журнал с т. Литературный путь старого журналиста. М.—Л., 1930. С. 86). *Победоносцев К. П.* (1827—1907) — статс-секретарь, сенатор, обер-прокурор Святейшего Синода в 1880—1905 годах. Передовое общественное мнение отводило ему роль «серого кардинала», вдохновителя реакционного мракобесия. Сатирические журналы «дней свободы» изображали Победоносцева в виде упыря или нетопыря. В эпоху Александра III бытовала такая эпиграмма:

Победоносцев — для Синода,
Бедоносцев — для народа,
Доносцев — для царя,
Рогоносцев — для себя.

Полевой суд, пулевой суд. — Волна антиправительственных выступлений и крестьянские бунты, прокатившиеся по стране, жестоко подавлялись. Некоторое представление об этих действиях силовых структур дает статистическая информация, приведенная на исходе 1905 года: «На основании полученных телеграфных сообщений можно приблизительно считать, что декабрьская забастовка совместно с революционным восстанием обошлась ценой жертв в 2000 убитых и 8000 раненых; считая, что октябрьские погромы насчитывают около 5000 убитых и раненых, январские — около 3000, и добавляя годовичные мелкие случаи, получим около 20 000 жертв в 1905 году» (Русское слово. 1905. 30 декабря). ...*Реакция отрыжке подобна.* — Возвращение прежних порядков воспринималось как реакция не только левыми силами, но и правыми кругами общества. Примером тому может служить высказывание одного из самых правозащитных журналистов — М. О. Меньшикова: «Реакция — в смысле возвращения к старому безвластью и государственному воровству — ненавистна всей стране... Реакция ненавистна вдвойне: кроме собственных черных грехов на ее бессовестности лежат кровавые грехи бунта» (Новое время. 1907. 20 октября). *Рукавишников И. С.* (1877—1930) — поэт и прозаик, эпигон символизма. В мемуарах современников он предстает чаще всего в сатирическом освещении: «Среди литературной братии Петербурга Иван Сергеевич Рукавишников был приметной фигурой, — приметной не по таланту (об этом даже не говорили), а по своей внешности. Она соответствовала его репутации «декадента». Этот длинный, сухой, бледнолицый человек, со светлыми волосами и развинченной походкой, писал растрепанные и невразумительные стихи, а получая от родных деньги, имел возможность издавать свои сочинения. На витринах чуть ли не каждый год появлялась новая книга — «Стихотворения» Ивана Рукавишникова. <...> В ярчайшей степени он являл собою живое наглядное олицетворение замороженной дряблости. Рукавишникову хотелось слыть снобом, и для такой репутации ему не надо было прилагать усилий. Изможденный, капризный, позирующий, тут он мог быть самим собой, натуральным и даже искренним» (Пильский П. Нижегородский сноб // Сегодня. Рига. 1930. 18 апреля). «Свободные мысли» — газета политическая, общественная и литературная, выходившая в Петербурге в 1907—1909 годах под редакцией И. М. Васильевского (Не-Буквы). Она являла собой особый вид прессы, порожденной годами реакции, — так называемой «понедельничьей». Один из ее сотрудников — Оль д'Ор так охарактеризовал ее: «Плат-

формы» газета не имела, и в этом было ее достоинство. Как-то не шла «платформа» к «Свободным мыслям», как не пошла бы, скажем, профессорская тога к беспризорному. <...> Писали все на политические темы, и газету штрафовали еженедельно, но чем больше штрафовали, тем больше газета читалась. Тираж был большой и объявления были хорошие. Убытки от штрафов покрывались с лихвой» (Старый журнал и ст. Литературный путь дореволюционного журналиста. М.—Л., 1930. С. 78—79). Название и сам характер издания, как видно, были дороги редактору И. М. Василевскому, и он при всяком удобном случае старался возобновить «Свободные мысли» — в 1917 году в Петрограде, в 1918 — в Киеве, в 1920 — в Париже. Печатался в этой газете и Саша Черный. «Союз русского народа» — наиболее крупная черносотенная организация; включала различные сословные и социальные группы населения — купечество, духовенство, мещан, крестьян, рабочих. Организационная роль принадлежала консервативной части интеллигенции, разделявшей охранительную идею великодержавности в сочетании с активно выраженной ксенофобией — ненавистью к инородцам: полякам, финнам, армянам и прежде всего евреям. Программа союзников или истинно-русских, как они себя называли, в самом сжатом виде была сформулирована Н. А. Энгельгардом: «Россия для русских! За Веру, Царя и Отечество! За исконные начала: Православие, Самодержавие и Народность! Долой революцию! Не надо Конституции! За самодержавие, ничем на земле не ограничиваемое!» Устав Союза русского народа был выработан в ноябре 1905 года. В конце 1907 года численность союза достигла своего пика — около 350 тыс. Вначале, в период революционного подъема союз стремился к активным формам деятельности: организация боевых дружин, проведение манифестаций. Впоследствии деятельность ограничилась преимущественно агитацией и пропагандой, зачастую эти выступления носили разнузданно скандальный характер. «Санин» — роман М. П. Арцыбашева; напечатан в 1907 году и сразу приобрел широчайшую, полускандальную известность как роман порнографический. Современниками был воспринят как проповедь нравственного нигилизма и как утверждение свободной личности, сильного мужского начала в образе главного героя — Санина. Увлечение романом было повальным, особенно в среде учащейся молодежи, вызывало шумные дискуссии, диспуты на тему «прав ли Санин?», под его влиянием образовывались подпольные «лиги свободной любви», «кружки санинистов».

КАРТИНА — Зритель. 1908. № 3. С. 6. Подпись: А. Гл. ...*в форме тощих коров, пожирающих тучных* — см. с. 408. Кузмин М. А. (1872—1936) — поэт, прозаик, переводчик, композитор. Считается одним из своеобразнейших представителей литературно-артистической богемы Петербурга. Будучи эстетом по мироощущению, примыкая к различным литературным группировкам, он, однако, не числился ни в одной из них. С самого начала его имя было окружено нездоровым интересом, объяснявшимся тем, что он, едва ли не первый в отечественной словесности, стал писать о противоестественных наклонностях в интимной жизни: «О нем говорят и говорили и в салонах, и в шестых классах провинциальных гимназий, в кружках эстетов и на эскедовских рефератах, говорили петербургские литераторы и деревенские попады. Имя Кузмина сделалось символом непристойности, с одной стороны, и символом загадочности — с другой. Источником того и другого, конечно, служили особого рода патологические половые тенденции, резко проводимые им в «Крыльях» и в «Картонном домике» (Бухов А. Критические штрихи. Казань. 1908. С. 3). *Рукавишников* — см. с. 409.

«ВЕЧЕР ЮМОРА» — Зритель. 1908. № 3. С. 10—11. Подпись: Иван Чижик. Материалом для фельетона послужили конкретные события литературной и общественной жизни Петербурга, намеренно перепутанные автором. В газете «Свободные мысли» от 11 февраля 1908 г. (эта дата фигурирует в фельетоне) была помещена информация о состоявшемся накануне открытии Всероссийского съезда «Союза русского народа». Налицо были все лидеры союзников: доктор Дубровин, одесский князь Коновицын, Булацель, Тришпатый... Гвоздем программы явилась речь волынского представителя — иеромонаха Иллиодора (по-видимому, именно его изобразил Саша Черный), появление которого на трибуне было встречено громовыми аплодисментами: «В Волыни, — сказал он, — «Союз русского народа» успешно борется с революцией. Он победил ее. Чем победил русский народ революцию? Своим кулаком. Поднялся наш великий русский кулак, прогнулась и спятилась гидра революционная, гидра, у которой голова — жидовская, брюхо — армянское, ноги — польские, а руки — русские. Голова — замышляет, брюхо — обещает, ноги — убегают, а руки — попадают» (Свободные мысли. 11 февраля 1908). В той же газете помещено было объявление: «В зале Калашниковской биржи (Харьковская, 9) в понедельник 18 февраля состоится литературно-музыкальный «Вечер юмора». Участвующие Вл. Азов, Л. Бертъе, Бронштейн, Бой-Кот (Чюмина), Л. М. и И. М. Василевские, Гликман (Дух-Банко), С. Горный, А. Измайлов, А. Куприн, П. Потемкин, Свирский, Тэффи, Яблоновский и др. Танцы до 3 ч. ночи. Буфет, конфетти, серпантин, живые цветы, летучая почта». «Русское знамя» — наиболее распространенная газета «черной сотни», вестник «Союза русского народа». *Варшавская детоубийца* — имеется в виду Марианна Скублицкая, преступная деятельность которой была разоблачена в 1890 году и получила широчайшую огласку (ее изображение выставлялось в музеях восковых фигур). Вместе с сообщниками она занималась прибыльным промыслом — отправляла на тот свет незаконнорожденных младенцев (на ее счету более 50 загубленных душ), доставляемых ей повивальными бабками, и по подложным документам устраивала их захоронение на кладбище (сведения сообщены А. В. Лавриным). ...*студент с крещено-еврейской физиономией*... — В царской России евреи, принявшие христианство, юридически уравнивались в правах с гражданами русской национальности и на них не распространялись ограничения, касающиеся лиц иудейского вероисповедания. Однако на бытовом уровне отношение к так называемым «выкрестам» было несколько настроенным, что нашло отражение в поговорке: «Конь леченый, вор прощенный, жид крещеный — одна цена». Неудивительно, что представитель депутации «Союза русского народа», принятой Николаем II, заявил ему: «Евреи в члены союза, безусловно, не принимаются, хотя бы и исповедовали православную веру. Этим мы хотим выразить свое полное недоверие к ним. Мы твердо убеждены, что настоящая смута на Святой Руси — дело их рук. Желая блага родине своей, дерзаю верноподданнейше просить, умоляю Тебя, Великий Государь, повели не давать им равноправия с нами, иначе они будут владеть над нами». Государь ответил: «Я подумаю» (Наша жизнь. 18 января 1906). Впрочем, со временем истинно-русские не стали так рьяно блюсти расовую чистоту своих рядов, определяя возможность вступления в свою организацию не столько национальностью или религией, сколько степенью преданности престолу. *Народный дом* — общественное учреждение, имевшее просветительные и развлекательные функции. Явление это получило распространение в России на рубеже XIX—XX веков.

КАК СТУДЕНТ СЪЕЛ СВОЙ КЛЮЧ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО — Зритель. 1908. № 4. С. 7, 10. Рассказ имеет явную автобиографическую подоснову. В бытность своего пребывания в Гейдельберге Саша Черный никак не мог привыкнуть к филистерски-педантичному распорядку, сложившемуся в Германии. Неприязнь к этому миру доведена до гиперболизированного гротеска с неожиданной абсурдистско-кошмарной развязкой, заставляющей вспомнить прозу Д. Хармса. *Гессен В. М.* (1868—1920) — профессор права Петербургского политехнического института, член партии кадетов, депутат 2-й Государственной Думы.

СОВЕТ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ ЖИТЬ — Зритель. 1908. № 5. С. 7. Подпись: -ъ.

БЮДЖЕТ ХОЛОСТОГО ЧИНОВНИКА — Зритель. 1908. № 5. С. 10. Подпись: Иван Чижик. *«Вечерн. биржев.»* — сокращенное написание одной из наиболее популярных и распространенных российских газет «Биржевые ведомости» (1879—1919), выходившей ежедневно двумя выпусками — утренним и вечерним. *Коллежский ассессор* — в иерархической «Табели о рангах» соответствовал VIII классу, к которому обращение было: «Ваше высокоблагородие».

БЮДЖЕТ ЖЕНАТОГО ЧИНОВНИКА — Зритель. 1908. № 6. С. 4. Подпись: Иван Чижик.

СЛАВА, ДЕНЬГИ И ЖЕНЩИНЫ — Зритель. 1908. № 5. С. 13—14. Подпись: Черт в стуле. *Черт в стуле* — это выражение употреблено Сашей Черным в стихотворении «Потомки». Происхождение его невыяснено, возможно, это шутовское переложение на современный лад фольклорного образа «черт (или ведьма) в стуле». Этот редкостный псевдоним, а также ряд стилистических, лексических и семантических соотнесений с другими текстами Саши Черного позволяет включить данное произведение в качестве *dubia*. *Каменский А. П.* (1876—1941) — писатель, стяжавший у современников славу порнографа, певца «свободной любви». Особую скандальную славу имел рассказ «Четыре» (1907), герой которого на протяжении короткого времени соблазняет четырех случайных попутчиц. *Рукавишников* — см. с. 409. Много экспериментировал в области новых форм стихосложения. Его изыски, зачастую претенциозные и безвкусные, становились объектом пародирования (включенные в настоящий прозаический текст стихи, по сути, тоже пародия на Рукавишникова). *Мендельсон Р.* — берлинский банкир, посетивший Россию в начале 1908 года. В газетной хронике того времени сообщалось: «По слухам, находящийся в Петербурге банкир Р. Мендельсон получил на днях аудиенцию в Гатчине. За время своего пребывания Р. Мендельсон три раза посетил В. Н. Коковцова и столько же раз был у гр. Витте» (Наш день. 21 января 1908). *Цензор Д. М.* (1877—1947) — поэт, один из прилежных эпигонов символизма, чьими удручающе-однообразными стихами заполнены страницы журналов и газет дореволюционной поры. В эпоху общественного подъема 1905—1907 годов,

отдал дань обличительным, народническим настроениям, доминирующим в его первой книге стихов «Старое гетто» (1907). Необычная, кажущаяся искусственной и неподходящей для поэта фамилия обыгрывалась в многочисленных эпиграммах. Одна из них, под названием «Подзатыльник», принадлежит Саше Черному:

В рассказах, наструганных Дмитрием Цензором,
Конечно, ни тени крамольных идей,
Но если бы был я для Цензора цензором,
Наверно, решил он, что цензор злодей.

С-а Ч-й (РГАЛИ, ф. 1346, оп. 1, ед. хр. 440)

АУТОДАФЕ — Сат. 1908. № 7. С. 4. *Бальмонт К. Д.* (1876—1942) — поэт, имевший громадную популярность в начале века; один из основоположников символизма. Его музу отличала летучая зыбкость образов, импрессионизм, порхание по векам и странам (оттого, видимо, он и поименован здесь «поэтом-бабочкой»). Заглавия его книг даны в шутливой трансформации: «Кипящие здания» («Горящие здания», 1900), «Ко-фейные сказки» («Фейные сказки», 1905), «Литургия уродства» («Литургия красоты», 1905). Представляет интерес высказывание Саши Черного о Бальмонте, записанное современником в эмиграции: «Бальмонт — кудесник слова, этого нельзя не признать, но знаете что... у него больше сделанных стихов, чем стихийно вылившихся из сердца. Он — изумительный мастер, он — крупный поэт, но музыка слов у него властвует над голосом души» (К о н о п л и н И. Саша Черный // Новое русское слово. Нью-Йорк. 1932. 28 августа). *Ремизов А. М.* — см. с. 459. «*Chefs d'oeuvre*» — название сборника стихов, которым В. Я. Брюсов вступил в литературу в 1895 году. В предисловии автор завещал эту книгу «не современникам и даже не человечеству <...>, а вечности и искусству». «...сумасшедшего дома имени Андрея Белого». — Печатные и устные выступления Андрея Белого имели у критиков реалистического направления и у значительной части читающей публики репутацию заумно-экзальтированных (см. об этом с. 450). Присяжные фельетонисты и пародисты потешались, выставляя Белого в придурковатом виде. Особенно усердствовал В. Буренин, именуюя его «Андреем Белогорячным». *Кузмин* — см. с. 410. *Рукавишников* — см. с. 409. «*Морская болезнь*» — рассказ А. И. Куприна, напечатанный в 1908 году в альманахе «Жизнь», организованном Арцыбашевым. В нем писатель отдал дань модному в ту пору поветрию: сведению воедино социально-политических, психологических проблем и физиологии любви. Рассказ был осужден критикой, в частности, Саша Черный в стихотворении «Шутка» высказался по этому поводу так:

Еще скверней, когда Куприн
Без всяких видимых причин
В «Морской болезни» смело
Разделся неумело.

Позднее, включая рассказ в свое собрание сочинений, Куприн избавился от ряда натуралистических деталей. «*Капернаум*» — петербургский ресторан на Владимирском проспекте, именуемый еще в просторечии «Давыдкой» — по фамилии его хозяина (Давыдова). Это был первый ресторан, ставший своего рода литературным клубом. После 1905 года писатели, задававшие тон в литературе, облюбовали

для своих сборищ «Вену» и «Квисисану»; здесь же, у «Давыдки», продолжали собираться газетные репортеры, фельетонисты «мелкой» прессы и непризнанные поэты. *Городецкий С. М.* (1884—1967) — поэт, в 1906 году громко заявивший о себе книгой стихов «Ярь», в которой в своеобразной поэтической форме воскресил языческую, праславянскую Русь. Получил высокую оценку современников — А. Блока, В. Брюсова, В. Иванова и сразу был введен в круг символистов. Однако постепенно Городецкий отходит от идей символизма, начинает сотрудничать в изданиях, рассчитанных на невзыскательного, массового читателя, примыкает к различным нарождающимся литературным направлениям и группировкам. Колоритный шаржированный портрет Городецкого сделан его современником — критиком П. Пильским: «Я легко представляю себе эту долговязую фигуру, с бледным длинноносом лицом, напряженным, прыгающим взглядом, пулеметно спешащей речью, этого шустрого блондина, злобно-завистливого истерика, беспокойного литературного карьериста, профессионального интригана с заячьей душой и лисьей расчетливостью, изглоданного наимельчайшим судорожным тщеславием, неизменно выпиравшего на передние места, размашистым шагом взмахивающего на кафедрах, присоседившегося ко всем течениям, школам, модам и поветриям и всегда неизменно кончавшего нудным предательством» (Новое русское слово. Нью-Йорк. 1927. 28 августа). *Александровский сад* — сквер перед зданием Адмиралтейства, между Дворцовой и Сенатской площадями; излюбленное место гуляний петербуржцев.

БЮДЖЕТ ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ДАЧНИКА — Сат. 1908. № 12. С. 7. Подпись: Иван Чижик. *Продано татарину*. — Старьевщиками чаще всего были татары. *Дрэпер Д.-В.* (1811—1882) — профессор права Нью-Йоркского университета, автор книги «История умственного развития Европы» (1865). «*Спермин*» — лекарственный препарат. Широко рекламировался как средство от полового бессилия.

МЕРЫ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПРОТИВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОЛЕРОЙ — Сат. 1908. № 23. С. 4. Подпись: Иван Чижик. Эпидемия холеры, вспыхнувшая в столице в конце августа 1908 года, надолго стала дежурной темой газетной хроники. Вот что писали газеты через пару месяцев после начала эпидемии: «Заболевания холерой прогрессируют. За истекшую неделю ежедневная цифра заболеваний увеличилась почти вдвое, вместе с тем значительно увеличился процент смертности. <...> Всего с начала эпидемии заболело 8383, выздоровело 4765 и умерло 3380 человек» (Утро, 1908, 24 ноября). *Меньшиков М. О.* (1859—1919) — один из наиболее талантливых и ярких публицистов правого лагеря, сотрудник газеты «Новое время». В левых, радикально-демократических кругах его имя стало олицетворением «зоологического» национализма и нравственной нечистоплотности; «нововременскому Иудушке» считалось зазорным подать руку. *Оппенгейм А. Н.* — председатель санитарной комиссии Петербурга по борьбе с холерой. Выходя в отставку в начале 1909 года, предоставил отчет о своей деятельности, снабдив его эпиграфом — изречением древних: «Я сделал, что мог; кто может, пусть сделает лучше» (см.: Речь, 1909, 20 января). *Гучков* — см. с. 417. «*Новое время*» — одна из самых распространенных газет России, выходившая в 1868—1916 годах. В либерально-демократической части общества имела репута-

цию верноподданнической, холуйской, низкопробной. *Сырая женщина* — пышно-телая. Комический эффект рассчитан на омонимическое совпадение значения этого эпитета с тем, которое звучало отовсюду — в инструкциях по предупреждению холеры: «Не пейте сырой воды!» *Союзник* — член «Союза русского народа» (см. с. 410).

ПРИРОДА И ЛЮДИ — Сат. 1908. № 23. С. 7. Подпись: А. Глик-Берг. *Октябрист* — см. с. 450. *Кадет* — см. с. 408. *Альпака* — легкая ткань из шерсти горной козы семейства лам. ...*взгляните на Англию* — намек на пристрастие кадетов к политическому устройству Англии, ни в коей мере не связанному с ее климатическими особенностями — дождями и туманами. *Чесуча* — плотная шелковая ткань, обычно песочно-желтого цвета; зд. — одежда из чесучи. *Бритый* — определение, указывающее на принадлежность действующего лица к актерскому цеху. «*Роковой дебют*» — водевиль в одном действии П. Д. Ленского. Спектакли такого рода ставились обычно на подмостках летних театров в дачных поселках.

БЮДЖЕТ СТУДЕНТА — Сат. 1908. № 25. С. 5. Подпись: Иван Чижик. *Комиссаржевская В. Ф.* (1864—1910) — русская актриса, создавшая свой театр, где ставились пьесы современного репертуара. *Минто У.* (1845—1893) — английский буржуазный логик, автор учебника «Дедуктивная и индуктивная логика». Кстати, перечень книг, фигурирующих в данном «бюджете», позволяет предположить, что принадлежат они студенту философского факультета. «*Принцесса Греза*» — романтическая драма французского поэта Э. Ростана (1868—1918), написанная по мотивам средневековой легенды; переведенная в стихах Т. Л. Щепкиной-Куперник, в России начала века пользовалась огромным успехом, особенно в студенческой среде: «Таких бескорыстных чувств, о которых под аккомпанемент арфы декламировал неизвестный принц в голубом камзоле и в шляпе с перьями, опять-таки выдержать наши учащено бившиеся сердца не могли» (Д о н - А м и н а д о. С. 24). *Портрет Л. Андреева...* — Властитель дум начала века, Леонид Андреев отличался выразительно-благородной внешностью. Неудивительно, что его портреты заняли одно из самых почетных мест в интеллигентском «иконостасе» начала века. В. В. Розанов иронизировал по этому поводу: «Если судить по многочисленным фотографиям, развешанным в Петербурге по разным витринам, где «Леонид Андреев» красуется около девиц Отеро, Кавальери и Клео де Мерод, то он почти так же хорош, как те барышни: еще молодой, лицо «с мыслью», такой серьезный взгляд, бородачка ничего себе, не большая и не маленькая, не худ и не толст, сложен, очевидно, хорошо. Снимается то в европейском костюме, то по-русски. Жалко, что фотографии не раскрашены: брюнет он или блондин» (Ч у к о в с к и й К. Леонид Андреев большой и маленький. Спб., 1908. С. 10). *Штраус Д. Ф.* (1808—1874) — немецкий философ и богослов, последователь Гегеля. Из его биографических сочинений наибольшей известностью пользовалась биография Вольтера, которого он считал своим «собратом по оружию». *Каломель* — хлорид ртути, применяющийся в медицине как противомикробное средство. «*Сон в летнюю ночь*» — комедия В. Шекспира. *Гюйо Ж.-М.* (1854—1888) — французский философ, писатель, поэт, обращавшийся к темам морали и проблемам эстетики.

ОКРОШКА ИЗ ПРОФЕССОРОВ — Сат. 1908. № 25. С. 4. Подпись: Буль-буль. Прозаические миниатюры, подписанные «Буль-буль», появлялись в «Сатириконе» с 1908 по 1910 год четырежды. Принадлежность их Саше Черному атрибутирована на основании текстологического, стилистического и биографического анализа. Из главных доводов могут быть названы следующие. Две миниатюры посвящены жизни Женского медицинского института, где работала В. В. Соболева; по свидетельству ее близкой подруги — жены поэта — она ввела Сашу Черного в круг студенческой молодежи, и ей он посвящал стихи. Почти полное текстуальное совпадение фразы из этой миниатюры обнаруживается в позднем рассказе Саши Черного «Письмо из Берлина»: «Бедняга до того подавлен, что сегодня утром, приняв осеннюю муху на стене за гвоздик, повесил на нее свои последние золотые часы» (Ил. Россия. 1925. № 31. С. 1). В другой миниатюре Буль-буля «Любимые поговорки проф. В-га» имеются русские поговорки, комически перевернутые немцем, которые дословно повторены Сашей Черным в солдатской сказке 1932 года «Лебединая прохлада» (см. с. 299). Подобные пересечения, разделенные пространством и временем, едва ли можно считать случайными. *Салазкин С. С.* (1862—1932) — ученый-биохимик, основные труды которого посвящены азотистому обмену в животных организмах (в «Городской сказке» Саши Черного об этом сказано так: «Потом... был скучный анализ: выделение в моче мочевины...»). В 1898—1911 годах профессор и ректор Женского медицинского института в Петербурге. *Вейнберг Р. Л.* (1867—?) — родился в Дерпте (Тарту). Профессор анатомии; его лекции пользовались огромной популярностью у студентов. *Ремизов А. М.* — см. с. 459. *Бороздин А. К.* (1863—1918) — историк литературы. В Петербургском университете и других высших учебных заведениях читал курс лекций по истории русской литературы XIX века. *Введенский А. И.* (1856—1925) — философ-идеалист, представитель русского неокантианства, автор трудов по психологии и логике, председатель Петербургского философского общества. *Лапшин И. И.* (1870—1954) — профессор философии неокантианского направления; преподавал в Петербургском университете и других высших учебных заведениях. *Зелинский Ф. Ф.* (1859—1944) — поэт-переводчик, интерпретатор и популяризатор античной литературы; профессор классической философии. А. Блок, слушавший его лекции, причислял Зелинского к «истинно интеллигентным и художественным людям».

ВЕСЕЛЫЕ СИЛЛОГИЗМЫ — Сат. 1908. № 33. С. 3. Подпись: Иван Чижик. *Буренин В. П.* (1841—1926) — поэт, сатирик, пародист, обладавший злым, даже злобно-язвительным пером. Некоторые его литературные пассажи могут быть отнесены к разряду беспардонного пасквиля. Недаром бытовала эпиграмма:

Бежит по Невскому собака,
За ней Буренин, тих и мил.
Городовой, смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил.

Меньшиков М. О. — см. с. 414. *Марков Н. Е.* (1866—1945) — крупный помещик Курской губернии, политический деятель, член 2, 3 и 4-й Государственных Дум. В прессе получил известность под именем «Маркова 2-го» (депутаты-однофамильцы нумеровались по возрастному старшинству). Ярый черносотенец, один из лидеров «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела». Его

речи в Думе нередко носили непарламентский характер, за что нарушитель удалялся с заседаний. *Гучков А. И.* (1862—1936) — политический деятель, один из организаторов и руководителей «Союза 17 октября» (так называемые октябристы). Член 3-й Государственной Думы, в 1910—1911 годах — ее председатель. В Думе фракция октябристов занимала центристские позиции и при принятии законов для получения парламентского большинства иногда солидаризировалась с правым, монархическим крылом. *Пуришкевич В. М.* (1870—1920) — политический деятель, лидер правого крыла в Думе, монархист. Один из основателей «Союза русского народа», а после его раскола возглавил «Союз Михаила Архангела». Левая пресса обычно изображала его одиозно-примитивной личностью. Однако он окончил в Одессе историко-филологический факультет университета, выпустил не одну книгу стихов, в том числе и сатирических, был признанным мастером ораторского искусства. В воспоминаниях М. А. Волошина он предстает умным и интересным собеседником. *Хомяков Н. А.* (1850—1925) — первый председатель 3-й Государственной Думы. Его соратник по партии октябристов и член Думы дал Хомякову такую характеристику: «Умный, пожалуй, скорее остроумный, скептик по природе, оппозиционно настроенный к Петербургу славянофил московской закваски, он был типичным барином старого закала. Его оппозиция петербургскому миру, однако, была лишена злобности и ненависти, столь свойственной русской левой общественности, она смягчалась прирожденной добротой и мягкостью характера, притом развитый государственный инстинкт побуждал его дорожить теми национальными силами, кои создали в течение столетий русское могущество» (С а в и ч И. В. Воспоминания. Спб., 1993. С. 78). Саша Черный, вообще скептически относившийся к Думе, не был столь снисходителен к ее председателю. Можно предположить, что Саше Черному (А. Гликбергу) принадлежит сатирическая публикация «Мысли великих людей о русской действительности», напечатанная в газете «Утро» от 17 ноября 1908 года за подписью: «Собрал А. Г.». Хомяков в этой подборке охарактеризован афоризмом Ларошфуко: «Нельзя долго нравиться при помощи одних и тех же острот».

ПОПРАВКИ ИСТИННО-РУССКИХ ОКТЯБРИСТОВ К МИНИСТЕРСКОМУ ЗАКОНОПРОЕКТУ О ПЕЧАТИ — Утро. 1908. 24 ноября. В рубрике: «Улыбки и гримасы». Подзаголовок: Из альбома Саши Черного. Сатирический трактат Саши Черного заставляет вспомнить К. Пруtkова, точнее его «Проект: о введении единомыслия в России» (1863). Этот ревностный блюститель благонамеренности и чиновничье-полицейского порядка высказал извечную мечту самовластья о превращении своих подданных в послушное стадо: «Истинный патриот должен быть враг так называемых «вопросов» (Козьма Прутков. Полн. собр. соч. Л., 1965. С. 153). В заголовке намеренно сведены воедино истинно-русские (то есть черносотенцы) и октябристы (см. с. 410 и 450), ибо для принятия некоторых законопроектов в Думе они нередко выступали как единый блок. *Франциск I* (1497—1560) — король Франции, ревностный католик, преследовал отступников от католической веры. *Бранные слова <...> предоставить в исключительное пользование правой прессы.* — Черносотенная печать была рассчитана на невзыскательного читателя и потому пользовалась нередко грубым уличным лексиконом. Так, московский комитет по делам печати, характеризуя газету «Вече», отмечал: «Газета издается очень умело и бойко, обнаруживая весьма опытного руководителя. Она знает свою аудиторию, и всякий номер представляет из себя что-либо забористое, а то и скандальное.

Впервые среди русской печати появился орган с грубою, откровенною речью, с руганью прямой и беззастенчивой...» (Степанов С. А. Черная сотня в России. М., 1992. С. 103—104). ...членам с.р.н. из евреев. — См. с. 411. ...Обязать <...> выписывать от 1—3 (в зависимости от состояния) правых газет. — Помимо столичных изданий — «Русское знамя», «Вече», «Земщина», черносотенные газеты выходили во многих губернских городах. Это: «Набат», «Русская правда», «Сибиряк», «Русь», «Бессарабец», «Друг», «Сусанин», «Курская быль», «Патриот», «Русский богатырь», «За царя и родину», «Орел», «Колокол», «Стяг» и др. Были и свои сатирические журналы: «Дубина», «Оглобля», «Виттова пляска», «Плювиум». Однако расходилась «патриотическая» пресса с трудом, несмотря на усилия и поддержку местных властей. Так, курский губернатор, «признав необходимым, чтобы «Курская быль» выписывалась всеми полицейскими управами, высказал желание, чтобы начальники полиции способствовали неофициальным путем распространению названной газеты в порученных им районах» (Степанов С. А. Черная сотня в России. М., 1992. С. 104). Никольский Б. В. (1870—1919) — приват-доцент Петербургского университета, правовед по образованию, литературовед-пушкинист, библиофил, блестящий оратор и кумир учащейся молодежи. Один из немногих высокообразованных сторонников черносотничества, который в своих устных и печатных выступлениях идеологически обосновывал воззрения правых.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ КРИТИКАМ — Сат. 1908. № 37. С. 10. ...оставь Андреева в покое. — Отзыв Н. К. Михайловского на первую книгу рассказов (1901) Л. Н. Андреева, в котором приветствовалось новое дарование и предсказывалась ему будущность, положил начало сотням статей, рефератов, рецензий, фельетонов, книг и брошюр о Леониде Андрееве. К. И. Чуковский, попытавшийся объять и систематизировать эту критическую литературу, пришел к удручающим выводам: «В России лучше быть фальшивомонетчиком, чем знаменитым русским писателем. Я взял на себя интересный труд и прочитал по старым журналам и газетам все статьи и заметки, которые были посвящены Леониду Андрееву с 1901 г. по настоящее время. Это нечто до такой степени оскорбительное и унижающее, что слава Ольги Штейн, клоуна Дурова и Пуришкевича кажется завидной и радостной, в сравнении с этой славой великого русского художника» (Чуковский К. И. Леонид Андреев большой и маленький. 1908. С. 69—70).

СМЕНА — Утро. 1909. 2 января. ...мы еще повоюем! — Название стихотворения в прозе И. С. Тургенева (1882), ставшее крылатым выражением. Обычно цитируется как формула оптимизма, уверенности в своих силах. Новицкий Г. П. — поэт, скандально заявивший о себе первой книгой стихов «Зажженные бедны» (1908). Критикой она была встречена резко отрицательно: «Идя вслед за Брюсовым, он взял из городской жизни то, до чего никто еще не опускался, постарался заглянуть в такие уголки, в которых, кажется, никто и не мог бы предположить поэзии. <...> Воспевая со смаком преимущественно грязь, Гр. Новицкий отдыхает душой на «женской неге», которую воспекает чуть ли не в каждом стихотворении и мечтает о ней в самых разнообразных формах. <...> И, конечно, самое лучшее было бы в испуге молчать о столь смелом и непонятном поэте, предоставив его

оценку истории, будущим поколениям. Но молчать о Гр. Новицком трудно. Слишком уж он громко кричит о себе не только книгами, но непосредственно с эстрады. Нет ведь литературного или благотворительного вечера, где бы он не выступал вместе, рядышком с поэтами Городецким, Ремизовым, Рославлевым, Кузминым и другими» (Б о ц я н о в с к и й В. Шакалы декадентства // Жизнь. Москва. 1909. 28 февраля). ...*Впрочем, Пинкертон уже умирает.* — Поток авантюрно-приключенческой литературы, издававшейся в виде отдельных выпусков, следующих один за другим, заполнил книжный рынок и вовсе не имел тенденции к сокращению. Тиражи по тем временам были астрономическими, о чем можно судить по справке, предоставленной «Книжной летописью»: «За время от 20 декабря по 7 января 1909 выпущено в продажу следующее количество сыщицкой литературы. «Приключения Шерлока Холмса» — 82 тыс. экз., «Новейшие приключения Шерлока Холмса по его протоколам» (!) — 20 тыс. экз., «Нат Пинкертон — король сыщиков». Вып. 85 и 86 — 50 тыс. экз., «Ник Картер». Вып. 45 — 22 тыс. экз., «Черная маска или кровавый союз» — 6 тыс. экз., «Пат Конер» — 17,2 тыс. экз. Итого за 18 дней только по официальным сведениям выпущено 207 200 экземпляров» (Речь. 1909. 14 января).

ЛЮБИМЫЕ ПОГОВОРКИ ПРОФ. В-ГА (ЖЕН. МЕДИЦ. ИНСТИТ.) — Сат. 1909. № 45. С. 5. Подпись: собрал Буль-буль. *Проф. В-г* — имеется в виду Р. Л. Вейнберг. О нем см. с. 416 комментария к миниатюре «Окрошка из профессоров».

ПРИСУЖДЕНИЕ ПУШКИНСКИХ ПРЕМИЙ В 1911 г. — Сат. 1909. № 46. С. 5. Подпись: С-а Ч-й. В 1881 году под председательством академика Я. К. Грота была создана под эгидой Императорской Академии наук Комиссия для учреждения премий А. С. Пушкина в области словесности. Премии присуждались каждые два года. После 1899 года, когда Академию наук возглавил Великий князь Константин Константинович Романов, писавший стихи под псевдонимом К. Р., состав премированных авторов во многом определялся его обветшалом-косными вкусами и личными пристрастиями. Так, первой премии за перевод «Божественной комедии» Данте в 1907 году удостоен Д. С. Мин, а в 1911 году А. М. Федоров (за стихотворения и рассказы). В числе получивших одобрение в эти же годы: В. Г. Жуковский, Б. А. Лазаревский, О. Н. Чюмина, В. И. Рудич, В. А. Шуф и др., в то же время действительно выдающиеся художники слова зачастую оставались вне поля зрения этой комиссии. *Петр Зудотешин* — литературный персонаж, герой фельетона О. Дымова «Дело Зудотешина» (Свободные мысли. 1908. 28 января). Это сатира на литературные нравы и особенности книжного рынка тех лет. Герой фельетона выпустил книгу с совершенно пустыми листами. Вокруг этого издания разворачиваются гротесково-невероятные события. Сначала книга конфискуется по политическим мотивам, ибо «главная крамола находится именно в белой бумаге, в междустрочии, междубуквии». Это означало небывалый успех, вызвало множество переизданий, переделок в драму, переводов на другие языки... Декламаторы исполняли на литературных вечерах отрывки из книги Зудотешина. При желании можно привести немало фактов эпохи «серебряного века», перекликающихся с этой выдуманной историей. Так, Г. Новицкий, о котором сказано выше, поместил в своем сборнике стихотворение «Май» с подзаголовком «Первомайский празд-

ник», состоящее из одних точек. А Василиск Гнедов опубликовал в 1913 году «Поэму конца», представляющую собой чистую страницу. Более того: поэт выступал с ней на вечерах — «читал ритмо-движением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот...». *Поприщин* — герой повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего». *Дядя Михай* — псевдоним С. А. Короткого (1854—?) — поэта, рекламировавшего в стихах табачные изделия. На печатных страницах нередко помещалось фото «Дяди Михея» со следующей самоаттестацией: «Герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Прежде бил турок, теперь их же табаком бьет своих конкурентов» (Сат. 1910. № 11). *Рудич В. И.* (1872 — после 1940) — писательница, жившая на Волыни; пользовалась расположением августейшего поэта К. Р. Ее опыты в стихах и прозе — типичный набор условно-поэтических банальностей. В специальном номере «Сатирикона», посвященном пошлости, Саша Черный поместил за подписью «Иван Чижик» пародию:

В альбом Вере Рудич

У ног моих бушует море.
Как лава, стынет в сердце кровь,
И соловей, врачуя горе,
Поет мне сладко про любовь.

Кусты задумчивой сирени,
Склонясь над пеной смелых волн,
Бросают призрачные тени
На позабытый старый челн.

Дрожа над ветками березы,
Плывет уж кроткая луна,
В тоске роняю слезы-розы,
И грустью грудь моя полна...

Дни, годы, месяцы и ночи
Смотрю в твои глаза, любя.
О, эти пламенные очи!
О, как же я люблю тебя...

(Сат. 1910. № 6)

Ленский Владимир — псевдоним поэта В. А. Абрамовича (1877—1926), стихотворца околomodернистского толка, активно печатавшегося в петербургских изданиях. *Норвежский Оскар* — псевдоним критика О. М. Картожинского (1882—1933). Сотрудничал в полубульварных изданиях: «Петербургская газета», «Синий журнал». Много шума наделал составленный им «Альманах молодых» (1908), включавший автобиографии современных писателей с интимными подробностями. *Брешко-Брешковский Н. Н.* (1874—1943) — прозаик, спортивный журналист, художественный критик. Один из самых плодовитых авторов увлекательного чтения, рассчитанного на невзыскательную публику и посвященного чаще всего быту цирковых борцов или скандальной изнанке светской жизни.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГГ. ПРИЕЗЖАЮЩИХ В МОСКВУ — Сат. 1909. № 51.
С. 3. Подпись: Иван Чижик. ...*поезжай в Сандуновские бани и, встретив там*

Петра Боборыкина... — Боборыкин П. Д. (1836—1921) — романист, один из основоположников натуральной школы в отечественной литературе, бытописатель купеческой Москвы, одна из колоритных фигур Москвы начала века, завсегдаятай Сандунов, что нашло отражение в мемуарной литературе, например, в воспоминаниях Б. А. Садовского: «Еще живы были престарелый Забелин, хромой Бартенева, суровый Толстой. В Сандуновских банях любил париться Боборыкин» (РГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 3). *Иверская* — часовня близ Красной площади, где находилась православная святыня — икона Иверской Божьей матери. В проезде ворот Иверской постоянно была толчея, скопление торгующих и просящих подавание.

ВЗГЛЯД И НЕЧТО — Сат. 1910. № 5 (специальный номер «О пошлости»). С. 7. Подпись: Буль-буль. В качестве заглавия использовано иронически-шутливое выражение, вошедшее в обиход из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 4, явл. 4), — слова Репетилова:

В журналах можешь ты, однако, отыскать
Его отрывок — Взгляд и Нечто.
О чем бишь Нечто? — обо всем.

Октябристы — см. с. 450.

РУССКИЙ ЯЗЫК — Сат. 1910. № 9. С. 5—6. Автор намеренно, доводя до абсурда, насытил интермедию «тугопонятыми» словесами — иностранными, древнеславянскими и др. Поэтому объяснять их в данном случае вряд ли необходимо. Достаточно широкое и свободное использование философской терминологии объясняется, видимо, тем, что Саша Черный был вольнослушателем философского факультета в Гейдельбергском университете. *Кандибобер* — одно из значений в «Словаре русских народных говоров» — необычный замысловатый вид либо причудливое поведение кого-либо. *Систр* — древний музыкальный инструмент, атрибут необузданного веселья.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ФЛИРТА В КВАРТИРЕ — Сат. 1910. № 12. С. 2—3. Подпись: С-а Ч-й. «*Лан*» — роман норвежского писателя К. Гамсуна (1859—1952). Переведенный на русский язык, стал чрезвычайно популярен в начале века среди интеллигенции, увлечение им было почти повальным. В романе опоэтизирована сильная и странная личность, живущая в единении с природой и повинующаяся в своих поступках лишь зову сердца. *Хомяков* — см. с. 417. На посту председателя Государственной Думы пытался установить добрые отношения с царем, что не устраивало радикально настроенную часть руководства парламента. «Попытки побудить его считаться с пожеланиями бюро были тщетны, Хомякову органически были противны подпольная борьба и дрязги политических противников, с которыми ему нужно было бороться, если бы он пошел по пути, на который его толкало бюро. Он поступил как избалованный барин — ушел, отряс прах с ног своих» — так объясняет неожиданную добровольную отставку Хомякова в начале

1910 года его коллега по Думе (С а в и ч Н. В. Воспоминания. 1993. С. 79). «Вехи» (1909) — сборник статей о русской интеллигенции. Подводя итоги первой русской революции, выдающиеся мыслители Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон и другие критически пересмотрели роль интеллигенции в народной судьбе, предъявив ей целый ряд обвинений духовно-нравственного порядка. Выход книги породил ожесточенные и самые противоречивые споры в обществе: одни восторгались мужеством и свободомыслием авторов, другие клеймили их за «рenegатство». *Никиш А.* (1855—1922) — венгерский дирижер, виднейший представитель дирижерского искусства, неоднократно гастролировавший в России. *Териоки* — дачный поселок к северу от Петербурга (ныне Зеленогорск).

ЧЕХАРДА — Солнце России. 1910. № 11. С. 10. *На выставке «Четырехугольника»* — явный намек на выставку художественно-психологической группы «Треугольник», возглавляемую Н. И. Кульбиным; была устроена совместно с группой Д. Д. Бурлюка «Венок-Стефанос» и редакцией журнала «Сатирикон» в марте 1910 года. В экспозиции были представлены работы русских авангардистов и импрессионистов, предметы прикладного искусства, народная скульптура, мебель, афиши. К открытию выставки приурочен выпуск сборника «Студия импрессионистов», где были опубликованы стихи В. В. Хлебникова и Д. Д. Бурлюка. ...*Реалист! <...> Вот и ошибаетесь. Я собственно из пятого класса гимназии...* — Комизм диалога построен на омонимическом совпадении двух значений: 1) художник реалистического направления; 2) учащийся реального училища — учебного заведения среднего образования с практической направленностью, в основу обучения которого, в отличие от классической гимназии, было положено преподавание предметов естественно-научного и математического циклов.

«ОБРАТНО» — Сат. 1910. № 44. С. 5. *Философов Д. В.* (1872—1940) — литературный критик, публицист и писатель, один из создателей журнала «Мир искусства» (1899—1904). В газете «Русское слово» от 6 октября 1910 года напечатана его реплика фельетонного содержания «Для академического словаря», в ответ на которую последовал данный фельетон Саши Черного. Годом позже Философов вновь повторил свои претензии к Саше Черному, искажающему, по его мнению, литературный язык. На это последовало «Письмо в редакцию» Саши Черного, где было сказано: «Г. Философов в статье «Война мышей и лягушек» («Речь» № 300) называет меня придворным поэтом «Сатирикона». Это неверно <...>. Дальше: я никогда не заставлял своего героя и героиню целоваться «туда и обратно». Нельзя, цитируя автора, заменять подлинные выражения пародированием их, — как бы игрива пародия ни была» (Речь. 1911. 5 ноября).

ГЛУПОСТЬ — Сат. 1910. № 50. С. 4. Подпись: С-а Ч. *Вербицкая А. А.* (1861—1928) — модная в начале века беллетристка. Ее романы «Ключи счастья», «Иго любви» и другие воспринимались критикой как символ пошлости, бульварщины с элементами порнографии. Имя Вербицкой стало в этом смысле синонимом.

НАИВНЫЕ СЛОВА — Современник. 1911. № 2. С. 392—393. Подпись С-а Ч. В сатирическом разделе журнала «Сверчок». «Нива» — еженедельный иллюстрированный литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1870—1918 годах (издатель А. Ф. Маркс). Наряду с произведениями, ставшими отечественной классикой, на его страницах публиковалось множество безликих и ничем не примечательных сочинений. Политически нейтральный журнал «Нива» предназначался для самой широкой читательской аудитории: тираж его в дореволюционной России достигал 250 тыс. экз. Культурной заслугой «Нивы» было издание (в качестве приложения) собраний сочинений выдающихся русских и иностранных писателей. «Реклама — двигатель торговли» — расхожий афоризм, который был пущен в обиход в прошлом веке российским предпринимателем Метцелем, открывшим первую в России контору по приему объявлений.

НОВЕЙШИЙ САМОУЧИТЕЛЬ РЕКЛАМЫ — Русская молва. 1913. 13 апреля. По-видимому, об этом произведении идет речь в письме Саши Черного к А. М. Горькому, помеченному январем 1913 года: «В «Современ<нике>» работаю. Дал пять сатир и нечто вроде статьи «О рекламе» (Письма к Горькому. С. 25). «Нива́» — см. выше. ...*тарарабумбия*» — словообразование, пришедшее из пьесы А. П. Чехова «Три сестры», где Чебутыкин постоянно напевает: «Тарара... бумбия... сижу на тумбе я...» Употреблялось для обозначения неотвязной бессмыслицы. «Арфы из шарфов» — весьма вероятно, что это претенциозное заглавие навеяно Г. Новицким, который в 1910 году выступил с манифестом «эолоарфизма» — «нового и совершенно оригинального направления в искусстве, опирающегося на интуицию как единственный критерий прекрасного и единственный путь для достижения абсолютной свободы художественного творчества». *Печатать на обоях и оберточной бумаге...* — В этих словах нет никакого сатирического утрирования. Одно из первых изданий кубофутуристов «Садок судей» (1910) было действительно напечатано на оборотной стороне обоев. Сплошь и рядом в своих изданиях авангардисты использовали бумагу грубой фактуры. ...*не считаясь с устарелым мнением Гоголя, высказанным в «Завещании»* (п. 7). — Н. В. Гоголь просил книгоиздателей не публиковать при жизни и после смерти его портреты, кроме одного, признанного им удачным. ...*«беспокойная ласковость взгляда»* — начальная строка стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная». ...*поговоркой о гречневой каше*. — Имеется в виду поговорка: гречневая каша сама себя хвалит. ...*При рассылке даровых экземпляров критикам следует избегать одинаковых надписей*. — Следует обратить внимание, что инскрипты самого Саши Черного, обращенные к собратям по перу, характеризуются сдержанным лаконизмом и однообразием: «Многоуважаемому Аркадию Вениаминовичу Руманову от автора. Окт. 1913», «Алексею Максимовичу Горькому от автора», «Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому на добрую память от автора. Май. 1914». Лишь для тех, с кем установились дружеские взаимоотношения, Саша Черный находил несколько более теплые и нестандартные слова: «Дорогому Константину Ивановичу Диксону от сердечно любящего его Саши Черного». — «Высоко (!) уважаемой Марии Людвиговне Моравской от бывшего С. Черного. Окт. 1913» — «Многоуважаемой Любви Яковлевне Гуревич на добрую память от безработного пессимиста. Апрель, 1914». ...*придумать себе какую-нибудь гениальную внешность*. — Двадцатый век внес новые формы общественного поведения писателей, позднее названные «театрализацией жизни». Коснулось это поветрие и внешнего

облика писателей: «С легкой руки Горького были тогда в большой моде русские рубашки и поддевки. Носили их и Скиталец, и Андреев, и Арцыбашев и многие др. Кто не рещался просто на рубашку, носил что-то вроде охотничьей куртки со складками (кажется, позже именно из нее родилась «толстовка»). Бородачи из поколения постарше предпочитали строгий сюртук. Носить просто пиджаки считалось как-то неудобным» (Х о х л о в Е. «Сатириконтон» и сатириконтонцы // Рус. новости. Париж. 1950. 5 мая). ...кинematографы обращаются только к тем авторам, которые получают не менее 500 рублей с листа. — Газетная информация тех лет позволяет персонифицировать некоторых авторов, запечатленных кинематографом: «Кинематографические фирмы уделяют сейчас значительный интерес русской литературной среде. Многие авторы запечатлены в своей домашней обстановке или на прогулке. На световой экран так попали уже: Куприн в Гатчинской обстановке с двумя собратями своими — Будищевым и Тихоновым, Мережковский, Поликсена Соловьева (Allegro), Ясинский, Алексей Толстой, Ратгауз и др.» (Бирж. ведомости. Вечерн. вып. 1912. 22 октября). ...выступления на литературных вечерах и чтение так называемых лекций. — По поводу «Эпидемии лекций» в подборке «Мысли великих людей о русской действительности» (по-видимому, принадлежащей А. Гликбергу — подпись: *Собрал А. Г.*) приводится цитата из В. Белинского: «О чем больше всего и везде читается публичных лекций? Разумеется, о словесности и языке, потому что ни об одном предмете нельзя так много говорить общих мест и учить других, не учась ничему и ничего не зная» (Утро. 1908. 17 ноября). ...органические недостатки речи (*пришепетывание, шепелявость, заикание и проч.*) не должны служить препятствием... — П. Пильский пишет о зарождении трибунной или эстрадной поэзии: «До 1905 года писатели скромно хоронились в тени, избегали публичных выступлений и вытащить их на эстраду можно было с большим трудом. Это удавалось только устроителям благотворительных вечеров в пользу недостаточных студентов и курсисток. <...> если бы не 1905 год, принесший новую моду. Тогда на петербургской эстраде вдруг стали появляться поэты и писатели, читавшие публике свои произведения, зажженные самым неистовым революционным пафосом. В большинстве случаев с этих эстрад преподносились весьма громкие, но и очень бездарные вирши. Особенно прославился вертихвостый Тан-Богораз. Этот шепелявый и безголосый трибун заканчивал свое «агитационное» стихотворение так:

И учредительный да здравствует собор!

Кроме всех других недостатков, Тан еще и картавил, а только в одной этой строке рычал три «р», — легко себе представить смехотворный эффект таковых выступлений» (П и л ь с к и й П. Нижегородский снос // Сегодня. Рига. 1930. 18 апреля). ...«*Sic transit*...» «*Memento mori*» — крылатые латинские выражения: «Так проходит мирская слава» и «Помни о смерти».

ЭЛЕГИЧЕСКАЯ САТИРА В ПРОЗЕ — Современник. 1913. № 5. С. 298—300. ...и вообще ни на кого не был похож. — Сапа Черный на собственном опыте убедился, как нелегко преодолеть инерцию стиля, общепринятого и узаконенного в современных ему изданиях. В письме к критику, редакционному сотруднику «Современного мира» В. П. Кранихфельду он, споря, ставит свои вопросы и выставляет свои доводы: «Как развернуться дарованию индивидуально и полно, когда

будут ставить ему рогатки и признавать в нем только то, что звучит «как у всех»? Ведь это к «благонамеренности стиля какой-то сведется. Зачем тогда и писать?» (ИРЛИ, ф. 528, оп. I, ед. хр. 360, л. 3). ...пользуясь сходством фамилий, выступал от его имени в провинции. — Эту особенность нравов литературного мира Саше Черному довелось испытать на собственном опыте. Еще будучи «сатириконцем», поэт вынужден был дать следующее «Необходимое разъяснение»: «Милостивый Государь г. Редактор! Очень прошу Вас огласить в печати следующее: из полученных мною писем от редакций «Восточной зари» и «Сибирской мысли» я узнал, что некто Александр Васильевич Соколов из СПб-га предложил свое сотрудничество нескольким сибирским газетам и в течение 1910 года печатал свои стихотворения и фельетоны в газетах «Далекая окраина», «Омский вестник», «Восточная заря» и «Сибирская мысль» под псевдонимом... Саша Черный. Одновременно мною получено письмо от редакции «Рыбинского вестника» с просьбой разъяснить, являюсь ли я тем самым лицом, которое предложило им сотрудничество и прислало свои стихотворения, подписанные псевдонимом «Саша Черный»?» (Сат. 1910. № 51. С. 4). Аферисты, пользовавшиеся именем Саши Черного, продолжали появляться и позднее, несмотря на «письма в редакции» и опровержения самого Саши Черного (подробнее об этом см. И в а н о в А. С. «Не упрекай за то, что я такой...» // Панорама искусств. Вып. 10. М., 1987. С. 382).

ТЕХНИКИ — Народное эхо (Пятигорск). 1917. 6 июля. В качестве комментария, проясняющего в какой-то мере отношение Саши Черного к «технике» войны, могут служить мемуарные свидетельства А. М. Федорова, встретившегося с поэтом на фронте и запомнившего некоторые из его высказываний: «Мне кажется, что в войне вообще никто ничего не понимает, а у нас в штабе, где как будто должны были бы что-то понимать, по-моему, понимают меньше всего, хотя делают вид, что понимают что-то. <...> Ведь если бы на самом деле кто-нибудь понимал в войне, то есть по-настоящему думал о войне, то никакой войны и не могло бы быть. — «Ну, это уж Вы, так сказать, из другой оперы. Я думал, Вы имеете в виду технику войны». — Да хотя бы и технику. Ведь в технику входит не одна только математика, химия да какая-то там сомнительная стратегия. Самое главное — это та стихия войны, которая к черту рушит и математику, и стратегию...» (Российский фонд культуры. Архив А. М. Федорова. Воспоминания о Саше Черном).

БУМЕРАНГ

Идея создания под обложкой «Иллюстрированной России» «независимого двухнедельника сатиры и юмора» «Бумеранг» (своего рода «журнала в журнале») принадлежит, вероятно, Саше Черному. У персонажа своего давнего стихотворения «Городская сказка» писатель заимствовал литературное имя. Под редакцией профессора Фаддея Симеоновича Смяткина вышло всего 13 номеров «Бумеранга» (с 1 мая по 1 ноября 1925 года). В последнем из них помещена прощальная передовица — «Профессор уезжает». Через несколько номеров в журнале появилось траурное сообщение «о скоропостижной смерти главного редактора «Бумеранга» профессора Фаддея Симеоновича Смяткина, последовавшей в ночь на 27 октября

в задней комнате быстро «О рандеву дез апаш» от систематического злоупотребления им «водка русс» и «аперитив франсе».

С кончиной редактора «Бумеранг» не прекратил свое существование, но состав его авторов и корреспондентов сменился почти полностью. Вскоре был представлен и новый редактор: Псой Сысоевич Куроцапов де Лаперуз, доктор политграмоты и кожных болезней.

Анализ материалов, помещенных в первых 13 номерах «Бумеранга», позволяет сделать вывод, что едва ли не целиком он осуществлялся Сашей Черным. Появление же на страницах «Бумеранга» произведений других авторов можно считать скорее исключением, и число их невелико: стихотворение К. Бальмонта, сатирическая миниатюра Дон-Аминадо (под криптонимом Д-А) и стихотворение Ю. Отяева. Последнему принадлежат, по всей вероятности, и пародийные корреспонденции бесед с Троцким, Зиновьевым, Чичериним, подписанные «Летучий голландец» (Ю. Отяев жил в голландском городе Гаарлем).

Что касается других материалов «Бумеранга», то они, судя по всему, принадлежат перу Саши Черного. В отношении одних это можно утверждать с достаточной определенностью — тех, что подписаны уже известными и раскрытыми псевдонимами поэта или их сокращенными модификациями. Это: А. Черный, А. Ч., Ч., Ф. С. Смяткин, Sandro, S...o, S., Turdus. Другие могут быть отнесены к dubia, — то есть к произведениям, приписываемым данному автору, — с той или иной степенью достоверности. Подписаны они псевдонимами эпизодического или единичного использования, либо печатались без подписи, как редакционный материал.

Здесь невозможно привести всю систему атрибуционных доказательств в пользу авторства Саши Черного, ибо это задача отдельного исследования. Скажу только, что проведено сквозное сопоставление дубиальных текстов с теми произведениями, где авторство Саши Черного установлено, на предмет выявления своего рода атрибутивных «биллингв». В так называемый «литературный конвой» привлечены специфические, только данному автору присущие словечки и лексические обороты, необычные имена собственные, излюбленные приемы и формы — как бы личное клеймо автора, а также характерные сюжетные коллизии, семантические блоки и, наконец, биографические вкрапления. При этом выявлен довольно внушительный ряд пересечений (некоторые из них отмечены в комментарии).

Впрочем, нельзя исключить, что иные из безымянных юморесок «Бумеранга» были результатом коллективного сотворчества, что — увы! — установить едва ли возможно.

В настоящем издании пришлось отказаться от первоначального, журнального расположения материалов «Бумеранга» — по номерам. Причин несколько. Во-первых, сатиры в стихах включены во 2-й том данного собрания. Во-вторых, некоторая часть текстов «Бумеранга», как уже сказано, принадлежит другим авторам. В-третьих, далеко не все в этой сатирической россыпи можно назвать удачным, имелись и малозначительные, «проходные» миниатюры, не выдерживающие проверки временем.

В данной подборке представлены наиболее интересные и характерные произведения малых форм «Бумеранга». Более крупные по объему вещи — «Эмигрантские разговоры», «Голова блондинки» и «Краснодемон» — вынесены в другой раздел настоящего тома. Все материалы выстроены по преимуществу в хронологической последовательности — в порядке их появления в печати. Особый подход

сделан к рубрикам, продолжающимся из номера в номер: «Наши телеграммы», «Происшествия», «Объявления», «Почтовый ящик». Они объединены в некие контаминационные совокупности, внутри каждой из них соблюден тот же хронологический принцип.

ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ — ИР. 1925. № 20. С. 10. Без подписи. Почти каждый номер «Бумеранга» открывался передовицей, написанной якобы от имени редакции. В данном случае она построена в виде «вопросника» — форма, к которой Саша Черный прибегал и в начале своего творческого пути (см. «Фразы для членов английского парламента на случай их приезда в Петербург», 1909), и в последние годы жизни («Новейший комсправочник», 1926). Эти «Детские вопросы» как бы продолжают тему мнимо-наивного разоблачения, начатую в фельетоне «Разговор с дедушкой» (1924). *Почему изобретателей новых разрушительных газов не сажают в сумасшедший дом...* — Это тема сатирической сказки Саши Черного «Техники» (1917). ...у эмигрантских детей нет ни одного <...> детского журнала. — После «Зеленой палочки», вышедшей в Париже в 1920—1921 годах, основные центры эмигрантского рассеянья (Париж, Берлин, Прага) действительно долгое время не имели ни одного журнала для маленьких читателей. *Почему танцкласс с крепкими напитками <...> называет себя «литературным кружком»?* — По-видимому, имеется в виду литературно-художественный кружок, располагавшийся в полуподвале на ул. Батиньоль. Это культурно-развлекательное заведение являлось своего рода клубом соотечественников, с читальным и танцевальным залами, с ресторацией, где можно было увидеть за столиками знаменитых русских писателей. По свидетельству современника, атмосфера царилась весьма оживленная: «К 9 вечера начинается паломничество. У вешалки ворох дамских мехов. За кассой бледное испуганное лицо кассира. Разнесут! За синим суконным занавесом — двести танцующих пар честно вытанцовывают остатки беженской энергии» (В е р ш х о в с к и й А. В литературном кружке // РГ. 1925. 1 апреля). ...а книга даже пятифранковых не покупает. — Для Саши Черного оставалось непостижимым, почему многие русские, легко тратящие деньги на развлечения и безделушки, жалеют истратить их на книги. Вопрос этот он задавал и в «Эмигрантских разговорах» (1925), и в «Русской книжной полке» (1930). ...запрещают в Соед. Штатах пить аперитивы... — Для борьбы с алкоголизмом в США в 1919 году был введен «сухой закон», запрещающий производство, продажу и потребление спиртных напитков. Однако эти широкомасштабно проводимые государством меры, встретили волну противодействия в виде нелегального самогонарения и контрабандного ввоза спиртных товаров, на чем наживались баснословные капиталы. Напомню эпизод из романа «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, когда житель Чикаго с алчным воделением записывает рецепты «табуретовки» и «первача». После безуспешной борьбы с нарушителями в 1932 году «сухой закон» был отменен.

НАШИ ТЕЛЕГРАММЫ — ИР. 1925. I — № 18. С. 12; II — № 19. С. 12; III — № 20. С. 10; IV — № 21. С. 10; V — № 23. С. 13; VI — № 25. С. 15; VII — № 26. С. 16; VIII — № 27. С. 14; IX — № 28. С. 14. Без подписи. *Троцкий Л. Д.* (1879—1940) — один из вождей большевистской партии. В первые годы Советской власти занимал высшие государственные посты, но после смерти Ленина потерпел сокрушительное поражение в борьбе за власть, был обвинен во фракционной деятельности и исключен из партии. В 1929 году выслан из СССР. *Виль-*

гельм II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император, в 1918 году смещенный с трона в результате замены монархии парламентской республикой с главой государства — президентом. *Советский павильон в Париже* — см. с. 453.

Коллонтай А. М. (1872—1952) — первая в мире женщина-посол. Советский полпред и торгпред в Норвегии в 1923—1926 годах. Слух о ее смещении возник, вероятно, в связи с приездом Коллонтай в середине мая 1925 года в Париж и Лондон. Идея назначения ее «главным инструктором красного коннозаводства» не столь уж абсурдна: в Гуконе (главном управлении коннозаводства) служил, к примеру, В. Я. Брюсов. *Вылетевшая к Северному полюсу экспедиция советских летчиков*. — Летом 1925 года в печати сообщалось о советской экспедиции в Карское море и к устьям Оби и Енисея с целью освоения Северного морского пути. ...*контрабандного подвоза спиртных напитков*. — см. с. 427. Чичерин Г. В. (1872—1936) — нарком иностранных дел СССР в 1923—1930 годах. Советский Союз в результате успешно проводимой им внешней политики был признан ведущими державами мира. *Находившийся в летаргическом сне с 1914 г. виленский пекарь*... — Многие издания перепечатали из виленской газеты «Слово» поистине невероятную историю. При отступлении российских войск в 1915 году был взорван огромный продовольственный склад под Вильно. При этом один солдат упал в погреб и был засыпан. Только в 1925 году при разборке завалов, к величайшему удивлению, его обнаружили, заживо погребенного, проведенного в вынужденном заточении много лет. Вызволненный из темницы погреба, он не перенес воздействия света и свежего воздуха: не произнес ни единого слова, умер. По-видимому, это поразительное происшествие подсказало Саше Черному сюжет с виленским пекарем, впадшим в летаргический сон. Дроздов А. М. (1895—1963) — писатель, громко заявивший о себе в начале эмиграции в Берлине. Редактировал журнал «Сплохи», организовал писательское содружество «Веретено». В 1923 году вернулся в Советскую Россию. *Джеки Куган* (род. 1914) — американский киноактер-вундеркинд. Исполнение роли мальчика в фильме Ч. Чаплина «Мальш» (1921) принесло ему всемирную славу. Снялся еще в нескольких фильмах, после чего публика стала терять к нему интерес. В прессе появляются сообщения, что «Джеки Куган бросает кино и поступает в школу. По окончании образования, до университета включительно, Джеки, может быть, вернется в кино. Состояние семьи Куганов, которым они обязаны мальчику, превышает теперь 2 миллиона долларов» (ПН. 1925. 3 мая).

Зиновьев Г. Е. (1883—1936) — один из организаторов и вождей пролетарской революции. В 1919 году избран председателем Коминтерна. Занимался на этом посту «раздуванием мирового пожара». После смерти Ленина его роль в руководстве страны начинает ослабевать. Соратники по партии подвергают Зиновьева критике, обвиняя в распутстве, пристрастии к роскоши, лихоимстве. Впоследствии был исключен из партии, репрессирован и расстрелян на основе сфабрикованного обвинения. *Бухарест* — сатирическая информация, переданная якобы из столицы Румынии, затрагивает острейшую проблему геноцида, проводившегося по отношению к населению Бессарабии. Репрессивные меры властей (карательные экспедиции, грабежи, конфискации) направлены были не только против местного населения — молдаван, но и против эмигрантов из России. Так, А. Н. Вертинский, приехавший в Бессарабию на гастроли, за свои выступления, в которых доминировала ностальгическая нота, был заключен в тюрьму, а после суда объявлен персоной нон-грата. *Муссолини выезжает <...> в Москву*. — В начале 1924 года Италия, одна из первых среди европейских держав, заключила с СССР дипломатическое и торговое соглашение. Руководителями обеих стран выдвигались всевоз-

возможные планы экономических контактов, которые позволили бы существенно поднять уровень жизни. *Земгор* — «Всероссийский земский и городской союз» — общественное объединение, возникшее в России во время войны для оказания помощи армии. Некоторые отделения Земгора были воссозданы в эмиграции — одно из них обосновалось в Праге в «Русском Доме». В задачи организации входила благотворительная и культурная деятельность среди соотечественников. *Евразийство* — идейно-политическое течение, возникшее в 1921 году в Софии. Основателями его были молодые русские ученые и философы Н. Трубецкой, Г. Флоровский, П. Савицкий и П. Сувчинский. Их программа заключалась в осмыслении великого социального слома, произошедшего в России, и в выработке путей дальнейшего развития страны. Ни в коей мере не оправдывая большевиков, они рассматривали революцию 1917 года как свершившийся и необратимый факт и уже с этих позиций предлагали искать выход из «коммунистического тупика». Особое внимание уделялось истокам того духовного недуга, который привел общество к историческому катаклизму. В 1922 году центр евразийства переместился в Прагу. Там был подготовлен сборник «На путях» (1922), в котором участвовало 8 авторов. *Лига наций* — международная организация, учрежденная в 1919 году. Своей целью ставила сотрудничество между народами, считалась гарантом «мира и безопасности». Однако в русской диаспоре отношение к этому Женевскому ареопагу было скорее негативным: шутники переименовали ее в «Фигу наций». Беженцы из России ждали большего участия в своей судьбе и более решительного осуждения режима в СССР. *Нансен Ф.* (1861—1930) — норвежский исследователь Арктики и общественный деятель. По его инициативе и под эгидой Лиги наций были введены так называемые «нансеновские паспорта» — временные удостоверения личности, введенные для апатридов и беженцев. Изгнанникам из России довелось претерпеть немало мучений и унижений с этим подобием документа: «Бледно-зеленый несчастный нансеновский паспорт был хуже волчьего билета; переезд из одной страны в другую бывал сопряжен с фантастическими затруднениями и задержками. <...> всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации» (Н а б о к о в В. В. Другие берега. Мичиган, 1978. С. 236). «Бумеранг» в язвительном выпаде, направленном против Нансена, использовал конкретную информацию в прессе о посещении этим общественным деятелем Советской Армении. В докладе о поездке он «пришел к заключению, что единственное место, где армяне могут чувствовать себя на родине и в полной безопасности, — это Советская Армения. Нансен настойчиво предлагает создать специальные кредиты для устройства армянских беженцев в пределах Советского Союза, где им будут предоставлены земля и возможность работы» (Парижский вестник. Париж. 1925. 19 сентября). *Шиввая горка* — искаженное название (правильно — Швивая горка) старомосковской Гончарной улицы на Таганке. ...*собрание гакенкрейцеров, возмущенных конгрессом сионистов.* — В Вене 19 августа 1925 года состоялось открытие 14-го Всемирного сионистского конгресса, на котором присутствовали члены австрийского правительства, а также А. Эйнштейн, поэт Х. Н. Бялик и другие представители еврейской культуры и науки. *Г а к е н к р е й ц е р ы* — члены местной национал-социалистической организации, в знак протеста провели митинги и демонстрации, сопровождавшиеся антисемитскими выступлениями и погромными акциями. *Сафир М.-Г.* (1795—1858) — даровитый австрийский юморист и сатирик еврейского происхождения. Пользовался огромной популярностью в Австрии и Германии; его стихи, положенные на музыку, стали народными песнями. Полное собра-

ние сочинений Сафира в 26 томах вышло в Брюнне в 1890 году. В России его книга «Избранные рассказы» увидела свет в 1911 году (переизд. в 1914). На ее титуле значится: «Перевод под редакцией Саши Черного». «Конгресс спиритов» — в сентябре 1925 года в Париже состоялся международный спиритический конгресс, на котором с докладом выступил английский писатель А. Конан Дойл. Участники конгресса возложили венки на могилу Неизвестного солдата с надписями: «Они продолжают жить», «Нет смерти, нет мертвых».

АФОРИЗМЫ ПРОФЕССОРА Ф. С. СМЯТКИНА — ИР. 1925. № 18. С. 13. Без подписи. *Карт-д'идантите* — см. с. 436.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАЗГОВОРОВ, НЕОБХОДИМОЕ КАЖДОМУ ИНОСТРАНЦУ, ОТПРАВЛЯЮЩЕМУСЯ В МОСКВУ — ИР. 1925. № 19. С. 13. ...советская водка <...> не опускается ниже 40°. — В газетах появилось сообщение, что Советским правительством разрешено изготовление водки в 40° (получившей в народе название «рыковка»).

ПРОИСШЕСТВИЯ — ИР. 1925. I — № 20. С. 12; II — № 22. С. 16; III — № 23. С. 14; IV — № 27. С. 15. «академические пальмы» — знак отличия в виде фиолетовой ленты, присуждавшийся за особые научные заслуги. Незаконное ношение было чревато судебными преследованиями. ...*банкир Высоцкий, продавший свой банк большевикам.* — В финансовых и деловых кругах Франции, в русской колонии Парижа большой сенсацией явилась продажа большевикам за 130 000 английских фунтов частного банка Д. В. Высоцкого, известного чаоторговца и владельца торгово-промышленного товарищества «Англо-Азиатик». До этого все попытки открытия советского банка в Париже наталкивались на непреодолимые препятствия со стороны французского правительства. Для русской клиентуры эта акция была полной неожиданностью, и вклады начали спешно сниматься. *Ветлугин А.* (1897 — после 1950) — настоящая фамилия Рындзюн В. И.; необычайно колоритная личность в литературном мире послереволюционных лет, автор романа «Записки мерзавца» (1922), вышедшего в Берлине с посвящением С. Есенину, которого он сопровождал в поездке по Франции и Америке, после чего остался в США. Современникам запомнился авантюристическим складом и беспринципностью: «...есть в нем что-то интеллектуально-преступное, какой-то душевный вывих, провал, цинизм, доходящий до грации» (Д о н - А м и н а д о. С. 212). ...*автора знаменитых печальных песенок г. Пьерро-дон-Сиропо.* — Имеется в виду А. Н. Вертинский, исполнявший свои ариетки в одеянии Пьеро. Парижские газеты сообщали о его гастролях: «В пятницу, 19 июня 1925 г., в 9 час. вечера концерт знаменитого композитора и исполнителя печальных песен Александра Николаевича Вертинского в его старом и новом репертуаре...» (Русское время. Париж. 1925. 14 июня). Здесь пародируется, пожалуй, наиболее известная песенная строка из репертуара Вертинского: «Ваши пальцы пахнут ладаном...» (1916). «Русская газета» — выходила в Париже в 1923—1925 годах под редакцией Е. А. Ефимовского и А. И. Филиппова. В июне 1925 года была переименована в «Русское время» (редакторы Б. Суворин и А. И. Филиппов) и, сохранив состав авторов, издавалась до 1929 года. «Русская земля» — книгоиздательство в Париже, выпускавшее сочи-

нения наиболее маститых авторов русского зарубежья — Бунина, Куприна, Межковского, Тэффи. *«Парижский вестник»* — см. ниже. ...*страус проглотил <...> связку ключей.* — Ситуация, заставляющая вспомнить ранний рассказ Саши Черного «Как студент съел свой ключ и что из этого вышло».

ОБМЕН — ИР. 1925. № 21. С. 10. Без подписи. Напечатано в качестве передовицы к № 4 «Бумеранга». *«Парижский вестник»* — ежедневная газета, выходившая в Париже с 5 мая 1925 года и имевшая откровенно просоветскую направленность. В первом номере от редакции было заявлено: «Дать правильные сведения об СССР представителям всех народов Советского Союза, тоскующим и рвущимся к семьям трудящихся, испрашивающим себе разрешение вернуться, — вот задача, которой будет служить наша газета». В эмигрантской среде этот печатный орган сразу окрестили «Чекистским вестником». Здесь регулярно появлялись письма читателей, разочаровавшихся в белоэмиграции и приветствовавших советский строй. Сравним одно из них с пародийным письмом, приводимым в «Бумеранге»: «До редакции русской газеты «Парижский вестник». Приношу тысячу благодарностей за полученные мною два номера Вашей газеты «Парижский вестник», каковая мною прочитана среди десятка эмигрантов русских, каковые, не зная до сего времени о положении дел в Советской России, радуются тому, что хорошо сделали, что не пошли на призыв белогвардейских генералов, которые обещали золотые горы, — идти только воевать против тов. большевиков в 18—21 годах. С почтением И. Скварнюк» (Парижский вестник. Париж. 15 мая 1925). Милюков П. Н. (1859—1943) — историк, публицист, общественный деятель. В эмиграции с 1920 г. Редактор газеты «Последние новости», лидер центристского, либерально-умеренного течения в русском зарубежье. Гессен И. В. (1865—1943) — общественно-политический деятель, сподвижник П. Н. Милюкова по кадетской партии. В эмиграции с 1919 г. Председатель Союза русских журналистов в Берлине, редактор издательства «Слово» и газеты «Руль». Позиция последней была более правого направления, чем «Последние новости», с уважением традиций Белого движения.

МУЗЕЙ «БУМЕРАНГА» — ИР. 1925. № 21. С. 12. Без подписи. *«Общее дело»* — орган единого антибольшевистского блока кадетов, эсеров и «народных социалистов». Газета выходила в Париже в 1917—1933 годах (с перерывами) под редакцией В. Л. Бурцева. В 1919—1921 годах ее активным сотрудником был А. Н. Толстой, позднее «сменивший вехи» (см. с. 439). Василевский И. М. (1882—1938) — журналист, фельетонист, критик, один из тех, кого именуют «борзым пером». Как издатель, умел завладеть читательской аудиторией. В годы гражданской усобицы попытался возобновить свою газету «Свободные мысли» в Киеве, а затем, уже в эмиграции в 1920—1921 годах в Париже. В 1922 году переезжает в Берлин, становится сотрудником просоветски настроенной газеты «Накануне». В 1923 году возвращается в СССР. ...*«Записки мерзавца» Ветлугина...* — см. с. 430. *«Парижский вестник»* — см. выше. Венгерова З. А. (1867—1941) — литературный критик, переводчица. В 1921 году выехала в Берлин, сохранив советское подданство. После 1925 года перебралась в США; продолжала поддерживать деловые контакты с советскими издательствами. ...*перечень романтических названий <...> русских ресторанов в Париже.* — Среди названий русских ресторанов в Париже,

обнаруженных в «Русском альманахе» на 1925 год и среди журнально-газетных реклам, к наиболее «романтичным» могут быть отнесены «Лебединый остров», «Замок Тамары», «Синяя Птица», «Альпийская роза»... Особенно распространены были названия в русском стиле, с оттенком ностальгии: «Баян», «Богатырь», «Волга», «Ермак Тимофеевич», «Золотой петушок», «Медведь», «Москва», «Одесса», «Русский уголок», «Светлана», «Старинный русский домик», «Старый Петербург», «Теремок», «Троїка», «Яр». В моде были также кинжально-горские наименования: «Аллаверды», «Дарьял», «Джигит», «Казбек», «Кавказ», «Кунак», «Омар Камал». И наконец, для полноты картины следует упомянуть названия ресторанов, привлекавшие эстетски-богемную часть публики: «Богема», «Домик Комедиантов», «Китти», «Модерн», «Русский Эрмитаж». ...берлинско-эмигрантских издательства с 1920 по 1925 год. — Этот период может быть подразделен на два кардинально несхожих этапа. С 1920 по 1923 год — бурный расцвет книгоиздательства в «русском Берлине». После — в результате гиперинфляции и отказа Советской России от договоров на книгоиздание — начинается массовое банкротство и свертывание издательского дела, переезд многих редакций и авторов в Париж или Америку.

МУДРЫЙ СОВЕТ — ИР. 1925. № 22. С. 14. Без подписи. Напечатано в качестве передовицы в № 5 «Бумеранга». «Дни» — ежедневная эмигрантская газета, выходившая с 1922 года в Берлине. В конце июня 1925 года издание ее было приостановлено, а в середине сентября того же года возобновлено уже в Париже. *Лимитрофная газета* — имеется в виду газета, выходившая в одном из так называемых «лимитрофных государств» (Эстония, Латвия, Литва), образовавшихся после распада Российской империи в 1917 году. Наиболее распространенной и представительной среди них считалась рижская газета «Сегодня» (1919—1940). «*Архив рус<ской> революции*» — многотомное собрание материалов: документов и воспоминаний, освещающих историю России в годы исторического перелома — революции, гражданской войны и первых лет эмиграции. Выходило оно в Берлине под редакцией И. В. Гессена (о нем см. с. 431). Всего с 1921 по 1937 год выпущено 22 книги. ...«*никуда не идете и никуда не заворачиваете*». — Выражение это перекочевало в речевой обиход эмиграции из России. В предреволюционную пору оно было в ходу и на слуху; звучало в эстрадных скетчах, напр., у С. Сокольского: «Основываясь на популярном афоризме Одесского приват-доцента Абрама Рабиновича, я смело могу в начале моей талантливой лекции воскликнуть: «Граждане, куда мы идем, куда мы заворачиваем!» (С о к о л ь с к и й С. Т. П. Пг., 1917. С. 88).

ПИСЬМО, ОШИБОЧНО ПОПАВШЕЕ В РЕДАКЦИЮ «БУМЕРАНГА» — ИР. 1915. № 22. С. 16. Без подписи.

ИЗ СОВЕТСКОГО ПИСЬМОВНИКА — ИР. 1925. № 24. С. 14. Подпись: Scriba. *Письмовник* — см. с. 407. ...*лицом к женщине*. — В агитационно-пропагандистском лексиконе 1920-х годов в ходу были выражения такого типа: «Лицом к деревне», «Лицом к лошади». *Письмо коммерческое*. — После 1923 года советская внешняя политика повернулась «лицом к Западу»: завязываются экономиче-

ские контакты, заключаются торговые договоры с Германией, Англией, Италией, Францией... *Каутский К.* (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала. Враждебно принявший Октябрьскую революцию, он был подвергнут В. И. Лениным беспощадной критике, как ренегат, изменивший пролетарскому делу. *Орешин* — см. с. 455. *Рожденный ползать — порхать не может.* — Перефразированная цитата из «Песни о Соколе» А. М. Горького («Рожденный ползать — летать не может!»).

КАК МОЖНО, НИКУДА НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СВОЕЙ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ, СОЗДАТЬ СЕБЕ ИЛЛЮЗИЮ РОСКОШНОЙ КУРОРТНОЙ ЖИЗНИ — ИР. 1925. № 24. С. 16. Подпись: *Turdus*. Горестная ирония «советов» эмигранту, вынужденному все лето оставаться в городской квартире, может быть оценена, если знать, что представляет собой Париж в «мертвый сезон». Речь идет о традиции, которая сложилась еще с незапамятных времен и во многом сохраняется по сей день: «Летом Париж засыпает. Разъезжаются парижане понемногу, начиная с 14 июля. Сначала те, кто побогаче. <...> К августу сезон демократизируется: едут те, кто имеет сезонный отдых две недели и несколько сот франков. До сентября Париж пустеет. На опущенных магазинных шторах печально болтается наспех привешенная картонка: «Закррито до 5 сентября». Это традиция» (С е д ы х А. Париж летом // ПН. 1925. 26 августа). «*Виши*» — минеральная вода знаменитого бальнеологического курорта в центральной Франции.

БИРЖА — ИР. 1925. № 24. С. 16. Подпись: *Паркет*. *Паркет* — в качестве псевдонима взято слово, означающее биржевой зал, где совершается сделка при участии маклеров. Сугубо специальная фразеология данной миниатюры заставляет вспомнить написанную в том же стилистическом ключе сценку «Русский язык» (1910).

НАМ ПИШУТ ИЗ МОСКВЫ — ИР. 1925. № 25. С. 16. Подпись: А. Б. В. ...*за исключением половины Тана...* — В. Г. Тан-Богораз (1865—1936) — этнограф, поэт, прозаик, публицист, общественный деятель. Разделял народовольческие убеждения, был сослан на Колыму (1889). Едва ли не первым начал писать о народах Крайнего Севера. Его художественное и публицистическое творчество развивалось в основном в русле революционного народничества (см. с. 424). После Октябрьской революции — профессор этнографии, директор Музея истории религии АН СССР. *Оль'Дор* — псевдоним И. Л. Оршера (1879—1942) — журналиста, фельетониста, пародиста, обладавшего хлестким и бойким пером. Выработал собственный почерк в жанре короткого фельетона-рассказа, пользовавшегося популярностью у читателей. Был постоянным автором «Сатирикона». Наиболее удачной и известной из его книг считается «Русская история, обработанная «Сатириконом» (1911). После Октябрьской революции сотрудничал в советской сатирической печати, опубликовал книгу воспоминаний и роман на автобиографической основе. Журналистскую карьеру начинал в Житомире, о чем Саша Черный припомнил позднее в дружеском экспромте-поздравлении:

Ольдор, земляк мой по Волыни
И соразбойник по перу,
Для Вашей юной дочки ныне
Аккорд вступительный беру...

(Ды м ш и ц А. Л. Звенья памяти.
М., 1975. С. 428.)

Монументы Пушкина, Гоголя и Крылова перелить. — В первые годы советской власти в Комиссии по делам искусств широко обсуждался вопрос о снятии целого ряда памятников, в частности памятника Петру I («Медный всадник» Э.-М. Фальконе), как не имеющего художественного значения. Одновременно были намечены к установке памятники Гарибальди, Бабефу, Робеспьеру, Лаврову, Шиллеру, Бебелю, Курбе, Сезанну, Ибсену, Руссо, Успенскому, Каляеву, Бауману, Степану Разину (см.: Искусство коммуны. 1919. 5 января). *Князев В. В.* — см. с. 467. ...на иностранные языки — американский, бельгийский, югославский, месопотамский... — языки, которые никогда не существовали. Обратим внимание, что последнее прилагательное встречается также в рассказе Саша Черного «Мелкоземельный грипп»: «...к месопотамскому банку любовь до гроба сохранять должен?» ...*Бунина, Куприна, Шмелева и пр. сжечь на Красной площади...* — Сообщение в прессе о том, что на предстоящем в мае интернациональном конгрессе писателей в Париже Россию будут представлять Бунин, Куприн и Шмелев вызвало бурный протест советских писателей. В «Парижском вестнике» были помещены по этому поводу письма А. Я. Аросева, П. С. Когана, И. Потапенко, П. Свицкого, М. Шагинян, А. Толстого, Н. Никитина. «Приглашать следует не покойников, а живых», — заявил Андрей Соболев. *Луначарский А. В.* (1875—1933) — советский государственный деятель, критик и публицист, искусствовед, переводчик. С 1917 по 1929 год — народный комиссар просвещения. В художественном творчестве тяготел к высокоидейной романтической драматургии, где исторические или литературные герои прошлого служили воплощению современных социальных и философских конфликтов. Вот далеко не полный перечень его пьес: «Королевский брадобрей», «Фауст и город», «Оливер Кромвель», «Канцлер и слесарь», «Яд».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА — ИР. 1925. № 25. С. 16. Подпись: Флит. Поводом для данного сатирического трактата послужил так называемый «обезьяний процесс», о котором много писали все газеты мира. Школьный учитель Д. Скопс (шт. Теннесси, США), излагавший ученикам эволюционную теорию Дарвина о происхождении человека, был приговорен судом к штрафу за антирелигиозную пропаганду. Подобное решение и типичная американская шумиха, поднятая вокруг этого дела, смешанная с узколобой религиозной нетерпимостью и кликушеством, — все это дискредитировало, ставило под сомнение те достижения прогресса и цивилизации, которыми так гордились Соединенные Штаты.

НЕИЗВЕСТНОМУ АДРЕСАТУ — ИР. 1925. № 27. С. 16. Без подписи. Поскольку данное произведение имеет эпистолярную форму, то под каждым из двух писем стоит подпись персонажа, от имени которого ведется речь. Это: Павел Иванович Рундуков и Степан Федорович Хрущ. Эти же фамилии фигурируют в

солдатской сказке Саши Черного «Правдивая колбаса» (1930). Хрущ упоминается также в «шутке в одном бездействии» Саши Черного «Третейский суд» (1928). *Евразиец* — см. с. 429. *Струве П. Б.* (1870-1944) — видный общественный деятель, экономист, историк, философ. В эмиграции занимал резко антибольшевистскую позицию. Редактировал в разное время газеты «Возрождение», «Россия», «Россия и славянство», журнал «Русская мысль».

НАЧАЛО СЕЗОНА — ИР. 1925. № 28. С. 14. Без подписи. Напечатано в качестве передовицы к № 11 «Бумеранга». *...китайцы тщательно готовятся к красному самоубийству.* — В 1925 году в Китае началась национально-освободительная революция, в которой значительное место занимали коммунистические лозунги. *...II Коминтерн ходит с мылом за III...* — Между двумя организациями международного рабочего движения — II Интернационалом, объединявшим социалистические партии, III Интернационалом (Коминтерном), объединявшим компартии, существовали непреодолимые разногласия, сводящиеся к взаимным призывам ликвидации. Именно так следует понимать фразу «ходит с мылом», то есть хочет намылить веревку. Непосредственным поводом для данного высказывания послужило, видимо, сообщение о состоявшемся в августе 1925 года конгрессе II Интернационала. На нем был подвергнут осуждению советский строй за нарушение демократии и пропагандистское вмешательство в пролетарские организации других стран. Большевизм, по мнению социал-демократов, расколол рабочее движение, уводя его на путь политической борьбы. *Макдональд Д.-Р.* (1866—1937) — политический деятель, с 1924 года премьер-министр Великобритании, установивший дипломатические отношения с СССР. *...Папа ведет борьбу с короткими платьями...* — Современная мода (и прежде всего французская) не пользовалась благосклонностью католического мира. Папа Римский в своем выступлении отметил ее безнравственный характер и поддержал инициативу римских аристократов, направленную против иностранного влияния в области моды. *Война в Марокко.* — В результате национально-освободительного движения в Северной Африке против Испании образовалась республика Риф. Тогда в войну вмешалась Франция, опасавшаяся, что освободительное движение перекинется на ее колонии в Африке. В 1926 году объединенными силами Франции и Испании республика Риф была разгромлена. *...Звери и птицы сбегают из Зоологических садов...* — В августе 1925 года все парижские газеты поместили сообщение о леопарде, сбежавшем из зоопарка. Несколько дней за ним велась охота, в которой принимали участие солдаты республиканской гвардии, охотники с собаками, а также журналисты.

ДОМАШНИЕ АФОРИЗМЫ И МЫСЛИ ПРОФ. Ф. С. СМЯТКИНА — ИР. 1925. № 28. С. 15. Без подписи. *Земгусары* — ироническое прозвище служащих Земгора (см. с. 429). Служба в тыловых военизированных подразделениях Союза городов освобождала от призыва в действующую армию во время первой мировой войны. *Лучше камни в почках, чем печатки в стихах.* — Эта досадная повседневная реалья издательской практики всегда тревожила и болезненно воспринималась Сашей Черным. Его письма редакторам пестрят просьбами не допускать печаток хотя бы в стихах. В этой связи представляет интерес история, сообщенная поэтом корреспонденту рижской газеты «Сегодня». В юности Саша Черный посвятил

любимой девушке стихотворение, указав лишь ее инициалы: «Стихи, тщательно переписанные и сданные в редакцию, начинались так:

Твоей души бессмертный храм...

Вместо благоговейного слова «храм» лукавый житомирский наборщик набрал «хлам», и стихотворение появилось в таком оскорбительном для любимого существа виде. Пусть читатель сам догадывается о последствиях этой роковой ошибки» (С е д ы х А. Юбилей без речей // Сегодня. Рига. 1930. 20 марта). Подобного стихотворения в газете «Вольнский вестник» не обнаружено — по-видимому, история эта из области выдумок и автоапокрифов Саши Черного. *Лига наций* — см. с. 429.

КИНОХРОНИКА — ИР. 1925. № 28. С. 16. Без подписи. ...*Плагиатор Ч. Чаплина присужден к штрафу*. — Летом 1925 года в печати появилась информация о процессе, который рассматривался в суде Лос-Анджелеса по обвинению Чаплиным актера Амадора, якобы копировавшего его внешний вид. Чаплин сумел доказать, что его традиционный образ в кинематографе — от котелка до башмаков, включая усики, тросточку, штаны гармошкой, походку — все это следует считать результатом его творчества по созданию «маленького» человека, не лишённого благородства.

МЕНЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ЗАВТРАКА, КОТОРЫМ ЧЕСТВОВАЛ В БЕРЛИНЕ КАНЦЛЕР ЛЮТЕР ТОВ. ЧИЧЕРИНА — ИР. 1925. № 29. С. 15. Подпись: Turdus. *Лютер Г. (1878—?)* — рейхсканцлер Германии в 1925—1926 годах. *Чичерин* — см. с. 428. *Скржинский* — министр иностранных дел Польши.

РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ — ИР. 1925. № 29. С. 16. Подпись: Turdus. ...*сон можно любой заказать, по каталогу*. — Герой повести «Чудесное лето», мальчик-фантазер Игорь, конкретизирует эту идею. Мечтает придумать пилюли, чтобы видеть хорошие сны, — причем у каждого будет каталог (глава «Когда я буду большой»).

ВЕРНЫЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОЙ КАРТ-ДИДАНТИТЕ. — ИР. 1925. № 29. С. 16. Подпись: И. Канаус. *Карт-д'идантите* (фр. — *carte d'idantité*) — вид на жительство во Франции, документ, который предписывалось иметь каждому иностранцу, достигшему 15 лет. В 1925 году плата за удостоверение в комиссариате составляла 200 франков в год. Срок действия — два года, после чего необходимо было ходатайствовать о его возобновлении. Несмотря на хлопоты и траты, русские эмигранты предпочитали этот документ «нансеновскому паспорту» (см. с. 429).

ПРОФЕССОР УЕЗЖАЕТ — ИР. 1925. № 30. С. 14. Без подписи. «*Корабль Ретвизан*» — книга путевых впечатлений и воспоминаний писателя-мариниста К. М. Станюковича (1843—1903), имеющая подзаголовок «Год в Европе и на

европейских морях». *Чесуча* — см. с. 415. *Blaukreuz* — «Голубой крест» — антиалкогольное общество в Германии.

ПИСЬМО ИЗ РИМА — ИР. 1925. № 30. С. 15. Без подписи. *Виноградов П. Г.* (1854—1925) — русский историк, член Петербургской Академии наук, профессор. Под его редакцией вышла «Книга для чтения по истории средних веков»: *Форестьер* — иностранец, путешествующий по Италии. ...*Ваш Степан Лось*. — У Саши Черного есть рассказ «Письмо из Берлина» (1928), написанный в форме эпистолярного жанра. Завершается это послание подписью: «Иван Лось».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ — ИР. 1925. № 18. С. 14. Без подписи. «*Клуб молодых литераторов*». — В адресно-справочной книге «Русский альманах» (Париж, 1925) указан «Союз молодых русских писателей и поэтов в Париже». Председатель союза: Ю. К. Терапиано. Члены правления: В. Л. Андреев, Д. Ю. Кобяков, Д. Кнут, М. А. Струве. Программа еженедельных собраний союза состояла из докладов по вопросам искусства, литературных дискуссий и чтений авторами своих произведений. Собрания были открыты для публики. Эта справка может быть дополнена мемуарным свидетельством очевидца: «В этом мире, где царил грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом пляды...» (Набоков В. В. *Другие берега*. Мичиган, 1978. С. 242). «*Союз русских писателей и журналистов в Париже*» — в «Русском альманахе» приведен состав правления организации: председатель — П. Н. Милюков, товарищ председателя — Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев, казначей — А. М. Михельсон, секретарь — С. Л. Поляков-Литовцев, постоянный член правления — Д. С. Пасманик, кандидаты в члены правления — А. Я. Левинсон и П. П. Потемкин, ревизионная комиссия — М. А. Осоргин, Г. Б. Слиозберг. Заметим, что поначалу в члены правления в качестве кандидата был кооптирован А. М. Черный (см.: РГ. 1925, 15 февраля).

ОБЪЯВЛЕНИЯ — ИР. 1925. I — № 18. С. 14; II — № 19. С. 14; III — № 23. С. 14; IV — № 24. С. 16; V — № 27. С. 16. *Портной Я. Капцан* — в качестве фамилии использовано жаргонное одесское словечко «капцан» («нищий»). В России оно не имело широкого распространения, и потому Саша Черный, употребивший его в стихотворении «Любовь не картошка», счел необходимым сделать авторскую ремарку. *Гадалка Офелия фон-Люкс* — неперменной принадлежностью русских газет в эмиграции были рекламные объявления гадалок, ясновидящих, предсказателей. В «Русском альманахе» на 1925 год указаны адреса трех представительниц этой экзотической профессии, живших тогда в Париже: Анжелика Сакко, Мария Зени и Каль Тухолка. *Крупская. Исправл. и дополнен. собрание сочинений А. С. Пушкина*. — В послереволюционные годы под руководством Н. К. Крупской составлялись списки книг, подлежащих изъятию из библиотек (см. «Инструкцию о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы». М., 1923). *Чичерин* — см. с. 428. *Семашко Н. А.* (1874—1949) — первый нарком здравоохранения. *Советский павильон* — см. с. 453. *Карт-д'идантите* — см. с. 436. ...*шкура леопарда «Зизи», убитого в августе с. г. вблизи Булонского леса*. — см. с. 435.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК — ИР. 1925. I — № 19. С. 14; II — № 21. С. 12; III — № 23. С. 14; IV — № 28. С. 16; V — № 29. С. 16. ...«обезьянья великая и вольная палата» — своеобразный игровой орден, придуманный А. М. Ремизовым. Он производил в кавалеры ордена тех из своих знакомых, к кому испытывал симпатию, интерес, в ком видел необычную, оригинальную личность. В его составе встречаются имена Ахматовой, Блока, Белого, Гребенщикова, Замятина, Горького, Б. Зайцева, Иванова-Разумника... Каждому из них Ремизов, канцелярист «Обезволпала», искусный каллиграф, неутомимый рисовальщик, выдавал «обезьянью грамоту» и присваивал замысловатый титул. Созидание Ремизовым своего, сугубо субъективного мира, своей ремизовской истории отечественной культуры, начатое еще до революции, продолжалось и в эмиграции.

САТИРА В ПРОЗЕ

1921—1931

УЗАКОНЕННОЕ ЛЮБИТЕЛЬСТВО — Жар-Птица (Берлин). 1921. № 2. С. 39—40. Подпись: Кинто. *«Белое покрывало»* — стихотворение австрийского поэта Морица фон Гартмана (1821—1872). В переводе М. Л. Михайлова оно было популярно в среде демократически настроенной молодежи. *Ходотов Н. Н.* (1878—1932) — драматический артист, часто выступавший как декламатор. В мемуарной литературе сохранились красочные описания его импозантных выступлений: «...Ходотов, избалованный, прославленный, гремевший на всю Россию своей знаменитой актерской октавой, отяжелев от лавров, лет и салатов Оливье, всегда одним и тем же театральным жестом откидывал прядь седеющих волос, отходил к открытому в ночь окну и начинал...» (Д о н - А м и н а д о. С. 62).

*Поэт, как Дант, мыслитель, как Сократ, —
Не я ль достиг в искусстве апогея... —*

цитата из стихотворения Игоря Северянина «Конечно, я для Вас аристократ». ...*подмостки «Бродячих Котов» и «Собака», а тем более «Соляных городков».* — Здесь речь идет о знаменитых в свое время литературно-артистических кабаре «Черный кот» (Париж) и «Бродячая собака» (Петербург) — местах сборищ богемной публики и выступлений деятелей культуры. «Соляной городок» — такое наименование получил лекционный зал, облюбованный для своих выступлений футуристами (название свое ведет от размещавшихся здесь в XVIII веке складских помещений соли — ныне Соляной переулок в Санкт-Петербурге). ...*выборы «короля поэтов».* — Неофициальное коронование Игоря Северянина состоялось в начале 1918 года на поэтическом вечере в Политехническом музее в Москве (см. с. 461). ...*заниматься искусством, которое, право, много сложнее и ответственнее, чем игра на флейте.* — Претензии Саша Черного к современной поэзии и прежде всего к молодым стихотворцам, к так называемым «начинающим», носили перманентный характер. Почти через десять лет в беседе с корреспондентом он вновь обратился к метафорическому сравнению, завершающему данную статью: «Стихи стали писать так, что отбили у читателя охоту разбираться в их шарадах. Подумайте, по какой-то статистике оказалось, что в одном только Киеве 725 «поэтов». Чтобы играть на флейте, нужно учиться несколько лет, и только тогда

станешь музыкантом. А поэтом теперь называет себя всякий, кто изволил написать стихотворение» (С е д ы х А. Юбилей без речей // Сегодня. 1930. 20 марта).

ГРАФСКАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ — РГ. 1925. 24 октября. *Сменовеховская новелла*. — Сменовеховство — идейно-политическое течение в эмиграции, получившее название по программному сборнику статей «Смена веж», выпущенному в Праге в 1921 г. Суть его состояла в пересмотре отношения эмиграции к Октябрьской революции и тем социально-политическим изменениям, которые произошли в Советской России. В отличие от евразийцев сменовеховцы искали ответ не в идеалистически-религиозном сознании, а в реальной действительности. Они исходили из материалистического постулата: победитель всегда прав. Коль скоро большевики одержали верх, стало быть, они лучше знали свою страну, народ и тот путь, по которому долженствует идти российскому обществу. Отсюда призыв возвращения на родину с покаянием в своих ошибках и прегрешениях перед ней. Искупление виделось им в том, чтобы отдать свой труд, знания и таланты на созидание новой жизни. *Толстой А. Н.* (1882—1945) — наиболее, пожалуй, значительная фигура в писательском мире русского зарубежья, кто поддержал сменовеховское движение. Неожиданно для всех весной 1922 года Толстой опубликовал на страницах просоветской газеты «Накануне», считавшейся рупором сменовеховства, открытое письмо К. И. Чуковскому. В нем говорилось о духовном банкротстве деятелей отечественной культуры, поддержавших в свое время Белое движение и избравших добровольное изгнание. Вскоре А. Н. Толстой становится редактором литературного приложения к газете «Накануне», а в 1923 году возвращается на родину, навсегда порвав с эмиграцией. Многим запомнилась фраза, произнесенная женой Толстого при отъезде: «Едем сораспинаться с русским народом». Поступок «третьего Толстого» был расценен неоднозначно. Большинство эмигрантов считало, что он «продался большевикам» из меркантильных соображений. Показательно в этом отношении язвительно-неприязненное высказывание Иванова-Разумника: «Этот заплывший жиром человек, талантливый брюхом, ходячее подтверждение Пушкина о поэзии, совершенно беспомощный в вопросах теоретических, всю жизнь, однако, умел прекрасно устраивать свои дела, держал нос по ветру и чуял, где жареным пахло. Разумеется, он был теперь самым верноподданнейшим слугою коммунизма» (Вопросы литературы. М., 1991. № 11/12. С. 269). Другие, например Тэффи, понимали, что он как человек и писатель не мог жить без родины... *Демьян Бедный, почетный кустарь красно-крыловского цеха...* — Неприятие Сашей Черным этого стихотворца было вызвано не только политическими мотивами. Еще в дореволюционную пору, когда они оба сотрудничали в журнале «Современный мир», Саша Черный высказал в письме к В. П. Краинхфельду свои претензии: «К художественной стороне редакция не представляет даже самых скромных требований (пример «басни» Д. Бедного. До чего пресно, самодовольно, многословно и беспомощно!)» (ИРЛИ, ф. 258, оп. I, ед. хр. 360, л. 2). *Э-ми-гра-ция, вот какая тема*. — В советское время на эту тему А. Н. Толстым были написаны книги в развлекательно-приключенческом либо гротескно-сатирическом жанре («Убийство Антуана Риво», «Черная пятница», «Похождения Невзорова, или Ибикус», «Гиперболоид инженера Гарина», «Эмигранты»). *Не-Буква* — см. с. 431. *Кусиков А. Б.* (1896—1977) — поэт, член ордена «Имажинистов». В начале 1922 года выехал в творческую командировку в Берлин; в СССР не вернулся. Активно со-

трудничал в газете «Накануне»; в 1924 году переехал в Париж, печатался в газете «Парижский вестник», в начале 1930-х годов отошел от литературной деятельности. В эмиграции не скрывал своего лояльного отношения к Октябрьской революции и к Советской власти. *Дроздов* — см. с. 428. *Стеклов Ю. М. (Нахамкис) (1873—1941)* — политический деятель, член Исполкома Петроградского Совета после Февральской революции, один из руководителей партии большевиков, редактор газеты «Известия», журналист. «Общее дело» — см. с. 431.

РАЗГОВОР С ДЕДУШКОЙ — РГ. 1924. 20 ноября.

ЭМИГРАНТСКИЕ РАЗГОВОРЫ — I — РГ. 1924. 5 декабря; II — РГ. 1925. 11 января; III — ИР. 1925. № 22. С. 15. Третья часть «Эмигрантских разговоров» напечатана в сатирическом разделе «Бумеранг» за подписью «Scriba». Как и большинство материалов данного раздела, отнесено к *dubia*. «Архив русской революции» — см. с. 432. *Мариланы* — сорт папирос. ...*черногорцы к себе Бонапарта не пустили.* — Этот эпизод из истории походов Наполеона русским читателям был известен главным образом по пушкинским переложениям «Песен западных славян» (см. песнь 9-я «Бонапарт и черногорцы»). ...*с этой окаянной визой путаюсь.* — Беженцы из России, не получившие нового гражданства, вынуждены были пользоваться для поездки в другую страну так называемым «нансеновским паспортом» (см. с. 429), с которым, по замечанию сатирика Лери, «не то что за границу — в другой арронидисман не пускают». Приходилось идти на всяческие ухищрения. Наш соотечественник, известный актер немого кино Иван Мозжухин в одном интервью сделал такое признание: «Визы на русские паспорта выдаются очень неохотно. Всегда — страшная канитель. Ну и купил в Берлине вот этот «негритянский» паспорт. Что же вы думаете? Теперь с визами никаких затруднений. Нас, подданных республики Гаити, во всей Европе всего 109 человек». ...*подлинное послание Зиновьева или <...> сфабриковали его.* — Осенью 1924 года многие газеты поместили сенсационную информацию о перехваченном письме Зиновьева в компартию Англии, которое якобы содержало призыв низвержения существующего порядка. Срочно была организована комиссия во главе с О. Чемберленом для выяснения подлинности послания. Позднее, в мае 1925 года в печати появились сведения о том, что документы, направленные против Коминтерна, были подложные и сфабрикованы они белогвардейской организацией «Белый крест». *Макдональд Д.-Р.* — см. с. 435. ...*Газета большевиков в Париже открывается.* — «Парижский вестник» начал выходить в мае 1925 года. *Кусиков* — см. с. 439. *Сменовеховцы* — см. с. 439. *Савинков Б. В. (1879—1925)* — эсер, один из организаторов боевой организации эсеровской партии. В эмиграции продолжал активную политическую деятельность, направленную против Советской власти. Во время нелегальной поездки в СССР в 1924 году был арестован ЧК. Из тюрьмы послал письмо былым сподвижникам. Опубликованное затем во многих газетах русского зарубежья, оно было проникнуто разочарованием в Белом движении. Погиб в тюрьме на Лубянке при невыясненных обстоятельствах. *Чай! <...> — Куда вам столько? <...> — Ведь в Китае же революция.* — Этот сюжет перекликается со строками стихотворения Саша Черного 1917 года «Слухи»:

Запасайтесь, братцы, чаем, —
В сентябре война с Китаем...

Евреинов Н. Н. (1879—1953) — драматург, теоретик и историк театра. В конце 1923 года выехал для чтения лекций в Берлин, затем в Париж, с намерением вернуться в СССР. Был приглашен в качестве режиссера во французские, американские и русские театры. Выпустил ряд книг по теории театра на русском и французском языках. Умер в Париже.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — РГ. 1925. 12 марта. Тема непроверенных слухов и досужих домыслов неслучайна в творчестве Саши Черного, ибо в первые годы эмиграции, когда быт еще не был налажен, сведения о кочевавших из страны в страну соотечественниках доходили нередко в чудовищно искаженном виде. Недаром Саша Черный, восстановив наконец эпистолярную связь с Куприным, прерванную революцией и гражданской войной, написал ему: «Слухи о Вас? Я их не знаю — всякие слухи эмигрантски-вшивого толка отталкиваю с бешенством; а если бы даже услышал, что Вы родную тетку сварили в котле со смолой, — ничуть бы это не изменило моей большой любви к Вам» (К у п р и н а К. А. Куприн — мой отец. М., 1977. С. 209). Даже эмигрантская пресса сплошь и рядом давала в хронике дезинформацию, сообщая о смерти известных людей, что позднее опровергалось. Иногда это делалось намеренно (особенно преуспел в подобных устных и печатных мистификациях-слухах А. М. Ремизов). *Карт-д'идантите* — см. с. 436.

ГОЛОВА БЛОНДИНКИ. — ИР. 1925. № 23. С. 12—13. Подпись: перевел с португальского А. Черный. В «Бумеранге» № 6. Переводной полицейский роман являлся неременной принадлежностью почти всех крупных газет русского зарубежья. Это легкое чтиво было рассчитано прежде всего на основную массу читателей — соотечественников, занятых тяжелым физическим трудом. *Гунияди-Янос* — название венгерской минеральной воды, которая применялась как слабительное. *Зд.* пародийное использование в качестве фамилии персонажа. «*И ты, Брут!*» — крылатая фраза, употребляемая для выражения упрека в коварном поступке. Источником его является трагедия Шекспира, где главный герой обращается с этими словами к родственнику и своему любимцу — Бруту, увидев его среди своих убийц.

КРАСНОДЕМОН — ИР. 1925. № 26. С. 14—16. Подпись: А. Ч. В «Бумеранге» № 9. «*Жизнь за царя*» — опера М. И. Глинки; в советское время была переименована в «Иван Сусанин». «*Вампука*» — пародия на ходульные оперные штампы. Полное название — «Вампука, невеста африканская: во всех отношениях образцовая опера». Поставлена А. Р. Кугелем в петербургском театре «Кривое зеркало» в 1909 году. Стала олицетворением театральной бессмыслицы, постановочной и сценарной абракадабры. *Кинто* — певец во время грузинского застолья, гуляка, славящийся весельем, беззаботностью и остроумием. *Чемберлен О.* (1863—1937) — министр иностранных дел Великобритании в 1924—1929 годах. *Лига наций* — см. с. 429. *Шентала* — сушеные персики и абрикосы.

ПУШКИН В ПАРИЖЕ — ИР. 1926. № 24. С. 1, 2, 4. *Конан Дойл А.* (1859—1930) — английский писатель, автор приключенческих произведений. В конце

жизни увлекся спиритизмом, выпустил книгу «История спиритизма» (1926). Принимал участие в международном конгрессе спиритов (Париж, 1925), где «показывал на экране материализацию духа недавно погибшего доктора-спирита и другую фотографию духа сына самого Конан Дойла, погибшего на войне» (Д. Спиритизм и мир таинственный // ИР. 1925. № 28. С. 10). ...*знаменитый пушкинист Х.* — по видимому, подразумевается В. Ф. Ходасевич, один из самых видных исследователей Пушкина за рубежом. *Пилсудский Ю.* (1867—1935) — польский политический деятель, в мае 1926 года организовавший военный переворот, в результате которого был установлен «санационный» (т. е. оздоровительный) режим. Отстаивал интересы земельных магнатов и монопольного капитала. ...*День Русской культуры* — праздник, который был введен в обиход русского зарубежья в 1926 году. Приурочен был ко дню рождения А. С. Пушкина. В эти дни проводились пушкинские вечера, в Париже выходила однодневная газета «День русской культуры». Аналогичные издания выпускались во многих центрах русского зарубежья. *Академические пальмы* — см. с. 430. ...*самой распространенной и самой литературной газеты.* — Имеется в виду парижская газета «Возрождение» — «орган русской национальной мысли», выходившая с 1925 года. Она имела популярность и довольно значительный тираж, благодаря сотрудничеству в ней таких писателей, как И. А. Бунин, А. И. Куприн, И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, А. В. Амфитеатров, Н. А. Тэффи, В. Ф. Ходасевич. *Пирогов Н. Н.* (1810—1881) — знаменитый ученый, врач-хирург. Его педагогическую и общественную деятельность высоко оценивали революционные демократы Герцен и Чернышевский. «*В армяке с открытым воротом.*» — Здесь намеренно А. С. Пушкину приписана строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Влас». ...*сонета «Лесной царь».* — Здесь также А. С. Пушкину приписана известная баллада Гёте в переводе В. А. Жуковского. *Одесское землячество* — в Париже существовало несколько внепартийных, аполитичных обществ, образованных по земляческому признаку (Волжское, Доно-Кубано-Терское, Крымское, Московское, Одесское, Петроградское, Сибирское, Северо-Западного края, Туркестанское, Юго-Западного края). Своей целью они ставили моральную и материальную поддержку земляков. *Суаре (фр. soirée)* — вечеринка. «*Благонамеренный*» — журнал «Русской литературной культуры» под редакцией Д. А. Шаховского, выходивший в Брюсселе в 1926 году. В своей позиции редакция стремилась избежать крайностей («гражданская поэзия» и «искусство для искусства»), не имела сколько-нибудь определенной идейной позиции, привлекая к сотрудничеству таких «разнополюсных» авторов, как И. В. Бунин и М. И. Цветаева, В. Ходасевич и С. Я. Эфрон. Благодаря публикациям известного пушкиниста М. Л. Гофмана, эмигранта первой волны, необычно интересным был в журнале раздел, посвященный литературному архиву XIX века. Прекратил свое существование на втором номере. *Факсимиле* — точное воспроизведение подписи или рукописи.

ЛУННАЯ СОНАТА — Ухват (Париж). 1926. № 4. С. 6. Подпись: S. Эта миниатюра представляет собой как бы ироническое развитие «стихотворения в прозе» из цикла «Лунные рассказы» юного А. Гликберга. К этой же теме поэт возвратился в своем последнем стихотворении «С холма» («Оба пламенно шептались // Над таблицей биржевою»).

НОВЕЙШИЙ КОМСПРАВОЧНИК — ПН. 1926. 8 февраля. В рубрике: «Из зеленой тетради». *Колумбово яйцо* — крылатое выражение, вошедшее в ряд языков в значении: неожиданный выход из затруднительного положения или находчивое решение сложного вопроса. Родилось оно из исторической легенды о Х. Колумбе, который сумел разрешить неразрешимую задачу — поставить яйцо: он просто разбил его с одного конца. *Каутский* — см. с. 433.

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ — Сатирикон (Париж). 1931. № 4. С. 9. Подпись: Сандро.

ТИХИЕ ШУМЫ — Шанхайская заря (Шанхай). 1931. 10 мая. *Буало Н.* (1636—1711) — французский поэт, критик, теоретик классицизма. Известен как автор сатир на моральные, житейские и литературные темы. «*Голос минувшего на чужой стороне*» — журнал по истории и истории литературы, выходивший в Париже в 1926—1928 годах. *Кьяпп* — в неопубликованных воспоминаниях В. Б. Сосинского сообщаются некоторые подробности о Кьяппе — префекте департамента Сены, в который входит Париж. Именно он, благоволя белогвардейцам и Белому движению, посадил за руль парижских такси офицеров армий Юденича, Колчака, Врангеля и Деникина, вопреки протестам профсоюза французских таксистов.

НАБЛЮДЕНИЯ ИНТУРИСТА — Сатирикон (Париж). 1931. № 6. С. 2—3. С 1925 года в целях пропаганды советская власть стала приглашать туристические делегации из капиталистических стран. Объекты осмотров и посещений, разумеется, заранее подготавливались по типу «потемкинских деревень», о чем любили позлословить эмигрантские газеты. Иллюстрацией подобной «показухи» может служить заметка «Английские рабочие в СССР»: «Ежедневная почта» сообщает, как большевики водили за нос делегацию английских тред-юнионов. В Петербурге их повезли на фабрику «Красный треугольник». После осмотра фабрики пригласили в столовую. <...> Когда этот «обычный обед» был подан, делегаты раскрыли глаза: им подали наваристый борщ с мясом, ростбиф и мадеру. Посетители спросили: «Неужели это обычный обед рабочих?» <...> Через несколько дней после английского визита на «Красном треугольнике» разразились беспорядки. Рабочие потребовали повышения заработной платы, но получили отказ» (РГ. 1925. 25 января).

ПРИСКОРБНЫЙ СЛУЧАЙ — Сатирикон (Париж). 1931. № 9. С. 6—7. *Третейский суд* — эта общественная форма разрешения частных споров и оскорблений, как видно, получила широкое распространение в русской диаспоре. Об этом, в частности, пишет в своих воспоминаниях М. В. Вишняк: «В итоге острой полемики с коллегой-пушкинистом М. Л. Гофманом Ходасевич обвинил его в присвоении чужих литературных открытий. Гофман, естественно, вызвал Ходасевича на третейский суд...» (В и ш н я к М. В. Современные записки. 1993. С. 146). *Обер-скотина* — в дореволюционной России приставка «обер» (*ober нем.* — главный, старший, начальствующий) употреблялась для обозначения старшинства чина,

звания и должности — напр., обер-офицер, обер-хамергер. В обиходной речи имело, по-видимому, то же значение, как в наше время английское *super*.

НАГЛЯДНОЕ ОБУЧЕНИЕ — Сатирикон (Париж). 1931. № 11. С. 6—7. *Выставка «Треугольник»* — см. с. 422.

АМЕРИКАНСКИЕ РЕКОРДЫ — Сатирикон (Париж). 1931. № 16. С. 4. Подпись: С-о.

ЭМИГРАНТСКИЕ ПРИМЕТЫ — Сатирикон (Париж). № 20. С. 6. Подпись: Кинто. *Чихнуть в ванне — к подписке на «Сатирикон»*. — С этой шутливой приметой Саша Черный — увы — промахнулся. Возрожденный в Париже М. Г. Корнфельдом, сатирический журнал не дожид до конца 1931 года — 15 октября вышел последний, 28-й номер. Один из основных сотрудников этого издания, размышляя о причинах его недолгого века, позднее писал: «...бился в этом третьем «Сатириконе» живой пульс, и отличное было у него кровообращение, и мог бы он жить и жить, а вот что-то около года просуществовал, и потом взял и помер. Друзья говорили — денег не хватило, враги говорили — юмор был, а юмористов как кот заплакал. Плакал он очевидно недолго...» (Д о н - А м и н а д о. С. 314).

СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ

«Солдатские сказки» вышли отдельной книгой в середине 1933 года в парижском издательстве «Парабола» с обложкой работы художника И. Я. Билибина. В 1939 году эта книга была переиздана в Стокгольме и Шанхае без каких-либо текстовых и композиционных изменений, но в ином оформлении. Это посмертное издание 1933 года, осуществленное, по всей видимости, вдовой поэта, принято в качестве канонического. Остается неизвестным, был ли оставлен Сашей Черным предварительный план относительно состава и композиционного построения «Солдатских сказок». Под вопросом даже само название книги: задумано ли оно автором или использован один из наиболее часто повторяющихся подзаголовков, которыми сопровождалась прижизненные публикации сказок (были и другие: «Солдатские побрехушки», «Солдатские были-небылицы» и т. д.).

Все сказки, вошедшие в книгу, при жизни Саши Черного были опубликованы в эмигрантской периодической печати (последняя — «Кабы я был царем» — увидела свет буквально за несколько дней до кончины писателя). Это свидетельствует о том, что скорее всего данный сборник только формировался, когда внезапная смерть автора поставила окончательную точку. Надо полагать, что тексты печатались по авторской рукописи. Это, однако, не исключает типографских погрешностей, которые в посмертном издании, конечно же, автор уже не мог исправить.

Для настоящего издания произведена текстологическая сверка с прижизненными первопубликациями сказок. Проставлена авторская датировка и пометы, имеющиеся в прижизненных публикациях.

Сразу после выхода «Солдатских сказок» появились рецензии, в которых последняя книга Саши Черного удостоилась высокой оценки А. И. Куприна (Возрождение. 1933. 26 октября), М. А. Осоргина (ПН. 1933. 26 октября), А. А. Яблоновского (Сегодня. Рига. 1933. 22 ноября). Надо сказать, что еще в период публикаций отдельных сказок в эмигрантской печати они стали примечательным явлением в литературной жизни русского зарубежья, перепечатывались эмигрантской прессой в Америке, Китае... Начали даже появляться стилизации-пародии (см. парижскую газету «Обыватель-гражданин» за 31 марта 1932 года, где без подписи напечатана «Сказка», имевшая подзаголовок: подражание Черному). О читательском признании, которое снискали солдатские сказки Саши Черного в эмиграции, особенно среди бывших военных, свидетельствует факт, сообщенный Борисом Лазаревским:

«Однажды я, пишущий эти строки, зашел к полковнику А. Н. Васильеву-Яковлеву, которого знал с детских лет, и он меня спросил:

— Вы знакомы с Сашей Черным?

— Знаком и давно.

— Ах, какой вы счастливый, я каждую его сказку читаю с огромным наслаждением. Передайте ему мой восторг и мою благодарность, ведь я сам немалое время отзвонил «вольнопером» и уж я-то могу судить, насколько Саша Черный знает и быт, и душу бывалого русского солдата.

22-го июня сего года, в среду я встретил А. М. Черного в редакции «Иллюстрированной России» и передал ему восторг читателя. Он радостно покраснел (ведь мы так мало знаем своих читателей) и попросил дать ему адрес А. Н. В. — что я и сделал. Александр Михайлович тряхнул головой и сказал: «Я ему пошлю книжку...» (Часовой. Париж. 1932. № 88. С. 21).

КОРОЛЕВА-ЗОЛОТЫЕ ПЯТКИ — ПГ. 1928. 25 ноября. ...прекрасная Гобелена. — Здесь, по-видимому, совмещены два слова: «гобелен» и «прекрасная Елена» (героиня «Илиады» Гомера). *Сонетка* — колокольчик для вызова прислуги, с проводкой в другое помещение. *Аграмантовые пуговицы* — пуговицы с позументом. ...солдат 18-го пехотного Вологодского полка. — Полк дислоцировался в Житомире. Согласно выписке из послужного листа А. М. Гликберга, он отбывал воинскую повинность на правах вольноопределяющегося в 18-м пехотном Вологодском полку. На службу принят 1 сентября 1900 года, уволен в запас 25 октября 1902 года (РГВИА, ф. 2212, оп. 4, д. 162, л. 147). *Швальня* — портняжная мастерская.

АНТИГНОЙ — ПН. 1931. 6 декабря. *Антиной* — прекрасный юноша, любимый раб римского императора Адриана (I в.), считавшийся воплощением идеала мужской красоты. После трагической гибели Антиноя его изваяния были установлены по всей империи. *Лак-сандарак* — лак, изготовлявшийся из смолы можжевельника; применялся при обработке мебели. *Епанча* — старинная русская одежда, представляющая собой длинный парадный или дорожный плащ. *Голь-крем* — искаженное «кольд-крем»: косметическое средство начала XX века. *Носки фильдебросовые* — имеются в виду фильдекосовые носки или фильдеперсовы (трикотажные изделия из хлопчатобумажной ткани, обладающей шелковистой гладкостью).

Курительная монашка — свечка в виде черной пирамидки из угольного порошка с душистыми смолами, распространяющими при сжигании ароматный дым.

ОСЛИНЫЙ ТОРМОЗ — Заря (Харбин). 1931. 12 апреля. Напечатано также: Русский инвалид (Париж). 1932. 22 мая. ...с полтора Ивана Великого. — Имеется в виду колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. *Лядушка* — сумка для патронов, носимая через плечо. *Черемис* — до 1918 года название марийца. *Гарнец* — старая русская мера объема сыпучих тел (3,28 л).

КАВКАЗСКИЙ ЧЕРТ — ПН. 1931. 16 августа.

С КОЛОКОЛЬЧИКОМ — ПН. 1932. 28 мая. ...в хороводе королевича вертят. — Имеется в виду хоровая, плясовая песня «По городу гуляет царевич-королевич». *Стражник* — в России 19—20 вв. низший полицейский чин в специальных видах стражи — таможенной (с 1819), пограничной (с 1894) и сельской (с 1903). Стражников набирали обычно из местных жителей, отслуживших военную службу в кавалерии. *Галицкий полк* — 20-й Галицкий пехотный полк, дислоцировался в Житомире. *Шантрет* — искаженное: шатен. (См. Гоголь Н. В. «Ревизор», действие 3, явление 2:

Анна Андреевна: А собой каков он: брюнет или блондин?

Добчинский: Нет, больше шантрет...)

Ерыкала — сквернослов.

КАБЫ Я БЫЛ ЦАРЕМ... — ИР. 1932. № 30. С. 5—6; № 31. С. 6—7. ...шах персидский в гости приедет. — «Приезд шаха персидского» — юмористическая сценка из репертуара писателя-сатирика и артиста И. Ф. Горбунова. ...к шведской матери. — В журнальной публикации было другое выражение: «туда, куда ротный денщик под сердитую руку посылает». ...жития преподобной Анфисы-девы. — Преподобная игуменья Анфиса жила в Малой Азии во времена императора Константина Капронима. Подвергалась гонениям за иконопочитание. *Скоропишущая машинка* — в военных канцеляриях периода первой мировой войны машинопись еще широко не использовалась, большинство официальных бумаг распространялось в рукописном виде. В военных архивах довольно часто можно встретить запросы на нижних чинов, умеющих печатать на пишущей машинке, и ответы на них по большей части отрицательные.

КОРНЕТ-ЛУНАТИК — ПН. 1931. 22 марта. *Корнет* (фр. *cornette*) — младший офицерский чин в русской кавалерии, введен в 1801 г., соответствовал чину прапорщика (до 1884), затем подпоручика. *Лимонад-фиалка* — «Фиалка» — разновидность прохладительного напитка. *Лампа-молния* — керосиновая лампа с особым цилиндрическим фитилем, обеспечивающим яркое освещение. *Темляк* — петля из ремня или ленты, носимая на конце (эфесе) сабли или шпаги. *Вертицимент* — искаженное: дивертисмент (фр. *divertissement* — развлечение) — эд. программа из номеров различных жанров (пение, музыка, танцы и т. п.), даваемых

обычно в дополнение к основному представлению. «Коль славен» — начальная строка 47-го Псалма, переведенного М. М. Херасковым («Коль славен наш Господь в Сионе...»). Положенный на музыку Д. С. Бортнянским, он исполнялся в торжественных случаях как государственный гимн. ...*полбутылки шустовского коньяку*. — Коньяк в России до революции не производили, закупали за границей, главным образом во Франции. Основным поставщиком коньяка был И. В. Шустов — владелец знаменитого в Москве ресторана. Благодаря усиленной и многообразной рекламе, коньяк стал повсеместно известен как «шустовский». На рекламных объявлениях «шустовского коньяка» в качестве эмблемы изображался колокольчик. *Отман* — искаженное: оттоманка — широкий диван с подушками вместо спинки. *Паморки забило*. — Отшибло ум, память. *Корнет-пистон* — насмешливое прозвище корнета. Происходит от названия духового музыкального инструмента «корнет-а-пистон».

БЕСТЕЛЕСНАЯ КОМАНДА — ПН. 1932. 6 марта. *Мурин* — негр, арап. «Слава в вышних» — так начинается «славословие великое», которым православная церковь ежедневно, в конце утреннего богослужения прославляет триипостасного Бога. *Семеновский полк* — старейший полк русской гвардии, куда отбирали наиболее рослых, статных и бравых солдат.

СОЛДАТ И РУСАЛКА — ПН. 1932. 6 марта.

АРМЕЙСКИЙ СПОТЫКАЧ — ПН. 1932. 10 апреля. ...*на глас шестой стел*. — В церковном пении глас — нечто похожее на тон в светской музыке. Всего было восемь гласов или звукопоследований. ...*села Кривцова*. — В деревне Кривцово Орловской губернии Саша Черный жил летом 1911 года. Еще раз он приезжал туда в январе 1913 года.

МУРАВЬИНАЯ КУЧА — ПН. 1931. 28 июня. *Просфора* (просвира) — круглый хлебец из пшеничной муки особой выпечки в форме сплюснутого кружка с оттиснутым изображением креста. Употребляется для совершения христианских обрядов.

МИРНАЯ ВОЙНА — Сегодня (Рига). 1930. 27 апреля. *Рюхи* — старое название игры в городки. *Каптенармус* (от фр. capitaine d'armes) — унтер-офицер, отвечающий за ротное, эскадронное и батарейное оружие, имущество и провиант. Звание существовало в России с начала 18 в. до 1917 года. В Советской Армии — до 1950-х годов. *Старички из пушек воробьиные гнезда вытаскивают...* — По-видимому, реминисценция из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. Ср. приготовления к приступу в Белогорской крепости: «...она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками». *Михрютка* — замухрышка, тщедушный, невзрачный человек. *Чья сторона осилит, канат к себе перетянет, та, стало быть, и одолела*. — В данной сказке Саша Черный использовал фабулу своего более раннего рассказа-утопии «Дельное изобретение», в котором парламентские

споры предложено было разрешать посредством перетягивания каната (РГ. 1925. 9 апреля). *Молоканского толку* — молокане — одна из сект духовных христиан, возникшая в России во 2-й половине 18 в. Отвергают священников и церкви, совершают молебны в обычных домах; стремятся к нравственному совершенствованию.

СКОРОПОСТИЖНЫЙ ПОМЕЩИК — ПН. 1930. 1 января. *Аграмантовая запонка* — см. с. 445. *Меделянский пудель* — в XIX в. была распространена порода меделянских (от древнего названия Милана — Медиолан) догов, которыми в России травили медведей. Здесь, по-видимому, носит комический оттенок. *В Акульку перекинуться*. — «Акулина» — несложная карточная игра, основанная на принципе — кто кого обманет. *Отпок* — стоптанный башмак. *Каптенармус* — см. с. 447.

СУМБУР-ТРАВА — ПН. 1930. 8 ноября. *Гром победы раздавайся*. — Первая строка оды Г. Р. Державина в честь побед генерала-фельдмаршала Г. А. Потемкина и исполненной хором на торжестве по случаю открытия его дворца в Петербурге. *Зауряд-подлекарь* — медик, не имеющий чина, замещающий врача во время войны. *Главный врач госпиталя* — прототипом этого персонажа, видимо, послужил А. Ф. Држевецкий (1876—1943) — главный врач 18-го запасного полевого госпиталя, располагавшегося в годы войны в Пскове. В оде, написанной Сашей Черным в его честь (см. 2-й том настоящего издания), он предстает как строгий ревнитель чистоты и порядка. *...по всем лавкам-подлавкам*. — В первой публикации в газете было: «по всем углам-щелям». *Собачьей кожи браслетку* — зд., по-видимому, подразумевается ремешок из мягкой тонкой кожи, особой выделки — лайки (омонимическая игра слов: лайка — порода собак). *Денатуральный спирт* — простонародная переделка названия «денатурированного спирта», выдававшегося офицерам для нагревания керосинок. Нередко имели место случаи отравления солдат, выпивавших тайком денатурат.

АНТОШИНА БЕДА — ПН. 1932. 6 марта. *Брудастый* — эта редкостная фамилия заставляет вспомнить одного из героев «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина — градоначальника Д. В. Брудастого. Заметим, что однажды Саша Черный уже использовал эту фамилию или кличку в стихотворном фельетоне «Поставщики», написанном в связи с делом Бейлиса и оставшемся непубликованным (РГАЛИ, ф. 1694, оп. 1, ед. хр. 907):

Опосля за рекой у жидовки
Отмочил я с Брудастым коленце:
Как чеснок, подвязали к веревке
Штук пятнадцать пархатых младенцев.

«ЛЕБЕДИНАЯ ПРОХЛАДА» — ПН. 1932. 1 января. *Фотоген* — устаревшее название керосина. *Окарина* (ит. *osarina*) — духовой итальянский музыкальный инструмент, звуком напоминающий флейту. *Михрютка* — см. с. 447. *На чужой кровать рот не раздавать*. <...> *Глухому попу два обеда на ужин*. — См. «Любимые поговорки проф. В-га» — с. 80.

БЕЗГЛАСНОЕ КОРОЛЕВСТВО — 1932. 26 июня. *Иван Великий* — см. с. 446. *Рюхи* — см. с. 447. *Империап* — русская золотая монета. *Анчутка* — одно из народных имен черта, лешего.

ШТАБС-КАПИТАНСКАЯ СЛАСТЬ — ПН. 1931. 27 сентября. *...поди подавай рапорт румынскому королю.* — Можно предположить, что это шутовское выражение сохранилось в памяти Саши Черного со времени прохождения им воинской службы. Полное наименование полка, где он служил таково: Вологодский, 18-й пехотный, Его Величества короля Румынии полк. *Акцизный чиновник* — в царской России чиновник по сбору налогов на товары широкого потребления. *Сороковка* — бутылка водки объемом в 1/40 часть ведра.

КОМУ ЗА МАХОРКОЙ ИДТИ — ПН. 1932. 28 мая.

ПРАВДИВАЯ КОЛБАСА — ПН. 1930. 22 июня. *...скобяная торговля в Болхове.* — Летом 1911 года Саша Черный побывал в Болхове (см. стихотворение «Уездный город Болхов»). *Невзлюбил Еремеева фельдфебель.* — Здесь можно усмотреть еще один автобиографический факт, вкрапленный в художественный текст. В беседе с современником незадолго до кончины поэт поведал о годах своей службы в армии: «Солдаты меня очень любили, да и офицеры все относились чудесно. Был один, который меня преследовал, но и тот после успокоился. Ведь я два года нес лямку нижнего чина, хотя и вольноопределяющимся, но без права производства не только в офицеры, но даже и в унтер-офицеры» (Лазаревский Б. Последний разговор // Россия и славянство. Париж. 1932. 13 августа). *Ерыкала* — см. с. 446. *Облом* — грубый, невоспитанный, неуклюжий человек. *...сидит килка на одной жилке.* — Перефразированная народная загадка: «Висит килка на одной жилке» (Рукомойник). *Кила* — опухоль на теле, бугор, нарост на дереве. *...перчатку собачьей кожи.* — См. с. 448. *Небось, рады мыши — коту погребают.* — Имеется в виду популярный сюжет лубочных картинок «Мыши коту погребают». *...дочка протопоповская тыкву и поднесла.* — В некоторых южных областях России и на Украине поднесение тыквы сватам означало отказ выйти замуж.

КАТИСЬ ГОРОШКОМ... — ПН. 1930. 2 марта. *Ротмистр (польск. rotmistrz)* — в русской армии офицерский чин в кавалерии, соответствовал чину капитана в пехоте. *Телятина под безшинелью.* — Имеется в виду соус бешамель. *Корда* — зд. веревка, на которой гоняют лошадей по кругу.

СТАТЬИ И ПАМФЛЕТЫ

В данном разделе собраны публицистические произведения Саши Черного, жанровая принадлежность их «размыта». Многие из них полемически и сатирически заострены, и потому не всегда можно провести четкую грань между статьей-памфлетом и фельетоном, отнесенным нами к малым формам «сатиры в прозе».

ОПЯТЬ... — Луч света. 1909. 20 января. В рубрике: «Дневник резонера». ...жил в десяти километрах от Выборга. — Судя по пометам к стихам, поэт в начале 1909 года отдыхал в пансионате близ финского поселка Сальмела. ...облик «человека в очках». — Подразумевается знаменитый портрет К. А. Стюнерберга, написанный М. В. Добужинским на рубеже 1905—1906 годов, который был приобретен в 1908 году Третьяковской галереей и стал известен под названием «Человек в очках». В восприятии современников картина эта явилась обобщенным образом горожанина, служащего, интеллигента, как бы отгороженного от мира стеклами очков. *Гамсун К.* (1859—1952) — норвежский писатель, Нобелевский лауреат (1920), автор романа «Пан» (1894), главный герой которого, укравшись от городской цивилизации, живет в лесу. *Октябрист* — член партии «Союз 17 октября» (название дано по дате царского Манифеста: 17 октября 1905 г.). Октябристы считали, что дарованные народу свободы создали достаточные предпосылки для развития общества. Выступая за упразднение неограниченного самодержавия, октябристы вместе с тем категорически возражали против введения в России парламентского строя. По составу «Союз 17 октября» можно считать «господской» партией — основу ее составляли люди зрелого возраста, высокого образовательного уровня, со вполне определившимся общественным и имущественным положением. Занимала она промежуточное положение между кадетами и крайне правыми. Саша Черный, награждавший октябристов язвительно-неприязненными характеристиками, являлся в данном случае выразителем мнения лево-либеральной среды. Претензии, предъявляемые октябристам, можно сформулировать в следующем виде: «Все-таки октябризм, в смысле программном, был и остается своеобразной, почти патологической помесью реакционного охранительства с довольно туманным либерализмом. Правда, и в смысле тактическом партия проявила также почти патологическую помесь недовольства с угодливостью, фронды с сервелизмом» (Петрищев А. Хроника внутренней жизни // Русское богатство. 1914. № 1. С. 347). *Сборники «Знание»* — сборники товарищества «Знание», составленные из новых произведений главным образом русской литературы и рассчитанные на широкие демократические читательские круги России. Созданы по инициативе и при участии А. М. Горького; среди авторов — Л. Андреев, И. Бунин, А. Куприн и другие писатели реалистического направления. Всего с 1904 по 1913 вышло 40 выпусков. ...слушали Андрея Белого. — Речь идет о лекции Андрея Белого на тему «Настоящее и будущее русской литературы», прочитанной 17 января 1909 года в зале Тенишевского училища. ...что такое искусство <...> Дальше я ничего не понял. — Выступления А. Белого отличались усложненностью, подтверждением тому может служить характерный отклик в прессе: «Половину времени лектор убил на то, чтобы разъяснить <...> что сущность вещей неуловима, а следовательно неуловима и сущность искусства. Для доказательства этой истины лектор привлек все виды научного оружия: гносеологию, методологию, психофизиологию, механику» (Брусилоский И. Андрей Белый об «Искусстве будущего» // Наш день. 1908. 21 января). «*Биржевые*» — газета «Биржевые ведомости».

«ХОРОШИЕ АВТОРЫ» — РГ. 1924. 13 ноября. «Пан» — см. с. 421. *Лига наций* — см. с. 429. ...эпизод с бурами. — Имеется в виду война Великобритании против южноафриканских республик Оранжевого свободного государства и Трансвааля в 1899—1902 годах. Борьба буров с английскими колонизаторами имела резонанс во всем мире, в том числе и в России. Но знаменитые европейцы мол-

чали. — Реакция крупнейших писателей Запада на произвол, творившийся в Советской России, не раз вызывала возмущение эмигрантской прессы. Так негодовал И. А. Бунин: «...Четыре года реками, морями текла кровь в России, — и давно ли сама Чека опубликовала, что по ее подсчету — только по ее подсчету! — казнено около двух миллионов душ. Гауптман, друг пролетариата, «несущего в мир новую, прекрасную жизнь», не проронил ни словечка. <...> Гауптманы молчали и только кивали головой на уверения «русской демократии», что все это пустяки по сравнению с величием «великой русской революции» и что надо «верить в великий русский народ и его светлое, демократическое будущее...» (Б у н и н И. А. Голубь мира // Слово. Париж. 1922. 31 июля). ...сгорел, как Л. Андреев со своим «S.O.S.». — За полгода до смерти, в феврале 1919 года, Л. Н. Андреев опубликовал в газете «Общее дело» памфлет «S.O.S.». Он призывал правительства США, Англии и Франции не входить ни в какой альянс с большевиками и прийти на помощь России, гибнущей под властью большевиков. ...гид из породы Чуковских все это, разумеется, объяснит. — Язвительная реплика Саша Черного в адрес К. И. Чуковского едва ли справедлива. Активное участие Чуковского в первые годы Советской власти в культурной жизни Саша Черный объяснял приспособленчеством. Разъяснение на этот счет содержится в открытом письме К. И. Чуковского: «Одна дама сказала мне: как можно читать для советских детей. Я всем существом ощущал, что советских детей нет, а есть русские дети, точно так же, как нет советских солдат, советских моряков, а есть плохие или хорошие — русские люди. Потому-то я был фактическим врагом саботажа в области культурной работы: читал лекции красноармейцам, матросам и радовался, узнавая их ближе» (Голос России. Берлин. 1922. 16 июля). ...Уэллс и Бернад Шоу <...> на роскошном советском рауте в Лондоне. — Знаменитые английские писатели с интересом следили за революционными процессами, происходившими в России, приветствовали экономические и общественные преобразования. Публичные их высказывания не оставались незамеченными в печати зарубежной России: «Но, признаюсь, удивил нас своим покровительственным уклоном в симпатии к большевизму замечательнейший из современных писателей Бернад Шоу. Ему ли, думалось, обладающему скептическим умом, необыкновенной точностью и остротой мысли, ему ли пронизательному и смелому насмешнику — ему ли навязать себе роль арбитра в той чертовой трагикомедии, которую до сих пор не понимают: ни ее авторы, ни ее исполнители, ни миллионы статистов-жертв» (К у п р и н А. Прозревают // РГ. 1924. 18 декабря). «Я уверен, что дурной человек, не может быть хорошим автором». — Цитата из статьи Н. М. Карамзина «Что нужно автору». Тан-Богораз — см. с. 433. Бичер-Стоу Г. (1811—1896) — американская писательница, автор романа «Хижина дядя Тома» (1852), снискавшего мировую известность. Книга эта сыграла огромную роль в искоренении рабства негров в США.

СТАРЫЙ СПОР — РГ. 1924. 30 декабря. *Пять углов* — так именовалось в Петербурге место пересечения Загородного проспекта с Разъезжей и Троицкой улицами и Чернышевым переулком. «Дом литераторов» — профессиональное объединение петербургских литераторов, возникшее после 1917 года и просуществовавшее до 1922 года. Своей целью ставило проведение вечеров, лекций, диспутов, а также оказание материальной помощи своим членам (пайки, талоны и пр.). *Были ли вы на голоде?* — Имеется в виду голод, охвативший многие области

Советской России в 1921 году. Число жертв исчислялось миллионами. Доходили слухи о случаях людоедства и вымирания целых деревень в Поволжье. По предложению ряда видных общественных деятелей, ученых, писателей 21 июля 1921 года был организован Комитет помощи голодающим, который, пользуясь поддержкой русской общественности и иностранных организаций, развил бурную деятельность. Однако вскоре решением правительства эта организация была ликвидирована, а многие ее члены были подвергнуты аресту и высылке. *Курбский А. М.* (1528—1583) — князь, сподвижник Ивана Грозного. Опасаясь царской опалы, бежал в 1564 году в Литву. Автор публицистических посланий, направленных против тирании. За ним закрепилась слава первого на Руси политического эмигранта. *Дважды два <...> не стеариновая свечка, а целый свечной завод.* — Здесь обыграно расхожее выражение «дважды два — стеариновая свечка». Свое происхождение оно получило из романа И. С. Тургенева «Рудин», где один из персонажей произносит такую фразу: «...мужчина может, например, сказать, что дважды два не четыре, а пять или три с половиною, а женщина, что дважды два — стеариновая свечка». ...*Другого зверь, пресытись, изблевал.* — Из этой фразы следует, что воображаемым оппонентом автора, скорее всего, был один из интеллигентов, высланных в 1922 году за границу по решению советских властей. В большинстве своем это были философы, писатели, общественные деятели, оппозиционно настроенные к проводимой большевиками политике. За ними было сохранено советское гражданство, однако в большинстве своем они не могли да и не пожелали вернуться на родину.

МЕЛКАЯ ИГРА — РГ. 1925. 22 января. «*Союз русских художников во Франции*» — профессиональная организация деятелей изобразительного искусства, эмигрировавших из России во Францию. Председателем был художник-скульптор В. Издебский. Союз ставил своей задачей создание в Париже свободной русской академии художеств, мастерских для малообеспеченных художников, а также устройство выставок, лекций, вечеров и продажу картин членов союза. После установления дипломатических отношений между Францией и Советским Союзом в ноябре 1924 года общее собрание Союза художников приняло решение о своей лояльности в отношении к СССР. Во время Международной декоративной выставки в Париже в 1925 году члены Союза приняли в ней деятельное участие. Однако были и несогласные: в эмигрантской печати появились заявления с протестом и отказом сотрудничать с посланцами страны Советов. *Дункан А.* (1877—1927) — американская танцовщица, основоположница свободного пластического танца «модерн», заменившая балетный костюм хитомом, танцевавшая босиком. Одна из первых среди артистов Запада приветствовала Советскую власть. В 1921—1924 годах жила в СССР. Став женой Сергея Есенина, совершила с ним турне по странам Европы и США. Была лишена американского гражданства за «красную пропаганду». *Чехонин С. В.* (1878—1936) — известный живописец, график, мастер книжной иллюстрации. Автор обложки книги Саши Черного «Сатиры и лирика» (1911). После Октябрьской революции активно работал в книжно-журнальной области, участвовал в создании первых советских денежных знаков и революционной эмблематики (проект герба РСФСР), занимался росписью по фарфору (орнаментально-шрифтовые композиции на революционные темы). В 1928 выехал за границу; умер в Германии. *Бродский И. И.* (1883—1939) — живописец и книжный график, заявивший о себе еще в сатирических журналах 1905—1906 годов. Был

привлечен Сашей Черным к оформлению сборника «Голубая книжка» (1913). После 1917 года стал официальным художником Советской власти, создал портретную галерею вождей партии. Им была собрана великолепная коллекция картин, которая стала основой художественного музея, расположенного на улице его имени в Ленинграде (Петербурге). *Лукомский Г. К.* (1884—1952) — график, акварелист, художественный критик и историк архитектуры. С 1921 года жил за границей, сохраняя сочувственное отношение к преобразованиям в культуре и искусстве Страны советов. В начале 1924 года опубликовал ряд статей в просоветской газете «Накануне», выходящей в Берлине, что дало Саше Черному повод зачислить его в «перебежчики». С 1925 года жил в Париже, сотрудничал в «Парижском вестнике» (см. с. 431), служил в советском полпредстве, но недолго. Эмигрантская печать не без злорадства сообщила, что за оппозиционные взгляды было уволено из полпредства около 20 сотрудников, в числе которых «придворный полпредский художник Лукомский, сменивший вехи и тщетно старавшийся попасть в ректоры красной художественной академии в Москве» (Русское время. Париж. 1926. 17 октября). *Андреева М. Ф.* (1868—1953) — русская актриса, общественная и политическая деятельница; гражданская жена А. М. Горького. Комиссар театров и зрелищ Петрограда (1919—1921). В начале 1920-х годов заведовала художественным отделением советского представительства в Берлине. Саша Черный познакомился с ней на Капри в 1912 году, посвятил ей мадригал (см. т. I). *Выставка декоративного искусства в Париже* — устроенная в Венсенском лесу в мае 1925 года, была первой международной выставкой, в которой участвовал Советский Союз. Приглашение стало возможным после признания Францией СССР (в ноябре 1924 года). Наибольший шум и полемика были подняты в эмигрантской печати вокруг советского отдела. Советский павильон, построенный по проекту молодого талантливого архитектора К. С. Мельникова, представлял уникальную строительную конструкцию, соперничать с которой в смелости решения новой формы могли лишь проекты Корбюзье. Эмигранты же называли его не иначе, как «Красный барак Советов». Их насмешки и негодование вызывали бюст Ленина у входа, модель татлинского памятника III Интернационалу, плакаты Родченко с агитками Маяковского, композиции прикладного искусства, выполненные в конструктивистском и супрематистском стиле. Однако жюри высоко оценило экспозицию советского отдела, присудив ей в общей сложности 183 награды. Особо были отмечены разделы «Искусство театра», «Искусство и индустрия книги», «Роспись», «Искусство улицы», «Фотография, кинематография», «Искусство и индустрия керамики». *Ларионов М. Ф.* (1881—1964) — художник, испытавший в начале своего творческого пути влияние фовизма и наивного искусства примитива (лубок, игрушки, пряники, вывески). В процессе исканий пришел в 1911 году к созданию лучизма — одного из направлений абстрактного искусства. Был организатором московских выставок левых художников «Бубновый валет» (1910), «Ослиный хвост» (1912), «Мишень» (1913). С 1915 года жил в Париже, занимался оформлением балетных спектаклей С. Дягилева, станковой живописью и книжной иллюстрацией. В Маяковский, отмечая приверженность М. Ларионова и Н. Гончаровой к тому, что происходит на родине, писал: «Радует отношение этих художников к РСФСР, не скулящее и инсинуирующее отношение эмигрантов. Деловое отношение. Свое, давно ожидаемое и ничуть не удивлявшее дело. Никаких вопросов о «сменах веж». Приезд в Россию — техническая подробность» (М а я к о в с к и й В. В. Семидневный смотр живописи. Собр. соч. В 13 т. Т. 4. М., 1957. С. 250). В 1938 г. принял французское гражданство. *Рю де Гренель* — улица в Париже, где располагалось

Российское посольство. В конце октября 1924 года оно оставило это здание и его заняло дипломатическое представительство СССР во главе с политическим представителем Л. Б. Красиным. *Школа Штиглица* — Центральное училище технического рисования, основанное в 1876 году меценатом бароном А. Л. Штиглицем в Петербурге (открыто в 1879). Ныне Санкт-Петербургское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной.

ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ — РГ. 1925. 5 февраля. *Багажа можно брать около 50 кило!* — В газете «Парижский вестник» от 9 сентября 1925 года приведен подробный перечень вещей, денежных знаков и ценностей (более 50 наименований), не облагавшихся пошлиной при отъезде в СССР. Все было регламентировано до мелочей: «одеяло или плед — 1 шт., тюфяки — 1 шт., одеколон во вскрытом виде — 1 флакон, мыло туалетное — 2 куса, зонт, трость — 1 шт.» и т. д. ...написанную языком рапорта. — Приведем в качестве образца одно из многочисленных объявлений «Союза возвращения на родину»: «Генеральное консульство СССР в Париже (12, Rue de Verrier) сим напоминает всем бывшим подданным Российской империи, проживающим во Франции гражданским эмигрантам, бывшим военнопленным, солдатам бывшего экспедиционного корпуса, солдатам белых армий и матросам бизертского флота, что желающие приобрести права гражданства СССР должны подать об этом письменное заявление в Генеральное консульство» (Парижский вестник. Париж. 1925. 7 мая). ...задача <...> чисто азефовская. — Азеф Е. Ф. (1869—1918) — один из лидеров эсеровской партии, организатор террористических актов, который был разоблачен в 1908 году как провокатор и секретный агент полиции. ...твердая советская единица». — В 1922 году в СССР был введен банковский билет номиналом в 10 рублей, обеспеченный золотым содержанием в 7,74234 г золота. Большевики предпринимали усилия, чтобы «советский червонец» был признан в качестве конвертируемой валюты, что в известной мере удалось.

ИЛЛЮСТРАЦИИ — РГ. 1925. 8 февраля. *Рыков А. И.* (1881—1938) — один из руководителей Советского государства и вождей коммунистической партии. Был назначен на пост председателя Совнаркома СССР (1924). Уделял особое внимание сельскому хозяйству. К годовщине его работы в Совнаркоме были помещены материалы и фотографии в журнале «Огонек» (№ 6 от 1 февраля 1925 года). *Главковерх, первый словесный электрификатор Февральской революции.* — Имеется в виду А. Ф. Керенский (1881—1970) — политический деятель, глава Временного правительства (с 8 июля 1917 года). Оценка его личности и роли в отечественной истории носила преимущественно негативный характер. «...он сыграл поистине роковую роль в истории русской революции <...> бессознательная бунтарская стихия случайно вознесла на неподходящую высоту недостаточно сильную личность» (Н а б о к о в В. Д. Временное правительство. М., 1991. С. 38—39). Обладая незаурядными ораторскими способностями, умел привести толпу в восторг и иступление: «Я сама видела эти слезы на глазах солдат и рабочих, забрасывавших цветами автомобиль Керенского на Марининской площади» (Т э ф ф и Н. А. Смешное в печальном. М., 1992. С. 417). Однако полная неспособность приостановить государственный распад привела к тому, что многие современники отзывались о нем презрительно: «...слякоть <...>, размазня, пустой говорун, безвольная мельница»

(Аверченко. Я разговаривал с Керенским // Новый сатирикон. 1917. № 41. С. 6). *Помню, отправились мы отрядом из Житомира в Уфимскую губернию кормить и лечить голодающих.* — В мае 1899 года по инициативе К. К. Роше произведен сбор пожертвований среди жителей Житомира в помощь голодающим Поволжья. В газете «Волынь» (от 30 мая 1899 г.) в разделе местной хроники было помещено следующее сообщение: «Сегодня К. К. Роше выезжает в Белебеевский уезд Уфимской губернии для устройства там Волынской столовой для голодающих. Одновременно туда же отправляется с ним небольшой отряд добровольцев, в состав которого вошли: сестры милосердия Лаврова, Москаленко и Будзинская, г-жа Грабовская, Петрашевская, г. Блинов и ученик VI класса Гликберг. Отряд снабжен аптечкой, пожертвованной житомирским обществом врачей...» В течение двух месяцев на страницах «Волыни» появлялись подробные корреспонденции К. К. Роше «Из голодных мест». *Лассаль Ф.* (1825—1864) — немецкий социалист, руководитель Всеобщего германского рабочего союза. *Жорес Ж.* (1859—1914) — руководитель Французской социалистической партии, основатель газеты «Юманите» (1904). Убит французским шовинистом в канун первой мировой войны. *Каутский* — см. с. 433. ...«*Пушкинист*» из красного еженедельника «Зори». — Речь идет о статье «Пушкин и революция», опубликованной в петроградском журнале «Зори» (№ 8 за 1924 год), подписанная инициалами С. Н. [Сергей Наседкин — ?]. Автор цитирует две эпиграммы Пушкина, которые навлекли на него гнев царя («Подражание французскому» и «Фонарь»). Из этого следует вульгарно-социологический вывод: «И теперь, когда предначертанное Пушкиным свершилось, мы, стоя у его могилы, должны признать его истинно-революционным поэтом, глашатаем революции». ...сочинений *Екатерины Великой.* — Императрица Екатерина II выступала не только как автор политических трактатов, драматург, историк, но и как издательница журналов. Вела обширную переписку с западно-европейскими просветителями Вольтером и Дидро. Собрание ее сочинений насчитывало 11 томов. *Спиридонова М. А.* (1884—1941) — одна из видных деятельниц партии левых эсеров. С 1906 по 1917 год была на сибирской каторге. В 1917 году активно включилась в политическую жизнь, была избрана членом президиума ВЦИК Советов и товарищем председателя ЦК левых эсеров. После мятежа левых эсеров 6 июля 1918 г. была арестована, много лет провела в тюремном заключении. «*Кремль за решеткой*» — сборник статей и материалов вышел в берлинском издательстве «Скифы» (1922) с подзаголовком «Подпольная Россия». *Орешин П. В.* (1887—1938) — советский поэт, активно заявивший о себе в послереволюционные годы. Его причисляли к новокрестьянскому направлению. Цитируются строки из стихотворения «Гиппопотам» (Красная нива. 1924. № 6. С. 146).

ТАБУ — ПН. 1925. 31 декабря. В авторской рубрике: «Из зеленой тетрадки». *Антиной* — см. с. 445. *Гааз Ф. П.* (1780—1853) — русский врач-гуманист. Как главный врач московских тюрем, много сделал для улучшения содержания заключенных, организовал школы для детей арестантов и т. п. В общественном мнении стал олицетворением бескорыстия, милосердия и подвижничества. «*Переносится действие в Пизу*». — Строка из стихотворного фельетона Н. А. Некрасова «Газетная» (указано М. Л. Гаспаровым). *Боа* — шарф из меха или перьев. «*Будильник*» — один из самых популярных сатирических журналов России, выходивший в 1865—1917 годы в Петербурге, потом в Москве. Поначалу остроумный и злободневный, журнал впоследствии опустился до примитивного зубоскальства и

анекдотического веселья с дежурным персонажем — «тещей». А. Аверченко дал язвительную аттестацию этому изданию: «Б у д и л ь н и к»: Старичок с дрожащими руками, подслеповатый, хихикающий беспричинным смехом. Выходит в старческом халатике с яркими разводами, и если этот халатик распахнуть, то, как у Плюшкина, видно, что под халатиком ничего нет» (Сатирикон. 1908. № 34. С. 5). *Карт-д'идантите* — см. с. 436. *Нат Нинкертон* — см. с. 419. ...Гоголь писал о «Комическом писателе». — Прочитирован отрывок из письма Н. В. Гоголя от 29 апреля 1836 г. М. С. Щепкину.

НАШИ ДЕТИ — Прилож. к газ. «Возрождение». Париж. 1927. 8 июня. Специальный выпуск ко «Дню русской культуры». «Тарзан» — серия романов Э. Р. Берроуза (1875—1950) о жизни белого человека, выросшего в джунглях Африки. «Генерал Дуракин» (*Le général Douraquin*) — серия повестей с занимательным сюжетом, представляющих в юмористическом свете русские обычаи и нравы. Автор — французская детская писательница графиня де Сегюр, урожденная С. Ф. Ростопчина (1799—1874). «*Вот в самой, в самой глуши поля*» — возможно, что эти стихи о Пушкине принадлежат Валентину Андрееву, сыну писателя Леонида Андреева, в семье которого Саша Черный жил в Риме в 1923—1924 годах.

ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ — ПН. 1930. 23 апреля. «Голодная пятница» — пансион для русских детей, который был открыт в 1929 году в Монморанси (городок близ Парижа). Средства на него были собраны по инициативе «Земских и городских деятелей» (Земгор). Поначалу в нем содержалось 35 детей, а в 1930 году приют был переведен в более обширное помещение, рассчитанное на 50 детей. Название объясняется так: у христиан пятница была постным днем, поскольку в пятницу распяли Христа. *Верб*а — христианский праздник Вербное воскресенье, отмечаемый за неделю до Пасхи. В этот день устраивали «Вербные базары», где торговали всевозможными игрушками и поделками, привлекавшими детвору; организовывали балаганные представления. На Руси это был поистине народный праздник.

О ЛИТЕРАТУРЕ

ВЛАДИМИР НАРБУТ. ЛЮБОВЬ И ЛЮБОВЬ. — Современник. 1913. № 5. С. 355—356. Подпись: А. Ч. Раздел: «Новые книги». «*Садок судей*» — один из первых сборников русских футуристов, изданный в 1910 году в Петербурге. Текст отпечатан тиражом 300 экз. на обоях. Название предложено Велемиром Хлебниковым. Кроме него авторами сборника были Д. и Н. Бурлюки, В. Каменский, Е. Гуро, Е. Низен, С. Мясоедов. Иллюстрации В. Бурлюка. *Рукавишников* — см. с. 409. ...«*смеюнчики-смехачи*» — неточная цитата из стихотворения В. Хлебникова «*Заклятие смехом*», впервые напечатанного в сб. «Студия импрессионистов» (1910). «*Золотое руно*» — художественный и литературно-критический журнал, издававшийся в 1906—1909 годах в Москве П. П. Рябушинским. Считается одним из самых роскошных изданий модерна в нашей стране. В нем печатались почти все ведущие представители символизма. ...*книга стихов фельдшера Я. В. Куртышова*. — В предисловии к этому собранию стихотворных упражнений поэта-самоучки

сказано: «Образование мое самое незначительное: только полученные четырехлетние права в сельском училище, после чего занятие мое было крестьянство до 22-х годов. До этого времени у меня в руках не было пера и книг. По прошествии сказанного мною времени я обучился фельдшерскому искусству». На обложке этого действительно редкого и не замеченного сборника стихов (он не зафиксирован даже в указателе «Русские поэты XX века», составленном А. К. Тарасенковым) изображен автор, сидящий за столом в больничной приемной — то ли над историей болезни, то ли над рукописью собственных сочинений. *Нарбут В. И.* (1888—1938) — поэт, начавший широко печататься в петербургских периодических изданиях начиная с 1909 года и выпустивший сборник «Стихи» (1910). В рецензиях отмечалась подражательность стихов молодого автора: «Нарбут с каким-то скучным безразличием относится к темам своих стихов» (В. Брюсов). Став членом объединения «Цех поэтов», В. Нарбут издал в 1912 году сборник «Аллилуйя» тиражом в 100 экземпляров. Книга была конфискована цензурой за богохульство, и ее автору пришлось срочно покинуть университет, а затем и Россию. «Аллилуйя» явилась наиболее эпатажным изданием адамизма: в антиэстетичной и грубой форме (подражание озорному фольклору бурсаков) воспевалась всякая «нежить» и «погань». В феврале 1913 года, вернувшись в Петербург, издал третью книгу стихов «Любовь и любовь», куда вошли два стихотворения: одно дерзко-экспериментальное — «Дурной» (позже — «Порченый»), другое — «Вдовец», написанное в традиционной манере.

ПОДОРОЖНИК — Жар-Птица (Берлин). 1921. № 1. С. 41. Подпись: А. Ч. Рецензия на книгу стихов А. Ахматовой «Подорожник». Пг. «Петрополис». 1921. 60 с. 1000 экз. ...*новых скифов с Мало-Подъяческой (так хорошо изучивших словарь Дала)*. — Имеются в виду С. Есенин и Н. Клюев — поэты, выпускавшие сборники стихов в издательстве «Скифы».

«ШАТЕР» ГУМИЛЕВА — Жар-Птица (Берлин). 1921. № 3. С. 36. Подпись: А. Ч. Эта статья-отклик на книгу Н. Гумилева, предварявшая подборку стихотворений из «Шатра»: «Абиссиния», «Красное море», «Сомали», — была данью памяти расстрелянного поэта. Саша Черный и Н. С. Гумилев относились к разным литературным кругам, но это не помешало Гумилеву дать высокую и проницательную оценку автору «Сатир»: «Природу он любит застенчиво, но страстно, и, говоря о ней, делается настоящим поэтом. Кроме того, у него есть своя философия — последовательный пессимизм, не падающий самого автора» (Аполлон. 1910. № 8. С. 62). *Дай скончаться под сикоморю, // Где с Христом отдыхала Мария.* — Заключительные строки «Вступления» — стихотворения, которым открывается «Шатер». ...*вспомнил он о второй своей родине — Африке.* — А. Н. Толстой, находившийся в приятельских отношениях с Н. С. Гумилевым, вспоминал о его африканской экспедиции: «Он женился и один уехал в Абиссинию. Сбылась его мечта о тропических лесах, о пирогах, скользящих по голубым озерам, о стадах обезьян, о том задумчивом жирафе, который, поджидая его, много лет бродил по берегу озера Чад. Гумилев привез из Африки желтую лихорадку, прекрасные стихи, чучело убитого им черного ягуара и негрское оружие» (ПН. 1921. 23 октября). *Нет даже слабой надежды, что <...> написанные им страницы будут сохранены и дойдут до нас.* — Саша Черный оказался не совсем прав в своем предположе-

нии. После гибели Гумилева книга его неопубликованных стихов с предисловием Г. Иванова вышла двумя изданиями (в 1922 и 1923 гг.). Вплоть до 1925 года стихи и проза Гумилева нередко появлялись на страницах советской печати — лишь позже на это имя был наложен строжайший запрет, снятый уже в 1980-е годы. Что касается архива поэта, то в следственном деле он не фигурировал. Известно, что рукописи долгое время сохранялись у друзей и родственников, либо в государственных хранилищах — под спудом.

ЗИНАИДА ГИППИУС. СТИХИ — Новости литературы. Берлин. 1922. № 1. С. 54—55. Данная статья может показаться неожиданной, ибо в системе дореволюционных иерархий З. Н. Гиппиус и Саша Черный принадлежали к разным ступеням писательского Олимпа. Во всяком случае Гиппиус в своих критических выступлениях весьма иронически отнеслась к попыткам Саши Черного выйти за пределы сатирического цеха: «Вдруг заговорили о «возрождении смеха». Чему обрадовались? И кому? Саша Черный, Аркадий Аверченко, Тэффи. О Саше Черном в «Речи» было длинно написано и указано даже, что будто это «смех сквозь слезы». Не помню точно, но вроде этого. <...> «Возрожденный смех должен занять подобающее место», — сказал себе Саша Черный и пошел со своею специальностью на страницы «серьезных» газет и альманахов; ныне уже оттуда он объявляет, что «бюро» ему стало близко, как собственное «бедро», и думает, что это необыкновенно смешно и возродительно» (Русская мысль. 1910. № 12. С. 182—183). «Псалмы» Давида — см. с. 464. ...ясностью, простотой <...> не затемненной мелькающими шарадами намеков, которых, увы, немало в «Дневнике». — О двойственности поэзии З. Гиппиус, о ее «непреодоленном декадентстве» лучше всего сказала она сама: «Декадентство? Это верно и неверно. Верно в факте, но неверно относительно моего сознания и воли. С самого допотопного моего начала я стремилась прочь от всякого «декадентства», отрекалась от него, проповедовала простоту. Мое время было, однако, трудное. Бороться за простоту приходилось на два фронта, т. е. и против Надсона, и против «фиолетовых рук на эмалевой стене». Нечему удивляться, что «трюки» частенько меня соблазняли. Время и школа не могли повредить моей сознательной воле и простоте, которой я уже теперь, конечно, не достигну, хотя стремиться к ней не перестану» (Адамович Г. Письма З. Н. Гиппиус // Нов. русское слово. Нью-Йорк. 1951. 21 января).

«СОБАЧЬЯ ДОЛЯ» — Голос России (Берлин). 1922. 12 февраля. Подпись: А. Г-ъ. Отнесено к dubia. *Ирецкий В. Я.* (наст. фамилия Гликман; 1882—1936) — прозаик, критик, журналист, заявивший о себе как беллетрист еще до революции. В годы гражданской войны заведовал библиотекой Дома литераторов в Петрограде, выпустил сборник рассказов «Гравюры», куда вошли тонкие сюжетные стилизации на темы старины. Осенью 1922 года был выслан из Советской России вместе с другими оппозиционно настроенными философами, учеными и писателями. Обосновался в Берлине, активно сотрудничал в эмигрантской печати, выпустил несколько книг прозы. *Лабуле де Л.* (1811—1883) — французский публицист и сказочник. Наибольшую славу снискала его сказка-сатира «Принц-Собачка» (1868) —

острый памфлет на Наполеона III, повествующий о принце, который умел превращаться в собачку и узнавать правду о бедствиях народа, о лицемерии и продажности придворных. ...чеховской или толстовской <...> андреевской или купринской силы в изображении четвероногих. — По всей видимости, речь идет о ставших хрестоматийными рассказах о животных: «Холстомер» Л. Толстого, «Каштанка» и «Белолобый» А. П. Чехова, «Кусака» Л. Андреева, «Белый пудель» и «Изумруд» А. Куприна.

ПЕРЕДОНОВЩИНА — РГ. 1924. 6 ноября. Рецензия на книгу А. М. Ремизова «Кукха. Розановы письма». Берлин. Издательство З. И. Гржебина. 1923. 128 с. Категорическое неприятие эстетики и нравственных основ мира, созданного А. М. Ремизовым, — мира эксцентричного, игрового, юродивого — касается не только этой статьи Саши Черного. Вот что поэт писал в 1921 году А. И. Куприну: «Ремизовы, Белые — язык профессиональных юриdivых, надменно-манерные периоды задом наперед, а внутри мыслишки ценою в дырку от бублика. Откуда они? И ведь талантливые люди, вот что обидно, но растягивать талант, как резинку, до гения — нельзя безнаказанно никому» (К у п р и н а К. А. Куприн — мой отец. М., 1979. С. 217). Едва ли подобный подход с позиций здравого смысла давал возможность адекватно осмыслить такую противоречивую фигуру, как Ремизов, чьи эротические непристойности, религиозные кощунства, психологические откровения и словесно-стилистические «загогулины» располагались, по выражению Иванова-Разумника, «между Святой Русью и обезьяной». М. И. Цветаева в своем эссе «Поэт о критике» уничижительно упомянула эту рецензию Саши Черного среди статей «непристойных». Впрочем, критический отзыв Саши Черного о Ремизове не помешал дальнейшим творческим контактам двух писателей — знатоков и ценителей народной словесности. Известно, что 27 мая 1928 года они провели совместный литературный вечер в Медоне. Саша Черный как составитель альманаха «Русская земля» привлек к участию Ремизова. Встречались они и в дружеской компании, собиравшейся в мастерской художника И. Билибина. *Передоновщина* — выражение это, вошедшее в литературно-речевой обиход в начале XX века, образовано по фамилии героя романа Ф. К. Сологуба «Мелкий бес» (1907) — инспектора гимназии Передонова. Для современников в этом образе доносчика, мелкого пакостника и истязателя был воплощен, по словам А. А. Блока, «ужас житейской пошлости и обыденщины, а если угодно — угрожающий знак страха, уныния, отчаянья, бессилия. Этот ужас Сологуб окрестил «Недотыкомкой» (Б л о к А. А. Собр. соч. Т. 5. М.—Л., 1962. С. 162). ...слово обезьянье. — Об «Обезьянней Вольной Палате» см. с. 437. *Тарарабумбия* — см. с. 423. *Розанов В. В.* (1856—1919) — необычайно интересная и противоречивая фигура в русской философии и публицистике конца XIX — начала XX века. С А. М. Ремизовым был близок и творчески связан многие годы. Примечательна запись, сделанная В. В. Розановым в дневнике: «Ремизов А. М. Один из умнейших и талантливейших в России людей. По существу, он чертенок-монашеночек из монастыря XVII в. Весь полон до того похабного, что после него всегда хочется принять ванну» (Литературная учеба. М., 1989. № 2. С. 119—120). Об отношении Саши Черного к В. В. Розанову известно немного — в письме к А. М. Горькому (1912) поэт поместил в виде приписки эпиграмму, представляющую, по-видимому, отклик на книгу Розанова «Уединенное» (1912):

В уединенном месте на вокзале
 Мне бросилась в глаза престранная строка:
 «Халат-халат! Купи мои скрижали!»
 Брат Розанов, не ваша ли рука?

(Архив А. М. Горького. КГ-п 85-5-1)

«Ки-ка-пу» — салонный американский танец, вошедший в моду в начале XX века. Вероятно, зд. аллюзия на книгу Т. Чурилина «Конец Кикапу» (1918). ...«33 белых попа» такое есть общество. — Название вымышленное; можно усмотреть аллюзию с заглавием повести Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода» (1907). Ее муж Вяч. Иванов устраивал «среды» в знаменитой «башне» на Таврической ул., собиравшие литераторов, музыкантов, художников, философов. Чулков Г. И. (1879—1939) — поэт-символист, прозаик, критик, выдвинувший идею «мистического анархизма». Волжский А. С. (1878—1940) — критик и историк литературы. Примыкал к социально-марксистскому направлению; позднее сблился с религиозно-богоискательскими кругами, в том числе с В. В. Розановым. Аничков Е. В. (1866—1937) — критик и историк литературы. «...В. В. Розанов был старейшим кавалером обезьяньей великой и вольной палаты». — О «тайном ордене», придуманном Ремизовым, см. с. 423. Звание, присвоенное В. В. Розанову: «старейший кавалер и великий фаллофор обезвельволпала». ...о своих книгах и книжечках. — А. М. Ремизов был искуснейшим изографом, выпускавшим уникальные рукописные книги, украшенные собственными рисунками. Некоторые из них вручались в качестве подарка, другие предназначались для продажи коллекционерам-меценатам. Вот как рекламировал и представлял Ремизов (под псевдонимом «Василий Куковников») один из подобных манускриптов: «7 августа исполняется 10 лет со смерти Блока. Журнал «Числа» выпускает в единственном авторском экземпляре книгу А. Ремизова «Памяти Блока» — 47 рисунков. <...> выпуск книги в единственном экземпляре не снобизм и не фокус библиофила, мечтающего о библиографических редкостях, а беда, в которую попадают писатели в какие-то «десятилетия». 10 лет назад писатели в Петербурге, не имея возможности издавать книги, выдумали эти единственные экземпляры, украшая их собственными «каракулями»; книги выставлялись для обозрения в «Доме Литераторов». И теперь через 10 лет выпустить книгу, за немногими исключениями можно только за свой счет, прикрывшись какой-нибудь книжной фирмой, а если денег нет, остается довольствоваться единственным экземпляром. И эти единственные экземпляры — единственный способ заявить, что писатель еще существует на белом свете, продолжает писать» (Сатирикон. Париж. 1931. № 18. С. 8). В этих словах есть определенная доля лукавства: Ремизову удалось издать за рубежом довольно много книг (обычным типографским способом) — правда, тиражи их были по большей части мизерными. ...подписал указ А. Бахрах. — В своих мемуарах «По памяти, по записям» (1980) А. В. Бахрах по поводу упоминания своего имени в книге «Кукха» писал: «Не скрою, что тогда мне очень польстило носить титул указа ремизовской обезьяньей палаты да еще в придачу значиться у него «турецким послом обезьяньим и кавалером первой степени с журавлиной ногой». Он же вспоминает мистификаторскую обстановку, которую создал вокруг себя Ремизов: «Ремизовские комнаты были разукрашены какими-то яркими бумажными вырезками, от стены к стене была протянута веревка, на которой висели елочные шишки и какие-то амулеты, то и дело куковала невпопад какая-то заводная кукушка...» Из Ямбурга в Нарву попал, на самой границе... — Сообщение о выезде Ремизова

из Петрограда за рубеж было помещено в берлинской газете «Руль» (31 августа 1921 г.). Сначала он попал в Эстонию, откуда написал в Берлин, прося помочь с визой (см. сб. «Русский Берлин. 1921—1923». Париж. 1983. С. 167). *Гуммиарабик* — камедь, вязкая жидкость из стволов африканских и аравийских акаций, применявшаяся как клей. *Вербицкая А. А.* (1861—1928) — автор женских романов на тему «свободной» любви и эмансипации. На книжном рынке занимала одно из первых мест. *Нагородская Е. А.* (1866—1930) — автор многочисленных романов, посвященных сексуальным проблемам, содержащим мотивы садизма и извращений. Пользовалась успехом у невзыскательной читательской публики. *Чарская Л. А.* (наст. фам. — Чурилова, 1875—1937) — писательница, произведения которой были обращены к детям и юношеству. К. И. Чуковский и другие критики в иронических тонах писали о сентиментальности, аффектированности и слащавости сочинений Чарской. *Брешко-Брешковский* — см. с. 420. Критические упреки в низкопробности его мало волновали. В ответе на анкету он оценивал свое творчество так: «Есть писатели, о которых много пишут, много, вероятно, лестного, с большой похвалой и которых никто не читает. И наоборот — есть широко читаемые, но в критике не нашедшие себе доброго слова. Одни, несмотря на услужливые, благожелательные перья, мирно покоятся на полках книжных магазинов, другие же расходятся в большом количестве повторяемых изданий и по отчетам библиотек идут на первых местах. Я принадлежу ко второй категории, и это меня утешает, как утешают также выгодные предложения издавать мои романы на французском, немецком и английском языках» (Газета «Кабаре». 1918. № 2). *Яблоновский А. А.* (1870—1934) — фельетонист, публицист, пользовавшийся огромным успехом у российского читателя. Активно сотрудничал в эмигрантской прессе, где занимал крайне непримиримую позицию по отношению к Советской России. С Сашей Черным его связывали давние дружеские взаимоотношения, ибо он был первым, кто принял участие в дописательской судьбе А. Гликберга, в его еще отроческие годы (об этом см.: И в а н о в А. С. Потаенная биография Саши Черного // Евреи в культуре русского зарубежья. Вып. 2. Иерусалим. 1993). *Северянин Игорь* (1887—1941) — поэт, создавший и возглавивший в канун первой мировой войны группу эгофутуристов. Слава его была ослепительна, как фейерверк, и так же скоротечна. В 1915 году вышла книга «Критика о творчестве Игоря Северянина. Статьи и рецензии», где в равной мере соседствует и хвала, и хула. Упреков в декадентской вычурности и манерности, граничащей с безвкусицей, Северянину довелось выслушать предостаточно. Поэт отвечал на это саркастическими эпиграммами: «Вы посмотрите-ка, вы поглядите-ка, какая подлая в России критика». После революции обосновавшись в Эстонии, Северянин оказался как бы на периферии литературной жизни русского зарубежья. Крайне редко его стихи появлялись в парижских газетах и журналах, и, видимо, поэтому поэт оказался обойденным вниманием эмигрантской критики.

«РОЗА ИЕРИХОНА» — РГ. 1924. 29 ноября. Рецензия на книгу И. А. Бунина «Роза Иерихона». Берлин. Издательство «Слово». 1924. *Никитенко А. В.* (1804—1877) — критик и литературовед, много лет работавший в цензурном ведомстве и учреждениях по надзору за печатью. Посмертно был издан его «Дневник», содержащий интереснейшие записи по истории русской общественной мысли и громадный фактический материал по цензурному делу. *Пильняк Б. А.* (1894—1937) — писатель, одна из наиболее ярких литературных личностей советской эпохи, бы-

тописатель и выразитель голодного, вагонного, исполненного смертельной опасности времени. Наиболее известен его роман «Голый год» (1921). *Одних поэтов хватило бы на население губернского города.* — Если предреволюционные годы считаются «серебряным веком» русской поэзии, то революционная стихия затронула и вовлекла в стихотворчество самые широкие массы населения. Об этом явлении, ставшем поистине поветрием эпохи, говорится в статье О. Мандельштама «Армия поэтов»: «Стихотворцев в Москву и Петербург шлет Сибирь, шлет Ташкент, даже Бухара и Хорезм. Всем этим людям кажется, что нельзя ехать в Москву с голыми руками, и они вооружаются, чем могут — стихами» (М а н д е л ь ш т а м О. М. Слово и культура. М., 1987. С. 219). *...после берлинского Аранжуэца.* — В перефразированном виде использовано крылатое выражение: «Миновали золотые дни Аранжуэца» — фраза, с которой начинается трагедия Ф. Шиллера «Дон-Карлос, инфант испанский». В Аранжуэце находился увеселительный дворец Филиппа II. Выражение употребляется в значении: прошло беззаботное время. *Марианна Скублицкая* — см. с. 411. *Хорошо бы собаку купить.* — Заключительная строка стихотворения И. Бунина «Одиночество». *В черных пятнах под засохшим // Серебром нагой плевы.* — Строки из стихотворения И. Бунина «Вот он снова, этот белый...» (1916). *...писал Горький о «задушевности» смеха Ленина и трогательной его любви к детям.* — Речь идет об очерке А. М. Горького «Ленин», написанном сразу после смерти вождя пролетарской революции. Воспоминания Горького прозвучали неким диссонансом в хоре откликов, вызванных этим известием в зарубежной России. «Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших представителей русской воли к жизни и бесстрашия русского разума». Это высказывание Горького в полной мере может быть отнесено и к ироническим инвективам Саши Черного, касающимся Ленина. Горьковские характеристики и наблюдения, вызвавшие насмешку у Саши Черного, выглядят так: «Обаятелен был его смех, — «задушевный» смех человека, который прекрасно умел видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости ума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердцем». Старый рыбак, Джованни Сподадо, сказал о нем: «Так может смеяться только честный человек». И другая цитата: «...он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская каких-то детей, он сказал: «Вот эти будут жить лучше нас; много из того, чем мы жили, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой» (Г о р ь к и й А. М. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин. 1925. С. 5, 8, 10). *Стихи Бунина, видите ли, вирши Тредьяковского, одетые в траурные одежды пророка Иеремии...* — Речь идет об обзорной статье Ник. Смирнова «Солнце мертвых» (заметки об эмигрантской литературе), где о стихах Бунина сказано, что «все они остаются крайне посредственными, технически слабыми: поэт, по справедливости награжденный когда-то масличной ветвью классицизма, становится Тредьяковским в черной ризе пророка Иеремии» (Красная новь. М., 1924. № 3. С. 254). Любопытна метаморфоза, произошедшая с автором «разгромной» статьи — Н. П. Смирновым. После смерти Бунина, он вел переписку с его вдовой, публиковал восторженные материалы о его творчестве в парижской газете «Русские новости». *Тредиаковский В. К. (1703—1768)* — поэт, реформатор русского стихосложения. Строки из «Оды, вымышленной в славу правды, побеждающей ложь и всегда торжествующей над нею» приведены неточно. Надо:

Ложь то проклята, дерзновенна
Вышла вся из ада безденна,
Правду ищет везде святую...

«ВЕЧЕРНИЙ ДЕНЬ» — РГ. 1924. 12 декабря. Жизненные и литературные пути двух писателей, причисленных к сатирическому цеху — Н. А. Тэффи и Саши Черного, — пересекались не раз. В России — это было сотрудничество в «Сатириконе», в эмиграции — совместное участие в литературных вечерах и благотворительных мероприятиях. В период работы в редакции «Жар-Птицы» Саша Черный опубликовал рассказы Н. А. Тэффи «Соловки», «Анюта», «Поручик Каспар» и ее стихи. Однако данная рецензия едва ли не единственно непосредственное свидетельство того, что поэт с пристальным вниманием и симпатией относился к ее творчеству. Что касается Тэффи, то известно лишь, что на вечере памяти Саши Черного в Париже 4 декабря 1932 года она выступила с чтением рассказа, посвященного поэту. Скучность сведений о взаимоотношениях двух писателей, чьи имена в литературе часто ставятся рядом, объясняется, по-видимому, тем, что, живя в Париже, они не были близки в чисто житейском плане, имея разные круги общения. Вот что сказано о Тэффи в воспоминаниях А. Ладинского: «Она была вне нашей поэтической богемы, предпочитала ей буржуазное общество. В эмиграции Тэффи считалась русской Колетт и была кумиром русских дам из Пасси и Отей, где обосновались эмигранты побогаче, дельцы, «прокатчики фильмов» (РГАЛИ, ф. 1337, оп. 4, ед. хр. 11). *Чесуча* — см. с. 415. *Вербицкая, Нагродская, Чарская* — см. с. 461. *Лаппо-Данилевская Н. А.* (1874—1951) — беллетристка-бытописательница, автор многочисленных «женских» романов.

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ — РГ. 1924. 20 декабря. Статья написана в связи с 35-летним юбилеем литературной деятельности А. И. Куприна. Саша Черный воспользовался текстом этой статьи, когда отмечался 40-летний юбилей Куприна. Статья под названием «Сорок лет» была напечатана в харбинской газете «Заря» 12 декабря 1930 года с некоторыми разночтениями. Наиболее существенные изменения внесены во вторую часть статьи от слов «Тридцать пять лет...» до «А здесь на Западе...». Этот текст, специально написанный для харбинской «Зари», приведен ниже:

«Сорок лет...

Сам автор смутно помнит содержание своего первого очерка «О закулисной театральной жизни», который появился в печати 20 декабря 1889 года.

И нет больше на свете этого милого очерка — первого робкого опыта безусого юнкера, будущего автора «Поединка».

Страницы эти исчезли на всероссийском костре, как исчезли целые библиотеки, города и поколения.

Исчезло и распыленное по всей России «полное собрание» его книг, которым «Нива» в ряду других классиков насытила все медвежьи углы необъятной страны.

Но вот даже «Госиздат» нашел нужным переиздать избранные сочинения Куприна.

Очевидно, прославленная всеми советскими рупорами, пролетарская литература не так уж богата, чтобы отказываться от духовного наследия своих врагов... И не один сознательный комсомолец тайно вздохнет, знакомясь по книгам Куприна с благостным и привольным бытом прошлого.

Никакие нарочитые советские предисловия не помогут, как ни насилует, ни уродует изуверская доктрина быт и правду, — тяга к простой, уютной и теплой жизни — превыше всего...

За рубежом творчество Куприна так же полнозвучно и красочно, как и в былые годы.

Зоркая память его насыщена русским прошлым, и богатство это неиссякаемо: это тот духовный капитал, которого, увы, нет, — не по их вине, конечно, — даже у самых одаренных молодых.

С особым вниманием читаем мы новые главы из романа «Юнкера», — словно противовес мирной эпохи, когда можно было позволить себе роскошь смелого осуждения темных сторон жизни («Поединок»), — в «Юнкерах» каждая страница дышит любовью к безвозвратно ушедшему, овеивает мягким лиризмом каждую бытовую деталь:

— «Что имеем не храним, потерявши плачем...»

«Никиш» — см. с. 422. Дузе Э. (1858—1924) — итальянская актриса, завоевавшая мировую славу в конце XIX в. Гастролировала в России в 1891—1892 годах. «Псалмы» Давида — сборник иудейской религиозной лирики, которым открывается третья книга «Библии». Сложился он, по-видимому, в послевавилонскую эпоху (не ранее 6 в. до н. э.). Авторство приписывается иудейскому царю Давиду. Сам автор смутно помнит содержание своего первого очерка «О закулисной театральной жизни», который появился в печати 20 декабря 1889 года. — Сведения эти, действительно, не совсем точны. Первая публикация А. Куприна — рассказ «Первый дебют» — состоялась 3 декабря 1889 года в «Русском сатирическом листке». ...автор через объявления в газетах разыскивает на чужбине тома своих сочинений. — Это невыдуманный факт: в эмигрантских газетах той поры мне попало такое объявление: «Куплю тома I., X, XI соч. А. И. Куприна Моск. Книгоиздат. «Земля» (довоен. вр.) адр. Куприну «Русская газета» (РГ. 1925. 1 января). ...три этапа «Приневский край», «Общее дело» и «Русская газета». — Об этих органах белогвардейской и эмигрантской печати, в которых довелось самым активным образом сотрудничать А. И. Куприну, говорится в его статье «Три года», написанной к трехлетию выхода «Русской газеты»: «Я с удовольствием вспоминаю те возбужденные, беспокойные и, теперь издали, такие светлые и веселые дни, когда «Русская газета» впервые начала выходить в свет еженедельным изданием. Однако тогда нелегко приходилось малой редакционной кучке. Сами фальцевали листы, сами закрывали в бандероли, сами, от руки делали адреса и сами развозили по киоскам. Теперь это напомнило мне конец 19-го года, когда мы с генералом Красновым выпускали для фронта С<еверо>-За<падной> армии газету «Приневский край», везя за собой гуттенбергов станок, с ручным колесом, из Гатчины в Ямбург, а оттуда в Нарву и Ревель... и начало 20-го года, когда «Новая русская жизнь», выходившая в Гельсингфорсе, вся помещалась в двух чуланчиках: и наборная, и типография, и редакция... А потом в последние дни «Общего дела»... В нем до самого конца остались лишь настоящие журналисты. Бездарные словоблуды и полуграмотные ловкачи убежали, как крысы с корабля, при первых неблагоприятных признаках. Эти четыре года тем навсегда останутся милыми и дорогими для моей памяти, что основным их принципом была печатная борьба с большевизмом,

борьба прямая и открытая, без заигрывания, уверток и задних лазеек на всякий грядущий случай. И тем привязала меня к себе «Русская газета», что предоставила мне полную свободу высказывать мои мысли. Лично мне это удовольствие принесло мало пользы. Говоря о монархизме в разрезе идеологии, заступаясь за скорбные исторические тени, подвергаемые оклеветанию, я приобрел кличку монархиста, и уличные мальчишки уличного журнализма тыкали в меня на моем чистом пути пальцем и кричали: «Вот идет монархист, вот идет черносотенец, вот идет мракобес». Да Бог с ними, впрочем» (Русское время. Париж. 1926. 13 июня).

«ОПЫТЫ» БРЮСОВА — РГ. 1925. 26 февраля. Поводом для написания данной статьи послужило, по-видимому, известие о смерти В. Я. Брюсова. ...*парнасский сноб, так умело имитировавший поэта*. — Многие современники Брюсова были поражены несовпадением его личности как человека и притязанием на роль вождя символизма, великого знатока и безупречного мастера поэзии. Недаром отзывы и суждения о нем зачастую жестоко-нелицеприятны. Одно из них принадлежит Л. Н. Андрееву: «Он очень талантлив там, где он аппарат для писания стихов, искусный механизм, который на ночь разбирают, кладут в керосин, а утром смазывают из масленки. Там же, где он должен быть человеком, он просто скотина» (Литературное наследство. Т. 72. М., 1965. С. 309). *Илья Василевский* — см. с. 431. *Оль-д'Ор* — см. с. 433. ...*тютчевская цензура*. — В последние годы жизни Ф. И. Тютчев занимал пост председателя Комитета иностранной цензуры. Известно, что Брюсов, после вступления в партию большевиков, некоторое время тоже служил в цензурном ведомстве. Как пишет современник: «Брюсов очень стеснялся своего цензурства, дававшего ему кусок хлеба» (О с о р г и н М. А. Воспоминания. Повесть о сестре. Воронеж, 1992. С. 209). А. И. Куприн так сказал о восприятии «красной цензуры» в эмигрантских кругах: «Но внимательный здешний читатель, умеющий видеть самую жизнь за печатными строками, познает о подсоветском бытии с его скукой, глупостью и ужасом, с затаенной всеобщей ненавистью к скоморошному правительству гораздо больше, чем он мог бы почерпнуть из советских газет и осторожных сообщений приезжающих. Видите ли: русский одаренный писатель не может лгать. А если лжет под хлыстом, то у него выходит не мелодия, а ряд диссонансов, откровенно режущих уши. И на это уже жалуются красные цензоры, умеющие оттяпывать своими ножницами головы, но бессильные перед художественной мыслью». ...*стал из Павла Савлом*. — Здесь иронически переиначено известное библейское выражение «превращение Савла в Павла». Иудей Савл, бывший ярым гонителем христиан, стал после чудесного видения свыше проповедником христианства — апостолом Павлом. *Дмитрий Цензор* — см. с. 412. *Годин Я. В.* (1877—1954) — посредственный, но активно печатавшийся в петербургской прессе стихотворец. Его имя, так же как имя Д. Цензора, стало олицетворением всепроникающей банальной посредственности. См., напр., эпиграмму А. И. Куприна:

Не тем я угнетен, что Пушкин благороден,
Что солнце яркое сменяют дождь и гром,
Но, собирательный, зачем же пишет Годин
О Божьих чудесах сосновым языком.

(Бич. 1916. № 6. С. 3.)

«Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам» (Стихи 1912—1918) — были изданы отдельной книгой в Москве в 1918 году. В. Ходасевич дал этому экспериментальному сборнику уничтожающую оценку: «По системе того же «исчерпывания возможностей» написал он ужасную книгу: «Опыты — собрание бездушных образчиков всех метров и строф. Не замечая своей ритмической нищеты, он гордился внешним, метрическим богатством. Как он радовался, когда «открыл», что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пэном первым! И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и было напечатано, только не вошло в мои сборники» (Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 286). *Такого Брюсова <...> мы без сожаления и горечи можем отдать большевикам.* — Метаморфоза, произошедшая с Брюсовым после революции, — вступление в партию большевиков, служба в советских организациях (Наркомпрос, Гукон) — многим казалась неожиданной и необъяснимой. «Часто сталкиваешься с обвинениями Брюсова в продаже пера советской власти, — писала М. Цветаева. — А я скажу, что из всех перешедших или перешедших-полу — Брюсов, может быть, единственный не предал и не продал. Место Брюсова — именно в СССР. А вспомнить <...> его утопию «Город будущего». Его исконную арелигиозность, наконец. Служение Брюсова коммунистической идее не подневольное: полюбовное» (Цветаева М. И. Об искусстве. М., 1991. С. 152).

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО — РГ. 1925. 18 марта. На скоростижную смерть А. Т. Аверченко, скончавшегося в Пражской городской больнице 12 марта 1925 года, откликнулись почти все печатные органы зарубежной России. В Париже состоялся вечер памяти Аверченко, устроенный 24 марта 1925 г. литературно-артистическим кружком, в котором в числе других писателей и артистов принял участие Саша Черный. В эти дни им было написано стихотворение «Сатирикон», посвященное А. Аверченко, и две статьи, опубликованные в РГ и ИР. «*Simplicissimus*» — немецкий еженедельный иллюстрированный сатирический журнал (1896—1914). ...*никому неведомый харьковский провинциал.* — Аверченко редактировал в 1916 году в Харькове сатирический журнал «Штык». Многие из тех, кто знал Аверченко, отмечали украинские истоки его юмора и характера: «в такую среду вдруг свалился, — откуда-то из харьковских бахчей, с какой-то станции Алмазной, из неторопливой, по-доброму хитрой и по-хитрому умной Хохляндии — какой-то молодой человек, с крепкими зубами, с голосом вкрадчивым и порой мягко (этот недостаток к нему «шел») спотыкающимся» (Горный С. Аркадий Аверченко // Возрождение. Париж. 1926. 5 апреля). *Сафир* — см. с. 429. *Гуревич И. Я.* (1882 — после 1931) — писатель-сатирик, фельетонист. *Ландау Г. А.* (1883—1974) — писатель-юморист, в своих рассказах копировавший манеру Аверченко. *Оль д'Ор* — см. с. 433. ...*юмор Аверченко был несомненно оздоравлиюще полезен.* — Общественная роль «Сатирикона» и его редактора была осознана современниками много позднее. К примеру, вот что написал Евгений Хохлов в статье «Сатирикон» и сатириконцы»: «Думается, что основной причиной успеха «Сатирикона» и самого Аверченко, помимо несомненной художественности, была именно эта тенденция шутки, простого и веселого подхода к разного рода «проклятым» вопросам. После «лишних людей» и «тоски безвременья», после негодующей сатиры 1905-го года хохотун «Сатирикон» сразу стал «душой общества». Это не

мешало, однако, ему быть передовым и делать большое культурное дело...» (Русские новости. Париж. 1950. 5 мая). ...*муйжелевскую мочалку, тянущуюся с января по декабрь*. — Муйжель В. В. (1880—1924) — бытописатель народнического направления, писавший в основном о русской деревне. Наиболее крупное произведение Муйжеля — роман «Год» — печатался в журнале целый год. ...*были «сменившие вехи»* — «Сменовеховцы» (см. с. 439).

ПАМЯТИ А. Т. АВЕРЧЕНКО — ИР. 1925. № 16. С. 8—9. Статья дополнена краткой информацией о последних днях Аверченко: «А. Т. Аверченко скончался от кровоизлияния в области живота, на почве атеросклероза. Заболев в конце 1924 года, А. Т. Аверченко уехал на курорт в Подебоды, под Прагой. За последнее время в состоянии его здоровья наступило улучшение. Неожиданное кровоизлияние вызвало роковой исход. Похороны состоялись в Праге 14 марта, в присутствии многочисленных друзей покойного и представителей русской и заграничной литературы и журналистики, пожелавших отдать покойному последний долг». ...*руководил расклейкой номеров*. — Е. С. Хохлов, сотрудничавший некоторое время в «Сатириконе», так вспоминает об этой стороне редакционной жизни: «Самыми интересными днями в жизни «Сатирикона» были «расклейки». Это были своего рода редакционные совещания, на которых обычно присутствовали все сотрудники и на которых «расклеивали» текущий номер и обсуждали будущий, выдумывали темы карикатур, подписи к ним, создавались отдельные остроты. Это были чрезвычайно веселые собрания. Аверченко был положительно неистощим. Спокойно, чуть заикаясь, с хитрецей улыбаясь своим единственным глазом (второй у него был поврежден осколком стекла и не видел), он выдумывал удивительные истории, бесконечно острил и вызывал вспышки оглушительного хохота у Радакова» (Русские новости. Париж. 1950. 5 мая). ...*ездил в Комитет по делам печати, выдирая из цепких лап цензуры застрявшие там злободневные карикатуры*. — В воспоминаниях издателя «Сатирикона» М. Г. Корнфельда говорится, что «предварительной цензуре подлежали лишь рисунки, оттиски которых с приклеенными подписями препровождались в Цензурный комитет по четвергам <...> в отношении «Сатирикона» положение цензора было не из легких: ему приходилось ориентироваться и судить в чуждой ему сфере — сфере смеха, где отношения вещей искажены и самые предметы принимают вдруг неожиданные и нереальные очертания» (Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С. 273—274). ...*в Чернышевом переулке — в двух шагах от редакции*. — В ту пору, когда редакция «Сатирикона» размещалась в доме № 80 на набережной Фонтанки, сотрудники журнала «столовались» в ближайшем ресторане при «Мариинской гостинице» в Чернышевом переулке. Один из участников подобных трапез — Евгений Венский воссоздал обстановку и атмосферу, в которой они проходили: «Сатирическая компания занимает сразу три-четыре столика и немедленно же начинается несмолкаемый «дебош». Остроты, эпиграммы, каламбуры сыпятся, как из громадного мешка. Одно пустяшное замечание, движение рукой, поза — все дает тему для остроумия, — легкого, свободного, не натянутого» (Литературно-художественный сборник «Десятилетие ресторана «Вена». 1913. С. 41). *Князев В. В. (1887—1938)* — поэт, один из наиболее активных авторов «Сатирикона». В нем, как ни в ком другом из его собратьев по журналу, была сильна социальная и обличительная закваска, полученная еще в годы первой русской революции. Считался знатоком простонародья, жизни город-

ских низов, занимался собиранием частушек, пословиц и поговорок. После Октября 1917-го безоговорочно перешел на сторону советской власти, выступая в печати под псевдонимом «Красный звонарь». Отношения между редактором «Сатирикона» и Князевым были неровными. Последний даже разразился злой сатирой на Аверченко — «Аркадий Лейкин». Е. Зозуля в своих воспоминаниях рассказывает о сценах, которые учинял в редакции Князев: «Поразительно терпение и подлинное добродушие, с каким относился к нему Аверченко. Князев обзывал его в глаза буржум, ругался, требовал денег. Как-то я зашел по делу к Аверченко и застал его в столовой несколько растерянным и смеющимся. Аверченко рассказал мне, что за несколько минут до моего прихода здесь был Князев и до того разошелся, что хотел разбить дорогую вазу, которая стояла на столе, наполненная фруктами. <...> Мне как-то при встрече — ни с того ни с сего, как говорится, «без здравствуйте» — Князев сказал, что если он не буйствует и не подерется с кем-нибудь, то не может писать...» (РГАЛИ, ф. 216, оп. 1, ед. хр. 141). ...этот солидный, сдержанный человек — Аверченко? — В представлении любителей литературы сложился стереотип богомного писателя, остроуслова и весельчака, отличающегося экстравагантностью поведения и одежды. Потому, наверно, было так велико удивление тех, кому довелось узнать Аверченко не по книгам, а лично: «Это был высокий, здоровый, всегда прекрасно выбритый, элегантно одетый (именно в пиджачный костюм от лучшего портного) молодой человек в пенсне, по внешности напоминающий как раз того коммерсанта или старшего приказчика, к которым в литературных кругах почему-то принято относиться с ироническим пренебрежением. Внешности отчасти соответствовал и характер. Он был весел, остер и язвительен, но не желчен, любил хорошо пожить, поесть и выпить, но, вероятно, никто никогда не видел его в каком-нибудь «беспорядке». Он был настоящей «богемой» и долго жил в меблированной комнате и ужинал в ресторанах, и при этом вел чрезвычайно размеренную рабочую жизнь» (Х о л о в Е. «Сатирикон» и сатириконцы // Русские новости. Париж. 1950. 5 мая). ...судьба не улыбнулась на его последнюю шутку. — Незадолго до смерти Аверченко создал юмористический роман на автобиографической основе — «Шутка мецената» (Прага, 1925) о жизни сатириконского братства. Даже на пороге смерти Аверченко не перестал шутить. Один из его друзей вспоминает: «Мы приехали на вокзал и там простились. Смеясь, он, между прочим, сказал мне: «Лучший некролог о тебе напишу я. — И шутливо прибавил. — Вот увидишь». — «Подожди меня хоронить, — ответил я, — мы еще увидимся». Но увидеться было не суждено и некролог пришлось писать не ему обо мне, а мне о нем» (П и л ь с к и й П. Затуманившийся мир. Рига, 1929. С. 138).

РУССКИЙ ПАЛИСАДНИК — ПН. 1926. 25 ноября. Кончина П. П. Потемкина (21 октября 1926 года) была следующей потерей, после Аверченко, в рядах бывшего сатириконского братства. Безвременная утрата (поэт умер на 41-м году жизни) обострялась ее полной неожиданностью. В начале 1926 года ничто, казалось, не предвещало горестной трагедии: в газетной хронике, посвященной встрече русского Нового года, сообщалось, «что на состоявшемся заседании комиссии по устройству новогоднего бала Комитета помощи писателям и ученым установлен окончательный порядок вечера. Тэффи, Саша Черный и П. Потемкин будут в стихах эпиграмм предсказывать судьбу...» (ПН. 1926. 8 января). А судьба была такова,

что через год с небольшим — 24 февраля 1927 года — в Париже состоялся вечер, посвященный памяти П. П. Потемкина, в котором приняли участие Дон-Аминадо, Б. Зайцев, А. Куприн, М. Осоргин, Н. А. Тэффи, Саша Черный, А. Яблоновский... Потемкин был общим любимцем в литературной и театральной среде, и потому, наверно, очень многие откликнулись печатно на его кончину. Данная статья и стихотворение «Соловьиное сердце» — долг памяти Саши Черного о своем друге и собрате по перу. ...*возлюбивший пестрый театральный мирок <...> бесшабашных негров.* — По-видимому, здесь подразумевается театральная миниатюра П. Потемкина «Блэк энд уайт», ставшая исключительным явлением в истории русского театра-кабаре. Эта «негритянская трагедия» была построена на имитации английской речи: звукоподражаниях и вошедших в обиход английских терминах. Пьеса имела ошеломляющий сценический успех, шла во множестве провинциальных и столичных театров миниатюр и кабаре. Однажды она была поставлена в «Бродячей собаке», причем роль негра сыграл сам Потемкин. Это дало повод О. Мандельштаму вспомнить о Потемкине как о человеке, «который даже трезвый и приличный походил на отмытого негра». «Дядюшка Яков» — стихотворение Н. А. Некрасова (1867). ...*о цикле изящных тонких театральных безделушек.* — Обращение поэта к театральной миниатюре не было случайным эпизодом в его творчестве. По словам П. Пильского: «Потемкину театр был ближе и родственней, чем литература. <...> И именно этими тяготениями к чуть-чуть кокетливой изощренности тем и образов объясняется его влюбленность в театр, его близость к сценическому шаржу, к его артистической шалости, к духу театральных подвалов, миниатюрным сценам, их темам веселого лукавства и все той же простодушной иронии, вечной спутнице стихов и песок Потемкина. Он был тесно связан с «Кривым зеркалом», «Домом интермедий» и с «Бродячей собакой», с этими театрами, где шутливость была украшена изяществом, смелость и простор замыслов не расставались с грацией, живая, не колкая карикатура была весела, веселость остроумна, остроумие легко, а легкость очаровательна» (П и л ь с к и й П. Затуманившийся мир. Рига, 1929. С. 94). ...*антология чешских поэтов в его переводе.* — Живя в Праге, Потемкин занимался переводами из чешской поэзии; некоторые из них были опубликованы в эмигрантских периодических изданиях, но отдельной книгой так и не вышли. *Но основным, своеобразным трудом поэта <...> остается «Герань».* — Название книги Потемкина, имевшее сначала оттенок некоего вызова, приобрело на чужбине грустновато-ностальгическую окрашенность, стала символом музыки этого поэта. Недаром, как пишет один из его друзей, «на могилу его мы принесли розовую герань, которую он так любил и так проникновенно воспел, как бы в ответ на вызов, утверждая право на счастье, на подоконники, на герань за ситцевыми занавесками, на все то, что Бобрищев-Пушкин считал мешанским и обреченным, а поэты и Дон-Кихоты — обреченным, но человеческим» (Д о н - А м и н а д о. С. 267).

А. КУПРИН. НОВЫЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ — ИР. 1927. № 13. С. 19. Рецензируемая книга А. И. Куприна примечательна тем, что она была фактически первой из книг, изданных писателем на чужбине, куда он включил произведения, созданные уже в эмиграции (это обстоятельство подчеркнуто в названии книги). В годы лихолетья и первых лет изгнания основное место в творчестве писателя заняла публицистика. Сам Куприн, отвечая на анкету, так объяснил свой отход от

художественной прозы: «Ушедшая жизнь, воспоминания — во всем этом можно найти много сюжетов, но ведь слишком свежо все, нет пока равновесия душевного, мясо свежее, — не заросло еще, — спокойствие нужно... Да и трудно работать; посудите сами: с 17-го года пишу какие-то политические статьи <...> и потерял из-за них беллетристический подход к теме... Словно перо навыворот, — не пишется» (С е д ы х А. У А. И. Куприна // Звено. Париж. 1925. 13 апреля).

ПУТЬ ПОЭТА — Вступительная статья к книге П. П. Потемкина «Избранные страницы» (Стихи). «Дон-Жуан — супруг смерти» (пьеса, написанная в соавторстве с С. Л. Поляковым). Париж, 1928. С. 5—9. В статье «Русский палисадник» — прощальном слове на смерть П. Потемкина, Саша Черный высказал пожелание: «выпустить на свет его избранные страницы». По всей видимости, его участие в посмертной книге Потемкина не ограничилось написанием вступительного слова, но могло включить и работу по составлению сборника. «Смешная любовь» — первая книга стихов Потемкина, по определению одного из современников, произвела «фурор». В. Брюсов писал, что он сразу сделался «маленьким мэтром», создателем своего стиля и чуть ли не своей школы; А. Блок назвал его «свободным трубадуром питерским». Отзвук шума, произведенного выходом этой книги, слышится в литературном фельетоне И. М. Василевского «Модные знаменитости»: «Кто такой Петр Потемкин? Не знаете ли кто такой Петр Потемкин? И в самом деле: как не знать Петра Потемкина! Сколько шума, звона, треска было вокруг этого имени одного из стана «свежепрославленных», по прекрасному выражению Тана, поэтов» (Свободные мысли. 1908. 25 февраля). «Герань» — вторая книга стихов Потемкина, вышла в 1912 году в издательстве М. Г. Корнфельда. Обложка была одета в «мещанский» цветастый ситец, как бы сродни названию книги (герань являлась олицетворением мещанства). Рецензенты отмечали качественный скачок по сравнению с первой книгой: «Кажется, поэт наконец нашел себя. С изумительной легкостью и быстротой, но быстротой карандаша, а не фотографического аппарата, он рисует гротески нашего города, всегда удивляющие, всегда правдоподобные. Легкая меланхолическая усмешка, которая чувствуется в каждом стихотворении, только увеличивает их художественную ценность» (Г у м и л е в Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 146). *Потемкин был таким поэтом с головы до ног.* — Многие из тех, кому довелось знать Потемкина, писали о «моцартианской» гармонии — соответствии его поэзии и его человеческой сущности. Вот как сказано об этом у П. Пильского: «Вообще эта черта — нестарательность, какая-то внешняя небрежность одаренного человека — в нем примечалась с первой же беседы, с самого первого наблюдения над тем, как он говорил, встречался с людьми, писал, шутил легко и метко. По его страницам везде скользят улыбки — беззлобные, чуть-чуть колющие, но всегда непринужденные, веселые даже в своей ядовитой наблюдательности, никогда не приправленные укусом ненависти и отравами желчи» (П и л ь с к и й П. Памяти поэта //Сегодня. Рига. 1928. 3 июня). *...у каждого из нас был свой незабываемый переход оттуда.* — В воспоминаниях П. Пильского («Затуманившийся мир». Рига, 1929) рассказывается о том, что из Советской России Потемкин бежал вместе с балетной труппой в Бессарабию в 1920 году. Живя в Кишиневе, он сотрудничал в русских газетах, принял участие в организации театра миниатюр. *Но свое, единственное, надломилось и отошло.* — Это впечатление душевного надлома, происшедшего на чужбине, отмечали в Потемкине те, кто видел его незадолго до смерти: «Без Пе-

тербурга и без того воздуха меланхолический беженец-парижанин играл в шахматы, писал стихи, пьесы, газетные статьи, но увядал неудержимо. Это особенно заметно на поминках «Бродячей собаки», устроенных не так давно в Париже самим Потемкиным. Среди многих случайных гостей были на этом вечере петербургские завсегдатаи «Бродячей собаки». <...> Но, кажется, грусть Потемкина на этом вечере была не элегической, а горькой, трагической. От былой его веселости не осталось и следа, он осунулся, вид имел усталый. За бедным «эмигрантским» ужином Потемкин прочел длинный стихотворный экспромт, посвященный «Бродячей собаке». Не зная лично автора «Герани» и его прошлого, можно было не понять волнения, с каким он говорил о петербургском литературном кабачке» (О ц у п Н. П. П. Потемкин // Дни. Париж. 1928. № 1410). «*Дерева чахлые заплеванных бульваров*» — строка из стихотворения П. Потемкина «Парижские зеркала». «*И место действия — Москва...*» — цитата из стихотворного цикла Потемкина «Двое». Поляков-Литовцев С. Л. (1875—1945) — журналист и писатель. Автор пьес «Огненное кольцо» и «Лабиринт», романа «Саббатай-Цеви». Эмигрировал в 1917 году, сотрудничал в эмигрантской периодике, редактировал воспоминания Ф. И. Шаляпина «Маска и душа».

РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ —

Русская земля. Альманах для юношества. Париж. 1928. Выход альманаха под редакцией А. М. Черного и В. В. Зеньковского приурочен к празднованию «Дня русской культуры», который отмечался нашими соотечественниками за рубежом в день рождения А. С. Пушкина. Годом ранее под редакцией Саши Черного вышел сборник для детей «Молодая Россия», имевший подзаголовок «Ко дню русской культуры». В него включена народная песня «Плач войска по императоре Петре I». Интерес поэта к устному народному творчеству и эпохе Петра I неслучаен (в 1925 году им написано стихотворение «Странный царь», а 25 апреля 1926 года он принял участие в вечере вместе с профессором В. П. Котеневым, прочитавшим фрагмент из своей книги о пребывании Петра Великого в Париже). Именно в отрыве от родины Саша Черный открыл для себя, а вслед за этим и для подрастающего поколения сокровищницы русского духа, бережно сохраненные в записях и изданиях устного народного творчества. Особое внимание поэта привлекли исторические песни и баллады — жанр, возникший на Руси еще в домонгольскую эпоху и просуществовавший до Отечественной войны 1812 года и Крымской кампании. В отличие от былин в исторических песнях и балладах действие обычно сведено к одному эпизоду, повествование, как правило, кратко, стремительно, сосредоточено на судьбе одного человека. Классический пример — написанная в лучших традициях народных песен М. Ю. Лермонтовым «Песнь о купце Калашникове». Сюжет исторических песен восходит обычно к реальному, пусть даже и не зафиксированному документами событию, факту народной жизни. Главные темы — борьба народа за волю и защита родной земли от вражеских нашествий. Одним из периодов расцвета исторического песнетворчества стала эпоха рубежа XVII—XVIII веков, когда Россия, по выражению Пушкина, «мужала с гением Петра». Пушкин понимал непреходящую ценность народных исторических песен (известны записи текстов, сделанных им самим). Данная статья Саши Черного предвзывает публикацию следующих песен: «Рождение Петра», «Из песни «Полтавское дело», «Беглый солдат», «Петр Первый кончается», «Плач войска».

«ПАМЯТИ ТВОЕЙ» — ПН. 1930. 13 марта. Рецензия на книгу рассказов Георгия Пескова «Памяти твоей». Париж. Изд. «Современные записки», 1930. Песков Г. — псевдоним Елены Альбертовны Дейши (1885—1977). С писательницей, принявшей в литературе мужское имя, связан комический эпизод: однажды в редакцию «Последних новостей» явился почтенного и сурового вида господин, отрекомендовавшийся мужем Георгия Пескова. Недоразумение выяснилось: «Георгий Песков был псевдонимом одной из многоуважаемых дам, обогативших газету длинными рассказами с продолжением в следующем номере» (Д о н - А м и н а д о . С. 300). Из Советской России писательница эмигрировала в 1924 году. *Не отсюда ли наше жадное внимание к Зоценко.* — М. Зоценко был, пожалуй, самым популярным советским автором в русском зарубежье, его рассказы часто перепечатывались эмигрантской прессой. Именно в них читатели, оказавшиеся вдали от родины, находили ту жизненную правду, которую не способны были сообщить никакие публицистические материалы или хроникальные репортажи. И потому общим мнением русских эмигрантов о Зоценко могут быть слова, сказанные Дон-Аминадо: «О чудотворном таланте его, который воистину, как нечаянная радость, осветил и озарил все, что творилось и копошилось в темном тридевятом царстве, тридесютом государстве, на улицах и в переулках, в домах и застенках, на всей этой загнанной в тупичок всероссийской жилплощади, о чудодейственном таланте его еще будут написаны книги и монографии <...> После Зоценки кто мог читать Демьяна Бедного, Ефима Зозулю и прочих казеннокоштных старателей и юмористов» (Д о н - А м и н а д о . С. 281—282).

РУССКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА. — Заря. Харбин. 1930. 8 июня.

«КРОКОДИЛ» — ПН. 1932. 17 марта. ...*в таких сдержанно-иронических тонах, в каких когда-то «Сатирикон» подавал Столыпина.* — В карикатурной галерее «Сатирикона» П. А. Столыпин был фигурой нечастой. М. Г. Корнфельд вспоминает, что даже Цензурный комитет не всегда мог взять на себя решение, когда речь шла о председателе совета министров: «Я помню (это случалось не раз), когда на карикатуре фигурировал Столыпин и когда Бельгардт считал ее удачной, он обещал мне показать ее лично Столыпину и увозил ее с собой. На следующий день по телефону он давал мне свою «визу» (К о р н ф е л ь д М. Г. Воспоминания // Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С. 273). ...серия «Степок-растрепок» — выпуски книжек для детского чтения, постоянным персонажем которых был Степа-растрепка — озорник и неряха, постоянно попадающий в ужасные истории и несущий страшные наказания. Выходили они без указания автора и в большинстве своем характеризовались крайней неряшливостью стиха и примитивностью, даже дурашливостью сюжетов. Однако снискали исключительную популярность у детей (даже в аристократических семьях — см. воспоминания А. Бенуа, М. Добужинского, записные книжки А. Блока). Многие из них находили сходство Степки-растрепки с ярмарочным Петрушкой. *Кантонист* — в крепостной России солдатский сын, числящийся со дня рождения за военным ведомством и подготавливаемый к военной службе в особой, низшей военной школе. «Будильник» — см. с. 456. *Аль-Капоне* — знаменитый американский гангстер, король чикагской мафии в 1920—1930 годы. Он не считал нужным скрываться от прессы, охотно позировал для фото и кино, любил афишировать свою благотворительную деятельность. В «Кро-

кодиле» (№ 6 за 1932 год) помещена карикатура Ю. Ганфа под названием «Бандит среди бандитов», которой предпослан эпиграф-разъяснение: «Героем для буржуазной прессы Америки является главарь бандитской шайки Аль-Капоне, владеющий состоянием в 700 миллионов долларов. За 1931 год в газетах было помещено свыше 5 000 фотографий Аль-Капоне».

«МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» — ПН. 1932. 28 апреля. Подпись: А. Ч. Рецензия на книгу рассказов А. Гефтера «В море корабли». Париж. Изд. Военно-морского союза, 1932. *Гефтер А. А.* (1885—1956) — беллетрист, издавший за рубежом несколько книг — романы и сборники рассказов.

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Комментарий
<i>Анатолий Иванов. Театр масок Саши Черного</i>	5	—

САТИРА В ПРОЗЕ

(1904—1917)

Дневник резонера	43	406
«Аида» в Житомире (В публике)	52	407
Деликатные мысли	54	408
Картина	56	410
«Вечер юмора» (На съезде у истинно-русских)	57	411
Как студент съел свой ключ и что из этого вышло (Рассказ безобидный в цензурном отношении)	59	412
Совет человеку, который хочет остаться жить	61	412
Бюджет холостого чиновника	62	412
Бюджет женатого чиновника	63	412
Слава, деньги и женщины (Мистерия)	64	412
Аутодафе	68	413
Бюджет интеллигентного дачника	69	414
Меры предохранения против заболевания холерой	70	414
Природа и люди (Конец сезона)	71	415
Бюджет студента	73	415
Окрошка из профессоров	74	416
Веселые силлогизмы	75	416
Поправки истинно-русских октябристов к министерскому законопроекту о печати	76	417
Советы начинающим критикам	77	418
Смена (Этюд)	78	418
Любимые поговорки проф. В-га (Жен. медиц. инстит.)	80	419
Присуждение пушкинских премий в 1911 г.	80	419
Руководство для гг. приезжающих в Москву	81	420
Взгляд и нечто	82	421

	Текст	Ком- мента- рий
Русский язык (Сцены не для сцены)	82	421
Руководство для флирта в квартире	86	421
Чехарда (На выставке «Четырехугольника»)	87	422
«Обратно»	90	422
Глупость	91	422
Наивные слова (Посв. гг. пишущим)	92	423
Новейший самоучитель рекламы (Для гг. начинающих и молодых)	93	423
Элегическая сатира в прозе	98	424
Техники (Сказка)	100	425

БУМЕРАНГ

(1925)

Детские вопросы (Вместо передовой)	105	427
Наши телеграммы	106	427
Афоризмы профессора Ф. С. Смяткина	110	430
Руководство для разговоров, необходимое каждому иностранцу, отправляющемуся в Москву	111	430
Происшествия	112	430
Обмен	114	431
Музей «Бумеранга»	115	431
Мудрый совет	116	432
Письмо, ошибочно попавшее в редакцию «Бумеранга»	117	432
Из советского письмовника	118	432
Как можно, никуда не выезжая из своей городской квартиры, создать себе иллюзию роскошной курортной жизни	120	432
Биржа (От соб. корреспондента)	121	433
Нам пишут из Москвы	121	433
Происхождение человека (От собственного чикагского корреспондента)	122	434
Неизвестному адресату (Письмо в редакцию)	123	434
Начало сезона	125	435
Домашние афоризмы и мысли проф. Ф. С. Смяткина	126	435
Кинохроника	128	436
Меню дипломатического завтрака, которым чествовал в Берлине канцлер Лютер тов. Чичерина	129	436

	Текст	Комментарий
Разговор через десять лет	129	436
Верный и окончательный способ получения новой карт-д'идантите	130	436
Профессор уезжает (Прощальная передовица)	130	436
Письмо из Рима	132	437
Письмо в редакцию	134	437
Объявления	134	437
Почтовый ящик	138	438

САТИРА В ПРОЗЕ (1921—1931)

Узаконенное любительство (Об одном несерьезном, но чрезвычайно популярном искусстве)	143	438
Графская небрежность (Сменовеховская новелла)	146	439
Разговор с дедушкой	149	440
Эмигрантские разговоры	151	440
Общественное мнение (Сатира в прозе)	156	441
Голова блондинки (Сенсационно-психологическо-фантастический роман в 13 главах с прологом, монологом и эпилогом)	158	441
Краснодемон (Совлибретто)	162	441
Пушкин в Париже (Фантастический рассказ)	168	441
Лунная соната (Стихотворение в прозе)	173	442
Соловей (Современная новелла)	174	442
Новейший комсправочник	177	443
Житейская мудрость	180	443
Тихие шумы (Записки впечатлительного человека)	181	443
Наблюдения интуриста	185	443
Прискорбный случай	188	443
Наглядное обучение	190	444
Американские рекорды	193	444
Эмигрантские приметы	194	444

СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ

Королева-золотые пятки	197	445
Антигной	203	445

	Текст	Ком- мента- рий
Ослиный тормоз	211	446
Кавказский черт	215	446
С колокольчиком	223	446
Кабы я был царем... ..	227	446
Корнет-лунатик	235	446
Бестелесная команда	243	447
Солдат и русалка	251	447
Армейский спотыкач	254	447
Муравьиная куча	261	447
Мирная война	268	447
Скоропостижный помещик	273	448
Сумбур-трава	281	448
Антошина беда	289	448
«Лебединая прохлада»	293	448
Безгласное королевство	300	449
Штабс-капитанская сласть	308	449
Кому за махоркой идти (Солдатские побрехушки)	316	449
Правдивая колбаса	320	449
Катись горошком... ..	328	449

СТАТЬИ И ПАМФЛЕТЫ

Опять... ..	339	450
«Хорошие авторы»	340	450
Старый спор	343	451
Мелкая игра	345	452
Обратное действие	347	454
Иллюстрации	349	454
Табу	352	455
Наши дети	353	456
Детский ковчег	356	456

О ЛИТЕРАТУРЕ

В л а д и м и р Н а р б у т. Любовь и любовь	361	456
Подорожник	362	457
«Шатер» Гумилева	365	457

	Текст	Ком- мента- рий
З и н а и д а Г и п п и у с. Стихи (Дневник 1911—1922)	366	458
«Собачья доля» (Петербургский сборник рассказов А. Ремизова, Е. Замя- тина, С. Соколова-Михитова, В. Ирецкого, В. Шипкова)	368	458
Передоновщина	369	459
«Роза Иерихона»	373	461
«Вечерний день» (Н. А. Т э ф ф и. Рассказы)	376	463
Тридцать пять лет	378	463
«Опыты» Брюсова	382	465
Аркадий Аверченко	384	466
Памяти А. Т. Аверченко	386	467
Русский палисадник (О стихах П. Потемкина)	388	468
А. К у п р и н. Новые повести и рассказы	391	469
Путь поэта	392	470
Русские исторические народные песни о Петре Великом	394	471
«Памяти твоей»	395	472
Русская книжная полка	397	472
«Крокодил»	398	472
«Морские рассказы»	399	473
К о м м е н т а р и й	401	—

Черный Саша

Ч-49 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3: Сумбур-трава. 1904—1932. Сатира в прозе. Бумеранг. Солдатские сказки. Статьи и памфлеты. О литературе / Сост., подгот. текста и коммент. А. С. Иванова. — М.: Эллис Лак, 1996. — 480 с.

ISBN 5—7195—0047—2 (Т. 3)

В третий том собрания сочинений Саши Черного вошли: сатирические произведения, «Солдатские сказки», публицистические статьи и заметки 1904—1932 годов; многие из них публиковались ранее только в периодических изданиях.

Ч $\frac{4700000000-045}{130(03)-96}$ Без объявл.

ББК 84 Ря 44

Саша Черный

Собрание сочинений в пяти томах

Т о м т р е т и й

Редактор *И. Л. Тимашева*

Художественный редактор *В. Н. Сергутин*

Технические редакторы *Е. А. Саркисова, Л. В. Жигульская*

Корректор *О. В. Мокровиц*

Сдано в набор 15.12.95. Подписано в печать 25.04.96. Формат 60х90/16.

Гарнитура Таймс. Бумага офс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,0.

Уч.-изд. л. 35,7. Тираж 15000 экз. Заказ № 2213. С. 47.

ЛР № 040571 от 19.01.93 г.

Издательство «Эллис Лак»

123242, Москва, ул. Большая Грузинская, 3, стр. 1

Тел. 254-74-72

Факс 254-52-80

Оригинал-макет изготовлен ООО «Ин-фолио-1»

107005, Москва, Денисовский пер., 30

Тел. 265-37-79

Отпечатано с готового оригинал-макета

в Государственном ордена Октябрьской Революции,

ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии

«Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати.

113054, Москва, Валовая, 28